

Альберт  
ЛИХАНОВ

---

3

Альберт  
**ЛИХАНОВ**

---

Собрание  
сочинений  
в четырех  
томах

# Альберт ЛИХАНОВ

---

Собрание  
сочинений  
Том  
третий

МОСКВА  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»  
1987

ББК 84Р7  
Л 65

Л  $\frac{4702010200-065}{078(02)-87}$  — Свод. пл. подписных изд. 1987



# Паводок

## ПОВЕСТЬ

*Доброму человеку бывает стыдно  
даже перед собакой.*

*А. П. Чехов*

24 мая. Полдень

## СЛАВА ГУСЕВ

Вертолет завис над проплешиной между прибрежными кустами.

Сверху снег казался голубым, а тени от деревьев синели фиолетовой акварелью. Говорить и даже кричать теперь было бесполезно, не нужно, ни к чему, и Слава вышел из пилотской, устало сел у иллюминатора.

Два раза, надрывая глотку, он заставил вертолетчиков обойти триангуляционную вышку, пока окончательно не убедился сам, что они правы и что, кроме этой проплешины, ближе к вышке подходящей площадки нет.

Можно было, конечно, выбросить лестницу, спуститься по ней, но «можно» лишь теоретически — спуститься действительно можно, но лишь самим, огромные тюки с едой, палаткой, а главное — с приборами, никак не выгрузишь, не выбросишь, хотя вниз и снег. Этого не позволяла инструкция и прежде всего здравый смысл, а здравый смысл был для Славы главной инструкцией.

Он махнул рукой, вышел из пилотской и теперь разглядывал, как там, за иллюминатором, гнутся от ветра, который гонит лопасти, голые кусты в рыхлом, осевшем снегу, как тень вертолета, похожая на странного жука, отраженного на белом полотне экрана, медленно приближается к нему, как земля становится все ближе, ближе...

Кабину качнуло, вертолет взвыл винтами, пробуя, устойчиво ли встали его ноги, потом разом умолк; на

снегу, мельтеша все медленнее, закрутилась видимая теперь тень винта. Слава шагнул к двери, отстегнул пружину, прихватившую ручку, и зажмурился.

Снег, синеватый сверху, слепил глаза ярким, искрящим полотном. Слава рассмеялся и прыгнул вниз. Снег был волглый от весенней сырости, крупитчатый, словно грубая соль, но чистый, потому что ничто не могло грязнить его тут, в глубине тайги, отгороженной от ветров высокостволым сосняком.

Хлопнуло стеклышко в пилотской кабине, веснушчатый летчик, совсем пацан, высунул по шею голову, освобожденную от вечных наушников, плюнул для блезиру длинной хулиганской струйкой и крикнул Славе хозяйским, начальственным басом, зная, что теперь, сойдя с вертолета, Гусев обратно к нему не полезет.

— Ну, вы, кор-роче!

— Я те попонужаю, кузничик! — рыкнул Слава, не переставая улыбаться и разглядывать веснушчатое лицо пилота: грубоватые и высокомерные с геодезистами, при Гусеве летчики высокомерие свое прятали. Таков уж был Слава Гусев — приземистый и широкий, как камбала, с такими же широкими ладонями, как будто отлитыми из железа, и с лицом — жестким, угловатым, широкоскулым, — как бы высеченным из дерева.

Слава Гусев был известен в поселке своей силой, сдержанной, однако, его темпераментом и характером. Силу хулиганскую, разудалую или пьяную, люди в крайнем случае просто боятся, но уж никогда ни за что не уважают — уважения достойна лишь сила сдержанная, которой стесняются, которую зазря не показывают. Один только раз пришлось применить ее Славе Гусеву принародно — когда прицепились к нему три пьяных заезжих уркагана, которых занесло на Север за длинным рублем. Уркаганы уже поигрывали ножиками, не стесняясь прохожих, — милицию в тутошних краях скоро не сыщешь, — но Слава уgomонил их; непривычный к дракам, он неловко махнул несколько раз своей широкой ладонью, метя по шеям, порезался, правда, слегка о ножик, но шпана повалилась наземь. Слава связал им руки шарфами и пошел в контору вызывать участкового. Сделал он все это не спеша, словно выполнил работу малоприятную, но нужную, стыдясь при этом случайных зрителей, оказавшихся вблизи.

Как это бывает с физически сильными людьми, Слава преимущества своего никогда не использовал, не хвастался им, не гнул прилюдно подков. В поселке, в городе им то и дело овладевала странная застенчивость, и вольно он чувствовал себя только здесь, в тайге, среди немногих своих товарищей, и только тут, да и то изредка, под настроение, его захватывало неожиданное для него самого озорство.

Оказавшись в снегу, Слава гоготнул, принял первый куль, самый тяжелый, с приборами, потом выбрался из сугроба, просемафорил остальным. Из кабинки, разбежавшись, выскочил в снег Орелик — Валька Орлов, по пояс воткнулся в сугроб, с трудом выбрался, дурачась, они приняли груз, скидывая его как попало — потом все разложат, раскинут палатку как полагается, — тут уж у Гусева будет полный порядок. Перекрикиваясь с летчиком, поругивая его, обзывая таксистом и извозчиком, который, желая получить на чай, издевается над пассажирами, Слава принял груз, подсчитывая про себя количество тюков, потом по лесенке солидно спустился дядя Коля Симонов, за ним спрыгнул Семка Петрущенко.

Настала очередь летчиков. Захлопнув форточку, они включили двигатели. Винты, стремительно раскручиваясь, оглушили ветром, свистом и грохотом. Словно мстя за шутейную руготню не в их пользу, вертолетчики взлетать не торопились и поднялись, когда уже не стало никакого терпезу и перепонки в ушах, казалось, вот-вот лопнут.

Вертолет поднялся, покрутил хвостом, как вертящая стрекоза, и исчез за сосняком, а Слава все еще не мог услышать, что говорят другие, — уши словно заложило ватой.

Да он и не старался, уселся на куль с палаткой, достал пачку сигарет, закурил и, выдыхая дым, жадно оглянулся вокруг себя, как оглядывался всякий раз, попадая на новую точку. Вот уж сколько лет ходит Слава геодезистом — сперва простым рабочим, а теперь начальником группы, и всякий раз озирается с любопытством, и в эти первые минуты ему хочется гоготать, кидаться снежками, бороться с приятелями. Но он только сдержанно улыбался, осматривая новое место уже хозяйственно, как бы переключая свое внимание с пейзажа, радующего сердце, на рельеф местности,

высоту различных точек и топографические ориентиры.

Чуть выше, на холме, высилась триангуляционная вышка — лучше всего было бы подняться к ней, это было ясно с самого начала, еще там, в вертолете, но теперь перебираться бессмысленно — работы всего на два дня, а эта проплешина возле реки самая удобная площадка для вертолета.

Возвращаясь к своим заботам, Слава огляделся еще раз. И чтобы не таскаться туда да назад, чтобы сэкономить силы свои и троих помощников, которым и так за эти два дня, нужные для съемок, придется вдоволь набродиться по крупитчатому, а значит, рыхлому снегу, Слава решил, что лагерь они разобьют прямо здесь, в двадцати метрах от трех лунок, оставленных колесами вертолета, на небольшом пригорке, где можно хорошо разместить палатку и выгодно поставить антенну.

— Итак, будем знакомы, Петр Петрович. Я — следователь прокуратуры. Моя фамилия Семенов. Хотел бы предупредить вас, что в конце нашего разговора вам придется поставить под протоколом подпись. Так что лучше всего говорить четко, по порядку, подробно отвечая на поставленные вопросы.

— Что же это — вопрос?!

— Лучше назовем процедуру дознанием. Так давайте начнем с предыстории. Ваш год рождения?

— Тридцать пятый.

— Сколько лет вы в этой должности?

— Пять.

— А на изыскательской работе?

— Двенадцать.

— Значит, у вас большой опыт?

— Раньше считалось так.

— Что вы окончили?

— Институт инженеров геодезии, картографии и аэрофотосъемки.

— Тот же самый, что и Орлов?

— Тот же самый.

— Вы, конечно, не знали его по институту?

— Как я мог знать его, если он закончил институт в прошлом году? А я двенадцать лет назад.

— Ну, мало ли...

24 мая. 13 часов 20 минут

## ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

«Продолжаю письмо. Наш старшой согнал с нас семь потов, но за час мы поставили палатку, наладили рацию, сложили вещи. Сейчас объявлен перекур, наш радист Семка Петрущенко на примусе варит концентрат. Минут через двадцать поедем, и тут же настанет моя стихия, потому что, конечно, даже самому Гусеву не угнаться за мной в точности измерений, в расчетах привязки хода. Вот такие пирожки, Аленка.

Опишу тебе новую точку. Мы сидим на небольшом пятачке среди снежной равнины, впрочем, пятачок этот тоже снежный, просто он едва возвышается над приречной луговиной. Это было самое удобное место для посадки вертолета, и Гусев про себя, верно, решил, что мы тут и останемся, хотя подальше есть высотка с триангуляционной вышкой. Но тащиться туда сквозь кусты да еще по рыхлому снегу — безумие, неоправданная трата сил, которые нам и так пригодятся, и я, стараясь принять собственное решение еще до того, как объявит свое Гусев, был рад, что Славино и мое решения совпали. В прошлом письме и еще раньше я писал тебе про начальника нашей группы. Он довольно опытный человек, хотя закончил только техникум: еще одно доказательство, что знания без опыта теряют свою цену. Я знаю гораздо больше Гусева в чисто профессиональном отношении, но он знает и умеет куда больше меня в отношении житейском, практическом. А без этого в поле нельзя. Поэтому я и стараюсь, ничего не говоря Гусеву, принимать собственные решения, — не из самолюбия, нет. А для того, чтобы, учась у него самостоятельности, которая меня, конечно, ждет в недалеком будущем, не быть слепым подражателем его поведения, его опыта. Часто наши решения не совпадают, и я стараюсь анализировать причину. Пытаюсь быть объективным. В большинстве случаев Гусев предусматривает в своих решениях то, чего я не знаю, и тут, как говорится, крыть нечем. Но иногда мне кажется, что мое решение было бы более верным, я говорю об этом Гусеву. Он смотрит на меня внимательно и, мне кажется, не понимает, чего я хочу. А однажды после такого вопроса он меня спросил:

«Ты чо, Орелик, — это он меня так ласкательно на-

зывает, — ты чо, говорит, на мое место сесть хочешь? Дак не выйдет. Я за начальствование свое надбавку приличную получаю, а у меня семья, дети». Я аж поперхнулся, стал объяснять ему, что даже не думал об этом, просто готовлю себя к самостоятельной работе, но мои слова, кажется, не произвели на него никакого впечатления. А семья у него действительно большая: родители жены, жена и трое детей, подумать только! Жена у него, правда, работает, но остальных он кормит, поэтому мы и костоломим, как проклятые, — Гусев зарабатывает на семью. Я бы поберег силы группы, вон и радист наш Семка — длинный, нескладный, прямо мальчишка-переросток — иногда поскуливает, что мы гоним как сумасшедшие, но лишь только поскуливает, не больше, и то когда Гусева поблизости нет: деньги ведь всем нравятся, мне тоже они нравятся, — знаешь, как приятно, вернувшись с поля, получить у кассира тугую пачку жизненно необходимых средств!

Впрочем, тебе этого пока не понять, да, может, и вовсе ни к чему: это я, мужчина, должен хлопотать о деньгах, для женщины это второе дело, хотя, впрочем, без денег шубу не сошьешь, как говорится. Ну ничего, ты скоро приедешь ко мне, как-нибудь уговорю ПэПэ отдать тебя в мою группу, и мы начнем вдвоем обхаживать эти урманы, эти просеки и луговины. Конечно, нас будет жрать комарье и гнус и будут жечь морозы, но зато, Ленка, мы будем вместе. И когда-нибудь приедем в институт, огрубелые, обветренные, я с черной окладистой бородой — кстати, уже начал ее отпускать, чтобы ты не узнала меня при встрече, — и наши замшелые пни — преподаватели и всякие там прочие аспирантики — увидят настоящих людей... Зовет кашевар. Обед готов. Потом мы сразу уйдем на съемку. Вечером напишу».

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение о людях Гусева. Я думаю, это поможет восстановить картину их психологического состояния в то время.

— Гусев — человек опытный, лесовик, но не очень далекий. Образование — техникум. Привык выполнять работу «от» и «до». Радист у них новенький, совсем мальчишка, маменькин сынок. Я думаю, во многом виноват он. Если бы по его неопытности не упала антенна...

— *Дальше.*

— *Про Орлова я вам говорил, знаю его плохо. Он только начинал. Все, что знаю о нем, — учились в одном институте. Новичок, и этим все сказано.*

— *Там был еще один.*

— *Да, рабочий. Забыл его фамилию.*

— *Симонов.*

— *Точно, Симонов. Однофамилец поэта. Как это я...*

— *Он, кажется, был в заключении?*

— *Вот-вот. Темный тип, хотя мы вынуждены брать и таких, не хватает людей. Думаю, в общем, контингент группы не блистал. Поэтому так и случилось.*

— *Словом, вы считаете, что психологическая обстановка в группе не была идеальной.*

— *Мягко говоря...*

— *И это — одна из причин?*

— *Весьма существенных.*

*24 мая. 14 часов*

## НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Он шел первым, торя тропу к триангуляционной вышке. Идти было трудно, рыхлый снег проваливался до самой земли под тяжестью тела и тяжестью груза: за плечами висел штатив для прибора, а сам прибор, болтаясь на груди в неудобном футляре, оттягивал шею.

Идти было тяжело, но еще тяжелей было на душе, словно камень давил — как в тот день.

Но в тот день были причины, опять они полаялись с Кланькой, оттого он и пива выпил, и бутылку взял, хотя ее и не открывал, — да какой прок, что не открывал, к делу ее, однако, пришли. В общем, тогда камень давил справедливо, теперь же все это ерунда, одни впечатления, их надо топить — эти впечатления, чтоб не перли, иначе — худо дело, это уж он испытывал сто раз на проклятой отсидке. Но тогда была отсидка, какое-никакое, а заключение. Здесь же — другое дело, воля, хорошая работа, денежная, и ребята, слава богу, толковые, хорошие ребяташки, век бы с ними вековать, таскаться вот так по тайге и не вспоминать никогда эту Кланьку, быльем все оно зарасти, кабы не Шурик бело-

брысый, кабы не Санька его, Александр Николаевич Симонов, ученик третьего класса, девяти с половиной лет от роду...

Снег шуршал, проваливаясь. Выбирая сапоги, Симонов видел, как капала с них вода, слышал, как чавкала она под снежным прикрытием, промывая там, на глубине, извилистые дорожки. Это особенно чувствовалось в низинках: там воды было больше, снег уже не казался белым — он был тяжелым и серым на цвет.

Симонов, наклонясь, подхватил пригоршню и сжал ее: из снега, как из губки, закапала вода, и он крикнул, не оборачиваясь, Гусеву, который шел следом:

— Слышь, командир, весна-то нас настигает!

— Слышу! — ответил Гусев, но Симонов тотчас забыл и о своем вопросе, и об ответе начальника. Скоро предстоял перерыв, работы оставалось на пару дней, не больше, а вертолету лететь до них ровно пятнадцать минут от поселка, так что, считай, они уже дома. Два дня — и банька тебе, и побриться можно в поселковой парикмахерской, где тепло, приятно пахнет одеколоном и ты можешь даже вздремнуть от удовольствия, под тихое бормотанье парикмахерши и легкую музыку из репродуктора.

Было в предстоящем отдыхе много хорошего, но теперь, подумав об этом, Симонов понял, что тяжесть на душе, камень этот проклятый — тоже от недалекого будущего, от недолгого безделья, которое намечалось. За две, две с половиной недели Славка Гусев непременно успеет смотаться к своей обширной родне, Орелик улетит в институт, навестит подружку, Петрущенко тоже не останется, проведает мать, и только он один не стронется никуда из таежного поселка. Он будет ходить по два раза в кино — на детские сеансы и потом, вечером, брать в чайной по стакану горяченькой, но не больше, — на большее у него зарок; будет топтать сапогами весеннюю грязь, маясь своими мыслями, горюя о Шурике, проклиная Кланьку и не решаясь поехать в свой неприметный городок, где все это случилось, все произошло в тот, пропади он пропадом, не ровен час.

Даже самое простое не позволит себе Николай Симонов. Получив на почте пачку Кланькиных писем, не раскроет, даже выпивши, ни одного, сунет в мешок, и



все, разве что злей станет топтать грязь, измеряя поселок в одном возможном направлении — вдоль единственной улицы, уставленной крепкими бревенчатыми пятистенками.

Он будет ходить эти две недели туда и сюда, и буфетчица Нюрка, навесив амбарный замок на дверь чайной после закрытия, станет следить за ним тоскливым вдовьим взглядом, открывая перспективы и предоставляя возможности, а он, бедолага, станет прятать глаза, с тоской кляня себя за однажды допущенную слабость, горюя и не зная выхода, а потом улетит снова в глушь, в безлюдье, чтобы опять терзать себя невыносимостью одиночества, непоправимого обмана и смертельной обиды, полученной от Кланьки.

Эх, Кланька, Кланька, паскудная твоя натура!

Симонов остановился, задохнувшись от воспоминаний, оглянулся вокруг, чтобы забыться, снял для охлаждения шапку.

От кудрявой его головы валил пар, давно не стриженная, неухоженная борода топорщилась лопатой, и Слава Гусев, взглянув на него, кротко улыбнулся, прикидывая, на кого же похож дядя Коля Симонов: то ли на цыгана, то ли на разбойника? Или на схимника какого, затворника из старообрядцев?

— Ну что встал, дядя Коля? — крикнул Валька Орлов, который шел третьим.

Симонов обернулся назад, напялил треух на голову и пошел дальше, думая о своем.

Называя его дядей, Валька не улыбался, выходило это у него всерьез, да, подумав-то, так ведь и получалось: Вальке — двадцать три, ему — сорок три, да плюс бородача, да еще отсидка, — все полсотни тянет он на вид с этими прибавлениями — одним вольным: хошь — носи, хошь — брейся, другим — невольным: судьба уж, видно, так распорядилась.

— *Каким образом группа Гусева оказалась на изысканиях до начала полевых работ? Ведь полевые работы в этих районах согласно инструкции могут быть начаты лишь после окончания паводка?*

— *Вы рассуждаете как формалист. Впрочем, я понимаю, вы защищаете букву закона. Нам же, практикам, во имя сути дела приходится иногда поступаться*

*буквой. Мы выполняем план. В конце концов, выполняем государственное задание. Это во-первых. Во-вторых, приказа, подчеркиваю, приказа о начале полевых работ не было. Так решено на общем собрании. Решено голосованием. Единогласно. Потому что люди не хотят сидеть без дела, а хотят заработать.*

*— Выходит, собрание голосует за нарушение инструкции и администрация тут ни при чем?*

*— Не будьте формалистом, призываю вас. Разберитесь в сути.*

*— Хорошо, разберемся в сути. А суть такова: любые полевые работы в поймах рек на время паводка прекращаются. Кем и как определяется начало паводка?*

*— Гидрометслужба дает сводку, вообще-то. Ну и на глаз. Группы, работающие в поймах, радируют о подъеме воды или обильном таянии.*

*24 мая. 17 часов*

#### СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

Семке было двадцать лет, и он все еще рос, рос до неприличия быстро, не успевая наращивать мышцы, а оттого походил на жердочку или на Паганеля. Самый молодой и самый длинный в их группе, он чуть не в половину перерос Славу Гусева, своего начальника, и очень смущался этим обстоятельством, потому что если он был вдвое длиннее Славы, то вдвое и слабее. Досадуя на свои физические недостатки, Семка про себя ругал себя «антенной», уже тысячу раз удивившись, как это никто в группе до сих пор не догадался прозвать его этой, лежащей на поверхности и такой точной кличкой. Но, удивляясь недогадливости товарищей, стыдясь своей длинноты и немощи, Семка все-таки имел и достоинства. К примеру, он очень гордился тем, что, окончив школу радистов, много зарабатывал и не боялся одиночества.

Деньги ему требовались, чтобы посылать матери — он посылал как можно больше, зная, как мать понесет корешок от извещения к соседям, гордясь за своего Семку, и как накупит к вечеру сластей по случаю перевода, и поставит самовар, а потом станет долго гля-

деть на фотографию, где Семка и умерший отец сняты вместе.

Семка часто думал в тайге о матери, хотя никогда никому не говорил об этом. Здесь после шумного города было много времени для самого себя, и Семка размышлял о своих приятелях, оставшихся дома, вспоминал фильмы, которые смотрел, и книги, которые прочел.

Часто ему становилось очень грустно, непонятно даже почему, и он вспоминал маму — морщинистое ее лицо: ей было шестьдесят, она часто жаловалась, что поздно родила Семку. Надо было раньше, но первые ее дети умирали, и она всякий раз суеверно боялась рожать. Семка был поздним ребенком и остался жить, мама очень боялась его потерять и опекала каждый его шаг, и он горячо с детства чувствовал безмерную материнскую любовь. Любовь эта не была, однако, исступленной или горькой, какой может быть любовь матери, изуверившейся в своем материнстве, напротив, мама любила Семку как-то устало, обессиленно, но очень светло. Входя в материнский дом, Семка чувствовал, что он как бы вступает в солнечную комнату, солнечную всегда, и что этот свет не угаснет до тех пор, пока жива мать.

Семке было всего двадцать лет, его не взяли в армию из-за зрения: он носил очки. Тогда он окончил школу радистов, закалялся, обливаясь холодной водой, изгоняя из себя недостатки, как он выражался, характера, и устроился в геодезическую партию. Мама не была против: она осветляла каждое Семкино решение, даже если в душе не соглашалась с ним, и он оказался тут, вдали от жилья и от мамы. Первое было ему безразлично, а о матери он забыть не мог и, оставшись один, словно заблудившийся телок, вспоминал маму, представляя ее морщинистое лицо, ее руки, ее голос.

Писать из тайги было невозможно, и Семка, пользуясь своей должностью, а также договоренностью с радистом отряда, которому, возвращаясь, выставлял мзду в стеклянной таре, отправлял маме дважды в неделю радиogramмы. Радист отряда пересылал их с попутным транспортом на телеграф, и мама, как казалось Семке, была спокойна. Деньги же он отправлял сам, вернувшись на короткий отдых в поселок — деньги эти, крупные суммы, имели особый смысл: Семка помнил, как

после давней смерти отца тяжело доставались они его не очень-то грамотной, без образования, маме.

Всякий раз, когда он приезжал домой, мама доставала из шкафа обновы, купленные Семке на его деньги, показывала возросшую цифру в сберкнижке, и Семка очень расстраивался, горячился, ругал мать за ненужную и глупую экономию. Мама получала теперь маленькую пенсию, деньги ей были, безусловно, необходимы, и Семка радовался большим заработкам. И очень гордился ими.

Ну, а смелость требовалась Семке исключительно по служебным соображениям. И для дальнейшего усовершенствования характера.

По долгу службы Семка часто оставался один, пока остальные уходили на съемку. Можно даже сказать, что он почти всегда оставался один и должен был к приходу группы сварганить обед, постаравшись схлопотать свежатинки, а также наладить связь и получить радиоуказание от вышестоящего начальства. По расписанию Семке полагалась Славина двустволка, и у Семки появилась возможность охотиться, а также самоутверждаться.

Охотиться Семка очень любил, стараясь, правда, не отходить далеко от лагеря. Однажды, когда Семка ушел подальше, он вернулся к настоящему разгрому: антенна была сломана, палатка повалена, мешок с припасами разодран, а банки со сгущенкой основательно измяты. Как установили эксперты во главе с дядей Колей Симоновым, в Семкино отсутствие в лагере пошуровал шатун. Дядя Коля Симонов при этом причитал, благодарил судьбу за то, что Семка ушел подальше и не встретился с медведем, но от Славы радист получил нагоняй и указание: охотиться в пределах видимости и слышимости лагеря.

Теперь Семка бродил по замкнутому кругу, имея в одном стволе дробь — для дичи, в другом «жакан» — для медведя. Шатуны, однако, больше не попадались, зато дичь Семка и вправду выучился бить довольно метко, хотя и не очень стремился к этому: зайца ли, глухаря или тетерку надо было обдирать, потрошить, палить, а делать это Семка ленился. Еда из концентратов получалась при меньших затратах труда и казалась Семке не менее вкусным и уж по крайней мере весьма оптимальным вариантом. И только Славины или дяди

Коли Симонова укору пробуждали в нем охотничью инициативу. Любовь к охоте соединялась в Семке с некоторой долей лени.

В тот раз, после ухода группы, Семка с одного выстрела убил тетерку и, перекинув ее через плечо, пошел к лагерю.

Солнце палило прямыми, близкими лучами — вполне можно было загорать, — Семка насвистывал во всю мощь какую-то мелодию, сердце его колотилось от успеха и предстоящих похвал. Как всегда, когда ему удавалось добыть дичь, он представлял себя не здесь, в этом таежном одиночестве, а дома, во дворе, где, появившись он с такой добычей, разом бы распахнулись все окна, к нему набежала бы ребятня, в один миг он стал бы замечательным человеком и героем даже среди взрослых. А тут он приносил зайцев, тетерок, куропаток, глухарей — огромных, от плеча до земли, и это считалось вполне естественным, обыкновенным. Лишь Орелик, Валька Орлов, иногда удивлялся, но Валька — интеллигентный человек, только что окончил институт, он еще сам новичок, а на Славу Гусева или на дядю Колю Симонова эти охотничьи добычи никакого впечатления не производят.

Семка шел по снежной целине, раздумывая о том, что через два дня, вернувшись в поселок, он из денег, отложенных маме, возьмет, пожалуй, некоторую сумму для давно и крайне необходимой вещи. Он купит фотоаппарат, запасется пленкой, и когда через две недели группа снова прилетит в тайгу, он снимется с добычей после первой же удачной охоты, а потом пошлет карточки домой.

Семка снова засвистел, перехватил тетерку в другую руку и испуганно охнул.

Снег под ним податливо провалился, теряя опору, Семка замолотил ногами и очутился по пояс в ледяной воде. Он тотчас выскочил из нее, вылетел пробкой и с удивлением обернулся. Куски снега, шурша, отваливались в бочажину, наполненную прозрачной талой водой. Семка выругался и рысью побежал к лагерю. Вода хлупала в сапогах, из ружейных стволов пролились две тонкие струйки; мокрой была и тетерка.

Оранжевое, почти прозрачное на солнце пламя костра затрепетало в сухом сушняке, и Семка, подпрыгивая, скинул сапоги, переоделся и начал ощипывать тетерку, развесив на горячем солнце мокрую одежду.

В конце концов, ничего страшного: ну, подумаешь, провалился в ледяную воду. Семка стал думать, как расскажет он об этом случае матери и как будет она волноваться, размахивать руками и наказывать, чтобы он был там, в тайге, среди медведей и прочих таких опасностей, поаккуратнее. В горле защекотало, Семка подумал взросло, что жизнь жестока, разъединяя близких и одиноких людей. Он вспомнил руки матери, ее голос и оборвал себя, преодолевая недостатки характера: что же это, в конце концов, опять расхляпался, как девчонка.

В котле, побулькивая, закипала вода, и Семка решил, что сегодня все будут довольны им, его удачливостью, его меткостью. Нет, в конце концов, он тут нужный человек. А вот пройдет годик-другой, поднатореет он поосновательней в радиоделе, и за него еще станут драться начальники групп, партий, а то и целых отрядов. Кто не знает, что настоящему радисту цены нет и что такие радисты сами выбирают, где и с кем им работать.

— Сводка Гидрометслужбы, Петр Петрович, как подтверждают свидетели, лежала на вашем столе. Отрицаете ли вы этот факт?

— Нет, действительно допустил халатность. Забыл сводку, вместо того чтобы передать ее начальнику партии Цветковой. В пойме Енисея работала только одна группа, Гусева, подчиненная ей.

— Так что вы признаете?

— Признаю, хотя и не считаю это решающим фактом. В сложившейся ситуации люди Гусева, и прежде всего он сам, должны были искать выход.

— Они могли радировать и радировали, когда паводок уже начался.

— Если бы с самого начала Гусев правильно выбрал расположение лагеря, ничего бы не случилось. Контролировать такие действия Гусева мы не можем и не должны.

— Значит...

— Значит, виноват Гусев.

— Один вопрос. А как бы поступили вы?

— Выбрал бы безопасную точку.

— Это можно говорить задним, так сказать, числом.

*А если бы вы знали, что рядом, в пятнадцати минутах лета, находится отряд, вертолеты, друзья?*

*— На друга надейся, а сам не плошай — так говорит народная мудрость.*

*24 мая. 17 часов 30 минут*

## КИРА ЦВЕТКОВА

В двадцать восемь лет Кира никак не могла привыкнуть к тому, что ее зовут по имени-отчеству: Кира Васильевна. Вечерами, перед тем как лечь спать, размазывая жиденькую мышиную косичку, она глядела на себя в зеркало и в эти минуты, оставаясь наедине с собой, всякий раз удивлялась своей жизни, удивлялась ее течению, которое против воли самой Киры вынесло вот сюда, на край земли, и поставило командовать мужчинами.

В школе тощенькая, маленькая, невзрачная Кира училась весьма средне, дважды оставалась на второй год — в шестом и в восьмом, на троечках, которые ставились с натяжкой, доплелась до десятого, мечтая о том, чтобы найти техникум или институт себе по силам и по способностям. Скажем, педагогический, чтобы стать потом учителем в первых классах — с первышами хоть и хлопотно, но легко в смысле наук: сложению там, вычитанию или правописанию выучиться, в конце концов, можно.

Учась в школе, Кира только и думала о том, чтобы скорее покончить с учением, привыкнуть к будущей работе, успокоиться наконец. Учение вызывало у нее головные боли, внутреннюю опустошенность и безволие — она легко уставала, никогда не отличалась самостоятельностью, во всем подчиняясь жизнерадостным и энергичным подружкам.

Подружки же увлекли ее от пединститута совсем в другую сторону. Две самые озорные, сильные из них поступили на геологический факультет; поддавшись уговорам, на экзамены с ними пошла и Кира и по шпаргалкам, которые перекидывали ей подружки, успешно сдала вступительные. На факультете учились почти одни ребята, девушки поступать туда не решались, считая будущую специальность мужской работой, и Кира неожиданно извлекла из этого пользу.

Ребята, полагая своим долгом опеку над немногими девушками, всячески выручали их — и на контрольных, и на экзаменах, помогали чертить, решать задачи, и Кира выплыла, успешно получила диплом и институтский ромбик, не изменяясь, впрочем, за эти годы ничуть и ни в чем. Подружки ее еще на третьем курсе повыскакивали замуж, но Кирина кротость и невзрачность так и не привлекли никого, ребята предпочитали оставаться с ней хорошими товарищами, но не больше, и Кира, завидуя подружкам, вынужденным по праву материнства остаться в городах, уехала в тайгу.

Геологом она, однако, так и не стала; оглядев ее хрупкую фигуру, начальство сразу определило ее в геофизический отряд и сразу на командную должность — рядовым инженером-геодезистом никто поставить ее не рискнул.

Три года Кира жила в лесном поселке, подписывала бумаги, следила за передвижением своих групп, выполнением плана, иногда вылетала вертолетом на точки, где работали люди, но тут же, даже не ночуя, возвращалась, и все шло вроде бы своим чередом, тем более что ПэПэ, Петр Петрович Кирьянов, начальник отряда, хозяйничать ей не позволял и все решал сам.

Такое положение Киру устраивало, в конце концов, ПэПэ знает дело куда лучше ее, и она никогда не отклонялась от четко заданной программы: все, что ей нужно и не нужно решать, — согласовывать с Кирьяновым.

Кирьянов производил на Киру гипнотизирующее действие. Огромный, мускулистый, почти квадратный, со звонким, раскатистым голосом, он, казалось, был создан для того, чтобы жить в тайге и командовать людьми, работающими в тайге.

Иногда, разговаривая с Кирьяновым, Кира думала, что, случись война, его немедленно надо было сделать генералом — этот человек был военным по натуре; для него не существовало отдельных людей, он командовал группами, партиями, всем отрядом, как воинскими подразделениями: четко, кратко, не споря и не обсуждая своих решений. Ему или подчинялись беспрекословно, как на войне, или очень скоро вылетали из отряда. Вдогонку свободолюбцам Кирьянов слал резкие, как реляции, характеристики с такими выражениями, что уехавших не очень-то брали в другие отряды, потому что



Кириянов числился образцовым начальником. Отряд всегда выполнял план, рабочие, техники, инженеры — все получали приличные премии, и Кириянов был неуязвим.

Словом, ПэПэ Киру вполне устраивал, с таким начальством ей, существу бесхарактерному и нерешительному, жилось совсем не худо, к тому же Кириянов проявлял к ней видимое уважение, называя ее Кирой Васильевной, и Кира это ценила. Она была человеком неуверенным в себе и всякое поощрение к уверенности воспринимала чутко и благодарно.

В половине шестого двадцать четвертого мая она зашла в контору начальника отряда и, получив любезное приглашение Кириянова сесть, доложила ему о расположении групп на истекающие сутки.

Большинство групп успешно заканчивали месячный план, люди Гусева переброшены сегодня на новую точку в пойме Енисея. Дня через два-три они будут доставлены в поселок.

Кириянов смотрел на Киру Васильевну улыбаясь и, казалось, не слушал ее слов.

— Ну, что вы все про работу и про работу? — спросил он, поднимаясь и прохаживаясь по комнате. — Давайте лучше про жизнь! Вот, например, у меня завтра день рождения. Приходите! Выпьем, потанцуем!

Кира, которую легко было сбить с толку, покраснела, сконфузилась, а Кириянов подошел к ней и протянул свою огромную ручищу. Соглашаясь с предложением, Кира кивнула, краснея еще больше, положила ладонь в руку ПэПэ, и тот осторожно прикрыл ее своими здоровенными, увитыми черной порослью пальцами.

— *Каков порядок ваших отношений с вертолетчиками? Кому они подчиняются?*

— *Естественно, Аэрофлоту. У звена вертолетов, которые нас обслуживают, свое командование, они автономны.*

— *Ну а на практике?*

— *А на практике система примерно такая же, как при отношениях какой-нибудь организации с гаражом. Машины арендуем мы, деньги наши, ну и звено выполняет любые наши требования. Какой смысл им портить отношения с нами? Все ведь люди, сами понимаете, в этом никакого секрета нет.*

— Какова же все-таки цепочка ваших формальных отношений?

— Зарплату, для простоты и из-за дальности ближайшей аэрофлотовской точки, пилоты получают у нас. Метеообстановку — то есть могут они лететь или нет — пилоты получают из метеоцентра, а часто определяют сами. От отряда к машинам прикреплен наш человек, вроде экспедитора. Он и передает пилотам наши требования, почти всегда сопровождает машину, планирует рейсы.

— Кто это?

— Храбриков. Сергей Иванович.

24 мая. 19 часов

### СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ

Сергею Ивановичу Храбрикову исполнилось пятьдесят два года, он был самым пожилым человеком во всем отряде, выполняя при этом, правда, самую малопочтенную работу — числился вроде бы экспедитором, фактически являясь ответственным за вертолеты. Мальчиком на побегушках служить было не очень-то приятно, особенно когда все вокруг на два-три десятка моложе тебя, но Сергей Иванович Храбриков старался не придавать этому никакого значения. Из дальних российских мест он, мужик себе на уме, прибыл сюда не за почетом или славой, а затем, чтобы в краях, где год приравнивается к двум, поскорее достичь пенсионного стажа, заработав при этом пенсию предельного размера.

И прежде, в городе, где он жил и оставил теперь жену со взрослыми сыновьями ради своего предприятия, Сергей Иванович должностей не занимал, был все более при должностях, поняв давно, что если на должности назначают, то ведь с них и снимают. А если ты не ленив и глупо не тщеславен, то твоя личность и твои услуги всегда могут пригодиться, независимо от погоды и направления ветра.

Более всего Храбриков обожал должности завхозов, но здесь, в геодезическом отряде, это место оказалось, во-первых, занятым, а во-вторых, материально уж очень ответственным — на завхозе лежала забота за десятки дорогостоящих палаток, раций, геодезических приборов, словом, за тысячи рублей, и, махнув рукой, Сергей Ива-

нович пристроился к вертолетам — на работу более хлопотную, но имеющую свои явные преимущества.

Вертолеты арендовались у Аэрофлота исключительно для переброски групп с точки на точку; это был единственный способ передвижения в тайге даже летом, и скоро, очень скоро Храбриков сумел поставить себя так, что оказался как бы единственным и полномочным хозяином вертолетов: пилоты подчинялись только ему; разные там сопляки-мальчишки — начальники групп, партий и прочие, не говоря о рядовых инженерах и техниках, зависели от Храбрикова Сергея Ивановича, человека с большими полномочиями и правами.

Надо, правда, сказать, что никто таких полномочий ему не давал, просто экспедитор подчинялся лично начальнику отряда, и уже исключительной заслугой Храбрикова было то обстоятельство, что он сосредоточил в себе часть власти и могущества Кирьянова.

Сближение самого большого человека в поселке с самым, казалось бы, маленьким происходило очень незаметно и как бы невзначай.

Когда к Храбрикову приходила очередная группа, кто-нибудь из специалистов отряда или какой-нибудь начальник партии и требовали вертолет для того-то и того-то, Сергей Иванович не торопился бежать к машинам и исполнять команду, а звонил всякий раз Кирьянову и удостоверился, действительно ли такому-то или такому-то необходимо предоставить вертолет. Кирьянова поначалу эти звонки раздражали, но потом он понял, что звонит Храбриков не напрасно, а почти всякий раз стремясь то ли соединить два рейса в одно направление, то ли задерживая один полет для того, чтобы одновременно закинуть продукты или вывезти больного, — словом, всячески экономит. Кирьянов обрадовался появлению такого работника — предыдущий экспедитор был добряга-парень и гонял машины почем зря, несколько не заботясь об экономии, а вертолеты стоили жуткие деньги.

Храбриков знал тысячи способов с пользой подъехать к начальству, пусть поначалу без видимой пользы для себя лично, это ничего, не страшно, хорошее отношение скажется в нужную минуту, и к Кирьянову он применил способ не самый уж и мудреный.

Ежемесячно экономя порядочные деньги на вертолетах, он как-то пожаловался Кирьянову, когда они

были вдвоем, что тяжеловато ему, пожилому человеку, в Сибири, почти без выходных, без старых, годами выработанных привычек.

— Каких привычек? — спросил Кирьянов, скорее механически, чем из интереса.

— Да вот, в России-то рыбалил каждое воскресенье с сынами, — робко сказал Храбриков, хмурясь на весеннее солнце. — А тут рыбищи этой — греби, не хочу, а ведь и некогда.

— Вот те и некогда. Бери снасть какую хочешь, — сказал Кирьянов, — я разрешаю, да и рыбачь с богом.

— Эх, Петр Петрович, — прокряхтел Храбриков, — какая там снасть, не поняли вы меня, глушануть бы ее хорошенько, да и обеспечить всех, кого надобно. А рыбка-то здесь — что там говорить, и стерлядка, и таймень, и краснорыбца.

Кирьянов был охотником, рыбалку не признавал, как это часто бывает среди охотников, но и не о рыбалке шла речь — он понял сразу, а ответил дипломатично:

— Чего ж тебе надо?

— Толу малость да вертолет.

Кирьянов внимательно оглядел экспедитора. Храбриков был худощав, но жилист, маленькие серые глазки его, утопшие среди припухших век, выражали спокойствие и рассудительность и смотрели прямо на Кирьянова, не мигая.

«Что ж, — ухмыльнулся про себя Кирьянов, — на этого, кажется, положиться можно, хитер мужик, такой не подведет, потому что играет на себя, на свою пользу, заодно и мне удружить желает, чего ж я должен упрячиться?»

И сказал Храбрикову:

— Тол я тебе выпишу, а вертолеты в твоих руках.

Храбриков не кивнул, еле заметно прищурил глаза, ничего не сказал, а через сутки, в сумерки, когда Кирьянов окончил служебные дела и хотел было выйти прогуляться, появился на пороге с большой бельевой корзиной, плотно укутанной холстиной. Деловито прикрыв дверь, Храбриков тряпицу откинул, и Кирьянов увидел рыбу, прекрасную рыбу, уложенную ровными рядами.

— Экий ты мастак! — удивился Кирьянов, радуясь в душе, что не имеет к этой рыбе никакого отношения, за такое даже его по головке не погладят, теперь ведь

в самой глухомани найдутся прокуроры, а сам сказал: — Куда ж ее столько?

— Полагаю, Петр Петрович, — снимая картуз и стирая пот с лысины, ответил Храбриков, — ушицы я вам и без того сготовлю, отдавать же в столовую — рисков, так как дело незаконное, даже можно сказать, подсудное. Потому предлагаю, чтобы дали вы мне адресок вашей семейки, письмецо и разрешение — устное, конечно, — слетать до станции и отправить корзинку с поездом к вам домой.

— Ну, это ты загнул, — удивился Кирьянов, — до станции без малого триста километров да обратно триста.

— Зато рыбкой своих обеспечите, — улыбнулся Храбриков, — а насчет километров не беспокойтесь, у нас большая экономия.

Кирьянов еще раз пригляделся к этому щуплому мужичонке, лысому, обросшему щетиной, и ему жаль стало его — жаль стало неоцененную преданность этого человека, хорошего в общем-то работника, его хлопоты, его всю эту доброжелательную суету, и он ответил:

— Ну, как знаешь. Хозяйничай сам, раз сэкономил, но меня в это не вмешивай.

— Хорошо, — засуетился Храбриков, — будет сделано и так, Петр Петрович, — но письмо домой и адрес жены у Кирьянова забрал, исчез в полутьме.

Еще через день Кирьянов получил от жены восторженную, полную намеков на какую-то секретность телеграмму, усмехнулся, одобрил Храбрикова, его четкую работу, а главное — одобрил экспедитора за то, что тот как бы выключил его, Кирьянова, из этого дела, все сделал без него. Это было свидетельством действительной преданности, а преданность, считал Кирьянов, надо ценить, и положился на Сергея Ивановича.

Теперь они стали как бы друзьями, не переходя, правда, границу: Сергей Иванович обращался к Кирьянову на «вы», Кирьянов говорил Храбрикову «ты», несмотря на разницу в возрасте — тут были свои правила и свои привычки, в которые оба свято и искренне верили.

Рыбные посылки шли теперь регулярно, и Кирьянов по-прежнему не имел к ним никакого отношения. Больше того, он теперь узнавал о них только из телеграмм

или писем жены. К таким радикальным мерам его вынудил все тот же Храбриков, который едва не вмазал его в нечистоплотную историю, да, слава богу, он вовремя поставил его на место.

Ту историю, как выражался Кирьянов, Сергей Иванович тоже прекрасно помнил, хотя ничего нечистоплотного в ней не видел, даже скорей, наоборот, он проявил по отношению к начальнику предельную честность и искренность.

Нечистоплотностью, видите ли, Кирьянов объявил тот первый случай с рыбой, когда Сергей Иванович переправлял посылку на станцию. Заплатив проводнику четвертную, он наказал доставить одну корзину семье Кирьянова, а остальные три, о которых Кирьянов не знал, но догадываться мог, верному человеку, старому приятелю Храбрикова. Выручку поделили на троих, и экспедитор искренне предложил Кирьянову долю.

Тот покраснел, заорал, стих, правда, быстро, но от денег наотрез отказался, объявив это нечистоплотным занятием.

Ну бог с ним, Сергей Иванович не больно-то огорчился: теперь две трети шли ему.

В девятнадцать часов двадцать четвертого, закончив свои дела, Храбриков пришел в поселковую сберкасса, чтобы положить полученные из города телеграфным переводом две сотни.

Копейка к копейке рубль бережет. Все эти сотни, по мнению Храбрикова, были залогом будущего счастливого пенсионерства.

— Итак, анализируя расстановку сил накануне происшествия, вы считаете, что Гусев был обязан страховать себя выбором другой, надежной точки для лагеря? Ладно. Будем полагать, вы правы, обстоятельства могут сложиться по-всякому. Но в конкретной истории? Исключительных обстоятельств не было. Гусев радировал вовремя, более чем вовремя: и у него, и у нас был громадный запас времени. И все-таки вы не помогли.

— Так сказать нельзя. Помогли, но с опозданием.

— Слушайте, Петр Петрович, а вам не страшно?

— Не пугайте меня, я пуганый!

— Я не пугаю. Я спрашиваю: вам не страшно вот так говорить? Словно речь идет... ну, о невыполнении

плана, что ли? Или о еще каком-нибудь недостатке, который можно устранить, исправить.

— Что это вы мне морали читаете? Ваше дело — вести следствие!

— Ну, хорошо, Петр Петрович. Один вопрос не для протокола. За что вас зовут «губернатором»?

— Это имеет значение для следствия?

— Нет. Лично для меня.

— Когда будете прокурором, начальником следственного отдела или как там еще, и вас за глаза как-нибудь прозовут.

— Вы считаете это неотъемлемой частью любого руководителя?

— Каждый, кому дана власть, автоматически получает и недоброжелателей. Если он со всеми будет ладить, значит, никудышный руководитель.

— Мысль не новая, хотя и справедливая. Но всегда ли справедливая? Всеобща ли она?

24 мая. 19 часов 10 минут

#### ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

ПэПэ, как звали за глаза Петра Петровича Кирьянова, гордился своим ростом — 192 сантиметра, и весом — 120 килограммов. Человек далеко не глупый, он, бесспорно, понимал, что физические данные не играют важной роли в том деле, которое он выполняет, и все-таки скидывать данное богом со счетов не собирался.

В душе заурядный актер, в жизни он играл иногда довольно удачно. Используя подходящий момент на совещании или в резком разговоре с человеком, он сначала как бы сникал, вжимал в стол могучие бицепсы, стараясь казаться незаметным, невзрачным, потом резко распрямлялся, вскакивал, повисая над человеком или над людьми громадой своей двадцатикилограммовой туши, приглушал, в противовес внешним действиям, голос, который от этого рокотал внятно, с железным звоном, и действовал тем на окружающих, за редким исключением, безотказно.

Умение использовать физические данные было заложено в Кирьянове, видимо, от рождения. В послевоенной мужской школе, где культ силы считался как бы законным, он был бессменным и непререкаемым

авторитетом. Сам он, правда, ужасно не любил драк, питая отвращение к заранее известной слабости противника, но уж так выходило, что вокруг него, как возле баррикады, вечно происходили какие-то сражения, и он наделялся правами третейского судьи, беря под свою опеку то одних, то других. Возле Кирьянова всегда крутилась какая-то компания, лстя ему, предлагая покурить. Одаренный живым умом, он отвергал лесть, справедливо полагая, что сила ему дана от рождения и сам он тут ни при чем. Отказываясь от курева как проявления почитания, Кирьянов был почитаем еще более; беря чью-нибудь сторону, он никогда не допускал ее к себе вплотную, оставаясь независимым.

Классе в седьмом случился, правда, конфликт благодаря этой его независимости. Она возмутила одну из школьных компаний, которую он тогда поддерживал, парни решили проучить эту стоеросовую, как они выразились, дубину и вечером в подворотне устроили Кире «темную» — их было человек десять, — но Петькина сила превзошла их расчеты.

Он раскидал эту компанию. Троицким или четверым насадил фингалы прямо там, в подворотне, делая это основательно, — лупя противника затылком о забор, давал «леща» по носу, нокаутировал в подбородок, доводя тем самым врага до полного изнеможения.

С остальными Кирьянов рассчитался наутро, прямо в школе, жестоко и открыто. Он не стал никого караулить в подворотнях, как сделали его бывшие приятели, он вошел в класс, сунул в парту сумку и отправился в коридор.

Начал он с одного девятиклассника. Взяв его за горло на глазах у онемевшего коридора, Кирьянов поставил врага на колени и двумя сильнейшими ударами свалил его на пол. Девятиклассник валялся в брызгах собственной крови, а Киря с невозмутимым, железным лицом мордовал следующего, хотя тот и отпирался, что он был вчера в подворотне, и ревел, умолял его не трогать. Петька верил его словам, но тем не менее поступил так же, как с девятиклассником, — для профилактики и по инерции.

Избиение продолжалось до самого звонка, но Кирьянов не успокоился и тогда — с застывшим, даже равнодушным лицом он вошел в параллельный седьмой, где шел урок безвольного учителя черчения, и



прямо при нем загнал в угол последнего из врагов, пока тот не последовал примеру остальных и не свалился на пол.

Школа как бы задохнулась от происшедшего. Учитель черчения убежал к директору, немедленно был созван педсовет, и многие классы бесновались, освобожденные от учителей. Кирьянова позвали в директорский кабинет, он вошел, обмотав правую руку, разбитую о зубы противника, платком. Лицо директора было бледным — такой жестокости и такой наглости даже в мужской школе никогда не бывало, но тем не менее педсовет продолжался минуты три, не больше.

Кирьянов не стал молчать, не стал отрицать ничего из содеянного, он просто рассказал все, как было — и про вчерашнюю подворотню, и про ночную драку, когда десятеро было против одного. Директор подергал губами, но ничего не сказал, отправив его в класс. Педсовет не принял никакого решения — по существу, Кирьянов был прав, тем более что никогда ранее в подобных драках не замечался, и если уж этот увалень устроил столь свирепую расправу, значит, все действительно так. Директор, измученный бурсацкой обстановкой, царившей в школе, решил поддержать обиженного Кирьянова, дабы приостановить бесчисленные драки этим поучительным примером. К тому же избитые противники Кири после вызова к директору и допросов с пристрастием подтвердили вчерашнюю «темную».

Кирьянов после этого стал в школе олимпийским богом. На его независимость никто никогда не посягал, а сам Киря сделал важный для себя вывод: ни за кого не заступаться, никого не поддерживать, кроме себя.

Как ни странно, оказался прав и директор: драки в школе резко сократились. Откровенная жестокость Кирьянова, бывшая объективно актом мести, а значит, благородства, отрезвила некоторые азартные головы. Но сам он вдруг уверовал в свою беспредельную безнаказанность.

С тех пор прошло много лет, и ни разу больше Кирьянов не дрался, даже в энергичные студенческие годы. Со временем он заматерел, стал мощней, бицепсы его выпирали стальными буграми; в противовес рано лысеющей голове он отпустил колючую бороду и выучился громогласно, несколько театрально хохотать, так что стоило ему лишь появиться в назревающей обста-

повке и громко, рычаще захохотать, как предстоящая драка словно бы испарялась, люди враз успокаивались и потихоньку расходились.

В студенческие годы Кирьянов любил бродить по городу с красной повязкой на рукаве; улицы, где он дежурил, были всегда образцовыми в смысле общественного порядка, его, как своеобразный символ бригадила, всегда усаживали в президиумы. милицеевских и прочих общественных заседаний, щедро одаряли грамотами и наручными часами, и как-то незаметно получилось, что Кирьянов — замечательный активист, за которым укрепилась слава хорошего, толкового и нужного человека.

Окончив институт, Кирьянов сразу стал начальником группы, работал легко, играючи, беззаботно перенося тяготы полевой жизни, потом быстро стал любимцем среди начальников партий, а когда ушел в управление бывший начальник отряда, сомнений ни у кого не было: на его место назначили Кирьянова.

Продолжая актерствовать, Киря, который стал теперь ПэПэ, умел вести себя в управлении, изображал там такого неотесанного, но добродушного увальня, добродушно отваливал своим шефам окорока копченой медвежатины, кули брусники, мешки кедровой шишки, всякий раз поражая воображение бывших геодезистов, а нынешних горожан какой-нибудь рассибирской новинкой. Например, настойкой из сырого кедрового ореха, напоминавшей «рижский бальзам», драгоценной иконкой из отдаленного монастыря, старой книгой или осетром в человеческий рост, которые Кирьянов вез, возвращаясь в управление, самолетом, специально милым друзьям, которые ждут не дождутся, когда чудаковатый Петька Кирьянов удивит еще какой-нибудь шутовщиной.

Впрочем, было бы несправедливо обвинять его в игре корыстной. Он делал это и бескорыстно. Он играл перед людьми, от которых ничего не хотел и которые даже были обязаны ему. Тот же Храбриков. Тут игра шла как бы за текстом. С этой пигалицей Цветковой Кирьянов играл для самоуважения, отыскивал в своей одремучившейся душе элементы галантности, хотя было бы искренней сто раз послать ее к черту, эту бездарную, бестолковую бабу.

Но так ПэПэ поступить не мог. От такого человека, как он, порой ждут и несправедливой справедливости,

снисхождения, доброты. Так что пусть эта никчемная, в сущности, доброта упадет лучше на это жалконькое и невредное существо, которое будет благодарно и счастливо.

После ухода Киры Цветковой Кирьянов набил «Золотым руном» трубку, закурил, подвинул маленькое настольное зеркальце, чтобы увидеть себя во всем великолепии — черная трубка с золотым ободком, привезенная из-за границы, жесткая серая борода, стальные светлые глаза, небрежно расстегнутая удобная фланелевая рубашка.

Он улыбнулся себе одними глазами, подошел в угол, где хранились охотничьи принадлежности, снял с гвоздя многозарядный карабин, подкинул его легко, одной рукой...

Завтра день рождения, черт побери, тридцать шесть лет, и к праздничному столу придется кокнуть лося.

Он задумался, выпуская струйки сизого дыма. Тридцать шесть — это, конечно, много, но ведь, как говорится, жизнь определяется не по сроку, который прожит, а по тому, сколько еще предстоит прожить.

В тридцать шесть командовать отрядом — это несколько посложнее, чем, скажем, в тридцать лет защитить докторскую. Там, в науке, ты один на один с самим собой, тут же все посложнее. Ты управляешь людьми, делом. И каким делом!

— Как вы понимаете ответственность руководителя?

— Я понимаю ответственность так: каждый отвечает за свое дело. В армии, к примеру, командир полка отвечает за успех боевых действий своего подразделения. И ему нет дела до каждого солдата. За то, чтобы солдат был сыт, например, отвечает старшина. За то, чтобы был готов к бою, — командир отделения. За его дух отвечает замполит.

— В армии — свои порядки. Да и то, я думаю, вы не правы. Хороший командир полка заботится и о том, чтобы солдат был сыт.

— Не исключаю. Он может об этом позаботиться, но не обязан. Не путайте обязанности с заботливостью. Ведь мы же говорим об ответственности. Отвечают за выполнение обязанностей, а не за заботливость или от-

*существо оной. То, что для меня будет сверхлюбопытством, заботливостью, для подчиненного мне руководителя — обыкновенная обязанность. Так пусть он за нее и отвечает.*

*— И такая программа у вас всегда? Или только в ситуациях, подобных этой?*

*— Всегда.*

*— Что ж, тем это страшней, мне кажется.*

*24 мая. 19 часов 30 минут*

### СЛАВА ГУСЕВ

Он отодвинул котелок, бросил в него дюралевую ложку и отвалился на рюкзак.

— Молоточек, Сема! Влил новые силы в усталый организм!

— Она, дичина-то, — поддержал дядя Коля Симонов, — кровь обновляет и силы придает. Древние люди, говорят, аж прямо так дичью кровь пили.

— Ну вот, опять за свое, — буркнул Орелик, — все о брюхе да о брюхе. Похвалили бы лучше охотника, вон он ради вас до сих пор обсохнуть не может.

— Обсохну! — лениво вякнул Семка, так же, как и начальник, откинувшись в сытости на мешок.

Слава Гусев обвел умиротворенным взглядом свою братию, славную свою геодезическую шайку, и подумал, что ему все-таки везет на парней. Семка — молоток, добрый, безотказный, золотой человек для всяких экспедиций, дядя Коля Симонов — просто лошадь, вытянет любой груз и поможет толково, без шума и крику, да что лошадь — не в том дело, — душа-человек. Дура набитая эта Кланька, что так себя повела... Валька Орлов — новый человек и не ахти какой, пока не обкатался, работник, хотя и с сомнением, но это городское, институтское — оботрется. Зато во всем остальном Валька вроде бы как порция свежего воздуха: и дядя Коля Симонов, и Семка, и он уже друг дружке известны давно, все вроде успели рассказать о себе, а Валька еще не выговорился, нет-нет да бухнет такое, что глаза на лоб. Или расскажет чего-нибудь интересное. Или вот стихи начнет читать.

Уважал Слава Гусев, когда Орелик стихи читал, особенно про любовь или про расставания всякие.

Сам он был мужиком грубоватым, отменным матерщинником — как же без того в тайге, — хотя по-человечески добрым и неиспорченным. Себя Слава Гусев в глубине души считал малознающим: закончив лишь техникум, он не набрался городской культуры, город был ему в тягость и теперь, потому что родился он и всю юность прожил в лесном селении, в семье охотника-отца. Но теперь от города скрыться было невозможно: охотник-отец помер, а вся новая родня — теща, тесть, жена, трое ребят — были народом городским от начала и до конца, привыкшим к водопроводу, ваннам и телевизорам. Так что Слава, любя жену и детей, тосковал, однако, целую зиму, до поля, пока не начинался сезон экспедиций и пока снова он не оказывался в родной стихии.

Зимы же для Гусева были прямо мукой. Ему приходилось писать бесчисленные отчеты; ненавидевший бумагу и перо, которое не очень-то ему подчинялось, он слагал слова в неуклюжие, малотолковые объяснения и оттого считался человеком слегка, что ли, туповатым. Дружить с работниками управления он не умел, распивать после службы стопку-другую уклонялся, торопясь, с одной стороны, домой, а с другой — экономя: из шестерых, кроме него, жителей квартиры работала еще одна жена, но заработок у нее был скудный, служила она бухгалтером. Словом, с деньгой было всегда напряженно, и в экспедиции на него иногда обижались ребята за то, что он, сам похожий на вола, ишачил до изнеможения, всячески перевыполнял план для дополнительного заработка.

Обижались, впрочем, недолго, а в этом составе только Семка, да иногда ворчал Орелик, глядевший на Славину действия, ну, что ли, по-институтски.

Однажды Слава спросил его прямо, чего он хочет, Орелик обиделся, сказал, пусть, мол, не думает, он не подсиживает, просто хочет иметь собственное решение по любому поводу. Слава повздыхал про себя, подумал и плюнул: ну, пусть имеет свое решение, разве можно этим попрекать? Ведь он хороший парень, Валька, и ему расти и расти, а не вечно ходить за спиной у какого-то Гусева.

Слава поглядел в темнеющее весеннее небо, похо-

жсе здесь, у Енисея, даже в мае на осколок синего льда, подбросил в костер сушняка и попросил Орелика: — Ну, расскажи чего-нибудь. Или почитай.

Валька послушно полез в рюкзак, вытащил обтрепанную книгу, сказал:

— Слушайте. Это я вам еще не читал.

Костер сухо и кратко щелкнул угольями, Валька помолчал чуточку для блезиру и стал читать обыкновенным голосом — не как по радио, не громко, не нараспев, не выпендриваясь, — Славе очень нравилось, как он читал стихи, хотя сам Слава стихов никогда не покупал и не читал в журналах, предпочитал романы, да потолще: чтоб уж заплатил, так и начитался. Вкус к стихам появился у Гусева совсем недавно, с тех пор, как в группу пришел Орелик. Он сразу начал читать стихи, сначала Гусев не обращал внимания, что он там бормочет, потом стал прислушиваться, и ему понравилось, потому что всякий раз стихи эти вызывали у него странные чувства.

Костер потрескивал в тишине, дядя Коля Симонов, прикрыв глаза, дремал, Семка не отрываясь глядел на Орелика, а Гусев тщательно разглядывал свои ладони, бесчувственные от мозолей, пытаясь скрыть странное смущение, вызываемое в нем складными словами:

Прошло с тех пор  
счастливых дней,  
как в небе звезд, наверное,  
Была любимой твоей,  
женою стала верною,

Своей законной чередой  
проходят зимы с веснами...  
Мы старше сделались с тобой,  
а дети стали взрослыми.

Уж, видно, так заведено,  
и не о чем печалиться.  
А счастье...  
Вышло, что оно  
на этом не кончается.  
И не теряет высоты,  
заботами замучено...

«Дьявол, — подумал Гусев, — слова ведь простые, а как режет этот Валька, черт его дерн». Стихи не просто волновали его, а как бы стыдили, что ли. Никогда не мог он подумать даже о таком неловком, потайном, а тут сказано, да еще и гладко. И правильно в общем-то.

Ах, ничего не знаешь ты,  
и, может, это к лучшему.  
Последний луч в окне погас,  
полиловели здания...  
Ты и не знаешь, что сейчас  
у нас с тобой  
свидание.

Что губы теплые твои  
сейчас у сердца самого,  
и те слова — слова любви —  
опять воскресли заново.

И пахнет вялая трава,  
от инея хрустальная,  
и, различимая едва,  
звезда блестит печальная.

И лист слетает на пальто,  
и фонари качаются...  
Благодарю тебя за то,  
что это не кончается.

Валька умолк, а Слава сказал себе, что эти стихи не про него, — здания, фонари, какие тут фонари и здания, тут тайга, — но тем себя не успокоил.

Помимо него, помимо его воли, выплыл осенний день его жизни, городской сквер, укрытый медью берез, мокрые скамейки, газета, постеленная для сухости на одной из них, и они, он, Слава Гусев, и Ксения Кузьмина, студентка финансово-экономического техникума.

Мысль о Ксене пробудила в нем тайную радость, какое-то ликование, тепло. Он улыбнулся робкой, беззащитной улыбкой. «Надо бы запомнить стихи-то, — сердясь на себя и зная, что никогда ему запоминание это не пригодится, подумал Гусев. — Как это там? «Благодарю тебя за то, что это не кончается», — и сплюнул, застыдившись и злясь на себя: — Вот еще выдумал!»

— *Какими средствами безопасности обеспечивается каждая группа?*

— *Прежде всего я отношу к ним связь, рацию. Затем надувную лодку.*

— *Как вы знаете, ее у Гусева не было.*

— *Знаю, но это не моя личная вина.*

— *Кто же тут виноват персонально?*

— *Прежде всего Гусев. Он обязан был позаботиться о лодке.*

— Вы же теперь знаете, он заботился. И не только он. Заботилась и Цветкова.

— Что же махать кулаками после драки?

— Пожалуй, все-таки во время драки.

— Нет, я считаю, что прежде всего виноват Гусев. А уж потом Цветкова, которая не проверила, как выполнено ее указание.

— И в-третьих, — Храбриков.

— Его винить нельзя. Простой исполнитель. Винтик. Мог и забыть, хлопот и обязанностей у него полон рот. К тому же это очень порядочный человек.

— Очень.

— А что вы иронизируете?

— Нет-нет.

— Да, очень исполнительный, порядочный человек и прекрасный работник, он на своем незаметном месте сэконоил отряду тысячи рублей.

— Так, вернемся к средствам безопасности.

— Ну, конечно. Значит, рация, лодка, ракета. Ракетница, естественно. Ракеты — красные, чтобы было заметнее.

24 мая. 19 часов 40 минут

## ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

«Вот прошел еще один день, и я пишу тебе дальше. Мое письмо походит, кажется, на длинную и бессвязную песню, помнишь, как в рассказе «Степь» у Чехова? Но что делать? Можно было бы посылать его по частям всякий раз, как за нами приходит вертолет, чтобы перебросить на новую точку, но конверта у меня нет, и я не хочу рисковать, не хочу даже думать, что Храбриков, есть тут один липкий тип, который приставлен от отряда к вертолетам, будет совать свой нос в мои к тебе письма. Лучше уж отправлю сам, когда буду в поселке, через почту, все как полагается.

В общем так, Аленка. Живем мы тут не ахти как весело. Скучаем без цивилизации, без людей. Я о тебе скучаю. Гусев — о своей жене да ребятишках, Семка, радист наш, зеленый пока парнишка, о доме, кажется, скучает, хотя и не говорит, а дядя Коля Симонов о жене своей Кланьке, которую клянет и к которой обещает не возвращаться. Однако, я думаю, вернется, потому что



любит ее, любит, несмотря ни на что, и без Шурика, сына своего, жить не может.

Разный народ у нас тут собрался, разноцветный, можно сказать, и по возрасту, и по жизни, а все-таки тут я узнал настоящее товарищество.

Не знаю, Аленка, как дальше будет, как повернется жизнь, но нравится мне мое нынешнее бытие. Еще в институте я заметил: когда выучишь что-нибудь здорово, разберешься как следует и ребята к тебе идут, словно к спецу, за разъяснениями, чувствуешь себя хорошо, уверен в себе, собой доволен. Теперь такое состояние у меня постоянно. Каждый вечер, когда сидим у костра после дневной жуткой, изнурительной гонки, чувствуешь себя человеком, хорошо как-то, в душе музыка играет.

Еще вот я тебе что скажу. Человеку очень важно одиночество. Не такое одиночество, когда ты совсем один, а вот такое, как у нас. Каждый о ком-то скучает, каждый здесь одинок, и это одиночество нас сближает, соединяет в свой, мужской коллектив. Можно, конечно, опуститься в мужском коллективе, тут важен, так сказать, лакмус, основной дух, главный человек. Наш главный человек — Слава Гусев, наш основной, общий дух — вот это скучание по близким и одиночество наше, если хочешь, нас облагораживает.

Я часто думаю, почему так? Нас всего четверо, нас никто не контролирует, на нас никто не смотрит. Что же движет нами, что заставляет не волынить, честно вкалывать, вкалывать от души, помогать друг другу, заботиться, как заботились сегодня обо мне Симонов и Гусев, не пуская вперед, — ненавязчиво, скрыто, как бы стесняясь, заботились, — что Семку заставляет встречать нас с работы, словно родителей, что ли, или выходцев с того света — дикой тунгусской пляской, криками, а то и пальбой. (Это он, когда космонавты летали, палил в их честь, а потом мы первое место за апрель получили.)

Нет, ты не думай, Аленка, что обстановка у нас дистиллированная. Слава Гусев свои мысли, особенно в маршруте, выражает чаще всего крепким словом, но я к этому привык, к тому же сие отнюдь не говорит о его испорченности или порочности. Просто он вот такой — и все тут. Но, начини я стихи, к примеру, читать, Славка и слова плохого не обронит, и, наоборот, на дядю

Колю Симонова цыкнет, если тот как-нибудь неловко выразится.

Ни нежности, ни внешней заботы никто у нас, упаси бог, друг к дружке не проявляет, наоборот, скорее ругнется лишний разок, но в серединке-то — я это очень хорошо чувую — спаялись мы в плотный монолит, и случись так, что нам пришлось бы разойтись, разъехаться, разлететься, каждый долго тосковать о других станет, потому как ты помнишь: «нет уз святее товарищества», и товарищество это, вот поди ж ты, обосновалось среди нас, четверых разных людей.

Я понимаю, конечно, все проверяется делом, все испытывается, и настоящую цену друг другу мы поймем, когда — не дай бог! — случится что-нибудь с нами. Но чувствую, что в испытании, коли придется, все у нас будет нормально. Не больно-то силен я, прямо признаюсь, хотя и крепну у себя на глазах, хлипок довольно Семка, оттого и не берет его в трудные маршруты Слава Гусев, заставляя кашеварить, поддерживать связь и сторожить лагерь, зато дядя Коля Симонов силен, и Слава Гусев тоже, и оттого, что мы — не каждый поодиночке, а все вместе — и мы с Семкой сильнее и надежнее кажемся. И в общем, знаешь ли, так оно и есть. Семка вон охотиться у нас научился, прямо профессионал, хотя он очкарик и по зрению в армию не пошел. И с рацией работает исправно.

Видишь, Аленка, какое у меня длинное и путаное послание. Утром писал — Славу Гусева слегка осуждал, себя высоко ставил, а к вечеру — наоборот. Но, ей-богу, непостоянство мое не от болтливости и не от уверенности в себе. Просто, видно, жизнь сложнее, чем мы хотим ее представить, и на каждое дело, на каждого человека может быть сто точек зрения. Все будет алогично, если эти точки отрывать друг от друга. А если объединять, то и получится искомое — жизнь, сложная, многоликая и хорошая.

Хорошая, Аленка, хорошая!»

— *Сколько ракет положено иметь группе?*

— *Нормы нет. Я, когда был в положении Гусева, брал два-три десятка.*

— *У них оказалось девять.*

— *Вот видите. Это, хоть и косвенно, говорит о на-*

чальнике группы. Мог, кажется, позаботиться. Это-то уж зависит только от него.

— Я проверял. Завхоз отказался выдать больше десятка.

— Этого не может быть!

— Очень может. Завхоз ссылался на ваш приказ об экономии любых материальных средств.

— Но не сигнальных ракет!

— Это в приказе не обговаривалось. Вы требовали экономить все.

— Я старался, чтобы было хорошо людям. За экономию нам полагается премия.

— Хорошо. Пока оставим это. Итак, ракет было девять. Одна найдена у Симонова в кармане. Она не пригодилась. Ракеты им не помогли.

24 мая. 20 часов

### НИКОЛАЙ СИМОНОВ

К вечеру Николаю полегчало. И то уж не раз он замечал: как намолотишься за день, намотаешь ноги, руки, поясницу, всего себя — сразу легче становится. Усталость голову утишает, мысль сбивает. Думаешь уже о том же самом совсем иначе, проще, спокойней. А когда еще полопаешь от пуза, дичинки опять же, глядишь, и загнал в себя на неделю свою хворь. Живи знай себе, не козыряй болячку, слушай сквозь дрему, как Валька стихотворение читает, Семка балагурит. Слава Гусев сопит, про план соображает, про ускорение работ или про заработок.

Нет, слава богу, повезло мне, Николаю Симонову. Он тут, среди ребятишек этих, как в санатории, душа отдыхает от тягостей, от грязного духа, который в заключении хошь не хошь, а имеется. Да уж и то, кто тюрьму себе выбирает? — от суммы да от тюрьмы, говорят, не откажешься.

Вот сколько ни думал про себя Николай Симонов, сколько ни прикидывал, ни перебирал неспешно свою нескладную жизнь, три только момента и было у него счастливых — когда с Кланькой гулял и не лаялись они еще, когда Шурик родился да и вот теперь, после заключения, в партии этой.

Работал он за проволокой зверем, все мимо ушей и глаз пропускал, только бы скорей на волю выйти, исправить свою промашку страшную, а в голове все свербило: как он будет после тюрьмы, ну как людям в глаза поглядит? Ведь скажет только в любом месте — из заключения я, отсидку отбывал, так тут хоть как ни объясняй, за что и каким случаем туда попал, все в сторону шарахаться станут.

Так оно и шло. Когда узнал про Кланьку и свое решил, освободившись, ходил по разным конторам, нанимался. Как доходил до того, что идет из заключения, на него будто со страхом глядели, говорили — не требуется, хоть объявление у входа висело: требуется, требуется... И не искал Николай Симонов ничего такого особенного — лишь бы заработок на пропитание и на обмундирование штатское, да еще общежитие.

Ах, общежитие, пропади оно пропадом! Приняли-таки на одну новостройку, поместил комендант в общежитие — комната большая, на девять человек, все молодые парняги, в сыны ему годятся, а узнали, что он бывший зэк, напаскудили. Объявили, будто бы пропал у одного парня костюм ненадеванный, польский, за сто тридцать рублей. Поглядел на них Симонов — те в сторонке сидели, пили «перцовую», его не приглашали, понял, какую шутку они учинить хотят, плюнул в горестях, поднял из-под койки свой мешок, выданный при освобождении, натянул телогрейку, нахлобучил картуз, сказал им на выходе:

— Ну, попробуйте простить друг дружку за этот факт, за это паскудство. Объяснять вам не стану, скажу, однако, что сидел не за воровство, а за то, что задал машинкой человека. И не вам меня корить. А чтоб не замарались об меня ваши чистые хари — ухожу.

И хлопнул дверью.

Который-то из них бежал потом по коридору, хватал за рукав, приговаривал: «Погодь, дядька, ну, бывает, ну, сдуру», но он рукав выхватил, сбывалась его опаска, сторонились его люди, — и ушел в дождливую непогоду, неизвестно куда и к кому.

Ночевал на вокзале, доставлялся розовощеким милиционером в отделение, на проверку подозрительности, но другим, пожилым, был отпущен с советом побыстрее вернуться домой.

Эх, домой, да ежели бы мог он вернуться домой, как

бы побежал к кассе за билетом на выданные при освобождении небольшие рубли, как бы бежал потом к своему дому, в дальнем краю улицы маленького городка!

Но не мог, не мог, никак не мог Николай Симонов домой вернуться!

С Кланькой жизнь у них шла неровная, трясучая, — ровно ехали на худой телеге по колдобистой дороге, — поздно он женился, в годах уж, так вышло, а Кланька молода еще была, не нангралась, молодых мужиков глазами мимо себя не пропускала. Когда Шурик родился, утихла вроде, но сын подрос, опять за свое: ты не такой да не эдакий, другие, мол, при галстуках и книжки читают, про кино судят, а от тебя слова ласкового не дожدهшься. Так-то оно так, не мастак Николай был на рассуждения культурные и на прочие такие дела, шофером, считал, родился, шофером и померет, главное бы — машину беречь да в аварию не попасть.

В то утро с Кланькой схватились, — опять она свои требования к нему, — весь день ездил, зубы сжав, руки тряслись от обиды, от несправедливости ее злой, бабьей. Под конец смены к гастроному подъехал, взял бутылку, чтоб, машину поставив, распить, забыться, и еще бутылку пива заодно, приехал в гараж, ободрал пивную пробку о дверцу, не вылезая из кабины, выпил, вынул ключи, собрался выйти, а тут диспетчер Семина. Так и так, мол, Николай, выручать базу надо, срочный груз со станции вывезти требуется, заказчик рвет и мечет, потому как за простой штраф берут.

Облокотился он тогда, помнится, о дверцу, подумал, подумал и согласился, забыв о пиве. Про Кланьку все соображал, к чему, считал, домой торопиться, если ты там постылый, ненужный, чужой.

Завел машину, выехал, а у самой станции выскочил под колесо ребяенок, вихрастый такой, белобрысый, на Шурика смахивал. Рульнул тогда Николай резко, но не рассчитал, улица узка была, наехал на человека. Пожилой был мужчина, в парусиновых штанах, с потрепанным портфельчиком, много лет, видать, носил.

Николай ручной тормоз выжал, на руль голову склонил и ничего больше не видел. Как «скорая» мужчину того увезла, как толпа собралась, как милиция приехала. Мальчонка сгинул, словно в тартарары провалился, ладно еще нашлись двое прохожих, дали показания,

что рулил он для спасения ребенка, а то бы еще хуже было.

Да уж куда хуже, мужчина с портфельчиком в больнице помер, — портфельчик этот и парусиновые неновые штаны до сих пор ему видятся, — а милиция признала, что шофер был выпивши, — провели обследование и бутылку под сиденьем нашли.

Про суд Николай вспомнить ничего толком не мог, понял только, что помогли ему те двое прохожих, да еще хорошо помнил Кланьку: она, сидя в зале, ревела как корова и показала ему кулак.

Но и это мог утишить Николай Симонов, мог спрятать, забыть, — то же, что случилось дальше, забывать было бы позором.

В заключении работал как дьявол, пять лет ему скостили до трех, а то, что Кланька наделала, скостить никто не мог.

Сперва он писал ей краткие, кургузые, нескладные письма, и она отвечала — костерила его, корила, что подвел, оставил одну, — но отвечала. Потом письма ее стали приходить реже, а затем, как раз к Новому году, в подарочек — ничего себе, — пришло враз два конверта: одно от нее, обыкновенное, как всегда, второе от каких-то добрых людей, неподписанное, и в этом втором сообщалось сердечно, что Кланька — потаскуха, связалась с мастером такого-то завода, моложе даже ее, а у него жена и дети.

Николай поверил письму этому, поверил сразу, без сомнений и скидок на то, что оно неподписанное, и затрясся плечами — первый раз заплакал во взрослом возрасте.

Мужики, жившие с ним, — а разный, надо сказать, был народец, — умолкли, подставили стакан денатурата, добытый каким-то хитрым образом, но пить Николай не стал, потому как понимал — такое не запьешь, не успокоишь.

Кланька продолжала писать, он складывал ее письма в мешок, но она настигала своими письмами, видно поняв, что он все знает, настигала — через милицию, что ли? — и здесь, в тайге, в партии, куда он устроился, уйдя от тех парней из общежития.

Тут, в группе, никто не досаждал ему с разговорами, никто не боялся его, бывшего заключенного, ребята видели в нем другое — выносливость, старание, безотказность, и он среди них отошел, отогрелся.

Лежа у костра, успокоив работой и плотной едой утреннюю тяжесть, Николай думал о том, что теперь уже не боится людей, не боится, как посмотрят они на него, что спросят. В конце концов, Кланька еще не пуп земли, не последняя инстанция, есть вон и Нюрка-буфетчица, здешняя баба, вдова.

И только мысль о Шурике, белобрысом Александре Николаевиче, саднила душу.

Взглядывая в костер, в кровавое его пламя, Симон думал, что все не просто, что Нюрка — это так, заблуждение, и что Шурик — вот в ком его самый главный смысл жизни.

— Какова обычная система связи с группами, которые находятся в поле?

— Дважды в сутки, как правило, рано утром и вечером. Днем группы работают.

— А в случае ЧП?

— Есть аварийная радиоволна, которую наша радиостанция прослушивает постоянно, в конце каждого часа.

— Я проверял. И простые и аварийные радиogramмы центральная радиостанция принимала четко, исправно. Исправно, то есть вовремя, они передавались и по инстанции. Но я хотел бы поговорить о системе рассматривания радиogramм.

— Пожалуйста.

— Начальник радиостанции, начальники партий показывают, что очень часто радиogramмы групп, адресованные вам как руководителю отряда, валялись на вашем столе неделями. Что пренебрежение к документам связи — для вас норма, обычное дело.

— Но в этом случае все было не так.

— Разберемся, как было в этом случае...

24 мая. 22 часа 15 минут

### СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

— Вечерний сеанс, — напомнил он Славке Гусеву, надев наушники и подкручивая настройку.

Слава восторженно, обтер ладонью щетинистый, колкий подбородок, велел привычно:

— Передавай!

Семка перекинулся с радистом отряда обычными приветствиями, поглядел на Гусева.

— Давай! — велел тот. — Работы идут нормально. Закончим объект двадцать пятого вечером — двадцать шестого утром. Последующую связь уточним. Сообщите Цветковой, надоело просить у нее лодку. Ветер теплый, идет резкая потайка, — и рубанул твердой, как лопата, ладонью, — Гусев.

Семка передал радиogramму, попрощался с отрядом, снял наушники.

— А ветер-то правда теплый! — сказал он удивленно. — Я и не заметил.

— Во дает! — засмеялся Гусев. — По брюхо искупался, а что весна, так и не заметил.

— И правда, братцы, — виновато ответил Семка. — Совсем мы тут зазимовались. Дома-то май, все, подика, цветет. Управление наше на пляж после работы ездит.

— Гребни шире! — откликнулся дядя Коля Симонов. — Не-е, ныне весна запоздалая.

— Да она в здешних местах всегда такая, — засмеялся Слава. — Наверху-то река уже давно ото льда освободилась, а тут и не думала.

— А я люблю половодье, мужики, — оторвался от бумаги Валька Орелик. — Едешь на лодке, гребешь потихоньку, глядишь, а лес в речку зашел. Ольха цветет, в воде отражается. И вода черная, вроде неподвижная. Заглянешь в нее — трава, как длинные волосы, шевелится.

— Хе-хе, — оживился дядя Коля Симонов. — Ты у нас, Валька, прямо этот, как его, рилик.

— Кто, кто? — захохотал Семка. — Рилик! Ну, даешь, дядя Коля!

Симонов смутился, махнул рукой, полез в спальный мешок, заворочался в нем, словно медведь-шатун, аж пологи ходуном заходили. За ним ушел Гусев. Семка сидел у костра, аккуратно укрыв свое радиийное хозяйство, и глядел, как пишет длинное, на много страниц, письмо Валька. Пишет, пишет, не может дописать, даже удивительно, как у него терпения хватает — и, главное, не отправляет свое письмо, ждет, когда сам вернется в поселок.

Семка глядел на костер, на его трепещущие жаркие



языки, переводил взгляд на Вальку, хотел спросить его про то, о чем давно думал, и не решался.

В палатке на разные голоса захрапели Слава и дядя Коля Симонов — с присвистом, с протяжкой.

— Теплынь-то! — проговорил негромко Семка.

Небо над головой было бездонным, смоляным. Ни одной звезды не видно, и от этого Семке делалось еще торжественней и слаще. Он вдыхал запахи, которые приносила ночь, вглядывался в темноту, и ему казалось, что его ждет кто-то, хотя это глупо — кто же может ждать в темноте, посреди тайги, или даже в поселке, — в поселке никого не было у Семки. «Мама?» — подумал он и сразу отверг это. Мама ждала его всегда, ждала всюду, где бы ни была, и Семка знал это, чувствовал, понимал. Но сейчас было что-то другое. Где-то кто-то ждал Семку совсем иначе, чем мама.

Он вздрогнул, встал на колени, прислушался. Ветер дул неизменно с юга, оттуда, где поселок, где город, и Семка неожиданно для себя вспомнил девочку.

Сердце его колотнулось неровно.

Странно, как он мог забыть ее. Девочка шла в школу, а он уже учился на радиста.

Была зима, очень морозная и очень прозрачная, даже какая-то звонкая от мороза. Если стукнуть палкой по березе в парке, то стук этот звучал долго и мелодично. И если стукнуть по другой березе, звук получался совсем иной.

Семка не стучал по березам: это ему просто казалось так. Уже потом, когда она ушла.

Он встретил ее днем на пустынной аллее парка, вдоль которой росли старые деревья, было солнечно, солнце лилось откуда-то прямо сверху, падало вниз, оставляя короткие, смешные тени, и девочка шла навстречу Семке. Она не торопилась, она не замечала его, и она не просто шла, а гуляла.

Семка, увидев ее издалека, замер, а девочка была наедине с собой. Она иногда останавливалась, крутила вокруг себя маленький черный портфель и сама кружилась, прыгала, стучала валенками друг о друга, будто играла в классики, подхватывала пригоршню чистого снега и кусала его, вздернув губы, одними зубами.

На девочке была рыжая круглая шапка с длинными ушами, и, когда она прошла мимо Семки в конец аллеи, он подумал, что издалека она походит на одуванчик.

Одуванчик зимой, это было странно и удивительно, — Семка, не понимая себя, повернул за девочкой и, не приближаясь, проводил ее к школе.

Она исчезла в дверном проеме, и Семка долго стоял, не замечая, что уши у него перестали чувствовать холод.

Потом он повернулся, побежал вприпрыжку домой, березы вдоль аллеи мелькали, как клавиши, и Семка счастливо смеялся, а потом забыл...

Надо же — забыл!

Вытянувшись на коленях, вглядываясь в черное небо, он пытался представить девочкино лицо и не мог. Никак не мог его вспомнить.

Он вздохнул, поглядел на Вальку, на счастливого человека, который каждый день пишет свое бесконечное письмо, и пожалел себя: ему писать было некому, кроме мамы.

Снова подул порывистый теплый ветер. Валька оторвался от письма и увидел обиженное Семкино лицо.

— Ты чего? — спросил он и засмеялся.

— Да так, — пожал плечами Семка. — А что?

— Лицо у тебя странное, — сказал Валька.

— Будет странным, — неуверенно ответил Семка. — Такой ветер, а они дрыхнут, как цуцки.

Валька рассмеялся опять:

— Тебе не спится?

— Нет, — вздохнул Семка.

— Мне вот тоже не спится, — задумчиво сказал Орелик.

— Дописываешь? — деликатно полюбопытствовал Семка.

— Я и не знаю, — опять задумчиво ответил Валька Орлов, — допишу ли когда-нибудь...

Семка ничего ему не сказал. Пыхтя, он забрался в спальник, застегнул его до подбородка, притих. В приоткрытый полог палатки гляделось черное небо. Ветер негромко трепал брезентовую дверцу.

Притушив костер, вошел в палатку Валька. Он быстро захрапел, теперь целый оркестр играл в тайге, а Семка никак не мог отключиться.

Ему представлялась звонкая зимняя аллея и девочка в конце ее, похожая на одуванчик.

Девочка проходила мимо него, проходила и проходила, как в куске фильма, который крутят много раз подряд, и вдруг Семка услышал плеск.

Он вздохнул и закрыл глаза. «Какой там плеск, — решил он. — Вокруг зима...» И уснул.

— Первая радиограмма от Гусева поступила вечером двадцать четвертого мая.

— Я не признаю эту радиограмму тревожной, требующей каких-либо действий отряда.

— А партии?

— Вы опять намекаете на лодку?

— Да.

— Но не могли же мы гнать вертолет ночью. Тем более что авиаторы могут садиться в темноте только в условиях аэродрома или хорошо освещенной и ориентированной площадки.

— Я не говорил про ночь.

— Будем считать, что мы это выяснили. В том, что у Гусева не оказалось лодки, в первую очередь виноват он сам, во вторую — Цветкова, в третью — Храбриков.

— Теперь о второй радиограмме. Утренней, от двадцать пятого мая. Когда стало ясно, что группу надо выручать, и как можно скорее.

— Меня не было в это время в поселке.

— Вы отсутствовали по служебным делам?

— Безусловно.

25 мая. 9 часов

## КИРА ЦВЕТКОВА

Она просыпалась рано, как бы искупая этим свои недостатки, деловито выходила из дому, не зная толком, чем заняться: геодезисты были в тайге, ей оставалось только следить за ними, поддерживать связь, получать информацию — опытные начальники групп знали свое дело и не нуждались в командирах.

В этот раз она проснулась так же рано, как и обычно, но решила перелистать студенческие конспекты, чтобы обновить в памяти порядок и систему геодезических измерений — время от времени это приходилось делать, чтобы не разучиться немногому, что она ухватила в институте.

Раскрыв тетрадку, заполненную аккуратным почер-

ком, Кира уставилась в нее невидящими глазами. Ей было одиноко и страшно, она опять подумала о своей судьбе, вспомнила мечту о пединституте, о первышах, где все ясно, понятно, одинаково. Она даже в загородные походы никогда не ходила, и вдруг — начальник партии.

Кира оторвалась от тетрадки, обессиленно захлопнула ее, надела куртку. Единственное, что утешало ее и что у нее получалось, — отчеты. Она умела их оформлять, подчеркивала разделы, итоги, цифры разноцветными карандашами и поэтому числилась неплохим начальником партии. Но Кира понимала, знала: она только переписывает результаты чужого труда, она как бы примазывается к работе других.

Кира вышла из дому, побрела по улице, вдыхая сырой, туманный воздух. Делать ей было нечего — надо только зайти ненадолго к радистам, прочитать радиogramмы групп, кому-то ответить, что-то просто принять к сведению.

Связь находилась в покинутом доме, который экспедиция отремонтировала и приспособила к своим нуждам. Хозяева избы исчезли и не появлялись, не предъявляли своих прав — наверное, перебрались в город, заколотив окна дощатыми крестами.

Кира вошла в дом, обтерев на крылечке липкую поселковую грязь.

— Кира Васильевна! — окликнул ее начальник радиостанции Чиладзе, худой, словно изможденный, грузин с огромными, казалось, во все лицо, грустными глазами. — Кира Васильевна! — повторил он. — Хорошо, что пришли, мы к вам посылать хотели. Тут две радиogramмы от Гусева.

— Опять раньше работу кончили? — усмехнулась Кира, вспомнив Гусева, грубоватого, простодушного мужика, который вечно торопился работать, неизменно перевыполняя план, будто за ним кто-то гнался, кто-то его торопил.

— Одна вот вечерняя, — подошел к ней Чиладзе, протягивая бланк. — А эту сейчас приняли, первым утренним сеансом.

Кира пробежала строчки. Первая радиogramма напоминала про лодку; читая ее, она с раздражением вспомнила Храбрикова, которому передала лодку еще неделю назад с наказом немедленно переслать ее Гу-

севу. Храбриков кивнул, сразу отходя, будто Кира назойливая муха и отвлекает его от важных забот, и, конечно, лодку не перевез, а она, растяпа, забыла проверить.

Кира раздраженно взяла второй бланк, исписанный каллиграфическим почерком радиста, и ею овладела тревога.

«Наблюдается подъем Енисея, — прочла она. — Возвышенность в пойме реки, где находится лагерь, окружена мелким слоем воды. Выходим работу. Предполагаем завершить четырнадцать часам. Этому сроку высылаете вертолет. Гусев».

Кира снова вспомнила Храбрикова, его хорькоподобное маленькое лицо, мелкие серые глазки. «Всегда так, — подумала она, раздражаясь еще сильнее, — всегда мешает, ластится только к Кирьянову, а виноватой будешь ты».

— Ничего страшного, э? — спросил Чиладзе, поблескивая глазами, выражая добродушие и симпатию к ней.

— Пока ничего, — ответила Кира.

Она взглянула в окно. Погода прояснялась, воздух светлел, делая пространства емкими и прозрачными. Кира кивнула Чиладзе, велела поддерживать с группой Гусева обычную связь и вышла на крыльцо.

Этот Храбриков всегда раздражал ее, как, впрочем, и всех остальных начальников партий, проявляя к их делам полное равнодушие... «В конце концов, это не может продолжаться бесконечно, — подумала она, стараясь расшевелить себя на поступок, который зрел в ее голове. — Когда-то и кому-то надо с этим покончить».

По ее мысли, сейчас был самый подходящий момент пойти к Кирьянову, используя его расположение, пожаловаться на Храбрикова, доказать с фактом в руках, что игнорирование им заданий начальника партии может привести к неприятностям, но что-то мешало Кире решиться на это.

Во-первых, она не была уверена, что Кирьянов не встанет на защиту Храбрикова, во-вторых, что выступать против экспедитора должна именно она, — есть, в конце концов, начальники партий мужчины. В-третьих, она понимала, что жалоба есть жалоба, как ни крути, и, встав с утра в неуверенном и плохом расположении духа, считала, что это опять будет проявлением ее бесхарактерности.

Кира сошла с крылечка и нерешительно пошла в сторону дома Кирьянова. Нет, все-таки она должна была об этом сказать. Это обязанность, в конце концов. Речь идет о людях ее партии — она за них отвечает.

Стараясь распалить себя, а в самом деле робея все больше и больше, Кира подошла к конторе отряда, где работал и жил Кирьянов, но его на месте не оказалось, и, когда ей сказали, что начальник отряда ушел к вертолетам, она облегченно вздохнула.

Жалоба на Храбрикова, это неприятное дело откладывалось на какой-то срок, пусть даже не на очень большой, и это успокаивало ее.

Кира вернулась к себе, снова открыла тетрадь с конспектами, но в голову по-прежнему ничего не шло. Она завороченно смотрела за темный переплет окна, в светлое, разгорающееся утро.

По улице протарахтел поселковый трактор, прошел мальчишка в растрепанном кургузом треухе.

Неожиданно словно что-то толкнуло ее. Машинально, еще не сознавая, что делает, Кира оделась и выскочила на улицу. По дороге к вертолетной площадке мысль оформилась и созрела: она должна сказать все Кирьянову прямо при Храбрикове. И немедленно послать лодку. Пусть это будет уроком для маленького облезлого человечка.

Кира шагала, не разбирая дороги, разбрызгивая грязь, и была недалеко от площадки, когда раздался привычный грохот винта и зеленая пузатая машина взмыла вверх, уходя к тайге.

Волнуясь, Кира подбежала к избушке возле площадки. Второй вертолет был тут. Кира увидела пилота, молодого парня, совсем мальчишку, и крикнула ему:

— Где Кирьянов?

— Они улетели, — ответил летчик, постукивая гаечным ключом о какую-то железку.

— Кто они? — спросила Кира.

— Кирьянов и Храбриков.

— А куда? И надолго? — настойчиво спросила она, понимая наивность своего вопроса.

Пилот пожал плечами, отвернулся, и тут только Кира заметила, что лопасти хвостового винта с вертолета сняты и пилоты вместе с механиком возятся возле него на расстеленном брезенте.

«Профилактика», — отметила она механически и

вдруг увидела у порога избушки небрежно брошенную надувную лодку. Она узнала ее, это была лодка для Гусева, и Кира с острой неприязнью подумала о зловредном Храбрикове.

— Я хочу вернуть вас к одному своему вопросу. Хочу повторить его. Как вы оцениваете вторую радиограмму?

— И ее я не считаю тревожной. Видите, Гусев даже собирался продолжать работу.

— Однако несколько позже он направил новое сообщение. Вот оно: «Уровень воды поднимается. Попытались перенести лагерь триангуляционной вышке. Сделать это не удалось большого объема груза. Остров, на котором находимся, постепенно сокращается. Просим вертолет перенесения лагеря более высокую точку. Гусев».

— Но эта радиограмма пришла намного, а не на несколько, как вы выразились, позже.

— Через четыре часа.

— Видите!

— Их можно понять. Они пытались исправить положение своими силами.

— А нас нельзя понять?

— Я хочу повторить один вопрос.

— Слушаю.

— Вы вылетели в тот день по служебным делам?

— Я же сказал. Конечно!

25 мая. 12 часов 10 минут

## ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

День рождения, черт побери!

Он считал себя обязанным быть временами сентиментальным. Для большого, мощного человека очень даже своеобразно проявлять иногда свойства, вроде бы для него чуждые; их надо проявлять, если даже их на самом деле нет; нет, так надо создавать, синтезировать.

В день своего рождения, каждый год, он синтезировал задушевные беседы с окружающими людьми, валял

дурака, представлялся симпатягой, обаяшкой, умницей. В день рождения, выпив, он обожал всплакнуть, рассказать в лицах какую-нибудь притчу, пофилософствовать, стараясь свежо формулировать старые мысли или раскавычивая классиков.

Этот день был как бы смотром его всевозможных дарований, и всякий раз он оставался доволен, убирая в стодвадцатикилограммовую оболочку, как в пенал, свой действительный характер.

Сейчас, когда вертолет несся над тайгой, оставляя на земле неотвязную тень, и разговаривать из-за треска моторов было невозможно, Кирьянов как бы внутренне готовился к предстоящему вечеру.

Время от времени он взглядывал в иллюминатор, хотя глядеть по негласному уговору должны были пилоты, знающие, куда и по какой надобности летит сам начальник отряда, и взгляд на землю вызвал в нем чувство приятного удовлетворения.

На сотни километров внизу кипела тайга, однообразная, скучная весной, и на этих сотнях километров он, ПэПэ, был полновластным, безоговорочным хозяином. Отряд работал тут уже несколько лет, их деятельности придавали значение, увеличивая каждый год количество партий, людей, техники, — Сибирь осваивалась вовсю, по-настоящему, — но сколько еще было до этого настоящего! Сколько первых троп, первых просек, первых отметок на картах, пока не начнется здесь хоть какая-нибудь маломальская жизнь.

Нет, все это было впереди, и про себя ПэПэ готовился к будущему, к тому, что заслужено: новым должностям, на этот раз в управлении, а то и выше, к наградам, вполне возможно — орденам, к скромным рассказам в тесном кругу приятелей, — впрочем, что ж стесняться, можно и в широкой аудитории, — о нелегком, суровом, полном лишений и невзгод, как пишут сочинители, труде знатного, умелого первопроходца.

Это, конечно, будет, придет, бесспорно, надо только не загадывать вперед, вопрос упирается во время, в несколько каких-нибудь лет.

Кирьянов помнил двух геологов, молодых довольно парней, выступавших у них в управлении. Оба получили Ленинские премии за открытие нефти, кандидатские степени без защиты — только по отчетам, и их появление тогда влило в ПэПэ новые силы. Теперь образ



двух парней в освещенном яркими огнями зале был для Кирьянова своеобразным эталоном, жизненным стимулом, миражем, который возникал время от времени из памяти, обнадеживал на дальнейшее.

Он взглядывал в иллюминатор вертолета, властно осматривал таежную равнину и, не смущаясь смелых параллелей, сравнивал себя с Семеном Дежневым, прошедшим через всю Сибирь, чтобы покорить ее.

Кирьянов усмехнулся. Что скрывать от самого себя — ему казалось, что даже внешне он походил на Дежнева, если бы вот только волос наверху побольше. Но этот недостаток свой он прикрывал, зачесывал волосы сзади и с боков вперед, на манер московского телевизионного диктора, а в остальном — в чертах лица, светлых глазах — все сходилось.

«Ха-ха! — раскатился над собой Петр Петрович. — А вы, гражданин начальник, порой глупеете, так до орденов и регалий можно не добраться. — Но тут же успокоил себя: — Ничего, в день рождения можно».

Можно, конечно, можно, а ему, начальнику отряда и хозяину всех этих необжитых, пустынных мест, «губернатору», как шутят его друзья, можно много чего. Кирьянов вновь скосил глаз в иллюминатор, усмехнулся, вспомнив одного свободолюбца, начальника партии, который ушел от него каким-то клерком в геологическое управление. Насчет клерка это он, ПэПэ, побеспокоился, не лыком все-таки шить, все-таки кое-что разумеет в устройстве этого мира, но было время, тот начпартии бушевал. На открытом собрании правду-матку резал. Объяснял ему, Кирьянову, что-де для него тайга лишь ступенька вперед, что ему на тайгу наплевать.

Тогда он отбояривался, — пришлось, — говорил красивые тексты, но потом взял крикуна за грудки, — нет, не в переносном, а в прямом смысле слова, — поднял его за телогрейку в тихом перелеске, выследив, конечно, заранее, и высказал ему что положено. Чтоб убрался прежде всего и что тайга, она и есть тайга, молиться на нее он не собирается. Он тут хозяин — и точка. И будет обращаться с тайгой как с бабой, если она по-хорошему не хочет. То есть будет покорять природу, как завещал Иван Владимирович Мичурин, если говорить по-научному.

Начпартии быстро смотался, молот что-то в городе на Кирьянова, но поди-ка доберись к нему из города!

Вертолет пошел вниз. Храбриков заметался у иллюминатора, стал подбрасывать пустые мешки к дверце, чтобы Кирьянову мягче было стоять на колене — стрелял он всегда с колена, — распахнул дверь, укрепил специальную решетку — не дай бог вывалишься.

Кирьянов приветливо улыбнулся ему, кивнул пилотам — они сигналили руками, указывая пальцем вниз, — и пристроился на колено. Теплый ветер рвался в открытую дверь. Петр Петрович зажмурился в удовольствии, обратил внимание, что вертолет повис совсем низко, и только тогда, не волнуясь, выглянул.

На большой прогалине, не зная, куда бежать, носились взад и вперед три лося.

Самый большой из них, вожак, пугаясь стрекочущего чудовища и черной тени, скользящей по снегу, порывался к лесу, но тень перерезала его путь, и тогда он круто разворачивался и мчался назад. Это забавляло Кирьянова, он гулко хохотал, чувствуя победу над лосями: теперь слово предоставлялось ему — легчики делали свое дело умело и четко.

Он поставил удобнее колено, щелкнул затвором и положил ствол карабина на решетку, отделявшую его от неба.

Пилот на какое-то мгновение завис неподвижно, Кирьянов неспешно, через ровные интервалы времени, будто робот, выпустил в самца пять пуль.

Оружие приятно отдавало в сильное плечо, карабин харкал злыми, почти невидимыми на солнце всплесками пламени, пули уходили вниз, взрывая снег, но ни одна не достигла цели.

Кирьянов расхохотался. Честно говоря, он не получил бы удовлетворения, если бы с первого выстрела уложил лося. Он хотел игры, но не хотел игры короткой, неинтересной. Прекрасное он видел в азарте, азарт приходил тогда, когда у тебя получается не сразу.

Он перезарядил карабин и, целясь уже тщательнее, выпустил обойму рядом с лосем. Зверь затравленно метался по прогалине, увлекая за собой других — видимо, самку и детеныша.

Прерываясь, Кирьянов рассмеялся снова. Аттракцион действовал безотказно.

К нему наклонился Храбриков, что-то лопоча.

— Ори громче! — велел ему ПэПэ, не расслышав.

— Вы прямо как в тире, Петр Петрович, — крикнул в ухо Храбриков. — Красиво бьете!

— Красиво? — гаркнул Кирьянов, любуясь собой, своей силой, меткостью, хваткой настоящего промысловика. — Гляди, как будет теперь!

Он выставил ствол, повел его за вожакон, прикинул скидку на горизонтальное движение вертолета и плавно тронул спуск.

Лось упал, тотчас вскочил, волоча заднюю ногу, и Кирьянов выпустил из затвора дымящуюся, посверкивающую латунными боками гильзу.

Он прицелился снова, но на этот раз промазал. Тогда он немного раззадорил себя, стыдясь присутствия Храбрикова.

Третья пуля попала лосю, кажется, в позвоночник. Он упал, забрыкал ногами и пополз, оставляя тягучий кровавый след.

Кирьянов устало откинулся от карабина. Посмотрел, хмурясь, на летчиков. Они вопросительно показывали на землю, спрашивая, садиться или продолжать.

«Продолжать», — велел знаком Кирьянов и снова припал к прицелу...

За всю охоту жалость ни разу не поскреблась в его сердце. Распаленный стрельбой, он смахнул в тайгу остатки маслянистых гильз; они исчезли за бортом, эта желтая пыль, которую не найдет ни один прокурор, и махнул пилотам, сигналив, чтобы они возвращались к прогалине, где лежал убитый лось.

Праздничная забава кончилась.

— Ну что ж, я еще раз хочу узнать ваше мнение о Храбрикове.

— Я уже говорил. Или вы проверяете меня, не изменил ли я по ходу следствия свое мнение?

— Вы излагали здесь много точек зрения на разных людей. Надо признать, знаете вы большинство из них весьма приблизительно. Но про Храбрикова говорили крайне положительно.

— Безусловно.

— Вы считаете его человеком, на которого можно положиться?

— Конечно.

— А на пилотов, с которыми вы летали в тот день?

— Ах, вон оно что! Но они тоже получили свое.

— У этих людей хватило совести самим прийти ко мне.

— Я повторяю, они тоже не стерильны. Готов доказать.

— Кто подтвердит это?

— Храбриков!

— Вы уверены?

— Конечно.

— Вот его подтверждение.

— Что это?

— Коробка из-под зубного порошка. Откройте.

— Я не понимаю.

— Это пули. Пули вашего карабика.

25 мая. 14 часов 30 минут

#### СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ

Свежевать лося Храбриков взялся сам. Охотник он был никудышный, но зато славился по части разделки туш, еще дома, в России, имея процент с этого своего, как нынче говорят, хобби. Он колол поросят соседям, мог забить и корову. Не очень сильный физически, хотя и жилистый, он применял в таких случаях свои скотобойные хитрости — сперва оглушал животину тяжелым ядром, купленным в магазине спорттоваров, просверленным специально для этой надобности и надетым на топориче, а потом колол, целясь заостренной, как бритва, финкой прямо в сердце.

Дома он занимался этим за мзду — приличную долю мяса или за выпивку, и все, кто держал в округе скот, знали Сергея Ивановича как мастера этого дела.

Здесь Храбриков свеживал дичь тоже не зазря. Была у него, задетого однажды Кирьяновым, обозванного едва ли не жуликом, одна своя идея, вроде бы как страховка на мало ли какой случай.

Для этой своей страховки он купил за двугривенный жестянку с зубным порошком, порошок вытряхнул за ненадобностью — своих зубов у Храбрикова не было, только протезы, обе челюсти, — и в эту жестянку клал искомое.

«Сучий ты сын, — думал он всегда в таких случаях

о Кирьянове, — мальчишка сопливый, нашел кого оскорблять», — и, свежую тушу лосей, первым делом выковыривал из них кирьяновские пули, кладя в коробку из-под зубного порошка.

Никто никогда на это занятие его не обращал внимания. Храбриков помаленьку заполнял коробку, мечтал набить ее полной, а потому и шутил в своем стиле, как пошутил сегодня.

Когда вертолет приземлился на прогалине, где лежал убитый, как они думали, лось, зверь был еще жив.

Испуганный грохотом винтов, он приподнялся на согнутые передние ноги, жалостливо крича.

— Ишь ты! — сказал Кирьянов, сдергивая с плеча карабин. — Живучий!

Понимая, что будет дальше, Храбриков улыбнулся, шагнул к начальнику, тронул его за рукав и просительно сказал:

— Дайте я, Петр Петрович, а! Стрелок из меня никудышный, так хоть малость поупражняюсь.

Кирьянов снисходительно улыбнулся, хлопнул его больно по спине и протянул оружие.

Не к месту крадучись, Храбриков пошел к лосю на верное расстояние и, целясь в холку, дал три выстрела. Зверь рухнул, не издавая больше никаких звуков, но был еще жив, мотал широкой мордой.

— Что ты, как хореk, крадешься! — крикнул Кирьянов Храбрикову. — У него позвоночник перебит!

Экспедитор хихикнул, подступил еще на пару шагов. «А то я не знаю, — ответил про себя Кирьянову, — был бы не перебитый, так и полез бы я тебе на рожон!» Он прицелился снова и, чувствуя больные толчки выстрелов, закончил обойму.

Вчетвером они принялись втягивать матерого лося в кабину, кантуя его, крихтя и надсаживаясь, потому что туша не проходила в неширокую дверь. Лось не шел, не помогала даже кирьяновская мощь, они отступились, закурив, соображая, как быть.

— А ну-ка, орлы, — подумав, засуетился Храбриков, глазки его засверкали, дряблые щеки порозовели. — Не найдется ли топора?

Топор нашелся, и Храбриков изложил свою идею — простою до гениальности.

— Бревно кабы не полезло, как поступили? — спросил он, изображая сметливого простоватого мужи-

ка. — Распилили, разрубили. Вот и мы его разрубим. — Он засучил рукава, похихикивая. Теперь настала его пора, он умел это, хотя, признаться, такого еще не приходилось.

Кириянов скривился, сказал:

— Ну и мясник ты, дядя! — но протестовать не стал. Отошел вместе с летчиками в сторону, чтобы не забрызгал его находчивый экспедитор.

Храбриков долго рубил лося и ни разу не поморщился за все время.

Закончив работу, вспотев, с лицом, забрызганным красными точками крови, он приветливо, радуясь себе, пригласил остальных к завершению погрузки. Тушу по частям втащили в машину, летчики торопливо заняли свои места, машина поднялась в воздух. А вот теперь Храбриков сдирает остатки шкуры, полосовал мясо на огромные куски, отыскивая блестящие конусообразные пули.

Время от времени жестянка из-под зубного порошка негромко взвывала, еще один кусочек металла ложился на ее дно, и было невозможно выяснить, какая пуля кирияновская и какая его, Храбрикова. В этом и состояла его шутка, его страховка, его полис личной безопасности.

Храбриков свеживал лося, не думая о пулях, собирая их по привычке. Теперь он соображал другое, как посадить эту дуру-девку, начальника партии.

Такой хай сегодня устроила, вспомнить тошно. Тихоня-тихоня, а вдруг заговорила! Лодку, видите ли, он не доставил. Жалко, Кириянова не было, уже ушел к себе, а то бы он настропалил его против Цветковой. Заставил бы его прищучить ее. Он-то, чай, понимает, что, кроме этих лодок, полно других забот у экспедитора.

Храбриков оторвался от мяса, постучал, задумавшись, финкой по столу.

«Очень может быть, что девка сама к Кириянову пойдет, — подумал он, — тогда тот метнуть может, тут такая игра — кто на кого раньше наклепает».

Сергей Иванович поднялся, с трудом подняв таз, набитый мясом, отнес на кухню. Там уже вовсю шла жарка и парка. Именины Кириянова оставшиеся в поселке отмечали всегда широко и щедро, собираясь в общей столовой, завозили заранее ящики выпивки,

главным образом спирта, напитка для здешних краев и привычного, и рентабельного: хошь покрепче — так пей, хошь — разбавляй, получается вроде водки, и тогда возрастает объем — из бутылки спирта — две водки.

Попутив с поварами, выхватив со сковородки ломтик поджаренной, хрупкой картохи, Храбриков вернулся во двор, к своим мясным делам, и снова было взялся за нож, как почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он встрепенулся, словно жулик, которого застали за воровством, и закрутил головой.

Перед ним, прислонясь к дереву, стояла Цветкова. Она глядела прищурясь, зло, словно выносила приговор, и Храбриков выпрямился под ее взглядом, чуя недоброе. «Настучала-таки, сучка, — подумал про себя он, — ну, да не испугаешь — видели мы таких».

— Ну вот, — сказала Цветкова, — опоздали вы, Сергей Иванович.

— Никуда я не опоздал, — буркнул он, успокаиваясь, приходя в себя.

«С Кирьяновым-то я как-нибудь разберусь», — подумал он, уронив взгляд на жестянку с пулями.

— Опоздали, — повторила Цветкова. — Вот радиogramму держу, — она помахала листочком. — Им уже не лодка, а вертолет нужен.

«Ага, голубушка! — сообразил Храбриков, уловив в голосе Кыры неуверенность. — Чего-то у тебя не так, за меня спрятаться хошь!»

Он почесал лоб, поглядел на нее хмуро и сообщил, выстраивая в цепочку ход своих потайных мыслей:

— Один вертолет на ремонте, другой с задания только вернулся. Вот пообедают и полетят. А еще лучше — завтра.

— Завтра! — нервно засмеялась Цветкова, и Храбриков уловил эту нервность. — Людей заливают, а вы — завтра!

«Раз заливают, — моментально сообразил Храбриков, — вывозить надо, но так, чтобы помучилась, подрожала эта дура». И ответил, оглянувшись вокруг, нет ли кого поблизости, свидетелей не найдется ли:

— Ну, раз так, тогда конечно.

— Значит, отправите! — обрадовалась Цветкова, и Храбриков кивнул, радуясь про себя: попробуй-ка докажи, что был этот разговор.

И припомнил еще одну подробность про Кирьянова.

Там, на прогалине, когда загрузили лося, разрубленного надвое, и Храбриков для аккуратности присыпал снегом кровавое крошево, а летчики уже торопливо прошли в кабину, Кирьянов, улыбаясь и трепля Храбрикова за плечо, спросил, кивая головой на тайгу:

— А впрямь ведь, дядя, губерния целая!

— Губерния! — охотно согласился Храбриков.

— А правда, дядя, что меня поэтому «губернатором» кличут? — тушуясь, спросил Кирьянов.

Цепкий Храбриков понял, к чему этот разговор, обрадовался ему, подтвердил, отводя глаза и как бы стесняясь передать хорошему человеку, что говорят о нем заглазно:

— Как есть, кличут.

Кирьянов зароготал, опять больно хлопая экспедитора по плечу, и Храбриков хихикнул тоже. Хихикнул от души: нет, не зря он жизненный итог такой сделал, что при должности никогда не пропадешь. Не то что на должности.

Подробность эта держалась у него в голове до тех пор, пока Цветкова, довольная разговором с ним, не свернула за избу.

«Петр Петрович не продаст, — подумал он удовлетворенно и продолжал свою мысль с ожесточением: — Кабы вот только я его не продал!»

— *Юридически пули в жестяной коробке и происшествие на Енисее не связаны между собой. Это особые, отдельные дела.*

— *Что ж. Вы положили козырную карту. Я действительно не ожидал такого.*

— *Вы, кажется, полагали, что хорошо разбираетесь в людях?*

— *Оставим это. Жестянка с пулями — убедительное доказательство. И я готов ответить за это. Но почему вы проводите параллели между охотой на лосей и тем, что случилось?*

— *Но разве это не две стороны одной медали?*

— *Я не понимаю.*

— *Понимаете, но не хотите признать. Итак, оставим пока лосей. Вернемся к людям.*



## СЛАВА ГУСЕВ

Когда на рассвете Семка разбудил его удивленным криком и, высунувшись из палатки, Слава увидел, что холм, на котором расположен лагерь, окружен водой, он не испугался, не растерялся, а велел греть завтрак.

Заспанные и взлохмаченные, вылупились из нагретых спальников дядя Коля Симонов и Орелик, беспокойно заколготились, озираясь по сторонам, но Слава на невозмутимость произвела на них свое действие.

— А что, мужики! — заорал Валька, подбегая к краю снега и брызгая водой в лицо. — Это даже ничего! Речка сама подгрребла! Хоть умоемся!

— Снег, обратно, таять не надо, — поддержал его Семка, набирая чайник. Костер уже трепыхался, будто живой, шелкая сучьями, норовя заговорить, создавая уют и полевую домашность.

— Погодите орать! — осадил парней дядя Коля. — Еще натужимся сейчас, похоже по всему, таскать оборудование придется.

Слава неторопливо обошел образовавшийся остров по кромке воды. Снег заметно осел, ноги хлюпали в снежной жиже, но глубоко не проваливались. Видно, им повезло, они устроились на холме, основательно подтаявшем снизу, и земля находилась неглубоко.

Счастья, однако, в этом было маловато, приходилось что-то соображать, хотя чем внимательней приглядывался Слава, тем больше успокаивался: постепенно созрел вариант действий.

Он воткнул у стыка воды и снега сучья для заметы и подошел к костру. Вчерашний ужин дымился, разжаря аппетит, они забарабанили ложками, умиротворяясь хорошей едой и хорошим утром.

Солнце, словно играясь, пряталось за редкие летние облака, выбегало снова, синя прозрачную воду, роняя слепящие блики. После завтрака наступал обычный сеанс связи, и, когда Семка настроился, Слава, не говоря ничего другим, не советуясь, продиктовал радиограмму.

Семка щелкнул выключателем, заканчивая передачу, а Орелик сказал глуховато, видно переживая:

— Слава, может, не надо самим?

Слава сдержал себя, не выразил ничем своего недовольства, спросил:

— А что предлагаешь?

— Вызвать вертолет, пока позволяет площадка, и переправить вещи по воздуху.

— Я думал об этом, — сказал Слава. Он действительно думал об этом и говорил правду. — Только ты плохо знаешь Кирьянова и его прихлебателя.

— Храбрикова? — спросил дядя Коля. Слава кивнул. — Да уж, этот хореk вонюч, — пробормотал Симонов.

— За лишний перегон вертолета устроят канитель. Могут сократить премию.

— Но мы же попали в аварийную ситуацию, — возразил Орелик.

— Тут неглубоко, — не согласился Слава. — Перенесем, может, не замочив ног.

Валька недовольно умолк, не согласившись, видно, с его решением, но Слава постарался сразу забыть это. «Пусть, пусть вырабатывает свои взгляды», — подумал он и, выбрав из сучьев батоr покрепче, взвалил на себя чей-то рюкзак.

— Погодь-ка, — остановил его дядя Коля.

Он подхватил штатив, приборы в футляре, по примеру Славы придирчиво выбрал дырн, и они осторожно ступили в воду.

Первый десяток метров к высоте, где стояла триангуляционная вышка, они прошагали легко и быстро, лишь по щиколотку замочив сапоги, и Слава было обрадовался, что все идет пока гладко.

Прикидывая, он решил, что ничего страшного пока не произошло, просто где-то в верховьях началась бурная потайка, вода залила коренной лед и пошла как бы вторым руслом, а это еще ничего, пережить можно — такая вода быстро не поднимется, может так и простоять тонким слоем до самого ледохода.

Однако радость оказалась негустой. Идя по-прежнему по щиколотку, Слава и дядя Коля все-таки несколько раз оступились — земля тут, видать, была неровной, колдобистой, да и плотный слой снега под водой начал мягчать — приходилось торопиться.

Слава, ощущая, как ледяная вода неприятно жжет ноги, вида тем не менее не подавал, делая это скорее по привычке, нежели из желания скрыть от дяди Коли.

— Охолонулись? — спросил тот хрипло, с сочувствием и вдруг добавил: — А может, послухать?

— Чего послухать? — не понял Слава.

— Орелика, — смущаясь, ответил дядя Коля.

Слова эти будто стегнули Гусева — вот пришла мало-мальски хреновая ситуация, и его, начальника группы, решение уже обсуждают кому не лень, — он резко, забывшись, пошел вперед, расхлестывая воду, и остушился по колено.

Симонов помог ему выбраться, они постояли минуту, отдыхая, переводя дух. Ледяная вода как бы отрезвила Славу. Он постарался взглянуть на себя дяди Колиными глазами. Ей-богу, он начинал походить на Кириянова, который только и знал, что горлопанил: мои вертолеты, мой отряд, моя работа. А у меня, выходит, «мое решение»!

Он обернулся. От лагеря они отошли уже далеко, высотка с вышкой была ближе, и, смягчаясь, Слава сказал дяде Коле:

— Давай все же доберемся.

— А я разве что говорю, — ответил Симонов.

Слава пошел снова, продавливая дрыном подводный снег, стараясь нащупать твердину, и уже у самого почти холма провалился по пояс.

Дядя Коля стоял сзади, Слава, приказав ему не трогаться, попробовал было выбраться, но оказалось, выбраться некуда, тут шла низина. По пояс в воде, он продрался сквозь хлябь до подножия холма, вылез, даже не отряхиваясь, поднялся повыше, снял с себя рюкзак и снова вернулся в воду.

Слава шагал, раздвигая рукой плывущий колючий снег, не чувствуя ног, не чувствуя поясницы, сдерживая себя, чтобы не показать слабости перед дядей Колей и не застонать.

Он принял у Симонова штатив и приборы, снова велел ему стоять на месте, опять вернулся к высотке, уложив принесенное рядом с рюкзаком.

Не оборачиваясь лицом к дяде Коле, Слава с усилием закусил губу. Боль слабым толчком пронизала тело... «Надо бы выпить, — подумал он. — Спирту». Но аварийный запас, наверное, у палатки. Наклониться и проверить принесенный рюкзак не было сил. Слава собрался, уняв дрожь, и повернулся к дяде Коле.

— Симонов! — крикнул он. — Вели ребятам сворачиваться! Несите сюда имущество. Я здесь перенесу.

— В себе ли, начальник? — ответил ему дядя Коля, не думая уходить. — Сдохнуть через два дня хочешь? Никаких планов тогда не кончим. И премий не видать.

— Хрен с ней, с премией! — крикнул Слава.

— Тогда баш на баш, — ответил Симонов, — что вертолетом, что на гору. Здоровье токо сохраним! На кой ляд ломаться?

— Ничего! — не очень уверенно сказал Слава, думая о том, что ему надо поскорее выпить.

— Себя не жалеешь, ребят пожалей! — крикнул ему дядя Коля.

На это Слава ничего не ответил. Он постоял, едва сдерживая дрожь, смерил расстояние, отделявшее его от Симонова.

Тридцать метров полужидкого снега, пробитого его телом, смотрелись обманчиво и неопасно. Он сжался и шагнул в это месиво, с трудом думая, что теперь остается одно: вертолет.

Уже в лагере обнаружилось — аварийный запас спирта Слава унес на высоту. Возвращаться снова, идти опять через этот ад не было сил. С трудом, отвергая помощь Семки и Орелика, он переоделся в сухое, но согреться это не помогло.

Снова, не советуясь и ничего не объясняя, он велел Семке вызвать отряд по обычной волне и попросить вертолет.

— Может, по аварийной? — настырно спросил Семка.

— По обычной, — упрямо ответил Слава, жадно глотая крутой кипяток и понемногу оттаивая. — Пока ничего страшного. Тут пятнадцать минут лета.

Наклоняясь, Валька Орлов подлил Славе заварки. Они посмотрели друг на друга, и Гусев не отвел глаза. Орелик был прав, и он признавал это.

— Не горюйте, ребята, — сказал Слава, улыбаясь потрескавшимися губами. — В случае, так и не больно нужна нам эта премия.

На другой стороне костра хыкнул дядя Коля.

— Ты это деньгами-то больно не сорись, — посоветовал он, пошучивая. — Деньги нужны всякому, то есть даже как кислород. И мне, старому, и Семке, молодому, и тебе, многодетному.

Вечно хмурый, дядя Коля шутил редко, но уж когда шутил, было весело всем, и ему самому тоже.

Они рассмеялись.

Слава лежал на полушубке, брошенном поверх брезента, смеялся со всеми, а холодными, несмеющимися глазами отмечал, что сучья, которые он воткнул утром у кромки воды, едва торчат из нее.

— Третья радиограмма, как зарегистрировано, принята в пятнадцать часов тридцать минут.

— Она тоже не значилась аварийной.

— Да, Гусев был спокоен очень долго. Он верил в отряд, верил, если хотите, в вас.

— Но обязан был выйти на аварийную волну и поднять нас по тревоге.

— В свое время он сделал это.

— Что такое «свое время»? И разве я виноват? Меня не информировали!

— Знаете, почему не информировали? Вас боялись! Да и когда Цветкова доложила вам, что вы сделали?

— Был праздник. День рождения.

— Кажется, тридцать шесть?

25 мая. 16 часов

#### СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

— Так и сидеть будем? — спросил Семка, оглядывая дядю Колю, Славу, Орелика.

— Плясать прикажешь? — откликнулся Гусев. — Валяй. Это полезно.

— А и то! — поднялся дядя Коля, с треском разминая кости. — Поразмяться не грех.

Шутя, выбивая в снегу глубокие рытвины и подыгрывая себе на губах, он прошелся вприсядку. Обрадовавшись, Семка схватил расческу, приложил кусочек газеты, подул, выигрывая пронзительную, жужжащую музыку. Дядя Коля наплясался, хохоча, поддел Семку под бок, тот повалился, дурачась, болтая ногами и не переставая наигрывать на расческе бурный марш, — Семка Симонову был не пара, — и тогда он поддел Славу, вызывая на бой.

Гусев поначалу отлынивал, отмахивался от дяди Коля, но это было не так-то просто: Симонов захватил Славку за шею, перевернул в снег. Пришлось за ним гнаться, бороться, то уступая, то побеждая, едва дыша, слабея от хохота. Семка изображал судью, гудел в свою расческу, Орелик был за публику, свистящую, хлопающую, орущую.

Наконец они утихомирились, уселись вокруг костра, отдышались, утирая со лба пот, обмениваясь колкими шутками насчет чьей-то силы и чьей-то немощи.

— Ты не силен, но широк! — шумел дядя Коля. — Прямо-таки камбала! Никак тебя не перевернешь на бок.

Публика хохотала, а Слава обзывался в ответ:

— Сам ты матрасная пружина. Как ни дави, только колешься!

Довольный общим балагурством, желая продолжить, поддержать начатое, Семка сказал:

— Мужики! Теперь потреплемся. Вот когда я в лагерь ездил, мы перед сном в палатке байки рассказывали. Старались страшнее. Только чем страшнее байки, тем больше смеху. Давайте и мы!

— Сказки, значит? — спросил дядя Коля. — Не-а, я сказок не знаю. Вышел из возраста.

— Я тоже, — потянулся Гусев. — Вот вздремнуть бы сейчас.

— Ну, а правду? — просительно сказал Семка.

— Какую же тебе правду? — усмехнулся Гусев, кладя голову на кулак и прячась под шубу.

Семка посмотрел вдаль, словно выискивая там, какую он правду хочет, обвел глазами воду, разлившуюся вокруг, и придумал:

— Ну, к примеру, про стихийные бедствия, раз мы тут, как цуцки, загораем.

— Эх, хватил, — возразил Слава, — стихийных бедствий у нас быть не должно. Разве что отдельные наводнения и частные землетрясения. А так все нормально.

— Во даст! — кивнул на него Семка. — Помешанный.

— Ему иногда вожжа попадает, — усмехнулся дядя Коля. — Под хвост.

— А я был при одном бедствии, — отозвался Орелик. — На Памире. Ледник там двинулся.

Семка заколготился, подтащил к Вальке спальник, устроился поудобнее.

Орелик засмеялся.

— Ты чего это в рот глядишь? — спросил он.

— Слушаю про ледник.

— Э-э, — шутя толкнул его Валька, — так, брат, не годится. Сам выдумал, сам первый и рассказывай.

Семка сморщил нос, выпучил глаза.

— Я никаких таких случаев не видел!

— Ну, тогда посним, — обрадовался Слава, поворачиваясь на бок.

Семка расстроился. Ему так хотелось хоть раз какой-нибудь, пока все вместе и никто не мешает, как в поселке, и никому не надо идти опять в маршрут, посидеть немного, поговорить, повеселиться в конце концов. Сколько они вместе ходят и только вечером собираются. Да и то! Поедят, свалятся от усталости и храпят. А он бродит вокруг них или сидит рядом, и поговорить не с кем. Нельзя же так, все дело да дело. А время — мимо, мимо. Потом же жалеть будут — ходили, жили рядом, а поговорить основательно все времени не хватало.

Гусев уже свистел носом, симулируя сон, дядя Коля тоже чего-то скисал, один Валька глядел на Семку выжидающе, и он стал спасать положение, стал спасать эти минуты, когда он дудел на расческе, а дядя Коля плясал и потом боролся с Гусевым.

— Я... это, — торопясь, начал Семка, — про бедствия не знаю. Смешным можно заменить?

— Дуй! — велел дядя Коля. — Вали смешное! — и растянул рот, готовый смеяться.

Семка лихорадочно и тщетно перебрал свою короткую жизнь, неинтересные, обыкновенные случаи, свидетелем которых ему приходилось быть, но ничего, кроме глуповатых анекдотов и розыгрышей, не вспомнилось. Он решил рассказать про один розыгрыш посмешнее, это было не так давно, когда Семка учился в радиошколе в другом городе и втроем с двумя приятелями снимал частную комнату.

Поначалу оба товарища очень нравились Семке, один, Ленька, привез с собой аккордеон и вечерами громко играл, наклоня голову, свесив на глаза челку и чуть наклонив ухо к инструменту, словно прислушиваясь к его работе. Второго звали Юриком, он был се-

роглаз, неприметен и любил поест, но зато здорово работал на ключе, обходил остальных и в чистоте, и в скорости.

В общем, Семка делил свое добродушие поровну между двумя товарищами до одного случая, вернее, розыгрыша, на который толкнул его и Леньку Юрик-мазурик: так они прозвали соседа после этой истории.

Вечером, после занятий, Семен и Ленька пришли домой. Жутко хотелось есть, днем они заняли у кого-то рубль, пообедали, думая дотянуть до завтра — завтра выдавали стипендию, но своих возможностей не рассчитали: по дороге на частную квартиру аппетит разыгрался до невозможности. До стихийного прямо бедствия.

У булочной они проверили карманы, вытряхнули медяки, наскребли восемь копеек, взяли городскую, бывшую французскую, булку, похожую на лодку, перевернутую вверх днищем, и еще копейка осталась на разживу.

Дальше до дому они трусили легкой рысью, надеясь, что Юрик, любивший поест, дома и у него можно будет разжиться сыром и маслом.

Юрик, верно, был дома, пил чай из эмалированной кружки, перед ним стоял слегка подкопченный дюралевый чайник, пол-литровая банка, наполовину заполненная маслом, слегка синим от некачественного стекла банки, и возлежал солидный куль из грубой желтой бумаги. В этом куле был сахарный песок.

Семка и Леонид скинули пальтишки, бросили их на кровать, вытащили свою посуду. Ленька налил чай и сказал Юрику, не очень лясь, но и не очень грубя:

— Дай-ка сахарку-то!

— И маслица! — добавил Семка.

Юрик поднял на них утомленный взгляд, отер испарину, выступившую на лбу, оставив, однако, бусинки пота под носом, и, распрямляя свое хлипкое тело, велел:

— А вы повежливей попросите!

— Ишь ты, — возмутился Ленька, — гад какой! Как это у тебя просить, интересно, надо?

— Как следует, — проговорил Юрик, прихлебывая чай, — не грубо.

— Да брось ты, — сказал Семка, — давай гони! Вон у тебя сколько.

— Мое, сколько ни было! — произнес Юрик, придвигая к себе пухленький куль с сахарным песком.



— Все равно не в коня корм, — попробовал убеждать его Ленька, — сколько ни жрешь, вон какой худой. — Но Семка оборвал его:

— Плюнь! Пусть подавится, частный капитал.

Они тогда обозлились здорово, разделили городскую булку пополам, запили ее несладким чаем и улеглись голодные.

— Во, моромой! — обзывал Юрика из своего угла Ленька.

— Куркулы! — бурчал Семка.

— Мазурик! — придумывал приятель.

— Юрик-мазурик! — досочинил Семка.

Юрик-мазурик молчал, не замечая перекрестного огня артиллерии.

Назавтра Ленька и Семен устроили над соседом жестокую расправу.

Мысль о мести пришла к ним случайно, ни о чем таком они не думали, даже забыли вчерашнее, но, вернувшись домой и не застав привычно жующего соседа, возмутились снова.

— Вот гад какой! — шумел Ленька, кочегаря остывшую злость.

— Надо ему отомстить! — придумал Семка. — Насолить как-нибудь за жмотство.

Они распахнули тумбочку Юрика, глумясь над ее изобилием.

— Буржуй настоящий! — бормотал Семка. — Сахара — куль, масла полбанки. Даже тройного одеколону полная бутылка. Давай весь сахар сожрем! — загорелся он. — Или все масло!

— Не съесть, — горевал Ленька, — а то бы можно.

Он взял бутылку с одеколоном, щедро побрызгался сам, пролил струйку на Семку.

— Пахни ароматно! — приказал Ленька и вдруг вскочил от хохота. — Слышь! — заорал он. — Идея! Давай одеколон в сахар выльем! Во закукарекает!

Семка шкodu поддержал, они вылили в песок почти полбутылки, принялись, попробовали песок на вкус и еле отплевались.

Вечером пришел Юрик, принес свой любимый чайник, разложил на столе продукты, набухал в кружку песку, ложек шесть, не меньше, и поднес ее ко рту.

Резкий запах дешевого одеколонашибанул ему в нос, он попробовал чай на вкус, сморщился, тайком взглянув на ребят, но они были наготове, вдумчиво гля-

дела в книжки, — задумался недолго и вдруг с удовольствием стал потягивать чай, заедая его намавленной булкой. Семка и Ленка переглянулись, расширили глаза, едва сдерживаясь от смеха, а Юрик спокойно допил чай, сложил куль в тумбочку, сыпал сахар, наверное, целый месяц, так и не решившись выкинуть.

— Неужто не пахнет? — удивлялся Семен, когда они оставались одни. — Нос, может, у него заложено?

— Пахнет, — уверенно отвечал Ленка, — просто жмот. — И поражался: — Надо же, так и дожрал одсконовый куль.

Эта история врезалась Семке в память, Юрик-мазурик иногда выплывал из нее, и Семка рассказывал о нем другим с удивлением и смехом; смеясь, Семка рассказывал о нем и теперь, но засмеялся только Орлик.

— Чего же тут смешного? — спросил Слава Гусев.

Семка растерянно поглядел на него.

— А говоришь, стихийного бедствия не видал, — сказал хмуро дядя Коля. — Я вот по свету ползая, где ни бывал, даже, вишь, заключенные наблюдал, — проговорил он неспешно, — и скажу тебе, Сема, что этот твой Юрик — самое паскудное гадство на земле. Вошь, гнида, и, что обидно, нет ему перевода.

— Чего хочешь? — спросил Слава. — От старых образуются молодые, каков плод, таков и приплод. Я и то гляжу, все, говорят, молодые лучше старых. И новей, и умней, и грамотней. Но вот, рассуждаю, тогда откуда подлость берется? Гадство всякое. Помрут, мол, старики, пережитки прошлого, останутся одни молодые, ну, бывшие молодые, и все хорошо станет? Ан фиг!

— Ты, Слава, молодых не вини, — возразил ему дядя Коля, — гнидство все же, как и хорошее, по наследству как бы передается...

— Дядь Коля, — всхотнул Слава, перебивая его, — а впрямь парень этот, мазурик-то, на хоряка нашего похожий?

— И то, — засмеялся дядя Коля. — Вылитый Храбиков.

Семка, все это время молча слушавший рассуждения Славы и Симонова, вспомнил Храбрикова — маленького, щуплого, но, видать, жилистого, мелкие его, вертявые глазки, морщинистое, изношенное лицо — и подумал, что в самом деле Юрик-мазурик смахивает чем-то на этого старика, не внешне, конечно, а нутром, что ли...

От этого Семкиного рассказа стало как-то гнусно, и Семка заругал себя: хотел посмеяться, а вышло иначе.

— В шестнадцать часов двадцать минут рация Гусева вышла на аварийную волну, передав, правда, довольно спокойную радиogramму. Напоминаю: «Остров, котором находимся, быстро сокращается. Просим вертолет». Ни слова «срочно», ни «нсмедленно». Просто «просим».

— Слишком спокойная.

— Какие за этим последовали действия?

— Мои?

— Партии, отряда? Ваши лично?

— Цветкова радировала в ответ, что вертолет выйдет в ближайшее время.

— И пришла к вам?

— В том-то и дело, что нет! Стала искать Храбрикова.

— И где нашла его?

— На кухне в столовой. Они поругались.

— Где вы были в это время?

— В столовой. Шел вечер.

— Цветкова не подошла к вам?

— Нет. Она отправилась на радиостанцию и запросила, как чувствует себя группа. Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи».

— «Ждем помощи». Разве этого мало?

25 мая. 16 часов 40 минут

### ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

«Аленка, мы вляпались в забавное происшествие. Сидим на острове, окруженном водой, и похожи на зайцев, которых спасал дед Мазай.

Только Мазая что-то не видать, хотя Слава дал с утра три радиogramмы. Опять, наверное, не на месте вертолеты или еще какая-нибудь мура — Храбриков, например, горячее экономит, — вот мы и загораем в прямом и переносном смысле: солнышко жарит неистово.

Поутру Слава пытался пройти с острова вброд, купался основательно и послушал меня: на этот раз

правым оказался я. А мой вариант прост — вызвать вертолет, чтобы перенес нас вместе с вещами на недоступную воде точку.

Теперь ждем деда Мазая на вертолете, и я не понимаю только одного: чего-то беспокоится Слава, стараясь скрыть это. Но чего? Долго не летят? Прилетят. Тут пятнадцать минут ходу. Быстро поднимается вода? Ну и что? Даже для того, чтобы нас затопило окончательно, потребуется, по моей прикидке, не меньше трех часов. А за это время мы сможем выбраться десять раз, как минимум.

Так что волноваться пока не приходится, и мы, загорая, рассказываем байки по предложению радиста Семки. Он, вообще, малый — молоток, выдумал забавную тему для разговора — о стихийных бедствиях. Парень с юмором, учел курьезность ситуации, но сам, правда, тосковал совсем о другом — про парня, который не дал им сахара и они пили несладкий чай. Пересказываю я тебе, понятно, кратко и не очень так: писать всегда труднее, чем говорить. Мужики наши, берендеи эти — Гусев и Симонов, Семку не поняли, он хотел посмеяться, они же обернули всерьез. А я, пожалуй, в таких случаях — пас. Слишком угрюмо глядеть на жизнь, по-моему, просто скучно. И этот куркуль, о котором говорил Семка, просто глупец, дурак. Жизнь его обка-тает.

Я попробовал было выразить это, меня не поняли.

«Гадство, — поучал меня наш малограмотный дядя Коля, — неистребимо! И хорошее, и гадство вытряхнуть трудно!»

Видишь, в какой высоконравственной обстановке я живу? Впрочем, ладно, это я с досады. В общем-то мужики они отличные. Разве что грамотешки не хватает.

Одним словом, за краткой перепалкой настала моя очередь рассказывать байки про стихийные бедствия, и я вспомнил подходящий случай. Как угораздило меня на ледник Федченко, вернее, на один из его языков.

Только теперь, рассказав эту историю, понял, что тебе о ней никогда не говорил, не приходилось просто, так что, пока ждем вертолета, запишу ее. В истории этой, должен предупредить, есть элементы смеха, так что, излагая ее, здесь, на острове, я дал ей название «Стихийное бедствие, происшедшее из-за свиньи».

Дело было после третьего курса, в Средней Азии, куда меня и еще нескольких ребят послали на практику.

Мы жили в жарком городе, где по вечерам на улицах продавали розы, лежавшие в тазах и ведрах. Цветы издавали одуряющий аромат, и мы, бездельничая, бродили по этим улицам, удивляясь женщинам, закутанным в блестящие цветные шали, крикам муэдзина из-под купола мечети, бородатым старцам с тюрбанами на голове, усевшимся пить зеленый чай чуть ли не на асфальте. Времени нам хватало вдосталь — работали мы только по утрам, днем, по законам юга, отлеживались в густой тени, а вечером гуляли и, постанывая от счастья, ели великолепные душистые шашлыки.

Возле мангала, светящегося угольями, а отнюдь не в своей высокочтимой Гидрометслужбе, где практиковались, и слышали мы впервые про злосчастную свинью и про страшное бедствие, которое она навлекла.

Держа, как букеты, шампуры, униженные сочным мясом, шашлычник, путая русские слова, рассказал нам, что с гор двинулся ледник.

«Русский виноват, русский, — поднимал он палец, и мы не понимали, при чем тут русский или нерусский. — Свинью притащил к горе, не ешь свинью, слушай, ешь баранину, э?»

Тут надо сделать отступление и объяснить, что я на курсе считался альпинистом. Ходил в институтскую секцию. Честно говоря, альпинизм этот был липовый: какие у нас горы, сама знаешь. Тренировались мы на полуосыпавшемся каменном столбе, который был в лесу, недалеко от города, и в известковом карьере с обрывами, упражняясь в подъемах и спусках, с применением костылей, страховки и всякой прочей техники. Окрестные мальчишки над нами покатывались. Наверное, со стороны это действительно было смешно: взрослые люди, а валяют дурака на горках, куда можно пешком зайти.

Словом, секция тихо скончалась, никаким альпинистом я не был, не залез ни на единую вершину, но иногда случается так, что слава оказывается сильнее тебя. И я оказался жертвой дутой славы.

Наутро после ненаучной беседы с шашлычником мы узнали научную трактовку вопроса: язык ледника Федченко двинулся вниз с курьерской для него скоростью — двадцать метров в сутки, запрудил речку, вытекавшую из соседнего ущелья, и там образовалось мощное озеро. В район происшествия формируется экспедиция, которая полетит проводить съемку, подсчитывать объем

водоема, наблюдать движение ледника. Ей требуются люди, одновременно альпинисты и гидрологи.

Ребята вытолкнули меня вперед, я не сопротивлялся, был приставлен к трем спешам, обмундирован в казенную амуницию и отвезен на аэродром.

Лететь было жутковато, особенно когда пересекали какой-то памирский хребет и приходилось идти вдоль тесного каменного рукава.

Обмирая в воздушных ямах, я глядел через открытую дверь на пилотов, натянувших кислородные маски и вжавшихся в штурвалы, озирался по сторонам, холодел: едва не касаясь крыльев, коричневые, словно иссохшие, каменели отвесные обрывы ущелья, а воздушные потоки подбрасывали и роняли самолет.

Когда мы сели на краю маленького поселка в огненной от цветущих маков долине, я долго тряс головой и глотал воздух: в ушах лопались какие-то пузыри. Сказывался перепад давления — мы были в горах, на огромной высоте.

В поселке, у чайханы, на маленькой площади, предрик, узнавший о прибытии спецрейса, выкрикивал шоферов, желающих отвезти научную группу к подножию ледника. Шоферы топтались в пыли, отворачивались, сосредоточенно разглядывая кур, клокотавших в тени грузовушек, и никто не хотел нас везти.

Я тогда возмущился, сказал что-то резкое предрику, какой, мол, он начальник района, если не может найти шофера, но тот — маленький, пузатый, в тибетейке — строго посмотрел на меня и ответил:

— Кому надо, понимаешь? Что там хорошего?

— А чего плохого? — удивился я. Но удивился, как выяснилось, напрасно.

Предрик обнаружил брешь в водительских рядах — какого-то молодого испуганного парня, заставил его сгрузить из кузова ящики с бутылками и силой затолкнул нас.

— Команду имею! — кричал он при этом каким-то оправдывающимся голосом. — Отправить ученых!

Зрители и чайханщик глядели на предрика осуждающе.

Пока мы отъехали от поселка недалеко, наш шофер три раза останавливал машину, вылезал из нее и, прижав руки к груди, добавляя что-то по-таджикски к русским словам, умолял нас отпустить его.

Мы ничего не понимали, пока через пять часов не добрались к подножию ледника.

Водитель тут же развернулся и уехал, а к нам приблизились небритые люди — остатки горного отряда, который из-за ледника вынужден эвакуироваться. Мы сказали про странного шофера.

Горняки как-то сразу умолкли, скованно улыбаясь, потом один показал на чан, от которого вкусно пахло мясом.

— В этом все дело! — И добавил убежденно: — В нем!

Мы не поняли, и тогда горняки нехотя объяснили, что захватили с собой поросенка, откармливали его, а мусульмане, узнавая о свинье, пугались и твердили: «Будет беда!» И что ж, подтвердилось. Тронутся ледник.

Мы засмеялись, но, не поддержанные горняками, умолкли. Они, выпив, сосредоточенно, с яростью, словно вымещая обиду на поросенке, поедали его.

Потом горняки уехали, мы остались одни.

Я глядел на ледник и не мог побороть отвращения. Он походил на жуткую тварь, вылезшую из-под земли. Ледовые глыбы, черные от грязи, перемешавшись с осколками поменьше и просто с крошечным, передвигались незаметно для глаза, только изредка взрывая тишину утробным грохотом. На кончике своего языка ледник волок останки сооружения, где была электростанция горняков. Снизу и спереди ледник действительно напоминал гигантский язык, усеянный искореженными, беспорядочно смешанными заостренными глыбами. Лед таял, и с языка текло.

Мы проводили обмеры скорости движения ледника, его возможный объем, передавали все это в город, а оттуда настоятельно требовали: оставить в покое ледник и выяснить объем озера.

Чтобы выполнить это, надо было взобраться на гору. Альпинист из меня оказался бездарный, а старший группы, чертыхаясь, буквально волок меня наверх: обратно отступать было поздно. На высокой площадке мы установили приборы. Дул стремительный ветер, сбивая капюшоны. Страх пронизывал позвоночник; стараясь не глядеть по сторонам, я делал измерения, ужасаясь ледника.

Отсюда, сверху, он действительно походил на доисторическое чудовище, которое одним боком прижало реч-

ку. Образовалось озеро, по нашим подсчетам, в несколько десятков миллионов кубов.

Не помню, как я спускался вниз, наверное, ползком, моля мать родную не продать и не выдать. В общем, наш старший спустил меня на веревках. Внизу он оглядел меня критическим взглядом, приготовился к высказыванию. Но смолчал: я был мокрый от пота.

Мы передали наши измерения в город. По подсчетам выходило, что опасность велика. Озеро медленно накапливало мощь и готовилось сразиться с ледником. Ледовая плотина, хотя и мощная, но неоднородная по структуре, могла не выдержать напора воды.

Мы запросили аэрофотосъемку, и однажды высоко над нашими горами пролетел военный самолет, как бы заиндевелый в холодном синем небе. Когда он летел, оставляя прямой инверсионный след, старшему пришла в голову блестящая идея: разбомбить ледник. Он радировал об этом в город, но нам приказали сворачивать работы и прислали машину с сопровождающим — тем самым пузатым предриком в тюбетейке.

Толстяк испуганно озирался на серый лед, уважительно помогал нам и спрашивал, что ему делать. Но как мы могли ответить?

Опасность была известна лишь теоретически, мы только измеряли и подсчитывали — советовать должны другие.

Я уехал с практики, был дома, когда узнал: прогнозы подтвердились. Многометровый водяной вал, подхватив вечный лед, промчался по долине. Были жертвы...

Что-то написал я тебе свою притчу и вижу, забавного мало и поросенок тут ни при чем. Вот и Семка спросил о поросенке, за что же, мол, он пострадал? Да, дела.

Хотел мужиков наших растормошить немного, а вышло наоборот. Сидят молчаливые».

— Один, если можно так выразиться, психологический вопрос. Почему вы так рьяно защищали Храбрикова? Вас что-то связывало?

— Нет.

— Странно. Вы упорно стоите на стороне интересов экспедитора, а ведь он ведет себя иначе.

— То есть?

— Закладывает вас, как говорится.



— Пули в жестянке — этого еще мало. В конце концов, я заботился о коллективе.

— А рыба — тоже забота о коллективе?

— Какая рыба?

— Храбриков все записывал. Смотрите. Числа, когда вертолет ходил на станцию. Фамилии проводников. Корешки телеграмм вашей жене.

— Я об этом ничего не знал. Может, он хотел сделать приятное?

— Бросьте, Петр Петрович. Храбриков говорит про вас совсем иначе.

25 мая. 17 часов

### НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Николай сидел, скукожась, вдавив шею в плечи, и мысли его бродили далеко от этих мест, от этих ребят, от этого времени.

Поперву, когда видно стало, что хвалиться им своим островом ни к чему, начал шутковать, да вот Орелик сбил все, о стихиях говорить подначивал и сам такое рассказал, что теперь ему, дяде Коле, как они его кличут, не до смеха и не до шуткования.

Вспомнил он себя в многодавней давности, — странно, будто и не с ним это было, а с кем-то иным: другого лица, другого сложения, другой жизни, — и, вспомнив, влез в то изгоняемое годами, забываемое и никак не забываемое, в то, что норовил он как бы заровнять, сгладить, да так, видать, и не смог.

— Дядя Коля, твой черед! — окликнул его Орелик, уже не улыбаясь, как сперва, не хорохорясь, погрустнев.

— Нет, я про стихи-то не знаю, — ответил дядя Коля и, подумав, будто убеждаясь в этом, снова подтвердил: — Не знаю.

— Ну что иное расскажи! — потребовал Семка.

«Надо ли?» — подумал нерешительно дядя Коля, поднимая глаза и обводя пацанов этих, обошедших его в жизни, расторопных, толковых. «Надо ли и к месту ли сказано будет? — снова взвесил он, не понимая толком, отчего вдруг после ледника Валькиного пришло на ум покрытое давнолетней забытостью. Какое-то слово, ровно камень, обрушило и повлекло за собой память. —

Какое же слово, — напряженно вспоминал он. — Стихия? Нет... Хотя это, может, тоже стихия? Все же, видеть, не оно. Жертвы. Вот жертвы».

Не глядя на парней, заскорузлыми, огрубелыми пальцами выхватил Симонов из костра уголек, прикурил сигарку, откашлял густо и смачно вечно застуженную глотку и сказал:

— Я про войну расскажу.

— А ты воевал, что ли? — удивился Семка.

— Воевал и не говорил? — спросил Слава.

Он мотнул головой, потому что и воевал, и не говорил, и не гордился своей солдатской службой, которая бывает разной: и геройской, и не геройской, обыкновенной, и такой, как у него, — жуткой. Про войну он не рассказывал никому, никогда, не говорил и Кланьке, боясь напугать ее, но теперь чувствовал, что не устоит, что расскажет этим пацанам всю про себя правду, что не должен он более держать в себе такое один.

В сорок четвертом, восемнадцати лет от роду, необразованного, неотесанного, деревенского, его призвали в солдаты и по причине малой грамоты сразу отправили на фронт. Посылать учиться его было без толку, прямо в окопы — жалко, и сердобольная комиссия командировала Кольку в армейские тылы.

Он сперва не больно-то разобрался, поняв только, что хоть и не придется ему стрелять по немцам, винтовку ему все же выдадут, а это было приятно, льстило самолюбию. К тому же он мечтал раздобыть кинжал, настоящий немецкий кинжал с какой-то там надписью по блестящему лезвию и красивой рукоятью со свастикой. Свастику Николай предполагал сточить, чтобы не путалась, а кинжал носить при себе.

Сейчас понять трудно, на что ему был кинжал, пацанство еще не выветрилось. Однако оно исчезло скоро. Очень скоро.

По прибытии в часть его направили, согласно предписанию, к худому, будто лущеный стручок, старшине с лицом, изрытым оспой, шрамами да еще обожженным — старшина был в прошлом танкистом, горел, но выжил и попал сюда, — так что вместо лица была у него полумаска. Губы, глаза, часть щеки — жили, остальное, глянцевито блестя, никогда не менялось.

Увидев его, Колька вздрогнул, старшина усадил его напротив себя и спросил, верно, заметив смущение солдата:

— Испугался?

— Не-а, — соврал Николай, стыдясь своей нежностью, а старшина добавил:

— Это, Симонов, еще не страшно. — И удивился: — Кто тебя только сюда направил?

Колька бодро, не тушуясь, сослался на комиссию, на свою малограмотность. Но старшина пожал плечами, спросил:

— Ты знаешь хоть, где служить придется?

Колька молчал.

— Не повезло тебе, брат, — вздохнул старшина. — В самое страшное место на войне ты попал. В похоронную команду.

Колька молчал, соображал, что это, конечно, нехорошо, но тут он свой кинжал непременно добудет, потом пошел спать в свое отделение — к старым солдатам, и они оглядывали его удивленно, жалеючи, а его задевала эта непонятная жалость.

Понял он все только поутру, когда, поев, они сели на телеги, запряженные обыкновенными лошадьми, и направились в поле.

Эта езда напоминала Николаю деревню, страду, сенокос или сдачу хлеба — вот так же, колонной, они возили мешки с зерном на хлебосдаточный пункт; он повеселел, замурлыкал, опять поймал на себе жалостливые взгляды, замолчал, хмурясь, а потом зрачки его сами по себе расширились до предела.

Поле прорезали траншеи, и в них, и между ними, и возле обугленных танков лежали мертвые люди.

Это был страшный день.

Старшина с неподвижным лицом учил Николая похоронному ремеслу, и, страшась, холодея, он делал то, чему его учили: доставал из нагрудных карманов документы, откручивал ордена, снимал медали, клал мертвого на телегу, подвозил к могиле.

Сперва он крепился, потом его стало рвать — трупы были непередаваемо страшными, — и старшина отправил его в расположение. Колька скинул одежду, отмыливался, лил на себя ведрами воду, потом лег на траву и забылся.

Его разбудил старшина. Солнце ушло за лес; очнувшись, вспомнив все, Колька снова побежал в кусты. Его выворачивало до последнего, до желчи, зеленый, он вернулся к своему командиру, тот держал стакан с водкой; не говоря ни слова, Николай выпил, все поплыло...

Утром старшина отвел Кольку к какому-то офицеру, и тот спросил:

— Хочешь, Симонов, мы тебя отправим куда-нибудь? На кухню, что ли?

Николай молчал, понурая голову.

— Говори, хочешь? — толкнул его старшина, и Колька сказал мертвым, безликим голосом:

— Теперь все равно.

Офицер долго молчал, молчал старшина — его лицо ничего не выражало. Только подрагивали губы и часть живой щеки. Потом они поднялись, и старшина с Николаем вернулись в команду.

Он осунулся, похудел, как его командир, стал молчалив и не боялся мертвых: теперь его глаза видели все, что может видеть человек. Больше ничего не оставалось.

Старшина, жалея Николая, пробовал облегчить его службу, приставив в группу землекопов, а потом плотников, которые сбивали стандартные пирамидки со звездочкой, подкрашивали их, за неимением другого, разведенной марганцовкой.

Впрочем, этих скидок Николай не чувствовал, не понимал. Он молчал, все больше молчал и молча снимал награды, собирал документы. Даже в таком деле он нашел здравый деревенский смысл: мертвых надо было не только похоронить, надо было собрать память об их жизни, надо было поставить пирамидки, чтобы потом люди приходили к ним.

Но однажды он увидел картину, которая изменила даже это, необходимое, житейское понимание его работы. Увиденное в то утро словно вмиг изменило его самого: до тех пор Николай как бы глядел внутрь себя, поглощенный горем и тяжестью, а теперь взгляд его переменялся — и он глядел из себя, он глядел широко вокруг и не только своими глазами. Он увидел и понял смерть солдат их умом и памятью их вдов, осиротелых ребятишек, навеки горестных матерей.

Они с напарником взошли на небольшой холм, серый и выжженный. Под высоткой лежал наш солдат. Смерть застигла его в беге: он лежал, откинув вперед одну ногу, и винтовка была под ним, намертво сжатая руками. Второй, старшина, лежал на животе, выкинув вперед правую руку, а на указательном пальце висело колечко гранатной чеки. Гранату он швырнул, а упал уже мертвым.

Веером возле них распластались немцы. Фашистов было двенадцать или тринадцать. Они хотели взять солдат, а те не сдались. Не сдались...

Николай оглядывал немую картину, это был финал боя, финал победы двоих солдат над целым отделением фашистов, и Николай вдруг понял, что он не просто могильщик, а что ему поручено от людей — от этих солдат, от их вдов, матерей и детей — увидеть последний человеческий шаг. Что ему поручено понять, оценить и запомнить этот шаг.

Вечером, при свете коптилки, Симонов написал письма матерям солдат: у обоих в карманах сохранились полуистлевшие конверты. Неумело и нескладно, но обстоятельно и подробно, словно он был свидетелем боя и воевал рядом с ними, Николай сообщил, что рядовой такой-то и старшина такой-то уничтожили двенадцать врагов. Вдвоем. Краткое письмо составил он и в часть, где воевали эти солдаты. Может быть, там не знали, как погибли они. А Симонов знал. Знал.

Уже за границей, в Польше, получив несколько медалей, — похоронную команду, видно, из сочувствия к ее работе, никогда не обходили, — Николай вместе со своими товарищами был неожиданно поднят по тревоге и грузовиками переброшен в незнакомое место.

Дело было ранним утром, стлался туман, на ветках кустов взблескивали капельки влаги. На большой поляне, куда пригнали грузовик, стояли «виллисы», много офицеров, генерал, какие-то люди в штатском и немец в фуражке с кокардой.

У немца было мордастое, курносое, совсем не немецкое лицо, длинная голубая шинель застегнута на все крючки. Руки он держал за спиной и опустил их только раз, когда все закончилось и с ним стали говорить люди в штатском. Пока же команда стояла в сторонке, строем, хотя и вольно, перекуривала перед заданием, а офицеры отмечали на поляне какие-то точки.

Потом они начали копать. Николай думал, это склад снарядов, однажды им приходилось уже работать за саперов, но под тонким снегом и слоем земли было совсем другое.

Они копали в одну шеренгу, поднимая землю на себя и пятясь, и перед ними открывалась жуткая картина.

Это была яма, заваленная женскими трупами.

Лопаты звякали, цепляясь иногда одна о другую, на поляне, где было много народу, стояла мертвая тишина. Старшина с обгорелым лицом работал вместе со всеми, на правом фланге, ведя ровную линию, соответствующую краю ямы, и вдруг, краем глаза, разгибаясь, чтобы отбросить землю, Николай увидел, как старшина бежит. Бежит к немцу, подняв над собой лопату.

Николай молча кинулся ему наперерез, пытаясь задержать, но не успел. Мордастому фрицу повезло: он уклонился, и удар лопаты пришелся по плечу, да и то черенком, который, правда, с треском переломился, хотя черенки к лопатам в похоронной команде насаживали крепкие. Немец упал, старшина с остервенением пнул его пару раз, но его схватили подбежавшие люди, стали оттаскивать, а он хрипел, оборачиваясь к генералу:

— На передовую, отправьте меня на передовую!

Николай повел старшину в лесок, подальше от рва. Тот переставлял негнувшиеся, словно враз одеревеневшие ноги, часто спотыкался, глядел вперед остановившимся взглядом. Пугаясь, Николай негромко звал его по имени, но старшина не отзывался. Николай усадил командира на пенек. Тут было совсем тихо, даже звенело в ушах от такой тишины. Старшина был бледен, и цвет его губ совсем сравнялся с цветом белого лица. Верхушки деревьев тронул ветерок, рядом неожиданно шлепнулась шишка, старшина вздрогнул, и Николай увидел, как торопливо запрыгал кадык над воротом старшины. Из нутра командира, словно тяжелый выдох, вырвался нарастающий глухой вой.

Командир всегда был молчалив и угрюм, и ничто, казалось, не пугало его. Маска обожженного лица скрывала его чувства, а сам он, как и все остальные в команде, никогда лишнего не говорил. Теперь что-то сломилось в командире, он рыдал, но это был не плач, а что-то необъяснимое, странное, похожее на приступ или судорогу.

— Не могу! — проговорил старшина сквозь стон. — Больше не могу. Сил нету... Моих вот в таком же рву уложили, слышишь, Симонов, всю деревню в таком же рву.

Они посидели, старшина притих, потом велел Николаю идти работать.

Вечером команду отпустили на отдых, Николай схо-

дл в лесок за старшиной. Тот все сидел на пенёке, но Симонов не узнал его: за эти полтора; от силы два часа старшина осунулся и постарел, будто прошли целых десять лет. Он и так был немолодым, бывший танкист с обожженным лицом, но сейчас перед Николаем сидел старик.

Симонов тронул его за руку, старшина поднялся, вздохнул, сказал: «Что-то сердце схватило» — и снова вздохнул.

Они поехали в деревню, где предстояло ночевать все эти дни, пока не закончит работу комиссия и пока они нужны. Вечером, когда уже все легли, старшина позвал Николая.

Он присел к командиру, придвинул поближе лампу.

— Николай, ты, однако, просись-ка на передовую, — сказал старшина. — Не то худо все обернется. Ты молодой еще, тебе еще жить, любить надо, веселиться. А ты только смерть видишь. Коли не убьют, передовая все заровняет.

Николай кивнул.

— Я за тебя похлопочу, — прибавил старшина.

На рассвете Симонова грубо растрясли. Ничего спросонья не понимая, Николай вскочил, стал наматывать портянки, думая, что тревога, но вокруг тихо, понуры головы стояли солдаты, товарищи по команде, и он остановился, соображая, посмотрел наконец в угол, где лежал старшина, и, поняв, ощутил, как, помимо его воли, дергаются плечи. Изба, солдаты, старшина расплылись перед глазами, но он не стыдился этих слез.

Вызвали военврача из комиссии, он увез старшину в пустую избу, а потом команде сообщили, что командир их умер от сердечной болезни.

Похоронили командира там же, в прозрачном лиственном лесу. Могилку отрыли быстро, умеючи, а когда отрыли, застыдились своей скорости и долго сидели кружком вокруг старшины у зияющей коричневой ямы. Еще одной ямы, в которую надлежало пристроить еще одного человека, убитого войной.

На передовую Николая не отпустили, он заменил старшину, дошел до Берлина, в солдатских разговорах представлялся как пехотинец, да и кем он был в самом деле, если не пехотинцем, пехом истоптавшим землю. И как истоптавшим!

От того рва и от могилы старшины у Николая на-

чался как бы другой отсчет жизни. Был он пустой, словно вытряхнутый, и жил и глядел вокруг себя скорей по привычке, чем из интересу. Ровно вышла из его жил вся кровь.

— Мы с вами разбирали последовательность, в которой ответственные виновные. Первым вы назвали Гусева, и тут у меня к вам вопросов нет. Вторым — Цветкову. Третьим — Храбрикова. За это время, пока мы беседуем, вы не переменили места?

— От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

— Однако изменилась.

— Вы меня просто удивляете. Давайте начистоту. Одно условие — без протокола. Ведь стало меньше одним преступником. Убийцей.

— Я много видел циников, Петр Петрович. Но то, что говорите вы, даже не назовешь цинизмом.

— Вам же, следственным органам, правосудию, меньше работы.

— А вы еще и добренький, оказывается.

— Добренькие — понятие отрицательное.

— Это я слышу впервые. Это уже доктрина.

25 мая. 17 часов 20 минут

## КИРА ЦВЕТКОВА

Пиршество по случаю тезоименитства Кирьянова шло уже давно, но Кира никак не могла заставить себя пойти в столовую.

Что-то с ней случилось, она понимала это, что-то надломилось в этот знаменательный день: перед ней возникали преграды — естественные и искусственные, она пыталась проломить их плечом, но только расшибалась. С ней такое уже бывало не раз: неожиданно, в один день, в одну неделю, месяц или еще какой-нибудь ограниченный отрезок времени, обстоятельства, ситуации, не зависящие как будто от нее, прихотливо переплетались, и каждый шаг, каждый поступок, даже самый мелкий, незначащий, приводил исключительно к неудаче.



Сети обстоятельств оплетали ее, и чем энергичнее она действовала, тем беспотковее все выходило. Сегодня был такой день, однако именно сегодня она несклонялась винить нечто высшее — рок, судьбу, случай или что там еще, которые опутывали ее своей незримой властью. Нет, сегодня ее неудачи зависели от людей, только от людей, и она видела, понимала это, сжимая в отчаянии и бессилии свои маленькие кулачки.

Кира была давно готова, одета по-праздничному, в закрытое строгое платье со стоячим воротничком, серое, элeгантное, которое очень шло ей; на ногах поблескивали изящные туфельки: даже свои недостатки женщина порой может обратить в достоинства — Кира втайне гордилась маленькими ногами и маленьким размером обуви, это было чисто женское преимущество; волосы она причесывала очень простенько, гладко, под Марию Волконскую — в альбоме хранилась репродукция миниатюры с ее портрета, — заколов их на затылке, а остаток выпустив вперед, на плечо.

Все было хорошо. Кира гордилась немногими своими плюсами, среди них умение одеваться со вкусом, негромко, соответственно облику и характеру, было основным: одеваясь празднично, она чувствовала какое-то обновление, внутренний подъем, легкость. Хорошая одежда все-таки вдохновляет, что ли, человека, тем более женщину, и трижды тем более, если она одевается так редко, обычно не вылезая из брезентовой рубы, грубых чулок и резиновых сапог с высокими голенищами.

Да, Киру радовала хорошая одежда, честно признаться, она ждала именин Кирьянова, думая о редком случае выглядеть хорошо, скромно и непривычно для этих мест, но теперь все было сломано.

Она стучала каблучками по дощатому полу своей комнаты, сжимала кулаки и, не чувствуя приятности одежды, ненавидела, не могла думать без содрогания о Храбрикове.

Днем, после возвращения вертолета, она сказала Храбрикову про лодку, потом, позже, про вертолет. Он резал мясо, несчастный мясник, заверил ее, что машину направит после обеда, но через час Кире передали уже аварийную радиограмму.

Она, как девочка, как школьница какая-нибудь, побежала к этому крестину, разыскала его на кухне —

прихлебатель, приедало, мразы! — и устроила, не узнавая себя, скандал. Она подстегивала, понуждала свое едва просыпающееся самолюбие, в конце концов она начальник партии, и этот пень на дороге — человеком его не назовешь, — это ничтожество, глядящее в рот одному Кириянову, должно подчиниться ей.

Она не привередлива и никогда не вмешивалась в эту странную связь Кириянова с Храбриковым или Храбрикова с Кирияновым, кто их там разберет, не собиралась соваться не в свое дело, но теперь эта дворцовая игра раздражала ее. В опасности оказались люди, и в этом случае служебные и частные пирамиды, воздвигнутые Храбриковым и Кирияновым, должны рухнуть — о чем разговор!

После скандала на кухне она хотела немедленно поговорить с Кирияновым, открыла уже дверь в столовую, но тут же притворила ее. ПэПэ говорил речь, похохатывая, модулируя голосовыми связками, — речи его всегда отличались бескрайностью и определенным уровнем исполнительства, — приглашенные сидели тихо, словно мыши, стая серых мышей, к которой должна присоединиться и она, серая мышка Цветкова.

Кира ломала пальцы, нервничала, несколько раз заглядывала в дверь одним глазком, но Кириянов, покрасневший от выпитого, все говорил и говорил, и она не выдержала, накинула пальто и побежала к радистам. Преодолевая расстояние от столовой до дома, крыша которого была усеяна причудливыми антеннами, она лихорадочно думала, что поступила очень верно, побегав сюда, а не объяснилась немедленно с Кирияновым. С мерзавцами надо бороться доказательно, сильно, а у нее, кроме эмоций и одной аварийной радиogramмы, ничего не было, хотя аварийная радиogramма говорит сама за себя. Однако это можно доказать кому угодно. Кириянову же лучше всего предложить более веские доказательства: флегматичную аварийку Гусева он обсмеет, и только. Она бежала к радици, надеясь, что запросит у Гусева подробности, что он наконец объяснит внятно, что там случилось, забудет тревогу.

Радиcты — Чиладзе был в столовой — выполнили ее требование, но в ответ на запрос, как чувствует себя группа, Гусев ответил: «Нормально. Ждем помощи». Чертыхнувшись в душе, Кира пошла назад, к столовой, но на полдороге повернула домой. И вот психовала, нервничала, злилась.

Пытаясь успокоиться, она анализировала причины своего состояния. Может, это просто форма женской истерики? Реакция уязвленного самолюбия? Перестраховка безвольного существа, боящегося любой ответственности? И, черт побери, люди, которые просят вертолета, тут совсем ни при чем?

Она прохаживалась по скрипящим половицам. Наверное. Может быть. Даже очень может быть. И истерика, и самолюбие, и, в конце концов, перестраховка неуверенного в себе человека, но не только, не только! Гусев — широкий, костистый, хотя и невысокий, с крепкими ухватками — не выходил из головы. Да, он спокоен, даже чересчур, порой просто непробиваем, но тем более. Если он просит вертолет, значит, уже перепробовал все другое.

Кира остановилась у окна. Больше тянуть невозможно. Ее поведение и так походило на вызов.

Она оделась и вышла из дому.

В столовой дым стоял коромыслом. Кира обрадовалась, что, может, ее появление не заметят, будет считаться, что она тут давно, но Кирьянов, сидевший во главе стола, заорал истошно, ломая ваньку:

— Кира Васильевна! Голубушка! Где же вы! — и без перехода: — Штрафную ей! Штрафную!

Окружающие засмеялись, Кирьянов, ломаясь, поднес ей граненый стакан, наполненный спиртом и подкрепленный заваркой.

— Коньячку отведайте, — прогремел он, — нашего, сибирского коньячку, — а сам кланялся, изображал теперь хлебосольного хозяина.

Кира пригубила спирт — все внутри обожгло, но она сдержалась, не закашлялась, приложив все силы, чтоб отвлечь от себя внимание гостей и хозяина. Кирьянов отошел, и взгляд Киры упал на стулья, составленные в углу.

Там лежали подарки: перевязанная бечевкой и свернутая в рулон, мездрой наружу, медвежья шкура, три одинаковых транзистора ВЭФ-12, купленные, верно, в небогатом поселковом магазинчике, грузинский большой рог на серебряной цепочке — Чиладзе, наверное, — и охотничья двустволка. «Сколько же у него этих ружей!» — подумала Кира, соображая, что второпях забыла дома свой подарок, приготовленный для ПэПэ, — изящно изданный двухтомник Лермонтова.

Книги прислала Кире подружка; она специально и заранее заказывала подарок, зная по опыту, что день рождения начальника отряда отмечается шумно, непременно с презентami.

Заказывая книги, Кира искренне хотела выразить свое благодарное отношение к Кирьянову — к его уважительности и терпению. Надо отдать должное: не каждый начотряда был бы столь снисходителен к ней, этот, зная ее, никогда не попрекал, не ругал, других в то же время не щадя, и у Кире не было к нему, как говорится, никаких претензий до сегодняшнего дня.

До сегодняшнего дня... Что же случилось сегодня? Да ведь ничего. Просто она испугалась. Пришли эти радиограммы, она затрепыхалась, и все предстало перед ней в мрачном тоне.

Выпили за семью Петра Петровича, он снова принялся, со стаканом спирта в руке, говорить длинную речь, теперь его слушали не столь внимательно, в столовой висело гудение, брякали вилки, слышался шепоток.

Кира выпила еще чуточку, как будто ненадолго отлегло. Она улыбнулась Чиладзе, поддержала разговор с соседом, немного поела жареной лосятины, вкусной, но жестковатой. Заноза, засевшая с утра, все-таки не выходила... Нет, дело не в испуге. Дело все-таки в духоте, да, да в духоте. Ей нечем дышать, не хватает кислорода, и хотя вполне может оказаться, что лично для нее кислород губителен, и ей и всем остальным в отряде надо вздохнуть. Поглубже вздохнуть, распрямить все клеточки легких.

Кира поднялась. Она не была пьяна, ну, может, самую чуточку, но это не в счет. В голове что-то позванивало едва, а так в ней было чисто и прозрачно.

Увидев ее со стаканом в руке, Кирьянов забренчал ножом о графин, наполненный спиртом. Не так скоро, как вначале, не столь послушно гости умолкли, перешептываясь: «Тост, тост, тише!» — и, услышав это, Кира демонстративно поставила стакан. По столовой прокатился шумок.

Кира обвела взглядом столовку, поглядела на Кирьянова и вдруг бухнула:

— Какого черта!

ПэПэ, задыхаясь от хохота, отвалился на спинку стула, гулко захлопал в ладоши, крикнул:

— М-молодец!!

Ему нравилось начало тоста, и эта пигалица выглядела совсем ничего сегодня, — надо же, а? — и он скомандовал:

— Просим дальше!

— Какого черта! — повторила Кира, решительно признаваясь себе, что все-таки немного пьяна и что это даже хорошо, трезвой бы она так никогда и не решилась. — Там люди шлют аварийки, а мы пьем спирт.

Кириянов сбросил все маски, смотрел пристально, настороженно.

— Петр Петрович, — сказала Кира, оборачиваясь к нему. — Ну когда будет покончено с этим безобразием!

— Кира Васильевна! — нависая над гостями, поднялся Кириянов. — Здесь, простите, день рождения, а не общее собрание.

— Но там люди!.. — воскликнула Кира, не столь требуя, сколько умолая, протянув руку к окну. — Там люди, они на острове, их заливают. И я не могу добиться с вертолета.

На мгновение в столовой стало тихо, и Кира успела окинуть взглядом лица гостей. Что-то неуловимое сломалось в этих беспечных именинах, лопнула какая-то пружина. Кира поняла это сразу, определив по застывшим или, напротив, неестественно оживленным лицам, что ее бунт — факт не неожиданный, что большинство сидящих тут как будто давно готовы к неприятностям, ожидающим отряд, и дело тут не в ней, Кире, отнюдь не в ней.

Мимолетная пауза кончилась, гости зашумели, споря пока между собой, потом вскочил начпартии Лаврентьев, близорукий и странноватый, всегда выступавший невпопад на летучках у Кириянова, не понимавший его тонких внутренних схем, и крикнул:

— Надо организовать группу спасения!

Кира увидела, как передернулось побуревшее лицо начотряда, как он вжал голову в плечи — начиналась обычная игра.

— И вообще, — опять крикнул Лаврентьев, несурово размахивая руками, — с Храбриковым никогда не договоришься, для него мы все — мальчишки.

— Я подтверждаю! — напрягая голос, сказал начальник радиостанции Чиладзе. — Радиогаммы идут, Кира Васильевна хлопчет, а ей никто не поможет.

Возмутительно просто! Храбриков у нас важней начотряда!

При упоминании Храбрикова столовая оживилась еще больше.

«Нет, оказывается, у него сторонников тут, кроме ПэПэ, — подумала Кира, — но зато Кирьянов — сторонник серьезный. Что дальше?»

Начотряда все бурел, склоняя голову, привлекая к себе внимание, но странно, — то ли от выпитого спирта, то ли еще от чего, — гости на хозяина внимания не обращали. Они галдели, возмущались, они обсуждали невозможность такого поведения Храбрикова. Лаврентьев, севший было за стол, вскочил снова и уже выкрикивал желающим срочно лететь на спасение. Помогать ему вызывался подвыпивший бухгалтер — одряблый и лысый, хотя и молодой, Чиладзе и чья-то жена.

Кира молча поглядывала на галдящих гостей, приходя в себя, чувствуя если и не серьезную поддержку, то единогласное недовольство Храбриковым. Кирьянов, молчавший все это время, изучавший обстановку, вдруг вскочил на стул и заорал, надрывая глотку и наводя своим криком порядок и тишину:

— Хра-бр-риков!!! Храбриков! Хр-раб-риков, в конце концов!!!

— Когда Цветкова таким странным образом потребовала от вас хоть каких-нибудь действий, что сделали вы?

— Приказал лететь.

— И только.

— А что еще?

— Нет, ничего. От перемены мест сумма еще не убавилась? Или вы такой тугодум, Кирьянов?

— Ну, я велел залететь потом еще в одно место.

— Потом или вначале?

— Не помню.

— Я вношу это в протокол.

— Вносите. Такое ваше дело.

— А вот Храбриков помнит, Петр Петрович. Очень хорошо помнит и ссылается на свидетеля. На повариху.

— Нет, не может этого быть, не может... Хотел бы я поглядеть на этого подонка!

— Не волнуйтесь, скоро, возможно, встретитесь.

**СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ**

Руки у него тряслись из-за происшедшего, склеротические щеки покраснелись от выпитого спирта, урчал желудок — верно, сказывалось не очень прожаренное лосиное мясо, — и вообще он недомогал, чувствовал себя разбитым, а тут приходилось лететь.

Привычный к грохоту вертолетных моторов, к дребезжанию стенок, сиденья, пола, самого себя, вплоть до кончиков пальцев, до мочек ушей, сейчас он раздражался, отчанвался, изнемогал, испытывал неумолимое желание открыть дверь и немедленно, несмотря на высоту, выйти из машины.

Зная глубину своей хитрости, он чувствовал себя сильным, когда удавалось, благодаря этому качеству, получать преимущество над другими, прямой или косвенный процент хоть какой-нибудь пользы. Но если случалось проигрывать, он трусил, липко потел, внушая самому себе мысли о недомогании, усталости.

Так было и сейчас.

Вертолет летел над тайгой, а Сергей Иванович стервел от обиды и злобы — все, что произошло в столовой, на этих именинах, для которых он столько хлопотал, столько работал, было унижительно. Бог с ним, унизиться иногда не грех, если видишь пользу для себя, тут же не было никакой пользы, а была публичная порка, порка...

Леденя, Храбриков перебирал подробности происшедшего, в таких случаях он не торопился забыть, успокоиться, а, напротив, терзал себя, подзуживал, теребил по частям, по фразам и минутам, словно лоскутья, свою обиду.

Он сидел на кухне, ел лосятину — одну, без хлеба, для пользы здоровья, — резал своей финкой мелкие куски, и ему было хорошо, очень хорошо. Храбриков любил такие минуты одиночества. На кухне было много людей, но он отвернулся от них к стенке, к бревнам, конопаченным мхом, и был как бы один. Только иногда от плавного течения мыслей его словно отдергивала повариха, недолюбливавшая его,

— Ты хоть прожевай, Храбриков! — кричала она, довольна взвизгивая от собственного остроумия. — А то глотаешь, как енисейская чайка!

Он вздрагивал, посылал ее про себя в соответствующие места и снова углублялся в еду, неторопливо и основательно. В нем звучала внутренняя музыка, невразумительная, без мелодий, означавшая сошедшую к нему доброту и умиротворенность.

Так он ел, не думая ни о чем неприятном, и вдруг из-за прикрытой двери, откуда неслись взрывы хохота, галдеж и рокочущий голос Кирьянова, раздался крик.

Храбриков прислушался, звали как будто его. Он недовольно вытер о штаны масляные руки — наверное, раздобревший ПэПэ приглашал к общему столу, спохватившись, что нет ближайшего помощника, а ему больше нравилось здесь, в одиночестве. Вздохнув, Храбриков взял в обе руки тарелку с кусманом лосятины, приоткрыл ногой дверь и, повесив на себя улыбку, пошел к общему столу.

Сейчас, в вертолете, вспомнив этот первый шаг в столовую, Храбриков проклял себя за минутное благодушие. Надо же, старый хрен, решил, что его зовут к столу! Особенно его убивала эта тарелка с огромным ломтем наилучшего мяса — он так и стоял с ней до конца и с ней потом вышел. Из всего, что случилось потом, его ничего не угнетало столь сильно, как эта первоначальная промашка, мысль о том, что его зовут к столу, и тарелка.

Он переступил порог и вшагнул в общий зал, когда Кирьянов снова гаркнул:

— Хрр-рабр-риков, в конце концов!

Сергей Иванович, улыбаясь, подошел к Кирьянову вместе с тарелкой. Гости глядели на него снисходительно, словно на прислугу, и, даже не видя их, Храбриков чувствовал это.

— Храбриков! — воскликнул Кирьянов, прохаживаясь, разыгрывая опять спектакль. — Сколько это может продолжаться?

Приходя в себя, видя стоящую за столом Цветкову и соображая, о чем будет речь, Храбриков все же слегка ссутулился и естественно дрогнувшим, упавшим голосом спросил:

— Что продолжаться?

Кирьянов обошел возле него еще раз, и Храбриков заметил, как он встал, чтобы казаться еще выше, на какую-то приступку в полу. Что-то должно было произойти, какая-то неприятность, это было ясно, неясно



только, в какую сторону и как поведет Кирьянов свой цирк, даст ли возможность экспедитору, от которого, между прочим, зависит, не ведая сам, выкрутиться? Или пойдет, как бульдозер сквозь чащу?

Насторожась, подбираясь, Храбриков посмотрел Кирьянову прямо в глаза, как бы намекая на существующую между ними связь. Кирьянов был непробиваем.

— Долго будет продолжаться это безобразие?! Нач-партии просит вас переправить людей в безопасное место, людям угрожает опасность, может, даже смертельная, а вы тут... — он оглядел Храбрикова с головы до ног и закончил уничтожающе: — занимаетесь обжираловкой!

Храбриков вздрогнул, в мутных глазках от обиды навернулись слезы, но он тут же спрятал их, проморгался и сказал:

— Не понимаю, об чем речь?

Цветкова, все еще стоявшая за столом, кажется, поперхнулась, Храбриков заметил, как Кирьянов мельком, подозрительно взглянул на нее, и довершил:

— Про лодку мне Цветкова действительно говорила, тут я виноват, запамятовал, а больше ничего не знаю.

— Как не знаете! — крикнула Цветкова. — Заметив, что она побледнела, Храбриков вновь почувствовал себя в форме.

— А так! — удивился он наивно. — Ничего мне не говорили!

— Вы что? — всплеснула руками, плачущим голосом закричала Цветкова. — Белены объелись?

— Э-э, — заблеял Храбриков, щуря глазки и мотая головой, — нехорошо обзывать-то, девушка! — Он переходил в атаку, по многолетнему опыту зная, чем наглее он будет себя вести, тем лучше. — Ты ведь мне в дочки годишься! Старика обзываешь!

— Да он подлец! — крикнула Цветкова. — Разве вы не видите! Подлец! Отказывается от своих слов.

— Ну-у! — протянул Храбриков, победно глядя на Кирьянова. — Дак она пьяная!

В зале стоял шум: не зная истины, люди всегда много и охотно толкуют, строя предположения, догадки, осуждают и обсуждают — важно было вызвать симпатии у этих незнающих людей, и Храбриков сказал громко:

— Ишь, набралась!

Он пошел к выходу, сутулясь, изображая несправедливо оскорбленного. Цветкова бухнулась на стул, заплакала — громко, истерично, ее бросились утешать долговязый начпартин и грузинчик этот. Но Храбриков довольно усмехнулся, подумав: «Съела, сопливая? Съела?»

— Стой! — услышал Храбриков окрик Кирьянова.

ПэПэ кричал властно, словно собаке, но Храбриков, ликуя победу над Цветковой, не заметил этого. Он обернулся.

— Я не знаю, — воскликнул Кирьянов, — как там было. Кто и что сказал или вообще не говорил...

Столовая слушала его внимательно, притихнув, — только слышались всхлипы Цветковой, а Кирьянов смотрел лишь на гостей, не замечая как бы ни Цветкову, ни Храбрикова, выключая их из дела, беря решение в свои руки и играя, опять играя.

— Сейчас важно не это! Важно другое! — ПэПэ стоял с наполненным стаканом в руке, но глаза его казались холодными, деловитыми. Стакан был лишь подробностью, он не имел никакого значения в том, что говорилось. — Важны люди! Группа Гусева! Их надо спасать! Немедленно! Товарищ Лаврентьев, — сказал он, успокаивая нескладного начпартин. — Никакой группы спасения не надо. Ничего страшного пока не произошло. Храбриков обязан лететь, он и полетит.

Кирьянов поднял стакан. Лицо его опять выражало сердечность и добродушие.

— Выпьем за людей! За тех, кто в поле! За тех, кто решает все! — и, перед тем как выпить, велел Храбрикову: — Слышите! Летите немедленно! Сию секунду!

Храбриков сжался, понимая, что ему приказывают — унижительно, властно. Тарелка с куском лосятины снова стала оттягивать руки, он увидел, что гости смотрят на него, — недоверчиво, с опаской, как на жуликоватую прислугу.

Плечи его опустились, он вышел в кухню под придирчивый, насмешливый взгляд толстозадой поварахи, поставил тарелку на стол.

Васкорузные пальцы тряслись как после контузии, в животе противно заурчало. Он натянул картуз, когда дверь из столовой хлопнула и его обнял Кирьянов.

— Ничего, дядя! — хохотнул ПэПэ, залезая в карман, и прибавил, приглушая голос, укорительно: — Нехорошо, нехорошо девушкам непорочных обижать!

Храбриков вскинул голову, прищурился, готовясь защищаться, но Кирьянов добродушно поглядел на него, подмигивал едва заметно, как бы успокаивая, все понимая и даже присоединяясь.

— Вот возьми, — сказал он, протягивая мятые, потные бумажки. — Долетишь заодно до станции, ящик спирту возьмешь. А то кончается.

ПэПэ хохотнул, больно ударил его по спине, даже зазвенело что-то в груди. — оглобля стоеросовая. — и исчез за дверью.

Храбриков мгновенно соображал, держа на ладони деньги, потом, веселея, подмигнул поварихе.

— Слыхала? — спросил он.

— Слыхала! — недовольно ответила толстозадая.

— Запомни! — привередливо велел он.

— Чего запомни? — удивилась повариха.

— Запомни, что велено мне долететь заодно до станции, взять спирту. — В голосе его слышалось злорадство.

— Ну? — проямлила повариха.

Он ничего не ответил ей, не стал вдаваться в подробности, матюгая ее про себя за бабье тугодумство, и пошел к вертолетам.

Теперь, в воздухе, его мутило, ему было нехорошо, и единственное, что помогало, что выводило из удручения, — приказ Кирьянова.

Храбриков знал, группа Гусева сидит где-то на полпути к станции. Кирьянов велел купить спирту, но не сказал — что раньше.

Притаившись у иллюминатора, Храбриков глядел в темнеющую тайгу, стараясь разглядеть палатки. Когда машина пересекла Енисей, он понял, что внизу вода — она была темнее снега, лежавшего на берегах. Прямо над водой стлался туман. Отмечая эту подробность, Храбриков увидел красную ракету. Она, померкивая, светила сзади и правее их курса. За ней поднялась еще, еще...

Храбриков прищурил веки, отмечая сквозь ресницы шарики, всплеснувшие позади. «Только бы не заметили пилоты», — отметил он, но вертолет летел точно к станции, не зависая, не разворачиваясь.

Сергей Иванович успокоенно закрыл глаза, жалея в душе всесильного Кирьянова за его грубость, невоспитанность и... глупость.

— Я хотел бы подробнее поговорить о Цветковой.

— Говорите, один черт.

— Некоторые утверждают, что у вас близкие отношения.

— Это тоже имеет отношение к делу?

— К сожалению, да. И этим объясняется ваша к ней мягкость. Анализируя характер «губернатора», можно подумать, что так оно и есть — к остальным вы были строже.

— Просто жалел ее, дуру.

— Теперь ваша жалость исчезла?

— Теперь у меня все к ней исчезло. Вы, пожалуй, правы, от перестановки мест — изменяется. Прежде всего виновата она, Цветкова. В конце концов она начальник партии и непосредственно отвечает за жизнь людей. Гусев виноват меньше.

— А Храбриков?

— Храбриков вообще сволочь.

25 мая. 19 часов 10 минут

#### ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

Отправив Храбрикова, ПэПэ подсел к Кире и стал, как ему казалось, восстанавливать равновесие.

Гости, настроив для громкости подарочные ВЭФы на одну волну, твистовали, шейковали — у кого что шло, галдели, хохотали, пили. Решительные действия Кирьянова успокоили их, разом прервали минутную смуту, которую внесла в общество Цветкова, и, дрогнув поначалу, обозлясь на ее выходку, теперь Петр Петрович был до чрезвычайности доволен собой. Он опять оказался в форме, и это прекрасно, неповторимо, когда ты ощущаешь, сознаешь свое преимущество над толпой.

ПэПэ ощущал приподнятую взволнованность, ему очень нравились этикие бесшабашные гуляния, отключение на краткое, но необходимое время от всяких дел, хлопот, решений. Его дни рождения были как бы венцом справедливости, когда за тяжкий, неблагодарный, ответственный «губернаторский» труд приходит долгожданное вознаграждение. Нет, до истинного, полного вознаграждения еще далеко, но эти вечера уже что-то, и что-то немалое, потому что они свидетельствуют о его авторитете среди людей и о преданности ему. И разве

мог он допустить, чтобы в день рождения кто-то из любящих его плакал, переживал, страдал...

— Кира Васильевна, — склонился он к Цветковой, деликатно, в рамках, заигрывая и едва обнимая огромными лапищами. — Кира Васильевна, успокойтесь, вы правы, конечно же, но теперь все позади!

Кира подняла голову, достала из-за рукава батистовый платочек, промокнула слезы, внутренне стыдясь себя. Так она еще никогда не срывалась. И хоть дело как будто закончилось благополучно, пусть не для нее лично, для группы Гусева, сама она ничего не приобрела, кроме глупого публичного скандала, — надо все-таки держать себя в руках.

Кириянов улыбался, поглядывая на нее с видимым удовольствием.

Ну вот, кажется, эта нелепость в форме женщины уже проморгалась, уже отошла благодаря его такту, умению ладить с людьми: когда властно, а иногда и деликатно, даже с долей нежности.

Он подвинул к ней стакан, вынудил выпить немного, заесть лосятиной, делая все это снисходительно и в то же время заботливо, добродушно.

— Милая вы моя, — приговаривал он, — нас, мужиков, прижимать надо, ружье на нас надо наводить, а то тут, в безлюдье и, простите, в безбабье, омедвежимся вовсе.

Пигалица, отходя, недоверчиво взглядывала на него, а он, честно признать, удивлялся ее сегодняшней прыти: устроить такой спектакль у него на именинах, разве мог он подумать? Но ничего! Кто-кто, а он, ПэПэ, мог уладить и не такое.

Приговаривая, успокаивая Цветкову, Кириянов, однако, скучал. Спроси его об этом, он ни за что не признался бы, наоборот, театрално захохотал, но факт оставался фактом. Эти гости, орущие, поющие, пляшущие, вновь не обращали на него никакого внимания. Словно отбыли обязательную программу, выслушали, к примеру, доклад, едва дождавшись конца, и теперь гужуются — дорвались до спирта, до еды, музыки. Улыбаясь, но едва сдерживаясь, Кириянов оглядел публику. Народ был сбродный — несколько поселковых, здешних, приглашенных для большинства, остальные — бухгалтер, несколько спецов, некрасивая радистка, допущенная в общество из-за отсутствия женщин, завхоз,

к которому приехала жена, начальник радиостанции и Лаврентьев.

В другом, цивилизованном месте, отметил Кирьянов, эту необразованную гольтьбу он не допустил бы близко, единственное, на что могли рассчитывать они, скажем, в городе, так на снисходительный кивок головы при встрече. Здесь же приходилось. Приходилось сидеть с ними, пить спирт, заигрывать, ломать ваньку, изображать добродушие и щедрость.

«Послать бы сейчас их к черту, — подумал Кирьянов, — врезать кулаком по столу, чтоб проломить фанерную столешницу да напугать до смерти, заорать, надрывая глотку, — должны же они понимать, с кем пьют!»

Он зевнул, скучая. Цветкова сидела успокоенная, больше уговаривать ее он не собирался, но и стучать кулаком не собирался тоже. Тут уж — любишь кататься, люби и саночки возить, само не стронется.

К ним подсели Лаврентьев и начальник радиостанции.

— Пе-етр Петро-ович! — растягивая слова, говорил Лаврентьев, жестикулируя своими аршинными ручищами. — Приструнить этого Храбрикова надо, а то, в конце концов, житья никакого!

— Приструним, приструним! — отговаривался Кирьянов. — Накажем, если надо, а то и уволим. Чего там, в самом деле! Но вы уж тогда будьте справедливы! Вон он сколько сэкономил нам. И потом — работать с ним надо! Воспитывать! Он человек беспартийный, незрелый, мы доводить до кондиции его должны.

— Ха, до кондиции! — воскликнул Чиладзе, поигрывая глазами. — Он тут любого из нас сам до кондиции доведет. И похоронный марш сыграет.

— Ну вот, — вскинулся, хохотнув, Кирьянов, — уже о похоронном марше заговорили! Да разве мы на похороны собрались?

Лаврентьев и радист отчужденно молчали.

— Все-таки надо бы с Храбриковым кому-нибудь полететь, — сказал Лаврентьев. — Не ровен час...

— Летите! — беспечно ответил ПэПэ. Занудство Лаврентьева и Чиладзе порядком надоело ему. — Летите! — повторил он снова. — Но меня увольте. Я чужую работу делать не намерен.

Кирьянов улыбнулся, стараясь выгнать из себя неожиданную хандру, стараясь искусственно создать хо-

рошее настроение, это он умел. Он вскочил, оглаживая светлый, по случаю праздника надетый костюм.

— Кира Васильевна, — крикнул Кирьянов, вновь привлекая к себе внимание, отодвигая как бы других. — Давайте сюда.

Он не повторил приглашения, хотя Цветкова еще сидела, не решаясь, подхватил ее со стула, аккуратно поставил рядом с собой, наклонился, чтобы добратся до ее талии, пошел в старомодном танго. Гости образовали круг. Глядя в глаза Цветковой и смущая ее до краски, ПэПэ выделял всевозможные сногшибательные пируэты, вспоминая то, что умел, импровизировал, и все это выходило у него легко, даже изящно, потому что партнерша не мешала ему, он не должен был приноравливаться к ней: партнершу он просто вскидывал, если она не понимала его, переносил по воздуху, как переносят легкую мебель.

В каком-то крутом повороте краем глаза Кирьянов увидел Чиладзе и Лаврентьева. Подхватив пальто и шапки, они топтались у дверей. ПэПэ понял их — хотят утащить с собой и Киру, но она, слава богу, не видит их, от спирта и стремительных поворотов, подика, кружится голова, не то что люди — стены плывут у мышки, да и ни к чему она вам, господа хорошие. Потолкавшись, Чиладзе и Лаврентьев вышли из столовой, никем не замеченные, кроме ПэПэ.

«Пусть летят, в конце концов, — благодушно подумал Кирьянов. — Пусть летят, коли охота, только не паникуют и компанию не рушат».

Танец продолжался, гости посмеивались, однако негромко — Кирьянов танцевал все-таки с начпартией, а там черт знает, какие у них отношения — ведь иногда даже смеяться надо сознательно, к месту и с толком.

ПэПэ махнул рукой, видя умоляющие глаза Киры, гости, словно бы по команде, расслабились вновь, наполняя стаканы, закусывая, шумя, танцуя.

— А ведь вы, — сказала неожиданно Кира, — вполне обошлись бы без них.

Он кивнул, щедро улыбаясь, потом сообразил, что говорит Цветкова о гостях, отодвинул ее от себя, продолжая танцевать, окинул взглядом. Сначала он думал вразумить ее, дать понять, что психоаналитика не для нее, но неожиданно расхохотался.

— Точно! — хрипло шепнул ей в ухо. Она слегка

отодвинулась. Танец разгорячил его, и, видя, что Кира отстранилась от него, несильным движением прижал ее к себе. «Ого, — подумал он тотчас, — а я-то думал», — и деликатно переложил ладонь чуть ниже. Цветкова попятилась, он исправился, боясь спугнуть ее, а сам захотел, как бы продолжая разговор, но думал совсем о другом.

— Точно! — повторил он, наклоняясь к Кире и прихиваясь к ее приятно пахнущим волосам, и вдруг предложил: — А давайте пошлем их к черту!

Кира не поняла, он разъяснил, что можно сходить на радиостанцию, и эта дуручка обрадовалась, немедленно побежала одеваться. «Надо бы заставить ее выпить, — подумал он, чувствуя, как в висках начинается тукать кровь. — Ну, да ладно. Дома, кажется, есть коньяк».

Стараясь быть непринужденнее, он подкрутил на полную мощь транзисторы и как бы невзначай вышел за Кирой.

На улице были густые сумерки. Луна просвечивала мутную кисею, образуя возле себя круг, напоминающий белесый нимб.

— Похолодает, что ли? — спросил вслух Кирьянов, беря Киру под руку и поеживаясь от холода.

— А по сводке — метель, мокрый снег, — засмеялась Кира, — ну, эти синоптики!

Неспешно, прогулочным шагом, они дошли до радиостанции, и Кира совсем было успокоилась. Она делала все, что могла, и оказалось — возможно невозможное. Да, самым удивительным во всей этой истории ей представлялось поведение ПэПэ. Готовясь к своему публичному бунту, она ждала возмущения и ярости Кирьянова, а вышло все гораздо проще и нормальнее — то ли он понял, не дурак же, в конце концов, то ли испугался? А может, опять играет.

Так и не поняв, что произошло с Кирьяновым, Кира толкнула дверь. Посреди комнаты стояли Чиладзе и Лаврентьев, оба какие-то взъерошенные. «Как они обогнали нас? — удивилась Кира. — Улица в поселке одна...» Тут же она поняла: прозевала что-то очень важное, словно закрыла глаза и на мгновение уснула. Да, да, да! Так оно и случилось. Всех всполошила, подняла на ноги, а сама, успокоенная Кирьяновым, стала думать о случившемся в прошедшем времени. В прошедшем...



Почему — в прошедшем? Ведь ничего еще не прошло, ничего не закончилось.

Как бы стряхивая с себя оцепенение, Кира шагнула вперед, но ее опередил ПэПэ.

— Ну? — властно спросил он. — Какие новости?

— Не успели, — ответил ему Лаврентьев. — Прибежали на площадку, но вертолет уже ушел.

— А что здесь? — спросила Кира.

— Молчат, — хмуро сказал Чиладзе. — Не откликаются ни по обычной, ни по аварийной волне.

ПэПэ потребовал последнюю радиограмму. Она была краткой: «Нормально. Ждем помощи».

— Неразговорчив, бродяга! — бросил он и повернулся к Кире. — Ничего страшного. Может, батареи подмокли или еще что...

— А если не подмокли? — спросил Чиладзе. Он был собран, встревожен, от праздничного настроения не осталось и следа, и Кира вздрогнула. На вечеринке она взывала спасти группу Гусева, говорила, что им угрожает опасность, а Чиладзе сказал уже не об опасности. О другом.

— Не паникуйте! — сказал шутливо Кирьянов. — Вы же не барышня.

— Я не барышня! — согласился Чиладзе. — Просто я не желаю быть безучастным свидетелем...

— Вы увлеклись праздником, — сказал Кирьянову Лаврентьев, — выйдите наконец, Петр Петрович, из этого состояния! Там же люди, они погибли!

— Да черт возьми! — воскликнул ПэПэ, и Кира вновь увидела прежнего «губернатора». — Я здесь не первый день! И все это было, тысячи раз было, поймите! И аварийки, и прерванная связь, и так называемые ЧП! И все кончалось нормально!

— Раз на раз не приходится, — возразил Лаврентьев.

ПэПэ сорвался с места и ходил из угла в угол, высокий, широкоплечий, и за ним металась его большая тень. Потом остановился.

— Хорошо! — взмахнул он рукой. — Вот вам доказательства от противного. Я не прав, вы правы. Я спокоен, вы беспокоитесь. Но посмотрим на ситуацию реально. Вертолет ушел. Вторая машина на профилактике. Что мы можем поделать? Вы? Я? Ждать! Нам осталось ждать! Можно было, конечно, вскочить из-за сто-

ла, сесть всей компанией в вертолет и коллективно полететь на выручку Гусева. Но это дешевый энтузиазм; поймите! Энтузиазм, наполовину со спиртом. И потом: если действительно виноват Храбриков, пусть он и исправит свои ошибки. Или я не прав?

Чиладзе глядел в сторону. Лаврентьев стоял потупившись.

— Храбриков за людей не отвечает, — сказал, помолчав, Чиладзе. — Он отвечает за вертолет, да и то — отвечает ли?

— Не сгущайте! — ответил твердо Кирьянов. — И возьмите себя в руки. Все будет в порядке. И контролируйте эфир. Если что, докладывайте.

Отдавая команды, Кирьянов был равнодушен. Весь этот психоз выдумала Цветкова. А сейчас его занимало другое, совсем другое. ПэПэ подхватил Киру под руку, они вышли на улицу. Четверть часа, не больше, пробыли Цветкова и Кирьянов у радистов, а погода уже переменилась, как это часто бывало здесь. Луна едва пробивалась сквозь плотную дымку, а с севера дул холодный, обжигающий, мощный ветер. Казалось, невидимая, но плотная и необъятная воздушная стена наваливалась на тайгу, на поселок. Уличная грязь сковывалась морозом, становясь вязкой и плотной, лужи хрустели льдом.

Навалиясь на ветер своим тяжелым телом, Кирьянов тащил Киру. Она мрачно молчала — видно, выходил на таком сквозняке хмель, а может, опять переживала за Гусева.

— Бросьте! — крикнул ей Кирьянов. — Вертолет уже забрал их — вот и весь секрет, потому молчат.

— Они молчат давно! — ответила Кира. — И потом такой ветер.

— Это порыв! — весело солгал Кирьянов. — Скоро успокоится.

Они были возле кирьяновского дома. За руку, как маленькую, ПэПэ завел Киру к себе.

Потирая покрасневшие щеки, она сидела на диване, и Кирьянов, разглядывая ее, подумал, что эта серая мышка, в сущности, не так уж дурна собой и что, щадя ее в деле, не предъявляя особых требований, какие он предъявлял к другим, он, кроме прочего, подспудно, про себя, имел ее в виду. На будущее.

Эта маленькая мышка могла пригодиться, ведь вся-

кий человек интересен по-своему, любопытной оказалась и она, повысив сегодня голос и этим как бы напоминая о своем существовании. Об окончании своего статичного, законсервированного состояния. «Ну вот, — подумал он, как бы ограждаясь от предстоящего. — Она виновата сама, — если бы молчала, я не обратил на нее внимания, а тут заговорила — пригляделся к ней и понял, что держал ее про запас. И вот она пригодилась».

ПэПэ подошел к Кире, поднял ее за плечи, проявляя заботливость и галантность, помог снять пальто, она, ничего не понимая, кивнула, благодаря, и Кирьянов оценил это как одобрение последующих действий.

ПэПэ обнял Кире, обхватив ее за спину, так что она не могла шелохнуться, не наклонился, а приподнял ее, оторвав от полу, к своей бороде, поцеловал по-медвежьи, овладев ее ртом.

Она трепыхалась, колотя его по спине, но это был комариный писк. Обняв ее, как грудного ребенка, прижав к себе, он аккуратно положил ее на диван, расстегивая мелкие пуговицы и приговаривая невнятно, прерывая шумное дыхание:

— Дурочка, не рыпайся, чего тебе надо, все будет о'кэй!

Пуговицы не слушались его толстых пальцев, тогда он стал обрывать их, это было интересно: пуговицы тянулись вдоль всего платья, книзу, и он похохатывал.

Напрягаясь, извиваясь всем телом, Цветкова пробовала вывернуться из его лапщ, но это было бесполезно. Неожиданно Кирьянов ощутил пронзительную боль, вздрогнул и засмеялся — мышь вцепилась в него зубами, даже, кажется, прокусила кожу у запястья, но это только подхлестнуло его.

Злясь, он начал действовать решительнее, материя электрически затрещала, и Кира неожиданно сникла.

Торжествуя победу, ПэПэ двинулся дальше и вдруг услышал, как она сказала спокойно, даже равнодушно:

— Слушайте, «губернатор», что вы меня рвете? Ведь, кажется, я еще не наложилица?

Он рассмеялся, отпустил ее на минуту. Завязывался, кажется, деловой диалог.

— Ну, так будешь! — успокоил он ее и рванул платье.

Неожиданно, словно выстрел, зазвонил телефон.

Чертыхнувшись, Кирьянов отпустил Киру и сжал трубку. Он молчал, слушая, что говорят на том конце провода, потом крикнул, свирепея:

— Но вертолет ушел! Ушел!

Швырнув трубку, обернулся к Цветковой. Она стояла, накинув пальто, из-под которого топорщилось разорванное платье.

— Чертов проповедник! — ругнулся он. — Грузинская совесть заговорила! Требуется, видите ли! — и неожиданно велел Кире: — Раздевайся!

— Что там? — спросила она.

— Твой Гусев подал голос. Говорит, падала антенна. Их заливают. Раздевайся!.. — Ему надоело с ней бороться, в конце концов, он не мальчик и у них не такие отношения, чтобы она могла пренебрегать им. Он сделал свое дело, теперь эта мышь должна уступить сама. Тем не менее ПэПэ шагнул к Кире, повторив: — Раздевайся!

— Между прочим, это уголовное дело, — сказала она совсем спокойно.

— Что? — не понял он.

— То, что вы хотите сделать.

— Дрянь, — ответил он ей лениво, подумав: «А что, такая может! Эта дура все может», — и вдруг заорал, сатанея: — Дрянь! Девка! Я тебя вышвырну отсюда!

— Давно пора, — грустно ответила Цветкова, и эта готовность быть вышвырнутой вывела его из себя.

ПэПэ ощерился, походя даже внешне на волка, подскочил к стене, схватил карабин и нажал на спуск, целясь в потолок.

Жахнул выстрел, комната заполнилась дымом.

Он устало швырнул оружие на диван и понял, что противен сам себе.

Цветкова уже исчезла из комнаты, да и игрой была вся пальба. Игрой для единственного зрителя — самого себя, и это было отвратительно, невыносимо.

— В девятнадцать часов десять минут от группы Гусева поступила последняя радиограмма. Связь вновь оборвалась. По каким причинам, вы знаете. Это был уже сигнал бедствия.

— Вертолет в это время уже шел. Отбросив все предыдущее, скажу честно: я не боюсь ответа. Но тут уж я не виноват. Остальное ложится на Храбрикова.

— Напоминаю: он утверждает, со ссылкой на свидетеля, что вы не указали ему, куда лететь вначале — за спиртом или за людьми.

— Доводы подлеца, что тут говорить. Если даже так и я не говорил, куда раньше, неужели нельзя понять?

— Вы стали говорить мудрее. Но в том, что Храбrikов поступает так, разве не виноваты вы сами?

— Виноват. Я теперь понимаю. Вы занесете это в протокол?

— К сожалению, это мой долг, Петр Петрович. К сожалению.

25 мая. 19 часов 15 минут

### СЛАВА ГУСЕВ

Когда кончили рассказывать байки и очередь дошла до Гусева, он был уже натянут, словно тетива, хотя лежал развалясь, непринужденно. Пока говорил дядя Кс-ля, Слава пристально смотрел, как окончательно скрылись в воде сучья, воткнутые им для контроля, прикинул по часам и высчитал, что вода поднимается стремительно, примерно по дециметру в час.

Островок таял на глазах, но он не подавал вида, зная, что остальные не заметить этого не могут, а если и говорят о другом, то только для того, чтобы потратить время, чтобы не дергаться понапрасну. Но теперь, когда очередь дошла до него и Орелик сказал: «Валаяй, Славик!» — он резко вскочил.

— Вот она, моя байка, — сказал Гусев, озираясь по сторонам. — Видите, какое стихийное бедствие!

Никто ему не возразил, даже Валька Орлов, и Слава матюгнул себя в душе за утреннюю покорность. Теперь это было очевидно, настолько очевидно, что становилось тошно. Надо было настоять на своем тогда, пусть всем промокнуть, даже заболеть в результате, но перенести лагерь вброд. И хотя, по логике, Орелик был прав, предлагая вызвать вертолет, кроме логики, на свете были еще кое-какие вещи, и уж он-то, Гусев, это прекрасно знал.

Да, знал поговорку — на бога надейся, а сам не плошай, всегда носил при себе, всегда ей следовал, но вдруг вот поддался агитации Орлова и дяди Колиному

незаметному попреку, сравнил себя с «губернатором», уличил вдруг в себе его черты, озяб и сдался. «Немного же, немного было надо тебе», — корил он себя, думая о том, как спокойно сидели бы сейчас под триангуляционной вышкой, безбоязненно оглядывая речную стын, и не думали ни о каком вертолете.

Успокаивая себя, стыдя за нервность, которая сейчас передастся другим, Гусев обошел остров.

Южняк сменился северным ветром, вода покрывалась тонким льдом, но большое пространство не оставалось неподвижным, и ледок ломался, позвякивая и качаясь в темнеющей воде. Теперь территория, свободная от воды, походила на язык длиной метров в семь. Со временем язык превратится в снежный гребень, — впрочем, язык или гребень, какая разница, — если не подойдет вертолет, язык превратится в гребень, а гребень скроется под водой.

«Что тогда?» — думал Слава, прикидывая наилучшие варианты.

До холма, где стояла триангуляционная вышка, было метров двести. Утром четыре пятах из них Слава и дядя Коля прошли пешком, изредка оступаясь, и лишь последние тридцать метров он двигался по пояс в воде. Теперь дорога к вышке была неодолима, он понимал это: упущено слишком много времени.

Скрывая озноб, охвативший его, Слава подошел к палатке. Костер угас — кончился хворост, — только в его глубине изредка попыхивали угольки, отдавая последнее тепло. Гусев погрел над ними руки, вселел Семке настраиваться на аварийную волну, но радист не шелохнулся. Слава вопросительно поглядел на Семку, почувствовал, как его опять пронзил жар. Он отер со лба выступившую испарину, поторопил Петрущенко:

— Давай, не телсы!

Семка поднялся, затоптался на месте и шевельнул посиневшими от холода губами:

— Славик, антенна упала!

Гусев вскочил, — в глазах поплыли круги, — он обернулся к кустам, куда тянулась антенна. Шест, за который была зацеплена проволоочная нить, их единственная связь с лагерем, лежал в воде.

Он ругнулся, переходя на крик, но его остановил дядя Коля:

— Не стали тебя будить, — сказал он. — Ты прикорнул, а дырн свалился. Видно, подтаял снег.

«Верно, — отметил Гусев, — снег, в который воткну-та подставка для антенны, осел, может, даже растаял, и все свалилось», — но спросил, холодея вновь, чувствуя недомогание:

— Чего же не разбудили?

— Какой толк? — сказал Орелик не так беспечно, как утром. — Лезть в воду? Ты уже заболел. Хватит.

Гусев оглядел их — посиневшего, виноватого Семку, угрюмого дядю Колю, Орелика. Эти рационалистические идеи Орелика уже давно надоели ему, он захотел сказать по этому поводу что-нибудь резкое, грубое, но сдержался, насупился, взвешивая положение, измеряя пространство до вышки, где было спасение, до неба, откуда спасение не приходило, до места с антенной — ниточке к спасению.

Из трех вариантов этот был самый близкий, самый простой.

Не говоря ни слова, Гусев медленно, но твердо двинулся по острову в сторону, где лежал, почти затонув, шест, и равномерно, не сбавляя и не прибавляя скорости, вошел в воду.

— Славик! — заорал сзади Семка, бросаясь за ним и шлепая по мелководью. — Славик! Я сам!

— Назад! — прикрикнул Гусев, оборачиваясь, и снова рывкнул: — Назад!

В приказе его были нотки, незнакомые Семке, он послушался и побрел обратно.

Гусев шагал дальше. Удивительное дело, вода не казалась теперь ледяной. Он был уже по пояс, поражаясь, как быстро поднялся уровень, прикидывая, что, верно, кроме подъема уровня, резко осел, стоял снег под водой, соображая не к месту, что неожиданный ледоход может ускорить подъем реки, и уж тогда, тогда...

Гусев хмыкнул, отгоняя дурные мысли, взялся одной рукой за скользкие ветки куста, подхватил шест с антенной, воткнул его вновь. Над водой, перерезая небо, протянулась черная нить.

Слава повернулся, чтобы идти назад, сделал несколько шагов, но сзади с плеском вновь обрушилась подставка. Разгребая ледок, он вернулся, теперь уже обеими руками всадил шест в дно. Мерзлая земля под снегом, однако, не поддавалась, шест не держался, и Гусев, обернувшись к острову, крикнул Семке:

— Передавай! Я стану держать!

Издали он увидел, как Семка напялил наушники, засуетился возле своей машинки, затих.

— Давай аварийку! — крикнул хрипло Гусев. — Требуй срочно вертолет!

Семка и Орелик с дядей Колей сгрудились на острове в одну темную кучу и затихли.

Гусев слышал тихий плеск воды, какое-то журчание и чмокание.

Он любил воду, любил купаться, не вылезал, бывало, из речки в детстве. Умел таскать раков, рыбачить, закидывая всевозможные снасти, ловить и бреднем, и неводом. С детства обученный плавать отцом — тот бросал его с лодки и, подставив корму, потихоньку отплывал, — он мог часы проводить в воде. Но не в такой воде.

Держа обеими руками шест с антенной, опираясь на него, Гусев ощущал онемелость всего тела. Только голова была горячей. Незаметно для него в сознании стали наступать провалы. Синяя вода перед глазами вдруг становилась серой, чернея, изменяя цвет, неожиданно становилась красной и за то время, пока все возвращалось на место, приобретала прежние краски. Гусев отключался. Звуки долетали до него с опозданием, как бы сквозь плотную шапку с ушами, обвязанными поверх еще и шарфом. Он забывал, где находился, и, едва приходил в себя, усилием воли заставлял опомниться.

Когда Семка принял ответную морзянку, узнал из нее, что вертолет вышел, и заорал, надрываясь, на радостях, Гусев его не слышал.

Он стоял, прислонясь к шесту, теряя сознание, слух и волю. Новый крик дошел до него с трудом. Он едва повернул шею.

Три тени на острове подпрыгивали, мельтешили. Отпустив шест, рухнувший тут же, Гусев пошатнулся, упал в воду, но, мгновенно придя в себя, поднялся.

Ребята приняли его в мелководе, подхватив под руки. С него текло ручьями, и одежда тотчас леденела, покрываясь тонким, хрупким, но въедливым льдом.

Гусев сопротивлялся, с трудом выговаривая слова, но его донага раздели. Командовал дядя Коля. Велев бросить в костер спальник и загородить Гусева брезентом, он содрал с себя рубаху. Семка напялил сразу две пары запасных трусов. Орелик вытянул из мешка три-



ко и кеды. В запасе у дяди Коли обнаружили валенки. Еще один спальник Симонов располосовал ножом, проделав дыры для рук и ног, и Гусев хрипло захохотал. Теперь он походил на черепаху или еще на какую-нибудь странную тварь, но только не на начальника группы.

Желтый, душный дым, валивший от тряпок, резал горло, ел глаза, но дядя Коля держал Гусева у самого огня, чтобы согреть хотя бы чуточку. Брезентовый поллог сдерживал, прогибаясь, ветер, костер давал тепло, и Гусев постепенно приходил в себя. Провалы в сознании не проходили. Время от времени он вздрагивал, словно проснувшись, и все-таки мысль действовала, боролась: вертолет не летит, вертолет не летит. А связи больше нет.

Темнота сгущалась. Над головой повисла луна, окруженная туманным кольцом. «Погода переменится, — отметил он. — Возможно, ударит мороз». Он обвел глазами остров. Вода сжимала их все теснее, она плескалась у самой палатки и недалеко от костра. Еще час, а может быть, меньше, и он погаснет. Будет темно и холодно.

Голова походила на ватную, внутри что-то жгло. Он чувствовал, что еще немного — и придется отключиться. Ледяная вода не прощает таких купаний.

Однако надо было что-то делать. От него, начальника группы, требовалось действие. Он отвечал за людей и, упустив время утром, обязан спасти их теперь.

*— Вы говорите о квалификации происшедшего? Что же, пожалуйста. Вы предлагаете назвать это халатностью. Если подходить формально, пожалуй, и можно.*

*— Постарайтесь, пожалуйста...*

*— Зачем просить.*

*— Вам не хватит доказательств.*

*— Экспертиза подтвердила доказательства оставшихся в живых: вертолет мог подлететь к группе со времени первой серьезной радиограммы по крайней мере десять раз.*

*— Не учитывая...*

*— Учитывая посадку на месте происшествия и эвакуацию лагеря. Халатностью это не назовешь. По крайней мере в трагическом финале.*

— Но хоть вначале-то это была халатность. Я просто не придавал значения! Доверился другим! В конце концов, что вам надо? Что вы хотите со мной сделать?

— Спокойно, Петр Петрович, спокойно. Вы, видимо, утратили чувство меры. Вам кажется все доступным. Вы посылаете вертолет за ящиком спирта. И в этом ящике заключены сразу два преступления: перед людьми Гусева — первое, злоупотребление служебным положением — второе. За это придется отвечать.

25 мая. 19 часов 20 минут

### ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

Валька увидел, как через силу поднялся Гусев. Нелепый в своем странном обмундировании, он приказывал четко и разумно.

В углу палатки лежал ящик с консервами. Их вытряхнули, а ящик разломали, соединив в нечто похожее на плот. Палаточные опоры придали сооружению некоторую надежность. В ход пошла измерительная рейка, а Семка догадался, вытащил за провод из воды шест.

Его разрубили, плотик стал крепче.

Работали молча, насмерть крепя дерево, не обсуждая, что, зачем и к чему. Втайне Орелик упорно надеялся, что вертолет все-таки прилетит и плотик не пригодится. Утром и потом, позже, он был уверен в своей правоте, не собиравшись отступать от нее и сейчас, обвиняя во всем какие-то иные, не зависящие от них обстоятельства, о которых они не знали, не подозревали и из-за которых так долго не шел вертолет.

Последняя радиограмма, полученная Семкой, вселила в него окончательную уверенность, что все нормально, и он до звона в ушах вслушивался в тишину, старательно, однако, связывая плот.

Но тишину ничто не нарушало, кроме стука обледеневших ветвей кустарника и прерывистого дыхания людей.

В первое мгновение, когда к этим звукам примешался еще один, похожий на гудение шмеля, Орелик, перестраховываясь, не поверил себе и смолчал. Но голос шмеля крепчал, и он, ликуя, крикнул:

— Ага! Летит!

Оставив плотик, они сгрудились; враз, вдруг, не стесняясь больше друг друга и не таясь, громко и радостно заговорили, а Орелик засвистел — пронзительно, переливисто, заложив в рот два пальца, как свистел пацаном. Это было смешно, вертолет находился еще далеко, да и вблизи — разве можно расслышать свист сквозь грохот винтов? Но Орелик заливался, не умолкая, и остальные хохотали, размахивая руками, бросаясь к мешкам, собирая их в кучу, чтобы было удобнее и быстрее грузить.

Шмель возрастал в размере, напоминая теперь уже небольшой темно-зеленый огурец, и в какое-то мгновение Орелик, как и остальные, отметил, что машина пересекает реку, что она совсем и не видит лагерь. Это было так просто, так элементарно. Ведь уже наступили сумерки, и с вертолета могли не разглядеть их.

— Ракеты! — услышал Орлов хриплый крик Гусева, кинулся к мешку, где хранились патронные гильзы со спасительными зарядами, но его опередил дядя Коля.

Огромными прыжками Симонов подскочил к мешку, склонился и в одно мгновение, даже не поднимаясь с колена, выстрелил. Красный шар послушно взлетел вверх, осыпая за собой огненное крошево, а дядя Коля, не давая остыть ракетнице, стрелял и стрелял.

Догоняя друг друга, ракеты тревожно металась по небу, озаряя низкую облачную кисею и черную, жутковатую от красного света воду.

Вертолет, монотонно тарахтя, прошел над рекой ниже лагеря, исчез за деревьями, не заметив сигналов.

Валька словно окаменел. Он стоял на краю пятачка, оставшегося от острова, и глядел, не веря, в ту сторону, куда ушел вертолет. Ему казалось, это шутка или оплошность. Сейчас шмель снова вынырнет из-за тайги и возникнет над ними. Но вертолет исчез, уже не слышалось жужжания, и в упавшей на остров тишине Орлов услышал опять стук обледенелых ветвей впереди, а за спиной — сдержанное дыхание людей.

Он обернулся.

Гусев, дядя Коля и Семка копошились серыми тенями над плотиком. Они молчали, не обронив ни слова с тех пор, как исчез вертолет, и в их движениях Валька увидел ожесточенность.

Медленно, не понимая происходящего, он подошел к товарищам и повторил иступленно:

— Но почему? Почему!!!

Вертолет пролетел мимо, и это было ужасно, глупо, неправильно! Это было ошибкой, только ошибкой! И он не понимал этого, не мог понять!

Гусев обернулся к Орелику, взял его за плечи и крепко тряхнул.

— Валентин! — сказал он осипшим голосом. — Валька! Хватит! Понял? Надо спастись самим! — И засмеялся хрипло, ободрявая: — Ничего! Спасемся! Теперь дай нам бог только силы и терпенья.

Плотник был готов, и Гусев принялся сбрасывать с себя спальник. Его движения казались судорожными, какими-то скованными, и Валька, еще не зная, что затевается, понял: это должен сделать не Гусев, а он.

Истина казалась очевидной, просто элементарной.

Во всем, что случилось, виноват он. Пусть ему хотелось как лучше, но не зря говорится — благими намерениями устлан путь в ад. Его намерение было благим, но теперь, когда от острова, оставалось по несколько шагов вдоль и поперек, это не имело никакого смысла. Вода поднималась, и жизнь их группы зависела от кого-то одного.

Валька видел, как раздевался Гусев. Как готовился он в третий раз сегодня войти в ледяную воду. И он не должен, не имел права допустить этого.

Орлов скинул с себя телогрейку, подошел к плоту, оттеснил Гусева, который уже склонился над плотом, аккуратно сматывая шнур.

— Теперь я! — повторил Валька. — Теперь я!

Он заметил на себе серьезный, взвешивающий взгляд Славы и столкнул плот на воду.

— Слышишь, Орелик, — оттянул его за рукав Слава. — Я тебе ведь сказал. — Начпартин смотрел на Вальку с укором. — Я сказал: сила и терпенье. Нам нужны сила и терпенье. — Он хрипло, с привистом дышал. — Не сердись, — продолжал Слава, — понимаешь, у нас такая работа. А у тебя не хватит сил, чтобы добраться до вышки. Я не уговариваю тебя. Дело не в этом. Дело во всех нас. Нам надо спастись обязательно всем. До единого, понял?

Валька поднялся. Славины слова были правдивы. Ни мгновения не сомневаясь, больше того, зная свою вину, он готов плыть к берегу. Но он не мог поручиться лишь за одно: что доберется.

— Ты болен, — сказал Валька, думая о том, что Гусев тоже может не добраться.

— Я смогу! — ответил Слава. — Я должен, понимаешь, должен доплыть. — Он помолчал, потом добавил, обращаясь к дяде Коле: — Ты будешь старшим, Симонов! Если что случится со мной, притяните плотик назад, и попробует следующий.

Слава пожал Валькин локоть, вступил в воду, сделал несколько шагов и, оступаясь, проваливаясь, стал толкать плотик перед собой.

Сперва глубина доходила ему до пояса. Потом он стал скрываться по грудь. Затем поплыл, навалиясь на плотик, наполовину топя его и часто передыхая. Ветер резко похолодал, там, где только что прошел Слава, вода сразу сковывалась тонкой коркой льда.

Орлов травил бухту шнура, вглядываясь в темень, которая стушевала Славу. Он слышал плеск воды, легкое потрескивание непрестанно нарастающих льдин и клял, беспрестанно клял себя за утреннее благоразумие, за свою правоту, которая теперь обходилась такой ценой.

Ни на минуту страх за себя не навещал его. Страх вообще почему-то не было, но была вина, вина перед товарищами, и теперь, когда Гусев, сказав свои слова, исчез в сумерках, тараня плотником ледяную воду, это чувство вины, которую ничем невозможно искупить, вновь овладело Ореликом.

Дрожа на ветру, он нетерпеливо вслушивался в звуки плещущейся воды и шуршащего льда, определяя про себя расстояние, которое осталось Славе.

То, что делал сейчас Гусев, про себя Орелик называл подвигом, боясь даже думать о мере этого поступка.

Не раз он читал, много слышал о людях, попавших в ледяную воду. Это всегда плохо кончалось — речь не шла, конечно, о каких-нибудь суперменах, сверхзакаленных моржах, — люди заболевали.

Воспаление легких было самым легким минимумом, и Валька вспомнил, словно кадры из старой ленты, как лежал он, подхватив двустороннее крупозное воспаление легких, в больнице. Это было поздней осенью, он щеголял в болонье и без шапки, подражая моде, потом стал потеть, харкать кровью, свалился, теряя даже сознание.

Не к месту, не вовремя Орелик вспомнил вдруг, как

сидел, выздоравливая, на подоконнике в больничной пижаме, махал рукой демонстрантам — мимо больницы текли яркие октябрьские колонны — и как было сразу и весело и грустно.

Ему, студенту, симпатизировали молодые сестры, впрыскивавшие небольшие уколы пенициллина, врачи, любившие при случае поболтать о науке, ему делались поблажки и послабления, и Вальке жилось, признаться, неплохо там, в этой больнице, даже нравилось, если бы не один старик.

Старик этот лежал в коридоре — мест не хватало, — его изможденное, морщинистое лицо напоминало коричневую кору усохшего дерева, и старик кивал по утрам Вальке: его кровать стояла против открытой двери в палату. Они не говорили, однажды только Валька остановился на минуту возле него, и старик сказал ему, что у него три таких же, как он, сына. Валька кивнул, стараясь поприветливее улыбнуться, но больше говорить не стал, думая иногда, где же эти сыновья: к старику приходила только жена.

Читая или просто глядя в окно, Орелик часто ловил на себе взгляды старика и смущался, но тот улыбался одобрительно одними глазами, прикрывая веки, поворачивался к стене и утихал. Во взглядах этих, в пристальных разглядываниях старика Валька улавливал странное любование им, Валькой, а иногда зависть.

Он тогда не очень понимал это.

Понял позже.

Однажды утром, проснувшись, он пошел в коридор поразмяться и, только возвращаясь, заметил, что кровать, где лежал старик, аккуратно застелена.

— Выписали? — спросил он у медсестры, красноносой и конопатой.

— Выписали, — ответила она, сморкаясь, но позже, от врача, узнал, что никуда старика не выписали.

Валька понял стариковские взгляды, и ему захотелось плакать. Глотая комок, засевший в горле, он подумал тогда впервые в своей жизни: «Как ужасно, что есть смерти!»

Да, смерть была ужасна, она непоправима — нет ничего страшней даже мысли о смерти. В этом он убедился тогда.

Его долго не выписывали: то подпрыгивала, то падала температура, был сухой плеврит. Наконец, после ут-

ренного обхода, врач объявила, что ладно, так и быть, пусть собирается домой, и Валька понесся по больничному коридору, едва не сшибая нянечек и больных, к телефону, который стоял в приемном покое.

Там никого не было, он набрал мамин рабочий телефон и, изменив голос, внушительно и сердечно объявил Маргарите Николаевне Орловой, что ее сын, Валентин Орлов, скончался.

Он тут же захохотал, выдав себя, мама обругала его дурнем, а приехав за ним на такси, сказала в машине, что ей делали укол и приводили в себя нашатырем.

Мама не была у Вальки нервной дамой — работала инженером на производстве, после ухода отца к другой женщине стала курить и как будто немного огрубела, не проронив ни слезинки и не дрогнув даже лицом, когда отец решился на свой шаг, — и Орелик вспомнил старика. Вспомнил, как лежал он, уткнувшись в подушку. Нет, дело тут не в чувствительности. Дело в том, что невыносима даже мысль о смерти.

Травя бухту веревки, прислушиваясь к плеску, доносившемуся из мрака, Орелик подумал без переходов о том, что ведь вот сейчас, сию минуту, может настать это ужасное, даже сама мысль о чем страшит.

Он вслушивался в плеск плотика, который то возникал, то замирал. А вдруг Гусев затихнет сейчас? Затихнет навсегда?

Валька порывисто дернул шнур. Он натянулся, а Слава крикнул из мрака:

— Чего?

Это отрезвило Орелика. Он ответил:

— Норм!

Но мысль о том, что в гибели Гусева или кого-нибудь еще будет повинен он, только он, не отпустила его.

— Итак, протокол заполнен. Осталось его подписать.

— Спросите еще что-нибудь! Может быть, вы что-нибудь недовыяснили.

— Благодарю. Все выяснил.

— К чему же вы пришли?

— Я веду следствие, дознание, я опрашивал свидетелей. Прямого убийцы пока в этом деле нет. И все-таки он есть.

— Это Храбриков?

— Нет. Вы. Если бы вы не были таким, какой есть, не было бы и Храбрикова. И ничего не произошло. Однако вы не под стражей и вы не прямой убийца. Вы не поднимали нож на человека, как какой-нибудь бандит. Но, признаюсь, мне очень хочется обращаться к вам как к заключенному — гражданин. Такие, как вы, страшнее бандитов.

— Эк вы куда! Обвинять легче всего. Следователем или прокурором быть очень удобно: тебя самого не касается. Ты в стороне. А как быть, если руководишь сотнями людей, техникой, ворочаешь миллионами! Я же человек, поймите, просто человек, а разве человек не может ошибиться?

— Ошибиться может. Но не может убить. Не имеет права! И ваша биография споткнулась не на ошибке, нет, не утешайте себя. Вся ваша деятельность, вернее суть ее, нравственная сердцевина — преступна, понимаете, преступна! Не надо опускать голову. Я не верю, что вы раскаиваетесь. Вы еще не скоро поймете, что наделали и что случилось лично с вами. Одного я понять не могу: разве не было возле вас людей сильных и честных?

— Были! Были! Но не ценил. Отталкивал, прогонял.

— Видимо, все поняли?

— Ну, если понял? Это учтется? Будет принято во внимание?

— А вы неплохой актер, Кирьянов. Загубленное дарование.

25 мая. 19 часов 30 минут

## НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Помалу — по шажочку, по ступне они отступали назад, от кромки воды, напряженно вслушивались в хруст льда и дальние всплески.

Слава плыл, борясь за их спасение, и дядя Коля оставался спокоен, в то же время готовясь к худшему. В своей жизни он видел так много смертей, приняв на себя долю других людей, которые получали лишь подтверждение смерти в форме листка бумаги, заполнен-



ного стандартно, что уже не боялся этого и мог рассуждать о худшем без страха, без паники, с готовностью принять эту мысль и жить дальше.

Жить дальше, даже если погибнет Слава, его обязывал последний приказ начальника — немногословный, но вполне ясный. Уходя первым, Гусев возложил ответственность за ребят, за Орелика и за Сему, на него, и дядя Коля, признаваясь в этом только себе, выработал план дальнейших действий на тот случай, если Гусев не доплывет.

План был прост, но он является необходимым продолжением гусевских действий: вытащить плот назад и пойти вторым. А для спасения ребят надо непременно плыть вторым, выбраться на высоту возле вышки, вернуть плот назад, а дальше — тянуть шнур, помогая ребятам скорее преодолеть пространство до суши. Вот и все.

Все? В мыслях пока выходило просто, но Симонов хорошо представил, что кроется за этой простотой. Пройти две сотни метров льдистого крошева на хлипком плотике было непомерно трудно, и то, что делал сейчас Слава, дважды уже искупавшийся, превосходило все известные дяде Коле физические испытания. Но он сознавал и иное, скрытое пока от глаз: даже пройдя эти двести метров, нет никакой гарантии остаться в живых. То, что называлось у стариков горячкой, подстерегало каждого из них, и, понимая это, Симонов приготовил себе роль второго на случай Славиной гибели, вовсе не из геройства, а, опять же, выполняя приказ и полагая побыстрее протащить ребят до вышки. Помочь им, сократить их купание, охранить от горячки, которой молодой организм, может, более уступчив, чем старый.

Размышляя так, Симонов хитрил перед собой. Горячке мог уступить скорее организм как раз немолодой, но это было теперь не так уж для него важно.

Он оставался старшим среди этих ребят, хотя занимал самую младшую среди них должность, и понимал, отлично понимал Гусева, решившего так. Бывают в жизни события, когда отступают в сторону должности, а вперед выходит возраст, опыт, сноровка. В нынешней ситуации из трех человек, оставшихся после Славы, он был самым бывалым, опытным, и Симонов принял приказ Гусева как должное.

Сумерки обдували его холодными, упругими накатами ветра, влажный шнур, тянувшийся к Славе, обмерз и побрякивал деревянно о корку льда, а вода все подступала и подступала.

В какое-то мгновение Симонов понял, что еще немного — и остров исчезнет совсем, и он принял решение возвести остров искусственный, как бы нарастить ту малую часть земли, что оставалась под ногами. Орелик держал шнур, это требовало внимания, и тогда дядя Коля, мобилизовав Семку, принялся стаскивать в кучу все их имущество — палатку, спальные мешки, рюкзаки, рацию, образуя из этого спокойно и деловито небольшую высотку.

Теперь они стояли на казенном и своем имуществе, тесно прижавшись друг к другу. Вода медленно пропитывала брезент, покрывая его льдом, островок становился скользким, а Слава все еще не добрался до вышки. Однако он и не сдался. Плеск и стук льда слышались явственно — Гусев добирался до суши остервенело, настырно, наверняка.

Симонов представил себе его: задыхающийся от холода и от внутреннего жара, выбивающийся из сил, с окровавленными, немеющими руками, изрезанными о тонкий, но острый лед. Изредка Гусев подавал голос, кричал что-нибудь несвязное, и дядя Коля, понимая его, немедленно отвечал: одному в этой хрупкой зыби было жутко, невероятно страшно, и, видимо, Слава кричал, чтобы увериться в себе, нащупать ниточку, соединявшую его с людьми, ободрить вымотанный, окостенелый и, может, почти мертвый организм на борьбу, которая не должна, не имеет права остаться бесполезной. Хруст льда и плеск доказывали продолжение этой борьбы, существование Славы, а значит, надежду, и дядя Коля вздрогнул — хотя готовил себя к худшему, — когда все стихло.

Он заорал, загигикал, окликая Славу, требуя подать голос, если живой, и Семка, и Орелик заорали тоже. В их голосах Симонов услышал страх и тотчас, без перехода — радость: с натугой, тяжело кричал Слава. Он выговаривал какие-то слова, на островке разом умолкли, вслушиваясь.

— Порядо-ок! — изнемогая, орал Гусев. — Пью спирт! — Они хохотнули: значит, правда порядок! — Тяните пло-от!

— Тяни! — скомандовал дядя Коля, но Орелик и без команды уже яростно мотал шнур. Плот шел с натугой — видно, цеплялся за льдины. Вальке стал помогать Семка.

Симонов смотрел, как споро, по-мужицки молча тянут шнур ребята, и хотя было совсем не до этого, залюбовался ими. И Валька, и Семка вполне могли быть его сыновьями — одному двадцать, другому двадцать три, а ему пятьдесят, — могли, что же. Но все у него сложилось иначе, и хотя считалось, что женщин после войны много и можно было, конечно, выбрать себе жену, равную по возрасту и понимающую, и народить после войны ребят, Симонов жил по-другому.

Обнесло его, демобилизовался без единой нашивки за ранение, считалось, крепко повезло, но не так это было в самом деле, не так.

Глядя на ребят, тянувших шнур, дядя Коля вспомнил сегодняшний день, ненужную свою откровенность, матюгнул сам себя по этому поводу, не очень понимая, зачем он это рассиропился здесь, перед тем, что сейчас...

Он спохватился, вспомнив, по какой нужде попал в тайгу, как оказался здесь, словно бы протрезвел и стал помогать ребятам.

Шнур натянулся, и плотик не шел. Вначале они пробовали тащить вместе, напрягаясь. Не помогло. Тогда Орелик, отстранив других, принялся бродить по мелководу, окружившему их искусственный островок, как рыболовную снасть из-под коряги, пытался освободить плотик от одолевших его льдин.

Не помогло и это.

Взгроздясь повыше и напрягая зрение, дядя Коля разглядывал черневший в сумраке плот. Он трезво взвешивал обстановку, и получалось куда хуже, чем предполагалось сперва: плот застрял где-то посредине пути, скованный льдом. Тонкий, как стеклышко, под порывом морозного северного ветра лед упрочнялся мгновенно, а плотик, вдобавок, ташил, наверное, перед собой ледяное крошево, увеличивая сопротивление.

Валька все бегал по воде со шнуром, то потягивая его, то отпуская, и Симонов велел ему:

— Брось!

Дальше надлежало единственное. Дальше полагалось исполнить свою часть дела, которую оставил ему

Гусев, и дядя Коля, не крикнув ничего Славе, не желая его беспокоить, неспешно, держась за Семку, снял сапоги и поаккуратнее, понадежнее подкрутил портянки. Особо обнажаться он не хотел, но, деловито прикидывая, что вода, конечно, тотчас пропитает всю одежду и будет тянуть вниз, снял еще телогрейку.

Расстегивая пуговицы, дядя Коля услышал сильный плеск, а вскинув голову, увидел, что Валька Орлов плывет к плоту, руками ломая перед собой лед.

— Назад! — заорал дядя Коля и кинулся в воду. — Приказываю, назад!

Орелик, однако, не слушая его, торопливо двигался вперед. «Дурак, — отметил про себя дядя Коля. — Дурачок глупенький, эдак не сто, и двадцать метров не проплывет».

Он настиг Вальку, заграбастал его за живот и, мотаясь, потащил назад. Орлов упирался, брыкаясь ногами, будто в купальне какой, и дядя Коля беззлобно и деловито врезал ему по лицу. Орелик захлебнулся, ушел под воду, выскочил, тараща глаза, но послушно повернул назад.

На мелководе, у острова, дядя Коля ударил Вальку еще раз, посильнее, метя в подбородок. А делая это, он думал только об одном — привести Орелика в себя, заставить опомниться, дать понять, что здесь не самодеятельность, а геодезическая группа, пока они живы, и надо уважать приказ.

Валька пошатнулся, но устоял, не проронив в ответ ни слова, и дядя Коля почувствовал себя виноватым. Однако размышлять не приходилось.

— Подай-ка варежки, — велел он Семке, не глядя на Орелика. Потом взял телогрейку, чтобы обламывать ею лед, повернулся.

— Дурачок ты, Валька, — сказал он. — Только запыхал меня да охолодил. Глядишь, я бы уже у плота был.

Он вошел в воду и, уже плывя, крикнул Семке:

— Семен! Ты за старшего! Гляди за этим! Полоумным!

И засмеялся.

— Ну вот мы и подошли к концу.

— Куда торопиться, поговорим. Вы женаты? Давно кончили юрфак?

— Примерно тогда же, что и вы, но разве вам это интересно?

— Конечно, интересно. Может быть, встретимся как-нибудь? Поговорим, посидим. Коньячок, правда, вздорожал, но ничего, достать зато можно!

— А вы, ей-богу, молодец. И что вас только может остановить, если не остановило даже это. Даже смерть?

— При чем тут я! Тут виноваты другие!

— Вы слышали такое слово — доброта?

— Вот-вот, вам надо, чтоб я добреньким был? Чтоб я на себя чужое дело взял.

— Не бузите, Кирьянов. Хотите послушать Чехова?

— Ну вот, давно бы так, по-человечески.

— Чехов сказал однажды: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой».

— Опять вы! А при чем тут я?

— В том-то и дело, что ни при чем.

25 мая. 19 часов 40 минут

### СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

Семка стоял на куче имущества, сунув руки в карманы, замерзший и испуганный.

В отличие от дяди Коли Симонова, относившегося к событиям с готовностью выполнять свое дело, и от Вальки, который чувствовал за собой вину, Семка не испытывал ничего такого.

Он просто боялся. Боялся и еще жалел.

За спиной у него висело ружье. Славина двустволка, из которой он добывал дичь, разнообразя сытный, но уж слишком концентратный, а оттого тоскливый обед. И ему мгновениями становилось смертельно жаль того прошлого.

Семке почему-то казалось в отчаянии, что теперь уже все, что ничего не повторится больше, и они никогда не станут выгружать, перекрикиваясь, приборы из грохочущего вертолета, обедать, усевшись кружком у костра, а потом балакать между собой, и никогда уже Валька не станет писать свое бесконечное письмо, а Слава с дядей Колей Симоновым храпеть при этом в спальнях мешках.

С дрожью и жалостью Семка предвидел конец, об-

щую смерть, когда их зальет и они останутся здесь, в пойме Енисея, постепенно погружившись в эту жуткую, стремительно поднимающуюся воду.

Поначалу, до того как вертолет прошел мимо них, ему передавалась Валькина беспечность, тем более что он сам, собственными ушами принял радиogramму о выходе машины. Но теперь все было иначе. Теперь он воспринимал происходящее по-другому, и это подкожное ощущение надвигающейся беды не оставляло его, вызывая страх и непонятные, ненужные, глупые мысли. Одна была особенно навязчива и неотступна.

Оглядывая взбунтовавшуюся реку, перебирая события дня, он снова и снова думал, что их предали. Да, предали! Кто, зачем, почему — Семка не знал, не мог знать и даже предполагать, но не могло же все, что происходило, быть чистой случайностью?

«Странно. — думал Семка, — мы даже ни разу не сказали об этом. О предательстве. Как удивительно, что это даже никому не пришло в голову?»

Он останавливал себя. А может, пришло? Славе, например, не зря он не любил Кирьянова, хотя и не распространялся очень. Да и над Храбриковым все они посмеивались, называя хорьком. В этом прозвище была не только нелюбовь, неприязнь, но и недоверие. И дядя Кодя, и Слава не верили Храбрикову, человеку с лисьими глазками и обманчивым словом.

Семка не знал толком ни Кирьянова, ни Храбрикова, ему только не нравилась Цветкова, слабохарактерная и, как казалось, пустая. «Что же, — размышлял он, — она виновата, начпартни? Может, это она?»

Мысли о предательстве походили на речную волну — то наплескивали, то отступали, и отступали все чаще: Семке казалось невозможным такое. Люди просят вертолет, сообщают обстановку, и никто не обращает на это внимания.

Что-нибудь такое могло быть у маленьких, у ребят, но только не у взрослых.

Семка вспомнил себя в седьмом классе и своего приятеля Демидку Мазина. Демка учился в другой школе, но это им ничуть не мешало дружить, и каждый вечер, выучив уроки, Семка шел домой к приятелю, оставив маму одну.

Он делал это беззаботно, естественно, да мама и сама отправляла его погулять, всегда поощряла, как она выражалась, «хорошее товарищество» — у Демки и

отец и мать работали в институте, хорошо зарабатывали, одевались; хорошо и небрежно, не обращая внимания на то, что штаны, рубашки, костюмы недешево стоят, одевался и Демка. Семену нравилось в нем это сочетание, хотя сам он ходил в аккуратно штопанных брюках, в курточке с латками на локтях.

В доме у Демки всегда было тепло, уютно, — отбрасывал на потолок яркие пятна зеленый торшер, тихо, как бы вполголоса, играл проигрыватель со стереофоническим звучанием. Семку всегда ужасно смущало время чая. Анна Николаевна, Демкина мама, приносила им на красивом подносе чайник, пятнистые, разрисованные ею самой чашечки, которыми она очень гордилась, подвигала хрустальный кораблик, полный дорогих шоколадных конфет, печенье и, усевшись рядом с ними, закинув одну на другую красивые полные ноги, начинала угощать.

Особенно она усердствовала, когда угощала Семку, подвигала ему кораблик с конфетами, печенье, стараясь при этом заглянуть в глаза, расспросить о школьных успехах, и он прямо не знал, куда деться. Кусок не шел в рот, Семка ерзал в ставшем неудобным мягком кресле, чашечка дрожала на блюде, норовя кокнуться, а Анна Николаевна шутя предупреждала, чтобы он был поаккуратнее, объясняя всякий раз, что это ее работа, хобби, так сказать, и после этого Семка вообще готов был испариться.

Иногда он замечал, что если нет Анны Николаевны, Демка может повторить ее слова. Особенно насчет чашечки. А еще больше — про угощение.

— Ешь, пожалуйста! — великодушно взывал Демид. — У вас-то таких, наверное, нет. — У него получалось грубее, чем у Анны Николаевны, но зато яснее. И Семка иногда вскакивал, глотая обидные слезы, и убегал.

Демидка приходил к нему назавтра, они мирились, потом все начиналось снова, и Семка как-то привык к этим бесконечным угощениям, только иногда задумывался: «Что же, они, выходит, жалеют меня? Думают, раз мы одни с мамой, так я и конфет не ем».

Таких, как у Демки, он, пожалуй, не ел действительно, но суть от того не менялась.

Они дружили, бегали в кино, фехтовали на деревянных шпагах, катались на лодке — у Демкиных ро-

дителей был знакомый на лодочной станции, Демка хвастался этим и пользовался своим преимуществом, — и Семка ко многому привык, а многое не замечал или просто не понимал.

Однажды в каникулы, летом, Демидка объявил, что они втроем — мать, отец и он — едут не на юг, как обычно, а в деревню. Чтобы быть доказательным, он провел Семку в пустой отцовский кабинет. На полированном столе лежали катушки с леской, грузила, крючки разных размеров и блесны, великолепные блесны, поблескивающие бронзой.

Семка кивнул, стараясь быть равнодушным, но сердце его запылало от зависти. Счастливчик же этот Демка, у него есть отец, и он едет на рыбалку. В Семкином понимании рыбалка тогда соединялась только с отцом, ведь не могла же мать, по примеру Демкиных родителей, поехать рыбачить с ним в деревню.

Несколько дней в доме Демки шла суета, шли ссоры, Семка, приходя вечером, сидел неприкаянно в кресле, его как бы не замечали, он чувствовал себя посторонним, уходил, печалась, а мама все спрашивала, что с ним.

Он отмахнулся, молчал, потом прибежал возбужденный, сказал, что Демкина семья берет его с собой, засуетился. Мама, конечно, все поняла, одобрила Семкину поездку, собрала рюкзачок с небольшими пожитками и едой. Еды она хотела положить побольше, но был уже вечер, магазины закрылись, а утром, спозаранку, уходила электричка, и мама положила запасы из буфета, уж что было: сахар, макарены, хлеб — булку черного и батон, немного дешевых конфет, консервные банки с треской в масле.

Семка подтачивал напильником единственный свой крючок, пробовал на зуб леску, отыскивал поплавок — ярко покрашенное гусиное перышко.

Неделя пролетела словно во сне. Большой, взрослой рыбалки у Демкиного отца не получилось, неизвестно, по каким причинам, но ребята удили здорово, таская жадную щеклю на простой хлебный шарик.

Все было прекрасно, они дурели, бегая по полянам, усеянным одуванчиками, отплевывались от назойливых парашютиков, хохотали, плескались в реке, спали в душистом сене.

Потом Семка уехал, а Демид с родителями остался.



Пока Демка жил в деревне, а Семка парился в городе, он едва ли не каждый день навещался к приятелю. Дверь была закрыта, хозяева не возвращались, и Семка жутко тосковал по Демке.

Когда он совсем уже решил, что Демидовы родители, видно, проживут там до осени, дверь оказалась открытой.

Демка был один, он не обрадовался Семену, кивнул, пропуская, потом улегся на диван, стал листать журнал как ни в чем не бывало, словно в комнате никого не было.

— Ты что? — удивился Семен, думая, что Демка, может, заболел или расхандрился, тоже бывает, особенно когда родители накажут. Но Демка молчал.

— Обиделся, что ли? — засмеялся Семен, и Демка нехотя ответил:

— А разве не за что?

— За что же? — спросил тихо, не подозревая, он.

— А за деньги, к примеру, — лениво поднимаясь, произнес Демка.

— За какие деньги? — ничего не понимал Семен.

— Не стыдно тебе? — вдруг поразился Демидка. Совсем не стыдно? Неделю прожил, а провизии привез смех сказать. Консервы вон можешь забрать — мы такие не едим!

Семка обалдело глядел на приятеля, не понимая, шутит он или нет, хмыкнул было, не зная, что и сказать, но Демидка его оборвал:

— Можешь не смеяться! — сказал он. — Лучше плати-ка. С чего это мы должны тебя задаром кормить? Думаешь, моим, раз в институте работают, денежки легко достаются?

Семка ощутил, как окаменело у него лицо.

— Сколько? — спросил он.

— Чего сколько? — не понял Демка.

— Сколько платить? — произнес Семка.

— Ну... — замялся Демка. — Не считал, — потом откинул сомнения: — Двадцать пять.

Семка бежал домой, кусая губы, боясь разреваться при всех, на улице, но, переступив порог, дал себе волю.

Мама, слушая, гладила его по плечу, говорила какие-то слова, но он не мог, никак не мог понять: почему, зачем? Зачем такое предательство?

Слезы лились, мамины слова не помогали, — они не объясняли, а просто успокаивали.

Неожиданно мама сказала:

— Перестань! Ты ведь всегда был сильным.

Она сказала это жестко, уже не уговаривая, и Семка сразу успокоился. Мама заняла у соседей денег, Семка пошел в институт, где работала Анна Николаевна, разыскал ее, отдал деньги.

Сперва Демкина мать ничего не поняла, спрашивала: «Какие деньги? За что?» Но когда до нее все-таки дошло, Анна Николаевна сжала губы и замолчала, глядя в окно. Она долго думала о чем-то, потом сказала медленно, словно про себя: «Как же так?» И повторила: «Как же так?» Словно Семка ее обманул.

Семка был поглощен своей обидой тогда и не очень вглядывался в лицо Анны Николаевны, не очень старался понять, чего это она задумалась, только позже, когда все утихло в нем, когда он подрос и прошло время, он понял, что Демкина мать себя об этом спрашивала, себя и никого больше.

Анна Николаевна помолчала, решительно взяла деньги и сказала:

— Тебе их вернет Демид. Он принесет сам.

— Не надо, — сказал Семка, но Анна Николаевна не дала ему говорить.

— Молчи! — сказала она. — Молчи!

Демка пришел наутро, принес деньги, Семка не брал, и Демка готов был встать на колени, чтобы его простили. Семка не мог выдержать этой истерической сцены, не мог глядеть в умоляющее Демкино лицо, он кивнул головой, прощая, они пошли на лодочную станцию, катались на байдарке, но ничего у них не выходило, ничего не клеилось: Демка торопливо говорил о чем попало, Семка отвечал междометиями, и когда стало невозможно, спросил:

— За что же ты меня так?

— Не знаю, — сказал Демка, мрачней, — сам не знаю. Чего-то мне жалко стало. Какая-то напала жадность, и я не удержался.

Они встречались потом не раз, но Семку уже не тянуло к Демидке, хотя Анна Николаевна старалась склеить их старую дружбу. Что-то поселилось внутри Семки, какое-то отвращение к Демиду. Он не раз спрашивал себя, поражаясь: неужели жадность может вызвать предательство?

Выходило, может...

Демка все приходил и приходил к нему, и всякий раз, увидев лицо приятеля, Семка вспоминал то предательство и думал: что раз было однажды, может повториться снова... Демка сказал: жадность. И еще сказал, что не удержался. Но откуда в нем вдруг оказалась жадность — вон Анна Николаевна какая... «Может, — думал Семка, — жадность, предательство и всякая прочая гадость в каждом человеке есть, все дело действительно в том, чтобы удержаться. Чтобы эту гадость в себе утопить, уничтожить?»

Это он думал тогда, мальчишкой. А с Демкой они так и разошлись.

Демкино предательство долго саднило память, обжигая чем-то горячим, обидным, но потом все прошло, забылось.

А вспомнилось вдруг сейчас. Не к месту, не вовремя. Предательство Демки касалось только его, здесь же их было четверо. Тогда оскорбили его честь и достоинство, теперь речь шла о жизни.

Семка мотнул головой, отбрасывая эти глупые мысли. «Смешно даже, — подумал он, — разве можно сравнивать детство и то, что сейчас? О нас думают, — решил он, — знают и непременно спасут».

Семка взглянул на небо.

Луна, окаймленная мутным кругом, равнодушно озидала окрестность.

*— Хорошо! Я признаю свою вину. Вы, вероятно, правы. Я не всегда проявлял достаточно человечности, гуманизма, доброты. Но согласитесь — это вина нравственная. Понимаете? Не уголовная, а нравственная. Это из области человеческих ошибок, о которых не говорится в Уголовном кодексе.*

*— У вас дети есть?*

*— Двое. Жена. В конце концов, не я, а моя семья, сознание того, что я единственный ее кормилец, могут вызвать, ну, не оправдание, так снисхождение? Моральное опять же?*

*— И у него остался ребенок. Он тоже был единственным кормильцем.*

*— Я готов искупить свою нравственную вину, если*

уж вы меня обвиняете. Ну, я могу, скажем, платить алименты на воспитание его ребенка.

— Слушайте, Кирьянов! Я вот гляжу на вас, внимаю вашим речам и никак не могу понять: где же предел вашего цинизма, вашей... впрочем, стоит ли подбирать слова — вашей подлости!

— Жалею, что мы встретились с вами в такой неравной ситуации.

— Ситуация неравная, это верно. И, боюсь, выравнять ее не удастся. Вряд ли судья и народные заседатели захотят увидеть лишь вашу нравственную вину, лишь вашу халатность, хотя и за халатность судят. Вы совершили уголовное деяние, Кирьянов. Я не прокурор, пока вы только подсудимый, но я говорю вам: убийца — это вы!.. Впрочем, достаточно. Следствие окончено. Вы рассказали мне много больше, чем требуется от подсудимого, Кирьянов. И вы мне ясны. Мне же хотелось узнать еще лишь одно. Что думал каждый из вас в девятнадцать часов пятьдесят минут двадцать пятого мая? Что было с каждым из вас — по ту и по эту сторону разделившей вас черты?..

25 мая. 19 часов 50 минут

## ВАЛЕНТИН ОРЛОВ

Орелик сидел на краю островка, и его знобило.

В полутьме слышался хруп льда и виднелось небольшое пятно. Дядя Коля продирался к плотнику.

Неожиданно для себя Орелик заплакал.

— Дурак! — прошептал он, ругая себя. — Дурак!

— Что ты там шепчешь? — спросил, наклоняясь и вглядываясь в него, Семка.

— Это я виноват! — крикнул Орелик. — Я! — заорал истошно, дико, испугав Семку. — Дядя Коля! Вернись!

Семка толкнул Вальку в плечо, и тот заплакал на взрыд, не таясь, полез по привычке в карман ватника за платком и вытащил тетрадку.

В нем было письмо Аленке.

Бесконечное, недописанное письмо.

Лицо Орелика вытянулось. Он смахнул рукавом слезы, нерешительно замер.

Потом стал рвать тетрадку.

Мокрые страницы поддавались легко.

— Свихнулся! — крикнул ему Семка, дрожа и тоже плача. — Свихнулся, да?

Но Орелик иступленно рвал тетрадку. Глаза его глядели в темноту, и вдруг он замер.

Крик заклокотал в его горле.

— Люди добрые, — пробормотал он. — Помогите!

*25 мая. 19 часов 50 минут*

### ПЕТР ПЕТРОВИЧ КИРЬЯНОВ

Едкий, желтый дым от выстрела карабина послушно плыл за плечами Кирьянова то в одну, то в другую сторону.

Он метался по комнате, исходя злостью и грубо матерясь.

Наконец шаги его стали ровнее и тише.

Потом остановился, прислушиваясь к себе. Злость угасала, как костер, ее требовалось залить окончательно.

Он подошел к зеркалу, поправил сбившийся галстук, провел, ероша волосы, ладонями по бороде и вышел на улицу, прямо так, в светлом костюме, не одеваясь.

Мороз освежил его, прознобил, и в столовую ПэПэ вошел румяным, в прежнем расположении духа.

— Ну-у! — гаркнул он, открывая ногой дверь. — Нальемте бокалы и выпьем их разом!

Гости загудели: спирт уже кончился. Разлили остатки.

— Сейчас придет машина! — объявил Кирьянов, глядя на часы. — Привезет ящик спирту!

Гости засуетились, рассаживаясь по местам, готовясь к продолжению праздника. Петр Петрович ревниво оглядел их лица. Чиладзе и Лаврентьева не было. Не было и еще кое-кого. Он запомнил это, сделал зарубку в своей памяти. «Зашевелились людишки, — подумал он, — зашевелились».

— А пока! — крикнул Кирьянов. — Выпьемте... — он подумал, пошатываясь, опустив голову, потом снова вздернул бороду: — За нас!

Он приосанился, в глазах блеснул огонек целеустремленности.

— За нас! — повторил он. — За покорителей Сибири! За переустроителей жизни! Виват!

*25 мая. 19 часов 50 минут*

### НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Дядя Коля плыл в темной воде, и каждый метр отдавался болью. Телогрейкой он обламывал лед перед собой, но запястья рук были не защищены, и лед резал их. Перехватиться было некогда, неудобно, и он сжимал зубы, думая — странно — не о плотике, не о своей цели, а совсем о неважном теперь деле.

Он думал о Вальке, о том, как ударил Орелика, и хотя понимал, что иначе не мог, что иначе, с разговорами, они проваландались бы еще бог знает сколько, вина перед парнишкой никак его не оставляла. Его все не оставляла мысль, что Орелик годится ему в сыновья, и это беспокоило его особо, — будто стукнул он малое дитя...

В какой-то миг он, однако, забыл о Вальке.

Дыханье стало прерывистым, кровь бухала в висках, тело налилось усталостью.

Перед глазами пошли красненькие пузырьки. Симонов решил, что это пот, потянулся рукой смахнуть его, выпустил ватник, а взять снова не смог: намокшая телогрейка ушла одним краем вниз, под воду, и потянула его за собой.

Дядя Коля отпустил груз, всплеснулся вверх, вырываясь из власти воды, обрушил лед ладонями, попробовал плыть саженками, но плот был далеко.

Напрягаясь всем телом, выжимая из него остатки сил, Симонов рванулся вперед, сожалея о других — об Орелике и Семке, — Слава уже выбрался сам, — вспенил воду и почувствовал без страха, с одной лишь тоской, что правую ногу свела судорога.

Он исхитрился ущипнуть себя изо всех сил за голень, рванулся вперед, гребя одной ногой, захлебнулся. На зубах скрипнула льдинка.

Теряя силы, он захотел было крикнуть, но сдержался, как тогда на войне, чтоб не пугать ребят. «Шурика жаль, — мелькнуло последнее, — Шурика...»

*25 мая. 19 часов 50 минут*

## КИРА ЦВЕТКОВА

Войдя домой, Кира долго стояла, прижавшись к косяку и не включая свет.

Скрипел сверчок, давний ее приятель, луна бросала сквозь стекла мутные пятна, в комнате было тепло и тихо, и никуда не хотелось идти.

Превозмогая себя, Кира щелкнула выключателем. Лампочка, то светлея, то желтея, осветила бледное Кирино лицо, отраженное в зеркале, расширившиеся, но спокойные глаза.

Она стояла еще минуту, не решаясь распахнуть пальто, потом вздохнула, решительно и сосредоточенно переделалась, вновь накинула пальто и вновь остановилась у порога.

Прикрыв глаза, Кира представила себя такой, как минуту назад: в разорванном платье, но с напряженным, решительным взглядом.

Она переступила порог.

Плотный, похожий на невидимый парус ветер навалился на ее слабое тело, но она продавила его плечом и пошла.

Ее дорога лежала к домику на окраине поселка, возле которого так и валялась лодка, предназначенная для Гусева.

Она шла к этому домику, означавшему край вертолетной площадки, думая о том, что машине пора вернуться и место ее здесь, на пронизывающем, густом ветру. Подойдя к полю, Кира заметила мутную тень, которая двинулась ей навстречу. Это был Лаврентьев.

— Черт возьми, — сказал он, — хмель вышел, и я клянусь себя, что отступился. Надо было лететь с Храбровым.

Кира не ответила, зябко причась в воротник пальто.

*25 мая. 19 часов 50 минут*

## СЛАВА ГУСЕВ

Гусев старался не сидеть. Превозмогая озноб, по-прежнему сменявшийся жаром, он пытался бегать, прыгать, чтобы согреться, но прыжки его и пробежки были

песуразны и слабы. Преодоление этих страшных метров до вышки обессилило его вконец, и хотя он пил спирт из фляжки, спрятанной в мешке, который удалось перенести утром, болезнь наваливалась все тяжелей и душней.

И все-таки он прыгал и пробегался, согревая себя и готовя к мысли, что ему, может быть, еще раз придется сегодня войти в ледяную воду.

Гусев знал, что дядя Коля плывет к плоту, надеялся на него, был уверен почти как в себе и хвалил Симонова за правильное решение. Нет, Орелика нельзя пускать в воду, не выдержит, как не выдержит и Семка, и они — Слава и Николай — должны теперь сбегать пацанов.

В первый миг, когда с той стороны, с острова, раздался хриплый и невнятный крик Орелика, Гусев решил, что это неладно у них, но ему и в голову не пришло ничего про дядю Колю.

Он застыл тревожно, собирая остатки сил, и тут только понял, что ребята не такие уж слабаки и не выдержали потому, что беда пришла к Николаю. Не веря еще, он прислушался к реке. Плеск больше не слышался, и Гусев закричал, отчаиваясь впервые сегодня:

— Симонов! Отзовись! Дядя Коля!

Было тихо, до жути тихо, но Слава не поверил в это и швырнул свое тело в ледяной кипяток.

Тело не почувствовало холода, он заработал руками, хлебая снежную кашу и сдерживая стон.

Он представил Кланьку, которую никогда не видел, странно, не Николая, а его жену Кланьку, и сквозь хруст льдинок явственно услышал шум винтов.

Он остановился, понимая тщетность своих усилий, огруз в воде, а потом выхватил из нее кулак, свой широкий кулак и показал его небу.

*25 мая. 19 часов 50 минут*

#### **СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ХРАБРИКОВ**

Бутылки в ящике дребезжали, издавая тонкий, комариный звон, спирт плескался в них мелкими фонтанчиками, и Храбриков думал, что спирт теперь этому подлюке Кириянову уже не поможет.



Тридцать шесть начальнику, планировал повыше влезть, мол, все впереди, да нет, срежет его Сергей Иванович, как есть, срежет, если будет Кирьянов над ним по-сегодняшнему выхаживаться. «Детей нам вместе не крестить, — думал Сергей Иванович успокоенно, — там поглядим». Пенсионный стаж — два года за год — набегал все это время, можно, на худой конец, и дома доработать, у жены, у сыновей.

Вертолет крутил воздух, пилоты знали ориентиры, шли теперь по приборам, и лисьи глазки Храбрикова млели: резь в желудке и недомогание прошли, потрясло, видать, проветрило на этом дьявольском самодоме, леший его побори.

Поглядывая в иллюминатор, Храбриков увидел змеистую полосу реки, подошел к лестнице, скатанной перед дверцей, поправил ее по-хозяйски, приготовился выбросить по команде.

Машина зависла — это он чувствовал нутром, привыкшим к перелетам, и подумал жалеючи о Кирьянове, о Цветковой, о всей этой шатни-братии:

«Эхма! Да кабы не Храбриков, архангел-спаситель, куда бы вы делись?»

*25 мая. 19 часов 50 минут*

#### СЕМЕН ПЕТРУЩЕНКО

Вертолет трепал воду, плескал льдинами, гнал ветер, надвигая на них темное пузо, из которого вываливалась лестница, похожая на кишку, а Семка плакал, плакал, захлебываясь, и нижняя губа его дрожала и тряслась, совсем как в детстве.

Не обращая внимания на треск винтов, не понимая, что он сможет их осилить, он кричал, надрывая голос, и две жилы надувались на шее, синевя от натуги.

— Дя-а-дя! Ко-о-о-ля! — кричал Семка и повторял, исходя из сил: — Дя-а-дя! Ко-о-ля!

Память выбрасывала Семке мгновенные куски сегодняшнего дня, выплескивала секундные срезы времени, — вот они обедают, вот дядя Коля пляшет, а он подыгрывает ему на расческе, вот они борются со Славой, вот Слава стоит в воде, поддерживая шест с антенной, а он работает на ключе, — и эти всплески памяти ужасали его.

— Дя-адя! Ко-о-ля! — орал Семка в серую простынь, заменившую реку, берег, триангуляционную вышку, горизонт.

— Дя-адя!..

Но голос гремящей машины заглушал его хриплый крик, и, теряя власть над собой, ожесточаясь, не понимая, что делает, Семка перекинул из-за спины ружье.

Окоченевшие пальцы нащупали курки, он нажал на оба разом, пламя полыхнуло над головой. Но в последнее мгновение ружье качнулось, отодвинувшись от вертолета.

Семка увидел возле своего лица округленные Валькины глаза.

Орелик смотрел непонимающе, отрешенно. Семка сумел разглядеть в его лице решимость и еще что-то неуловимое — это бывает, когда человек неожиданно проснулся и, хотя не понимает, где он, готов действовать.

Это Семка вспомнил позже.

А тогда закричал вертолету:

— Подлецы! Предатели!

# Голгофа

## ПОВЕСТЬ

*Посвящаю Анне Ивановне Зыкиной,  
бабушке моей жены,  
сохранившей в тяжкие годы войны  
трех своих внушек.*

*Автор*

*Горе горькое по свету шло  
И на нас невзначай набрело.*

*Н. А. Некрасов*

## Глава первая

### РАНЕНЫЙ

Он отшатнулся, уперся спиной в госпитальную дверь — словно захлебнулся прозрачным воздухом, настоящим пряностями увядшей травы, и солнце ослепило его, такое не по-осеннему яркое, быющее в упор, — и он отшатнулся, будто и свежий воздух этот, и солнце толкнули его назад, в полумрак госпитальной палаты, в коридор, пахнувший щами и хлоркой, и от него требовалось усилие — не так-то просто выйти на волю! — требовалось усилие, чтобы преодолеть этот толчок, это сопротивление света и свежести и только тогда по праву вступить в забытый мир.

Он улыбнулся, ощущая кожей лица ласку этого странного сопротивления, улыбнулся блаженно, предчувствуя небывалое счастье, и словно кинулся в воду с громадной высоты: вновь глубоко вздохнул и снова открыл глаза.

Все существо его содрогнулось от такого простого и такого забытого желания: жить. Что-то словно ворвалось в его вены, какая-то бесовская, веселящая страсть, и кровь от этого, кажется, вскипела, подкатывая к вискам тугими, тягучими ударами, и все, что было, оказалось за спиной, вдруг покрылось какой-то туманной дымкой, стало несущественным, неважным, и только то,

что сейчас, и то, что станет с ним дальше, было важным и интересным.

Единственное — что станет.

Алексей шагнул вперед, и его качнуло. Он улыбнулся еще и снова двинулся — пять шагов по бетонной площадке перед госпитальной дверью и десять шагов по ступенькам. Внизу, на последней приступке, он сел, утишая клекот сердца и глухие удары крови в висках.

Перед ним был деревянный сарай, изъеденный до черноты дождями, снегом и солнцем, слева висели на петлях похожие на крылья усталой птицы госпитальные ворота, а дальше виднелась улица — булыжная мостовая с промоинами коричневых луж, деревянные тротуары и дома — рубленые, совсем деревенские на вид; городок напоминал громадную деревню, и этот вид нравился Алексею.

Еще в госпитале, с высоты третьего этажа бывшей школы оглядывая узкие улочки городка, в который занесла его судьба, Алексей не раз думал, что таким городкам воевать было все же легче, чем, скажем, Ленинграду. Здесь было мало каменных громадин, самостоятельных и надменных лишь на первый взгляд, а на самом деле уязвимых, неуютных, делавших людей своими жертвами и узниками.

Там, в Ленинграде, замерзала вода зимой — люди ходили к проруби на реку, замерзало паровое отопление — люди умирали от холода и жгли в «буржуйках» мебель, у кого, конечно, она еще была. Замерзала канализация — и начинались болезни.

А вот такие городки, как этот, переносили войну легче все-таки, что ни говори. Печка в каждом доме, вода в колонке или колодце, и не за тридевять земель, а поблизости, ну и до ветру в дощатое сооружение, которое при каждом дворе, — попросту, без удобств, но надежно и понятно. Ежели дров нет — заборов в городе немало, да и при каждом деревянном доме — в сарайке где-нибудь, забытое с довоенных пор, всегда есть что-то способное гореть в печи. Ну и леса возле таких деревянных городов тоже имеются, они и спасают...

Да, многое переменилось в мире с тех пор, как началась война. Сдвинулось. До войны в каменных домах жить считалось почетом, а в войну побежали люди из тех каменных хором в деревянные халупы. И это только частица разных перемен, частица...

Алексей восторгнулся: сзади хлопнула дверь, на площадке появилась тетя Груня. Торопливо додумывая начатое, он сказал себе еще раз, что поступает правильно, оставаясь в этом городке, потому что, кроме всего прочего, городок этот какой-то теплый. Видно, от деревянных своих домов, что ли... Теплый не изнутри, а именно что снаружи — треснувшие бревна походят на морщины человеческих лиц, а потемневшие кольца срезов на торцах бревен, и похожие на глаза окна, и наличники, все больше резные, узорчатые, и коньки крыш, то прямые, натянутые как струны, то прогнувшиеся, будто спины старых собак, — все это живое, теплое, дышащее.

— Айда, — просто сказала тетя Груня.

Алексей поднялся и двинулся рядом с ней, сжимая за горловину вещмешок с недельным пайком.

— Констервов дали? — спросила тетя Груня и, когда Алексей кивнул, заговорила, округляя слова, будто сказку ему рассказывала или баюкала, ко сну склоняя. — Поменяем, вот-ка, констервы эти на одежду какую, а одежду какую поменяем у крестьян на овес, а овес проростим до зеленых росточков да и сварим вырост этот в отвар, вот и будет ладом, зарастут твои раны, нить перестанут, окрепнешь и дальше жить станешь.

Алексей кивал в такт тети Груниным словам, соглашался с ней, зная наизусть ее речь, и чувствовал, как несет его по течению жизни, и с течением был согласен, доверял себя струе этой, несильной, но уверенной, зовущей, чего-то обещающей. И слова тети Груни, сердобольной госпитальной вахтерши, ощущал тоже как часть этой струи, этого течения, влекущего его вперед, в новое начало — смутное, но открывающее перемены, да что там — уже и дающее... вот хотя бы дающее этот воздух пронзительно прозрачный, облегчающий, и солнце, бьющее в упор, и булыжник, издающий под сапогами глухой постук, и лужи с густой грязной водой поздней осени, и кленовый лист — багровый, с желтыми отметинами, и запах прелой травы, врывающийся в легкие...

Алексей вскинул голову, физически ощущая, как слезы вливаются в него, и увидел густо-синее небо с седыми перьями легких облаков.

Он вздрогнул и замедлил шаг.

Тогда тоже плыли по небу такие же по-весеннему легкие облака, только была зима... Зима, а теперь осень — вот насколько выбило его из жизни и могло бы выбить навовсе, могло бы вычеркнуть из списков живых тем зимним днем...

Алексею Пряхину стукнуло сорок лет, когда ему выдали шинель, а в части, куда он прибыл, — полуторку.

Был Алексей одинок и немолод, с первых дней войны готовил себя к худшему без особого беспокойства: ни плакать, ни горевать по нему некому, и если уж выдаться доля, уготованная многим, надо принять ее как подобает принять судьбу — без ропота и стона. Так ему казалось тогда. А казалось, пожалуй, потому, что готовил он себя к худшему — к моментальной и легкой смерти, а такую смерть одинокому человеку принять легче — схоронили, и все! Некому плакать!

Но, оказалось, худшее не всегда худшее, а гораздо страшней страдания на полдороге между жизнью и смертью, «фифти-фифти», как выражался выздоравливающий сосед-балагур, половина на половину, когда никто не знает, куда тебя отнесет — к тому или этому берегу, даже врачи, когда маешься, плача от боли, когда о смерти молишь бога как об избавлении от всех страданий, — вот тогда по-настоящему понимаешь, что худшее не всегда худшее.

Многие приплывали к своему концу, отмучившись несколько месяцев, надеясь, что выберутся, цепляясь за соломинки надежд, — зачем же эти надежды, зачем обманы судьбы, если все равно смерть?..

Так вот Алексею выдали полуторку, машину загрузили снарядами, и колонна пошла к Новгороду. Пряхин объезжал черные остовы сгоревших машин, следил за впереди идущим грузовиком, который то и дело скрывал неожиданный в январе волглый туман.

Погоду для рейсов старались выбирать похуже, нелетную, и до Новгорода по туману прошли нормально; по туману же вышли обратно, но на полпути дунул сильный ветер, туман как языком слизнуло, и небо очистилось.

По нему шли легкие перьевые облака, плыли странной цепочкой, напоминая ожерелье, и тут из-под того ожерелья выплыли черные точки, превратились в самолеты. Алексею показалось, что он гонит машину не по тверди, а по воде: земля от бомбовых разрывов заколебалась и заходила ходуном.

О зимних бомбежках среди шоферов ходили тяжелые слухи — ведь в сторону с зимника не свернешь, — и Пряхин, знавший их, поначалу, в первое мгновение, подумал, что слухи эти, как всегда бывает в таких случаях, все-таки преувеличены. Земля качалась, но прицелиться, с высоты по узкой дороге было тоже непросто, и бомбы, взметая снег, ложились по сторонам, а колонна неслась вперед.

Но потом бомба угодила в одну из машин, идущих впереди, колонна остановилась, и тут их обложили кольцом разрывов.

Слева от машины Алексея взлетел снежный гейзер, а бомбовые осколки просадили дверцу и вонзились ему в живот.

Счастье, что в кузове не было людей, на этот раз погрузили ящики с пустыми артиллерийскими гильзами — счастье, что не было людей, это нельзя представить, окажись в кузове люди...

Машина дымила. Алексей исходил кровью и левой рукой пытался открыть дверь. Ее заклинило. Тогда он нашел силы перебраться на правое сиденье и вывалиться в снег.

Последнее, что он помнил: правая дверь открылась, и он увидел красный снег.

Его заметили в этой заварушке, подобрали, закинули в кузов шедшей следом полуторки, но бог миловал, осколки не тронули его больше, и врачам удалось Алексея спасти. Но та первая операция была, как оказалось, только началом — в санитарном поезде Алексея оперировали второй раз, а третий — в этом городке, без всякой, в общем, надежды.

Когда его резали первый раз, это было все же естественно. Но потом... Вся его жизнь потом превратилась в сплошную боль — боль днем, боль ночью, боль всегда. Иногда он забывался, но даже в забытии ему было больно, и он приходил в себя все от той же боли, и тогда его окружали врачи, шупали живот, советовались, приглушая голоса, впрочем, голоса они могли бы и не приглушать — Пряхин едва ли слышал половину их слов, пробивавшихся сквозь боль к его сознанию, а потом его снова везли на каталке в перевязочную, и он снова содрогался от боли, которую доставляли всему его телу четыре скрипучих колесика этой проклятой каталки.

Рядом с ним — в полевом госпитале, в санитарном поезде, здесь, в тыловой палате, — мучились такие же, как он, бедолаги, мучились, перенося боль, цепляясь за малую надежду, и их уносили потом, укрыв с головой простынями, не дождавшихся своих надежд, мучившихся напрасно, в этом положении «фифти-фифти», половину на половину, когда до жизни так же близко, как и до конца, и так же далеко тоже... Рядом с ним умирали мужики помоложе, да, пожалуй, и покрепче, к жизни рвавшиеся всей душой и всеми своими силами, — у них были близкие, дорогие люди, было для кого стараться, а вот выбрался он, Пряхин, хотя стараться ему было не для кого...

Разве вот тетя Груня.

Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. Это уж потом узнал Пряхин, что работает тетя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтершей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто ее об этом не просил. Только разве надо просить, когда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе; и неграмотная старуха бродила вечерами между коек, не брезгуя «утку» подать, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая.

Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки.

За спиной тети Груни была лампочка на длинном шнуре под простой железной тарелкой, которая хоть и служила абажуром, но тени не давала, — и в первый раз старуха возникла перед Алексеем в розовом нимбе, заслонив головой лампочку.

«Вот уж и святая!» — подумал Алексей, а святая приложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку.

Каждый день после дежурства усаживалась теперь тетя Груня на табурет возле Алексея, смачивала уголок полотенца ссохшиеся, запекшиеся его губы, обтирала лицо, подносила водички, гладила его холодную, не-



живую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка:

— Ох ты золотко, солдатик, Алешенька, да што ты маешься, пронеси господь, третью операцию сделали вить удачно, сам прохессор, бают, зашивал, а раз прохессор, все в порядке будет, глянь-ко, яблочко тебе я принесла, бочок золотой, другой розовый, все кончается, не горюй, вот и боль твоя кончится, изойдет вся до капельки, солнышко-колоколнышко взойдет, зачнется в тебе новый свет, новая заря.

И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и добила-таки своего. Рука порозовела, стала теплой, и однажды Пряхин посмотрел на тетю Груню осознанно и заплакал.

Видно, так уж устроен человек, что, когда ему трудно — он держится, все в себе мобилизует, все свои силы — душевные и физические. А минует это «фифти-фифти», минует половина на половину, когда до смерти так же близко, как и до жизни, когда жизнь свою половинку увеличит, да смерть отступать начнет — тут срывается человек. Даже сильный.

Немолод был Алексей Пряхин, какая же молодость в сорок лет, и прожил непростую, нелегкую жизнь он до этого своего личного дня победы, и не слабый вроде мужик был, а сорвался, что-то лопнуло в нем, какая-то зацепка, какая-то нить, державшая запоры, и заплакал он от слов тети Груни, вроде бы глупеньких, необязательных, простых словечек.

И она заплакала также. Только ее слезы легкие были. Знала тетя Груня, что своего добила, что теперь выживет это желтый, как покойник, солдат, выживет, потому что боль свою победил, потому что «прохессор» оказался удачливым, и еще заплакала она оттого, что муж ее и сын — оба на фронте, и давно весточки не шлют, и, гляди-ка, вдруг вот так же, как этот бедолага Алексей Пряхин, в госпитале где-нибудь маются, вот так же страдая и мучаясь... Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла не приговаривать своих глупых слов, как могла не помочь Алексею?

Тети Грунин домик был невелик, но рублен в лапу, а оттого на вид коренаст и прочен. За окнами голубели чистенькие занавески, а когда Алексей вошел в дом,

весь он оказался под стать занавескам — чистенький и уютный: при входе сундук, застланный холщовой стирной тряпичей, между окон комод, укрытый кружевной дорожкой, на кровати гора подушек — мал мала меньше, под столом домотканый половик.

В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, четыре шага на два, и тетя Груня кивнула на нее:

— Вон твоя кельюшка.

— Тетя Груня, как с тобой рассчитывать-то стану? — улыбнулся Пряхин. — Каким златом-серебром?

— И-и, милый, — ответила тетя Груня сердито. — Кабы люди за все друг с дружкой рассчитывать принялись, весь бы мир в магазин превратили. А! Борони нас бог от этого магазину! — Она платок размотала, присела на сундучок и прибавила серьезно: — Тогда уж добро изничтожится! Не станет его.

— Почему? — удивился Алексей.

Тетя Груня строго на него поглядела.

— Потому как добро без корысти. Аль не знал?

Алексей головой покачал, крикнул с досады, что завел неловкий разговор. В тяжелое время она перед ним возникла, в небескорыстное время, уж он-то знает, а ведь вот возникла же с нимбом над головой, хоть и от электрической лампочки.

А что? Не святая? Последним ломтем поделиться готова, к себе привела одинокого солдата — и вон занавесочка в углу: отойди, поживи, попей отвару из овсяного пророста.

Пряхин прошел к комоду, взглянул в зеркало. Тяжелых раненых брил в госпитале парикмахер, и давненько Алексей не видал себя вблизи. Сорок лет, а уже старик, хотя волос еще густ, но побит инеем, а виски уж совсем белы, да ладно, ладно, грех горевать, коли выбрался из такой беды, такой боли.

— Тетя Груня! — сказал весело, комнатку обходя. — Чего тебе подвезти по хозяйству? Дровишек, может? Я ведь шофером пойду — подскажи только, где требуются.

— Да где не требуются! А идти надобно на военный завод, потому как нужна рабочая карточка, там и хлеб, и жиры, а жиры тебе сейчас, касатик, во как нужны.

Пряхин облокотился о стол, взял голову руками.

— И то, тетя Груня, — ответил, подумав, — на военный завод один путь, коли уж списали меня подчистую.

Совесть ведь заест после войны-то, а? Все воевали — кто жив, кто погиб, один я только и сделал, что проехал рейс до Новгорода да полдороги обратно. Сказать-то стыдно будет, что воевал. Куда же мне, как не на военный?

Все эти месяцы, пока лежал он в госпитале, пока страдания и боль терзали его тело и душу, только в редкие минуты приходила к Алексею эта мысль: повоевать-то ведь не успел! Жалел, что коли помрет, то вроде бы и зазря, не укокошив ни одного фрица, да что там — не увидев ни одного.

Война как бы обходила его, отталкивала от себя, что ли... Поначалу ограда броней, а когда добился своего — вывела с круга в первом же рейсе.

Теперь, спустя много месяцев, пройдя сквозь боль, Алексей испытывал странное удовлетворение. Все-таки он прав, что своего добился, хоть и с отступлением и с трусостью — да, да, теперь можно назвать все своими именами. Чем же, как не трусостью, были робкие его попытки уйти на фронт?

Дело в том, что до войны Алексей возил важного человека на новенькой «эмке» — Ивана Федоровича. Начальник Пряхина командовал серьезным отделом в наркомате, имевшем отношение к обороне, а потому, как только настала война, не спрашивая Алексея, наложил на него броню.

Уходили на фронт соседи, знакомые, товарищи, а Пряхин ездил с Иваном Федоровичем, и, хотя работы было много, он дежурил один, без сменщика, чуть не каждую ночь спал в гараже, ожидая в любую секунду вызова, все-таки он был обыкновенным тыловым отиралой, тыловой крысой, как звали тогда тех, кто правдами или неправдами уклонялся от фронта.

Алексей однажды заикнулся Ивану Федоровичу про то, что чувствует себя по-дурацки, но тот, добрый в общем-то мужик, выпучил глаза, заорал про воинскую дисциплину в наркомате, про то, что Пряхин является отбывающим воинскую службу, что ему, Алексею, доверено быть важным винтиком в правительственном аппарате, и Алексей сробел, вытянулся перед Иваном Федоровичем. Смолчал.

Война катилась мимо Алексея, а он возил Ивана Федоровича и, когда тот убывал в командировки, возил других начальников — неразговорчивых и угрюмых, как

и его «хозяин», чуть ли не совсем уж перебрался в гараж, только здесь чувствуя себя человеком и лишь редко-редко забегая домой.

Когда он шел домой, на улице и дома, в коммуналке, ноги казались ему деревянными. Он стучал ими громко, грохотал сапогами, коря себя за эту неловкость, а оттого становился еще более неловким.

На улице, а дома уже точно, он ловил на себе взгляды женщин не то чтобы осуждающие, но какие-то холодные, скользящие по нему, точно он предмет, вещь какая-то, а не человек.

Ну там, на улице, поди разбери, кто ты такой, а уж в квартире-то все отлично знали, кто есть Алексей Пряхин. Шофер в наркомате. Ведь не нарком. Значит, отирало, тыловая крыса, вот кто...

До войны коридор коммунальной квартиры, где жил Пряхин, всегда был оживленно шумным. Вдоль узкого прохода, у огромного старинного окна стояли столики и тумбочки, составившие длинный-длинный стол, и на этих тумбочках и столиках, выстроившись неровной штатской шеренгой, обретался с десятков примусов, и наставляли часы, когда все эти примусы сипели бодрыми голосами, выбрасывали синие огоньки, а на каждом дымилась кастрюля или щелкала сковорода горячим маслом.

Когда началась война, примусов поубавилось — кто эвакуировался, кто готовил себе на плитке прямо в комнате, коридор приумолк, женщин в нем толкалось мало. Но все равно они были хорошие, Алексеевы соседки, только вот глядели они теперь на него не по-хорошему, не то что до войны, когда он был гордостью квартиры в своей кожаной скрипучей униформе. И Алексей проходил мимо, коротко, сдержанно здороваясь и убыстряя шаг.

Особенно после того случая.

Его остановила самая добрая, самая интеллигентная среди всех соседок — учительница Мария Сергеевна. Алексей почти месяц не был дома, заскочил на минуту по какой-то надобности, она схватила его за рукав у своей керосинки.

Алексей остановился, неуверенно улыбаясь, кивая старушке. А она неожиданно спросила, часто мигая:

— Я получила похоронку на сына, на Сережу, да, да, — и, не дав ему посочувствовать, не дав ему просто

вспомнить, без перехода спросила: — Он погиб на фронте, это понятно, все-таки война, а вот вы почему здесь? Вы почему?

Всю эту фразу, сообщение это и этот вопрос она сказала очень тихим шепотом, точно даже и не сказала вовсе, а громко подумала. Алексею пришлось даже напрягаться, чтобы услышать ее, но ему показалось, будто Мария Сергеевна прокричала свои слова.

Он стоял перед ней, сначала глядя ей в глаза, еще по инерции глядя, потом опустив взгляд.

Затем двинулся к выходу.

Что он мог ответить? Проговорить несколько слов, повторить то, что сказал Иван Федорович? Но это был бы пустой звук для Марии Сергеевны. У нее — Сережа... А он — здесь...

В тот же день Алексей снова обратился к Ивану Федоровичу, начальник кричал опять, но теперь Пряхина еще вызвали в кадры, и тамошний начальник кричал ему тоже о дисциплине военного времени, о том, что наркомат приравнен к воинскому подразделению, и даже о трибунале.

Несмотря на крик, Алексей подал начальнику кадров заявление. Но тот закричал еще пуще, даже затопал ногами и бумагу порвал прямо на глазах у Пряхина.

— Не имеете права! — выдавил из себя Алексей и вышел.

— Имею! — крикнул ему вслед начальник.

Вначале Пряхин хотел снова писать заявление, но ему отсоветовал шофер наркома, худой, туберкулезный мужик.

— Будут неприятности, — сказал он. И добавил подумав: — Ты же знаешь, где мы.

Алексей сник, еще больше ушел в себя, ругая за нерешительность, за трусость, в конце концов. Все воюют, а он... Тыловая крыса... Отирало.

Все ниже держал Пряхин голову, все реже появлялся на улице пешком, домой перестал заходить вовсе, да и характер у него резко переменялся. Раньше с Иваном Федоровичем переговаривался, обсуждал то или другое, конечно, о событиях на фронте говорили, а тут начались салюты, и он совсем сваял: пройдет война без него.

Ездили они множество — и по Москве, и в недалекие, и даже в дальние города. И вот однажды в такой поездке произошло у Алексея с Иваном Федоровичем

решительное объяснение. Они свернули с дороги, остановились подкрепиться, Иван Федорович принял по маленькой и, видно, чтоб развеселить своего водителя, начал советовать ему поскорей жениться.

— Мужики на войне, Алеха, баб свободных пруд пруди.

Алексей задумался. Впрочем, это Ивану Федоровичу только показалось, что он задумался. Просто Алексей собирал слова, а заодно успокаивал себя, чтобы не брякнуть начальнику непотребного.

— Вот видите, — сказал он, — даже вы меня перестали уважать.

— Ты это чего, Алексей? — вскинулся, не понимая, начальник.

— Да я и сам на себя плюнул, — махнул рукой Алексей. — Война мимо меня катится, а я за вами, выходит, отсиделся.

Иван Федорович открыл рот, чтобы что-то сказать, но смолчал. Потом проговорил:

— Прости, Алексей, уж больно ты угрюм, хотел пошутить, да по-дурацки вышло. Прости.

Пряхин отвернулся в сторону и, не глядя Ивану Федоровичу в глаза, сказал:

— Отпустите на фронт.

Алексей чувствовал, знал точно, что Иван Федорович вскинул кустистые брови, разглядывает его внимательно, но молчит.

— Не могу я больше, — сказал Алексей хрипло.

Тот все молчал, и Пряхин вспомнил, как еще в первый раз, накричавшись, Иван Федорович сказал ему неожиданно спокойно, словно и не волновался и не кричал только что: «А кроме того, жалко тебя, Пряхин, ты ведь как перст одинокий, сгинешь, и поплакать будет некому». — «Ну и хорошо!» — воскликнул Алексей, но начальник опять заорал: «От-ставить разговоры!» Вот он такой, Иван Федорович, старый рубака, комполка Первой Конной, — то кричит, то жалеет, то вот молчит, как теперь...

Иван Федорович глотнул, крикнул, верно, выпил и, еще помолчав, буркнул сердито:

— Давай.

Алексей обернулся, теперь уже он разглядывал начальника, ловил его взгляд, хотел слово какое-нибудь придумать, но Иван Федорович сердито жевал колбасу и старательно отворачивался.

Через несколько дней, когда прощались, начальник облапил его, прижал сильно к кожаному наркоматовскому пальто и сказал:

— Давай, Алешка, за двоих! Я ведь тоже...

«За двоих!» Пряхин вспомнил слова эти, сказанные дрогнувшим голосом, и криво усмехнулся. Хоть бы за одного... Убил хоть одного фрица? Шел в атаку? Спас товарища? Сделал хоть что-нибудь стоящее там, на войне?

Пришел на фронт в январе сорок четвертого, при первой же бомбежке залетел под бомбу, еле выскребся на белый свет и вот теперь спрятался за добрую тетю Груню, за свою спасительницу...

«Давай, Алешка!»

Хреновый из него вояка вышел, что и говорить. Встреть он Ивана Федоровича, и объяснить нечего. Ну да ладно. Разве лучше, если бы отсиделся в наркомате? И так стыдобушки хлебнул. Так что ранение свое рассматривал Алексей как наказание за нерешительность, за трусость.

Изумленно приходя в себя, Алексей оглядел голубые занавески на окнах, чистый крашеный пол, покачал головой, разглядывая тетю Груню.

— Чего, голубок, затуманился? — улыбнулась тетя Груня, наливая в стаканы кипяток. — Иль зазноба вспомнилась? Ай, расскажи! Никогда мы про жизнь твою не балакали, сказал только, что бобыль, а как же так — немолодой да одинокий? Иль беда какая случилась, так скажи, поплачь, как тогда, в первый раз, гляди полегчает. — Алексей улыбнулся.

— Ну, тетя Груня, и мастерица ты уговаривать да приговаривать! А балакать тут долго нечего. Была же-на-то, была. Да сплыла. К другому сбежала, до войны еще. Ну и бог с ней!

Тетя Груня качнула головой, глаза прикрыла — стала похожа на грустную птицу.

— Не пожалела, значит, тебя, себя пожалела.

— Откуда ты знаешь? — встрепнулся Алексей.

— И-и, милый, — усмехнулась тетя Груня, — тут и знать нечего, все люди на две половинки делятся — на тех, кто себя жалеет, да на тех, кто жалеет других... Пей чаек-то! С калинкой!

Алексей пил чай, вглядывался в свое отражение на медном чайнике и снова чувствовал то, что было с ним

днем: минувшее как бы отступает, становится незначительным, и тело наполняется новым желанием жить дальше, начать все снова, пусть вокруг война, пусть горе и беда еще носятся по улицам. Его-то они уже зацепили, и нечего им больше делать в его судьбе.

Ну ведь может же, может начаться все снова, сначала! И не в Москве, где есть у него комната и в той комнате все его минувшее, а в этом дальнем городке, деревянном, теплом, с доброй тетей Груней-спасительницей.

Может же стать так, что жизнь, отмеренная ему без удач, очень просто и незаметно отчеркнется жирной чертой, а дальше все будет другим — хорошим, ярким, светлым.

А то, прошлое, — Москва, неудачная женитьба и побег жены, больно ранивший сердце, служба шофером у хорошего человека Ивана Федоровича, стыд за то, что он не на фронте, бомба и страдания — все это только первая попытка: ничем не замечательная, средняя, — но ведь первая же, только первая!

Над синей занавеской загустело сумеречное небо, и они сравнялись цветом — занавеска и воздух за окном.

Алексею захотелось запеть или крикнуть во весь голос, и он едва сдержался, поглядел озорным взглядом на тетю Груню и засмеялся, захохотал, обнажив крепкие, сильные зубы.

— Ты чего, соколик? — вскинула брови тетя Груня.

— Да так!.. Ничего... Просто так!.. — ответил он, смеясь.

А все-таки растревожила тетя Груня Пряхина, зацепила словами своими.

Пока говорили, чай пили — ничего не чувствовал он, а лег на прохладную простыню, утопил голову в пуховой подушке, и забытое, вычеркнутое из жизни в глаза к нему заглянуло, из тьмы выступило.

Была у него жена, была. И сам он во всем виноват.

Когда взяли его в наркомат к Ивану Федоровичу, какая-то командировка выпала им в сторону родного ссыльца Алексея, и начальник отпустил Пряхина на сутки проведать родных, пока он будет разбираться со своими делами в ближнем городе. Вот Алексей и явился — на новой «эмке» и во всем кожаном — хромовые сапоги



московского пошива, кожаные штаны, куртка, краги, сверкающие на солнце. Фуражка, и та кожаная.

Отец тогда еще долго признать его не мог, стоял в воротах во фрунт — думал, начальство какое подкаатило. Этот его приезд и теперь, поди-ка, в селе помнят — все, почитай, у дома ихнего побывали. «Эмку» щупали, а заодно и его, Алексея, потому что блистал он своей кожей навроде «эмки». Вот тогда и заприметил он глазастую Зинаиду.

Как у них тогда все вышло, и не вспомнишь, закрутилось колесом: днем познакомились — Зинаида руку лодочкой церемонно протянула, вечером целовались взахлеб, будто после дальнего перегона до речки добрались, а ночью, в баньке, довели начатое до конца — все как во хмелю, в сумасшествии... Через сутки вернулся Алексей к Ивану Федоровичу, еще через сутки прибыл домой, а в коридоре коммунальной квартиры уже сидит Зинка: сбежала из дому к нему.

Не зря, видно, говорят: как новогоднюю ночь встретишь, так и весь год проживешь. Первая ночь, хотя и не новогодняя, выпала Алексею с Зинаидой заполошная, бестолковая — так они и жизнь общую прожили.

Поперву обнимались, миловались, Зинка на Москву таращилась, в метро часами каталась. Алексей с работы придет, а хозяйки дома нет. Явится. «Где была?» — «На метро ездила!» Алексей не злился, смеялся: «Молода больно ты!» Зинаида обижалась, надувала губы, но быстро отходила, снова принимались они за любовь — неутомимо, ненасытно.

И вдруг Зинке Москва разонравилась. Метро надоело. И любовь Алексеева вместе с метро. Стала приставать: «Айда на Магнитку! Или на Кузнецкстрой!» Он отмахивался: «Дура! Люди в Москву рвутся, а ты из Москвы». Зинка поскущела, даже круглые глаза ее вроде меньше сделались. Не углядел за работой Алексей, когда Зинаида мимо него мелькнула. Пришел однажды домой — стол праздничной скатертью накрыт, а Зинаида в комнате не одна, сидит битюг белобрысый, глаза синими блюдцами, как у нее. Вино красное в три рюмочки разлито, но до него не пили.

— Познакомься, — говорит Зинаида. — Это Петро, тоже водитель. Мы с ним в Кузнецк едем, а ты, Алексей, не обижайся. Прощевай.

Сперва Пряхин хотел в драку полезть, осатанел от

злости и от такого бесстыдства, но что-то в нем дрогнуло, он сдержался, подошел к двери, открыл ее:

— Скатертью дорога!

— Зря, — сказала Зинаида, — мы хотели по-хорошему. Вон и вино купили.

Они прошли по коридору коммунальной квартиры под взглядами любопытных жильцов и исчезли из его сердца и его памяти. Так, по крайней мере, казалось Пряхину.

Да так оно и стало в конце концов, только прошло до окончательного исчезновения Зинаиды из сердца Пряхина, как у каждого мужика в таких случаях, немало времени. Пришел он к выводу, что это «эмка» и кожаное обмундирование сильно подействовали на молодую Зинку, на самом же деле ничего в душе ее к нему, Алексею, не было. Вот и весь сказ.

Мучительно пережив эту драму, Пряхин дал себе слово никогда к ней не возвращаться, не вспоминать о Зинаиде, не думать ни при каких обстоятельствах — остался в его душе только шрам да в паспорте штампик химическими чернилами.

И, твердо дав себе слово не возвращаться к этому прошлому, Алексей так и жил, если бы не тетя Груня с ее расспросами...

Пряхин шуранул кулаком подушку, глубоко вздохнул, решив спать, но тут ему пришла в голову занятая мысль.

А что, если, подумал он, тетя Груня не просто так про жену спросила? Что, если хотела она навести его мысли на женщин — ведь может же быть такая военная бабья хитрость или нет?

Сперва больной думает, как бы выжить, как бы выкарабкаться, потом — как бы попить да поесть, а уж потом и о женщине не грех поразмыслить. И, нарушив свое правило, свое твердое слово, неожиданно простив Зинке ее подлое предательство, вспомнил Алексей не последний горький час, а первый: баньку, ядреное Зинкино тело, белеющее в темноте, ее вкусный рот, дышавший жаром, и свою мужичью дрожь...

Он крутанулся на другой бок, хихикнул глупо, приказал себе закрыть глаза и глубоко дышать.

«А что, — подумал Алексей, засыпая, — тетя Груня права: не так уж сложно устроен человек...»

И еще об одном вновь подумал он, засыпая.

О том, что желание остаться в этом городке не случайно. В сорок лет начинать непросто.

Но он начнет.

Попробует все сызнова.

Неделю — трижды в день — Алексей пил по стакану отвара, изготовленного тетей Груней из невесты откуда взявшейся сырой пшеницы. Жижица была мутноватая, безвкусная, клейковатая, и угощение это радости не доставляло, но уже через неделю Пряхин ощущал себя совсем не таким, как в день выписки из госпиталя. По утрам, отцепив ремень, он махал топором, рубил дрова — сначала понемногу, потом побольше и, намахавшись, прислушивался к себе, к тому, что внутри. Странное дело, никакие боли, даже самые слабенькие, не трогали его. Будто склеила его накрепко своим отваром добрая тетя Груня.

В перерывах между колкой дров Алексей наведывался в отдел кадров военного завода — заполнял бумажки, приносил недостававшие документы и через неделю был зачислен водителем в транспортный цех.

Кадровик, однорукий молодой парень, сказал ему, усмехаясь, что в транспортном цехе на балансе шестьдесят лошадей и столько же подвод, двадцать газогенераторных машин с десятком пыльщиков чурок для них, а кадры почти сплошь женского рода — мужиков только четверо: два старика да двое после ранений, годные к управлению машиной.

— Старики не в счет, так что посылаем тебя в качестве бутона на клумбу, — усмехнулся парень. — Гляди берегись.

Насчет того, чтоб беречься, Алексей поначалу не понял. Разобрался в этом через полчаса, когда вошел с направлением в контору транспортного цеха.

Открыв дверь, Пряхин от неожиданности попятился — на него колыхнулась стена густого дыма и визгливый многоголосый крик, который на мгновение стих, но когда он переступил порог и сморщился, непривычный к табачному дыму, конторка грохнула хохотом.

Слезаящимися от махорочного дыма глазами он разглядывал темноватое помещенье и все больше смущался — впрямь попал в самый центр клумбы: вдоль стен на лавках сидели одни бабы. Старые и молодые,

они в упор разглядывали его, и под этими взглядами он растерялся вконец и произнес неуверенно:

— Мне товарища Сахно.

Его оглушил новый взрыв смеха, а потом из угла слышалась певучая, нежная речь:

— Так я и есть Сахно!

Из-за столика ему улыбалась чернобровая молодая-ка с нездоровым румянцем на щеках. Алексей подошел к ней, протянул бумагу, а спина у него прямо-таки ды-милась от бабьих взглядов. Он отвечал на какие-то во-просы начальницы транспортного цеха, спрашивал о ма-шине, о ее состоянии, а сам был как бы раздираем на запчасти этими цепкими взглядами за спиной. И вдруг он услышал разговор...

Это не был разговор двоих или троих — говорили, кажется, все, кто сидел за спиной, — все разом, хором, и не было в этой речи фразы, сказанной без отборного мужичьего мата. Пряхин вспомнил слово, оброненное одноруким парнем в отделе кадров, и слово это — бе-регись! — отдалось в нем болью и непониманием.

Мгновенно, словно трезвея после похмелья, Алексей обернулся к женщинам, сидевшим возле стен, и с тос-кой удивленного, не привыкшего к такому обороту дела человека спросил:

— Что с вами, женщины?

Сзади, за спиной, стукнули каблуки, чернобровая на-чальница цеха обошла Алексея, приблизилась к окну, распахнула створки, дым, как вода, потек струей на улицу, и в наступившей тишине Алексей услышал сип-лый, простуженный голос:

— А ты похлебай с наше!

Что-то в этом голосе показалось Пряхину сладко-знакомым, он взгляделся в худое лицо, по самые бро-ви повязанное платком, и колени у него подогнулись.

— Господи! Зинаида! — скорее выдохнул, чем произ-нес Алексей, и снова, как тогда, когда пересек он гос-питальный порог, что-то толкнуло его к стенке, словно это сопротивлялась сама судьба его попытке начать все сначала.

Мгновение тишины оборвалось, женщины снова на-перегонки заматюкались, защелкали зажигалками, за-дымили «козьми ножками», а начальница цеха, сменив певучий голос свой на резкий и пронзительный, закри-чала неожиданно:

— На погрузку, бабы! На погрузку!

Контора быстро опустела, напоследок кто-то крикнул:

— Вот и Зинка жениха нашла!

А Пряхин и Зинаида, напряженно вглядываясь друг в друга, словно пытались в изменившихся, постаревших лицах узнать свое прошлое и не находили, нет, не находили ничего такого, что могло бы напомнить им хорошее и дорогое.

— Ты как тут? — спросил Алексей.

Вместо ответа Зинаида сказала:

— Петро убили.

Алексей покачал головой. Значит, так. Значит, Петро убили.

Он попробовал вызвать в себе злорадство: вот Петро убили, а он жив, прогадала ты, Зинаида, но, кроме этой сухой, не облаченной чувством мысли, ничего вызвать в себе не мог.

— А ты? — спросила Зинаида.

— Ранило. Тут в госпитале лежал, — ответил он.

— Почему не в Москве?

Вот он, этот вопрос, самый злой и самый больной вопрос, какой только могла задать Зинаида, не зная, не ведая, какая в нем для Пряхина таится боль. Вчера, надо же, только вчера он думал о второй попытке, о втором заходе, и все ему казалось правильным, возможным, во всяком случае, вероятным, и он был полон надежд. А сегодня?..

Впрочем, а что сегодня? Ну, встретил он Зинаиду. Невероятно, неправдоподобно, но встретил; жизнь, значит, может подстроить и такую ловушку. Что и говорить, неприятна эта встреча, безрадостна, но в общем-то ничего особенного. Встретил Зинаиду, ну и ладно. Давно он эту Зинаиду вышвырнул из сердца. Вон даже не узнал сразу. Да и теперь вглядывается в нее, и ничто его не тревожит, ни на чуточку даже, хоть и вспоминал он ее вчера, перед сном совсем по-другому.

Ничего не осталось от прежней Зинаиды. Голос сильный, чужой. Лицо обветренное, незнакомое. Даже губы и те иные — ссохлись, тоньше стали. Просто знакомую встретил, вот и все. Потому он и не в Москве, а тут. Все начинается сначала.

Не-ет! Не так просто сбить его с пути, да еще с такого, какой он прополз. Довоенная комната, Зинаида

со своим Петром, Иван Федорович с «эмкой», фронтовой зимник, госпиталь, боль без дня и без ночи — как непрерывающееся, слепящее северное сияние.

Слишком густо он хлебнул, и слишком мало корней у него в этой жизни, чтобы отказался он от своей идеи, от второй попытки, от надежды, что и в сорок лет можно жизнь начать, встретить в ней доброго человека, зажить покойно и радостно, чтобы круг свой, отпущенный природой, очертить как надо — с любовью, с продолжением своим, детьми, с мыслью, что прожил ты не напрасно.

Так что Алексей сжал губы и ответил Зинаиде сухо: — Временно.

Он шагнул к двери, мельком обернулся, охватив взглядом всю фигуру Зинаиды — сжавшуюся, усохшую старуху, — и переступил порог.

— Вот едрит-твой! — прошептал он себе, ощутив какую-то опустошенность.

Точно кто-то подслушал его мысли, подкрался сзади на цыпочках и дышит тяжело в затылок.

Не кто-то, не кто-то... Зинаида!

Отчаянно сопротивляясь этому, Алексей чувствовал, как легкость, с которой он жил неделю, куда-то уходит, точно вытекает из него, а взамен наваливается тяжесть. Будто шептала ему Зинаида из-за спины: «А вот и я, вот и я». Алексей махнул рукой и двинулся к гаражу: «Да что я, не сам себе хозяин? Или дитя малое?!» А вслух повторил, качнув головой:

— Вот едрит-твой!

По утрам натошак Алексей пил отвар то из сырой пшеницы, то из проросшего овса, ел пайку хлеба, иногда смазанного непонятным жирком, похожим скорее на вазелин, и шел через весь город на работу.

Стояла затяжная осень, мороз все никак не прихватывал землю, и она расплзлась, разведенная нудными дождями, превратилась в жидкую кашу, по которой не только пешком двигаться было трудно и склизко, но и на машине, потому что по глинистой грязи слабосильная газогенераторка вихляла и застревала в первой колдобине.

За день Алексей укатывался так, что, возвращаясь, раз-другой непременно падал — ноги едва держали

его, — и являлся к тете Груне грязнуший, как сам черт. Слава богу, хоть старуха задерживалась в госпитале допоздна, и Пряхин успевал помыться, замыть шинель и даже подсушить ее.

Каждое утро начиналось с чистки топки, разжигания круглой печки за спиной кабины, и во время езды требовалось не забывать о дровах и воде, часто останавливаться, да тут еще эта грязь...

Пряхин возил снаряды в ящиках с завода на товарную станцию, весь транспорт грузили и разгружали женщины, но рук не хватало, и им помогали ездовые. Кроме Алексея.

Сердце его заходило, когда он видел согбенные фигуры, которые молча, безропотно передвигаются в сером рассвете. Ему было совестно говорить с возчиками, и он старался обходить их. В самом деле, о чем говорить? Посочувствовать — как тут не посочувствуешь, того и гляди вырвется жалостное слово, а чем кончится? Пошлют куда подальше, хоть и раненый фронтовик. Что толку от пустого сочувствия, коли помочь не можешь, коли самому тебе, не вполне полноценному мужику, помогают? Нет, Алексей обходил возниц, а когда те собирались в кружок покурить и поговорить, слушал их незлую ругань уже без досады и непонимания.

Присев на ступеньку своей машины, он думал частенько о будущем этих женщин. Ведь кончится же когда-то эта война, и все устроится, может быть, у этих баб, и забудут они табак и матерщину, и приступят к самому главному делу в своей жизни — к любви и продолжению потомства, так вот получится ли у них это непростое дело — продолжение потомства после того, как тонны, да что тонны — тысячи тонн снарядов перетягают они на себе, на своей бабьей плоти за эту войну?

Однажды, подумав об этом, он плюнул в грязь, втоптал плевков каблуком, подошел к возчикам, не вступая с переговорами с ними, схватил ящик, поднял его на спину, но до машины едва дотащил.

Он слышал, как громко хрустнуло что-то в животе, острая боль расколола тело. Он едва добрался до подножки своей полуторки, лег на нее, поджав к животу ноги, и едва отдышался.

— Ты как сухая папироска, — обидела его какая-то баба. — Сгорел быстро, а дыму мало.

Какая уж папироска! Неизвестно, что он теперь такое, непонятно, на что пригоден. Слава богу, хоть машину вести может.

В тот день его без конца вбивало в пот, горизонт расплывался. Он притормаживал машину, переводил дыхание, двигался дальше, а на заводе и на станции удивленно разглядывал женщин: сколько же у них жил — и волокут, как волю, тяжеленные ящики, и волокут без писку и стону — молча, сгибаясь только сильнее, когда уж совсем, видать, немоготу станет.

Бывало, транспортный цех — целиком или частично — бросали на другие перевозки. Случилось, Пряхин повез работниц в подсобное хозяйство — зима хоть и задерживалась, а картошку убрать не успевали.

Обратно Алексей мчал порожняком. Газогенераторка разбрызгивала грязь, шлепала, как старуха, по лужам, и слово «мчал» к этой утлой полуторке, конечно, никак не подходило. Да еще Алексей остановился несколько раз, чтобы подкочегарить свою топку, подбросить чурбачков. Особенно тяжело давались машине подъемы, мотор верещал, весь корпус вибрировал, да еще скользили, проворачиваясь колеса, и Пряхин каждый раз, взобравшись на горку, утирал рукавом пот со лба — столько переживаний выжимала из него его дохлая машинешка.

Взяв самый протяжный и крутой подъем, он увидел впереди телегу, развернутую как-то боком. Лошадь лежала, а рядом с ней прямо на земле сидел возница.

Алексей остановился, выпрыгнул в грязь, подошел к вознице и потянул его за рукав, поднимая. Из-под капюшона брезентового плаща к нему повернулось худое лицо, и Алексей невольно передернулся: опять Зинаида! Ее била крупная дрожь, губы посинели, сквозь драные перчатки проглядывали заостреневшие пальцы.

Лошадь околела прямо в упряжи, и огромный мутный глаз ее равнодушно взирал на низкие облака. Телега была нагружена мешками с картошкой, видно, Зинаиду тоже посылали в подсобное хозяйство.

Пряхин откинул борт своей машины, подошел к телеге, взвалил на плечо мешок, распрямился, прислушиваясь к тому, как напряглось у него что-то в животе. Осторожно переступая, он свалил мешок в кузов.

Сперва Зинаида стояла безучастная, прислонившись спиной к черному баллону газогенераторной установки,



но, заметив, как пару раз тяжелый мешок качнул Алексея, стала помогать ему.

Пряхину было трудно. Не остро, как в прошлый раз, а постепенно, точно разгоняясь, боль нарастала в животе тугим, горячим клубком. Он останавливался на минуту, ждал, когда клубок чуточку поостынет, но Зинаида, словно заведенная, волокла мешок за мешком — маленькая, хрупкая, готовая вот-вот сломаться, и Алексей принуждал себя разогнуться и снова взваливать на плечо мешок.

Когда картошку перегрузили, Пряхин распряг мертвую лошадь, прицепил телегу к машине.

Медленно, чтобы телега сзади не перевернулась, он поехал к заводу.

В кабине Зинаида вроде немного отошла, дрожь перестала бить ее, она потно покраснелась, размотала платок, из-под него вылились волосы, единственное знакомое в ней, — русая волнистая река.

Не говоря ни слова, она принялась расчесывать, а потом укладывать их. Краешком глаза Алексей видел эти волны, чувствовал забытый запах, идущий от них.

Он отворачивался налево, вдумчиво вглядывался вперед, стараясь отвлечься от навязчиво-знакомых запахов.

Молча они доехали до завода, у столовой грузчицы сняли мешки с кузова, потом появилась Сахно, устроилась в кабине между Алексеем и Зинаидой, они задымили в две сигарки махрой, и Пряхин повел машину обратно.

Мертвую лошадь полагалось свезти, кажется, на свалку, но втроем поднять им ее было невозможно, и Сахно принялась составлять акт. Неудобно склонившись к рулю, начальница царапала карандашом бумагу, спрашивая у Зинаиды кличку лошади, обстоятельства и время ее гибели. Потом вынула из кармана перочинный ножик, подобралась к лошадиному уху и деловито резанула его.

Алексей вздрогнул, Зинаида отвернулась, а Сахно показала им дюралевый кругляш с номером — бирку, которую надлежало приложить к акту.

Молча они вернулись на завод — лошади часто дошли прямо на ходу, от старости и износу, на их место призывали из деревень новых, помоложе, и все шло своим чередом, так что никто особенно не волновался.

Выбираясь из машины, Сахно попросила Алексея остаться еще на одну смену: сломались две газогенераторки, да несколько подвод, посланных в подсобное хозяйство, еще не вернулись.

Зинаида была все такая же потная, щеки ее покрылись густым румянцем, и, пристально взглянув на нее, начальница кивнула.

— А пока отвези ее домой. Да и сам часок отдохни.

Машина катила по городу, расшлепывала грязь. Зинаида молчала, притянувшись в угол кабины, и Пряхин подумал, что она уснула. Поэтому, когда она заговорила, даже вздрогнул от неожиданности.

— Давай все сначала, — сказала Зинаида хрипло.

Алексей взглянул в угол и увидел горячебно блестящие глаза. «Видать, простыла», — отметил он про себя, не придавая значения ее словам.

— Ну давай все сначала, — проговорила хрипло Зинаида. — Давай уедем в Москву. На черта все это надо!

Алексей ухмыльнулся. «Все сначала». Как и он. Только он хочет начать все сначала здесь, вычеркнув Москву из памяти, а она — вернувшись в Москву.

Пряхин почувствовал, как Зинаида вцепилась ему в рукав шинели, и нерешительно попробовал освободиться. Но Зинаида держалась крепко.

— Понимаешь, — говорила она лихорадочно, приблизившись к его лицу, — я от тебя ушла, но меня ведь судьба наказала, Петра убили. Так что меня можно простить, верно? Извинить. Ведь так? Должны же люди прощать друг друга? А я тебе ножки стану мыть! Верной до гроба буду — только поверь. А здесь мы оба подохнем, понимаешь? Надорвемся и подохнем, как эта лошадь. Надо жить, Алеша! Понимаешь, надо жить!

Тупая и тяжелая боль наполнила живот Алексея. Он вновь дернул рукой, желая освободиться, и снова Зинаида не отпустила его.

Алексей как бы пропустил мимо ее слова. Вся его жизнь казалась ему решенной и понятной. У него есть смысл. Он знает, как жить. А эта Зинаида его не касается. Лопочет что-то. Простыла, видать, окоченела, бедняга.

Пряхин больше не дергал рукой, не пытался вырвать рукав из Зинаидиных пальцев — он хотел только быстрее добраться до ее квартиры, посадить бывшую жену,

а потом поскорей очутиться дома, выпить стакан тети Груниного отвара, полежать часок, подобрав колени к животу, — в таком положении боль отступает быстрее, — а потом ехать на работу. Чтобы стало полегче, он склонился к рулю, почти лег на него.

Зинаида замолчала, но Алексей ощущал ее взгляд на своем виске. «Неладно, видать, с ней, — думал он. — Потеряла своего Петра, никак опаматоваться не может, вот и несет чепуху... А может, и впрямь надеется, жалеет, что ушла».

Только это его не касалось, никаким боком не задевало.

Он негромко, чтоб не сбить наступившую тишину, спрашивал Зинаиду, где повернуть, как ехать дальше, у которого дома затормозить, и они остановились перед баракком.

— Идем, — повелительно сказала Зинаида, и Алексей непонимающе взглянул на нее.

— Вытряхивайся, — ответил он, прислушиваясь к звону каких-то колокольчиков. Что-то защекотало его по лбу, он провел тыльной стороной ладони и удивленно оглядел ее: рука была мокрой.

— На тебе лица нет, — сказала Зинаида. — Пойдем, отдышишься, еще целая смена.

Алексей распрямился, но его куда-то повело, а вспомнил он себя снова уже в барачном коридоре, слева, под рукой, Зинаида, подпирает своими плечами. Брякнул о железо ключ, скрипнула петля на двери. Зинаида расстегнула крючки на шинели, подвела к кровати.

Он забылся снова, будто исчез с этой земли, но тотчас вернулся, и блюдечко с горячим чаем вздрагивало перед ним. Алексей хлебнул, хмарь отступила, все стало на свои места: узкая, как щель, комнатенка, фанерный шкаф в углу, Зинаида с распущенными волосами, протягивающая, точно маленькому, блюдечко с чаем.

Пряхин дернулся, стараясь встать, но лицо Зинаиды приблизилось, холодные руки взяли его за виски, поглаживая, убаюкивая, и он задохнулся от ее поцелуя. Зинаида целовала его как-то неумело, словно разучилась или не умела никогда, а в нем все обрывалось внутри, все рушилось. В смятении, еще как следует не выбравшись из забытья, Алексей рухнул в новое забытье, только здешнее, земное, с громом сердца, с тем, что принад-

лежало ему когда-то, но давным-давно забыто и поэтому вряд ли реально.

Да, вряд ли реально, потому что забытое стремительно кончилось, и, отряхиваясь от бреда, кляня себя за случившееся, он понял, что невозвратное невозвратно и что Зинаида вот таким унижительным способом просила его забыть о прошлом, просила прощения, то есть просила невозможного, значит, нереального.

Его прошиб пот.

Бывает, мужчина пользуется слабостью женщины, а вот с ним вышло наоборот. Зинаида воспользовалась его слабостью, но и он не безгрешен, не без сознания же, черт возьми, был он с Зинаидой, не в бреду, так что нечего клясть ее, надо в ней разобраться.

Но как же? Какое прощение, при чем тут прощение, если у него своя жизнь, а у нее своя, какое прощение, если все, что было между ними, давно забыто, вычеркнуто из их памяти — и его и ее?

Но, может, дело не в том? Просто она боится одиночества.

А он?

Ведь он тоже боится этого одиночества... Нет, не так. Он много лет жил один, был совсем одинок. Он привык к одиночеству, но после этого ранения не хочет возвращаться в свое одиночество. Хочет избавиться от него.

Он хочет избавиться от одиночества, а она боится остаться одна. Не все ли одно, в сущности?

Старые жернова, давно не молевшие зерна ненависти, заворочались внутри Пряхина. Он вспомнил тот день — нарядный, солнечный, летний, комнату, залитую светом и предназначенную для счастья, и стол с тремя рюмками — для него, для Зинаиды и для неизвестно откуда взявшегося Петра.

Его захлестнула ненависть, — сильная, обновленная, будто все то было вчера, а не много лет назад.

— Зачем тебе это? — спросил он Зинаиду.

Плечи ее вздрагивали. Она плакала. И плечи снова покрылись гусиной кожей.

Он натянул на нее одеяло. Вид этих пупырышек, этой гусиной кожи вызвал в нем досаду. Все было так глупо... Бедная Зинка... Она мерила только свое отчаяние, не желая считаться с Алексеем. Она думала, что может заставить его... Чего заставить?

Ах, Зинка, круглоглазая, глупая, забывшая, что время и поступки навеки разделяют людей. Но ведь той Зинки нет. Даже той-то, виноватой, нет. Есть чужая женщина, посторонняя и далекая, полагающая по ошибке, что у нее есть права на Алексея Пряхина.

Когда Алексей вышел на улицу, погода резко изменилась. Небо прояснилось, ярко горела лампа круглой луны, и это сходство с лампой довершал ровный беле-ый круг, четко, словно циркулем, прочерченный вокруг нее.

Воздух казался отлитым из стекла, он звенел, далеко передавая городские звуки: свист маневровой «кукушки» на станции, мальчишеский выкрик во дворе, глухой кашель прохожего, храп усталой лошади.

Чурбачки в газогенераторной колонке прогорели, едва теплились красными угольками, и Пряхину пришлось ждать, пока новая порция топлива как следует разгорит двигатель.

Едва тронувшись, Алексей сразу понял, что переменявшаяся погода не только высветлила небо и очистила воздух. Легкий морозец сковал грязь, покрыв лужи пока еще тонкой коркой льда. Опытный водитель, он знал, что это гололед, и вел машину осторожно.

Всю ночь его машина, похожая скорее на паровоз, ползала по притихшим городским улицам, высвечивая фарами путь, встречая такие же газогенераторки и подводы, на которых сидели возчики, и женщины, сидевшие за рулем машины или на краю телеги, находили силы кивнуть ему, махнуть рукой, и Алексей кивал им в ответ, всякий раз прибавляя до возможного предела скорость. Вид этих женщин, усталых и похожих от усталости одна на другую, пожалуй, даже неотличимых друг от друга, вызывал в нем угрызения совести.

Вот они кажутся ему все на одно лицо — это просто оттого, что он еще не всех хорошо знает, — а ведь у каждой своя жизнь, своя судьба, каждая ждет кого-то с фронта, а может, и не ждет уж, но каждая молча тащит свою лямку, покорно, не ропща, прикрывая грубой бранью боль и страдание. Сколько же терпения в них, этих грубоватых бабах, и у каждой боль своя, у каждой своя беда и печаль.

Он попробовал представить первую же встречную

возицу в нарядном платье, в туфлях на каблучках и в тонких чулках; он силился вообразить это, не отрывая взгляда от согбенной фигуры на тележном передке — в замурзанной телогрейке и черном, укрывшем лоб платке, — но ничего у него не вышло: телега с возницей проплыла мимо, и женщина махнула ему рукой, небрежно, по принятой привычке, словно отгоняла комара.

Нет, не выходило у него волшебства, не мог он даже представить их, своих знакомых по транспортному цеху, в ином, обаятельном, гожем для женщины виде — даже представить себе не мог.

Телеги и машины двигались навстречу, а Пряхин двигался навстречу им, зная, что он тоже в этой непрерывной цепочке, что он часть колеса, которое медленно кружится по городу, доставляя на станцию тяжелые ящики, до изнеможения оттянувшие руки, а потом вертится дальше, назад, за новой порцией, и так круглые сутки, ночью и днем.

Под утро мороз окреп и гололед усилился. Лошади выбивались из сил, падали, а главным, кто раскатывал дорогу, были все же машины, и Сахно объявила по цепочке, чтобы водители выбрали себе другой маршрут, оставив старый только лошадям.

Легко сказать — другой путь. Все дороги превратились в каток, езда стала сплошным мучением. Но шоферы поторапливались. Брезжил рассвет, скоро на улицах появятся пешеходы, и тогда езда станет совсем опасной.

Рассветало. Несколько раз Пряхин ловил себя на том, что засыпает.

Он останавливался, бегом огибал машину, приседал, подпрыгивал, глубоко дышал, чтобы сбить с себя сонливость, и на полчаса этой зарядки хватало.

В синем рассвете неожиданно повалил густой снег, дунул ветер, ехать стало совсем опасно: снег коварно скрывал лед.

Сгрузив очередную партию ящиков, Пряхин твердо решил, вернувшись на завод, пойти к Сахно и потребовать хотя бы цепи для колес, хотя цепи больше подходили для рыхлой глубокой колеи, а в гололед помогали хуже.

Он ехал, напряженно тараща глаза, снова чувствовал, что его тянет в сон. На краю пологой горы Алексей мотнул головой, стряхивая сонливость, и остановился,

осматривая спуск, — это был опасный и скользкий участок. С правой стороны, тоже на взгорке, дымил хлебозавод, так что внизу как бы была небольшая котловина, куда сходились две наклонные дороги — крутая улица, по которой ехал Алексей, и пологий спуск от хлебозавода.

Алексей глянул на заводскую горку — там было пусто. Он осторожно стронул машину вниз.

На скользком склоне лучше всего было не тормозить: машину могло развернуть, а того хуже — опрокинуть, и ехать здесь можно только с твердой уверенностью, что никто не помешает.

Машина катилась, мягко поскрипывая колесами по свежему снежку, и вдруг справа от Алексея возникла легкая тень.

В первое мгновение он даже не понял, что это такое.

Косые, стремительные стрелы снега растушевывали заводскую горку и женщину в белом халате и белом платке. Алексей не раз видел хлебовозниц — во всем белом, кроме сапог, они таскали по городу белые тележки с хлебом, упираясь грудью в деревянную перекладину. Теперь, ухватившись за эту перекладину, женщина тормозила ногами, упиралась сапогами в землю, но земля покрылась тонкой коркой льда, сапоги скользили, и тяжелая тележка, груженная хлебом, катилась с горки, давила сзади, приближая женщину к машине.

Пряхин уже давно до упора выжал тормоз, колеса машины замерли неподвижно, но газогенераторка скользила по льду навстречу тележке, а тележку несло навстречу машине.

Самое мудрое, что можно было сделать женщине, — упасть, отпустить тележку или вывернуть чуть вбок и снова упасть, но она боялась за хлеб, не хотела оторваться от перекладины, а машина не подчинялась Алексею.

Он увидел ее лицо — раскрытый рот, наехавший на лоб платок. И две черные подробности в белом месиве: колеса тележки и сапоги.

В тишине хрустнула фанера, на снег брызнули буханки хлеба, машина проскользила еще десяток метров, накренилась, земля уплыла набок, и, судорожно сжимаемая руль, Пряхин понял: все, конец!

Выбираясь из кабины упавшей машины, не замечая

хлещущей крови из рассеченной брови, он еще слышал протяжный и жалобный крик.

Когда он подбежал к тележке, женщина уже молчала.

Алексей повернул ее.

Губы крепко сомкнуты, серые глаза открыты, но бессмысленны. Он провел рукой по теплым векам, и женщина перестала смотреть в небо.

Снежинки падали на ее лицо и таяли. Потом таять перестали.

Он вглядывался в ее обыкновенное, худое лицо и думал, что убитая им похожа на возниц с его завода.

Только теперь, в этот миг, понял он, чем так похожи друг на друга женщины, которых он видел. Худобой и синей тенью под глазами.

Пряхин поднял к небу лицо, залитое кровью, и глухой, нечеловеческий вой вырвался из его горла.

Хлестнула тяжкая мысль: «Так зачем я спасся? Чтобы убить?..»

Он был невменяем в эти мгновения, он был лишь облищем человека.

Сознание работало прерывисто, временами он только видел окружающее, не понимая его. Он путал явь с видениями.

В какой-то миг Алексею показалось, что он тоже умер, — и белые тени, много белых теней встали в кружок возле него. Но это были не тени, а женщины, возившие хлеб в тележках, одетые в белые короткие халаты. Он понял это, когда тени стали поднимать убитую.

Пряхин пришел в себя, отстранил их тяжелым движением окровавленных рук и поднял мертвую.

Белые тени двигались перед ним, указывая дорогу, открывая двери, и с каждым шагом, отдававшимся в голове острой, непереносимой болью, Алексею казалось, что предел его страданию, тоске и вине уже настал и вот-вот он рухнет вместе со своей тяжелой ношей.

Дорога оказалась короткой, открылась последняя дверь, и вся его собственная боль растворилась, уступив место онемению: в небольшой комнате в одном углу он увидел глаза старухи — остановившиеся, ставшие блеклыми, а в другом — лица трех девочек, непонимающие, удивленные.

За что принес он сюда такую беду?



### ГРЕШНИК

Жил ли он в те дни, в те часы, в те мгновения? Можно ли назвать это жизнью? Или только бредом, только сном, только выдумкой безумца?..

Временами он казался вполне успокоенным. Отвечал на вопросы, ел, куда-то ходил. Но говорил, ел, ходил Алексей словно в тумане: руки, ноги, язык действовали как бы самостоятельно, не управляемые сознанием.

А сознание, мозг, весь до последней клеточки, были заняты только одним — непоправимыми картинками того дня. Да, непоправимыми: ничего, ни одного жеста, ни одной фигуры, ни одной секунды невозможно исправить в тех видениях, которые без конца проходят перед глазами, повторяясь снова и снова...

Когда он вернулся к машине, едва переставляя ноги, ее уже окружила толпа. Чернобровая Сахно, вызванная, наверное, по телефону, о чем-то говорила с милицким капитаном, старым, сморщенным, как печеное яблоко. Гудел разноречивый голос.

Окровавленное лицо Пряхина точно означало его виновность — перед ним смолкли и расступились. Начальница транспортного цеха просила его объяснить, рассказать все, как было, но он тупо смотрел на милиционера. Какая-то мысль никак не давала ему оторваться от этой фигуры.

Алексей то проваливался в забытие, и его сильно шатало, то возвращался.

— Пьяный, может? — спросил милиционер, и Сахно что-то ответила, мотнув головой.

Неожиданно Пряхин понял, почему так пристально разглядывал старика милиционера. На боку у него висела кобура с пистолетом.

То, что ему нужно.

Алексей шагнул вперед, наклонился и вцепился в милицкую кобуру. Старик растерялся, несильно дернулся, Пряхин сунул руку за пистолетом и весь содрогнулся.

Судьба издевалась над ним. Хохотала просто.

В кобуре вместо пистолета был чулок. Обыкновенный, плотно скатанный чулок.

Алексей непонимающе разглядывал тряпку, и милиционер спросил, поняв и только теперь, запоздало, отшатнувшись:

— Чего ты удумал? Чего удумал?..

Мужики-доброхоты перевернули машину, и Сахно кочегарила газогенераторную установку. Шел дымок, пахло мирной печкой, топленной березовыми дровами. Машина завелась.

— Поезжайте, поезжайте, свидетели есть, замер проведен, — говорил Алексею старик милиционер, но до Пряхина его слова не доходили.

— Куда же я? Куда мне? — спросил он бестолково.

— Домой. Вызовут. Ждите.

— Как ждите? Чего ждать? — повторял Алексей.

Сахно с трудом затолкала его в кузов.

Он стоял наверху, оглядывал толпу, всматриваясь в морщинистое лицо милиционера, и снова, снова смотрел на гору, не понимая, никак не понимая, откуда и как возникла убитая им женщина.

Милицейский капитан сказал ему только, будто гора, по которой он ехал, во много раз длиннее хлебозаводской горки и женщина вышла с хлебозавода, когда Пряхин уже ехал и не мог ничего поделать с машиной, а она не посмотрела на дорогу. Это многое объясняло, но только не Пряхину. Его сознание точно остановилось в ту невероятную минуту: как привидение, возникла из снежной заверти женщина в белом халате и белая ее тележка.

Машина тронулась, Алексей сел на дно кузова. Потом лег.

Сахно вела машину неаккуратно — об аккуратности думать не приходилось, — Алексея трясло на рытвинах, но он ничего не чувствовал. Вот теперь он перешел свой предел. В глаза падали снежинки, но он не моргал. Силы оставили его. Он все видел — зрение фиксировало лица и предметы, — но ничего не понимал, ни о чем не думал: отрешенность как бы устранила его из жизни.

Сахно привезла Пряхина домой, он выбрался из кузова и отпрянул смятенно: на пороге стояла тетя Груня.

Она отдежурила в ночь, а теперь глядела, ни о чем не зная, приветливо улыбаясь, что-то пришептывала доброе, едва шевеля губами.

Ах, тетя Груня! Не там ты стоишь, не тому гово-

ришь свои золотые слова! К старухе бы той, к трем девочкам, тесно прижавшимся друг к дружке в углу. Там бы тебе быть, утешительнице. А ты словами своими разбрасываешься. Говоришь их кому? Убийце!

— Беда, тетя Груня, — выдохнул Алексей, упираясь рукой в дверную притолоку.

Он прошел к кровати, грохнулся на нее лицом вниз. В глазах темнота, только голос тети Груни слышится. Быстро все от Сахно узнала, приговаривает словечки, будто мягкие подушки подтыкает под рваную боль Алексея. Эти слова можно и не слушать, главное, что они есть, — убаюкивают, успокаивают, сыплются камушками по чистым половицам. Проваливался Пряхин куда-то, вновь возникал в старой теплой избушке — ровно был и не был он на этом свете...

Что-то толкнуло Алексея.

В тети Грунном несвязном приговоре возник смысл. А звали эту гору страдания Голгофой, и взошел он на нее без страха...

Алексей повернулся на спину.

Все та же чистая комнатка с низкими потолками, тетя Груня в позе своей обычной — подбородок в ладошку спрятала. Рассвет синими пятнами в избу глядится.

Тетя Груня вздохнула, сказала громко и внятно, на себя не похоже, будто судила:

— Знаешь, от чего не спрятаться?

Он кивнул, кто ж этого не знает — от суммы да от тюрьмы. Только тюрьма бы ему спасением стала.

— Нет, не знаешь, — покачала головой тетя Груня. — От креста.

— От креста?

— Каждый свой крест несет... Идти тебе надо, Алешенька, хоронят ее сегодня.

Пряхин вскочил. Натянул шинель. Посмотрел на тетю Груню. Осознанно посмотрел, не как вчера. Словно тетя Груня, спасительница, его устыдила.

Конечно, идти. Надо идти.

Что ж, выходит, опять старуха эта, премудрая тетя Груня, права по всем статьям?

Взяла вроде бы за шкурку его да встряхнула, как щенка.

Застрелиться хотел? От ответа уйти?

Нет, ты иди, ступай вперед, да глаза пошире открой, не прячь, открой глаза и посмотри, что ты, хоть и не по злой вине, наделал.

Кивнул Алексей, вздохнул и шагнул к порогу.

Он встретился с похоронной процессией в воротах уже знакомого дома и отступил, прижался к забору.

С тележек сняли фанерные будки, в которых эти женщины перевозили хлеб, и две тележки соединили между собой. Деревянные ручки с перекладинами торчали в разные стороны, посредине был гроб.

Хлебовозчицы держались за ручки, тихо катили некрашенный гроб, и, пересекая черту ворот, каждая смотрела на Алексея.

Они узнавали его, это было ясно без слов, но он ждал страшного — взгляда старухи и трех девочек. Но старуха не посмотрела на Пряхина: она шаталась, голова ее безвольно моталась, сбоку ее поддерживали две женщины в белом. Она прошла мимо, и Алексей понял, что здесь не до него — здесь горе, и сейчас не время разбираться, виновен он или нет.

Девочки шли вслед за старухой. Те, что постарше, держали за руки маленькую, закутанную в белый, видать, материнский платок.

Процессия была небольшой, но заметной: ее большинство составляли женщины в белых халатах, и прохожие останавливались, зная, хорошо зная, что в белых халатах подвозят к магазинам хлеб.

Алексей все еще стоял у ворот. Рядом с ним возник старик, сухонький, сморщенный, белый, словно унававший с неба вместе со снегом, перекрестил удаляющуюся процессию, сказал сам себе:

— Повезли кормилицу. Остались три сироты. Да и четвертая едва ходит.

Будто старик этот вылез нарочно сказать это Алексею, сообщить подробности беды.

Пряхина словно стеганули по лицу, он отдернулся от забора и зашагал вслед за процессией.

Мороз окреп, на дороге было по-прежнему скользко, и тележки с гробом двигались медленно: женщины ступали аккуратно, маленькими, в полступни, шажочками.

Алексей падал — его сапоги разъезжались, — больно стукался, но боли не чувствовал, поднимался и шел

дальше. Он немного отстал от женщин, и можно было подумать, что сзади идет виноватый и кается: падает, молча встает и снова падает. Так ведь и было...

На кладбище процессия надолго стала. Могила предстояло только выкопать — яма не была готова, и Алексей оказался в центре тяжелого внимания. Женщины посматривали на него часто — он как будто мешал им, да ведь и действительно мешал, но, главное, его заметили девочки. Они сбились в тесную кучку. Младшая испуганно таращила глаза, морщила нос, собираясь заплакать, но раздумывала, средняя и старшая, не отрываясь, разглядывали Пряхина. Старшей было лет шестнадцать, уже девушка, средней лет двенадцать, младшей, пожалуй, семь. Пряхин отметил это каким-то задним сознанием, сжигаемый взглядами этих маленьких женщин.

Что было в их взглядах? Ненависть? Пожалуй, у старшей. Средняя и маленькая смотрели скорей с удивлением. С непониманием. Как тогда. Но тогда они смотрели потрясенные. Не понявшие как следует, что произошло. И не Пряхин важен был им, нет. А теперь они глядели на одного него. Глядели, не понимая, почему тут этот солдат без погон? Как он может быть тут?

А старшая: как смеет?

Принесли лопаты, и женщины, сменяя друг друга, начали рыть могилу. Алексей подошел к одной и молча взялся за черенок. Он ощутил острый взгляд зеленых глаз, черкнувших его поперек лица, — женщина выдернула лопату из его руки и отодвинулась. Пряхин стоял с протянутой рукой, непонимающий, униженный. Ему не давали копать!

Он подумал, что это случайность, у женщины могут быть и другие причины, чтобы не дать ему лопату, и подошел к другой. Чернявая худышка отвернулась и отошла с лопатой в сторону. Тогда он попробовал отнять лопату силой. Но противница его, белобрысая, с пухлым, пуговкой, носом, оказалась цепкой и упрямой. Она ничего не сказала ему, только зло сжала губы и всем телом потянула черенок в свою сторону. Пряхин отстал от нее, отошел в сторону и, отшагивая, уловил шепот:

— Замолить хочет!

Замолить! Да уж что там... Моли не моли, словами

не поможешь и лопатой не отделаешься. Ему теперь всю жизнь вину свою заглаживать да заравнивать, а как ни заравнивай — все равно вот этот холмик навеки останется.

Разрывалось сердце Алексея, лопалось на мелкие кусочки, не было лопаты ему тут, возле этой могилы, не было ему места рядом с этими женщинами, возле их-него горя, не может убийца стоять подле гроба убитой и видом своим терзать души ее дочерей... Не может, а должен...

Вспомнил Пряхин утешительницу свою, спасительницу святую тетю Груню, ее жестокие, неспасительные, неутешающие слова: «Идти тебе надо!»

Вот он здесь.

Будь тут, хотя тебе показали выход, будь тут и гляди во все глаза, что ты наделал...

Женщины отрыли яму — неумелую, неглубокую, с покатыми краями.

Открыли гроб — проститься с покойницей. Заплакали нестройно, взхлеб. Алексей вцепился руками в березку — до боли, до крови. Будто кожу с него сдирали — вот чем был этот плач. Но смотрел, не отворачивался. Глаза словно в ледышки превратились.

Навеки запоминал.

Кружок женщин в белых халатах. Посреди кружка две старенькие тележки. Гроб. Рядом три девчонки — не нарочно выстроились по росту. А по другую сторону тележки старуха.

Сухо застучал молоток по гвоздю, потом мягче ударил — задел дерево. Еще один. Много гвоздей не требуется покойнику — только два; крепко его не заколачивают. На веревках съезжает вниз сосновая хата — последнее прибежище. Мерзлые комья о крышку бьют. Крик, пронзительный, как на казни:

— Мамочка! Не надо!

Это старшая. Те, что помладше, держатся друг за дружку, не все еще понимают, а старшая уже девушка, взрослый человек.

Но почему, почему так бестолково устроена жизнь?

Вот он, Алексей Пряхин, одинокий несчастливцев, не нужный никому на всем свете, стоит тут живой, а мать, у которой трое сирот, уходит в землю. И убил ее не кто иной, как он, Пряхин!

Плачет девочка, а ведь ей жить, ей в жизнь только

вступать, ей мать ох как нужна, и младшим нужна, и бабке старой, а без него можно обойтись, невелика потеря.

Смотрит Алексей, ждет, окоченелый, и вновь мимо него проходят женщины — цепочкой, одна за другой. Которая шаг замедлит и посмотрит открыто, ненавистно, которая исподлобья, а которая мельком, только коснется взглядом лица. Старуха снова не видит его. Старшая не хочет видеть. Две другие — опять удивленно, все не понимая, за что он их так...

Вот пришел и твой черед, Алексей Пряхин.

Все ушли. Остался ты один. Перед тобой холмик, который всю жизнь заравнивать придется.

Прощайся. Ступай к женщине, у которой отнял жизнь, детей которой осиротил.

Еле передвигая окоченевшие ноги, подошел Алексей к холмику.

Встал на колени.

Прошептал истово:

— Прости, женщина!.. Крест мой при мне! Пока жив!

И вспомнил он вдруг госпиталь и то, как, мучаясь и страдая сам и зная, что рядом мучаются и страдают другие, понял постепенно, что худшее, то есть смерть, не всегда худшее в сравнении с болью тяжких ран.

Теперь же, в безысходный свой час, пришла ему в голову мысль, что худшее, то есть смерть, не всегда худшее в сравнении и с жизнью.

Если жизнь вот так, как у него, повернет.

С кладбища Пряхин пришел в милицию.

Старик капитан усадил его напротив и, не выпрашивая фамилии, имени, года рождения, не исполняя тягостного обряда, который предшествует допросу, стал говорить с Алексеем про ту ночь, про ту тяжелую смену, и как-то так незаметно вышло, что скоро они говорили друг другу «ты», точно старые знакомые, и все-все, кроме разве Зинаиды, знал старик капитан про Алексея. Потом он велел Пряхину подождать, придвинул к себе бумагу, заскрипел, разбрызгивая чернила пером, и дал Алексею подписаться.

— Вишь, какая пачка про тебя, — сказал он, придвигая папку бумаг и вкладывая в нее еще один листочек.

Капитан вздохнул.

— Окончательный вывод, конечно, не за мной одним, — сказал он, — но и свидетели и результаты замеров показывают, что дело будет закрыто. — И добавил, помолчав: — Не казись, солдат.

— Как же так? — проговорил Алексей.

— Да и что толку-то, — будто не услышал его капитан. — Тюрьмой горю не поможешь...

Дома Алексей застал Зинаиду, и это его теперь не удивило. Удивила тетя Груня. Она смотрела на Пряхина с жалкой полуулыбкой, ходила чуть ли не на цыпочках, заставила сесть за стол и вынула из-под фартука бутылку самогона.

Пряхин выпил стакан. Он не ел сутки или даже больше и должен был бы тотчас уснуть от такого количества спиртного, но даже не запянул. На столе дымилась рассыпчатая картошка, стояла мисочка аппетитных огурцов — он поглощал еду, не замечая ее вкуса и запаха, а тетя Груня сказала:

— Прости меня, старую.

Алексей ничего не ответил, посмотрел, не понимая, и она пояснила:

— Прости язык мой...

Вот почему ходила она с виноватой полуулыбкой, в своем доме на цыпочках, заглядывала ему в лицо. Ах, добрая душа тетя Груня! Отправила на кладбище, сказала правду — разве это она виноватая, что правда у Алексея такая вышла, — да сама же и застыдилась, винить себя принялась. Ах, тетя Груня!

Он выпил еще, но самогон не принес облегчения. Вдохнул, отложил вилку. Взялся руками за голову.

Ну хорошо — «не казись»! А что теперь? Дальше как?

Тетя Груня, будто и впрямь волшебница какая, мысли угадывающая, тотчас ответила:

— Уехать вам надо.

Пряхин строго оглядел тетю Груню — «уехать»? Переметнул взгляд на Зинаиду — «вам»? Что-то не очень словечки-то тети Грунины. Чужие какие-то словечки-то получаются.

Старуха всплеснула руками, уловив Алексея взгляд, затараторила, заприговаривала, заутешала:

— Ой, да конечно, чего это я, старая! Конечно, рассказала мне Зинушка про случайность эту великую вашу, про всю вашу жизнь, правда-ка, погляди, хло-



быснуло ее как, наказало, да и тебя, горемышного, Алешенька; это судьба вас свела, судьба порушила, она и свести старается, болезни ваши залечить, а што тебе тутoka делать-то теперь, только измаешься, на улицу выйдешь — вспомнишь, пойдешь — и опять вспомнишь, изведешься весь, истaeшь, как свечечка, видно, уж богу угодно так, беритесь-ка с Зинушкой за руки, простите прошлодавнее, забудьте тяжелое, возвертайтесь в Москву дальше жить...

Пряхин ухмыльнулся. Спросил устало у Зинанды:  
— Твои труды?

Что-то знакомое, то, давнее, мелькнуло в Зинанде. Как-то глаза испуганно вскинула, округлила их. Но голосом ответила чужим, сиплым, так и неузнанным:

— Ох, Алеша, повенчаны мы, понимаешь, повенчаны друг с другом несчастьями нашими.

Повенчаны! Сказала! Каждый человек только со своей бедой повенчан. И одному ему с ней расквитываться. Когда счастье, иное дело. Счастьем с другим человеком поделиться всенепременно надо. А бедой делиться грех. Беда на одного. Пришла — расхлебывай, а другому ложки не подавай: горькое это хлебово. Так что ему за свое надо расплачиваться. Зинаида ему и без этой тяжести, без этого груза безмерного не нужна была, не требовалась, а с ним и подавно.

Да и то! Согласись он с ней, с ее словами, что же получится? Без беды своей Зинанду отталкивал, а беда пришла, и принял... Невелика удадь, небольшой для мужика почет.

Нет и нет, нет и нет!

Досиживали застолье молча. Лицо Алексея посмурнело, посуровело. Морщины заострились, черными штрихами по лицу расползлись. Молчал мужчина, молчали и женщины.

Потом Зинаида засобиралась. Так бы и ушла, кабы не тетя Груня. Принудила:

— Проводи!

Вышли на улицу, Алексей воздуха хлебнул, закашлялся: все крепче и крепче мороз. Горло обжигает, ознобом бьет.

Должен бы вроде мороз Алексея протрезвить, голову очистить, но все как-то наоборот теперь шло. Вроде глотнул Пряхин не свежего воздуха, а еще самогону. Повело его, зашатало. Голова кругом идет, как в тот

миг, когда небо перед кабинкой вбок двинулось. Алексей сжал кулаки, словно держит рулевое колесо и от этих рук только зависит, остановится ли машина. Но нет, ведет ее боком — прямо на тележку, покрашенную для гигиены в белый цвет, — и разлетаются, сыплются во все стороны буханки черного хлеба.

Идет Алексей, и то его вправо заносит, то влево.

— Господи, — шепчет зло Зинаида, — что же творится-то! — А потом другим, ласковым голосом: — Куда ж я тебя такого пушу!

Видит Алексей комнатку-пенал — когда-то как будто был уже здесь! — железную койку, узкую, на одного, понимает, куда явился, хочет назад повернуть, но словно в пропасть падает...

Пропасть глубокая, темная до слепоты, но летит он одно мгновение в какую-то жару, в огненное жерло, и все в нем вскипает...

Алексей вскакивает. Он спал прямо в шинели на той узкой кровати — ему жарко, нечем дышать и пить хочется, будто он тысячу лет не пил.

— Что? Что? — шепчет он со сна и при свете керосиновой лампы видит, как на полу, укрывшись пальтишком, лежит Зинаида.

Она повернулась к нему, глаза ясные — не спала, что ли? — сказала:

— Спаси!

Он не понял. Подумал — ослышался.

— Спаси нас, — повторила Зинаида внятно, — меня и себя. Нет у нас другой дороги, кроме Москвы.

Он встал, пригладил волосы. Опять этот разговор. Взглянул на ходики. Пора на работу. Натянул сапоги. Застегнул крючки на шинели.

Зинаида была тоже готова — лежала одетая.

По улице шли молча, и, пока шли, Алексей не думал о работе. В голову это не приходило. Просто он двигался туда, куда следовало двигаться утром, вот и все.

Только там, в конторке Сахно, вернулась к нему его правда. Чернобровая начальница встала из-за стола, пошла ему навстречу, старательно улыбаясь, и вот эта старательность ее улыбки и растерянные взгляды возниц, притихших враз, вернули ему все его имущество.

— Вот твои права, Пряхин, машина на месте, разжигай топку.

Алексей внимательно поглядел на начальницу. Потом повернулся и медленно вышел. Что-то он забыл как будто. Что-то не довел до конца. Что-то недоделал.

Машина была разогрета: то ли работала ночную смену, то ли кто-то уже растопил газогенераторную установку.

Все еще медля, собираясь с мыслями, вспоминая, что он забыл, Алексей открыл дверцу и медленно сел за руль.

Вспомнил! Даже не вспомнил — понял. Он взялся руками за баранку и крепко сжал ее. Хрустнули пальцы. Как тогда, там на утренней улице, вырвался из него стон — протяжный, глухой, безнадежный.

Нет, не мог он больше сидеть за рулем, не мог крутить баранку. Навек не мог!

Он вздрогнул — дверка открылась. Внизу стояла Сахно.

— Может, ты не понял, Пряхин? — спросила она. — Дело закрыто, звонили из милиции.

— Не могу! — прохрипел Алексей. — Понимаешь, ехать не могу!

Он выбрался из кабины. Сахно стояла в пальто, только накинутом на плечи, вздрагивала от холода и молчала. Она должна сказать ему что-нибудь. Обязана. Но она молчала.

— Хорошо, — проговорила наконец. — Иди в отдел кадров. Уволиться трудно, ты знаешь. Даже невозможно. Может, тебя на другое какое дело поставят?

Алексей выполз из кабины, потоптался, хотел что-то возразить, попал взглядом на полуторку и осекся. За рулем он не может. И не сможет никогда. Значит, она права, эта чернобровая хохлушка. Надо идти в отдел кадров.

Он шагнул мимо начальницы, потом неуклюже обернулся. Сахно больше не улыбалась. Глядела на него жалеючи. И от этого Алексею стало чуточку легче: на лице начальницы была правда.

Брел по улице Алексей Пряхин — пустой, порожний до дна. Единственное, что умел он, — водить машину. И не так мало на первый взгляд, но и не много, как оказалось.

Что делать теперь? Куда идти? Чем заняться?

Работа была в жизни главной подпоркой. Когда Зинаида ушла, в работу с головой спрятался, не достать, по две смены у Ивана Федоровича баранку крутил: дорога, дорога мчалась под ноги — серый асфальт, шлифованный до блеска булыжник, пыльная щебенка, а то и просто грязь, липкая, вязкая, — по такой дороге ехать все равно что землю копать: вымотаешься и просолишь потом рубаху.

Ну а если работу отнять? Вообще что такое человек без работы? Скотина, жующая хлеб? Тварь, глотающая чужой воздух, мнущая без толку траву, топчущая землю напрасно? Что такое праздный человек, как не паразит, от которого миру один урон, одна мерзость?

Так что была у Алексея подпорка, да вот выбил он ее сам и зашатался.

Пришел домой, отпер дверь, сел за стол и устался в голубые занавесочки. Тепло в тети Грунином доме, уютно, душевно. Хоть и нет хозяйки — на дежурстве, — а греет Пряхина ее изба, приветливая и добрая, как сама хозяйка.

Непонятно все-таки жизнь устроена. То с добром к тебе — из могилы вытянет, пошлет тетю Груню с ее приговорами и утешениями. А то так двинет — ложись да помирай... Смотрит Алексей за занавески, и мурашки его пробирают: не хочется на улицу выходить, страшит его теперь деревянный этот городок. Вот только тут, в тети Груниной избушке, спасение и оттепель для души. Весь мир для Пряхина здесь замкнулся. Вольный он человек, а как в тюрьме, и пусть тепло тут и уютно, пусть тут оттепель и спасение, но еще и четыре стены здесь, и конец работе, и тоска.

Тетя Груня с Зинаидой на пороге возникли в клубах пара враз. Он не обрадовался, не огорчился.

Посмотрел на Зинаиду пустыми глазами.

Ну и Зинаида! Упирался он, в душу дверь на замок запирает, а для нее все запоры нипочем. Вошла к нему без всякого билета. И так и эдак сопротивлялся Алексей, а она будто и не заметила.

Уселись опять за стол. Пряхин посередке, руки вперед протянул, сомкнул пальцы костлявым крепким замком. Справа тетя Груня, слева Зинаида. По глазам видно — все знают.

Зинаида как будто у тети Груни выучку прошла: руки Алексеевы гладит, в глаза ему безотрывно глядит. Никаких слов не произносит, кроме одного:

— Поехали... — и через минуту опять: — Поехали...

Что бабы делать умеют: голос зараз прежним стал, довоенным — мягким, шелковым. И размыкает пальцы Алексея. Гладит их как-то тепло, хорошо, не настойчиво и разминает схлестнутые намертво пальцы.

Тетя Груня кивает, оперлась удобно о ладошку, улыбается стеснительно, будто при ней таинство какое совершают, объясняются, мира ищут и она здесь только потому, что мир при ней прочней выйдет и таинство при ней лучше произойдет.

Добилась своего Зинаида: разомкнула Алексеевы пальцы, руки у него теперь ладонями вверх на скатерти лежат.

— Ну-ка, — шепчет Зинаида, — погадай, тетя Груня, нашему Алешеньке, его судьбу предскажи.

Тетя Груня брови вскидывает, водит пальцем по извилинам ниточек на ладони, приговаривает, будто Зинаида ей роль задала:

— А жить тебе, милочек Алешенька, до глубокой самой старости, и будут дети у тебя, трое девочек и мальчик, а помрешь ты с любовью, сердцем утешившись..

Алексей вырвал руку. Резко и зло.

Не слишком ли! Знал, что тетя Груня — добрая душа, но доброта перекидной не бывает. Вчера к тебе добрая, сегодня к Зинаиде, да не просто, а вон как — подыгрывает будто по заказу.

И тут же устыдился. Тетя Груня смотрела на него, улыбаясь, а слезы из глаз так и капали — тук-тук, тук-тук, быстрые, светлые, по-детски чистые.

Он себя обругал, схватил тети Грунину руку, выкрикнул:

— Прости!

Потом взглянул на Зинаиду.

— Ты меня как в Москву-то зовешь? С корыстью? Потому что штампик в паспорте?

Пряхин думал, заплачет Зинаида, доказывать примется, что все это не так. Но она молча головой покачала.

— Пряхин, Пряхин! — горько произнесла. — Ни черта ты не понял. Ни черта!

Он полез в карман гимнастерки.

— Ну тогда! Ну тогда! — Вытащил права свои шоферские, старую, потрепанную книжечку, которую когда-то любил всем сердцем, дорожил которой. Рванул по-

перек — коленкор треснул, силе уступил. Вот и только-то! Горка бумажных кусочков. — Некуда мне деваться! — сказал Пряхин горько. — Нет у меня дела! Поехали в Москву!

Все равно ему было с кем ехать. Можно и с Зинаидой, раз так просит. Раз хочет — все сначала.

Все — сначала!

Он засмеялся своей этой мысли, и Зинаида и тетя Груня испуганно уставились на него.

Вот так штука! «Все — сначала!»

Был когда-то солнечный осенний день, и небо, глубокое, как чистый омут, когда-то было, а он шел рядом с тетей Груней, держа за горловину старенький вещмешок с консервами, и мечтал, строил планы!

Жизнь у него не удалась, остался бобылем при живой жене-изменщице, от одиночества, от тоски своей устал и решил жизнь начать по новой.

Начать все сначала!

Наивный седой мужик! Жизнь невозможно начать сначала. Ее можно только продолжать. И если уж выпала она трудной, дальше будет тяжелой, так и знай! Про счастье только в сказках говорят.

Да и то! Сколько он всего ждал, как надеялся, а судьба ему в ответ: на-ка выкуси! Жену беглую из сердца да памяти выбросил — на, получи ее в целости и сохранности — пусть старые твои раны рвет и царапает. Жизни доброй захотел? А на-ка убей человека, прими на душу грех!

Нет, ничего просить у судьбы не надо.

Не надо ни на что надеяться.

Живи, как жил, человек. И помни — снова начать невозможно. Эх, Зинка, да кабы знала ты это, сама от затыл своей отказалась.

Торопясь, впопыхах, захлебываясь, оформляла Зинаида увольнения, Алексеево и свое — «в связи с отъездом мужа по месту постоянного жительства», выбивала пропуска в Москву, еще и еще какие-то бумаги и разрешения, и Алексей тоже ходил по милициям и прочим казенным домам, не вспоминая, не задумываясь, не оборачиваясь, — вперед, только вперед.

Он словно бежал от собственной тени, а если солнце бьет прямо в глаза, в упор, то может показаться, особен-

но когда торопишься, что она отстала, твоя тень, что ее больше нет. А Зинаида разжигала это солнце, всюю кочегарила: «Москва! В Москве!» И вспоминала про метро, как она одурела от подземной красоты, про улицы и дома — шапка с головы падает. Порой под немолчный Зинаидин треск ему казалось, что, может быть, он ошибался, а Зинаида права. Москва большой, хорошо ему знакомый город, и там, вдали, быльем порастет его беда, будет новая жизнь, новая забота, он устроится на завод токарем, к примеру, освоит через полгода новое ремесло, а расстояние, время и новые люди — великая вещь, великое лекарство, и он зажигает дальше.

Зинаида даже тетю Груню своим этим солнцем ослепила. «Вот война кончится, да мы вернутся, позовете ли?» — спрашивала она, покусывая уголок головного своего платочка — белого, в розовый горошек. «Хо! — кричала Зинаида. — Какой разговор... Не была никогда?» — «Не!» — смущалась тетя Груня. «Много потеряла!» — кричала Зинаида, и можно было подумать, что сама она стопроцентная москвичка.

На поезд садились приступом: хоть в Москву пускали пока что по пропускам, народищу ехала тьма. Немец скребся уже за нашей границей, и жизнь у народа пошла веселей. Возвращались, видать по всему, многие эвакуированные, да и солдатня перла через столицу к фронту — все по виду бывалый народ, похоже, после госпиталей: им еще топать да топать, и многих ждет могилка где-то на чужой стороне, а пока бегают по перрону с чайниками, форсят, бренчат медалями, пошучивают.

Поезд стоял десяток минут, пожилая проводница висела крестом на поручнях, закрывая собою дверь в вагон, грозно орала, что мест нету и никого она не пустит, но тут же ухитрялась пропустить под мышкой симпатичного солдатика, шепнувшего ей на ухо заветное словечко, выпустить на перрон матросика в шикарных клешах и одном тельнике, с лихо надвинутой бескозыркой да еще переметнуться с ним шуткой.

В просящих, умоляющих позах перед ней стояли люди — военные и штатские, наконец кто-то не выдержал, началась атака, проводница отчаянно заверещала, но прорыв получился, и Пряхин вскочил в тамбур вместе с группой смельчаков. Пробравшись в вагон, он с трудом открыл окно, свесился из него, велел Зинаиде протянуть

руки. Она заойкала, неважный, понятное дело, получился бы у нее вид снизу, с перрона, но стыд тут же угас, и под хохот и подначки тотчас собравшихся солдат, давно не видевших дамских туалетов, Алексей втянул ее в вагон.

Тетя Груня! Она стояла внизу, кышкала, как цыплятам, молодым солдатам, разгоняя их, бесстыдников, и у Алексея сжалось сердце.

Вот и все, выходит. Возникла в его полумертвом взгляде незнакомая старуха тетя Груня, а теперь вот уходит навсегда. Гляди не гляди, Пряхин, вслед ей, оставшейся на перроне, а все равно исчезнет она, уйдет из яви в память.

Махнула ладошкой — и все!

Алексей присел в уголок, к Зинанде. Боевая баба, не узнать. Раздвинула военных, место высвободила не только себе, но и Алексею, и не тычками, не криком, а улыбкой да приговором. Ишь, научилась у тети Груни.

Научилась? А может, обобрала? Можно же вот и так — не тряпку отнять, не кусок хлеба, а улыбку и мягкость.

Алексей провел рукой по лицу. Не больно ли несправедлив к Зинанде он? Улыбка не вещь — ее не отнимешь. Не умеешь улыбаться — научись; это радость, а не грех, и кража тут ни при чем. Выдумал!

Он взглянул утайкой на Зинаиду. Ухмыльнулся.

Кто она ему?

По бумагам — жена, а по-честному? Вспомнил Алексей езду за город, в подсобное хозяйство, околевшую лошадь, и Зинанда сидит прямо в грязи. И то, что дальше было, вспомнил.

Ох, елки зеленые! Уговорила в Москву ехать, к стенке прижала, впрочем, к стенке прижала не Зинанда, а жизнь — нельзя ему больше шофером, нельзя. В общем, едут начинать по новой, верней, продолжать, а кто они друг дружке, неизвестно. Муж и жена?

Она-то готова, ясное дело. Уступил ей Пряхин, и Зинанда в долгу не останется. Ну а он? Готов?..

Алексей представил, как приедут они в Москву, придут в комнату, где миловались когда-то, любили взапой и откуда потом ушла Зинанда вслед за своим Петром у всех на глазах, бесстыже Алексея унизив. И вот они снова переступят порог. Войдут в ту самую комнату. Мешки свои бросят. Снимут, он — шинель, она — паль-



то. Друг к другу подойдут. И что дальше? Как ни в чем не бывало дальше поедут? Переступят боль и позор?

Вагон шатало на стыках, качало, как на волнах.

И правда ли, правда, что они шагнули друг к другу? Через гибель Петро на фронте? Через ревность, ранение и беду Алексея?

Он вострепнулся, и Зинаида погладила его по руке. Алексей не ощутил этой ласки. Полоснуло, будто ножом самое главное.

Вот он все о своей беде. И уехать — это тоже повод. Беда да беда, его да его... Да при чем тут он? Тетя Груня, а ведь ты соврала! «Иди», — сказала она. И он пошел. Получается. И как еще получается! Только ведь не туда идет, не туда бежит.

А разве от себя убежишь?

Вот он в вагоне, вагон покачивает уютненько, и под ручку с разлюбезной Зинаидой прибудет он в столицу нашей Родины город Москву.

Алексей стер пот со лба.

— Тебе жарко? — спросила Зинаида. — Разденься!

Конечно, что скажет она? «Разденься!» Но ему жарко не потому, что в вагоне тепло, а на нем шинель. Во все не потому.

Как же просьба его истовая, там, на могиле? «Прости, женщина!» Ее нет, она и простить может. А он? Он-то есть, жив, вот тут, в вагоне, потеет — натворил и бегом от этакой беды...

«Иди», — сказала тетя Груня. Иди! И он, выходит, пошел? От самого себя пошел...

Алексей выпрямился. Четверо — старуха и три девочки — стояли перед ним. Стояли и смотрели в упор.

Не было никогда семьи у Пряхина и не знал, что такое забота о других, — о себе все больше промышлял, а много ли одному надо.

Нет, не было у него семейных забот, но была совесть.

— Выйдем в тамбур! — сказал он Зинаиде.

Она пошла охотно, улыбаясь военным, расступившимся перед ней, поняв, пожалуй, приглашение по-своему.

— Вот что, — сказал Алексей глухим, сдавленным голосом. — Вот послушай-ка. Я понимаю тебя. Тебе

назад ходу нет. А мне — вперед. Вот так... Ключ под клеенкой, на кухонном столике.

Он распахнул дверь, и ветер со снегом забил тамбур, закружился волчком. Зинаида дико закричала, и Пряхин, уже держась за поручни, крикнул ей отчаянно, зло:

— Да пойми ты, я не могу!

Он больно ударился о мерзлую, кочковатую землю, перевернулся пару раз, потерял ушанку, однако тут же, пока еще мелькали по снегу желтые, расплывчатые пятна света из вагонных окон, обнаружил ее, нахлобучил на голову, ощутив холод железной звездочки.

Поезд неторопливо ушел в темень, обозначился красной точкой фонаря на заднем вагоне и пропал.

Пряхин прислушался.

Посвистывала поземка в прутьях ивняка, ветер помахивал верхушки сосен — и все, никаких больше звуков. Он был один на один с природой и с совестью.

Виноват он теперь перед Зинаидой, но что поделаешь. Тут просто вина, а там... Там не вина, там казнь до самой его смерти, и огромная — выше людей, выше домов, выше неба даже — беда, от которой беги не беги — не укроешься. Нету ему на земле местечка — укромного уголка или шумной столицы, где можно спрятаться от казни своей. Потому как палач всегда с ним. Палач самому себе он сам, Пряхин.

Он пошел по шпалам в сторону городка.

Поначалу шагалось легко и удобно даже, казалось, шпалы лежат слишком близко друг к дружке — приходилось сдерживать шаг. Но скоро — то ли от размеренности ходьбы, то ли оттого, что шаги приходилось делать совершенно одинаковые, — он стал сбиваться, ступать на землю между шпал, запинаться. Дыхание сбилось, Алексей устал.

Ветер дул ему в спину, парусил шинель, задувал ее полы, подталкивал Пряхина вперед, будто торопил. В какое-то мгновение Алексею послышался сзади шорох. Он обернулся, но ничего не увидел и ругнул себя за осторожность: кто тут мог быть в кромешной тьме, посреди голого зимнего поля? Но вскоре Алексей обернулся вновь — с дрогнувшим, занывшим сердцем: сзади кто-то негромко заскулил.

Кто — это было понятно, волк. Пряхин присел на корточки, вгляделся вдоль рельсов. Небо было черно, без-

лунно, забито тучами, но кое-где просвечивали звезды, и в этом звездном, едва уловимом свечении он разглядел прямо на шпалах двух волков.

Алексей крикнул, и волки отпрянули.

Он повернулся и прибавил шаг. Конечно, если бы волков было много, они давно уже напали. И еще: зима только началась, они не спустили летних запасов, не осатанели от голода, не сбились в злобные стаи, готовые к любому разбою. Да и этим-то двоим за человеком идти пока не стоило.

Впрочем, кто их знает? Может, волки голодают теперь, как люди? И летом сытые не ходят? И нет у них никакого страха?

Алексей торопился, часто оборачивался и раза два видел, как полыхнули зеленым светом волчьи глаза. Хотелось побежать, но по давнему деревенскому поверью Пряхин сдерживал себя. Далеко ли убежишь? А волки, почуяв, что ты прибавил ходу, побегут тоже, войдут в азарт и накинутся.

Вполне возможно, рассуждения эти были наивными, но Алексей верил им. На всякий случай он снял ремень, намотал его на руку, пряжкой вверх. Это было последнее оружие солдата, применявшееся, правда, не на войне, а в драке. Пряжка при сильном ударе оказывалась штукой опасной, и, если дрались солдаты, дело непременно кончалось кровопролитием, — так что Алексей сдаваться за так просто не собирался.

Да и не мог он сдаваться! Не хватало еще такого бесславного конца. Ведь и следов потом не найдут. Но не в том дело опять же.

Для тети Груни — в Москву уехал, для Зинаиды — обратно вернулся, для обеих вместе растворился, исчез, смылся. Но и не это опять главное. Долг у него есть. Неоплатный. А расплачиваться надо, надо. И тут как-то волки, бред, черт возьми...

Алексей оборачивался все чаще, боясь пропустить начало волчьей атаки: это было бы самым страшным.

Когда волки подошли совсем близко, Пряхин остановился и повернулся к ним. Звери сели.

Сердце маятником раскачивалось в Алексее. Поначалу ему казалось, что пронесет, он даже не очень испугался. На худой конец будет же какая-нибудь железнодорожная будка. Можно укрыться в ней. Но перегон оказался длинным, и ничего вокруг, кроме леса, обступившего дорогу черной, непроглядной стеной.

Волки внезапно вскочили. Звери топтались на месте, и Алексей решил, что сейчас они бросятся на него. И тут же услышался далекий шум — это шел поезд.

Он остановился, радуясь шуму, который приближался, — сейчас волки метнутся в сторону. Но они топтались неподалеку, и странное дело: чем громче был шум поезда, тем ближе подступали они к Алексею.

Наконец вспыхнул луч паровозного прожектора. Пряхин прикрыл рукавом глаза, взглянул туда, где должны быть волки, но увидел их рядом с собою, буквально в метре. И были это вовсе не волки, а дрожащие от страха собаки. Они глядели на Алексея какими-то умоляющими глазами. Одичавшие, потерявшие хозяев собаки.

Больно слепя фарами, пронесся паровоз, гугукнул пронзительно, видимо, машинист решил ободрить одинокого путника, и мощный паровозный гудок сотряс деревья — на Пряхина посыпалось снежное крошево.

Состав был товарный, и Пряхин разглядел силуэты танков на платформах. Стволами то друг к другу, то в разные стороны машины несли в себе какую-то подавляющую тяжесть. Поездные колеса ухали на стыках рельсов, эшелон все шел и шел, казалось, что он никогда не кончится. Но вот шум оборвался, повисла тишина.

Алексей свистнул, собаки подошли вплотную. Он погладил их, поискал по карманам чего-нибудь съестного и ухмыльнулся этому произвольному движению: в карманах у него давно ничего не было.

Пряхин пошел дальше, собаки двигались рядом. Откуда они тут, в зимнем лесу? Коли потеряли хозяина, должны бы жить в городке или в какой деревне... Значит, люди обидели их, напугали? А все-таки к человеку жмутся, его ищут.

Лес кончился, мелькнули огни городка. Страх был позади, и только теперь, избавившись от него, Алексей опять вспомнил эшелон.

Танки шли на фронт, а он, комиссованный подчистую, в обратную от войны сторону.

Им — сражаться, ему — расплачиваться за свое...

Железная дорога вползла в городок, навстречу двинулись окраинные домики, укутанные сугробами. Разноцветно, нарядно светились окошки.

Собаки остановились.

Смотрели на Алексея, но не трогались, сидели, точно

пришитые. Алексей свистнул им, ободряя, и собаки дружно завили хвостами.

«Вон какое дело, — подумал он, — значит, просто попутчиками были, а теперь прощаются. Ясное дело, одним по лесу и собакам страшновато».

— Ну давайте, — сказал Пряхин, и собаки словно поняли его. Неторопливо свернули в какой-то переулок.

Тети Груни не было дома, он нашарил под приступком ключ, вошел в дом, разделся и уснул.

Проснулся среди ночи, разомнул глаза, будто прикрыл их, на секунду прервав начатый разговор, увидел хозяйку свою, облокотившуюся на ладонь, и вздохнул.

— Что же ты делаешь с собой, соколик, — спросила тетя Груня, — на какие муки себя обрекаешь?

— Что ты все обо мне да обо мне? — ответил Алексей. — А им каково?

— Горько им, — сказала тетя Груня. — Ох как горько.

### Глава третья

#### ГОРЕ ГОРЬКОЕ

Вот и пришел Алексей Пряхин туда, куда стремился. Знакомый забор, тусклая лампочка в подъезде, грязная лестница на второй этаж.

Каждая ступенька в висках отдается — что скажет он, как скажет?..

Вот и дверь, крашенная когда-то масляной краской. Облупилась, пошла темными оспинами. Алексей постучал. Осторожно, согнутым пальцем. Тишина. Не откликаются. Должно быть, не слышат. Он стучит кулаком.

Легкие, летучие шаги слышатся за дверью, щелкает замок, в темной щели — глаза. Сперва испуганные, потом недоумевающие, наконец ненавидящие.

Пряхин протягивает две краяхи круглого деревенского хлеба, завернутые в бумагу, — выменял на сапоги.

— Это вам.

Дверь хлопает. Он слышит через дверь плачущий голос девушки:

— Не нуждаемся!

Алексей прижался лбом к двери. Вот и пришел, к чему стремился...

Ну а чего ты ждал? Встретят с распростертыми объятиями? Обнимать примутся?

Он тяжело повернулся, пошел вниз — еще тяжелей каждая ступенька. Вроде бы под горку ведут, а идти невозможно. Ноги деревенели. Куда ему теперь? Как?

Вышел на улицу, во дворе старичок, белый, будто со снегом с неба выпавший. Говорит о чем-то с бабушкой. Той самой. Она стоит понурясь, с пустой кошелкой, без интереса старика слушает, мимо Алексея глядит, будто не знает его, не помнит, а голова ее трясется.

Пряхин к старикам подошел. Так подступил, чтобы бабушкин взгляд пересечь. Протянул опять свой сверток, повторил:

— Возьмите.

Старуха на него смотрела — долго, словно постепенно, по шажочкам вспоминая, кто он такой. Глаза слезами наполнились. Она их сморгнула — упали на пальто два стеклянных шарика, раскатились бисером и застыли на крепком морозце.

— Возьмите, — повторил Алексей и почувствовал, как лицо его судорога схватила — свело какой-то неведомой силой.

Старуха протянула руку, не отрывая взгляда от Алексея, приняла хлеб, положила в кошелку, двинулась мимо Пряхина, головой трясая, и исчезла в подъезде.

— Эхма! — воскликнул старичок и повторил: — Эхма!

Алексей шагал быстро, и тень улыбки — не улыбка, только тень — бродила по его лицу. «Взяла!» — радовался он и благодарил, благодарил про себя старуху. Там, у двери, когда девочка, почти девушка, отказалась принять хлеб, его ударило будто. Вспомнил кладбище и те горькие похороны: женщины в белых халатах не дают ему лопату. Они не могли, не хотели простить — хоть и подруги, но ведь чужие же люди, а дочка — кровь и плоть, — разве могла простить она...

Спасибо старухе, спасибо и низкий поклон. Поняла его?

Он остановился. Поняла ли? Очень хотелось ему так думать, но остановился Пряхин от неожиданной, простой и убийственной мысли.

А может, не поняла, да есть нечего — вот и взяла.

Он двинулся дальше не так бодро и быстро, но шаг его окреп. Пусть. Совсем не обязательно понимать его.

Не тот он для них человек, чтобы разбираться в его чувствах. Приняла старуха хлеб, и на том спасибо: не оттолкнула. Жизнь теперь, застывшая прежде, как бы дальше двинулась, сделала поворот. Есть теперь в ней Пряхину цель и смысл. Кормить семью эту. Выкормить, спасти, не дать девочкам и старухе совсем потеряться. Это долг его. Затем и прыгал из вагона, затем возвращался. А что прав водительских нет у него, что работы нет — его это забота.

Ноги несли в сторону рынка. Только что тут он сапоги продал, присмотрев взамен тоненькие ботинки, но зато получил две краюхи деревенского хлеба: сапоги из госпиталя выдали ему неплохие, офицерские. Когда возвращался с удачного мена, на краю рынка задержался у карусели.

Бессмысленно и чужеродно выглядела пестрая карусель среди грязного льда и снега. Красные, синие, желтые деревянные лошадки торопились куда-то, оставаясь неподвижными, ветер трепыхал брезентовые, тоже разноцветные края круглой крыши. Между лошадками и огромным красным барабаном, в котором пряталось устройство карусели, на стуле сидел слепой человек в темных очках и наигрывал веселую довоенную песенку:

Крутится-вертится шар голубой.  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть!

Странно и несуразно выглядела эта картина, и Пряхин невольно задержал шаг. Потом остановился.

Слепой резко перестал играть и крикнул:

— Тут кто-то есть?

— Есть, — ответил Алексей.

— Кто ты? — тревожно спросил слепой, снимая ремень гармошки.

— Да так, — растерянно сказал Пряхин. — Человек. Солдат.

— Едешь на фронт? — бодро спросил слепец. В руке у него появилась палочка, постукивая ею, он пробрался мимо цветных лошадок, ступил на землю, подошел к Алексею. Теперь не требовалось перекрикиваться. — А я вот, видишь, «чистый», — тихо сказал гармонист. — Списан подчистую. Закурить есть?

— Некурящий, — ответил Пряхин, — и тоже «чистый».

— Вон оно что! — Слепой не скрывал радости, даже засмеялся. — Свой, значит, инвалид. Чего у тебя? Ноги вроде на месте, по шагам слышал. Руку потерял?

— На месте и руки. Ранение в живот.

Алексей разглядывал гармониста — невысокий, бодрый, вроде даже веселый. Лицо вот усыпано синими пятнышками. Он знал, что это такое. Близкий взрыв.

— А по мне, — говорил слепой, — руку и ногу потерять — плевое дело. Или, как у тебя, в брюхо. По крайней мере, видишь все вокруг. Жизнь продолжается, хоть, может, и хреновая. А тут — будто тебя в могилу закопали. Не видно ни черта! — Он засмеялся, протянул руку: — Давай знакомиться, братишка! Меня Анатолием звать.

Слепой понравился Пряхину простотой, откровенностью и бодростью. Черт возьми, ему вот этого как раз не хватало, особенно бодрости.

— Играю, а что делать, не знаю, — опять засмеялся Анатолий. — Карусель-то не двигается.

— Почему? — спросил Пряхин.

— Двигатель сбежал. Не подскажешь ли кого?

Оказалось, «двигатель» — это просто человек. Ходит внутри цветного барабана и толкает бревно, которое в ось упирается.

— Дело убыточное, — засмеялся Анатолий, — но держат, карточки дают, правда, не рабочие, а для служащих, ну и зарплату. А что сверх плана — можно себе. Подыщи кого-нибудь.

Алексей обрадовался.

— Да ты возьми меня.

Анатолий перестал улыбаться, приблизился к Пряхину, ощупал его, сказал обиженно:

— Кончай, братишка, руки-ноги на месте, чего тебе тут делать, иди на завод.

Алексей вздохнул, помотал головой, потом сказал, вспомнив, что Анатолий не видит:

— Не могу.

— Ну, тогда давай! — засмеялся слепой.

И вот Алексей шел к карусели, отдав хлеб. Возвращался к Анатолию. Когда расставались, тот сразу нахмурился. Видно, не верил, что Пряхин придет. Думал, утешил человек, вот и все.



Когда Пряхин вернулся, Анатолий сидел понурясь, уронив голову на гармошку. Карусель выглядела печально и сиротливо, несуразно цветастая в унылом, сером снегу.

— Чего горюешь, гармонист! — крикнул Алексей. — Двигатель явился. Играй!

Анатолий вскинул голову, засмеялся обрадованно, грянул марш.

Он играл и играл, но народ торопливо проходил мимо карусели, никто не обращал на нее внимания.

Стало смеркаться. Анатолий замкнул фанерную дверцу в барабане, чертыхнулся.

— Не везет сегодня! Но ты не горюй, Пряхин. Зарплата идет. Завтра вот только оформим тебя, и порядок.

Алексей заметил возле карусели женскую фигурку. Слепой постучал палочкой, пробрался между лошадок, женщина взяла его под руку. Они неторопливо двинулись вдоль улицы, и Пряхин долго еще слышал громкий голос и смех слепого.

Нет, не такое уж пустое и глупое это было дело — поставить рядом с рынком карусель в те тяжкие, голодные, горестные дни. Вовсе даже не пустое и не глупое.

В будни, особенно когда выдавалась плохая погода, Пряхин с Анатолием скучали, простаивали, но зато по субботам, а особенно по воскресеньям карусель крутилась до позднего вечера, базар оглашался гармошкой, и катились по площади взрывы смеха.

Не было в городке других развлечений, кроме карусели, особенно для детей, и ребятя — мал мала меньше — с мятыми рублевками в кулаке выстраивалась очередь.

Анатолий брал деньги, отрывал билетики и, когда карусель наполнялась пассажирами, давал Алексею знать, отыгрывая начало туша. Это означало — пора работать. Пряхин упирался грудью в поперечину и начинал раскручивать карусель.

Два момента были самыми трудными в этом деле. Разогнать карусель, а потом, в конце, остановить. Напрягаясь всем телом, упираясь ногами в утоптанную и оттого скользкую землю, Пряхин начинал движение. Ему приходили на память детские годы, родная деревня, страда и обмолот, когда пара зашоренных лошадей медленно бредет по кругу. Он походил на этих лошадей,

только тут медленно не годилось: надо было стронуть с места тяжелый, отсыревший круг с лошадками и детьми, а потом, разбегаясь, разогнать его и на такой скорости дать кругов двадцать — двадцать пять. Одно местечко и было легким: когда карусель раскручивалась, он мог, ухватившись за скобы, вбитые в бревно, подскокить и посидеть на бревне минутку-другую. Когда же карусель замедляла движение, он спрыгивал на землю, снова упирался спиной в бревно и останавливал его. В простые дни Алексей не устал совершенно, а по субботам и воскресеньям он уматывался так, что шел домой, едва передвигая ноги, и все же был доволен работой: рядом, за тонкой фанерной стенкой, беспрестанно слышался радостный, беззаботный ребячий смех. Смех этот пробуждал в нем забытую радость, ощущение счастья и еще что-то, какое-то смутное чувство ожидания. Он не понимал точно, что значило это чувство, но ему помог Анатолий.

Однажды, когда жена его уже стояла возле карусели, он неожиданно жарко схватил Пряхина за руку и сказал:

— Знаешь, мне что кажется, когда они смеются? Что война кончилась!

Алексей вздрогнул, пробормотал: «Да, да!» Он сразу понял Анатолия, понял, что тот угадал, верней, точнее его определил свои чувства. Да, когда смеялись дети и когда он, Алексей, ничего не видел вокруг, потому что был в фанерном барабане, а Анатолий — потому что был слеп, казалось, будто настала победа.

Их свела судьба случайно, Анатолия и Пряхина, но, видать, у многих людей, и у них тоже, представление о победе связывалось с детским счастливым, беззаботным смехом.

Смех слышался ему и ночью, в снах. Причем сон виделся взрослый, обычный; но вдруг он рвался, словно наступал просвет в облачном, мгlistом небе и голубизна смотрелась в глаза, — слышался смех и звук гармошки, игравшей, как и там, на карусели, то туш, то веселый марш, то вальс — Анатолий, как и Пряхин, наигрывался по субботам и воскресеньям до изнеможения, и руки к вечеру у него дрожали точно так же, как у Алексея.

Так что это только казалось, будто работать на карусели — одно удовольствие.

Однажды, вконец умотавшись, Алексей выбрался подышать из своего барабана. Анатолий ловко отрывал билетки, ловко собирал рубли, небрежно совал их в офицерский планшет, висевший через плечо, дети нетерпеливо раскачивались на лошадках, поодаль толпились женщины — видать, матери. Неожиданно в этой взрослой толпе Пряхин увидел девочку. Ту, младшую.

Месяц, вот уже месяц прошел с тех пор, как отдал он старухе два хлебных кругляша, и ничего больше не смог достать за это время. Заработок на карусели был крохотный, а деньги не в цене — буханка хлеба стоит на рынке две сотни.

Алексей вздохнул, разглядывая издаലെка девочку, потом крикнул Анатолию, чтобы тот повременил малость, и кинулся на рынок. При входе там толкались бабки, торговали самодельными сладостями, и он взял три красных леденцовых петушка на палочках. Девочка все еще стояла среди взрослых, завистливо поглядывая, как рассаживается ребятня на лошадок.

Алексей наклонился к ней, взяв за руку, боясь, что девочка убежит.

— Ты помнишь меня? — спросил он ее.

Она взглянула на него мельком, не испугалась, не дернулась — кивнула. И петушков взяла, не отказалась. В глазах ее, старушечьи спокойных, мелькнула, но тут же истаяла радость.

— Тебя как же зовут? — спросил Алексей.

— Маша, — ответила она хрупким, готовым сломаться голоском.

— А сестер?

— Лиза и Катя.

— А бабушку?

— Евдокия Ивановна.

Пряхин с шумом выдохнул воздух. Ну вот и познакомились.

— Хочешь, Маша, покататься? — спросил он, но девочка печально покачала головой.

— Не хочешь? — удивился Пряхин.

— Денег у нас нету, — ответила Маша, и Алексей содрогнулся: столько в голосе ее и словах было взрослой заботы.

— Да я тут работаю, — сказал Пряхин, — бесплатно прокачу, сколько хочешь. Пойдем!

Он взял ее за руку, и снова сердце его екнуло: такая тоненькая, истаявшая ладошка легла в его ладонь.

— Ты куда бежал? Ты не один? — спросил его встревоженно Анатолий. — Пора ехать.

— Пора, пора, — бодро ответил ему Пряхин, — и я не один, с девочкой, ее зовут Маша, она будет кататься, пока ей не надоест. Ладно, дядя Толя?

Анатолий рванул мехи, поддержал игру:

— А ну, Маш-ша, поех-хали!

Пряхин усадил девочку на свободную лошадку, прыгнул в свой барабан, захлопнул дверцу, навалился радостно на бревно. Гармонист играл вальсы, марши, какие-то другие непонятные мелодии, и Пряхин провернул сгоряча кругов сорок, не меньше. Он сбился со счета, какой был положен, и Анатолий не мог подать ему никакого знака — сигнал для начала у них был, а для конца, для остановки никогда прежде не требовался.

Алексей крутил колесо, наслаждаясь детским смехом, принимался глупо смеяться сам, радуясь, что Маша не убежала, что он купил ей трех красных петушков, что он узнал, как ее зовут и как зовут ее сестер и бабушку.

Наконец он остановился, пулей выскочил наверх, лошадкам, в гурьбе ребятишек, столпившихся у выхода, разыскивая глазами Машу. Но ее не было. Испугавшись, бросился по кругу.

Маша сидела, навалившись головкой на лошадиную гриву, и, казалось, спала. Алексей окликнул ее, девочка не отозвалась. Он взял ее за плечи — девочка была без сознания. Пряхин подхватил ее на руки, кинулся к Анатолию, тот испуганно засуетился — что они могли, два мужика? Помогла какая-то тетка. Подсказала:

— Да вы на нее подуйте, укачало, слабенькая. Или лучше снежком височки-то.

Пряхин прыгнул с карусели, схватил горсть чистой снега, потер Маше виски. Она открыла глаза, непонимающе поглядела на Алексея. Потом подняла руку и посмотрела, тут ли петушки. Встала и покачнулась, как стебелек. Алексей перевел дыхание, и его словно провало:

— Машенька-голубушка, да что же такое с тобой, какая такая беда-напасть на тебя напала! А ну мы ее сейчас прогоним, ух ее, проклятую...

Он не чувствовал, не понимал, что говорит тети Груnnыми словами, пока Маша его не оборвала:

— Что вы, дядя, я ведь не маленькая! — и посмотрела на него спокойными, старушечьими глазами. — Просто я не ела со вчерашнего дня.

Алексей присел перед ней на корточки, схватил тонкую ручку, сжал ее, наверное, сильно сжал — Маша тихо ойкнула.

— Пойдем! — приказал он повелительно, и Маша послушалась, сама взяла его за руку.

Этот жест, это движение подкатили к горлу Алексея тяжкий ком. Все, что угодно, готов он был сделать для этой девочки. Снять шинель, гимнастерку, остаться голым — только накормить, любой правдой накормить ее теперь же, тотчас.

Подходя к карусели, он вытащил из кармана деньги, бросил взгляд на жалкий, мятый комок, сказал Анатолию:

— Одолжи!

Тот безропотно снял планшет, протянул ребячьи рубли, которые сдавал каждый вечер в сберкассау.

— Бери!

— Нет, — сморщился Пряхин, — только не это.

Анатолий полез в пистончик, укромное местечко для карманных часов, которые давно никто не носил, но пистончики шьют, вытащил сложенную во много раз тридцатку.

— Больше ничего.

— Подожди, я сейчас, — попросил Алексей.

Пряхин так и не выпускал из ладони Машину руку — теплую, легкую, как перышко: он притянул ее, девочка послушно двинулась рядом.

В торговых рядах Алексей взял литровую бутылку молока, выпросил у торговки кружку, усадил Машу на чей-то мешок, купил две ватрушки и присел рядом с девочкой, глядя, как она дует, чтобы согреть холодное молоко.

— Погоди-ка, — остановил ее Алексей, торопясь, волнуясь, отчего-то расстегнул ворот гимнастерки, сунул бутылку под мышку.

Девочка улыбнулась, спросила:

— Холодно?

— Ничего, — ответил Пряхин, — я горячий. Да и карусель кручу, тепла у меня хоть отбавляй.

Маша жадно кусала ватрушку, смотрела на Алексея в упор, и Пряхин почувствовал, как запершило у него в горле. Он отвел глаза.

Не было у него детей до седых лет. Не было, что поделаешь, и виноват в этом он сам, не Зинаиду же винить. Мог и до Зинаиды своей беспутной давно уж семью завести и детей, конечно же, — о детях он мечтал, но никогда не думал об этом так пропзительно и остро, как теперь, разглядывая Машу.

Господи, какую же беду принес он этой тоненькой, прозрачной, как лепесток, девчонке — всю меру, всю глубину беды своей она еще, пожалуй, и не понимает.

Она не понимает, но знает и понимает он, взрослый человек, виловный, виновный, виновный в том, что Маша не ела со вчерашнего дня, что под глазами у нее темные, как спелые вишни, синие полукружья, а ладони прозрачные на свет.

Весь день Пряхин мучился, не зная, как ему быть. Он толкал карусель, шел по своему бесконечному кругу, как лошадь на току, и мысли его тоже по кругу вертелись, по одному и тому же кругу — не сворачивая в сторону, не останавливаясь.

Дело ясное, карусель неплохая прибавка к пенсии и может его прокормить, но только одного его, да и то под обрез.

Что же делать? Пойти в другое место, найти работу повыгоднее? Можно было и так, и работа бы ему нашлась, без сомнения, но как же тогда Анатолий?

Странное дело, как быстро сводит жизнь людей. Давно ли Пряхин и понятия не имел ни о каком гармонисте? И вот — поди ж ты! — не представляет себя без Анатолия, без его музыки, без веселого голоса и непрерывного смеха.

Слепой инвалид обладал какой-то неясной силой, которая незримо, невидимо, но упорно и мощно заставляла Пряхина жить в странно оптимистическом ритме. Анатолию было тяжело, он мучился слепотой, с трудом переносил темноту. Но ни на минуту не расслаблялся. Смеялся и играл. Играл и смеялся.

— Слышал радио? — кричал каждое утро Пряхину Анатолий. — Ну немчура пляшет! А! Здорово напигнут! — И Алексей заражался его радостью. Анатолий жал кнопочки своей гармошки, музыка разрывала утреннюю тишину, а Пряхину хотелось обнять своего

гармониста: ведь тот приучал его радоваться. Снова радоваться в этой жизни.

А теперь получалось — его надо бросить? Вот и ходил Пряхин по одному кругу — что же делать, как быть?

Под вечер гармошка Анатолия надолго смолкла, а потом в проеме фанерной дверцы возник он сам.

— Слышь! Братишка! — крикнул он, как всегда, уверенно и весело. — А что за девочка? Чего ты так бросился? Дочка командира, может? Довоенных друзей?

Эх, Анатолий, как и сказать-то...

— Мать я ее задавил, понимаешь, — тихо произнес Алексей. — На машине. Две сестры у нее да бабка. — Гармонист молчал, бессмысленно стараясь взглянуть в Пряхина. Лицо его вытянулось и замерло. — Вот такие-то дела, — произнес Пряхин. И добавил: — Братишка...

Анатолий все стоял в дверном проеме, неудобно согнувшись, напряженно повернул лицо к Пряхину, потом выругался.

— И молчит! — закричал он. — Надо же, молчит! Запер в себе! На замок! — И оборвал неожиданно: — Нюра!

Послышались шаги, рядом с Анатолием появилась его жена, взяла под руку, готовая вести домой, но он сказал громко:

— Надо Алексея на хорошую работу устраивать, чего он тут дурака валяет! Ему жратва нужна, много жратвы! У него, оказывается, семья — четыре человека!

— Может, к нам, — поглядела Нюра на Пряхина.

— Какая у вас жратва, — не согласился Анатолий. — Уголь да бревна разгружать, представляешь?

— Иногда приходят вагоны с картошкой и капустой, — не согласилась Нюра. — И ночью можно.

Вот! Это подходило Пряхину. Бросать Анатолия нельзя, ни за что нельзя, а подработать ночью — милое дело.

Гармонист шел, ухватившись за Алексея и жену, вел его домой, не отпуская от себя, и Пряхин радовался, что теперь, пожалуй, порядок.

После ужина Анатолий поднялся из-за стола, ощупывая кончиками пальцев стенку, подошел к комоду, открыл ящик, повернул лицо к Нюре:

— Не возражаешь?

— Проживем, — бодро ответила Нюра, и Анатолий обрадованно засмеялся, крикнул:

— Конечно, проживем. Все же пенсия. Да и карточки.

Он вернулся за стол, прижимая к груди красную книжку, протянул ее Пряхину.

— Держи, Алеха! — крикнул он. — Мы от этих денег не разбогатеем, а ты буханку хлеба возьмешь. В месяц на одну наскребется.

Алексей ничего не понимал, какую такую книжечку сует ему гармонист, потом раскрыл ее. Орденская. И сколько тут записано: боевое Красное Знамя, два — Отечественной войны, Звездочка, медаль «За отвагу».

— Да ты герой! — растерянно произнес Пряхин.

— А что? — охотно согласился Анатолий. — Глаза свои не задаром потерял. Покрошили мы их крепенько!

Он засмеялся. Положил перед Пряхиным стопку купонов — за ордена платили. Алексей отодвинул книжки:

— Не возьму. Нельзя. Я сам.

— Сам, сам, — недовольно передразнил его Анатолий. И вдруг принялся торопливо уговаривать: — Бери, Алеха, бери, я тебя понимаю, ты сам должен, сам, но и эти деньги не мои. Получать неудобно как-то, не за то же я глаза терял, а и отказаться нехорошо. Но вот детишкам — в самый аккурат. Мы же за них воевали-то! За них!

Не все понял Пряхин в этой сбивчивой речи, а что недопонял — почувствовал. Бережно положил в карман денежные купоны за ордена. Поглядел на друга. Эх, Анатолий! Ну а теперь на разгрузку пора. Самому пора.

Нюра повела его к железнодорожному тупичку возле реки.

При тупичке стояли продовольственные склады, высились штабеля бревен и горы угля. Дело было простое — уголь требовалось выметывать из вагонов совковой лопатой в эти горы, бревна сгружать в штабеля, а продукты относить на себе в склады.

Нюра подсобила — в первый же вечер устроила Алексея на выгодную разгрузку; как раз пришли вагоны с капустой.



Алексей набивал мешок, волок капусту до склада, сыпал там в груды и снова шел к вагону. Мимо мелькали молчаливые тени таких же, как он, грузчиков, разного роста, безликих в темноте. Только раз сумрак отступил. Свет железнодорожного фонаря, в котором билось пламя свечи, выхватил измученное лицо со впалыми, небритыми щеками и глазами, вылезшими из орбит. Человек непонятного возраста расколол капустный кочан и жадно, с хрустом выедал мороженую сердцевину. У мужчины было отрешенное лицо, сосредоточенный взгляд, тронутая голодом желтая кожа...

После того как последний вагон опустел — не раньше, — точно по молчаливому уговору, тени кинулись к вагонам. Нюра предупредила Алексея, чтобы не зевал, но он все-таки прозевал, не понял сразу, что означал этот бег теней, и долго потом натыкался на короткое и злое:

— Занято!

Наконец он нашел вагон, из которого ему ничего не сказали, забрался внутрь и на ощупь стал собирать в мешок отпавшие капустные листья. Ему повезло, за ночь он набрал полную торбу и на рассвете, получив к тому же расчет за разгрузку, измотанный, пошел в город.

Дорога от тупичка шла круто вверх, и, спотыкаясь, поскользываясь, Алексей видел, что впереди него спотыкаются и поскользываются люди с мешками и авоськами капустных листьев — великой, огромной удачей.

Старая, обшарпанная дверь открылась сразу, точно Пряхина ждали. На пороге стояла бабушка, трясла головой. Он внес мешок с листьями, прислонил его к стенке, выпрямился и неуверенно улыбнулся.

— Спасибо, солдатик, — прошептала бабушка, и Алексей покрылся потом, подумал было, старуха издевается над его подношением, но тотчас понял, что ошибается, что она всерьез.

— Молчи, бабушка! — сказал он дрогнувшим голосом.

— Молчу! — кивнула Евдокия Ивановна, поняв неслезанное. — А спасибо.

Алексей отер со лба пот, отступил к порогу, чтобы уйти, но старуха остановила его:

— Загляни.

С занявшимся сердцем он вошел в комнату, снял ушанку, на цыпочках подобрался к стулу, сел.

Комнатка была опрятная, но бедная — фанерный шкаф, железные госпитальные койки, комод, обычный в каждом доме.

В тот страшный его приход он ничего не заметил, кроме глаз, устремленных на него. И сейчас, разглядывая комнату, Пряхин ощущал, как снова, словно тогда, его окатывает горячий туман, а сердце замирает и останавливается.

Неожиданно он вспомнил московскую соседку, учительницу Марью Сергеевну. Было что-то общее с ней у бабушки Ивановны. Такая же седая, такое же лицо, изможденное, усохшее от голода и горя. Нет, конечно же, они вовсе не были похожи, нет. Просто вроде наказания. Точно Марья Сергеевна пришла сюда, сидит вот в этой комнатке, смотрит на него, голова у нее вздрагивает, словно после контузии, и он ждет, что она сейчас повторит уже сказанное однажды: «Вы почему?»

Но седая старуха, сидевшая на железной кровати, показала пальцем на стенку:

— Вот она, сердешная.

Над комодом висела фотография в рамке: военный с ромбиками в петлицах и женщина с короткой завиткой.

— А это Ваня-соколик. Командир, пограничник. В июне же и погиб.

Алексей опустил голову.

— Вот Аня и пошла на хлебозавод, — рассказывала бабушка Ивановна голосом ровным, спокойным, словно все это давным-давно было и к ней отношения не имело. — Глядишь, раздатчицы ошибутся, буханку лишнюю дадут, а может, понарошку подкладывали... Вот и перебивались. А теперь я в школу устроилась. Истопницей. Много ли? Ну, военкомат, конечно, помогает. Да вот ты.

— Девочки в школе? — спросил Алексей.

Старуха как будто не услышала. Голова у нее затряслась сильнее.

— Предлагают в детдом их сдать...

В детдом? Алексей не думал о таком.

Старуха заплакала, как тогда, на улице, не утирая глаз. Слезы сыпались светлыми горошинами.

— Слышишь, солдат, вот коли я помру, тогда сдай их в детдом, ладно? Сказать мне об этом больше некому. Но пока я жива...

Не помня себя, Алексей поднялся, ощущая, как озноб окатил его.

— Бабуш, — прошептал он горячо. — Ты что, бабуш! Да я... Не бойся, не бойся! Помру, но этому не бывать...

Онемевший, застылый, не в силах более ни о чем думать, Алексей заскочил домой, отыскал листок бумаги, принялся за спешное письмо Зинаиде.

Ах, Зинаида, темная твоя душа! Уехала в Москву, и ни звука. Бог с ней, пусть живет, как ей живется, не она беспокоила его сейчас. Были в комнате Пряхина кое-какие вещи, очень бы нужные сейчас, — тот кожаный костюм хотя бы. Его же на рынке можно очень даже серьезно выменять на муку, да и масло в придачу взять, крупы или еще чего. Вот он и писал, чтобы выслала Зинаида его кожаную форму, довоенный костюм, рубахи — в общем все, что сможет там подсобрать, да и сделала бы это побыстрее.

Между делом, не очень даже соображая, пересказывал он тете Груне о своей ночной вахте, о лице человеческого, выхваченном из тьмы мерцающим железнодорожным фонарем, о своей великой удаче — целом мешке капустных листьев, которые ведь и отварить можно — верно? — и зажарить, если, конечно, есть жиры, и щи сварить. Потом словно споткнулся, взглянул осознанно на тетю Груню:

— Девочек в детдом предлагают.

— Господи, борони их! — выдохнула в ответ тетя Груня, садясь, где стояла.

Тетя Груня умолкла, разглядывая Алексея хмуро, а когда он закончил письмо, подвинула стакан с клейким пшеничным отваром, спросила:

— Теперь на карусель?

— Куда же?

— А свалишься, что с тобой делать прикажешь?

Пряхин вскочил, запахивая на ходу шинель, озабоченно нащупывая в кармане молоток и гвозди. Не-ет, его не проведешь, не на того напали. Конечно, днем крутить карусель, а ночью вагоны разгружать — недол-

го протянешь, но ведь есть же простои у них с Анатолием, есть целые дни даже, когда наяривает гармонист впустую, а никто к ним не идет.

Он кинулся к карусели.

По дороге от рыночного забора отодрал Алексей доски, приспособил между бревен, приколотил наглухо — получилась лежанка: если простой, можно и прикорнуть.

Но прикорнуть не удалось — погода выпала как по заказу: легкий морозец и чистое, ясное небо. Ребята толпились у карусели — сначала поутру вторая смена, а после обеда — первая, и Алексей не мог даже словечком перекинуться с Анатолием. А вечером побежал в тупичок.

На этот раз пришлось выгружать уголь, и вагон по цене равнялся половине хлебной буханки.

Эта половинка буханки маячила перед ним целую ночь как цель, как смысл тяжелой работы, как залог, при котором девочки останутся с бабушкой, а не поедут в детдом, — хотя что такое полбуханки?

Вот-вот, про детский дом хотел он поговорить с Анатолием, и этот детдом стоял весь день в голове. Их же и разделить могут, в разные города, необязательно вместе. Конечно, детдом — это спасение для многих и многих, для сирот, которых оставила война, но если есть хоть маленькая возможность, надо быть всем вместе. И дома. С бабушкой.

Алексей с трудом метал уголь совковой лопатой. Поначалу дело шло ходко, тяжелые черные камни веером летели на землю, но потом спина занемела, да сказалась, конечно же, прошедшая бессонная ночь.

Пряхина бросало то в пот, то в дрожь, глаза слезились, колени подгибались. Он все чаще останавливался перевести дыхание. И прислушаться к своему нутру. Боль походила на живое существо: то шевелилась, колола иглами, ворочалась недовольно, даже, казалось, ворчала, то неожиданно стихала, хотя Алексей и не оставлял работы. Под утро задул резкий, пронзительный ветер. В первый раз он пожалел о сапогах. В первый раз за все эти дни ноги в тонких ботиночках ооченели до помертвения.

Едва живой, Пряхин доскреб под утро последние крохи угля, сдал лопату, получил расчет и двинулся в гору.

Вчера он поскальзывался и спотыкался, поднимаясь по этой горе. Сегодня падал.

Навстречу попалась Нюра. Разглядев Алексея, сказала:

— На карусель не ходи. Отоспись.

— Ладно, — кивнул Пряхин, а про себя чертыхнулся: «Отоспишься после войны!»

Пряхин отправился на рынок: там торговали горячим чаем. Вот сейчас он хлебнет кипяточку, оттаает, придет в себя, соберется с силами и дальше: айда, Анатолий, марш, или вальс, или плясовую, играй чего хочешь, двигатель на месте, и полный порядок. Не зря же поставили в городке карусель — единственное веселое заведение.

К торговке Алексей подошел со спины, поглядел, как в корзине, укутанной тряпьем, отдувается горячий чайник, протянул деньги, приказал устало: «Лені» — и не сразу дошло до него, почему торговка отскочила.

Он вострепнулся, пришел в себя, сделал три больших шага, взял торговку за руку, повернул ее.

— Катя!

Да, перед ним стояла Катя, и глаза ее в упор расстреливали Пряхина.

— Торгуешь?.. Почему не в школе? — спросил он растерянно.

— Какое вам дело? — зло ответила Катя.

Он покачал головой, по-прежнему не отпуская Катю: это не младшая, тотчас задаст стрекача.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда налей чаю. Вот деньги.

Ее глаза горели, каждой своей клеточкой девушка ненавидела Алексея.

— Вам не налью! — выпалила она.

Парок из чайника струился все тише, плохая получалась из Кати торговка; вон настоящие-то торговки стоят с керосинками, у них чай не остывает, а тут — на много ли стаканов хватит домашнего жару, хоть и укрытого тряпками?

— Ладно, — сказал Алексей, — ступай.

Он отпустил Катин рукав, девушка тотчас отбежала в сторону и остановилась в нерешительности.

Изможденный, грязный солдат с черными от угля руками смотрел на нее исподлобья непонимающим, омертвевшим взглядом.

Катя повернулась к толпе, крикнула неумело:

— Кому чаю?

Голос ее сорвался, она заплакала, покрылась красными пятнами, кинулась с рынка. У входа поскользнулась на льду и упала.

Загромыхала крышка чайника, чай пролился в снег, Катя поднялась и крикнула Пряхину:

— Ненавижу! Ненавижу!

Медленно крутилась в тот день карусель, и даже, кажется, тоскливо играла гармошка.

Алексей двигался по кругу и засыпал на ходу. Дважды он упал, сильно ударившись. В первый раз он тотчас вскочил, испугавшись, долго не мог опаматоваться, понять, где он; над головой ходили жерновами, едва поскрипывая, поперечины, на которых держалась карусель.

Второй раз он упал уже под вечер, вконец обессиленный, и теперь ему было все равно, где он и что с ним. Пусть крутится, что угодно, хотелось спать, тысячу раз спать. Ударившись, Пряхин очнулся, безразлично подумал, что надо встать, но не встал, пока не оборвалась музыка.

Он поднялся.

Карусель стояла. В дверцу заглядывал Анатолий — никак не мог отделаться от зрячих привычек.

— Что с тобой?

— Порядок, братишка! — ответил его тоном Алексей, они рассмеялись, и Анатолий сказал:

— Значит, ты воинского звания рядовой?

— Так точно, товарищ капитан, — ответил шутливо Пряхин.

— Мысль понимаешь правильно. По званию я тебя старше. И намного. Так что приказываю: сегодня ночью спать.

— Эх, капитан, — сказал Алексей, — ты меня старше по званию, я тебя старше по возрасту, так что придется мне повкалывать ночку и много-много ночек еще.

— Ты это брось, — рассердился Анатолий, — сдохнешь! А что касается возраста, нас война всех сравняла, понял? И старых и молодых. Все мы теперь одного года рождения.

— Пожалуй, верно, — согласился Пряхин. — Все равные, все седые, кто живые — все раненые. Только ты

вот ранен геройски, а я глупо. — Алексей выбрался из барабана, присел на синюю лошадку. — Пойми, капитан, ты из войны с победой вышел, хоть победа еще не пришла. А я-то! С поражением!

— Ты это брось, брось, — заволновался Анатолий.

— Да нет, бросать нечего, — задумчиво отозвался Пряхин. — Ты с победой, а я с виной. Вроде как дезертир, понимаешь? Дезертир он и есть дезертир. Победа придет, а не для него, виниться всегда будет, если, конечно, хоть капля стыда есть. Вот и я. Человеска убил во время войны. Не врага, не фашиста — женщину. Мать. — Он вздохнул. — Да что там, дезертир со своей виной счастливцем против меня будет... Так что не держи ты меня, капитан, и не жалей... Да тут еще девочек-то. — испугался он снова, — в детдом предлагают, представляешь?

Он поднялся с лошадки, спросил:

— Ну, я пойду?

Нюра стояла возле карусели, сказала, что привезли картошку.

— Слышишь! — обрадованно крикнул Пряхин Анатолию. — Картошку привезли! А ты говоришь — спать! Проспишь тут все на свете.

Он зашагал к тупику, и каждый шаг отдавался болью в груди. Почему в груди? Раньше болела голова, бывало, в голове отдавались шаги, а теперь почему-то в груди. В тупичке шла суета, разгрузить вагоны с чем-нибудь съедобным желающих было больше.

Алексей вошел в черед теней — подходил к вагону, становился спиной, приседал под тяжестью куля, волок его к складу, садился на корточки или преклонял колени и сваливал мешок с плеча.

Он вспомнил свой круг тогда — ночью, когда возил снаряды к станции. Навстречу ему двигались подводы с окоченевшими, безразличными от усталости возницами, но, даже изнемогавшие от работы, они обязательно поднимали руку в знак приветствия, и он махал им в ответ. Тот круг был осмысленным, хотя бесконечным, как и здесь. Да, тот был осмысленным, там поднимали руку, чтобы поддержать друг друга в бесконечном своем круге, а здесь — здесь было совсем другое. Люди проходили рядом, но не говорили друг другу ни слова. И эта тишина не была пустой, нет. Вначале Алексей не понимал этого. Потом ошутил с физической остро-

той. Здесь люди были враждебны друг другу, вот что. Алексей не понимал этого. Почему? Зачем? Надо бы заговорить. Но он не заговорил. Запел. Хриплым, простуженным голосом он затянул:

— Э-эй, ухнем, ещ-е рази-ик, еще ра-аз!

Над ухом кто-то рыкнул: «Заткнись!» — и вот тогда он почувствовал это отчуждение, эту враждебность. Но и в ту минуту он не все еще знал о тенях, мелькавших у вагонов.

Когда дело шло к концу и многие уже получили расчет, его остановил придушенный женский крик. Алексей обернулся и скорей услышал, чем увидел, как во тьме с треском рванули мешок, картошка рассыпалась, тени кинулись подбирать ее на ощупь, женщине наступили на руку, и она вскрикнула.

Алексей сбросил свой мешок, подбежал к этим согбенным теням, воскликнул:

— Что вы! За это судят!

— Пусть судят, — иступленно ответил хриплым голосом, не поймешь, мужской или женский.

— Опомнитесь! — снова крикнул Алексей.

Ему не ответили, нет. Тихо, без звука, без единого слова, кто-то ударил в живот, в спину, в лицо. Тени били Алексея куда попало, и вот в эти мгновения, когда темень прорывали вспышки ударов, он понял все до конца.

Тут, во мраке неосвещенного двора, при бледных бликах лампочек, люди зверели.

Они не видели лиц друг друга, они были неизвестны друг другу и приходили сюда, чтобы спастись от голода. Вот. От голода они рванули мешок, другой, от голода лупили Алексея, могли бы и убить — от голода, потерявшие человеческий лик в темноте.

Человек оказывался без лица, вот в чем дело. И не видел других лиц. И забывал, что он человек...

Алексей закричал что было сил:

— Стой, стрелять буду!

Это должно было подействовать. И подействовало: они метнулись в стороны, двор возле склада опустел. Лишь несколько женщин жались у дверей.

— Бедолага, — сказал чей-то жалеющий голос. Алексей только теперь почувствовал боль. Губа опухла, шатался и кровоточил зуб. Отплевываясь, получил расчет.



— Зря ты так, — сказала тетка, выдававшая деньги. — Нет вагона, где бы не порвался мешок. Это, можно сказать, по правилам положено.

Пряхин пожал плечами:

— Зачем же тогда рвать?

— Да затем, что в этот раз ни один сам не порвался.

Алексей пошел к выходу, чуть не упал, наступив на картошку, и обернулся. Женщины у растворенного склада смотрели ему вслед. Пряхин махнул рукой, чертыхнулся, наклонился и подобрал несколько картофелин. Он поднялся в оцепенении, в раздумьи, словно медленно решая пустяковую задачку, потом вывернул пустой карман галифе, рванул его изо всех сил и стал совать картофелины в штаны.

Они скатывались ледяными кругляками к ногам, наполняли штанину, и Алексей шептал самому себе: «Скотина! Честный человек называется, а сам, сам...» Наконец он выпрямился. Женщины все смотрели на него. Он повернулся и побежал к проходной.

Алексей брел по черным улицам один, будто он всегда, вечно был один в этом черном, пустом городе, и холодные картофелины ударялись о ногу. Он много узнал сегодня. Про голод и про людей, которые не видят лиц друг друга, а еще про себя и про то, что такой же, как все.

Он старался не думать о краже. Точнее, он выбрасывал из головы это слово. Что-то давило ему на спину, на плечи, но он разгибался и шептал:

— Девочки там!

Дверь открыла Лиза, средняя. Только с ней не было у Пряхина никаких отношений. Держась за косяк, не переступая порога, покачиваясь от усталости, Алексей протянул девочке две картофелины, сунул руку в карман, достал еще две и так доставал их по две, не говоря ни слова.

На лестнице его качнуло, он снова почувствовал боль в груди, прикрыл глаза, на мгновение остановился. Через секунду он двинулся дальше, собрав в кулак остатки сил, обернулся на дверь и увидел взгляд — встревоженный, беспокойный.

Это было последнее, что он запомнил, — встревоженный, беспокойный взгляд, и эта тревога странно успокаивала его...

Не помня себя, Алексей добрался до избушки тети Груни, разделся, лег в постель и провалился в беспмятство.

Две вещи он помнил в забытьи: разговор о том, что девочек отдадут в детдом, и этот взгляд — встревоженный и беспокойный.

Когда Алексей думал про детский дом, он стонал и ворочался, когда ему мнилось Лизин взгляд — утихал и успокаивался.

Он не почувствовал сначала глубину бабушкиной горечи. Пряхин разбирался в этом известии постепенно, толчками. Сначала слова про детский дом показались ему напрасным испугом. Потом он стал думать, что девочек могут разделить — отправить в разные города. И только теперь, в беспмятстве, до него доходило главное: ведь детдом — это все, крах, конец. И вся вина за это лежит на нем. Сначала принес он в эту комнатку мертвую мать, а теперь развеет семью по ветру. Как варвар, как какой-то фашист...

В горячечном бреду он являлся сам себе угрюмой, злой силой. Размахивал руками, что-то кричал, и трое девочек и бабушка разбегались от него, а он опять орал и пугал их... Потом утихал. Средняя, Лиза, смотрела на него встревоженно, беспокойно, и он понимал, что эта тревога и это беспокойство относятся к нему: не он боялся за девочку, а девочка за него.

Когда Пряхин очнулся, первым, кого он увидел, был Анатолий — его темные очки в железной оправе и лицо, посыпанное синими оспинками. Алексей встрепнулся, ему показалось, что он проспал и гармонист пришел, чтобы устыдить его.

— Сейчас! Извини, — пробормотал он, пытаясь сесть, но не мог. Руки были как плети и не слушались его.

— Братишка! — обрадованно зашумел Анатолий. — Ожил! То-то же! Нашего брата инвалида не так легко завалить! Молодец!

Из-за плеча Анатолия выглядывала тетя Груня, и тут только Алексей понял, что он не спал, а прихворнул.

— Ха-ха! — радовался Анатолий. — Ни хрена себе прихворнул! Три дня в беспмятстве!

Алексей расстроился. Представил себе, как сидит Анатолий три дня, играет на гармошке, а все без толку, потому что крутить карусель некому.

— Как же карусель? Стояла? — спросил Пряхин, качая головой, вина себя.

— Почему стояла? Работала! Только без музыки! И знаешь, ничего, оказывается. Можно и так.

— Как же? — пробормотал Пряхин. — Сам крутил?

Он представил, как Анатолий, собрав рубли и выдав билетик, поднимается со стула, находит дверцу барабана, залезает внутрь, кладет в сторону палочку и, навалившись, толкает перед собой бревно.

Пряхин знал, он все знал про карусель, знал, как обязательно надо подпрыгивать потом, когда колесо раскружилось, уцепиться за бревно и прокатиться на нем, пока маховик не замедлит свой ход.

Анатолий словно угадал его мысли.

— А я приседал, — сказал он. — Раскручу и присяду, отдохну. Пока не почувствую, что колесо останавливается.

Ах, Анатолий, боевой геройский капитан, ах, неунываха!

— Слушай, — спросил Алексей, — а почему ты на карусель пошел?

Не раз ему это в голову приходило, а спросил впервой.

— Да предлагали мне, — весело ответил Анатолий, — в артель идти. Какие-то железки штамповать. Сиди себе и штамуй. Тепло, дождик не капает. Я уж было согласился, но потом подумал — не годится. У нас в артиллерии дела хорошо идут, когда вперед движеешься. Как засел, окопался, тут к тебе противник пристреляется, и пошло-поехало. Сегодня ездового убьют, завтра расчет. Нет, в артиллерии жить, когда движение есть. Вот я и решил, на карусель пойду. Шум, гам, смех, гармошка. Движение. Задумываться некогда, а у штампа задумаешься — тут тебя и прихлопнет.

Он опять рассмеялся. Из-за плеча Анатолия вновь вышла тетя Груня, показала ему что-то блестящее.

— Ну-у! — обрадовался Алексей. Это ведь был его кожаный костюм. — Никкак Зинаида откликнулась?

Тетя Груня пригорюнилась, как всегда, подбородок в ладонь положила.

— Кабы Зинаида! Соседка прислала. Учительница по прозванию Марья Сергеевна!

Марья Сергеевна! Жива, значит. Слава богу. А он ведь вспоминал ее, эх, Марья Сергеевна.

Что-то трепыхнулось тревожно в груди. Зинаида, вот что.

— С командиром, с каким в поезде познакомилась, дальше проехала, — сказал он зло.

— Немилостив ты, Алеша, — сказала печально тетя Груня, — понять не можешь никак, что мир держится на прощении.

Алексей поперхнулся. Правильно, тетя Груня! По щекам ему — раз, раз! За Зинаиду. А подумала бы: стоит того Зинаида? Готов он простить, верно, на прощении держится мир, и простил однажды — и не однажды простил! — но вот же пример: прислала костюм не она — соседка, значит, не приехала. А не приехать могла по одной причине — махнула рукой на Пряхина. Он — с поезда, она поездом — в другую степь. Ох, тетя Груня, святая простота, всем-то ты веришь, всех любишь...

Анатолий ощупывал кожаный костюм — брюки, куртку, фуражку, прикидывал, сколько дадут в переводе на муку, на сало, на хлеб. Выходило, мешок муки — если на муку.

— Давай оклемывайся, да пойдем с тобой в деревню, — шумел Анатолий. — Ведь мешок это в городе дадут, а деревня и того больше отвалит! Возьмем два выходных, запрем карусель и айда на промысел!

Гармонист ушел, тетя Груня подала Алексею хлебку. Опять в глаза ему заглядывает, снова винится.

— Не беспокойся, тетечка Грунечка, — сказал Пряхин ласково. — Вот поднимусь, в милицию пойду. Объявлю Зинке розыск.

Утешил тетю Груню, хотя Зинаиде ни на мизинец не берил. А что, действительно. Зайдет, заявит, пусть отыщут следы, новый адрес. Напишет он ей, крепенькие отыщет словечки за то, что тетю Груню ни разу не вспомнила, слова доброго не сообщила, а ведь не кто иной — тетя Груня в Москву ей выехать помогла.

— А меня ты прости, — сказал тете Груне, глаза отводя. — Может, и правда с Зинаидой что приключилось.

В дверь постучали, и Алексей часто-часто заморгал, не давая слезам волн. На пороге стояла средняя, Лиза, а в руках держала маленький узелок.

— Проходи, раздевайся, — проговорила тетя Груня, и доброе лицо ее цвело, улыбалось. — Три дня прихо-

дит, а ты в беспамятстве, смотришь на нее, не узнаешь, только чего-то про детский дом разговариваешь, какой еще детдом тебе впал...

Девочка скинула пальтишко, присела на краешек стула, красными, как гусиные лапки, руками стала развязывать узелок, протянула Алексею мисочку с картофельными оладьями:

— Еще теплые.

Алексей порывисто схватил ее руку, стал согревать жаркими ладонями. Спросил, сдерживая себя, поперхнувшись:

— Что ж, у тебя варежек нет?

Она весело мотнула головой, черные шелковистые волосы взлетели на плечо и остались там сияющей прядью. Пряхин с любопытством разглядывал Лизу. Сколько ей? Одиннадцать, двенадцать... Черные вразлет брови, густые кусты ресниц, нежно и женственно прикрывающие глаза с вишневыми ласковыми зрачками, губы по-детски пухлые, ярко-розовые, несмотря на голод, смуглая кожа, тонкие мочки ушек, прикрытых волосами... Фигурка девочки была еще детской, несуразной. Красные, с обкусанными ногтями руки, острые коленки в прохудившихся чулках, сама она в синей кофточке с дырявыми локтями — все было хрупким каким-то, наивным, девчачьим, но лицо — лицо, казалось, не могло скрыть ее будущей красоты и женственности.

Пряхину пришла в голову неожиданная мысль: он должен сохранить эту девочку! Нет, нет, он должен спасти и бабушку, и Катю с Машей, за всех он отвечает головой, но вот эту, среднюю, спасти непременно.

Он представил: кончится война, и жизнь пойдет дальше, станет он, коли выживет, глухим стариком, и людям, которые теперь воюют, голодают, страдают, придут на смену другие люди, вот эти, как Лиза, и уже они станут взрослыми людьми — женщинами, мужчинами. И Лиза будет любить — непременно крепко и верно! — ей удастся это лучше гораздо, непременно лучше, чем некоторым из предыдущих людей. И эту хрупкую девочку тоже станут крепко любить в ответ, и у Лизы будут дети, непременно красивые, в нее, дети, которым война, и карусель, и картофелины, принесенные им, Алексеем, с разгрузки в кармане шинели, покажутся чем-то неправдоподобным, далеким, невероятным...

Пряхин вздрогнул. Вот когда утихнет по-настоящему его боль!

Эта мысль поразила его. Да, да, только тогда, когда у Лизы вырастут собственные дети, а его, Алексея, уже не будет на свете. Ведь боль, она живет дольше человека и со смертью Пряхина не умрет, а исчезнет только тогда, когда вырастет у Лизы сын, и он, этот неизвестный, неведомый прекрасный сын — только он не будет чувствовать боли шофера Пряхина и боли своей матери, Лизы, он будет знать, но чувствовать ему дано иное. Совсем иное...

Алексей откинулся на подушку, отбросил голову к стене — от тяжести невыносимой. Но тут же себя одернул, устыдил. Повернулся к девочке: она-то при чем тут? Принялся лепешки жевать: действительно еще теплые.

Расспрашивал, радостно Лизу разглядывая:

— Как Катя? Ходит в школу?.. А бабушка?.. Маше — поклон.

Лиза бойко рассказывала про Машу, про бабушку, бойко и про Катю сказала:

— Она ничего не ест из того, что вы приносите. Худющая — страх глядеть!

— А чего говорит? — спросил Пряхин, холодея. «Опять Катя!»

— Ничего. Молчит и не ест.

Пряхину подвез случай.

В первый же вечер, как вышел на улицу, увидел: Катя идет рядом с парнишкой.

Алексей приструнил шаг, потом перебежал на другую сторону, чтоб не спугнуть парочку, брел за ними следом, не замечая, что улыбается.

Ах, Катя, Катя! Как же тебе, должно быть, нехорошо на рынке с чайником стоять — волнуешься, поди, дрожишь вся, а вдруг ненароком паренек этот или кто из его друзей. Мало ли, дурной он, застыдится вдруг, или приятели дурные — задразнят как-нибудь паренька — «торговкин ухажер» или еще как побольнее. Известное дело, молодость не щадит, рубит сплеча, не подумав, какие боли рубка эта приносит...

Катя с пареньком стояли у ворот ее дома, а Пряхин, старый дуралей, топтался наискосок, прячась за ствол

дерева, таясь, — не дай бог, увидит Катя, тогда уж вовек не простит.

Снова дул пронзительный ветер; сдерживая себя, Пряхин гулко кашлял в кулак, колотил ботинками друг о дружку, а молодым никакой ветер не страшен — стоят в воротах, о чем-то беседуют.

Наконец простились. Парень, как конь вороной, припустил бегом, и Алексей за ним погнался. Была у него одна мыслишка заветная, пришла в голову только что, неожиданно, едва узнал со спины Катю с парнишечкой этим.

Парень драпал, то ли торопясь, то ли согреваясь, а за ним шел рысцой старый хриплый конь Пряхин, сбиваясь с дыхания, оскальзываясь и спотыкаясь. Нет, не хватало сил у него, пришлось применять голос:

— Эй, паренек! Погоди!

Мальчишка остановился — лицо курносое, простое, но чуб кудрявый из-под ушанки по всем правилам ухажерского мастерства.

— Вам чо, дядя?

Пряхин стоял перед ним запыхавшийся, изнемогающий и слова не мог вымолвить. Наконец отдышался, спросил:

— Когда завтра с Катей встречаетесь?

— А чего? — отступил растерянно парень, готовый опять убежать.

— Да ты не бойся! Я с добром! — остановил его Пряхин. — Хочу вот попросить тебя, сделай милость! — Он полез под гимнастерку, в нагрудный карман, и парень снова отступил — на всякий случай.

Алексей вынул деньги, протянул ему, сказал:

— Ты ж к ней хорошо относишься?

— Допустим, — настороженно ответил парень. — А что?

— Что, что! — рассердился Алексей. — Видишь, какая она худюшая! Кожа да кости! Вот ты ей и купи! Да не сластей — что с них проку, — а ватрушку покупай. На рынке, у торговки. Как на свиданку-то пойдешь, так и купи.

Парень улыбнулся, приблизился к Алексею.

— Это точно! — сказал он. — Худая как скелет. А хорошая!

— Одно с другим не связано, — кивнул Алексей. — Так вот, ты ее угощай. Каждый день, слышишь.

— А вы ей кто? — спросил парнишка.

— Д-дядька, — неуверенно заикнулся Алексей. — Но ты про меня ей ни слова. Понял? — Припугнул: — А то она и тебя прогонит. — Пояснил: — Обидчивая очень.

Парень кивнул, сдвинул ушанку на ухо, чуб свис ему на глаз — это видно, чтоб повзрослей казаться.

— Будет сделано. А как деньги кончатся?

— Я на рынке работаю, на карусели. Алексеем зовут. Придешь, спросишь.

Паренек оказался правильный, хороший. Однажды даже провел Катю мимо карусели: она ела ватрушку, бойко говорила о чем-то с ухажером, а тот косил на карусель глазом, давал Пряхину понять, что это он как бы отчитывается.

В эту минуту карусель стояла, Анатолий сажал новых ребятишек и Алексей выбрался наружу подышать.

Действия паренька он заметил, понял его и в душе поблагодарил.

Побеспокоился: только бы Катя не узнала.

Попутными подводами, прямо от рынка, двинулись в деревню Анатолий и Алексей. За спинами надежно приторочены мешки с одеждой, собранной на обмен, начальство извещено, что карусель два дня будет в простое, снег скрипит под санями, словно кто-то ест свежие яблоки. Даже дух вроде яблочный — чистый и бодрящий. Солнце, как в маленьких зеркальцах, отражается в каждой снежинке, и лучи его острыми иглами колют глаза.

Анатолий жадно подставляет лицо свету, спрашивает Пряхину:

— Светло вокруг, а? Светло?

Алексей отвечает ему в тон, бодро, хотя глядит жалючи:

— Светло! Слепит!

Другим тоном с Анатолием говорить нельзя, заругается, закричит: «Ты чего разнылся?!» Нет, ни разу еще Пряхин не видел гармониста невеселым, угрюмым. Вот и сейчас кричит:

— Ну дер-ржись, деревня! Вынимай натур-ральные припасы! Инвалидский магазин едет! Шило — на мыло, штаны — на сало! — И сам же хохочет, заливается,



Когда в поход этот собрались, Анатолий гармошку через плечо перекинул. Пряхин отговаривал его, даже ругался:

— Какого черта в такую даль тащиться?

— Эх, темнота! — хохотал Анатолий. — Не понимаешь ты, братишка! Да гармонь — это оружие пролетариата! И в деревню надо нести песню и музыку, кроме нашего барахла. Не улавливаешь момента?

Подвода приостановилась, выгрузила менял, и Пряхин с Анатолием оказались посреди какой-то деревни.

— Ну-ка, дай мне обзор местности! — велел гармонист.

Деревушка была симпатичная, торопились, взбирались на горку избы, закуржавелые березы украшали деревенский порядок — загляденье, да и только! Только вот ни души кругом.

— А ну, — сказал Анатолий, разворачивая мехи гармошки, — оживим пейзаж!

Звонким своим, даже чуточку хулиганским голосом запел он свою любимую:

Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть!

Анатолий замолчал. Улыбался, поворачивал очки то вправо, то влево, потом сказал, удивляясь:

— Никто не встречает? Странно.

Тошная шавка таякала на них, на всякий случай пятясь задом и помахивая хвостом — вроде, с одной стороны, чужие, а с другой — вдруг чего поест перепадет.

Они пошли по деревне, Алексей на полшага впереди, чуть позади, взяв его под руку, — Анатолий.

Окна были пусты, теперь и собака не брехала — шла за гостями, поджав хвост, — и никто их не встречал, никому не были они нужны со своим барахлом и даже музыкой.

В одном окне сквозь кружево инея выглядывало на них испуганное старушечье лицо.

— Меняем вещи на муку! — крикнул Алексей, и старушечье лицо разгладилось, успокоилось — она помотала головой «Испугалась, — подумал Пряхин, — не свой ли кто с фронта слепым пришел».

— Шил-ло — на мыло! Мыл-ло — на шило! — закричал Анатолий.

В воротах ограды стояла женщина средних лет, укутанная платком.

— Аники-воины! — окликнула она. — Околели, по-ди! Заходите погреться!

Они вошли в избу, наклонив головы, чтоб не расшиться о низкую притолоку, чинно сели на лавку, и хозяйка предложила:

— Товар-то свой раскладывайте. Бабы сейчас пойдут.

И верно, двери поскрипывали, по ногам прокатывались холодные клубы воздуха, и на пороге возникали женщины.

Алексей разложил на лавке целый магазин: кожаные штаны, куртку, фуражку, рубахи Анатолия, пошечные брюки, старые ботинки.

Когда набилась полная изба, Анатолий опять растянул мехи и ударил вальс «Амурские волны». «Чертяка, — подумал Пряхин, — по чувствам бьет». Ему стало неловко оттого, что они так действуют. Коварно получалось, нехорошо.

Анатолий закончил вальс, трогательные и волнующие звуки стихли, музыкант чинно кивнул головой, как бы давая понять, что лирическая часть закончена и можно приступать к делу.

Бабы потоптались еще у двери, потом все сразу двинулись вперед, а через минуту стоял в избе магазинный гомон. Все говорили между собой, шупали кожу пиджака и штанов, разглядывали на свет рубахи, подносили их к окну, где поярче.

— Слышь, братишка! — сказал негромко Анатолий. — Кажись, попали мы, а? Ноги-то унесем?

Пряхин усмехнулся: а что, может, и впрямь выгорит их затея? Но бабы, подробно ощупав каждую вещь, притихли.

— Мыльца у вас, родимые, нет? — спросил чей-то тонкий голосок.

— А спичек?

Его поддержали:

— А сольцы?

— Смилуйтесь, гражданки, — засмеялся Анатолий. — Мы же не коробейники, не торгаша. Обыкновенные инвалиды! Нам бы пожрать чего, чтобы выжить,

чтобы до победы нашей добраться! — Он осекся. Что-то уж очень пламенная получилась речь. Анатолий похлопал рукой по тряпкам, спросил: — А что, не нравится?

Бабы завздохали, загомонили опять, но уже тише.

Хлопнула дверь. На пороге возникла еще одна женщина, и изба оживилась:

— Валя! Бери чего-нибудь Сереге-то!

— Ведь возвращается.

— Подарочек какой!

Валя скинула платок, оказалась молодой, белокурой, веселой.

— Глянь-ка, штаны какие — сносу нет!

Окна задрезбуждали от хохота.

— А пинжак-то, пинжак!

— За почем костюм отдаете, инвалиды? — перебила всех веселая Валя. — И впрямь Сереге подарочек!

Алексей молчал, мялся, не знал, как и сказать, но Анатолий в тон Вале крикнул:

— Да для мужа живого ведь ничего не жалко, а? Клади два мешка.

В избе разом стихло.

— Чего два мешка? — испуганно спросила Валя.

— Как чего? — ответил игриво Анатолий. — Муки.

Пряхин разглядывал крестьянок и обливался потом. Анатолий был слепой, это женщины понимали и смотрели на одного Алексея, только на него. Смотрели презрительно, осуждающе, удивленно.

— Пошли отсюда, бабы, — сказал чей-то глухой голос.

— Спекулянты вы, а не инвалиды, — добавил другой.

Женщины враз заговорили, двинулись к двери, уже кто-то вышел, по ногам шибанули морозные клубы воздуха, и тут Анатолий крикнул:

— Стой!

Крикнул, как там, на войне, командовал, наверное, своими солдатами.

— Спекулянты? — спросил он, поднимаясь. — Какие же мы спекулянты, бабы? Разве похожи мы на спекулянтов? — Голос его сел, сломался. — Неужели вы думаете, что пришли бы мы, мужики, к вам свои штаны на муку менять, коли б нужда к стенке не приперла, а? И нужно нам за эту довоенную кожу, черт бы ее побрал, не меньше мешка муки, чтобы малые дети с голо-

ду не передохли. — Анатолий успокоился, сел снова на лавку. — И вы нас не стыдите, самим стыдно. Деваться некуда.

Женщины стояли у выхода, повернувшись к слепому, — стояли плотной маленькой кучкой, и лица у всех были точно выточены из дерева.

«Вот после войны, — подумал неожиданно Алексей, — памятник такой вырубить надо художникам. Бабы. Смотрят на тебя и будто заплакать хотят».

Не думал он никогда в жизни ни о каких памятниках, а тут подумал — скорбно и тихо стояли бабы у двери, словно хотели что-то сказать — грубое, стыдное, да сами же и жалели.

— Не суди нас, незрячий, — проговорила Валя, выходя из кучки. — Женщины народ известный. Слово обронули нехорошее, извини... Ну а если по делу, то могу я по вашим ценам из всего этого обмундирования сменять на муку для Сереги разве что только фуражку. А ежели весь костюм, то сама мужа не дождусь, околею. Так что ищите деревню побогаче.

Дверь отворилась опять, и холод бил по ногам теперь долго — пока все женщины не ушли.

— Садитесь за стол, — приказала хозяйка. В ухвате держала она черный горшок. — Чем бог послал.

Алексей не слушал ее. Рассовывал тряпки в мешки, зло их тискал, уминая. Анатолий закуривал сигарку, и руки у него тряслись.

Торопливо поднялись и обедать отказались, как ни просила хозяйка.

На пороге Пряхин протянул ей кожаный картуз.

— Отдай Вале для ее Сергея!

Хозяйка запричитала, что надо бы отдать в руки Вале, да она ее и кликнет, но Пряхин поморщился:

— Отдай сама!

И плотно притворил за собой дверь.

Они шли по деревне быстро, почти бегом, не сдерживая шаг, а Анатолий шипел Пряхину в ухо:

— Да быстрее, черт тебя дери! Быстрее!

Только в низинке, когда закуржавелые березы и домики, взбегавшие на гору, скрылись за ельником, Алексей расслабился.

— Дурак же я, — сказал зло гармонист. — Тащи-

лись, ехали. Надо было на рынке. У кого есть что сменить да продать — в город везут. А кто сам локоть кусает — дома сидит.

Они шли молча, досадуя на себя.

— стыдобища какая! — сказал Алексей.

— А чего стыдобища! — не согласился Анатолий. — Не менять же костюм за мешок картошки? У всего цена есть. Баб жалко, деревенька бедная, но и себя пожалуйть надобно. Война, братишка, война.

Они вздохнули враз, словно сговорившись, засмеялись своему единодушию, и вроде полегчало тотчас: ну ошиблись, ну промашка вышла, да ведь не трагедия, поменяют свое барахло на рынке.

— Война, война, — сказал Анатолий бодрым, обычным своим голосом. — Прямо-таки почище любого романа навертела. Мужики барахло меняют да карусель крутят! А бабы ишачат как лошади, в деревне вон, говорят, пашут на себѣ! Но вообще, братишка, жить хорошо, а? Слава богу, что нас не кокнуло, подумай-ка. Идем вот себе живехоньки, хоть не больно-то здоровехоньки, и снег под ногами скрипит, солнышко блестит? Ну-ка рассказывай, что видишь!

Пряхин улыбнулся, принялся Анатолию говорить, что видит.

— Вот елка, темным, вроде как морозом, отдает, но боковые лапы зеленые — солнышко их развеселило. О! Красота какая, гляди-ко! Рябина ягоды сохранила. Оранжевые горсточки висят, глаз обжигают. А вон синица дорогу перелетела — брюшко желтым огоньком горит...

— Были раньше у меня глаза молчащие, — рассмеялся Анатолий. — А теперь есть говорящие!.. Представляешь, вижу все, о чем рассказываешь.

Низкое солнце высвечивало верхушки деревьев, золотило сосны, молодило еловые пики, высветляло березовую кору. Тени густели, сочились синей краской, воздух становился звонче.

Цокот копыт по плотному снегу первым услышал Анатолий, они остановились, повернулись лицом назад, к попутной подводе, может, и повезет, подбросят до города.

— А ну, инвалиды, влезай! — услышали они знакомый голос. Улыбалась во весь рот Валя, помахивала кнутом, похлопывала по сенцу, приглашая устроиться

в саях по всем правилам, с удобствами. Пока Пряхин и Анатолий устраивались, объясняла: — Бабье собрание постановило: доставить вас до дому, а то вечереет, не ровен час. У нас тут пошаливают, банда какая-то завелась.

Снег опять заскрипел яблочным вкусным хрустом, а Валя кричала им, оборачиваясь:

— Это ж надо, а? Хуже фашистов — в тылу мародерствуют!.. А за фуражечку спасибо! Мы вам вон полмешка картошек собрали. Всей деревней!

Анатолий ткнул Алексея в бок, и Пряхин строго отрезал:

— Картошку за фуражку не возьмем, так и знай. За подарок не берут.

— Больно я тебя спросила! — засмеялась Валя. — Ты мне подарок, я тебе подарок!

— Эхма-а! — весело заорал Анатолий. Отстегнул пуговку на гармошке, рванул свою разлюбезную, запел озорным голосом:

Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть!

— Валя, — крикнул Пряхин, заражаясь весельем гармониста, — мужа-то заждалась, а?

— Ага! — обернулась она надолго. Глаза ее светились радостью, самозабвенной, отрешенной улыбкой горело лицо, и в этом ее «ага!» было столько уверенности и счастья, что Алексей позавидовал неизвестному ему Сергею. Если бы кто-нибудь где-нибудь, пусть в самом дальнем уголке земли, ждал его так! Да он бы сломал все преграды — ринулся туда, чтоб обнять, чтоб прижать к себе ждущую, тоскующую, думающую о нем женщину. Ах, если бы! Но его никто не ждал на всем белом свете. Не считая тети Груни, конечно, бабушки Ивановны да ее девочек, кроме Кати. Но то было другое ожидание. Так, как ждала эта счастливая Валя, его не ждал никто.

Зинаида! Мысль о ней кольнула его. Пропавшая душа. Сразу после болезни зашел он в милицию к тому же сморщенному милиционеру, похожему на печеное яблоко, написал заявление о розыске, справлялся пару раз, но бесполезно. «Ждите!» — сказала милиция, и то

верно! Ждите, если дождетесь, что в войну эту проклятую, когда столько горя, столько смятения на земле, когда разнесло, развеяло по белу свету столько семей, найдут следы какой-то Зинаиды.

— Ох, Валя, — крикнул Анатолий, — а сладка будет пуховая перина? Целый мужик-то?

— Целый! — весело ответила Валентина, снова радостно обернувшись. — Всего и нет-то одной руки! Это ж не помеха!

— Не помеха! — засмеялся Анатолий. — Конечно, не помеха!

Лошадь вывернула из-за поворота, всхрапнула, зажатая натянутой вожжой.

— Ну вот, мужики, — обернулась Валя. — Говорила я вам! Бандиты!

Алексей приподнялся: на краю дороги стояло четверо мужиков с поднятыми воротниками.

— Ерунда! — сказал он. — Бабы враки! Какие тут могут быть бандиты! Поехали!

Валя тронула лошадь, подхвостнула ее кнутом. Снег завизжал под полозьями. «Верно, что бабы враки», — подумал Алексей. Лошадь приближалась к мужикам, а они все стояли в тех же позах, говорили между собой.

В следующее мгновение все четверо кинулись к лошади, навалились на оглоблю, сани прошли несколько метров и встали. Один схватил лошадь за уздцы и накиннул ей на голову холстину.

— Вы чего, мужики, шалите? — крикнул шутливым тоном Пряхин, все еще надеясь, что Валя ошиблась, а люди эти шутят, мало ли...

— Я те пошालю, са-алдати-ик! — ответил мордастый парень, подходя к саням. Брови у него были насуплены, казалось, срослись над переносицей, и всем своим видом старался он навести на окружающих страх и ужас.

Резким рывком мордастый выдернул из-под ног Алексея мешок, мигом сдернул с горловины лямку, вывалил в снег тряпье.

— Ого! — орал он. — Братовья! Защитник-то отечества! Барахло меняет!

Бандиты сдержанно засмеялись.

— Постой-ка, — продолжал мордастый, вытаскивая кожаные штаны и пиджак. — Да тут солидное имущество! Как батька Махно буду, а? Поменяем ему? Он нам костюмчик, мы ему — жизни!

Он заржал, и тени засмеялись тоже.

— Погоди-ка, — сказал Алексей, сходя с саней в снег. — Ну давай. Поменяем.

Это было безрассудством — в сущности, одному драться с четверыми. К тому же у бандитов наверняка есть оружие. Но отдать этот костюм было немыслимо. И не потому, что жалко. Не потому, что кожаная одежда дороже жизни. Просто подумал Пряхин о том, что значат эти штаны и пиджак для него, для троих девочек и бабушки Ивановны. Подумал, как он только что, в деревне, не сумел обменять их на муку, но надеялся сделать это на рынке. Костюм стал символом жизни — тяжелой, трудной жизни и его самого, и этих вот баб, которые выделили лошадь, чтобы доставить Пряхина в Анатолия в город.

«Была не была», — шепнул себе Алексей и, голодный, отчаявшийся, ненавидящий, пнул изо всех сил бандита по ноге, целя в колено, в самую косточку.

Мордастый взвыл, завалился в снег, заорал своим подмастерьям:

— Хватайте его! Да я счас! Я его!

Прихрамывая, подпрыгивая на одной ноге, он приблизился к Пряхину и ударил его в лицо. Алексея уже держали. Он пытался вырваться, но только кости в плечах хрустели.

— Сволочи! — выплевывал Алексей приговор вместе с кровью. — Да вас к стенке поставят! Предатели! Фашисты! Мы на фронте кровь проливали, а вы тут в тылу крохоборничаете!

Толстомордый молотил Пряхина, норовя попасть в глаза, в нос, в зубы. Его жирная, отвратительная харя плясала перед Алексеем и так и этак. Пряхин собрался с силами и пнул бандита в самый поддых. Удар получился слабый, рассчитывать особо не приходилось, бандит спохватился, словно Пряхин надоумил его, и стал пинать Алексея.

— Фашисты! — крикнул Пряхин. — Эсэсовцы!

— Вот тебе за фашиста, — злился мордастый. — Вот за эсэсовца.

Удары становились все нестерпимей, но Пряхин их больше не чувствовал.

И тут раздался крик. Кричала Валя. Алексей увидел, как с кнутом в руке подбежала Валя к мордастому и огрела его сыромятным крепким хлыстом. На лице бан-



дита зажглась красная полоса, он дико заорал, а Валя хвостала и хвостала его. Алексей почувствовал, как ослабла хватка, с которой держали его, две тени рванулись к Вале, уронили ее, принялись дубасить, но мордастый остановил их:

— Братовья! Не больно уродуйте! Мы ее еще погребем на четверых! — Он захохотал, повернулся к Алексею и уже замахнулся, чтобы ударить.

— Эй! — услышал Пряхин голос Анатолия и чуть не заплакал. Молчал бы, молчал, черт побери, слепец! Не видишь, что тут творится, и слава богу — не зря толкуют: нет худа без добра. Но безумный Анатолий крикнул снова: — Эй, братовья! А меня не забыли?

— Ладно, убогий, сиди! — милостиво разрешил мордастый. — Пока и тебя не шпокнули! Моли бога, что нас не видишь! Свидетелей не будет!

— Так ты думаешь, я слепой, сволочь! — крикнул весело Анатолий. — А я просто хитрый!

Алексей увидел, как гармонист бросает в сторону палочку и достает из кармана пистолет. Это только трус мог подумать, глядя на Анатолия, что слепой в самом деле не слеп и целится в него: пистолет явно направлялся на голоса.

— Ложись, Алеха! — крикнул Анатолий. Пряхин резко упал, точно и вовремя выполнив команду, и лес пронзил оглушающий выстрел. Один, другой, третий, пятый.

— Полундра! — крикнул мужской хриплый голос за спиной у Алексея, кто-то заорал благим матом, затрещали кусты.

Пряхин приподнялся, пробежал, согнувшись, несколько метров, отделявшие его от Анатолия, крикнул ему:

— Это я! Не стреляй!

Спокойно, точно ничего не произошло, Анатолий передал ему пистолет и сказал:

— Жахни на шум.

Руки тряслись, Алексей приказал себе успокоиться, сдержал дыхание, выстрелил в полумрак.

Все стихло. Они прислушались. Пряхин отер лицо снегом, послушал свое тело. В груди, под ребрами, живот, ноги, лицо — все горело.

— Фашисты! — прошептал он, успокаиваясь. — А ты, кажется, одного зацепил, — похвалил Анатолия.

— Едем, скорее! — приказал гармонист. Лицо его было повернуто к лесу. — Слышу шорохи, — сказал он. — Подбираются.

Валя подхватила разбросанное барахло, вскочила на облучок, лошадь, храпящая, напуганная выстрелами, рванула галопом, место стычки осталось позади.

Пряхин вглядывался в темень: вечер стушевал лес в единое черное пятно, только белая дорога светлела.

Когда отъехали уже далеко, сзади появились тени. Щелкнул огонек. Алексею показалось, что кто-то из бандитов закурил. Но тут докатился звук выстрела.

Стреляли бандиты впустую. От злости.

С того дня их словно спаяло. Анатолий шутил: «Сроднились в бою». А что? И сроднились.

Бандитов поймали — Валя уехала тогда из города не одна. За ее санями медленно двигались две машины с милиционерами. Пряхин и Анатолий выступали в суде свидетелями, и Алексей с удивлением разглядывал толстую ряшку главного бандита: на что они рассчитывали — четверо против всех? Шакалы, и только. Четверо против одного, четверо против женщины и двух инвалидов — куда ни шло, но четверо против отряда милиционеров?..

Озлобленными, испуганными глазами оглядывали бандиты зал суда, валили всё на толстомордого, тот усмехался безнадежно и отчаянно. Выяснилось, что он дезертир и дорога ему одна...

Судили бандитов, а досталось и Анатолию. Тягали в милицию не раз и не два, допытывались, откуда оружие. Он доказывал, что получил пистолет за храбрость, называл фамилию генерала и часть, но разрешения на ношение, бумаги, у него не было, и он костерил милицию на чем свет.

— Да поймите, — кричал он, — если бы его не захватил, спать нам под теми кустами. Вечным сном.

Милиционеры кряхтели, признавали его правоту, но пистолет сдать заставили. Один какой-то даже сказал:

— Незрячему с оружием опасно.

— Туды бы их в кафель! — кричал Анатолий. Он опять был веселый, жалел, конечно, пистолет, но как-то легко: «Что было, то сплыло!»

Приближалась весна, Пряхин и гармонист в обеденный перерыв располагались на островках просохшей земли, ели свою нехитрую снедь, захваченную из дому,

переговаривались о житье-бытье, но всякий раз разговор возвращался к бандитам.

— Будет ли когда такое время, — говорил азартно Анатолий, — когда все люди жить станут достойно? Честно чтоб! Не для других честно, не для видимости, а для самого себя? И чтоб высший судья, главный прокурор для каждого был бы он сам?

— Да-а, — вздыхал Пряхин. — Ну подумал бы тот толстомордый, сколько людей от него страдает! Ну ладно, девчонки мои ему неизвестные, что с голоду еле дышат — ему наплевать. Но подумал бы про себя — попадется же все одно! Про мать бы свою подумал, а? Каково ей узнать, что сын расстрелян как дезертир и бандит?

Анатолий не соглашался, спорил:

— Какова мать, таков и сын.

— Это ты брось! — строжал Пряхин.

— Ты говоришь, будто в церкви служишь, — смеялся Анатолий. — Всех простить надо! Всех понять!

— Всех простить невозможно, — расстраивался Алексей.

Он оглядывал прозрачное небо, вдыхал в себя весенний воздух, прерывал спор теперь уже привычным для них рассказом:

— Лужа блестит, словно начищенный поднос. Травка под рукой колется — еще не зеленая, желтенькая какая-то, блеклая. Голубь голубку за клюв схватил, целуются.

Потом к своей мысли возвращался:

— А вообще-то только тогда красота наступит, когда всех простить можно будет. — Смеялись. — Не ругайся, я не из церкви! Это значит, что грехи люди совершать станут только прощаемые. А грабеж, насилие, предательство, убийство, измена навсегда исчезнут.

Да, да. И убийство. И измена. Свой грех и грех Зинанды относил Пряхин сюда, к этому миру, далекому до совершенства, а там, в будущем, ничего такого быть не должно, не может, не имеет права...

— Ты знаешь, — сказал Анатолий, — я хоть и слепой, но очнь хорошо будущее представляю. Вот многие думают, будущее — это белые города, нарядные люди, сытые все, конечно. Я не против белых городов и нарядной одежды. Я против тупой сытости, знаешь. Ей-богу! Мне кажется, сытый сытого хуже понимает, чем го-

лодный голодного. Шкура, что ли, толще. Дубеет от сала. А надо, чтобы люди понимали друг дружку. Всегда. Когда поймут, пиши: настало будущее.

Алексей хотел посмеяться над капитаном, но очень уж серьезно тот говорил. Буркнул:

— Это ты хватил — против сытости. Выйди-ка сейчас на карусель нашу, объяви: «Я против сытости». Изобьют.

— Изобьют! — согласился Анатолий. — Потому что это сейчас. А в будущем не изобьют. Задумаются.

— Слушай, братишка! — закричал Пряхин. — Это который же тут в церкви служит?

Он схватил Анатолия за плечи, прижал его к груди, тот вывернулся, Алексея на лопатки повалил. Мужики катались по подсохшей земле, валяли дурака, и хорошо им было, как, пожалуй, бывает только в детстве.

Первым Пряхин опомнился:

— Слушай, неудобно, а? Люди на фронте, а мы тут с тобой как два щенка!

— Я уже свое отпогибал, — захохотал Анатолий, — да и ты тоже! Хочу как щенок! — Он толкнул Пряхина снова, они легли, подставляя лица солнышку.

— «Так ты думаешь, я слепой, сволочь, — вспомнил Пряхин. — А я просто хитрый!»

Они захохотали.

— И палочку в сторону. Ну, думаю, сейчас очки снимет!

Анатолий ржал, как молодой жеребец.

— И трах-трах-трах! Взял ты их в оборот! Не ожидали!

— Эффект неожиданности — есть такой прием в армейской тактике.

— Слышь! — спросил Алексей. — А ты чего ордена никогда не надеваешь? Да если б у меня столько — ночью бы не снимал.

— Неудобно, братишка, — посерьезнел Анатолий, — с гармошкой, у карусели, с орденами. Подумают — слезу выжимает. А так — слепой мужичонка, поди разбери.

Он замолчал. И это молчание Пряхин навсегда запомнил. Бывает же такое — мгновение ли, слово ли, жест запоминаешь на всю жизнь неизвестно почему. Много и слов сказано, и событий всяческих немало, вот

даже стрельба, но эту тишину в весеннем солнечном блаженстве Алексей запомнил отчетливо.

И слова запомнил, которые Анатолий потом сказал:

— Вот уж в День Победы все награды надену. И весь день играть стану эту — помнишь? — Он запел тихонько: — Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...

Опять помолчали.

— Ты же про шар любишь, — заметил Алексей.

— Люблю! — улыбнулся Анатолий. — Страсть как люблю! Слушай, давай в кино сходим, да я этот фильм, «Юность Максима», наизусть помню. Вот увидишь, тебе же еще рассказывать стану — где он с крыши прыгнул, где вдоль путей бежит. — Гармонист улыбался и, так вот улыбаясь, добавил: — Ну а «Вставай, страна» в День Победы играть надо. Понимаешь: плакать и играть. Чтоб вспомнить всех, кто встал тогда и кто никогда уже не встанет...

Нет, не любил Анатолий высокими словами разговаривать, схватил Пряхина за руку, спросил:

— А какого ты черта? Чего не научишься на гармошке? Легко же! И пригодится.

С того дня учился Пряхин на гармошке.

Когда народу нет — сядет на стул Анатолия, тот рядом стоит, указывает, какую кнопку когда нажать. Или в барабанах притулятся на полотах, которые Алексей построил. Или вот тут — на лужайке, которая все больше становится, все зеленей.

Слух, конечно, у Алексея нулевой — на глаз учится кнопки нажимать. Анатолий успокаивает — можно и на глаз, ничего страшного, потом привыкнет и глядеть не надо — на ощупь жми. Получается как будто уже первая строчка: «Крутится-вертится шар голубой!»

Вроде бы по словам вторая строка такая же, а вот по музыке — нет, другая. Елозит Пряхин пальцами по кнопкам, не может выучиться. Вот поди ж ты, музыка — веселое вроде бы дело, а пот выжимает, будто вагон с углем разгружаешь.

Вот такого — потного, с гармошкой в руках — застала Пряхина Маша.

Возникла, точно тонкий цветочек из-под земли вырос.

— Машенька пришла! — засмеялся счастливый Алексей и сразу: — Кушать хочешь?

- Нет, — ответила Машенька и заплакала.  
— Что случилось? — всполошился Пряхин.  
— Катя тифом заболела. В больницу увезли.

Алексей вскочил, отдал гармошку Анатолию, ругнул себя последним словом.

Успокоился, видите ли! Обменял костюм на муку, полмешка картошки принес — и утешился. Надолго хватит.

Алексей мчался к знакомому дому, едва шаг сдерживая, чтоб Машу не оставить. Тиф! Страшной пули сыпной тиф, еще в мальчишестве, когда шла гражданская, усвоил это. Пуля, если зацепит, то ничего, не убьет, а уж тиф, коли прицепился, не отвяжется просто так, и мало кто выбирался живой из страшных тифозных больниц.

В комнате бабушки Ивановны тошнотворно пахло хлоркой, матрасы на кроватях свернуты кулем, да и сами кровати отчего-то на боку лежали.

Бабушка сидела на стуле, руки между коленок зажала, голова тряслась пуще прежнего — будто хочется ей заплакать, а не может — вот и заставляет себя. Сзади, обняв Ивановну за шею, положив ей голову на плечо, стояла Лиза, и Алексей устыдил себя, что давал себе слово Лизу спасти, всех их вывести из этой войны целыми и невредимыми, а вот поди ж ты — успокоился, не пришел всего несколько дней — и Катя уже в больнице. Да в какой больнице! Сыпняк — дело заразное, не ровен час и девочки с бабушкой заболеют. Горе тебе, Пряхин!

Бабушка поглядела на Алексея, погладила Лизины руки, спросила:

— Неужто конец нам? Где справедливость-то?

Тиф косил семьями, об этом знали все, и у Пряхина от бессилия выступили слезы. Вот увидел он бандитов, не раздумывая в драку ввязался — без всякой надежды для себя, потому что там тоже речь шла о бабушке и девочках. А здесь? С кем здесь драться будешь? Где-то ползает эта вошь, которая укусила Катю. Может, убили ее санитары хлоркой. А может, и нет. Где увидишь ее, как узнаешь?..

— Вся надежда теперь на него! — проговорила бабушка, поднимая глаза вверх, и медленно перекрестилась.

Алексея будто кто-то толкнул.

— А ну-ка, — приказал он. — Собирайтесь!

Из памяти выплыл госпиталь, последние, перед выпиской, дни, когда слонялся он по коридору, выглядывая, тоскуя, в окошки, читал плакаты, развешанные по стенам. Забытое, ненужное вроде бы выплыло с яркостью и силой. При сыпняке обязательно проходят санпропускник, сдают в обработку, прожаривают в специальных шкафах всю одежду, все белье. И сжигают матрас, где лежал больной. Обязательно сжигают.

Придирчиво, внимательно, собрав в комок волю и те небольшие знания, которыми он располагал, Пряхин оглядывал фанерный шкаф, опустевший комод. Ох, как бедно жила бабушка! Все имущество семьи было на девочках и старухе да уместилось еще в небольшой узел — вместе с оконными шторами и тонкими одеяльцами.

Алексей нес его, отмеривая размашистыми шагами пространство до санпропускника, и бабушка с девочками едва попевали за ним. Он слышал, за спиной Лиза спросила:

— А как это нас прожаривать станут?

— Больно? — хныкнула Маша.

В другой раз он, может, и улыбнулся, а теперь не посмел, чтоб не сглазить. Вовсе не смешные вопросы были у девочек.

Часа два, которые ушли у бабушки и девочек на санобработку, Алексей использовал с отчаянием тонувшего человека.

Сбегал в госпиталь, рассказал тете Груне о своей беде, но охать и утешать себя не дал — велел достать хлорки. Во дворе бабушкиного дома развел костер и швырнул в него сухие ватные матрасы. Вытащил в огонь щелястый фанерный шкаф. Комод он оставил, комод, судя по всему, был единственным воспоминанием бабушки о ее молодости, зато достал ящики и шуровал по дереву раствором хлорки с тщанием прилежнейшей домохозяйки.

Он промыл все стены, пол и даже потолок, не надеясь на старание казенных санитаров, продраил каждую щелочку, каждый уголок, и к возвращению бабушки и девочек комната их походила на голую казарму, нестерпимо разящую нежилым духом.

Алексей радостно улыбнулся, а бабушка села на стул возле дверей и расплакалась. Пряхин удрученно

оглядел результаты своей работы. Ну верно, на первый взгляд Мамай по городу прошел. Кровати топорщатся голыми железными сетками, с потолка свисает на проводе тусклая лампочка, без шкафа комната опустела — сарай, да и только! Но это же нужно!

— Барахло, бабушка, дело наживное, — сказал Алексей бодрым голосом.

— А я не о барахле, — ответила Ивановна. — Катю жалко. Вроде как и след ее вымели.

Пряхин опешил, а девочки заплакали тоже. Он потушился, пристыдив себя: в суете этой мысль о Кате как-то отошла. Торопливо он принялся застегивать крючки на шинели. Мотнул сердито головой.

— Рано, рано! — сказал строго бабушке. — Рано плачете!

Выходя, потрепал по голове Машу, повернул к себе за подбородок Линзу. Взглянул в ее вишневые глаза и неожиданно улыбнулся, словно посмотрелся в чистое зеркало. Пообещал:

— Ждите меня! С хорошими вестями!

Но хороших вестей не получилось. В больнице, где лежали тифозные, сведений о больных не давали, а в маленькой проходной висел лист, куда заносили только умерших. Алексея такое правило ударило. Трясаясь, моля всех святых о пощаде, он прочитал чужие фамилии, вышел из проходной, успокаивая прерывистое дыхание и дрожащие руки. Что ж получалось? Или человек жив, или умер? Никакой середины? Никаких сведений?

Что же? Выходило, вот тогда Алексей видел Катю в последний раз. Она идет с чубатым пареньком, ест ватрушку, улыбается, говорит о чем-то с ухажером, а тот косит глаза в сторону карусели...

Пряхин мотнул головой, отогнал дурную мысль, обернулся озадаченно в проходной — что же делать? Как помочь Кате? Как выпарапать ее из этого барака, страшного не только своим смыслом, но и чернотой его стен, клочком бумаги на стене?..

Из проходной вышел высокий мужчина с саквояжем в руке, похожий на врача или, может, санитаря, и Пряхин бросился к нему, схватил за рукав.

— У вас девочка там! Школьница! Катей зовут!

— Отец? — спросил, не останавливаясь, мужчина, блеснул холодными стеклами очков.



— Отец! — не задумываясь, ответил Пряхин.

— Тяжкая у нас больница, — ответил мужчина.

Пряхин рванул его рукав, материя треснула.

— На кой же хрен ты! — крикнул он отчаянно, свирепея, теряя над собой контроль, и прибавил в неистовстве: — Саквояж!

Мужчина коротко рассмеялся, ничуть не смутившись. Пряхин отпустил его, они пошли рядом.

— Научи! — сказал глухо Алексей. — Что сделать?

— Масло, яйца, сметана, — ответил очкастый.

— Ты помнишь ее? Худенькая такая? Сегодня привезли, — добивался Алексей.

— У нас все худенькие, — хмыкнул доктор. — Помню. Пока плохо.

Пряхин остановился. Вот оно. Плохо. А обещал с хорошими новостями вернуться. И масло, яйца, сметану где взять?

— А насчет саквояжа это смешно, — сказал доктор, не улыбувшись. Алексей поежился от неловкости и побрел к карусели.

На фанерной дверце висел замок. Сердце заныло: значиг, опять Анатолий толкал бревно. Он отправился домой к гармонисту. Капитан возник на пороге, обрадовался, потащил к столу. Алексей от еды отказался.

— Зашел предупредить. Я с утра не буду. Пойду кровь сдавать.

Дома он бросил шинель на сундук, прошел к своей постели, вытащил из-под нее мешок, вытряхнул свои богатства на пол. Шарф и портянки — вот и все, что осталось там. Нет, продать или там поменять больше нечего, надеялся до весны дотянуть, да так оно и получалось, если бы не это несчастье, Катина неожиданная болезнь.

Тетя Груня внимательно разглядывала Алексея, сидела в обычной своей позе — одна рука поперек груди, поддерживает локоть другой и подбородок в ладони, а в глазах снова жалость.

Алексей повесил голову над пустым мешком. Тетя Груня будто спохватилась. Торопливым шагом подошла к сундуку и открыла его. Подбежала к комоду, выдвинула ящики. Обернулась к Алексею.

Он улыбнулся, подошел к благодетельнице своей, обнял ее: ох, дорогая душа! Но нет, ничего не возьмет он из этих ящиков. Грешно брать. В сундуке, знает

Алексей, лежат костюмы да пальто с шапками мужа и сына тети Груни. В комод — ее собственный скарб: платишки да белье.

— Думаешь, ничего у меня не осталось? — засмеялся он. — Ошибаешься, тетя Груня! Кое-что еще есть!

Он поднялся спозаранку, побрызгался под рукомойником, съел горбушку хлеба, основательно заправился кипятком: это, говорили, в таких делах помогает.

По странному стечению обстоятельств, донорский пункт и магазин для доноров, в котором по особым талонам выдавали продукты сдавшим кровь, находились в одном доме. В другое время это, может быть, кого-нибудь задело: что ж. выходит, только сдав собственную кровь, можно хорошо отовариваться? Но тех, кто стоял в очереди, ничуть не смущало. Да, в донорский пункт стояла очередь — многие надеялись тут же получить продукты, близость магазина оказывалась как раз порядочным удобством, — и Пряхин пристроился за высоким мужчиной.

Тот стоял, подняв воротник, потом обернулся, и Алексей узнал вчерашнего доктора.

Пряхин поздоровался. Доктор кивнул, пару раз повернулся, разглядывая Алексея, наконец сказал:

— А! Это вы!

— Ничего нового? — хмуро осведомился Пряхин.

— Еще не был в больнице, — ответил врач. И добавил, приглушив голос: — Значит, Саквояж?

Алексей снова поежился.

— Извините, сгоряча.

Но врач точно и не слушал. Пристально разглядывал Алексея сквозь отпотевшие очки.

— Единственная дочка? — спросил он.

— Да не дочка она, — ответил Пряхин и тут же испугался. — Единственная, ага.

— Понятно, понятно, — кивал доктор головой, а взгляд Алексея снова остановился на его саквояже. Чего ему понятно?

Вдруг Пряхина кольнуло: а почему он спросил, единственная или нет? Что-то случилось?

— Вы правда не были в больнице? — проговорил он сдавленно.

— Я же сказал.

Сказал... Мало ли что сказал. Врачи, они разве спросят, что просто так.

Алексей подозрительно оглядывал доктора.

— Я сейчас, — проговорил он, — я за вами, скажите, я сейчас.

Пряхин круто повернулся и кинулся к больнице. Он бежал по улицам городка, задевая прохожих, подстегивая и проклиная себя. Ему ли не знать этого! Сколько провалялся в госпитале! Сколько смертей видел рядом с собой! И знал, точно знал, не только по госпитальным разговорам — своими глазами видел, — что люди умирают под утро.

Как глупо! Забресжил новый день, а новый день — всегда надежда, и в это время человек умирает, ослабев от ночной борьбы.

Пряхин ворвался в проходную, когда медсестра, почему-то в черном халате — такого Алексей не знал — вывешивала новый список. Он пробежал по недлинному столбцу фамилий, не нашел Катю и подумал, что ошибся. Сдерживая дыхание, успокаивая себя, он пересчитал список снова. Вздохнул. Тьфу! Понемногу откашляло, отлегалось. И чего ему взбренила такая чушь?

Уже не бегом, а короткими пробежками Алексей вернулся к донорскому пункту. За Саквояжем построился длинный хвост, а он заметно продвинулся к входу.

Окончательно успокаиваясь, откашливаясь, улыбаясь, Пряхин встал на свое место.

— Слушайте, — сказал испуганно врач, — я, кажется, что-то не то спросил? Не так?

— Все так! — Алексей глупо улыбался. — Все так. Будет сегодня масло. А через денек яйца. Как вы велели, доктор.

Да он все с себя снимет, всю кровь отдаст, если только за этим стало — за маслом, за яйцами, за сметаной. Только бы Катя поправилась, только бы Катя!

Алексей ободрился, стал сзираться и увидел еще одну знакомую спину: Анатолий!

Ну и утро выдалось сегодня! Сперва этот длинный Саквояж. Теперь Анатолий. Стоит в очереди сдавать кровь. Это надо же!

Он подошел к приятелю, спросил, изменив голос:

— Закурить не найдется?

— Некурящий, — ответил бодро Анатолий.

— И неспящий? — в тон ему справился Алексей.

Гармонист узнал его, громогласно захохотал, ткнул кулаком в живот.

— Что это значит? — поинтересовался Пряхин.

— Понимаешь, — серьезно заговорил Анатолий, — ночью я прочитал, что кровь сдавать очень полезно, вырабатываются новые кровяные тельца, и организм молодеет. — Не выдержал, раскатился: — Хочу помолодеть!

— Каким местом читал? — проворчал Алексей, но подошла очередь Анатолия, медсестра крикнула: «Следующий!» — как в парикмахерской, и гармонист подтолкнул Пряхина:

— Я на тебя занимал!

Из донорского пункта Алексей вышел, поддерживая капитана, ощущая слабость в коленях. В голове позвякивали маленькие колокольчики, зато думалось как-то легко, словно глотнул из баллона чистого кислорода.

Магазин для доноров был чист, даже стерилен, как сам донорский пункт, народ по нему прохаживался неторопливо, чинно, не то что в обычном продуктовом, где всегда очередь и воздух согрет и несвеж от человеческой толпы.

Алексей получил топленое масло. Анатолий — свежие яйца. Конечно, неплохо бы попробовать эти забытые лакомства, отведать на зубок, вспомнить, какого все это хотя бы вкуса. Пряхин сглотнул слюну, одернул себя, обложив крепким словцом, аккуратно уложил покупку в авоську. Анатолий попросил:

— Кнись и мое.

Пряхин сложил пакет Анатолия.

— Ты в больницу? — спросил мирно гармонист, и Пряхин подтвердил. — Пойдем вместе, — кивнул Анатолий.

В эту минуту с ними поравнялся длинноногий врач, и Алексею пришло в голову послать передачу с ним.

— Доктор! — окликнул он. — Вы в больницу?

Долговязый охотно остановился, кивнул.

— Охо-хо-о, — протяжно вздохнул доктор, опять внимательно поглядел на Пряхина, — у меня ведь тоже одна дочка. И тоже там.

Вот ведь что... И вот почему он так спросил про Катю. Докторов, значит, тоже не жалует этот проклятый тиф.

Алексей понурился, ему и в голову не пришло спросить, чего это доктор кровь сдавать решил, ведь и доктора — люди, мало ли что, карточки потерял или еще какая нужда, — а выходит-то вот как!

Доктор вздохнул еще раз, спросил:

— Чем отоварились?

— Маслице! — улыбнулся Пряхин. — Вот Кате передайте, а?

Доктор согласился, раскрыл свой саквояж, Алексей сунул туда свое масло, Анатолий протянул пакет с яйцами.

— Ты чего? — удивился Пряхин.

— Ничего, — спокойно ответил Анатолий.

— Какого черта! — зарычал Алексей.

— Передайте Кате привет, доктор! — кивал головой Анатолий. — Да и дочке своей.

— Ждать надо, — вздохнул врач и двинулся своей дорогой, а Алексей костерил гармониста на чем свет стоит.

— Это мое дело, понимаешь! — крикнул он. — И больше ничье!

Анатолий постукивал палочкой землю, усмехался, слушая брань и крики Пряхина, но когда Алексей сказал это, повернул к нему усталое лицо.

— Замолчи, а? — попросил капитан.

Они замолчали оба.

Алексей думал про доктора, про его вопрос, единственная ли дочка у Пряхина, и про докторову дочку, которую не пожалел тиф, не захотел считаться, что у нее отец врач. Про Анатолия. Вон что выходит. Вчера с Нюрой все обрешили. Разве бы Нюра оставила мужа в очереди, не знай наверняка, что Алексей придет сюда и вернутся они вместе. И разве бы пустила Нюра Анатолия сдавать кровь, если бы не Катин тиф? Впрочем, кто мог остановить этого неистового капитана, если он на что-то решился? Скаженный какой-то.

Молча подошли к карусели.

— Гармонь-то у меня сегодня дома, — сказал Анатолий. — Сбегай, братишка!

— Может, и так сойдет? — поленился Пряхин.

— Нет, без музыки нельзя, — грустно произнес Анатолий и задумался. — Я вот думаю иногда, пустяками мы занимаемся, может, лучше к штампу, все-таки железки там для войны делают. А потом думаю — нет. Почитай, во всем городе музыка и веселье только у нас, на карусели.

Алексей хлопнул его по плечу, получил ключ, отправился к Анатолию домой.

Чтобы сократить путь, пошел через рынок. И нос к носу столкнулся с тетей Груней.

Снова занялось болью сердце: тетя Груня плакала в три ручья. Это какая же сволочь, какой мерзавец посмел обидеть ее? Алексея аж заколотило от злости.

— Кто? Кто? — выдавил он из себя, а тетя Груня все плакала, слова связать не могла. Потом рукой махнула и засмеялась. И снова заплакала.

Черт возьми, да что же такое? Ничего не поймешь: то плачет, то смеется. Не успокаиваясь, тетя Груня протянула Пряхину сумку — в ней баночка сметаны, а другой рукой за пазуху полезла и достала свиток денег — все сотенные, целый рулон.

— Ой, Алешенька, соколик, продала я пальто мужнее и сыновнее пальто, и шапки продала, и костюмы оба, никогда столько сразу не продавала, а денег-то, гляди, куча, кабы не потерять, и чего же я наде-елала, — снова слезами залилась. — Я ведь загадала, как продам, так уж тому и конец, не вернутся.

Пряхин схватил ее за руки.

— Чего наделала! — крикнул он. — Давай обратно. Покупателей найдем, вернем все назад!

— Не воротишь, — причитала тетя Груня, словно на могиле слезы свои проливала, — не найдешь, да и то ведь уж, наверное, нет соколиков моих дорогих, писем не шлют, значит, пропали без вести, лежат где-то в земле сырой, а тут девочка помирает, грех это, нельзя так, нелюдь я, что ли...

— Так и ты для Кати? — спросил ошарашенно Пряхин. И закричал отчаянно, толкая от себя тетю Груню: — Ну зачем же! Зачем! Я кровь сдал, купил ей, чего надо!

— Всю кровь не отдашь, — сказала тетя Груня, успокаиваясь сама, руку Алексея поглаживая. Как тогда, в госпитале. — Всю кровь не отдашь, а Катю мы спасем.

## Глава четвертая

### ПОЙ, ГАРМОШКА!

Пой, гармошка, играй, заливайся. Людям радость неси, отогревай душу.

Крутись, карусель, весели детишек: пусть слышится в городке ребячий смех.

Неизвестно, сколько там до победы еще, так пусть смех детский каждый день раздается. Пусть этот смех победу скорей принесет.

Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой...

Слышит Пряхин бодрый, озорной голос Анатолия, сам бревно свое толкает, крутит карусель и, закрытый от всех фанерной обшивкой, плачет, не стесняется.

Господи! Ведь счастлив же он! Как счастлив! И не оттого, что живой остался, нет. Счастлив, что не один. Что тетя Груня с ним, Анатолий. И бабушка Ивановна с тремя девочками тоже при нем.

Одиноким он был, страдал, когда Зинаида ушла, и чего, казалось ему, от войны ждать, одинокому человеку. Смерти?

Он ее не хотел, смерти, не жаждал, но готов к ней был, потому что смерть — это доля солдат, а война ему — на-ка! — счастье поднесла. Через горе и беду — счастье. Да с чем сравнится, с каким златом-серебром, с каким несметным богатством то, что тетя Груня и Анатолий сделали?

С какими такими кладами?

Верно говорил Анатолий — хорошо все-таки жить. Просто жить, не ожидая от судьбы никаких подарков. Просто крутить карусель эту, слышать ребячий смех. Знать, что ты не один, что ты нужен и что есть на земле люди, которые нужны тебе.

Вот говорят: любовь, любовь. Конечно, любовь все держит. Но не та, не любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине, а любовь человека к человеку. Это — высшее.

И он, Пряхин, любил женщину, Зинаиду, только обманула она его, и удавил Алексей эту любовь, сжал ее в кулак, растер в прах и на прах дунул. Что и говорить, непросто было ему, несладко, но перетерпел, перемог, сердце свое выжег.

Выжег, но жив остался. А без этой самой главной любви, без высшей любви человека к человеку, разве б выжить ему?

Да каждый шаг его проверь — все тому подтверждение.

Тетя Груня, утешительница, спасла его. Анатолий, гармонист веселый, силы прибавил и бодрость внушил.

Девочка Маша руку ему дала, в ладонь его свою ладошку хрупкую положила. Лиза, средняя, картофельных лепешек принесла. Бабушка Ивановна, которой с такое горе принес, — и та простила... Да разве ж это не любовь людская?

Высшая любовь. Тут не близкий близкого любит — тут-то бы все понятно, — а чужой чужого. Мог бы и спрятаться от вины, возможности открывались, никто и слова худого не сказал, коли уехал бы он в Москву: мало ли чего не бывает, каких несчастий, а все выжить хотят. Но чтобы выжить, надо другому помочь, вот какое дело. Не себе кусок урвать, а другому протянуть. Тогда и выживешь. Вот какой закон. Станный вроде, непонятный тому, у кого души нет, но зато кто душу сохранил — тому очень даже понятный.

Отдай другому и сам получишь, вот что выходило у Пряхина. И, свои мысли проверяя, словно жизнь перетряхивая, переспрашивая себя — а верно ли, а так ли? — убеждался он, что путь этот единственный, что любовью человеческой жива душа любого и всякого, что жил он в эти трудные дни благодаря другим — их теплу и сердцу, а на сердце и тепло отвечать обязан тем же.

Так совесть велела.

Утром и вечером заскакивал Алексей в комнатку бабушки Ивановны, недоверчиво щупал лбы у девочек, справлялся, не поднялась ли температура, не появилась ли у кого сыпь, потом мчался к больнице, в роковое, тягостное место — проходную, читал списки, сдерживая дыхание.

Каждое утро и вечер перед глазами Пряхина возникал реестр незнакомых фамилий, черед горя и тоски, и дни его — с гармошкой и веселым ребячьим смехом — как бы окаймлялись трауром больничных бед.

О Кате не было ничего известно. И все-таки было. Ведь передачи, еду для нее брали, значит, она ела, а раз ела, то, выходит, поправлялась.

Однажды Алексей увидел чубатого паренька. Тот стоял у карусели, глубоко сунув руки в карманы брюк, нахохлившийся, грустный, похожий на воробья. Пряхин подошел к нему, и парнишка спросил, не меняя позы, не выражая никаких чувств:

— Как Катя?



Алексей пожал плечами, но все-таки улыбнулся. Надежда, пожалуй, была, хотя ничегошеньки не знал он о Кате.

— Тиф, сам понимаешь. Заходи, — ответил Пряхин.

И паренек заходил. Возникал то на пригорке возле карусели, то у входа, то заглядывал прямо к Алексею, отворив фанерную дверь.

Алексей мотал головой. Или вздыхал. Или просто глядел уставшим от ожидания взглядом, и парнишка опускал голову. Всякий раз, правда, он просил прокатиться. Конечно, разве жалко? Алексей кивал Катинному ухажеру на лошадок, тот выбирал синюю или красную, чаще всего усаживался напротив фанерной дверцы, и Алексей, не закрыв ее, глядел на паренька.

Ох, молодо — зелено! Только что паренек печалился, спрашивая о Кате, а через минуту глаза его светились детским счастьем, он хохотал, чуб трепыхался на ветру, и ни про какую Катю он уже не помнил, весь, до последней косточки, отдавшийся стремительному кружению.

Пряхин не осуждал паренька, напротив, ему нравились эти мгновения чужого и такого простого, такого наивного счастья.

А солнце над городком поднималось днем все выше, и никакого дела не было ему до войны, до беды, до голодухи. Выбираясь из сумерек фанерного барабана, Алексей жмурился в солнечном море, непроизвольно улыбался, потом строжал, полагая, что бессмысленная радость его неуместна, ни к чему, делился этой мыслью с Анатолием.

Гармонист обзывал его дураком.

— Если хочешь знать, — говорил капитан, — солнышко все разумеет. Почтище нас с тобой. Война идет, а оно знает — скоро войне конец. И всем об этом сообщает. — Смеялся. — Ему же с высоты виднее!

— Слушай, мудрец, — спросил его однажды Пряхин, — с какого ты года?

— Родился я, — ответил гармонист, — седьмого ноября семнадцатого. По новому стилю. Человек нового мира.

— Что? — Пряхин выкатил глаза. Анатолий всегда вроде как пример ему подавал, казался Алексею если и не старше, то хотя бы ровесником, а ему двадцати восьми нет.

Новым взглядом окинул Пряхин гармониста. Это верно — черные очки и синие оспины на лице человека калечат, делают старше, но не может быть, чтоб настолько. Ну и досталось тебе, человек нового мира, хлебнул, видать, а ничего не говорит. Молчит. Орденов полная грудь, и хоть бы слово про войну, про фронт, про свое ранение.

— Так что ты на солнышко не грехи, — веселился Анатолий. — Рассказывай лучше, что видишь.

Алексей присел на лошадку, начал свою речь, похожую на причитания тети Груни:

— Воробей в луже купается, перышки распустил, тополь малиновые сережки развесил, трава зеленая, — и споткнулся, точно ударили его.

Да что там ударили — стукнули, да и все, простое дело, — тут не ударили, тут нож всадили. В спину! По самую рукоятку.

— Трава зеленая, это точно, это я и без тебя знаю, — толкал в бок Анатолий, — ты расскажи, какая она зеленая? Чего увидел?

Чего увидел? Траву зеленую увидел, а на ней стоит Зинаида и пальчиком его манит, а за Зинаидой тетя Груня улыбается.

Приехала! Улыбается! Пальчиком манит! Но не это удар в спину.

Другое. Никак Пряхин глаз от Зинаиды отвести не может, от живота ее. Явилась в срамном виде, на сносях. К нему явилась.

Ему дыхания не хватало, ловил ртом воздух, наглотаться не мог. Ну есть ли подлости людской предел? Нагулялась! А теперь заявила! И пальчиком еще манит!

Сам не понял Алексей, как заскулил он. Не плач это был, не смех, а именно что поскуливания загнанной в угол собаки.

Анатолий его за плечо схватил:

— Что ты? Что с тобой?

Пряхин взглянул мельком на гармониста. Счастливый человек — глаз нет. Не видеть бы и ему собственного своего унижения, оскорбления, измывательства над собой.

— Ничего, — через силу ответил Анатолию. Не говорит гармонист ему о себе, жалеет, видно, раз не говорит, не считает нужным распространяться о том, что

было, так вот и он помолчит о том, что есть. Повторил уверенней: — Ничего.

Остыл взгляд Алексея, сделался стеклянный. Смотрит он на Зинаиду и будто не видит ее. Будто не видит тетю Груню. Точно вымерзла его душа. Минуту назад он улыбался блаженно, да уж, видно, так устроена эта жизнь. Из огня да в полымя. Пришла беда, отворяй ворота. И нет — верно он думал! — нет любви между мужчиной и женщиной — между мужчиной и женщиной одна гадость, одна грязь, — есть только любовь чужих людей, единственное и высшее. Все прочее — бред, выдумки, прах, от которого боль непереносимая, слезы измен и унижений, обида и ненависть...

Молча, неотрывным, мертвым, пустым взором глядел он на зеленую, нежную траву, которую мяти, топтали ботинки Зинаиды.

Ушла. Исчезла вместе с тетей Груней, сердобольной до несправедливости. Сгнула, ранив навсегда своим видом Алексея.

— А все же, — сказал бодрым своим голосом Анатолий, — сводил бы меня в кино, братишка! На «Максима». Сколько прошусь. Говорят, идет.

— Пойдем, — согласился Алексей не своим голосом. Но Анатолий словно не заметил. Запел тихонько:

— Крутится-вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть! Брось! Не горюй! Все образуется! Солнышку сверху видней!

Ох, черт побери! Первый раз захотелось Пряхину послать Анатолия по дальнему адресу. Ну ж разве не понять? Есть моменты, когда шутка колом в горле встает. Помолчать лучше. Или напиться.

Вот! Настала пора напиться ему, в самый раз. Алексей вспомнил, когда последний раз пил. Было это после большого горя. Достала тетя Груня самогону где-то, и он пил не пьянея.

— Давай выпьем, — предложил зло Алексей.

— С радости? Или напротив? — засмеялся Анатолий.

— С радости! — крикнул Пряхин, торопясь от карусели. — Еще с какой радости — слезы душат.

На рынке он отыскал, что хотел — стоило только приложить старание, как самогон на рынке находился, вернулся с оттопыренным карманом, прямо из бутылки, через горлышко отпил половину.

— Ты за что? — спросил Анатолий, не устывая веселиться. Они забились в фанерный барабан, сидели на лежанке, дверцу прикрыв.

— Не знаю! — ответил Алексей. — Все равно.

— А я знаешь за что? За детей. Не за тех, кто на карусели нашей катается — эти и голодуху знают, и все другое, что война принесла, — а за тех, кто после войны родится, понимаешь. За тех, кто про такую карусель, как наша, и понятия иметь не будет — достанет им хорошей, настоящей радости. В общем за тех, кто не будет знать, что такое война.

Анатолий опрокинул бутылку, отпил свою половину, его передернуло. Хлопнул Пряхина по руке:

— Айда в кино!

Точно поменялись они местами.

Когда в фойе вошли, билетерши за спиной шушукались, головами покачивали — как их не понять: слепой в кино пришел. А погас свет, и Анатолий с Пряхиным будто глазами поменялись.

Алексей глядел на экран и ничего не видел. Что-то происходило там, что-то говорили и делали артисты, но, спроси его, ничего бы не вспомнил. Зато незрячий Анатолий улыбался во весь рот, шептал Алексею: «Теперь побежал! Теперь остановился! Сейчас песню запоем!» — и точно, артист пел все ту же, любимую Анатолия. Единственно, что доходило до Алексея, — это песня. Да и то не потому, что он слышал ее сейчас, а потому, что знал раньше.

Крутится-вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украть!

Вот тебе и вертится-крутится! Докрутился шар голубой! Довертелась Зинаида!

Она не выходила из головы Алексея. Волнами, постепенно захлестывая его, наплывало новое чувство — ненависть.

Он ненавидел Зинаиду. С каждой минутой все больше. Явилась полнехонька! Ну ладно, ее жизнь — ее дело. Как она там и что у нее — его это не касается. Все для Зинаиды Пряхин сделал. Поехала в Москву как жена. Пропала? Пошла своей дорогой? Все — ладно, все — так. Но зачем же являться сюда? Зачем сердце чужое рвать? Зачем измываться? Живи своей жизнью, отстань, не трогай, подумай: можешь боль причинить.

Алексей почувствовал руку Анатолия. Тот взял Пряхина за запястье, шепнул:

— Счастливцев!

Алексей словно проснулся. Вроде как оголенным проводом его задело и током тряхнуло. «Счастливцев»? Да чем же он счастливцев-то? Зинаидой, может, ха-ха! Горем своим — тем, в гололед?

Но Анатолий повторил:

— Счастливцев! Все видишь!

Да разве же этого достаточно: видеть, дышать, жить, чтобы быть счастливым? Мало этого, очень мало! Здоровый, зрячий, сытый может быть последним бедолагой, разве это не ясно?

Когда вышли из кинотеатра, капитан посоветовал:

— Только лошадей не гони!

Про что он?

— Решать будешь, лошадей не гони! Сплеча не руби!

Вон как. И впрямь ведь слепой, а все видит. А лошадей — лошадей гнал не он. Не он и виноватый.

Вечером тетя Груня подступиться к Алексею взялась:

— Смягчись, соколик, смилуйся!

— Да о чем ты говоришь, святая? Зачем и правое и неправое рядом умащиваешь?

Тетя Груня расстроилась:

— Даже в старое время говаривали: не вели казнить, дай слово молвить.

— Какое еще слово? — рассвирепел Пряхин.

Тетя Груня его рассматривала внимательно так — голову поворачивала то в одну сторону, то в другую. Словно картинку. И картинка та отливает на свету, блестит. Уперлась рукой в подбородок.

— А такое, — сказала, — с поезда ее сняли перед Москвой, далее не пустили, потому как тебя, мужа то есть, не оказалось, и застряла она, бедная, на какой-то станции. Спасибо, люди добрые и там нашлись, пригрели, уголок нашли, на работу устроили, пока вот не радость эта.

— Какая радость? — задохнулся Алексей. — Беда!

Тетя Груня его перекрестила издалека, как тогда, на вокзале, когда уезжали Пряхин и Зинаида в Москву.

— Окстись! — прошептала. — Сглазишь! И так боится тебя, к подруге ушла, здесь ночевать не согласилась.

— Тетя Груня, что ты мелешь! — Алексей так сжал кулаки, что костяшки побелели. — Да ведь она мне, ведь она...

Он задохнулся, но тетя Груня его оборвала:

— Тебя самого беда обидела. Как же ты другого человека понять не можешь?

Пряхин всю ночь не спал. Эти слова тети Груни как бы остановили его. Занес он меч над Зинадой, а добрая тетя Груня нашла такое словечко, что меч застыл. Совесть в палаче пробудила.

В палаче? Думал Алексей ночью над этим страшным словечком, и по всему выходило, что это он, великий, при жизни не прощаемый грешник, вдруг сам же становился палачом Зинаиды.

Какое право у него судить другого, коли сам осужденный?

Наутро он поднялся ни свет ни заря и ушел в больницу. В проходной висели вчерашние списки, новых еще не было, и он топтался на улице.

Утро занималось розовое, нежное, солнце выкрасило крыши городка неземными красками. Поверить Анатолию, так здесь рай, а не жизнь — ведь солнцу виднее с высоты. Розовые дома с желтоватыми, золотистыми стенами. Тополя высеребрены дорогой чеканкой. А зелень отлиывает голубым. На земле такого и не бывает. Неправда все это — обман зрения. Картинка, показанная из другого мира.

Вот поднимается солнце чуть выше и само же фантазию свою сотрет. Будут дощатые бараки, рубленые избы со старыми, протекающими от дождей тесовыми крышами, грязные тротуары — все будет как есть оно в самом деле.

И никаких иллюзий.

В больницу шли врачи, санитары, сестры — к утренней, видать, смене, и Алексей увидел того, долговязого с саквояжем. Длинноногий доктор кивнул ему издали, сказал доброжелательно:

— Катя-то ваша молодец! Забирайте!

Словно плыл Пряхин по волнистому морю. То вниз его швыряло, то та же самая волна выкидывала вверх. Катя! Поправилась! Наконец-то!

Он кинулся к дому бабушки Ивановны. Бежал по улице, всматривался в лицо городка и удивлялся Анатолию. А ведь он прав, веселый гармонист. Прав снова! Солнцу с высоты виднее. Городок цвел красками не-

земной красоты, только — вот беда! — не все замечали это! Шли, понурясь, на работу, брели в школу и даже озирались по сторонам, а красоты этой не видели. Нет!

И вот Катя.

Хлопает глазами — они как будто больше стали на истаявшем, исхудавшем лице. Стоит в платице — бабушке школа Катина помогла, подарили чужое платье, нарядное, правда, красное с белыми горошинами. Ножки тонкие — с руками сравнялись. Голова под нулевку стрижена.

Не поймешь, что за создание: голова мальчишки, одежда девочки. Стоит в дверном проеме — руки по швам, лицо к Алексею. Он руки к ней протягивает, губы зубами прикусывает — чтоб не тряслись и чтоб не расплакаться. Руки протягивает, а сам боится, как бы Катя назад не отступила, не сказала опять: «Не нуждаюсь!»

Но Катя стоит, и тогда Алексей подхватывает ее и берет как маленькую — господи, какая пушинка!

Он поворачивается и показывает Катю на вытянутых руках бабушке, Лизе и Маше. Вот она! Жива. И все слава богу!

Бабушка справа, Лиза слева, Маша сзади — втроем держат Катю. Идут медленно, махонькими шажочками. Алексей движется сзади. Оглядывает нелепую кучку. Сердце сжимается у него.

Что ж выходит — обошлось?

А если бы нет!

Сил у Пряхина думать о таком не хватает. Да и солнце не дает: палит яростными лучами, размягчает. Алексей снова настороже. Сколько раз было: только радость настанет, как снова беда. Вздрагивает, озирается. Они мимо госпиталя идут. Алексей просит остановиться, бежит за тетей Груней, появляется с ней.

Тетя Груня целует Катю, будто не видалась давно, а так — родные, хорошо знакомые, и вдруг протягивает ей яблоко. Надо же, чудо какое! В городке яблоки вырастают маленькие да кислые, а тут золотое, желто-розовое, прозрачное, кажется, даже косточки видны.

— Раненый угостил! — говорит тетя Груня. — Южный человек. Так это тебе, деточка, поправляйся скорей! — А сама платочком глаза утирает.

Они идут дальше. И вдруг Пряхин видит, как по другой стороне чубатый парнишечка движется. И не один — с какой-то девчонкой. Не в обнимку, ясное дело, даже не под ручку, но идут, весело смеются и видят Катю.

Алексей обрадовался, думал, парнишечка дорогу перебежит, с ними двинется, но тот только кивнул, и Катя ему кивнула.

Пряхин заметил, как парнишечка замедлил шаг, наверное, поразил Катин стриженный вид, смутил, что ли, ах, глупый человек! По Катиним щекам прополз нездоровый, пятнами, румянец и исчез, уступив место какой-то просини! Это ж надо! Что он с девчонкой делает!

Алексей резко повернулся, побежал за парнишкой, настиг его, схватил за руку.

— Но ты же приходил, спрашивал!

— Но и что? — высвободился тот, но покраснел, до кончиков волос покраснел. — Это вы ей дядя, а я ей не муж.

Пряхин хотел было хлопнуть его: щенок ты этакий, как можешь! Но рукав мальчишки отпустил. Подумал, к пацану этому стараясь прицепиться: не зря он на карусели катался, наверное, покататься и приходил. Но тут же себя одернул.

Эх зелень! Все у них не всерьез еще, все по-детски. Катю только жаль. Да еще в такой день.

Он чертыхнулся, пошел вдогонку за бабушкой и девочками, настиг их быстро. Только Катя и заметила, кажется, его действия, посмотрела растерянно, вспыхнув при этом, он не выдержал, глаза спрятал.

Катюша, дорогая, как тебе сказать? Образуется все, пройдет. Это у тебя детское, словно корь. А ты вон тиф, тяжелую болезнь, уже перенесла. Пройдет! Только сама будь... Он подумал: не как Зинаида, и плюнул с досады. Опять Зинаида! Да что его, заколодило на ней?

Вечером после работы Алексей пришел к бабушке с Анатолием. Гармонист развернул свой инструмент и по случаю такого праздника завел:

Выходила на берег Катюша,  
На высокий берег, на крутой!

Когда шли сюда, Алексей рассказал ему и про Катюшу, и про того парнишечку, и про то, как он опро-



метчиво, пожалуй, поступил сегодня, не заставив парня хотя бы для видимости навестить девочку.

— Правильно и сделал! — отрубил Анатолий, и вот теперь, перед праздничной пшенкой — раздобыла где-то Ивановна, — наяривал на гармошке. Маша и Лиза ему подтягивали, потом запел Пряхин, не устояла и бабушка. Одна Катя молчала, она была растерянна, верно, парнишечка крепко засел ей в сердце, но, с другой стороны, вышла она из больницы, а это праздник, да еще какой.

Вот и она подтянула, запела, улыбнулась все-таки. Алексей словно камень с сердца свалил: вздохнул облегченно. Верно, Катюша, только одна любовь сильна на этом свете — чужих людей. Вот они сидят тут за столом, слепой Анатолий и Пряхин, чужие люди они семье Ивановны, а не разведешь.

Алексей взглянул на Анатолия и будто споткнулся. Давала трещину его теория. Какой же Анатолий ему чужой? И разве бабушка Ивановна с девочками — чужие?

— А ну-ка, ученик! — закричал Анатолий, передавая Пряхину гармонь. — Давай теперь ты.

Алексей взопреп от волнения, но все же не отказался, скосил глаза на пуговицы, запел хрипловатым голосом:

Крутится-вертится шар голубой...

Не выходило у него так, как у капитана, — ловко и легко, но все-таки получалось немножко. А сегодня прямо-таки здорово выходило!

Так казалось ему, по крайней мере.

Девочки, бабушка, Анатолий — все вместе, за одним столом. И он, Пряхин, их гармошкой веселит. Все улыбаются, разглядывают его, будто чудо какое.

А бабушка Ивановна даже головой как будто меньше трясет.

В ночь под Первое мая неожиданно гроыхнула гроза.

Приподнявшись на постели, Алексей вглядывался в заоконную сумятицу. Крупные капли со звоном бились в стекло, струи соединились в плотный занавес, спрятавший дома, — по занавесу пробегали острые, ломаные молнии.

Пряхину не спалось, и, выглядывая за окно, он подумал, что на душе у него точно на улице — такая же неразбериха. Смешались тоска и радость, но ведь радость, известное дело, избывна, коротка, пройдет, а ее место заступят заботы и тоска, скрывшаяся вроде до поры в тень, выйдет и займет всю его грудь и все сердце.

Алексей лежал с широко открытыми глазами и думал про Зинаиду. Вечером тетя Груня сообщила, что ее отправили в роддом и надо ждать радости. Он ничего не ответил старухе, прошел за свою занавеску, лег на кровать.

Теперь, когда отступила первая боль, пробовал Алексей разобраться в Зинаиде. Ведь как уговаривала уехать! Какие слова выбирала! Дескать, нас беда снова вместе свела. И он поверил. Бывает и такое, что ж. Счастье и благополучие разводят, а беда обратно соединяет. Зинаида ведь тогда казалась страдающей. Настрадавшейся, хлебнувшей горя, не сердцем, а умом решившей вернуться в прошлое.

Как она сказала тогда? «Все — сначала!» И он ведь эти слова знал, тоже их выболел. Хотел начать в городке — уютном и теплом — всю свою жизнь сначала, да не вышло, не получилось.

С самого начала невозможно, не бывает с начала. Жизнь отмерена человеку раз, вот в чем дело. Повернуть да попробовать по новой — так нельзя, против правил. Вот он и остался.

А она уехала. Значит, жизнь Зинаиды должна была продолжаться по той дороге, тем поездом, идущим до Москвы. И вот вернулась, хочет повторить, как тогда: Петро погиб, и она пришла к Алексею. Но сейчас-то кто погиб? Какой еще там Петро?

О чем же думала она, когда возвращалась? На кого рассчитывала?

Что Пряхин — Христос? Все прощающий, все сносящий. Принимающий страдания как должное, как то, что ему отведено на роду.

Нет, он не такой. Тетя Груня — вот она умеет это. Все простить и понять. А он — дай бог ему со своими бедами справиться, нет уж, Зинаида, уволь...

Неожиданно, словно молния озарила память, вспомнил он слякоть, глину на склонах, когда машину его заносило, околевавшую прямо в оглоблях лошадь и Зинаиду, сидящую в грязи.

Пряхина словно хлестнуло — а может, а может...

Вот он на пороге комнатки, похожей на пенал. В углу железная койка, у стенки столик и табурет. И они...

Пряхин выругал себя за этот порыв, за эту случайную близость — необъяснимую, ненужную, не принесшую радости: все случилось точно в тумане, в полусне.

Алексей поглядел в окно. Гроза продолжалась. И в душе у него тоже шла гроза...

Но ведь это было!

Пряхин ударил подушку кулаком. Мало ли что было! Он ведь взрослый человек. Вон как миловались они с Зинаидой тогда, до войны, но ведь не тронуло это ее, не задело. При чем же он сейчас?

Боль снова вцепилась в Алексея — въедливая, неотступная, злая.

А молнии вспыхивали одна за другой.

Они мелькали беззвучно, и, чуть переждав, гроыхал гром. Артиллерийской канонадой входила в городок весна.

Не узнать городок! За ночь вымылся, вычистил грозой свои улочки, до желтого влажного блеска промыл булыжник, деревянные тротуары, тесовые крыши. Сполоснул и карусель возле рынка.

Да что карусель, музыку и ту, кажется, помыл — звонче поет гармошка Анатолия, разливается на все голоса.

И народ на гармошку валом валит: еще бы, наши войска в Берлине! На лужайке возле карусели гулянье. Гуд стоит, смешки раздаются, то и дело под гармошку Анатолия кто-нибудь в пляс пустится — так что как бы на два фронта играет: для карусели и для плясунов. А к лошадам — голубым и красным — очередь петлей вьется. Сегодня не одна малышня — и взрослые покатаются не прочь. Планшетка на боку у Анатолия от рублевков распухла, Алексей гимнастерку скинул, майку снял — голый по пояс круги свои совершает, пот с него градом валит, и галифе у ремня мокрое, хоть выжимай.

Вроде как можно бы и перекур устроить. Или vybrаться из фанерного барабана, кликнуть охотников — нашлись бы, что говорить! — да и гармониста смени-

ли — отдохните, инвалиды, а мы сами тут повеселимся. Можно бы и так, что говорить. Только рот открой, но неудобно, нельзя. Все же прости у них есть в рабочие дни. Надо наверстывать, веселить народ, да еще сегодня, в Первомай, когда наши там, в самом фашистском логове!

Вот и добрались до гадов! Скоро, скоро победа! Уж не ее ли дожидаясь, помылся, почистился городок? Уж не по этой ли причине люди толпятся у карусели? Точно чего-то ждут не дождутся.

Время от времени Пряхин, мокрый и взлохмаченный, приоткрывал фанерную дверцу, смотрел в щель на толпу, высматривал знакомые лица, ждал девочек. Но их ждать не требовалось — сами пришли. Все втроем возникли в дверном проеме, он смутился своего вида, особенно шрамов на животе, потом махнул рукой — вроде как рабочего вида не стесняются, — усадил их на полати.

— Тут еще интереснее! — сказала Маша, оглядывая крутящийся сумрачный барабан.

Алексей ликовал, глядя, как девочки прижались друг к дружке на его лежанке, словно три голенастых птенца. Катя повязала голову косыночкой под стать платью — красной, кумачовая вся, даже, кажется, лицо ее порозовело от красного цвета — смущенно отводит глаза. Маша — та на Алексея зыркает простодушно, зрачки как два фонарика — то туда, то сюда, — не моргая, разглядывают мир, ожидая добра. Лизины глаза смотрят осторожно и ласково, утопая в густых ресницах. Она как бы посерединке — между Катей и Машей. Нет еще взрослого смущения во взгляде, но нет и детской наивности — в ее возрасте настало благодное равновесие, полное надежды и веры.

Вот сидят, притулились друг к дружке три девочки, три будущие женщины, три матери, крутятся вместе с каруселью и не думают о своем высоком предназначении. Страшно, что столько мужчин погибло в войне, но страшнее, если вместо мужчин погибли бы женщины, ведь женщина — всему начало и всему продолжение на этом свете.

Алексей остановился. Музыка стихла — Анатолий собирал рублевки, впускал на карусель частицу очереди.

— Мы не знаем, — произнесла охрипшим от волнения голосом Катя, — как вас называть...

Пряхин оторопело взглянул на нее, отвел взгляд и усмехнулся. Действительно, ни бабушка, ни девочки никак не называли его. Он был для них просто солдат. Наверное, даже, пожалуй, имя его им известно, да и фамилия тоже, но до сих пор обходилось без этого.

— Алексеем меня кличут, — сказал Пряхин и добавил: — Ивановичем.

Катя кивнула, и Маша пискнула:

— А можно дядей Лешей?

Грянул туш — знак, что пора начинать. Алексей уперся грудью в бревно, карусель неохотно тронулась, набирая скорость, разгоняясь, и, отвернув голову, чтобы не видели девочки его лица, Алексей крикнул:

— Можно!

Дядя Леша!

Он думал весь день, как скажет об этом Анатолию. Как тот засмеется, ткнет его куда-нибудь в бок или в живот, скажет: ну вот, видишь, солнышку сверху виднее, я же говорил тебе, Фома неверующий, — закатится, залется веселым дребезжащим смехом, который Алексея жить заново научил.

Ах, кабы знать да ведать!

Остановил бы Алексей карусель, выбрался к Анатолию, поговорил с ним на прощание, сказал самые главные и важные слова, которые люди друг дружке при расставании говорят. Но ничего такого не сделал Пряхин. Крутил карусель, толкал перед собою бревно по кругу, потел, как лошадь на току, радовался своему маленькому счастью — «дядя Леша!» — и не думал, что в такой умытый, праздничный день, когда и крыши блестят, как новые, когда люди улыбаются, праздника ждут, когда трава, освеженная грозой, ударила в рост, не думал, что в такой вот добрый и ласковый день может случиться беда.

Карусель крутилась до позднего вечера, а вечер в мае наступал не скоро, и допоздна звучала у рынка гармошка. Потом все стихло.

Пряхин дождался новой команды гармониста, но ее не было, и он принялся обтирать мокрое, потное тело майкой. Не спеша причесался, надел гимнастерку, подпоясался ремнем, сунул майку в карман галифе и вышел к лошадам, вдыхая теплый, напоенный весенними ароматами воздух.

Анатолий сидел, положив голову на гармошку, — устал, видно, зверски, ему же досталось будь здоров. — Ну и денек выдался, а? — спросил его Алексей, но гармонист не ответил.

Пряхин взглянул в его сторону, но ничего не понял. Был он переполнен своей тихой радостью, этим вечером — теплым и ласковым, воздухом, обдувавшим разгоряченное, усталое тело.

— Братишка! — окликнул он Анатолия. — Ко мне девочки приходили и...

Ему показалось, что Анатолий сидит как-то неестественно, — откинувшись телом на спинку стула. Голова неудобно лежала на гармошке.

Одним прыжком Пряхин приблизился к гармонисту, осторожно положил ему ладонь на плечо, хотел спросить, что случилось, и отпрянул. Рука Анатолия безжизненно поехала вниз, растянула мехи гармошки, и та издала бессмысленный, протяжный звук.

Анатолий! Гармонист! Капитан!

Как только не звал Пряхин друга, каких только не выкрикивал слов в истерике, в плаче, в безумной, неожиданной беде.

Нет! Это было невозможно, невероятно!

Анатолий? Веселый человек, который и ему, Алексею, веселье внушал? С чего бы? Почему? Так? Вдруг?

Ведь он же не жаловался никогда. Никогда ни словечка не вымолвил про свое здоровье. Одним он тяготился — темнотой. Видеть он хотел, вот и все, но от слепоты не умирают. Слепые живут. А он?

— Анатолий! — кричал Алексей, сходя с ума. — Братишка!

Он не сдержал себя.

Он кричал, как ребенок.

Нет, в это нельзя поверить! Он боялся за Катю, и только что беда отступила от нее. Он боялся за бабушку и ее девочек, потому что был в ответе за них. За Анатолия он в ответе не был. Но не потому, что не боялся за него, не потому.

Гармонист смеялся!

А ведь когда человек смеется, у него должно быть все в порядке.

Алексей осторожно положил Анатолия среди лошадок — красных и синих, — снял черные очки и заглянул в пустые, страшные глазницы.

Мертвым закрывают глаза, но веселому капитану война давно их закрыла. Давно увидел он черноту, не признавая ее своей смертью. Смеясь над ней.

Алексей замер над другом. Рядом стояла гармошка. Отработал честно день, выдержал праздник от начала и до конца, сделал свое дело и умер. Шаг за шагом, точно распутывая клубок, вспомнил Пряхин их с Анатолием дни.

Зимняя, такая странная и ненужная карусель. Голос гармошки и веселая, не к месту, песня. Первый разговор и поездка в деревню. Бандиты на дороге, и Анатолий, стреляющий на голос. «Ты думал, я слепой, а я хитрый!» — крикнул он тогда толстомордому и начал палить в сторону бандитов. Пистолет был подарен ему за храбрость, да еще куча орденов была у него — вот и все, что знал Алексей про войну Анатолия. Не хотел он говорить о фронте. Не желал вспоминать, и все. А ведь мог бы вспомнить, хвастаясь. Ордена за так на войне не дают.

Но он не вспоминал. Все смеялся. Думал о будущем. Пил за ребяташек, которые только после войны родятся. Говорил, что ордена наденет лишь в День Победы — боялся ими слезу выжать. Кровь сдавал, чтобы Катю спасти, Алексею помочь.

— Братишка! — крикнул Пряхин. — Братишка!

Из тьмы на крик вышла Нюра. Алексей обернулся к ней, подавил стон: ей же еще тяжелее.

Нюра молча припала к Анатолию, а когда подняла голову, стояла глухая ночь. Алексей взгляделся в Нюрино лицо, но слез не увидел.

— Каждый день ждала этого, — сказала Нюра. — Он же осколками напичкан. Один был у сердца.

Горе! Да отступишь ли ты когда от людей?!

Будет ли, настанет ли когда такое время, когда лучшие станут жить вечно, а не умирать совсем молодыми?!

Почему несправедливо устроен мир?

Ходят по белу свету фашисты, прячутся дезертиры — толстомордые, здоровые, как тот бандит, снесу им нет, — а добрые, хорошие, настоящие умирают под вражьей пулей, под осколком, который у сердца притаился, под укусом тифозной вши, под тоскливой хваткой

голода... И можно ли придумать способ, чтобы справедливость восстановить?

Чтоб в мире этом новом ходили по улицам седые добрые старики и старухи, чтоб наставляли они молодых на чистый путь, чтобы рядом с ними жили только хорошие люди — мужчины и женщины, — верные друг другу, любящие стариков и детей, почитающие старость и детство, всегда и ко всем — без разбора — справедливые.

Ведь тогда же настанет благоденствие и покой на земле. Исчезнут, забудутся навеки войны. Здоровые и красивые люди оберегут своих детей не просто для продолжения рода, но для продолжения справедливости и чести!

Нет, не сбила Алексея с ног война, ранение, беда, которой настиг он бабушку Ивановну и девочек, — справился, выдюжил, хоть и с болью, с трудом, а тут не выстоял. Сбила его с ног смерть Анатолия.

Продал шинель и запил.

Умолкла карусель, не поет гармошка отчаянным, веселым голосом. Грех веселиться! Ходит по рынку Алексей Пряхин с мутными глазами. Выйдет, пошатываясь, с рынка — к дому бабушки Ивановны приблизится. В дом, однако, не войдет, двинется к госпиталю. Постоит бессмысленно возле лестницы, на которую, в эту жизнь возвращаясь, вышел когда-то. Лучше бы не выходил, не возвращался. Потом к баракам идет, где Катя с тифом лежала.

Умолк Алексей. Ни с кем не говорит, ни на чьи вопросы не отвечает. Словно застыл, замер. Бродит по городу, точно обходит места счастья своего и своих испытаний.

Проверял — правда ли вешки эти имеются? Или выдумал кто их?

Когда хмель выветрит, снова на рынок идет. Заправится самогоном и дальше — бродяга, и только.

Бродяга? У бродяги путь бессмысленный и пустой, а дорога Пряхина к точке ведет. Каждый вечер обрывает он лабиринт своих следов возле порога Нюрино дома. Дома Анатолия.

Входит молча, берет гармошку капитана, перебирает кнопки, потом поет:

— Крутится-вертится шар голубой...

Дальше первой строчки его не хватает, долго сидит



он, повесив голову, потом, уже ночью, приходит домой. Замертво падает на кровать. Эх, житуха, и на что ты нужна! Все минуло, все позади, кажется Алексею.

Только так уж устроен мир: жаждет человек жизни, а ему — смерть, просит смерти, а ему — жизнь. Да еще и радость.

Растолкала тетя Груня под утро Алексея, кричит и плачет, плачет и кричит:

— Кончилась война, Алешенька!.. Войне конец!..

Он вскочил, обнял тетю Груню, и всего его затрясло: подумал про Анатолия. Это ж надо! Неделю и не дожил-то! Неделю всего!

Смеялся и плакал Пряхин, будто наперегонки с тетей Груней гнал — кто кого пересмеет и переплачет. И радость и беда его так смешались вместе, что не знал Алексей, чего в нем больше, может, поровну того и другого, а все смешалось, и оттого нет в нем ни чистого счастья и ни чистого горя.

За окном раздались редкие выстрелы — кто-то палил на радостях в небо, — смех и оживленные голоса.

Алексей надел гимнастерку, надраил давно не чищенные ботинки. Смешно он выглядел, начисто списанный солдат: гимнастерка без погон и без единой медальки, галифе, носки, прикрывавшие низ брюк, и ботинки. Пугало огородное, а не солдат.

Но сегодня это не мешало. Он торопился, а его на каждом шагу останавливали женщины, обнимали, плакали, говорили какие-то добрые слова, ласково называли «солдатиком».

Солдатик! Только с кем воевал ты, солдатик? С врагом или с собственным горем?

Пряхин обнимал в ответ незнакомых женщин, опять, как тогда, в начале зимы, все ему казались на одно лицо — продвигался на несколько шагов, вновь останавливался, снова кого-то обнимал.

В одно мгновение взгляд его остановился в небе. Снова сияло оно небывалой голубизной и свежестью, солнце вставало из-за крыш — медное в надземной дымке, нарочно, кажется, притушившее свой жар, чтобы в это утро люди могли разглядеть его. Анатолий! Ведь он говорил, что солнышку все виднее сверху, значит, оно видит Победу лучше, чем люди. Но гармонист не видит Победы, не дождался. Убит.

Да, капитан был убит застрывшим у сердца осколком, и Пряхин вспомнил один разговор — про ордена, про то, как Анатолий собирался надеть их в День Победы.

Алексей прибавил шагу. Нюра как будто ждала его.

Поднялась навстречу Пряхину, одетая, готовая идти. Алексей взял гармошку, они вздохнули враз, точно о чем-то сговаривались, оглядели комнату, где жил Анатолий, перешагнули порог.

На карусели Пряхин прочно уселся на стул Анатолия. Развернул мехи. Он пел единственную песню, которой научил его друг:

Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть.

Нюра стояла перед каруселью, глядя невидящими глазами на гармошку, на Пряхина, глядя мимо карусели, мимо городка, куда-то в невидимые отсюда места, на фронт, может, на войну, где ранило Анатолия, изрешетив его осколками, отобрав у него глаза и в конце концов жизнь.

Алексей видел, как рядом с Нюрой возникла бабушка Ивановна, затрясла седой головой, девочки, молчаливые и угрюмые, совсем не праздничные, как подошли еще какие-то женщины, слышался смех, точно неделю назад — на Первомай.

Площадь у карусели оживала, гул повис над ней, чей-то озорной голос крикнул:

— Эй, гармонист, сыграй плясовую!

Алексей вспомнил, как Анатолий хотел играть в этот день «Вставай, страна огромная!». Вот бы и ему сейчас грянуть эту песню — торжественно и скорбно. Но он не умел играть ее. Знал одно и это завел снова:

Крутится-вертится шар голубой...

И тут он увидел, как сквозь толпу к нему пробирается тетя Груня. В одной руке у нее белеет бумажка, другой она машет Алексею — отчаянно, точно тонет и надо ее спасти.

Пряхин поднялся, поставил гармошку на стул, закрепил ремешком мехи. Подошел к Нюре, тронул ее за плечо,

Нюра очнулась, кивнула ему, а тетя Груня его уже обнимала.

— Гляди! От сына письмо!

От сына! Сколько ждала его тетя Груня, вот и Алексея гладила по руке, утешала, от боли освобождала, а думала про сына своего, который вот так же, может, валяется, зубами от боли скрипит, — ждала и дождалась.

Прижал Алексей к себе спасительницу и утешительницу — вот наконец-то долгожданная справедливость! За добро добром должна отвечать судьба, и тетя Груня давно свое заслужила.

— И от мужа придет! — сказал Алексей тете Груне, она отмахнулась, крикнула, срываясь в плач:

— Так не бывает!

— Будет! — серьезно ответил Пряхин.

В глазах тети Груни мелькнула надежда, вера, что Алексей знает поболее ее, а оттого, может, и впрямь все сбудется.

И Пряхин знал — сбудется.

В эту секунду ощутил он неожиданно горячую волну, которая в нем взметнулась, заполнила все его существо. Он теперь верил в себя. Сила жила в нем. Сила уверенности и правоты.

Всем он тут, на этой площади, предсказывал облегчение. И бабушке Ивановне с девочками. И тете Груне. И себе. Да, и себе.

— Пойдем-ка, — тащила его за собой тетя Груня. — Это не все!

Не все? Что же еще?

Тетя Груня подвела его к углу дома напротив карусели. Притиснула зачем-то к стене. Потом перекрестила, и губы ее затряслись. Сказала:

— Выгляни за угол!

Алексей выглянул за угол. Прижавшись к стене, стояла возле дома Зинаида с большим свертком, в каких младенцев носят.

— Ну! — только и сказал он.

Зинаида, не улыбаясь и не говоря ни слова, откинула край свертка, и на Алексея глянуло его светлыми глазами маленькое существо.

— С сыном тебя, Алешенька! — услышал он голос тети Груни, но ничего не ответил.

Внимательно, строго глядел он в глаза Зинаиды, и та взгляд не отвела, кивнула на куль:

— К празднику, видать, торопился... Раньше срока.

Она протянула ему сверток, протянула розовое существо, чмокавшее соской, и Алексей растерянно принял эту живую плоть, этот кусочек жизни. Невесом был сверток, легкий, как пушинка, казалось, ничего не весила новая жизнь.

Сзади, на площади, заиграла гармошка. Алексей встревоженно обернулся. На карусели, возвышаясь над толпой, стояла Нюра и играла вальс «Амурские волны». Оказывается, умеет играть...

Алексей вздохнул, шагнул вдоль дома.

— С Победой, Алешенька, — услышал он голос Зинаиды и ткнулся головой в стену.

Плечи его тряслись, а слезы капали прямо на сверток с ребенком.

Маленькое существо безмятежно улыбалось, глядело куда-то вверх, будто норовило заглянуть выше и дальше, в свое будущее.

Дитя, рожденное не любовью, а горем.

И все-таки — дитя.

# Благие намерения

## ПОВЕСТЬ

### I

Снова навалилась бессонница.

Дверь на балкон распахнута, и в комнату вливается душный аромат черемухи. Может, из-за него я не могу уснуть? Надо бы встать, прикрыть дверь, но я не в силах шевельнуть рукой. Точно опьяняющий наркоз сковал меня. Голова ясная, утренняя, а тело налито неимоверной тяжестью, не то что рукой, пальцем шевельнуть немыслимо.

Я живу на втором этаже и когда-то — совсем недавно! — мечтала, чтобы черенки черемухи, высаженные у дома, скорей поднялись и сравнялись с моим балконом. Тогда весной цветы будут перед окном, точно сад приподнялся на цыпочки прямо в мою келью. И вот это сбылось, а я не рада. Запах черемухи дурманит и не дает спать.

Впрочем, все это глупости, и черемуха тут ни при чем.

Ветер колышет прозрачную штору и вносит в комнату волнупряного аромата.

Я точно купаюсь в нем.

Я говорю себе: наслаждайся, ты хотела этого, и твое желание сбылось. Наслаждайся и спи, все условия для волшебных снов: ведь, вдыхая черемуху, можно увидеть во сне только сказки.

Но сказки не приходят.

Я облокачиваюсь и таращусь в неверные июньские сумерки, в белую северную ночь, стараюсь разглядеть черемуховые ветви там, за окном. Смутные тени колышутся у балкона. Я знаю: ветви унизаны белыми гроздьями.

Я вдыхаю полной грудью и чувствую, как приливает к вискам кровь. Завтра у меня необыкновенный день, точнее, вечер.

Выпускной вечер моего класса.

Первый мой выпуск. Об этом знают все.  
Искупление моей вины. Об этом знают немногие.  
День исполнения моей клятвы. Про это известно одной мне.  
Остался один день. И эта ночь.

## 2

Я пришла в школу-интернат десять лет назад, оказалась тут почти случайно. Впрочем, в каждой случайности есть своя закономерность...

В начале августа у мамы случился инфаркт, я дала в горно телеграмму, заверенную врачом, и осталась возле нее.

У меня было странное ощущение — как будто я не нужна ни маме, ни Ольге и Сергею, старшей сестре и старшему брату. Всю весну и лето, с тех пор как я получила назначение, они во главе с мамой без устали дулись на меня.

О матерях не принято говорить дурно, не скажу и я, хотя теперь, спустя десять лет, мне многое стало ясным. Кажется, я протрезвела за эти годы. Точно во мне бродил молодой хмель, но вот шибануло меня об острый угол раз-другой, и все стало очевиднее, реальней, что ли. И мама стала реальней. Ее взгляды.

А тогда я не могла ничего понять — я ухаживала за мамой, сидела в больнице возле нее дни и ночи, и рядом непременно сидела Ольга, или Сергей, или Сережина жена Татьяна, и они ухаживали за мамой с таким видом, будто меня здесь нет. Я старалась не обращать на это внимания, но не так-то это легко, когда ты только окончила институт, а взрослые и любимые люди, точно сговорившись, в один голос осуждают тебя, да еще осуждают высокомерно, с презрением, мол, молодые должны внимать благодарственно, а не высказывать собственных суждений, пользоваться чужим опытом, пока, скажите спасибо, его предлагают, и жизнь начинать по общепринятым правилам, а не так, как ты...

Это был молчаливый спор, который начала мама.

Мама вообще очень властный человек. Тогда мне казалось, что она совершенно не любит меня. Собственная прихоть была для нее всегда важнее моих намерений. Она подавляла. И не отдельные дни и часы, а всегда. Теперь я думаю совсем иначе. Мама любит меня. Может быть, даже сильнее, чем Ольгу и Сергея,

ведь я младшая, для нее последняя. Просто любовь у нее властная, вот в чем дело. Властная, как и сама мама.

У нее всегда были странные отношения со всеми нами. Даже явно ошибаясь, мама говорила уверенно и требовательно, никогда не сознаваясь в ошибке.

— Оля, тебя, кажется, опять провожал этот парень из соседнего подъезда. Так запомни, он тебе не подходит, тебе больше подходит Эдик.

— Но почему? — спрашивала Оля. — Николай очень милый, ты же знаешь, мы из одной группы, — Оля тогда заканчивала няз, — а Эдик мне надоел! И вообще он сухарь!

Эдик был одноклассником Оли, учился в политехе и был некрасив до предела — длинный, плоский, как бы вырезанный из бумаги, а главное — скучно-сухой, протокольно-стандартный, точно параграф из учебника математики. Словом, розовощекому баскетболисту-крепышу Николаю Эдик, бесспорно, уступал, и Оля спрашивала маму, округляя глазки:

— Но почему?

— Он тебе не подходит! — резала мама, выделяя последние слова, выставя над ними знаки ударения величиной, пожалуй, со столб, и добила-таки того, что потом, позже, Оля вышла все же за своего плоского Эдика и живет, по-моему, без намека на счастье...

Однако это другая история, я потом еще вспомню про нее, но тогда, в ту пору, возле мамы, которая устала в потолок больничной палаты тяжелым немигающим взглядом, я еще не все понимала.

Да, не все понимала, но все чувствовала.

Иначе почему же я поступила по-своему? Единственная из троих детей ослушалась мать?

Перед распределением мы дали слово — вся наша группа — не финтить, не подключать родителей, словом, не пользоваться отработанной тактикой и ехать на работу туда, куда пошлют.

Слово, конечно же, не было сдержано, конфузливо улыбаясь, две девчонки, редкие посредственности, вышли из деканата с направлениями в школы того города, где все мы учились, а я родилась и жила. Мы было бросились их поздравлять, не чуя подвоха, но девицы, не откладывая, признались, что только вчера — надо же, накануне! — вышли замуж за здешних жителей.

Да еще одному парню пришел персональный вызов из специальной — с английским уклоном — школы, хотя в английском он был ни в зуб ногой, а всю жизнь учил немецкий.

Все остальные повели себя честно, так что даже никакой злости не осталось против тех троих, лишь легкое недоумение: зачем они так?

Меня больше занимало другое: как скрыть от мамы, от сестры и брата с его женой три исключения из честного договора? Я скрыла. Удалось. Только ничуть не помогло.

Мама замолчала, как всегда умолкала она, если кто-нибудь в чем-нибудь — хотя бы в пустяке! — не признавал ее властной силы. Я приходила с улицы не домой, а в какую-то сурдокамеру, так, кажется, это называется. Мама говорила с Олей, говорила с Сережей, говорила с Татьяной, Татьяна говорила с Олей, Оля с Сережей, и никто из них не говорил со мной.

Когда я пробовала заговорить с мамой, она произносила жестким голосом:

— Ты останешься здесь!

Я спрашивала, к примеру, включая телевизор:

— Посмотрим этот фильм?

А мама неизменно произносила одно и то же:

— Ты останешься здесь!

— Но у меня в руках распределение!

— Ты останешься здесь!

— Это же бесчестно! Мы договорились всей группой!

Меня, наконец, ждут!

— Ты останешься здесь!

И это еще в лучшем случае. Мама разговаривалась. А то просто молчит. Молчание гораздо тяжелее. Оно давит на сердце, на душу, на голову. Где-то в области затылка. И кажется, лучше сделать, как она требует, только бы не эта тишина.

Я так всегда и делала. «В магазин?» — «Не гулять с мальчиком таким-то?» — «Хорошо, мамочка дорогая, как скажешь!» — «Соседи по лестничной площадке нагловатые люди?» — «Можно с ними не здороваться!» И хоть лично мне ничего плохого эти соседи не сказали, не сделали, я вела себя, как хотела того мама, в зависимости от ее настроения.

Не замечая сама, я глядела на мир маминими глазами, оценивала людей с ее точки зрения, даже телеви-



зионным фильмам выставяла отметки по ее шкале ценностей — правда, шкала была высокая, но все-таки не моя.

Так что до институтского распределения я никогда ни о чем не спорила с мамой и никогда, таким образом, не была наказуема в отличие от Оли и Сергея, которые время от времени карались тишиной, давившей на затылок. Впрочем, легко мне жилось только до встречи с Кириллом.

Боже мой, какие все красивые имена — Ольга, Сергей, Татьяна, Кирилл!

Кирилл восклицал когда-то: «Ты учитель словесности!» Наверное, оттого, что я учитель словесности, отношение к именам у меня литературное, тотчас ассоциируется с Ольгой и Татьяной Пушкина, Кириллом Извековым Фебина... Боже, но как далеки мои близкие и знакомые от тех героев! А друг на друга как похожи, оставаясь совсем непохожими...

Но это нынешние мои рассуждения, тогда я думала о людях, встреченных мною, только в сравнении с литературой, вот дуреха-то! Потом, позже, они не стали ни хуже, ни лучше, просто я их увидела иначе, а тогда...

Так вот Кирилл.

Он стеснялся, что был на полголовы ниже меня. Учился на физмате, готовил себя в чистую физику, а ничуть не в школу, без конца повторял о том, что личность должна освобождать себя от предрассудков, но вот, надо же, стыдился того, что был чуточку ниже девушки, стыдился, таким образом, предрассудка и заставлял страдать меня.

На студенческих вечерах он ни разу не пригласил меня танцевать по этой причине, и я вынуждена была кружиться из деликатности с девчонками, чтобы, не дай бог, у Кирилла не оказалось возможности приревновать меня к какому-нибудь дылде. Словом, у нас намечался роман, и в один прекрасный миг я вдруг поняла катастрофическое: я разделяю взгляды Кирилла точно так же, как взгляды мамы. Охотно и легко!

Одно время Кирилл развивал мне затхлую — за давностью! — теорию конфликта лириков и физиков, что-де физика, ее достижения делают ненужной литературу, словесность, и я, дура, умом понимавшая, что мой Кирюша несет околесицу, кивала ему головой и поддакивала.

Да, пожалуй, именно это меня остановило. Этот конкретный повод. Разговор о физиках и лириках. Уж слишком явно проблема была беспроблемной, дело — очевидным, спор — не стоившим выведенного яйца.

Я покивала Кириллу, мы поцеловались у подъезда, я пришла домой, села у телевизора рядом с мамой, она что-то проговорила насчет фильма, который показывали, я ей охотно поддакнула и будто врезалась лбом в стенку.

Господи! Что со мной происходит!

Да я же двоюсь, как картинка на телевизионном экране, когда антенна не настроена. Кирюша мне что-то внушает, я с ним согласна. Мама высказывается, я и ей не возражаю.

Я будто проснулась. Помню, даже схватила ладошками за виски. Ужас какой! Оглядела Сережу с Танечкой — сидят, обнялись, Ольга кутается в платок, мама — грузная фигура в стеганом шелковом халате — смежила брови, точно одна черная черта над глазами проведена, вжалась в старое мягкое кресло — свой трон.

Черт побери, какой-то невзаправдашний, а говоря философским языком, ирреальный мир. Но я-то кто в этом мире? Пешка? Эхо чужих голосов и мнений? Мама скажет — я с мамой, Кирюша — я с Кирюшей. А если еще кто-нибудь что-нибудь скажет, кому я поверю? Незаметненько вот так, только чтоб маму не расстраивать, во что я-то превратилась? В амебу? Амебу, известно, можно на несколько частей разрезать, каждая станет отдельно жить, а я как? И вдруг мамино мнение когда-нибудь с Кирюшиным не совпадет? Что же я? Как я буду?

Я словно сдирала какой-то налет. Не день, не два, не месяц. Смывала с себя что-то.

Мое открытие произошло умозрительно, без конфликтов. Слава богу, я не оказалась между двумя противоположными мнениями, до этого не дошло. И для мамы моя перемена произошла незаметно. Я по-прежнему поддакивала ей, но мое согласие теперь ничего не значило. Оно еще ничего не значило, но и уже не значило ничего. Я просто произносила слова, которые, казалось, исходили не от меня. Я соглашалась, не зная еще, согласна я с этой точкой зрения или нет.

Собственное мнение родилось во мне совершенно неожиданно и именно тогда, перед распределением. Кто-то из мальчишек, приехавших в институт из деревни, сказал язвительно: конечно, мы, деревенские, поедem назад, в район, в городе нас никто не ждет, а вот городские постараются зацепиться за асфальт. Прю девчонок же говорить нечего, техника старая, как мир: по-выскакивают замуж за горожан независимо от чувств, и ваши не пляшут. Не зря в городе полным-полно учителей, работающих не по специальности.

Бес меня под ребро ткнул:

— А давайте слово дадим! Слово чести! Как в девятнадцатом веке!

Аудитория загудела, а староста Миронов, бывавший каким-то случаем в нашем доме, прогудел мне на ухо:

— Надюха, тебя же первую мать от себя не отпустит!

А я воскликнула, леденя от страха:

— Да куда она денется!

И вот месяц молчания, прерываемый единственной хриплой фразой «Ты останешься здесь!», потом «скорая помощь», суeta врачей, посленинфарктная палата, мамин взгляд, упершийся в потолок, и ощущение, что меня тут нет, в этой палате, хотя я уйду отсюда только поспать.

А потом мамино прощение, точнее, полупрощение, полусогласие, полувопрос.

Уже в середине сентября, когда мы перевезли ее домой и Оля взяла отпуск, чтобы ухаживать за ней, хотя была и я рядом, мама сказала, оставшись со мной:

— И все-таки?

Со мной так давно не разговаривали, что эта ее фраза бабахнула, точно пушка над ухом. Я даже вздрогнула. Но за месяц, пока мама была в больнице, и за тот месяц, который предшествовал инфаркту, во мне произошло много важных перемен. Я ведь еще не была предметом неодушевленным, слава богу.

Собрав все свои силы, я не отвела глаза в сторону, как должна была бы сделать, если бы оказалась хорошей дочерью, а посмотрела на маму и подтвердила:

— И все-таки...

Она вздохнула. Что-то мелькнуло в ее взгляде, какая-то жалость, что ли. Мама величественно протянула руку, я поняла ее жест, приблизилась и наклонила голо-

ву. Они поцеловала меня в макушку — до щеки или губ очередь еще не дошла, не дошло еще до таких высот ее прощение. И я, подоткнув мамино одеяло, вышла в прихожую, подкрасила подтекшие ресницы и отправилась на почту послать телеграмму в определенное мне гор-оно, что ближайшими днями выезжаю на место назначения.

Северный город, куда меня распределили — мне выпал город, что уж тут поделаешь, я вела себя честно, — был не так уж мал, за двести тысяч жителей, и учителей литературы там хватало. Так что, когда я заявила туда в двадцатых числах сентября, мое место оказалось отданным другому человеку, и мне предложили то, что оставалось, — вакансию воспитателя в школе-интернате.

На частной квартире, а верней, в частном углу за ситцевой занавесочкой, куда определил меня интернат, я распаковала чемодан, поставила на стол портрет мамы в старинной затейливой рамочке и разревелась: воспитатель интерната — это вовсе не учитель, и не к этому я себя готовила.

Выходит, мама права, и дома я нужнее, чем тут. Нужнее хотя бы ей.

Но отступать было некуда.

### 3

Если бы мама жала на меня хоть чуточку полегче, я бы сбежала домой. Не раздумывая. Северный городок при ближайшем рассмотрении оказался серым — то ли от постоянной пасмурной погоды и низких облаков, ползущих прямо над крышами, то ли от силикатного кирпича, из которого были сложены дома на главных улицах. К тому же угол с цветастыми ситцевыми стенами, где я жила, казался ненадежным, неустойчивым, зыбким, верно, все из-за этих матерчатых стен, колеблющихся от сквозняка. Дом, куда меня определили, был деревянный, перенаселенный до предела, настоящий клоповник — каждый день я видела все новые лица, возникающие в крохотных дверях, а в конце длинного коридора располагался общий туалет, и тетка Лепестинья, сдававшая мне угол, — вот уж имя так имя! — только цокала языком, созерцая мои страдания.

В те дни мне снились простенькие и примитивные сны. Наш старинный, с лепниной на потолках дом, моя

теплая комната с книжными полками, нарядной китайской вазой, полной цветов, мягким светом настольной лампы с зеленым абажуром и — о господи! — туалет, облицованный голубым кафелем с виньетки.

Наверное, со стороны я походила тогда на жалкого и мокрого щенка, который оступился в лужу, и, хотя молчит, вид у него хнычущий, бестолковый, растерянный.

Я сужу об этом не по себе — вряд ли в двадцать два года, глянув в зеркало, ты увидишь ничтожество хотя бы уже потому, что перед зеркалом, пожалуй, и мокрый щенок подтягивается и глядит бодрым глазом, — а по другим, по их взглядам и по их словам.

Первым и особенным среди прочих был директор школы — мне везло на имена — Аполлон Аполлинарьевич. Очень быстро, буквально через несколько дней, я узнала, что у директора есть ласкательное прозвище Аполлоша, которым пользовались не только ученики, но между собой и учителя, и я рассмеялась тогда: в этом слове не было обидного, зато было точное совпадение с внешностью Аполлона Аполлинарьевича. Он состоял из круглой и лысой головы, точно вырезанной по циркулю, из круглых же очков, круглого туловища, да и ладошки у него были уютно кругленькие, этакie пуховенькие подушечки, и вообще весь он был уютненький, этот Аполлоша.

Когда я вошла к нему и у порога представилась, он округлился еще больше в благостной, добродушной улыбке, покатился навстречу, взял мою руку обеими подушечками и заявил:

— Надежда Георгиевна? Гм-гм... Это какого же Георгия? Победоносца? — Я не знала, что сказать от растерянности, а он и не ждал ответа. — Великолепно! — восклицал директор, не выпуская моей руки. — Надежда Победоносная? Послушайте сами! Любовь Победоносная? Вполне вероятно! Вера Победоносная? Возможно! Но Надежда! И Победоносная! Как необыкновенно! Вы словесник! Вы должны слышать, о чем я говорю. У вас есть слух?

Выпалив эту тираду, оглушив ею меня, он отцепился от моей руки, схватил листочек бумаги — направление на работу, подскочил к своему столу, спрятал в ящик, щелкнул ключом и потерял свои ладошки-оладышки, будто запер в стол какую-то особую ценность или да-

же меня. Потом на мгновение задумался и произнес совсем иным, каким-то усталым голосом:

— Нам надо бы серьезно поговорить, группа у вас особая, но выбора нет, должность только одна и именно в этом классе, но, может быть, не следует предвосхищать, а? Вы сами присмотритесь, и уж потом? Наговоримся еще...

Слово «наговоримся» предполагает взаимную речь, диалог, но Аполлоша предпочитал монологи.

Он постоянно приступал ко мне, точно форсировал реку или брал крепость, этот Аполлон Аполлинарьевич, и первое время я терялась и краснела, не понимая его замысла и не догадываясь, что таким манером директор отвлекал меня от моих личных печалей и старался скорее, как это говорится в науке, адаптировать меня в чужой школе и чужом городе.

Говоря честно, поначалу я даже стыдилась Аполлоши и норовила куда-нибудь ускользнуть, но он настигал меня своими афронтами совершенно неожиданно и, что особенно смущало, публично. Он мог схватить меня за руку в коридоре и при учениках, которые тотчас окружали нас плотным кольцом, начинал громогласно излагать новую мысль, ни на кого, кажется, не обращая внимания.

— Я родился, дорогая Надежда Георгиевна, в доме учителей. И не просто учителей. Естественников! — Очки при этом у него вскидывались на носу, а пухленький указательный палец вздымался восклицательным знаком. — Отец и мать были естественниками, бабка и дед по отцовской линии — естественниками, бабка и дед по материнской линии — естественниками. Все вместе мы могли бы составить целое педагогическое общество. Но вместе нас не было. Нас рассеяло во времени. Представляете, Надежда Георгиевна, если бы люди разных эпох могли хотя бы ненадолго собираться в одном времени и обмениваться мнениями! Сколько открытий! Рылеев и Пушкин встречаются после декабрьского восстания! Или Пастер, Павлов и ныне здравствующий Дубинин! И рассуждают о наследственности, а? Вот ты, Юра, — неожиданно оборачивался он к какому-то третьеклашке, — знаешь ли, почему ты черноволосый, хотя твои родители блондины? — Юра от неожиданности распахивал рот и немел, а Аполлон Аполлинарьевич крутил пуговицу на его пиджачке и объяснял: — Да по-

тому, что твой дедушка или прадедушка, бабушка или прабабушка черноволосые.

— Она же никогда в школу не приходила! — поражался Юра. — Она в другом городе живет.

— Вот! — энергично кивал директор. — Она! В другом городе живет, а я знаю, что черноволосая. Закон! Понимаешь! Закон наследственности.

Юра краснел от удовольствия, ничего, конечно, не понимая, но чувствуя какое-то тайное одобрение, мудрено выраженное директором, его начинали тискать и подталкивать приятели, круг сам собой рассыпался, и мы продолжали разговор уже посреди хаотического, молекулообразного коридорного движения, но без свидетелей.

Так что это только казалось, будто он ни на кого не обращал внимания.

Аполлон Аполлинарьевич вообще умел волшебным образом управлять окружением. Он мог отвлечь человека от его мыслей и направить их в другое русло. Он мог отослать человека по какому-то делу, даже не обратившись к нему с конкретной просьбой, а высказав ее как будто невзначай и куда-то в воздух. Он мог говорить о какой-нибудь ерунде, а когда ты расставалась с ним, оказывалось, он сказал нечто чрезвычайно важное и интересное. Он никогда особенно не сосредоточивался на собственно школьных делах, рассуждая часто о понятиях общих, если не отвлеченных, но всегда как-то так выходило, что речь-то была об интернате, вот об этом именно интернате и о его конкретных заботах.

На первом же педсовете представляя меня учителям и воспитателям, Аполлон Аполлинарьевич поразил меня невероятнейшими словами о том, что я, отличница, имевшая право на аспирантуру, выбрала их забытую богом школу, а опоздав по семейным обстоятельствам, пошла, не задумываясь, на подвиг во имя детей, согласившись стать рядовым воспитателем в интернате. А дальше он вообще вогнал меня в краску. Снова уцепившись за мое имя, Аполлон Аполлинарьевич публично восклицал, что я надежда школы в самом прямом смысле этого слова, что он и весь коллектив надеются на меня как на представителя нового человеческого поколения, которое, что ни говори, а ближе к ребятам, лучше их понимает хотя бы по памяти о своей недавней юности и недавних школьных годах.

Постепенно жар опал с меня, потому что директор, забыв обо мне, произнес монолог о человеческой надежде вообще, о том, что надежда — это витализм, жизненность духа и мысли, что без надежды немыслима мечта, немыслимо будущее, а значит, немыслима жизнь, что надежда вкупе с верой и любовью не есть лишь христианская догма — это выстраданные человечеством чувства, принятые моралью нашего общества с той лишь разницей, что мы верим в человека, надеемся на человека и любим человека и что учитель, поверяющий свою работу этими высокими мерками, как бы поднимается над обытовленностью повседневности, становится философом, становится мыслителем, становится созидателем человеческой личности, а значит, и общества. А если он таков, то нет для него дела, в которое он бы не верил и не внушал окружающим эту веру, нет человека, на которого он бы не надеялся, да если еще этот человек — ученик, и нет человека, которого он бы мог — даже мысленно! — не любить.

Я сидела ошарашенная, очарованная — все вместе! Конечно, я только начинала. Это мой первый настоящий педсовет, когда я в школе на работе, а не на практике. Но институтская практика была основательной, я немало повидала педсоветов, там разбирали уроки, требовали планы, скучно толковали о методике, жаловались на нерадивых учеников, так что казалось, школы набиты бестолочками, лентяями, а то и просто негодяями, а тако-го — такого я не слышала ни разу.

Когда Аполлон Аполлинаруевич произнес фразу о любви, о том, что нет человека, которого учитель мог бы — даже мысленно! — не любить, в учительской произошло едва уловимое шевеление. Я, увлеченная речью директора, не услышала шороха и поняла, что что-то произошло, по его лицу.

Аполлоша умолк, точно загнулся, и произнес после паузы:

— Я слушаю.

— Ну, это уж толстовство, Аполлон Аполлинаруевич! — произнесла женщина, сидевшая от директора справа, со смыслом, его правая рука, завуч Елена Евгеньевна, плотная, мускулистая, с мужской широкоплечей фигурой.

Было слышно, как в окно бьется басистая муха. Наверное, у них какой-то затяжной конфликт чисто педаго-



гического свойства, еще подумала я, когда за вежливыми фразами таятся острые шипы. Но директор не дал мне времени на раздумье.

— Надежда Георгиевна, — спросил он задумчиво, будто я была одна в учительской, и головы педагогов снова враз повернулись ко мне, — вы, конечно, помните записки о кадетском корпусе Лескова?

— Да! — соврала я не столько из желания соврать, сколько от неожиданности.

— Помните, там эконо́м был Бобров. Что-то вроде завхоза по-нынешнему. Так вот этот эконо́м никогда свою зарплату на себя не тратил. Детей в кадеты отдавали из бедных семей, поэтому он каждому выпускнику, каждому прапорщику дарил три смены белья и шесть серебряных ложек... восемьдесят четвертой пробы. Чтобы, значит, когда товарищи зайдут, было чем щи хлебать и к чаю...

Аполлон Аполлинарьевич говорил без прежнего напора, как бы рассуждая сам с собой.

— И еще там был директор Перский, генерал-майор, между прочим, так он жил в корпусе безотлучно, всю, представляете, свою жизнь отдав выпускникам, а детей туда посылали с четырех лет, и, когда ему говорили о женитьбе, этот генерал отвечал следующее: «Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных».

— Мы тоже о собственных не думаем, — громко сказала Елена Евгеньевна и обвела взглядом учительскую. Педсовет одобрительно загудел, женщин, как в каждой школе, было большинство, а мне эта Елена Евгеньевна тотчас показалась особой сварливой и неприятной. Но директора не сбила реплика завуча.

— Четырнадцатого декабря, в день восстания, многие солдаты, раненные в том числе, перешли Неву по льду — от Сенатской площади. Кадетский же корпус был прямо напротив нее, представляете? — Аполлон Аполлинарьевич оживился, глаза его блеснули. — Ну и кадеты спрятали у себя бунтовщиков, оказали им помощь, конечно, накормили. Наутро в корпус сам император приезжает, представляете, и ну генерала чихвостить. И что же — генерал! — на другой день! — после восстания! — говорит разъяренному императору про своих кадетов? «Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призывать раненых, как своих».

Аполлон Аполлинарьевич победительно оглядел учительскую, посмотрел доброжелательно на Елену Евгеньевну, будто пожалел ее слегка, и прибавил:

— Видите, какие славные учителя были до нас с вами, дорогие друзья! Так что нам-то, как говорится, сам бог велел!

Я не выдержала, захлопала, как хлопали мы нашим лекторам, когда те бывали в ударе, но на меня уставились как на сумасшедшую, и даже Аполлон Аполлинарьевич, кажется, смутился. Я же расстроилась до слез. Вот ненормальная. Могут подумать, будто я хлопаю потому, что директор меня расхваливал.

А! Пусть думают что хотят!

#### 4

Конечно, я была мокрым щенком. Только мокрый щенок, ничего не смыслящий в жизни и сам попавший в передрыгу, способен так увлекаться собой и собственными печальями.

В речах Аполлона Аполлинарьевича я находила утешение от изводивших меня размышлений о маме и ее правоте. И Аполлоша, кажется, чувствовал это, кидая мне спасательный круг своего повышенного внимания.

Но ведь я же еще работала! Была воспитателем первого «Б». Я должна бы с ушами погрузиться в работу, как учили нас в институте! Но что-то не получалось у меня это погружение. Я штудировала методики обучения в начальной школе и ощущала единственное чувство — протеста: ведь меня учили преподавать старшекласникам. Я готовила уроки со своими малышами, но вместо детей видела одну пачкотню в тетрадках и изнывала от самоедства: какой из меня педагог?

К тому же грозный образ мамы в стеганом халате точно взирал на меня сквозь пространство, отдалявшее от родного дома, взирал с молчаливым осуждением и неумолимой строгостью. Будто она повторяла, радуясь моим неудачам: «Вот видишь!», «Вот видишь!» И я как бы оправдывалась, металась, писала домой каждый день по письму, правда, не признаваясь в своих поражениях, и, честно говоря, втайне ждала повторения маминского приказа: «Ты останешься здесь!»

Но писем из дому не было. Да это ведь и понятно. Кончалась всего лишь первая неделя моей самостоятельной жизни.

Пришла суббота.

Та суббота...

Когда я перебираю прошлое, недавнее свое прошлое, оно представляется то сжатым в гармошку, спрессованным в предельную краткость, то растягивается, и тогда я помню каждый день и даже, пожалуй, каждый час.

Та суббота растянулась в памяти и окрашена в печально-серый цвет, как и все мое школьное начало.

В каждой группе — а группа совпадала с классом — было по два воспитателя с пятичасовой нагрузкой. Моей напарницей оказалась Маша, Марья Степановна, женщина лет тридцати пяти, не окончившая когда-то педучилище по причине рождения первенца. Теперь у Марьи Степановны было уже трое, все учились в этом же интернате в разных классах, так что Маша, добрая, белолицая, рыхлая, как квашня, находилась тут при своих детишках или они при ней — это уж все равно. С группами мы были поочередно — полагалось по пять часов в день, но часто, особенно вначале, когда я плавала на поверхности личных печалей, устраивались так: одна — два часа с утра, а другая — после уроков, с часу до девяти, то есть до отбоя. На другой день наоборот.

В ту субботу утро выпало мне, и к семи я была уже в группе.

Мне сразу послышалось что-то необычное. Подъем начинался в семь, и малыши, не привыкшие к школе, просыпались с трудом, попискивая, даже поплакивая, и воспитателям приходилось их пошевеливать — кто уж как умел.

У меня опыта не было, я включала радио погромче, пела какую-нибудь песню пободрей, а вот Маша — та пошлепывала малышей по попкам, щекотала тихонечко, а уж с самых «затяжных», как она выражалась, стаскивала одеяло, причем делала все как-то осторожно, по-матерински, приговаривая при этом всегда одно и то же: «Эх ты, макова голова!» — и я ей завидовала, что у нее так хорошо это получается...

В ту субботу комнаты уже гудели голосами и смехом. Я взглянула на часы — до подъема оставалось минут десять, — потрясла рукой, может, остановились,

прибавила шагу, но школьные часы повторяли мои: время подъема еще не наступило.

Старшеклассники, видно, бузили, из их комнат слышались хлопки, похожие на выстрелы — сражаются подушками, — но я торопилась к своим.

Это было очень странно: половина мальчиков шустро шныряла по комнате, пристегивая чулки, натягивая рубашки, конечно, все это с криком и грохотом, а другая половина спокойненько спала, не замечая шума, точно их не касалась суета товарищей. Комната девочек тоже поделилась на две половины.

Я разглядывала ребятшек, не зная, что подумать. Уже потом, в конце дня, вспомнив утро, я решила, что походила на неграмотного естествоиспытателя, который разглядывает муравьиную кучу, видит, что муравьишки ведут себя по-разному, так сказать, фиксирует факт, но осознать его не может, ибо ему неизвестны приводящие обстоятельства, короче говоря, он не владеет ситуацией, а уж совсем точнее — он неграмотен.

Заговорило радио — школьный узел включил центральную программу, — одетые побежали умыться, а я принялась будить отстававших. Они выглядели почему-то одинаково усталыми, точно невыспавшимися. Но я и тогда ни в чем не разобралась, постепенно сделала все, что полагалось, сводила ребят в столовую дисциплинированно, колонной, и отправила на уроки.

Можно было уходить домой, с уроков малышей встречала, по нашему распорядку, Маша, но дома меня никто не ждал, никому я не нужна была, и сердце опять сжала тоска и вина перед мамой.

Странное дело, ее тяжелая властность теперь, вдали от дома, начинала казаться добротой, желанием мамы помочь мне, сделать мою жизнь лучше и легче, и я уже забывала, как мама и ее приспешники не разговаривали со мной два месяца, забыв, кажется, что я человек...

Опять раздирала меня душевная сумятица. Чтобы хоть как-то отвлечься, я пошла в комнату, заправила аккуратнее ребячьи постели, взбила подушки, подмела пол.

К двенадцати появилась Маша. Точно не доверяя мне, снова подмела пол, потом пошла вдоль кроватей, загибая пальцы и приговаривая:

— Владик уходит, Семенов уходит, Миша уходит.

— Чего вы считаете, Маша? — спросила я.

— А кто уходит, — мимоходом ответила она.

— Кто уходит? На воскресенье? А разве не все?

— У нас ведь половина детдомовцев, — ответила Маша, не оборачиваясь ко мне. — Им некуда.

Детдомовцев. Это слово кольнуло меня, но я еще ничегошеньки не понимала. Мелькнуло только: значит, на воскресенье надо что-то придумать.

Как следует меня стукнуло чуть позже. К часу за ребятами стали приходить родные — забирать на воскресенье.

В вестибюль заходили матери и отцы, бабки и подростки, видно, братья и сестры. Малыши разгонялись им навстречу, хлопались в объятия, начинали что-то кричать, подпрыгивать, беспричинно смеяться. Выдачей наших ребят, понятное дело, занималась Маша. Она знала родителей, бабушек, братьев и сестер, а когда не знала, строго, но улыбочиво спрашивала фамилии и только тогда отпускала учеников, которые кричали нам, оборачиваясь в дверях, изо всех сил: «До свидания, Марь Степановна! До свидания, Надеж Георгиевна!»

Маша кивала головой, махала руками, а я не замечала радостных сцен. Я медленно просыпалась.

Я выбиралась из сна, где главными действующими лицами были моя особа и мои страсти.

Я смотрела на школьную лестницу, и что-то потихоньку начинало раскачиваться во мне. Вдоль лестницы, на каждой ступеньке, стояли маленькие люди в серых костюмчиках или коричневых платьицах, нет, назвать их малышами не поворачивался язык: это были печальные и усталые маленькие люди. Они стояли друг над дружкой, голова над головой, руки по швам, они замерли, точно собрались сфотографироваться — на лестнице фотографироваться удобнее, никто никого не заслоняет, — только вот глаза были не для фотографии: удивленные, печальные, непонимающие глаза.

В школьном фойе возникло нечто несоединимое: те, кто уходил, не замечали лестницу, зато малыши с лестницы жадно внимали всему, что происходило на площадке.

Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дрожала обида.

— Маша, — показала я глазами наверх, — это они?

— Каждый раз вот так, — ответила Маша. — Сердце разрывается.

Я смотрела снова и снова, вглядывалась в эти лица и точно начинала прозревать: вот оно, вот оно!

## 5

Суэта в вестибюле растворилась, интернат опустел, мы были одни во всей школе — Маша, я и двадцать два первыша, переданных нам из дошкольного детского дома.

Маша рассказала мне, и я точно сфотографировала своей памятью не виденное мною: августовский двор, пустая еще школа, притихшие малыши и рядом с ними грудка одинаковых дешевеньких чемоданов темно-малинового цвета.

Ребят привезла директриса детдома, Маша говорила, совсем старуха, сдала Аполлону Аполлинарьевичу документы, расцеловала трижды каждого малыша, а потом настала сцена, которую невозможно вспомнить без слез. Старуха влезла в автобус, которым привезла детей, он затарахтел, а малышня заплакала в один голос и побежала за автобусом, не обращая внимания на Машу, на Аполлона Аполлинарьевича, ни на кого не обращая внимания, и так бежала за автобусом целый квартал, вглядываясь в бледное лицо старухи, пока машина не прибавила ходу. Так что Маша, Аполлон Аполлинарьевич и дядя Ваня, школьный дворник, собирали малышей по всему кварталу, а Маша плакала вместе с ними — от печали и еще от того, что боялась кого-нибудь потерять.

Этот Машин рассказ словно стал продолжением моей памяти. Ни впереди, ни позади у меня не было такого эпизода. Мне казалось: вернись я назад по своей жизни, мне пришлось бы свернуть с дороги, чтобы вновь оказаться в больнице возле мамы, а я должна была следовать прямо, в пыльный август, к автобусу со старухой, который уезжал со школьного двора, к грудке фибровых чемоданов и этим малышам. Меня не покидало чувство, что так или иначе я вынырнула сбоку позже положенного срока, а начинать мне надо было раньше, тогда, в час их приезда. И я должна начать отсюда.

Я не знаю, откуда взялись эти мысли. Не понимаю,

почему я почувствовала себя виноватой, ведь моя жизнь до этого городка шла в иной плоскости, в ином пространстве. Но я была виноватой. Точно помню это ощущение.

В конце концов Аполлоша ведь сказал мне про особую группу. Не объяснил, не разжевал, только наметнул, оставляя мне право во всем разобраться самой. Ну и что же? Сама я слепая? Да, оказалось, слепая. Я погрязла в собственном писке, вместо того чтобы заняться малышами. Я хваталась за спасательные круги Аполлона Аполлинарьевича, погружаясь в мир его интересных размышлений, лишь бы утешить себя, отвлечь себя... От чего?.. От себя же!

Лестница и кучка малышей, прижавшихся к перилам.

И еще рассказанное Машей.

Устыдившись, я кинулась в это, не вполне сознавая даже, что оно такое. Машин одной не хватало, не могло хватить. И еще я воспитатель. Педагог, наконец, говоря высоким словом.

В те часы я испытывала чувства, какие может испытывать в общем-то, наверное, нормальный человек, по каким-то неуважительным для него причинам оказавшийся простофилей, растяпой, олухом. И хотя из-за этого ротозейства пока еще ничего не случилось, ты без конца дергаешь себя, осознав оплошность, колешь, мучаешь, одним словом. Легче, правда, не становилось, потому что, как ни крути, но растяпой оказалась ты по собственной вине, и требовалось время, чтобы от укулов и толчков постепенно перебраться к мысли, а значит, решениям. Мысли пришли простые. У малышей никого нет, вот что. Им нужен кто-то. Очень близкий нужен. Им нужен дом. Родные люди.

Им нужно то, что им дать невозможно...

Невозможно!

Это слово вызывало озноб, беспомощность, бессилие.

Из озноба швырнуло в жар. А я-то на что? Я же человек. И я с ними.

Меня душила любовь, нежность к этим детям, мне хотелось обнять их, не каждого, не поодиночке, а всех вместе, враз, обнять и прижать к себе.

Но я не умела этого. Как никто не умел.

Слезы застлали глаза.

Маша читала сказку про мертвую царевну, как раз

то место, где царевич с ветром говорит, и я судорожно зашептала вместе с ней сызмала любимое, пушкинское:

«Ветер, ветер! Ты могуч,  
Ты гоняешь стаи туч,  
Ты волнуешь сине море,  
Всюду веешь на просторе,  
Не боишься никого,  
Кроме бога одного.  
Аль откажешь мне в ответе?  
Не видал ли где на свете  
Ты царевны молодой?  
Я жених ее». — «Постой, —  
Отвечает ветер буйный, —  
Там за речкой тихоструйной  
Есть высокая гора,  
В ней глубокая нора;  
В той норе, во тьме печальной,  
Гроб качается хрустальный  
На цепях между столбов.  
Не видать ничьих следов  
Вкруг того пустого места;  
В том гробу твоя невеста».

Дети слушали внимательно, Маша читала как-то очень хорошо, мягко, по-домашнему, а если спотыкалась, то и это у нее получалось хорошо. Она не отрывалась от книги, не видела, слава богу, моих слез, и я вытерла их тыльной стороной ладони, лишь на минутку прикрыв глаза, как меня кто-то обнял за шею.

Я испуганно повернулась. В меня смотрели два жалостливых черных зрачка.

— Тебе жалко царевну? — прошептал ломкий голосок. Я кивнула, чтобы оправдать свои слезы. — Ничего, — утешила девочка, — она еще оживет.

Я знала только, что девочку зовут Аня Невзорова. И я не выдержала. Я придвинула девочку к себе и уткнулась в ее фартучек. Руками я ощущала худенькую спину девочки, ее острые лопатки.

Я еще собиралась их пожалеть, а они меня уже пожалели.

За что?

А разве жалеют за что-то?

## 6

Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту первую мою субботу, я думаю о себе в третьем лице: она, у нее, с ней... Впрочем, это понятно, я — теперь совсем не я —



тогда. И не только потому, что прошли годы, хотя известно, что время и исцеляет и разрушает сразу.

Время изменило меня, я ничуть не лучше других в этом смысле, состарило на десять лет. Но, кроме времени, есть еще одна категория, воздействующая на тебя, может, даже сильнее, чем время. Это образ жизни, отношения к ней, сострадание к другим.

Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат человека важным истинам. Это аксиома. Но мне кажется, если человек запоминает только такие уроки, у него заниженная чувствительность. Плакать от собственной боли нетрудно. Трудней плакать от боли чужой.

Существует соображение, что сострадание воспитывается. Действенной всего — собственной бедой. Мне не нравится это соображение. Что же, выходит, гуманизм должен быть непременно выстрадан? Тогда это будет больной гуманизм. Гуманизм, основанный на собственном страдании.

Нет, нет... Я верю, что сострадание — в человеческой природе. Сострадание как талант — дано или не дано. Но чаще дано, потому что это особый талант. Без него трудно оставаться человеком.

У меня, у тогдашней, было просто бабье — верней, девичье — сердце, впрочем, какая разница: бабье сердце или девичье, тут-то все едино. А бабьему сердцу отроду подарена жалость. И я, вооружившись жалостью, кинулась к моим детям, окончательно перестав жалеть себя.

Прозрение обретало у меня энергичные формы. И тут же я попала в забавную ловушку.

Не успела Маша дочитать Пушкина, как я вытолкала ее из интерната с собственными детьми. Она упиралась, конфузилась, говорила, что теперь ее смена, но потом, на минуточку взглядевшись в меня, как-то сразу согласилась. А я принялась лихорадочно действовать. Сначала мы пошли в кино, название и содержание которого я так и не узнала, хотя ребята были счастливы, затем водили хоровод, вырезали из бумаги цветы (девочки) и самолеты (мальчики), приняли решение, что будем все вместе собирать марки, и долго спорили, на какую тему (решили — космос), сходили все вместе, очень организованно, взявшись за руки, построившись парами, в ближайший киоск, купили там за десять рублей — повезло! — громадный альбом и два пакета с

космическими марками, играли в жмурки, прыгали через скакалку в спортзале, снова играли — в серсо — в игровом зале, смотрели телевизор. Все это в один день и в каком-то неестественно лихорадочном темпе, так что у меня даже мелькнула на мгновение трезвая мыслишка: надолго ли тебя хватит?

Во время ужина меня позвали к телефону. Звонила Маша.

— Надя, я забыла сказать, сегодня суббота, их надо купать, и белье надо сменить!

Я бодро пообещала все сделать, а когда положила трубку, спохватилась: ладно, с девочками я справлюсь, а как мальчишки? Ведь они, с одной стороны, еще малыши и сами как следует не промоются, а с другой — мальчишки и вряд ли дадутся в руки, да и я, пожалуй, не готова к такому повороту событий.

Чему нас только не учили в педагогическом! Логика, психология, философия! А вот как помыть первоклашек в интернате — давай сама, без рецептов.

Я вернулась в столовую. Намаевшись за день, моя рота позвякивала в тишине ложками. Повариха Яковлевна в белом крахмальном колпаке, похожем на трубу океанского теплохода, облокотясь сидела у края стола. Зовут Яковлевну по-старушечьи — одним отчеством, но женщина она моложавая, хотя и немолодая, наверное, лакированные жарой румяные щеки убавляют ей лет. Я присела рядом доест свой ужин, Яковлевна покосилась на меня и вздохнула.

— Куда же такую молодайку к малым детям суют, — проговорила она ворчливо и негромко.

Я не ответила.

— Им бы матерь нужна, — тем же тоном сказала Яковлевна, — рожалая да бывалая.

— Уж какая есть, — ответила я беззлобно. Когда, вернувшись к ребятам, я увидела повариху за столом, у меня мелькнула мысль посоветоваться с ней, спросить, что ли, как быть с мытьем мальчишек. Теперь спрашивать расхотелось. Никакой обиды я не испытывала, ничего обидного Яковлевна не сказала, да и не до обид было, но после этой ее реплики решила сама все сделать, без всяких советов. Уж как получится.

После ужина собрались в игровой, и я объявила, что сейчас будет баня, сначала пойдут девочки, а потом мальчишки.

— Сами? — спросила Анечка Невзорова.

— Со мной! — ответила я, и Анечка захлопала в ладоши, а мальчишки заволновались. Прокатился сдержанный ропоток. Спроси меня мальчики, как будут мыться они, я бы не ответила, но они, верно, растерялись, а я прогнала нерешенную задачку: сначала девочки, а дальше видно будет.

С девочками мне было легко. Попискивая, повизгивая, порхая, напевая, стайка пестреньких бабочек со сменами белья под мышкой летела вокруг меня вниз, в душевую.

В предбаннике ярко горел свет, и я на мгновение замешкалась. Как же быть, в каком виде, елки-палки? Все-таки они мои воспитанницы, а я их воспитатель. Принято ли, бывает ли так?

На секундочку я растерялась и выпустила инициативу из рук, всего на мгновение, а вокруг моего шкафчика уже толпилось одиннадцать голеньких девчонок. О мои боги, Ушинский, Крупская, Сухомлинский? Что делать? Про себя чертыхнувшись, я вышвырнула из головы всякие науки, расстегнула бретельки, сняла трусики, крикнула командирским голосом:

— За мной!

Я включила все десять душей, наладила нужную воду, объяснила, что каждая моется самостоятельно, а я буду намыливать голову и прохаживаться мочалкой окончательно, но не тут-то было. Все одиннадцать толкались рядом со мной, прижимались ко мне, я чувствовала худенькие тельца малышей, и визг стоял совершенно невообразимый.

Мои попытки организовать дело оказались совершенно пустыми. Тогда я махнула рукой, схватила губку, мыло и принялась драить первую же попавшуюся.

Технология постепенно налаживалась.

— Алла? — спрашивала я, схватив малышку.

— Алла! — соглашалась она.

— Ощепкова? — спрашивала я, чтобы хоть как-то остановить ее беспорядочную суетливость.

— Ощепкова! — кивала Алла.

— Ну-ка Расскажи мне про себя!

— А чего рассказывать-то?

— Что ты любишь? Что не любишь? Какие видела фильмы? Чего хочешь?

И пока рыженькая Алла Ощепкова излагала мне

свою программу — что поделаешь, действительно целая философия: любит кататься на трамвае, клубничное варенье, артиста Евгения Леонова и одеколон «Красная Москва», — я мылила ей волосы, охаживала мочалкой спину, живот, ноги и драила пятки, чего Алла снести уже не могла, разражаясь диким хохотом.

Далее следовал завершающий шлепок, Алла мчалась вытираться, предупрежденная, что вытереться надо непременно насухо, а ее место уже занимала следующая.

— Зина? — спрашивала я.

— Зина!

— Пермякова?

— Пермякова!

— Запевай!

Смешная Зина Пермякова, щербатая, как старуха — сразу трех передних зубов нет, — улыбаясь и щурясь, хитро поглядела на меня снизу и вдруг затянула:

— Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные!

Наверное, я поперхнулась и глаза у меня округлились. Но ни Зина, ни остальные девчонки ничего не заметили. Теперь уже хором, нестройным, правда, неспевшимся, выводили они слова романса, написанного явно не для младшего школьного возраста:

— Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я не в добрый час!

— Откуда вы знаете? — воскликнула я пораженно.

— Наталья Ванна! Наталья Ванна! — закричали девчонки наперебой. После расспросов с пристрастием выяснилось, что Наталья Ванной зовут ту старуху — директора детдома — и что Наталья Ванна любит играть на гитаре и петь эту песню, как выразилась Зина Пермякова, но поет ее дома, а окна открыты, и все эти клопы разучили любимый романс Наталья Ванны.

Вот так да! Сколько же мне предстоит! Разобраться в каждом их слове! Но теперь разбираться не было времени! Из душа хлестала вода, к потолку поднимался пар, и мытье, похожее на утренник, выходило веселым и, по-моему, качественным.

Сначала приходилось трудно: девчонки, не понимая этого, мешали мне своим многолюдьем, но постепенно отмытые удалялись, пока не осталась Анечка.

Я терла ее, как и всех, войдя в веселый ритм бани, и не обратила внимания, что Анечка исподлобья взгляды-

вает на меня. Когда я шлепнула ее, завершив процедуру, она не ушла.

— Ты чего? — удивилась я.

Анины глаза пристально рассматривали меня сквозь блестящие струи.

— Какая вы красивая! — сказала она. Я смутилась под ее взглядом.

— Мы же с тобой на «ты», — проговорила я, пытаюсь переменить тему.

— Неужели и я такой буду? — воскликнула Аня и — о боже! — смело прикоснулась к моей груди. Меня точно облили керосином и подожгли. Что я должна сказать? Закричать? Но ведь это она, Аня, пожалела меня днем. Как же я должна отвечать ей на каждое слово?

— Конечно, будешь! — сказала я серьезно, слыша свой голос точно сквозь вату. — Куда же ты денешься?

Я еще перебирала ответы решенной задачи, а моя Анечка была далеко от нее и снова толкнула меня в тупик.

— А как же ты мальчишек мыть будешь? Так же? — И кивнула на меня.

Отложенное чаще всего возвращается в самый неподходящий момент, и я снова покраснела от Аниного вопроса. Ну снайпер! В десятку да в десятку!

— А ты как думаешь? — спросила я, растерявшись.

— У тебя же лифчик темненький, — вразумила меня Анечка, — и трусики тоже. Ты их и надень, а потом просушим.

— Анечка! Золотко! Да какая же ты умница! — Стыд перед девочкой, страх опростоволоситься исчезли от Аниной неожиданной помощи, будто точный совет подала любимая подруга.

Анечка рассмеялась, я вышла в предбанник, протерла тех, кто был сыроват, расчесала девочкам волосы, но косы заплетать, несмотря на писк, решительно отказалась.

— Будьте сознательными! — сказала я. — Мне же еще мальчишек мыть! Кто уже готов? Зовите их сюда!

Две или три девчонки выскочили, но остальные не шевелились. Стояли вокруг меня, уже одетые и расчесанные, но не выходили.

Я поняла. Улыбнулась им открыто и весело. Зачем-то вытерлась, хотя снова под воду, надела черные тру-

сики и лифчик, слава богу, маминого шитья, из плотной ткани. Аня привередливо осмотрела меня и помотала головой.

— Волосы причеши. Чтоб прилично.

Я послушно достала гребешок, расчесала волосы и наскоро заплела косу.

— Ой! Ты теперь совсем девочка! — проговорила умиленно Анечка и побежала к выходу. За ней сорвалась смеющаяся орава, уступив свое место толпе понурой и молчаливой.

Первое, что я услышала, чуть не свалило меня от смеха.

— Раздевать будете?

— А разве моются в одежде?

Это несколько разрядило обстановку. Прокатился смешок.

— Мы будем в трусах, — проговорил тот же упорный голос. Еще час назад — да какой час, пятнадцать минут! — я бы не знала, как выбраться из такой ситуации, но опыт приходит быстро, надо только захотеть.

— Что ж, я согласна, — ответила я весело и уверенно. — Условие одно: голову, тело до пояса и ноги я мылю сама, а уж остальное — на вашу совесть — под крайним душем. Я не смотрю. Идет?

— Идет! — заорала, разом развеселившись, мальчишечья команда.

Я глянула в зеркало. Надо же! Почти в спортивном виде стоит боком ко мне опытная воспитательница, специалистка по банному вопросу в первом классе интерната.

Ну и дела!

## 7

Суббота закончилась моим конфузом.

Представьте себе: девчачья спальня, на кроватях, в нарушение всяких правил, сидят мои птенцы, душ по пять, через комнату тянется веревочка, на ней сушатся мои трусики и лифчик, а я, с распущенными по плечам волосами — нимфа, да и только! — сижу на стуле и читаю детям сказку Пушкина о золотой рыбке, и вдруг на пороге возникает Аполлон Аполлинарьевич.

Дети мои, конечно, вежливо здороваются, но ничегошеньки не понимают, а я хватаю ртом воздух, точно

рыбка, выброшенная на песок, правда, судя по всему, далеко не золотая. Аполлон Аполлинарьевич тоже, похоже, хватает ртом воздух, таращась на веревочку, пока я не догадываюсь сорвать с нее черные флажки.

Дверь закрывается, я полыхаю огнем, малыши в один голос требуют продолжения сказки, я читаю, сначала не слыша себя, затем успокоившись, а потом начинаю хохотать, просто покатываюсь, поглядывая на веревочку с черными флажками, и малыши покатываются тоже, но, я думаю, все-таки тема у них другая — жадная старуха из сказки Пушкина.

Желания идти домой у меня нет, я укладываю малышей спать и сама ложусь на свободную кровать в девчоночьей комнате.

Анализировать действительность, переваривать впечатления и просто соображать у меня нет сил, и я сразу проваливаюсь в сон. Но новая жизнь не согласна с этим. Я вздрагиваю от испуга, готова вскочить, даже закричать — кто-то лезет ко мне под одеяло, — но вовремя сдерживаю себя.

— Хочу с тобой, — шепчет знакомый ломкий голосок.

Это против всяких правил, да и вообще ни разу в своей жизни не спала я ни с кем в одной постели — ни с мамой, ни с сестрой, а вот Анечке безвольно уступаю, думаю лениво: «Хороша воспитательница» — и кладу ей свою руку на грудь.

Последнее, что ощущаю: гулкие удары сердца под моей ладонью...

За завтраком вновь возникает Аполлон Аполлинарьевич. На этот раз директор приближается как-то нерешительно, присаживается напротив меня, глянцевощекая Яковлевна услужливо подносит ему порцию отварной рыбы для пробы, и, рассеянно тыча в нее вилкой, директор осторожно упрекает меня:

— Я слышал: вы вчера перемыли ребятишек, напрасно, для этого есть нянечки.

Я молчу, и Аполлон Аполлинарьевич как бы спохватывается. Голос у него по-прежнему уверенный, от чего-то меня отвлекающий.

— А я вам Лескова вчера принес. Признайтесь, Надежда Победоносная, ведь не читали!

— Не читала! — смеюсь я, радуясь, что он отступил от скользкой темы, кто чего должен и не должен.

В конце концов, он директор и имеет право приказать, а я обязана подчиняться. Впрочем, педагогика выше приказов, это одно из ее преимуществ. За это я и почитаю свою профессию. Здесь надо сердцем. Это внушали нам в институте. Педагогика — форма творчества. Только вот сердцем-то выходит не у каждого — тут уж кому что дано. Тогда как с творчеством? Так что приказ в школе — обстоятельство щекотливое, творческому решению, пусть непривычному, может повредить, а бесталанному — помочь.

Но, признаюсь, это выводы других, поздних времен. Тогда же я сказала директору, что хочу зайти к нему.

Я хотела прояснить свою цель — посмотреть личные дела детей, но Аполлоша не дал мне договорить:

— И немедленно. Я должен объясниться.

Поначалу объяснение показалось забавным. Но только поначалу:

— Крепко обиделись? — спросил меня Аполлон Аполлинарьевич.

— За что? — искренне удивилась я.

— Толком не сказал о классе. А знаете почему? Думал, вы испугаетесь и...

— И?

— Сбежите.

Вот какое я произвожу впечатление! Наверное, эту мысль отчетливо выражало мое лицо. Аполлоша смутился. И совершенно напрасно. Я была уже способна критически оценить начало моей педагогической практики. Что ж, мокрый щенок, думающий только о себе, мог и сбежать.

— Спасибо за откровенность, — ничуть не обижаясь, кивнула я, и на Аполлошу, кажется, это произвело обратное впечатление. Лицо его покраснело, на лбу выступила испарина: ждал, наверное, упреков, того хуже, слез, а тут...

— Как гора с плеч, — пробормотал он смущенно и тут же воскликнул, приходя в свое обычное состояние: — А вы не такая! Теперь вижу!

В другую пору я бы маялась, примеряя к себе этот разговор и так и этак, но тут точно и не заметила: жизнь делала свое дело, теперь меня волновали дети.

— Не знаю, с какого края подступиться, — призналась я Аполлоше.

Он вздохнул.



— Когда нам дали этих детей, — сказал Аполлон Аполлинарьевич, — я, сказать откровенно, растерялся. Специфика интернатская, все как будто понятно, отлажено. Среди наших родителей народ разный, есть такие, что весь недельный труд школы уничтожают за полтора выходных дня. Но все-таки родители, все-таки есть, а тут все другое. Но деваться некуда. Каждый год облоно дает одному интернату такую группу. По очереди. Теперь настала наша. И надо работать, на то мы и учителя, что нас не спрашивают, каких детей мы хотим воспитывать, а каких не хотим. Дети все равны.

Он опять вздохнул, печально посмотрел на меня. Нет, Аполлоша явно не походил на себя сегодня. Просто другой человек. Усталый и замученный. Мнет руками круглую голову, точно мяч, и места себе не находит. Директор как будто услышал мои соображения.

— Я мучаюсь, — поднял он на меня глаза, — оттого, что веду себя непоследовательно, точнее, неверно. Всякий риск и эксперимент здесь опасен, и вначале я решил дать этой группе самых сильных воспитателей. Мария Степановна — одна из них, хотя у нее трое собственных детей. Впрочем, именно потому, что у нее трое детей. А еще — опыт и материнская доброта. Другого... — он осекся. — Маша вам ничего не говорила?

Я пожала плечами.

— Молодец. Истинный педагог. До вас одна уже не выдержала. Из наших. Разочаровался в человеке, казалось бы, весьма симпатичном.

Вот как! Значит, до меня уже кто-то был. Это новости!

— Я с вами предельно откровенен. — Аполлоша поднялся из-за стола, прошелся медленно по кабинету, не глядя на меня. — Может, эта откровенность обидна. Но послушайте до конца. Я все-таки учитываю, что вы тоже можете уйти. Работа вам предоставлена не по специальности — это козырь. Что меня подкупило? Что вы согласились идти воспитателем. На что надеялся? Что учитель в роли воспитателя может дать много. И уж совсем откровенно: не хотелось больше экспериментировать на старых кадрах. Разочаровываться больно. А вы если уйдете, то, надеюсь, совсем.

Первый раз за весь разговор он поднял на меня глаза.

— А малыши? Как с ними? — спросила я будто невпопад, но Аполлоша неожиданно засиял.

— В том-то и дело! — воскликнул он, чему-то радуясь.

Я молчала, разглядывая его с интересом, он тоже молчал и тоже глядел на меня с любопытством.

— Слабовата надежда, понимаю, и вы рискуете, — сказала я, — но все-таки дайте посмотреть личные дела.

— Надеюсь на Надежду, — заулыбался он. Но теперь строгая стала я.

— Это уже известно. Еще с педсовета.

Но он как будто не услышал обиды в моих словах. Напротив, снова вздохнул облегченно, протягивая ключ от шкафа.

Личные дела моих малышей оказались тонкими картонными корочками с несколькими бумажками, но какими бумажками! Кроме характеристики из дошкольного детского дома, свидетельства о рождении в обыкновенном почтовом конверте без марки и фотографии, сделанной любовно, в коричневом тоне — на снимках малыши выглядели маленькими киноартистами, — в папочках хранились копии документов о смерти родителей, постановления судов о лишении родительских прав, решения райисполкомов об отправке в детский дом...

Утром я решила весь день провести с ребятами, снова освободив Машу, но обещания не сдержала, а просидела над горкой тонких папочек до самого ужина, исписав целую тетрадь.

Я приходила к осознанию истины, точно разделяла капустный кочан — сперва обрывала большие листья, постепенно приближалась к плотному ядру, видела, как все туже и туже сплетено кочанное нутро. Каждая строка в коротенькой характеристике из детдома, прекрасно не соответствующей сухим стандартам, вопила о жизни, стенала о беде, требовала помощи, взывала к любви. Каждая строчка свивалась в тугой виток забот и проблем, имеющих конкретное отношение к коротенькой пока человеческой судьбе. Трагедия шагала по тонким корочкам, оглушая даже взрослую душу своей жесткой походкой.

Мне показалось тогда, да и сейчас кажется: за те часы я прожила несколько жизней. Точно вся моя предыдущая судьба с ее маленькими, ничтожными бедками, все мои двадцать два года превратились в одну-

единственную жалкую минутку, довольно пустенькую, во всяком случае, беспечальную, а подлинная моя жизнь начиналась вот отсюда, с этой черты, с нескольких часов, когда я святым правом своей профессии стала владеть тайнами и бедами, о которых даже их хозяева не всегда знали.

Характеристики походили на письма. Написанные от руки и подписанные одинаково — «Мартынова», — они почти всегда заканчивались обращением:

«Будущих педагогов Зинаиды Пермяковой просим обратить внимание на неустойчивость ее характера, склонность подвергаться влияниям — как хорошим, так и плохим, несамостоятельность в решениях и поступках».

«Аню Невзорову желательно загружать всевозможными поручениями и делами, не давая ей оставаться наедине, так как замечено, что в одиночестве Аня немедленно вспоминает свое прошлое, оставившее в ней сильный след, и тотчас сторонится взрослых».

«Миша Тузиков очень тоскует по родителям, поэтому при возникновении такой возможности мы рекомендуем его усыновление, однако непременно с сестрой, Зоей Тузиковой, которая очень любит брата».

Я представляла себе старуху директрису: наверное, Мартынова — это она, незнакомая мне Наталья Иванова, — как сидит перед настольной лампой, непременно зеленой, старинной, обмакивает перо в чернильницу: она не могла писать характеристики авторучкой — это было видно по нажимам и волосяным старинным линиям — так выводили буквы когда-то, наверное, на уроках чистописания, — обдумывая каждую строчку, а потом занося ее на лист бумаги, как выношенную и выстраданную мысль, а не просто нужную фразу.

Да, выношенную и выстраданную — эти просьбы к будущим педагогам ее воспитанников не могли быть не выстраданы, потому что им предшествовали сведения, холодившие душу.

«Миша Тузиков вместе с сестрой Зоей Тузиковой (близнецы) переданы в детдом по решению административных органов. Родители их — Николай Иванович Тузиков, инженер, и Александра Сергеевна Тузикова, научный работник, погибли во время автомобильной катастрофы (копия свидетельства о смерти родителей прилагается). Единственная родственница родите-

лей — Тузикова Н. С., 85 лет, находится в доме престарелых».

«Мать Ани Невзоровой — Невзорова Любовь Петровна — решением народного суда за безнравственное поведение лишена родительских прав (копия постановления суда прилагается). Отец неизвестен. Мать совершала неоднократные попытки общения с дочерью».

«Год, месяц, день и место рождения Зины Пермяковой соответствуют действительным датам, а имя, отчество и фамилия определены коллективом Дома ребенка. Имя девочке дано в честь Героя Советского Союза Зинаиды Портновой, отчество — Ивановна — произвольно, фамилия в честь Перми, города, где она передана из роддома в Дом ребенка (расписка матери в отказе от материнства прилагается)».

С каким-то непостижимым, суеверным страхом я разглядывала эту расписку. Я, такая-то Галина Ивановна, паспорт номер такой-то, год рождения такой-то, место рождения такое-то, подтверждаю настоящим, что добровольно отказываюсь от своей дочери. Имя отца сообщить отказываюсь. Обязуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах не требовать родительских прав. Против перемены имени и фамилии дочери не возражаю.

И неразборчивая закорючка вместо подписи. Так расписываются в ведомости на зарплату. Или где-нибудь в книге заказных писем.

Моя биография не готовила меня к таким обстоятельствам. Я, дитя благополучия, и вообразить себе подобного не могла. В этих тоненьких папках я открывала новые, неведомые мне аббревиатуры, сокращения, каких не встретишь ни в едином филологическом справочнике: ЛРП — лишение родительских прав, МЛС — места лишения свободы.

В кабинете директора висела вязкая тишина, только настенные электрочасы громко стучали стрелкой, отсчитывая минуты, а вокруг меня теснились лица малышей, которые еще вчера были такими одинаковыми. Точно я заново узнавала их. Дети автомобильных катастроф и даже землетрясений, но чаще всего — человеческих ошибок и взрослой слабости, это были особенные дети. Лишенные родительской ласки, они даже не знали, что она бывает. Человек может и не подозревать о счастье, если он не испытал. А если испытал?

Вот я испытала. Несмотря на мамин характер, я

люблю ее и не могу не любить, я знаю, что такое дом, уют, близость родного человека. Я знаю. А они не знают.

Конечно, придет время, они вырастут, и к ним придет их собственное счастье. Но с каким опозданием! А разве счастье имеет право опаздывать к людям?

Значит, я должна им помочь, не так ли? Я, знающая, что такое счастье.

Только как?

Как помочь Лене Берестову, сероглазому крепышу, весельчаку и неунываке, отец которого спился после смерти жены и забыв не только про сына, но и про себя?

А Женечке Андроновой? Севе Агапову? Косте Морозову? Лене Савичу? Малышам, чьи имена то подлинны, то выдуманы педсоветами, чтобы оберечь ребят от продолжения материнских ошибок?

Я стояла у окна, глядя на улицу, и не видела ее.

Толстой сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастливая несчастна по-своему. И я, взрослый человек, только теперь начинала понимать эту фразу.

У каждого моего птенца было свое несчастье. А я, счастливый человек, не знала, не думала о них. Человек безмятежной судьбы знает, конечно, о бедах, о том, что есть несчастные, а среди них и дети. Но жизнь устроена так, что несчастье счастливому кажется чаще всего далеким, порой даже нереальным. Если у тебя все хорошо, беда представляется рассыпанной по миру маленькими песчинками, несчастье кажется нетипичным, а типичным — счастье. Да, когда человек счастлив, ум как бы теряет осторожность, дремлет. Знание уступает место чувству, и, наверное, это справедливо. Счастье не будет счастьем, если оно каждый миг станет думать о беде и горе. Но правда трезвее благополучия. Пока есть жизнь, будет и беда. Будут аварии и землетрясения, будет смерть, она неизбежна, и будет, наверно, человеческая подлость — что-то не исчезает она никак. Да, несчастья — это неизбежность, но если все несчастья собрать вместе, как здесь, в интернате? Что же получится? Груды беды? Темный день? Мрак?

Что ж, выходит, так. И нет другого выхода, как развеять этот мрак, когда речь идет о маленьких людях. И еще: защитить от тяжелого легче, когда те, кого надо защищать, вместе.

А темный день... Главное, чтобы он не повторился у них, вот что. Темный день, беда, собранная в тучу, предназначена только для сердца учителя. Дети должны жить. Растить, радоваться. Слава богу, они плохо помнят свою беду. Многие и не знают о ней.

Что же касается меня... Я должна содрогнуться от этой беды. Я должна носить ее в сердце, что поделаешь, оно дано человеку не только для счастливых нош. Но я не имею права жить одним прошлым этих ребят. Только их тяжестью.

Мне поручили их осчастливить.

Легко сказать...

## 8

К вечеру в интернат заявила Лепестинья. Увидев меня, ухватила за локоть и зашептала жарко в ухо:

— Ты чо, девка, сдурела, я ведь извелась вся, думала, не найду в школе, позвоню милиции.

— Что ты! — Мы с ней по-родственному, на «ты».

— Чо, чо, как я перед матерью твоей отвечать стану, а? Вон на карточке-то строгущая какая!

Вот какое откровение! Я рассмеялась, повела Лепестинью в игровую: пусть посмотрит, какая у меня работа, и не горячится впредь — ночевать я здесь не раз еще буду.

Лицо у Лепестиньи побито рыжими веснушками, а брови и ресницы такие бесцветные, что кажется, словно их вовсе нет. Удивление, восторг, негодование она выражает очень явственно: глаза округляются, линии, означающие брови, превращаются в дужки, да еще ноздри у Лепестиньи отчего-то расширяются — так что чувства у нее очень даже заметны. И она их не прячет. Кажется, целый день то удивляется, то возмущается, то радуется, и все одинаково.

Когда увидела нашу роту, поразились, цокала, качала головой, округляла брови, потом полезла под кофту, вытащила из какого-то тайного уголка конверт.

— На-кась, пока не запоматовала.

Письмо! От мамы!

Я торопливо порвала конверт, развернула большой лист бумаги, сложенный вшестеро. Крупным, размаши-

стым маминым почерком на листе начертана единственная фраза: «Может, все-таки пощадишь меня?»

Я сунула письмо в карман, рванулась к окну. Наверное, у меня было такое лицо, что брови Лепестиньн опять поехали вверх. Я помахала ей рукой, говорить не было сил.

Мама, моя строгая мамочка, наверное, ни на шаг не отступала от меня в эти дни и минуты. Когда Маша рассказывала про автобус, стояла рядом. Там, в вестибюле, тоже не отходила. Читала вместе со мной ребячьи бумаги. Моя дорогая мама держала меня за руку и слушала мой пульс. Следила, когда он чаще. И когда я признала себя счастливой в сравнении с малышами, когда я признала собственное благополучие, когда я крикнула сама себе, что человек, имеющий мать, владеет громадным преимуществом, она прислала ноту наступательного характера.

Я металась по коридору, в бессилии стискивала кулаки и перебирала варианты ответа, достойного маминей фразы.

Из паники вывела Маша. Вернее, жизнь. Впрочем, Маша становилась для меня олицетворением жизни. Едва только появлялась Маша, как я начинала учиться чему-нибудь. Красиво, углом вверх, ставить подушки, молниеносно, не прекращая разговора, пришивать пуговицу, аккуратно и ловко штопать носки. Наверное, я толковой объясняла ребятам уроки, но это было единственное, где я обгоняла Машу.

Так вот, Маша возникла передо мной в самый разгар моих метаний и проговорила довольно спокойно:

— У Коли Урванцева болит живот.

— Вызвать «скорую»? — Одним рывком Маша вернула меня к действительности.

Коля ходил вдоль стенки в игровой комнате и басовито подвывал, а остальные преспокойно возились, кричали и вообще занимались своими делами, совершенно не обращая внимания на Колю, который, казалось, и не ждал никакого участия, а надеялся только на себя.

Любопытное дело, Маше, когда она пыталась взять его за руку, Коля не дался, а завыл еще басовитее, мне же уступил тотчас.

Мы увели Колю в спальню, я положила его на кровать, пощупала живот. Дело пахло образцовым аппендицитом — боли справа внизу, при нажимании усили-

ваются. Маша побежала к телефону, а когда явилась вместе с бригадой из «Скорой помощи», Коля сладко всхрапывал у меня на коленях.

Врач оказался довольно свирепого и решительного вида — пиратская борода, рыжие усы, этакие оловянные, безразличные глаза, и, проснувшись, Коля завыл еще сильнее. Думаю, от страха.

То ли он стерпел, не желая ехать со страшным врачом, то ли приступ прошел, живот, как ни мял его доктор, был без всякого признака болей.

Нам пришлось объясниться с врачом, которого очень разъярил ложный, как он выразился, вызов, но этим довольно умело занялась Маша, особенно на лестнице, откуда слышался ее бойкий говорок. Одним словом, Коля встал на ноги и пошел назад в игровую.

Беззубая Зина Пермякова, увидев его, прошепелявила:

— Я же говорила, што он шимулирует. Уше второй раш.

Мы еще пошутили с Машей о полезных свойствах страха, но через час приступ у Коли повторился. Когда мы прибежали, он лежал на полу, лицо его побледнело, к животу невозможно прикоснуться, а ребята снова не обращали на него внимания. Только Зина ворчала:

— Шимулирует.

«Скорая» на наш вызов ехать теперь не торопилась, я гладила Колю по голове, взмокшей от пота, и кляла себя: надо было настоять, чтобы мальчика взяли в больницу.

Врачи все не появлялись. Меня стало знобить. Что это было? Да, страх. Но только не за себя. За Колю. Дикая мысль пришла мне в голову...

Белые халаты наполнили комнату, молоденькая врачиха, пожалуй, моя сверстница, смазанные расплывшиеся за окном машины, серые дома, больничный коридор с тусклым светом.

Я бегала по нему точно помешанная. Мысль, поразившая меня в школе, вернулась снова, парализуя всякую способность действовать здраво.

Если Коля умрет — ведь умирают от аппендицита! — некому и поплакать о нем, кроме нас с Машей.

Какими только словами не проклинала я себя! Каких только клятв не давала на будущее — при первой же боли, при первом признаке неблагополучия звать



врача, директора, самого бога, только чтобы не прозевать, не пропустить, не проморгать.

Будь Коля моим собственным сыном, я страдала бы, наверное, меньше. Но именно потому, что он не был моим, и именно потому, что у Коли не было никого, я не могла простить себя.

Мимо шла нянечка со щеткой в руке. Возле меня она задержалась.

— Не переживай, мамаша, — нянечка подмигнула, — у нас тут все в лучшем виде.

Колю привезли в палату, пустили к нему меня. Я сидела возле него, пока он отходил от наркоза, пела ему песенки, рассказывала сказки, говорила какую-то чепуху, меняла пузырь со льдом.

Когда он засыпал, я разглядывала его брови вразлет, ямку на подбородке, думала о том, что парень из него вырастет красивый, гроза девчонкам. В какую-то минуту я вдруг по-бабьи прильнула к Коле, вдохнула слабенький запах мальчишеского пота, и мне вдруг до смерти захотелось родить собственного такого Кольку.

— Ну и ну! — осудила себя. Это, видно, с недосыпа. Рассмеялась тихонько. Не этой дурацкой идее, а той, прежней. Как же — некому плакать! Не такие уж мы с Машей чужие люди этому Кольке. Не такие. Да и плакать-то чего тут? Пустые страхи.

Не должно было, нет, не должно ничего плохого у Коли случиться.

Все плохое у него позади. Впереди только хорошее. И я с ним.

Каждому человеку, верила я, отпущена своя мера добра и зла. Зло Коля уже исчерпал, выбрал все. Теперь осталось добро.

## 9

Утром я разругалась с нянечкой, которая меня вчера утешала. Ночью Коля учинил под собой лужицу, нянке пришлось менять простыню и даже матрас, и она, считая меня Колиной матерью, принялась ругать, едва я появилась, за худое воспитание ребенка.

Я тигрицей набросилась на тетку. Маленький мальчик! После операции! Да мало ли что может случиться, эка беда! Неужели у этой женщины собственных детей не было! Неужели у нее сердца нет, коли не только

меня, но и малыша обругала принародно, довела до слез!

Нет, не могла я говорить няньке, что Коля не сын мой, это бы выглядело странным для меня оправданием, объяснением никому тут не нужным, да и опасным для Коли, я не имела никаких прав на Колину тайну, кроме одного права и одной обязанности — беречь ее от всех. А среди прочего Мартынова писала в Колиной характеристике: «Чем-то испуган, вероятно, смертью бабушки, замкнут, мочится в постель, необходимо повышенное внимание педагогов и особое наблюдение врача». А перед этим говорилось: родители Коли, оба геологи, утонули в Енисее, мальчика воспитывала престарелая бабушка, которая скоропостижно, на глазах мальчика, умерла.

Так что это просто моя вина: операция затмила важную подробность его маленькой биографии. А Коля тут ни при чем.

С тех пор мы с Машей являлись в больницу ни свет ни заря, приносили сухую простыню, меняли ее до смены техничек, старую замывали и уносили тайком в ин-тернат.

Когда я входила в палату, сердце обрывалось: Коля смотрел на меня страдающими, виноватыми глазами. Тихонько, стараясь не разбудить соседей, я меняла белье, подкладывала клеенку. Постепенно Коля приходил в себя, оттаивал, успокаивался, а когда я собиралась уходить, обнимал меня.

Чтобы мальчик не сильно отстал от товарищей, мы с Машей читали ему вслух, разговаривали — словом, не давали скучать, а Нонна Самвеловна, учительница наших первышей, занималась с ним понемножку всеми устными уроками.

Раньше Коля Урванцев казался мне молчаливым, даже угрюмым. Похоже, он все время размышлял о своем, общаясь с остальными людьми — взрослыми и ребятами — только по необходимости: спрашивал, когда надо было что-нибудь спросить, отвечал, если самого спрашивали. Но не больше.

В больнице я узнала другого Колю. Во-первых, он без конца спрашивал, и я осознавала, что из множества вопросов тоже вырисовывается личность.

Сперва Коля долго и подробно выяснял, что случилось у него в животе, причем односложные ответы его

не устраивали, и мне даже пришлось нарисовать ему схему кишечника и обозначить, где находится аппендикс и как его удалили.

— Отрезали ножницами? — спросил он взволнованно.

— Скальпелем. Такой острый ножик.

Коля крепко задумался, соображая. Потом попросил меня снять с руки часы и стал расспрашивать, как и почему крутится стрелка и как вообще устроены часы. Пришлось опять браться за карандаш, потому что Коля дотошно вытягивал подробности и успокаивался только тогда, когда не оставалось ни одного неясного пункта. И так далее и тому подобное.

А Колин недостаток волновал нас с Машей. Не раз и не два я говорила со школьным врачом, потом, пользуясь своим дежурством, с заведующим больничным отделением, но никаких лекарств не было, врачи советовали ждать, когда мальчик подрастет. Легко сказать — ждать!

Не ждать надо, действовать! Выходит, только операция заставила обратить наше особое внимание на ребенка. Значит, грош нам цена? Не заболел Коля, когда бы еще мы до него добрались! До его отрешенности, которая оказалась обычным одиночеством, отсутствием индивидуального внимания. До его маленького, но неприятного порока? А добравшись, когда бы и как помогли?

Нет, нет, надо поговорить с Аполлоном Аполлинарьевичем. Лескова я прочла, спасибо, благородные, прекрасные люди учили и воспитывали Рылеева и Бестужева в первом кадетском корпусе, но сегодня все иное и педагогика иная, и нам надо что-то придумывать для Коли и для других — у каждого свое. Срочно придумывать! Чтоб не получилось, словно мы, учителя, плывем во времени вместе с нашими малышами, сплавляемся на плоту по течению и одно течение правит нами, одно стихийное течение...

Я не успела додумать до конца, как дверь палаты распахнулась и в дверной проем протиснулся Аполлоша.

— По щучьему велению, по моему хотению! — не сдержалась я.

Аполлон Аполлинарьевич расплылся в улыбке.

— Если хотите знать, я обладаю свойством возникать там, куда меня зовут.

Он бодро встряхнул Коле руку и протянул громадное красное яблоко, скорее похожее на мяч. Малыш засмеялся, подкинул яблоко вверх, поймал и воскликнул: — Мне папка такие же привозил!

Мгновение мы молчали. Я видела, как одеревенело лицо у директора, впрочем, уверена, и мое было таким же. Вот оно, бессилие прописной педагогики! И такое будет еще не раз! К малышам будут приходить ассоциативные воспоминания. Все хорошо, и вдруг из темноты беспамятства выносятся яркая картинка. Яблоки!

Первым нашелся Аполлон Аполлинарьевич:

— А еще бывают совсем маленькие яблочки. Вот такусенькие. — Он свернул пальцами маленькое колечко. — Называются райские.

— Растут в раю? — спросил Коля.

Я облегченно вздохнула. Кажется, пронесло!

— Это сказка! — рассмеялась я. — Рая нет!

— Мой папа в раю, — ответил Коля. — Бабушка мне говорила, пока не померла. Значит, не сказка.

Из этого мы уже не выбрались. Покрякав и погмыкав, Аполлон Аполлинарьевич расстегнул портфель и протянул Коле рисунки. На уроке рисования Нонна Самвеловна предложила ребятам нарисовать подарки для Коли.

На листочках бумаги были танки, цветы, клоуны, но, слава богу, не было яблок, и Коля, смеясь, вернулся из своих воспоминаний.

Хорошо, что вернулся так скоро. Но ведь это понятно, он еще маленький. Как будет дальше?

## 10

Из больницы мы шли пешком, и я словно только теперь увидела город. Была середина октября, в ночь ударил мороз и туго, до бетонной твердости, сковал землю. Голубое полотно над головой дышало свежестью, оттеняя рыжие березы вдоль улиц. Город как бы продудло предпринимчивым сквозняком, вычистило унылую серость. Силикатные дома весело посверкивали отмытыми окнами, домики деревянные будто праздновали: пасмурная погода равняла их одинаковой унылостью, а солнце высвечивало яичную желтизну тесовой крыши, коричневую теплоту старых бревен, бронзовый орнамент наличника. Нет, у этого городка был свой характер и

свое лицо, просто я ничего не заметила по своему легкомыслию, как ничего не заметила сперва в своих ребятах. Выходит, к городу, как и к человеку, надо приглядеться, не спешить, присмотреться при разной погоде и — как к ребенку — при разном настроении.

Аполлон Аполлинарьевич предложил срезать путь, мы прошли какими-то дворами и оказались в осиновой рощице, сквозь огненную листву которой виднелось школьное здание.

По дороге мы говорили о разных пустяках, и я, не решаясь перебить мысли директора, все ждала подходящего поворота темы, когда Аполлон Аполлинарьевич сам заговорит о школе.

Но он восхищался погодой, рассказывал про охоту — сейчас самое время, оказывается, для охоты на зайца, а Аполлоша, выяснялось, всю свою жизнь, до прошлого года, провел в райцентре, где учительствовали его предки и где начинал он сам, и охота с гончей на зайца была любимым отдыхом.

— А не жалко? — спросила я. — Зайчишек-то?

— Естественники — народ безжалостный! — ответил Аполлон Аполлинарьевич и хитровато посмотрел на меня, точно хотел еще что-то добавить, да не решался.

— Но ведь не всегда? — улыбулась я.

Лужицы покрыло тонким ледком, я наступала на него, и он хрустко лопался.

— И вообще может ли быть учитель безжалостным?

— Как всякий человек, — ответил Аполлоша. — Должен быть и безжалостным, если речь идет о дурном, о враждебном, о том, что калечит душу.

Я срывала осиновые листья, полыхавшие яркими огоньками — лимонным, оранжевым, алым.

— Надо конкретно, — сказал Аполлон Аполлинарьевич. — Не люблю общих положений. Они как рецепты, а в нашем деле рецептов не бывает. Всякий раз новое.

— А я конкретно. О своих зайчишках. Им-то требуется жалость!

Директор закашлялся, но промолчал.

— Вам приходилось работать с сиротами? — спросила я.

— В моей бывшей школе они были, но, как правило, жили с родными, с бабушкой, например. А чтобы сразу двадцать два, никогда.

— Я перечитала Макаренко, но кроме общепедагогических посылов — ничего.

— Вряд ли опыт его колонии применим у нас.

— Но ведь порой просто не знаешь, как поступать.

— Да вы не печальтесь. Хотите, раскрою секрет? — Он расплылся, развел руки в сторону. — Этот секрет еще мои бабушки и дедушки открыли. И родители мои частенько пользовали. Когда не знаете, как поступать, поступайте естественно. — Он рассыписто засмеялся. — Это вам я, естественник, говорю. Естественно! Самая высокая правда!

Я улыбнулась ему в ответ. А он молодец, кругленький наш директор! Рассказать бы ему, как я решала, в насколько естественным виде мне с девочками под душем быть. Но Аполлоше не расскажешь. Все-таки мужчина, хоть и директор школы. Да и одной естественности маловато, нужна наука, а книга для работников детдома, которую я проштудировала, дала не ахти как много. Но, главное, нужно сердце. Однако и сердце не беспредельно. На сколько детей может его хватить? На сотню? Но это же просто фраза, которая становится преступно бессмысленной, если говорить о живых людях и о мере, которой взвешиваются реальные, а не выдуманные, не воздушные чувства. Чувств каждому дано в пределах, человеческое естество не безгранично, и даже такая нежная материя, как сердечность, не бесконечна.

И я принялась говорить о том, что мучило меня возле Колиной кровати, о том, к чему без конца возвращалась, о том, что ни наука, ни самые разумные методики заменить не способны.

Я старалась говорить спокойно, стремясь быть рассудительной, похожей на настоящую учительницу, взвешивала каждое слово, но постепенно распалялась, не получалось у меня спокойно, и Аполлон Аполлинарьевич, я видела, заволновался вместе со мной.

А я говорила про Колю Урванцева, про то, какие у него глаза по утрам, как он обнимает меня, Машу, Нонну Самвеловну, расспрашивает без конца, но это не обычные расспросы малыша-почемучки, а осознанная любознательность, которую надо всячески развивать, а главное, про то, что Коля оказался в особых обстоятельствах, которые приблизили нас, взрослых, к нему, а его к нам. Мы общались с ним в эти дни куда как чаще, если бы он был здоров. Вот в чем заковыка! И этот вывод

тянет печальные мысли. Этот вывод означает, что в обычных условиях нас просто-напросто не хватает на всех. А малышам из детдома нужно тепло иного порядка — не учительского, а родительского, когда на одного ребенка хотя бы один взрослый. Так что наше внимание к Коле не норма, а исключение, вызванное операцией, дорогой Аполлон Аполлинарьевич, и даже если собрать нас всех — вас, меня, Машу, Нонну Самвеловну, — если даже присоединить сюда поварику Яковлевну, которая как-никак старается на выходные готовить что-нибудь повкуснее, а значит, по-своему воспитывает ребят, если нянечек собрать, дворника дядю Ваню — всех, кто имеет прямое отношение к малышам, нас будет мало, слишком мало на двадцать две непростых души, которым — всем до единого! — требуется повышенное внимание.

Нет, нет, пусть простит меня Аполлон Аполлинарьевич, я выбрала не те слова. Не внимание. Любовь.

Приглядеть, нос вытереть, подшить свежий воротничок, выучить грамоте, вкусно накормить — на это еще куда ни шло, на это нас хватит. Но нашей любви, ласки, родительского тепла — если даже каждый будет образцово честен в чувствах — просто физически не хватит. Вот и подумаем давайте, как быть. Ведь если серьезно заняться одним, двумя, тремя, то эти трое получат больше, это бесспорно, но зато остальные окажутся обделенными, хоть в чем-то, но обделенными. И это несправедливо, неправильно, а распределить себя на всех — возможно ли это, верно ли? Воспитывать надо в глубину, то есть по вертикали, а не по горизонтали...

Я размахивала руками, а Аполлон Аполлинарьевич стоял передо мной, нахмурив лоб и опустив голову, будто провинившийся ученик перед строгим учителем, кепочка блинчиком сдвинулась на макушку круглой — по циркулю — лысой головы. Так что в какой-то самый неподходящий момент, высказав серьезную мысль, оснащенную графиком, начерченным в воздухе пальцем, — как надо воспитывать, изображая этот график — я неожиданно для себя улыбнулась.

Аполлоша оглядел меня озадаченно, потом что-то сообразил, покачал головой и укорил меня:

— Нехорошо, Надежда Победоносная, смеяться над старым человеком!

— Уж над старым!

— А как же! Мне четыреста восемьдесят семь лет! Представляете? Семидесяти лет умер один дед, второй прожил шестьдесят семь, одна бабушка шестьдесят девять, вторая восемьдесят три, отец — семьдесят два, маме сейчас восемьдесят да самому сорок шесть. Вот и считайте. Четыреста восемьдесят семь.

Говорил Аполлон Аполлинарьевич грустно и резко сразу, и я притихла, поняла, что он всерьез.

— Из них только педстажа лет триста, если не больше. А вы, двадцатидвухлетняя дебютантка, пытаетесь поставить эти триста лет на колени.

Вот не ожидала такого поворота.

— Помилуйте, Аполлон Аполлинарьевич! При чем тут предки?

— При том! — воскликнул он сердито, глядя куда-то в сторону. — При том, что я не знаю, как вам ответить. И себе как ответить.

Он закинул руки за спину, сгорбился, совсем на коlobка стал похож и двинулся совершенно невежливо впереди меня, никакого внимания не обращая, как он выразился, на дебютантку, выкрикнув напоследок из-за плеча:

— Случай у нас нетипичный! Нет главных наших помощников! Родителей!

— Слушайте, Аполлон Аполлинарьевич, — крикнула я, обгоняя его. Я даже подпрыгивала от радостного возбуждения. Мне казалось, гениальная идея озарила меня. — А если съездить к специалистам?

— Куда? — остановился директор, нелюбезный от того, что сам не мог ничего придумать.

— К Мартыновой, в детский дом.

## 11

Когда я сказала Лепестинье, что уезжаю в район проводить детдом, где росли мои ребята, она ничего не произнесла, но лицо ее выразило сразу множество чувств. Вообще с тех пор, как моя хозяйка побывала в школе, она совершенно переменялась.

Ходила по половицам на цыпочках, когда я была дома. Норовила непременно меня накормить, хотя обедала я с ребятами, и страшно обижалась, если я отказывалась от ее щец или котлет, причем обижалась молча, ни слова не говоря, так что я ела снова.



Так вот тетка Лепестинья узнала, что я еду в район, и лицо ее вначале выразило массу смешанных чувств — удивление, опаску, печаль, недоверие, еще что-то такое неведомое мне, но потом эта гамма сменилась другим, ярко выраженным — решительностью.

Отъезд намечался на среду — в понедельник предстояло принять ребят, уходивших домой, вторник планировался на стабилизацию обстановки в группе, а уж в среду можно ехать — среду и четверг Нонна Самвеловна обещала заменять меня. Я еще и думать не думала о билетах: добраться до Синегорья, где находился детдом, можно было поездом за четыре часа.

Словом, я недооценила решительности во взоре тетки Лепестиньи. Подставляя мне тарелку со щами как-то вечером, она строго проговорила:

— С тобой поеду, вот и все. Гляди, билеты взяла.

Она выложила их, а я опешила сразу по двум причинам. Во-первых, от неожиданности. Во-вторых, от маминой интонации в речах Лепестиньи.

Я медлила минуту, не зная, как себя вести: то ли сердиться, то ли махнуть рукой, — потом вспомнила совет Аполлона Аполлинарьевича: естественней. И рассмееялась.

Выходит, не только к детям применима эта рекомендация. Безбровое Лепестиньино лицо расплылось в радостной улыбке, видно, волновалась, не знала, как посмотрю на ее вмешательство, вздохнула облегченно. Принялась разматывать узелок, показывать свои заготовки в дорогу — внушительные, точно мы на неделю собрались: яйца вкрутую, батон колбасы, шматок сала, соленые огурчики в баночке, снова баночка — с маринованными помидорами и еще баночка с вареньем, эмалированные кружки, ложки, в спичечном коробке соль.

А что, подумала я, делать Лепестинье нечего, пенсионёрка, почему бы ей не поехать, и мне, глядишь, веселей. Хозяйка, как опытный терапевт, без всяких стетоскопов прослушала мои невысказанные мысли, сочла, что настроение у меня хорошее, принялась ходить на цыпочках, хотя я книжку не читала, а ела ее же щи.

— Ну хватит, — попросила я ее, — сядь лучше да объясни.

Лепестинья послушно села, лицо ее вновь выразило смущение, и она проговорила:

— Ведь я тоже детдомовка.

Вот так да! Педагог называется. Еще проницательность какую-то в себе находила, а вот два месяца с теткой Лепестиньей прожила и ни-че-гошеньки про нее не знаю. Получи свое, подруга!

Мне Лепестинья представлялась молчуньей этакой, себе на уме хозяйшюкой, которая мимо себя рублика не пропустит, — вон угол сдает учительнице, а добродушие ее напускное, стоит только копнуть, что-нибудь другое обнаружишь, оттого я не копала, не думала даже с ней сближаться, а тут — вот тебе на!

А молчунья моя словно распахнулась. Говорит, говорит, захлебывается прихлынувшей памятью, вспоминает избу под Саратовом, деревню, белую от вишневого цвета, отца и мать, шестерых своих сестер и братьев, потом несусветную жару, пересыхающее озеро и ребячью радость оттого, что карасей руками хватать можно, а дальше — голодуху, тонкие оладышки из картофельной шелухи, притихший деревенский порядок, могильные кресты и теплушку, куда заталкивает ее, ничего не понимающую, тощий красноармеец, а она рвется из вагона, кричит и плачет.

Лепестиньин рассказ — как запутанный след, с петлями, смешанными из разных времен картинками, долгими паузами, слезами, смехом и новым молчанием, возвращениями в сейчас — пора спать, пора идти на автобус, вот и дернулся поезд — продолжают долгие часы, и я, примолкшая, слушаю ее, точно урок истории, известный, конечно, мне по книгам и все-таки такой бесконечно далекий и всякий раз новый.

Лепестинья смахивает прозрачные слезы, мне хочется пожалеть ее, но она не позволяет этого и сама себя не жалеет, улыбается извинительно, шагает дальше по тропинке памяти и время от времени говорит очень важное для меня и для себя:

— Ну ладно, тогда голодуха, тяжелое время, сироты понятно откуда брались, а теперь-то, теперь?

И я как бы выплывала из Лепестиньиной жизни в свою, и ко мне будто бы подбегали шепелявая Зина Пермякова — поет «Очи черные, очи страстные», жалельщица моя Анечка Невзорова, тезка полководца Саша Суворов, Коля Урванцев, уснувший после приступа боли у меня на коленях, брат и сестра Миша и Зоя Тузиковы, которых ни за что нельзя разлучать, и Женечка Андропова, и Костя Морозов, и Леня Савич, и все-все.

Простой Лепестиньин вопрос, который она повторяла то и дело, вызывал во мне смутную, необъяснимую тоску.

Ведь я знала ответ на этот вопрос, про каждого из ребят могла сказать, по какой причине остался он один. А вот про всех сразу не могла, нет, не могла твердо и уверенно ответить, что дело обстоит так-то и так-то. Что главная суть проблемы кроется в том-то и том-то.

Тогда — голод, говорила Лепестинья, тогда — трудно, тогда — война. Но теперь-то? Не голод, не война. Нетрудно, в общем, жить. И что? Дети без родителей — вот они, у меня за плечом. И я еду визнавать подробности. Выяснять, как и чем мы должны помочь. Мы не матери и отцы, а всего только учителя.

Вопрос Лепестиньин правомерен, да, правомерен. И понятно, почему Дзержинский, назначенный воевать с бандитами и врагами, занялся беспризорниками. Понятна слава Макаренко с его колонией. Понятно сиротство страшной войны, когда я еще даже не родилась, — это мне все понятно.

Непонятно, почему сироты есть теперь.

Катастрофы, беды, смерти — это осознать можно, без них мира нет. Но сиротство — оно непостижимо, потому что так просто: детям — всем детям! — нужны родители. Если даже их нет.

— Хочу посмотреть нынешний детдом, — отвлекалась от своего рассказа Лепестинья. — Небось совсем другое дело! — И вдруг сказала: — Всю жизнь ребеночка иметь хотела, да бог не дал! А кому не надо, дает! — Толкнула меня легонько локтем. — Отдай-ка мне одного, а, девка?

## 12

Замечали ли вы, что порой совершенно непонятным образом, неизвестно как и почему вы предполагаете дальнейший ход событий, и события поворачиваются именно так, как вы думали. Человек говорит слова, которые вы от него ждете. Или вы входите в дом и встречаете там обстановку, которая когда-то именно такой вам и представлялась.

Отчего это? Почему? Может, и впрямь в воздухе движутся какие-то волны, передающие не только зна-

ния, но и чувства, мысли, даже намерения? И есть что-то таинственное в передвижении этих частиц, преодолевающих не только расстояние, но и время.

Не об этом ли думал тогда в осинничке Аполлон Аполлинарьевич, когда говорил про триста лет педстажа своих предков? И в самом деле, должно же умение, накопленное ими, существовать и сейчас, в нем, директоре? Или каждый человек начинает все сначала и предыдущее ему не в зачет?

Впрочем, я увлеклась. А дело было в том, что у Мартыновой я все узнала: обширный строгий стол, лампа под зеленым абажуром, а на столе — бронзовый письменный прибор и деревянная ручка с обыкновенным стальным пером, позволяющим выводить на бумаге красивые старинные буквы, которые состоят из толстых и тонких, то есть волосяных, линий.

Старуха сидела в кресле с гнутой спинкой — я еще подумала, что к старости женщины, видно, любят кресла — и разглядывала нас с Лепестиной без всякого удивления, точно давно ждала этого визита, даже, кажется, была недовольна, что мы так долго не приезжали.

Впрочем, до Мартыновой нас допустили не сразу, ее заместительница, женщина крестьянского вида с добрым иконным лицом, вызнала про нас все необходимое, пояснила, что Наталья Ивановна нездорова, но нас непременно примет, и вначале повела по комнатам.

Детдом располагался в старинном особняке с колоннами, видно, барском, стоял на пригорке в окружении топей, возвышаясь над райцентром. Соперничать с особняком, да и то лишь размерами, могли пять-шесть зданий в поселке, но те были современной конструкции и постройки скуповато-утилитарной, и детдом оставался тут самым красивым зданием, радующим глаз бело-желтой дворцовой окраской.

Особняк строили когда-то с любовью, мастеровито — все комнаты, по которым вела нас иконная заместительница, просвечивались солнцем, и настроение возникало необычайно праздничное, необыденное. Комнаты, скорее даже залы, были квадратны, высоки, потолки почти всюду украшены великолепной лепниной необычайно затейливого рисунка, а полы дубового паркета застланы роскошными новенькими коврами. Меня вообще не покидало ощущение, что детский дом новый, так прекрасно

сохранилась барская усадьба, и так хорошо она была ухожена внутри. Я еще подумала о том, что это не случайно. Сохраняя детей, надо бережно хранить и все, что рядом с ними, — дом, где они живут, деревья, которые окружают усадьбу, летом — цветы и траву... И невозможно сберечь детей, разрушая, вытаптывая. В этом заключалась закономерность, безусловная связь. Да еще с каким-то особым почтением, придыханием даже нам сказали, что детдом в усадьбе пятьдесят с лишним лет, а Наталья Ивановна Мартынова тут с первого дня.

И хозяйка должна быть всегда одна, подумала я, верно. Постоянство правил должно охраняться одним.

Заместительница Мартыновой начала с младшей группы, и мы с Лепестиной обе враз расстроились, а Лепестинья даже всхлипывала. Мы гладили малышей, обнимали, я спела какую-то песенку, а Лепестинья угощала ребятишек домашним печеньем. Печенье ребята принимали охотно. Лепестинья угощала и воспитательниц, и мы уже целой группкой прошли анфилады комнат со специальной мебелью, красивыми кроватками, телевизорами и множеством игрушек, дивясь богатству детдома.

— Это все Наталья Ивановна, — приговаривала ее заместительница с каким-то особым чувством и тут же расспрашивала: — А как там Ленечка?

— Какой? — уточняла я.

— Ну какой же? Берестов.

Я рассказывала в общих чертах.

— А Ленечка?

— Какой?

— Ну Савич!

Эти расспросы разожгли во мне ревность, но я тут же себя одернула: заместительница Мартыновой думала о ребятах по именам, я же пока только по фамилиям. Ее преимущество неоспоримо, а моя ревность, как пишут в научных трудах, немотивированна.

Когда под вечер заместительница ввела нас к Мартыновой, я подумала: это наваждение. Стол, лампа под зеленым абажуром, бронзовая пепельница, деревянная ручка. И знакомое лицо директрисы. Где я видела ее? Тогда, в своем воображении? Не слишком ли?

— Вы знакомы? — спросила старуха, указывая на заместительницу. Я механически кивнула. — Моя дочь.

Ну вот! Мать была как две капли похожа на дочь.

Надо бы сказать наоборот, но дочь я увидела первой. У матери такое же иконное лицо, только посуше, а оттого построжее. Да и, конечно, постарше.

— Докладывайте, дева! — строго произнесла Мартынова.

Я смотрела на нее непонимающе.

— Про каждого, — улыбнулась она. — Подробно.

Ко мне точно вернулась пора студенчества. Будто я на экзамене у старого профессора. Даже, как в студенчестве, запульсировала жилка на шее.

Я глубоко вздохнула и принялась рассказывать.

Мы улеглись спать в половине шестого утра, и дочь ни разу не пыталась остановить старуху.

Сначала рассказывала я, верней, докладывала, как выразилась Мартынова, и это был настоящий экзамен. Про Анечку Невзорову я знала очень хорошо, и старуха одобрительно кивала, про Зину Пермякову и Аллу Ощепкову — тоже, а про Леню Савича могла сказать гораздо меньше, и она недовольно морщилась.

Потом Мартынова говорила сама, о каждом подробно и долго. Рассуждения очень напоминали ее характеристики из личных дел. Каждый раз она как бы намечала будущий характер, говорила, что надо сделать для такого-то, что изменить в таком-то.

— Ты Зину Пермякову, дева, за хорошие дела подхваливай чаще да и при всех. Ее похвалить то же, что перцу подбавить, так и горит! Ну и что-нибудь сразу набрасывай, заботу какую. Правда, она норовит дело попроще исполнить — пол подмести, чашки перемыть. Грешки есть — умственного труда не любит, читать, писать небось не пылает? — ну вот видишь.

Мои рассуждения о Коле Урванцеве Наталья Ивановна выслушала со вниманием, подтвердила:

— Распускается цветик, молодец. Ты его холи. Для них теперь каждый день — эпоха, только знай приглядывай. Дай-то бог!

Ученическую тетрадку я исписала вдоль и поперек, добавляя в нее то, что не могли вобрать характеристики, была благодарна Наталье Ивановне за ее меткость и память, хвалила себя за придумку навестить детдом, и все же наиглавного Мартынова мне не говорила.

А может, и нет никакого такого наиглавного, в конце концов, их ведь тут тоже не ах как много, взрослых. Едва ли больше, чем у нас. Может, старуха и дочка

выкладываются, а остальные? Разве раскусишь такое с налету, и я черпать пришла туда, где у самих мелко?

Записывая, спрашивая, отвечая, я не забывала снова и снова рассматривать комнату. Меня не покидало ощущение, что я что-то забыла. Чего-то не хватало в этом доме, что обязательно должно быть. Наконец вспомнила душ, поющую Зину Пермякову. Подумала и брякнула:

— Наталья Ивановна, спойте под гитару!

Мартынова онемело воззрилась на меня, из-за ее плеча удивленно глядела дочка-заместительница. Старуха расхохоталась, блеснув фарфоровыми вставными зубами.

— А ты ничего, дева, способная, — сказала она, сделала едва уловимое движение головой, ее дочка неслышно скрылась, а возникла уже с большим футляром. Это была целая церемония: открывались застешки, аккуратно вынималась гитара, да такая, что мы с Лепестиньей обе тихонечко охнули: черная, лакированная, отделанная перламутром, который радужно переливался.

Была глухая ночь, за окном, рядом с тополем покачивалась на ветру лампочка под старомодным колпаком, напоминавшим мужскую шляпу, а старуха сосредоточилась, ушла в себя, перебирала тихонечко струны. Мартынова запела неожиданно, и голос, которым она пела, совершенно не походил на тот, каким директриса говорила, — словно она мгновенно помолодела: слова выпевались негромко, но как-то глубоко и сильно.

Глядя на луч пурпурного заката,  
Стояли мы на берегу Невы.  
Вы руку жали мне. Промчался без возврата  
Тот сладкий миг, его забыли вы.

Меня не покидало ощущение, что все это уже случилось со мной. Старинные романсы любила мама, и тот, что пела Мартынова, был известен мне, просто я давно его не слышала, с тех пор как уехала из дому, — неудивительно, у меня началась новая жизнь, — и вот теперь дохнуло старое. Не домом повеяло на меня, нет, от дома у меня оставался горький осадок, просто что-то дорогое, близкое подошло ко мне. Прошрое, вот что. Мое такое короткое прошлое. А Наталья Ивановна пела последний куплет. Он печальный в этом романсе, и не-

ожиданно я подумала, что если уж у меня есть прошлое, то у Мартыновой оно по-настоящему давнее. И еще я подумала, что каждый человек — загадка, и вот эти две женщины, мать и дочь, тоже загадка и, верно, прекрасна загадка, которую мне не хотелось бы разгадать. Пусть так и останется загадкой.

Уж смерть близка, близка моя могила,  
Когда умру под тихий шум травы,  
Мой голос прозвучит и скажет вам уныло,  
Он вами жил, его забыли вы.

Наталья Ивановна положила сморщенную сухую руку поверх струн и, будто никакого романса не было, никакой печальной торжественности и красоты, сказала, словно продолжала прерванный на полуслове разговор:

— С ними, дева, сердца жалеть нельзя. — И перевела взгляд на дочь, будто бы говоря все это не мне, а ей. — Или их пожалей, или сердце. Выбирай. — Она помолчала, потом тоскливо выдохнула: — Тебя не хватает, а ты люби, все равно люби.

Мартынова опять повернулась ко мне, прищурилась, точно изучала. И взгляд у нее был довольно-таки недоверчивый, как тогда у Яковлевны в столовой. Словно хотела повторить: не такие, как ты, а матери им нужны, рожалые да бывалые.

Я вздохнула. Вздохнула и старуха враз со мной. И засмеялась дребезжащим, старушечьим смехом.

Никогда это во мне не умрет: маленькая сухонькая старушка, удлиненное, точно с иконы, лицо, сивые волосы разглажены посередке на пробор, глазки спрятались глубоко в темные глазницы, большое кресло с гнутой спинкой для нее просторно, и старушка утопает в нем.

— Люби, — повторила она из глубины кресла, — люби, если можешь. Растворись в них. А не можешь — уйди.

Она отвернула взгляд, словно не верила, что я смогу. Опять вздохнула:

— Мало кто может.

Обратную дорогу Лепестинья не рассказывала про себя, будто все забыла, вздыхала, качала головой, и я вздыхала тоже и тоже качала головой. Нет, не узнала



я от Мартыновой никаких таких секретов, никаких рецептов, кроме разве горьковатого признания, поначалу удивившего меня. «Каждому ребенку нужны близкие люди, — сказала старуха, — а если их нет, чего ни делай, все не то...»

Выходило, директриса детдома отрицала саму себя? Смысл собственного существования? Я хотела оспорить ее, но, поразмыслив, вовремя остановилась. Нет, ничего она не отрицала. Напротив, утверждала вечную аксиому — птицу на крыло ставит мать или отец. И уж никак не наемная птица. Так в природе. Так и у людей. И педагог не может идти против природы, главных ее истин. Он не отворачивается от человека, если ему трудно, идет на помощь. Но педагог может залатать дыры. Вот именно — может помочь, но никогда не сможет, не сумеет — да и стремиться к этому не надо! — заменить родителей. Точнее, близких людей. Мартынова выразилась справедливо.

Недаром Аполлоша говорил — да это каждый учитель подтвердит, — сколько родителей, от которых дети как далеки! Ведь другому рюмка дороже собственного ребенка, его жизни. И сколько ребят, которым приятель по парте ближе отца или матери.

Вот ты поди и разберись тут. По идеальной модели педагогика должна быть рядом с родителями. По жизни же сплошь да рядом учитель ближе к ребенку, лучше знает его, тоньше понимает, чем родители. Вообще в родительстве намешано много дурного — неопытностью ли, неграмотностью, душевной ли ленью взрослых. Часто люди забывают о том, что на них глядят дети. Ведут себя как попало. Ссорятся, ругаются, даже, стыдно сказать, дерутся. Забывают, что дети, словно промокашки, дурное и хорошее впитывают в себя. И если родители ведут себя дурно, поступают несправедливо, глядишь, дети, став взрослыми, окажутся точно такими вопреки усилиям школы. Как же мы станем лучше, если не сдерживаем себя, если одариваем собственных детей такой наследственностью?

Но зато как ясно и светло, если за спиной у ребенка дорогие люди. Дом и школа точно два крыла, которые поднимают его в высоту. Да что там говорить? Разве только для маленьких добро спасительно?

Я посмотрела на Лепестинью. Та мне тут же своим взглядом ответила. Понимающим, добрым.

Вот кто она мне? И знаю-то два месяца. А ведь будто сказала тогда: я перед твоей матерью отвечаю. И малыши мои ее взбудоражили. И в детдом одну меня не отпустила. Не родной человек, даже не очень уж и знакомый, а близкий.

Меня точно осенило! Это ведь она, Лепестинья, сказала мне, когда в Синегорье ехали: отдай-ка мне одного малыша!

Я с интересом разглядывала ее. Словно только увидела. Тогда я ее словам никакого значения не придавала, сказала, и ладно, а сейчас...

Сейчас я была повзрослевшей, точно пробыла у Мартыновой не одни сутки. Я много знала теперь такого, что и в голову не приходило раньше.

Я узнала, что малышей привозят в детдом после трех лет, а до этого они живут в Доме ребенка. Что в Дом ребенка их нередко доставляют сразу из родильного дома. Что к семи годам ребят отправляют в школьный детский дом, а если он полон — в интернат, как у нас. Я знала еще теперь, что не так уж мало в стране Домов ребенка для самых малышей и детских домов, а несчастья и легкомыслие довольно вольготно гуляют по миру.

И еще я знала, что старуха Мартынова, проработав в детдоме пятьдесят с лишком, всю свою жизнь прослужив этому делу, больше всего мечтает о том, чтобы закрыть его, отдать особняк под клуб, санаторий — что угодно, лишь бы не привозили из Дома ребенка новых и новых детей, лишь бы перестали — навсегда, навсегда! — терять они своих близких.

— Лепестинья! — спросила я. — А ты что, серьезно взяла бы ребенка?

— Маленького тяжело, — ответила она, — стара я. А вот эконького, как у тебя, взяла бы без оглядки.

— Совсем?

— Совсем!

Я застыла. Ведь это же выход! Вон и Мартынова говорила, что часто ее малышей усыновляют бездетные люди.

Нет, усыновление — дело сложное, да и чем я тут помогу? Я лично, воспитательница первого «Б». Вот если бы...

Память услужливо выдвинула из своих запасников цветное воспоминание: ликующий вестибюль, родители,

встречающие первышей, и боль притихшей лестницы — строгие, обиженные, встревоженные лица моих детенышей. Они не понимают, почему никого нет за ними.

— Лепестинья, — спросила я, — хочешь взять кого-нибудь на выходные?

В субботу я увела детдомовских с лестницы в игровую. Какая простая игра — жмурки, да и словечко-то какое хорошее! Малыши устроили такой визг, такой переполох, что появления Лепестиньи никто не заметил.

По лицу ее блуждала растерянная улыбка, и я сразу поняла, что без помощи ей не обойтись. Мы обсудили все подробности с моей хозяйкой, разработали целую программу на два дня, куда входили и кино, и утренник в театре, где, я боюсь, сама Лепестинья бывала нечасто, и покупка какой-нибудь обновки, на чем особенно настаивала моя домоуправительница, но вот кого хочет она взять — мальчика или девочку, — не договорились.

Я подумала, Лепестинье, пожалуй, стоит позвать в гости девочку — быстрее найдет общий язык, — и окликнула шепелявую Зину Пермякову.

Зина только что водила, удачно мазнула кого-то из мальчишек и теперь нетерпеливо подпрыгивала, была потной — словом, еще купалась в азарте.

— Познакомься, — сказала я, — это тетя Липа, хорошая очень тетя. Она приглашает тебя в гости на субботу и воскресенье. Пойдешь?

— Нет! — весело крикнула Зина и уже развернулась к игровой, чтобы мчаться в кричащую ораву.

— Зина! — укорила я ее. — Ты поняла? В гости. К тете Липе.

Зина будто только увидела Лепестинью, замерла на мгновение и вдруг спросила:

— А пошему не к осине?

Я едва удержалась от смеха, а Лепестинья растерялась до испуга.

— Не знаю, — пролепетала она, и лицо ее выражало такое бескрайнее удивление этим незнанием, что Зина расхохоталась. Потом схватила ее за руку и потащила к выходу.

Лепестинья оборачивалась ко мне, вздымала на лоб брови, как бы спрашивала, что делать, а я махала ей рукой, чтобы убиралась моментально, не привлекая внимания других детей к этому таинственному исчезновению.

Таков был замысел — не привлекая внимания. Довольно рискованный замысел, потому что я брала на себя всю ответственность за исход. Никто в школе, кроме меня и Маши, не знал о нем. Маша одобрила сразу, ничего дурного не увидела. Но и она и я превосходно понимали всю меру моего риска — не дай бог, что-нибудь случится.

Ничего не произошло, Лепестинье я могла довериться на миллион процентов. И все-таки произошло. Уход Зины планировался как дело тайное, но не зря говорится, что все тайное становится явным.

Во-первых, Анечка Невзорова, от которой не могло ничего утаиться, прибежала ко мне с круглыми глазами и страшным голосом прошептала в ухо, что исчезла шепелявая Зинка. Пришлось, тоже на ухо, признаться Анечке, сделав ее как бы соучастницей заговора, что Зину пригласила на свой день рождения одна ее знакомая тетя. Анечка как будто успокоилась, но я заметила, как она подходит к окну и задумчиво смотрит на улицу.

Во-вторых, в понедельник Зина явилась в красивом красном капоре, который, конечно, очень шел ей — такая круглощекая ягодка! — и в этом капоре пришла в спальню. Что тут началось! Одни девчонки закричали, требуя дать капор для примерки, другие заплакали.

Я смотрела во все глаза на моих малышей и не узнавала их. Будто кто-то грубый взял и взбаламутил все, что было в этих девочках, — хорошее и плохое: в спальне раздавался сплошной крик.

Я едва утихомирила мою девичью ораву, хорошо еще, что мальчишки не увидели явления Зины Пермяковой со своим красным капором, которая улыбалась во весь дырявый рот и порывалась назад, к двери, куда просовывалось совершенно блаженное лицо тетки Лепестиньи.

Малыши ушли на уроки, и я увела Лепестинью в игровую. Разговора у нас не вышло. Моя хозяйка улыбалась, восклицала и охала. Маловато для выводов. Хотя как сказать. Она была счастлива. Счастлива была и Зина.

В первую же перемену она залетела к нам и схватила Лепестинью за шею. Та захохала, запричитала, что забыла такое важнее дело, и вынула откуда-то из-за пазухи удивительный бант — пышными воланчиками, белый, с голубым ободком, настоящий цветок, и прицепила на голову Зине.

В мгновение девочка преобразилась.

Зина отплыла от Лепестиньи на цыпочках, высоко приподняв подбородок, и руки ее гибко плавали вокруг головы. Малыши, забежавшие вслед за ней в игровую, расступились перед Зинкой, а она не побежала, нет, полетела, точно пушинка одуванчика вдоль коридора, несомая ветром, а остальные побежали вслед за ней с молчаливым непониманием.

Эта сцена сильно подействовала на меня. Лепестинья ушла, а я бродила по коридору, снова и снова вспоминая летящую Зину.

После уроков, когда появилась Маша, я решительно двинулась к Аполлону Аполлинарьевичу.

Сбивчиво изложила результаты поездки. Потом призналась в своеволии. В эксперименте, ответственность за который, конечно, готова нести.

Он сидел за столом, положив свои круглые щеки в круглые ладошки, разглядывал меня, словно какую-то невидаль, и ничего не говорил. Опять помогал мне.

И я приступила к главному.

Нас, педагогов, не хватает и не хватит никогда. Это раз. Два — нельзя сужать круг людей, которые принимают участие в судьбах детей, границами педагогического коллектива. Пусть он будет трижды талантливым, этот коллектив, рано или поздно ребята уйдут из него, станут взрослыми. Таким образом, надо, чтобы у малышей сложились близкие контакты с другими людьми. Чтобы эти другие люди были друзьями детей на всю жизнь. Не родными, так близкими. Друзьями. Хорошими знакомыми, наконец. И в этом свете опыт Лепестиньи удачен — да, да, удачен! Пусть два дня в неделю Зина живет у нее. Пусть стремится порадовать ее школьными делами. Пусть отчитывается перед ней. Ждет субботы. А Лепестинья будет заботиться о девочке. Чем и кому это плохо?

Аполлон Аполлинарьевич смешно почмокал толстыми губами и пробормотал:

— Тепло, тепло...

Сначала я не поняла, о чем он. Потом сообразила. Ну уж! Это не жмурки!

— Горячо, а не тепло! — воскликнула я.

— Обкатаем на педсовете, а? — улыбнулся он.

Что ж, педсовет не обойдешь, но он обкатал прежде всего меня, надолго разделив мои мнения о людях на

белое и черное. Представления об Аполлоне Аполлинарьевиче у меня развивались, так сказать, в белую сторону — ведь он поддержал в конце концов меня, а о завуче Елене Евгеньевне — в черную.

— До чего доехали! — говорила она. — По мнению Надежды Георгиевны, школа не в состоянии обеспечить воспитание двух десятков детдомовцев.

— Не воспитание, а сердечность! — отчаивалась я.

— Сердечность, это, конечно, хорошо. — Она недовольно поводила, точно в ознобе, широкими плечами. — Но ведь учитель тоже человек и не может форсировать свои чувства, выжимать из себя дополнительные эмоции. Мы не станочники, мы здесь не продукцию делаем и при всем желании не можем перевыполнять план по чувствам.

— Это верно, — говорила Маша, — чувства или есть, или их нет. — И Елена Евгеньевна бурела от негодования. — Любовь не компот, ее стаканами не измеряют.

— Самая отличная школа не может заменить родителей, — рвалась я в бой.

— Это смотря какие родители! — отвечала Елена Евгеньевна, и хотя наши мнения, в общем, не расходились, я в ту минуту терпеть ее не могла.

Вообще в коллективах, где много женщин, да еще таких, как школа, сражение самолюбий и престижности часто идет в сильном тумане, где туман — это личные вкусы, пристрастия, неприязнь и симпатии, мелкие недоразумения и даже, если хотите, зависть. И порой выходит, что говорят об одном и том же, только разными словами, а решение выносит характер: одна говорит «да», другая — «нет». Так что сшибаются характеры и престижи, а не точки зрения и взгляды. И Елена Евгеньевна рассуждала здраво, только с выводом, противоположным моему.

Мы не можем прибавить сердечности, в общем-то правильно рассуждала она, а вывод делала чисто дамский: значит, ребят нельзя никому отдавать.

Причина? А вдруг что-то случится? Что скажет гороно?

Словом, педсовет потихоньку превращался в дамскую перепалку, и тогда Аполлон Аполлинарьевич вскинул пухлые ладошки к вискам:

— Дорогие женщины! Если вы не успокоитесь, я ку-

да-нибудь в таксисты уйду! Ну можно хоть чуточку со-  
прягать чувства с мыслями?

— Чувство — лучшая форма мысли! — пальнула я  
сгоряча по нему. Аполлоша терпеливо посмотрел на  
меня.

— Знаете, в чем дело? — спросил неожиданно груст-  
но Аполлон Аполлинарьевич. — В ножницах.

— В каких еще ножницах? — удивилась Елена Ев-  
геньевна.

— Между нашими желаниями и возможностями.  
Надежда Георгиевна озабочена справедливо. У детей  
тяжелое прошлое. Не исключены самые неожиданные  
осложнения, — он задумчиво посмотрел на меня, слов-  
но вспомнил Колю Урванцева, — и дальше, с возрастом,  
эти осложнения могут быть все более тяжкими. Пред-  
ставьте дом с отколотой штукатуркой. Выступает кир-  
пич. Мы должны заделать изъяны, пока не поздно. Мы  
штукатуры. А наш мастерок — любовь, больше ничего.  
Любовь, которая должна внушить ребятам доверие к  
нам, а через нас — к жизни. Веру в светлое. Веру в доб-  
ро и справедливость. Это — желаемое. Действитель-  
ное — нас мало. Нормально, когда у ребенка два роди-  
теля. У нас на два десятка детей два воспитателя.  
Остальные по служебному положению заняты иным.  
Вариантов немного. Или мы отдаем двадцать два ре-  
бенка всего лишь двоим, а им не разорваться, или мы  
все занимаемся детьми. Но тут вступает в силу пого-  
ворка: у семерых няnek дитя без глазу. Есть третий? —  
Он оглядел педсовет. — Есть! Его предлагает Надежда  
Георгиевна. Приблизить ребят к реальным людям, кото-  
рые могут стать их друзьями. Привлечь к нам в по-  
мощь добрых, хороших, светлых старших товарищей,  
которых, я уверен, много рядом.

— Только как их найти? — спокойно произнесла  
уравновешенная Нонна Самвеловна.

— Шефы у нас есть, их надо привлечь! — восклик-  
нула Елена Евгеньевна.

— Может, и шефы, — обрадовался Аполлон Аполли-  
нарьевич.

— По обязанности не получится, — вскочила я, чув-  
ствуя, что идея может провалиться. — Разрешите мне  
написать письмо в газету. Придут только те, кого судь-  
ба ребят по-настоящему тронет!

Покрытый зеленым сукном длинный стол, одобри-

тельно-хитроватый взгляд директора, лица учителей — ироничные, сердитые, задумчивые, улыбчивые.

Ироничные и сердитые, казалось мне тогда, — это черное. Задумчивые и улыбчивые — белое.

Просто делился тогда для меня весь мир.

Но он оказался сложнее, чем грань между белым и черным.

Педсовет большинством голосов поддержал меня. За — шестнадцать. Против — восемь. Восьмерку возглавляла, конечно, широкоплечая Елена Евгеньевна.

После педсовета ко мне подошел Аполлоша с какой-нибудь, наверное, вдохновляющей фразой, но я не дала ему высказаться. Распаленная спором, проговорила:

— Лучше быть одноруким, чем такая правая рука, как Елена Евгеньевна! Как вы терпите?

Директор крикнул, зарделся и свернул в сторону. Я не обратила на это внимания.

Я ликовала, и все остальное было мелочью.

## 14

«Процветание раскрывает наши пороки, а бедствия — наши добродетели» — выписала я себе тогда цитату из Фрэнсиса Бэкона и в ней восхищалась второй частью. Как верно сказано: бедствия раскрывают добродетели.

Так и было. Интернат принял шквал добродетели.

В четверг газета напечатала мое письмо, где я рассказала про наших ребятишек, в тот же день телефон у Аполлона Аполлинарьевича разрывался звонками — люди спрашивали подробности, а в пятницу с раннего утра школьный вестибюль был полон народом.

Ребята сидели на уроках и не ведали ни о чем, а комиссия работала полным ходом. Мы придумали комиссию, а как же иначе! Возглавлял ее, понятное дело, Аполлон Аполлинарьевич. Маша и я составляли надежную основу, и еще директор настоял на включении завуча Елены Евгеньевны как человека придирчивого, критичного и в такой обстановке просто необходимого, объяснил он нам, глядя отчего-то в сторону. Никто не возражал, и никаких разногласий с Еленой Евгеньевной у нас не оказалось, потому что все мы были предельно придирчивы, а я и Маша так просто чрезмерно.

Помню, как мы заняли исходную позицию: Аполлон Аполлинарьевич во главе стола, по правую руку, впол-



не естественно, завуч, мы с Машей рядышком, стул у торца отодвинут — для посетителя, я в легком от волнения ознобе открываю дверь и приглашаю первого гостя.

Он вошел легкой походкой — худощавый, высокий, по левому виску — глубокий шрам, на груди позвякивает целый иконостас орденов и медалей. Представился:

— Никанор Никанорович Парамонов, подполковник в отставке, — и протянул паспорт.

Никто из нас не решался взять паспорт, оскорбить пошлой проверкой такого человека, и он негромким голосом, будто не военный говорит, а скромный библиотечкарь, пояснил, смущенно улыбаясь, что всю ночь его и жену мучила бессонница. После газеты.

Он помолчал, разглядывая нас поочередно, словно размышлял, как далеко стоит углубляться, затем опять застенчиво улыбнулся.

— Тут такое дело, — проговорил он и быстро взглянул на нас, точно решил, — в начале войны мне, тогда лейтенанту, поручили эвакуировать детей из детского дома. Я танкист, и вот три мои танка приняли ребят. Десятка полтора самых маленьких посадили прямо в машины, человек, наверное, двадцать, тех, что постарше, на броню. Немец прижимал основательно, детдом эвакуировать раньше не успели, и вот мы вытаскивали ребят буквально из-под огня. Довезли их до станции, сами тут же развернулись и ушли в бой, где все мои танки немцы сожгли. А станцию размолотили бомбардировщики. Думаю, дети погибли.

Он тер переносицу, покашливал, просительно поглядывал на нас, этот удивительный человек, словом, очень тушевался, пока не сказал:

— Меня с тех пор совесть гложет, вот не могли уберечь ребят, а тут ваше письмо, и, хотя время нынче другое, мы с женой решили усыновить мальчика.

— Усыновить? — удивился Аполлон Аполлинарьевич. — Но мы этого не предполагаем.

— Не беспокойтесь, — улыбнулся Никанор Никанорович, — у нас с женой уже есть опыт, мы усыновили одного мальчика. Наш Олежек закончил медицинский институт, двое внуков.

— Да вы сначала на них посмотрите! — воскликнула Маша.

— Нет, мы рассчитываем на вас. Кого вы подскажите, — сказал подполковник.

Мы смущенно запереглядывались. Аполлон Аполлинарьевич даже покрылся мелкой потной россыпью. Смотрел на меня как на спасительницу, и я его поняла. Написала на клочке бумаги: «Коля Урванцев». Он облегченно вздохнул.

— Никанор Никанорович, мы еще вернемся к этому разговору, он слишком серьезен, а наши намерения куда проще.

— Как ваше здоровье? — вкрадчиво спросила Елена Евгеньевна.

— Соответственно возрасту пока приличное, — вздохнул он.

— А жены? — спросила я.

— Не жалуется.

— Жилищные условия? — поинтересовалась Маша.

— Трехкомнатная на двоих.

— Материальные? — спросил директор.

— Пенсионных двести рублей.

— Мы вам называем Колю Урванцева, но вы посмотрите сами.

Аполлон Аполлинарьевич расчувствовался, глаза у него заблестели, он вышел из-за стола, долго тряс руку Никанору Никаноровичу, и от этого ордена Парамонова негромко позвякивали. Когда подполковник вышел, директор подал мне знак, чтобы я не спешила звать следующего.

— Черт знает что! — рассердился он неожиданно. — Устроили тут какой-то президиум, сидим официально, пугаем людей!

Аполлон Аполлинарьевич рванулся к столу, потянул его на себя, потом крикнул, отступился, уселся рядом с Еленой Евгеньевной.

— Какой человек! — воскликнул он. — А? Но ведь мы не готовы! Нам говорят уже об усыновлении, а мы просим взять в гости!

— Это же прекрасно! — произнесла неожиданно Елена Евгеньевна. И улыбнулась. Видно, оттого, что я уставилась на нее, «как в афишу коза». — Самый лучший вариант. Только осторожней, осторожней!

Я ее расцеловать готова была. Может, тогда и дала первую трещину моя теория о черном и белом. Я вглядывалась в женщину с широкими плечами, стараясь

отыскать в ней какую-нибудь симпатичную черточку, но Елена Евгеньевна, будто улитка, снова спряталась в свою раковину — глаза потухли, лицо сделалось замкнутым и невыразительным.

Но мне было некогда раздумывать. Я придвигала стулья молодежьей паре и заранее симпатизировала ей.

Игорь Павлович Запорожец — начальник конструкторского бюро, румянощекий, гладковыбритый, широкоплечий, спокойный и улыбчивый, — дай ему старинный шлем, вылитый князь Игорь, только наших, нынешних времен. Я так его сразу и прозвала про себя — князь Игорь. Жена его — Агнесса Даниловна, заведующая химической лабораторией в исследовательском институте, под стать мужу. Этакая лебедь — шея белая, высокая, холеная, глаза мягкие, с зеленоватым оттенком. Модная прическа, ясное дело, не то что у нас, замухрышек-учительниц, навертишь на бигуди, а утром несешься как бешеная в школу, расчесаться толком некогда, а уж про парикмахерскую и думать нечего. У «княгини» же, наверное, в парикмахерской свой мастер, а сними с нее иностранные новенькие сапожки — поди-ка педикюр обнаружишь. Еще бы, средний заработок на двоих — пятьсот рублей. Отдельная квартира с высокими потолками — про квартиру деловито Игорь Павлович сказал, а про потолки Агнесса Даниловна добавила. Автомобиль «Москвич».

Все есть, детей только нет.

— Намерения у нас серьезные, — многозначительно сказал Игорь Павлович, — только, пожалуйста, подберите нам... — Он замялся, не зная, как выразить свою мысль, и супруга пришла ему на помощь:

— С нормальной наследственностью. — Она пристально смотрит на Аполлона Аполлинарьевича. Что ж, справедливо смотрит. Он естественник, ему видней. — Вы же знаете, — говорит «княгиня», — сейчас детей производят в пьяном виде, сколько потом несчастий, а у нас намерения серьезные.

Наш потомственный естественник пыхтит, произносит общие фразы, а когда солидная пара выходит, залпом выпивает стакан воды.

Мы молчим, ему, наверное, слышится неуверенность в нашем молчании, и он начинает без нужды убеждать нас:

— А что вы хотите! Современные люди. Ничего не-

приличного в их вопросах нет. Напротив. Очень даже грамотно и точно.

Мы не возражаем. Все согласны с Аполлоном Аполлинарьевичем. Действительно, современные люди смотрят на жизнь трезво, и мне эта пара очень нравится. Даже трудно сказать, кто больше.

Следующая пара повергла нас в панику. Всех. Прежде всего Машу.

На двоих — двести пятьдесят. Он шофер, она бухгалтер. И главное: трое детей.

Мы засучив рукава вчетвером ворошим жизнь Семена Петровича и Анны Петровны со смешной фамилией Поварешкины. Все норовим откопать причины: зачем им еще ребенок? Наконец я не выдерживаю. Задаю главный вопрос, все-таки я самая молодая, мне и неприличное прилично, пусть поругают за неопытность.

— Зачем вам лишняя обуза?

Специально формулирую пожестче.

— Жалко, — говорит женщина, теребя простой платочек, свисающий с плеча.

— Детишек жалко, — поясняет Поварешкин, а сам все подвигает, по сантиметрику подвигает нам связку документов, словно опасается, что мы их не посмотрим. Не доверяем, что ли?

— Тяжело будет! — восклицает Маша. — Вот у меня трое, так я из-за этого в интернате работаю, и они здесь учатся.

— Как не тяжело! — соглашается Анна Петровна, но Семен Петрович — мне это видно — торопливо наступает ей на ногу своим ботинком, и Поварешкина поправляется: — Чего же тяжелого? Старшие помогут. Витя у нас — в девятом, а Саша — в седьмом. Да и Колька пять кончил! Что же, мы еще одного малыша не обогреем?

Аполлон Аполлинарьевич, усердно потев, просит их подумать, прийти через неделю, не торопиться. Но Петровичи уперлись, точно бычки, подталкивают нам связку бумаг, и в самую ответственную минуту Поварешкин достает из кармана большой значок, что-то вроде ордена.

— Это замечательно, — говорит Аполлоша, — что вы победитель... социалистического... соревнования, но... дети есть дети...

Что-то наш директор жужжит на пределе, вот-вот сломается. Так оно и есть.

— Ладно, — соглашается Аполлоша, — в многодетной семье тоже много хорошего. — И вдруг обращается к женщине, кивнув на ее мужа: — А он не выпивает?

— На Октябрьские приходите! — не моргнув, отвечает Петровна. — Там с вами и выпьем и закусим, как полагается. Зараз и нас проверите.

— М-м-да, — крихтит Аполлон Аполлинарьевич, когда дверь за ними закрывается. Он потирает ладошки-оладышки. — Молодцом Поварешкина! Отбрила!

Были ли люди, которым мы отказали? Были.

Зашли мужчина и женщина средних лет, прилично одетые, у женщины взволнованное, просительное лицо, чем-то порядочно смущенное, а мужчина прячет глаза, отворачивается, все больше молчит, но до нас доносится, правда, едва уловимый запах перегара, и Маша выводит на листке бумаги знак вопроса.

Бумажка быстро обходит четверых, за вопросом возникают три минуса, и без долгих расспросов Аполлон Аполлинарьевич резковато, на себя непохоже, говорит:

— Не обижайтесь, уважаемые, вам мы ребенка не дадим.

Мужчина и женщина подходят к двери, я вижу, как жена молча тычет мужа кулаком под ребра, и тот спокойно сносит, понунив голову. Что ж, если и случайность, пусть пеняют на себя. Приходить в школу выпивши вообще-то великий грех, а тут — по такому делу...

Отказали мы еще одному человеку, и я до сих пор думаю, что мы ошиблись. Впрочем, бывают ошибки, глубину которых невозможно проверить объективно. Так что я только предполагаю ошибку. Доказать ее невозможно. Можно лишь сожалеть, можно только чувствовать. Но чувство не всегда верный советчик...

Распахнулась дверь, вошел невысокий человек и, сколько ни уговаривал его директор присесть, так и стоял, пока мы говорили.

В голубой рубашке, без пиджака, с нарукавными резинками и галстуком-бабочкой, коричневым в белый горошек, он производил странное впечатление. Быстро, скороговоркой, назвал фамилию, имя, отчество, год рождения.

— Работаю экскурсоводом в художественном музее,

но в душе математик и астроном, увлекаюсь «черными дырами», окончил лесотехникум.

Аполлоша покрякал в кулак и спросил аккуратно:

— А как у вас со здоровьем?

— Так я и знал! — воскликнул без обиды странный человек. — Нормально, но я помешался! — Мы дружно вздрогнули. — Помешался на астрономии, понимаете, лесные дела мне опостытели, перешел в музей, а все свободное время посвящаю науке.

Виски у него седоваты, нос картошкой, две залысины проникли в глубь шевелюры, не юноша пылкий, да и вообще что-то сомнительное, несерьезное. Мы уже проставляли минусы в листочке, на нашем бюллетене для тайного голосования, а странный человек без пиджака опоздало пояснял:

— Я никогда не был женат. Мама умерла. Нет никого родных. Очень одиноко.

Он старался напрасно, этот странный человек! Четыре минуса не оставляли надежд. Мы поступали стандартно: по одежде встречают. Какой у нас был выход? Времени для подробного изучения людей мы себе не оставили.

— Зайдите через неделю, — сказал вкрадчиво Аполлон Аполлинарьевич.

Нет, он все-таки чувствовал людей. Но это уж потом я подумала. А тогда спросила, едва притворилась дверью:

— Городской сумасшедший?

— Что-то вроде этого, — ответила Елена Евгеньевна, пожевывая.

— Не может быть, чтоб здоровый, — сказала Маша. — Определенно больной!

Больной, здоровый — как часто слова эти теряют всякий смысл, когда мы говорим о душе и о поступках, которые эта душа назначает. Человек розовощек, благополучен, но не торопитесь с диагнозом: он может быть тяжело болен душой, как не спешите назвать нездоровым того, кто сам вызывает сострадание. Простые, казалось бы, истины. И не так глубоко зарыты. Все дело во взгляде. Врачу здоровый вид человека многое говорит, а вот учителю — ничего. Жизнерадостность, морщины, растерянный или смущенный взгляд, самодовольство — ничего для тебя не значащая форма, отрицую которую надлежит шагать дальше, вглубь, в человека...

Оговорюсь честно, эти соображения, не такие уж и глубокомысленные, приходили ко мне позже, в муках, а потому и дороги. Тогда же я не особо задумывалась, бодро согласилась с Машей.

Выбор был велик, желающих пригреть ребят больше чем достаточно, один странный человек не задержал нашего внимания.

## 15

Красный капор Зины Пермяковой кое-чему научил меня, и субботнюю «выдачу» детей в принципе мы организовали правильно. Правильность была в том, что взрослые пришли враз — это важно для детей, — и что мы, учитывая собственные соображения и пожелания взрослых — правда, их пожелания сводились в основном к тому, мальчика или девочку хотели они взять, — заранее составили списочек, чтобы не было неразберихи.

В остальном мы все решили сделать так, как было с Зиной.

Я устроила жмурки, Маша взялась водить, завязала себе глаза не очень плотным шарфиком, чтобы все видеть и приходить в случае чего мне на выручку, и такой гвалт мы учинили в игровой, что взрослые входили с опаской.

Под этот шумок я и раздавала ребят. Отводила в сторонку, знакомила со взрослыми, они приглашали малыша в гости, тихо уводили.

Только что значит тихо с такими детьми? Можно разве все знать заранее? Колька же Урванцев заорал во всю мочь, познакомившись с Никанором Никаноровичем:

— Смотрите, какой дядя меня берет!

Игра наша, отвлекающий маневр, рассыпалась. Ребята разом повернулись к дяденьке, увешанному наградами, и никакие Машины восклицания не могли больше помочь. Она встала посреди игровой — руки в боки, растрепанная квашоночка, на глазах повязка — и проговорила громко, чтоб успокоить остальных:

— Этот дядя часто к нам приходить станет! — И сорванец Урванцев разоблачил нас окончательно.

— А тетя Маша все видит!

В другое время это вызвало бы смех, бурю смеха,

теперь же малыши коротко всохотнули, точно всхлипли, и снова обернулись к Парамонову.

Никанор Никанорович шел за Колей, тот тянул его обшлаг, и вся наша орава двинулась за ними. Пришлось действовать нам.

Я, как клуша, раскинула руки, за меня схватились Маша и Аполлон Аполлинарьевич. Этакая вышла загородка из взрослых людей, я попробовала форсировать голос, говорить, что сейчас всех-всех-всех пригласят в гости хорошие дяди и тети. Но не тут-то было.

Обида, горечь и непонимание, которые я обнаружила тогда, на лестнице, в мою злосчастную первую субботу, вдруг обрели голоса и завывли, заплакали, закричали, да не как-нибудь, а хором, это в двадцать-то голосов!

Могло помочь одно только действие.

Елена Евгеньевна стояла в дверях, пропускала парами взрослых, те проходили в игровую, мы отыскивали по списочку избранника или избранницу, и плач становился все тише и тише.

Наконец ребята поверили, что их всех приглашают в гости. Они умолкли, стоя неровным рядком, впиваясь жадными взглядами в новых людей, которые заходили сюда. Когда взрослые наклонялись к мальчику или девочке, те, как один, тушевались, опускали головы, кивая при этом на все тихие расспросы взрослых, и ментально исчезали. И вот что поразительно: многие забывали попрощаться с нами. Махнуть хотя бы рукой.

Все шло гладко, даже слишком гладко, чтобы так же и закончиться.

Последней оказалась Анечка Невзорова. Хорошо, что последней. Еще неизвестно, думаю я теперь, чем бы закончился ее пример, будь она среди первых.

За ней пришла Евдокия Петровна Салтыкова, зубной врач, женщина одинокая, в годах, с лицом очень приветливым и добрым. Но Аня идти отказалась. Забилась в угол и завывала. Что-то фальшивое в этом вое, подумала я, но менять ничего не стала — для уговоров момент неподходящий. Вывела Евдокию Петровну в коридор, утешила ее как могла, сказала, что подготовлю Аню и позвоню. Телефоны и адреса взрослых у меня в особой книжечке, как же.

Евдокия Петровна ушла, а я вернулась в игровую довольно злая. Еще бы! Такая неожиданная мина под



мою концепцию. А увидев Аню, забыла тут же про всякие там концепции.

Девочка сидела в углу на корточках и смотрела на меня умоляющими, жалкими глазенками. Маша, Аполлон Аполлинарьевич и Елена Евгеньевна стояли перед Анечкой, вполголоса переговариваясь, обсуждая ее выходку, а она смотрела мимо них на меня. Я улыбнулась, и Анечка кинулась мне навстречу.

— Ты чего? — спросила я ее на ухо.

— Да! — сказала она.

— Чего да?

— Она такая гладенькая, сытая, а ты плакала.

— Так это когда было! А тетя хорошая.

— Мне к ней нельзя, — шептала Анечка, — у меня мамка есть. Заругает.

— Какая мамка? — удивилась я.

И тут Анечка прошептала такое, что я, наверное, побледнела. Или лицо у меня вытянулось? Глаза полезли на лоб? По крайней мере Аполлоша, завуч и Маша бросили разговор и испуганно уставились на меня.

Анечка прошептала:

— Моя мамка — б...

— Что-о-о?.. — протянула я испуганно.

— Шлю-ха, — проговорила она по складам явно не очень известное ей слово.

Я прикрыла глаза. Перевела дыхание. Главное — чуточку помолчать, чтоб не ошибиться.

— Тогда, — сказала я, прижимая к плечу Анечку, чтоб только не видеть ее лица, — тогда я приглашаю тебя к себе. Согласна?

Анечка схватила меня крепко за шею и громко произнесла:

— Я тебя люблю!..

Что ж, Аня скрасила мою тревогу, растянутую на два дня. И хотя, пожалуй, не проходило минуты, чтобы я не подумала то про одну, то про другого, про то, где они да как там, в гостях-то, беспокойный щебет голосков Анечки и Зины придавал осмысленность моим действиям и поступкам. Да, уж так вышло, Аня встретилась с Зиной, а я, естественно, с Лепестиньей, и получилась веселая компашка, хотя довольно сложная для меня. Волей-неволей получилось так, что Аня Невзорова, приблизившись ко мне, воспитательнице, оказывалась в особом положении. Хорошо, что пока это без

лишних глаз, да еще когда у каждого появились новые знакомые.

В общем, у воспитательницы не должно быть любимцев — вот какое есть золотое правило. Не мной придумано, не мне и отменять. И, здраво размышляя, мне то как раз и не следовало никого брать в гости. Но что делать? Бывают обстоятельства, которые не перешагнешь. Оставалось вести себя естественно, по совету нашего Аполлоши. Я и старалась.

Стирала белье, а Зина и Аня стирали свое, хотя Лепестинья и сильно хмурилась. Потом отправились в баню таким квартетом, в общее отделение, которое, пожалуй, мне единственной показалось в диковинку: я, дитя благополучия, ни разу общих бань не видела, в этом городе посещала душ и сейчас шаршилась на мыльной скамье с шайкой, глупо озиравшись, поражаясь несовершенству человеческих тел, тихо охала и очень смешила своих бабешек — старую да молодых. Подружки распоясались до того, что заволокли меня в парную, и я вела себя там не вполне достойно — задыхалась и причитала, будто в душегубке, рвалась на волю, чего в конце концов и добилась под позорящее меня похихатывание двух шпингалеток.

Откуда они-то все знают, поражалась я. Потом уяснила: в дошкольном детдоме старшие группы мылись в бане.

Дальше я читала книгу, и мои девчонки читали тоже, затем готовили обед вместе с Лепестиньей, и они готовили. Далее запретила тетке бежать с девчонками в магазин за обновками.

И так далее и так далее.

Под вечер в воскресенье пришла Маша. На улице топтался ее выводок: муж и трое ребят.

— Волнуешься? — спросила Маша. — А вдруг чего-нибудь?

— Никаких вдруг.

Сунула Зине и Анечке по конфете, утопала со своими.

Шли они по тропке гуськом, и получалось у них смешно — сперва полногрудая Маша, за ней длинный ее муж и детки — по ранжиру.

Я смотрела им вслед, улыбалась, думала, как там наш директор, тоже переживает? Не могла представить Аполлошу дома. Какой он? В пижаме, шлепанцах?

Есть ли жена? Поглаживает, наверное, его по круглой голове, а он только что не мурлычет.

Наворожила: раздался стук, и на пороге возник взмокший Аполлон Аполлинарьевич. Вызвал меня в коридор, по которому гулял сквозняк.

— Получил нагоняй из гороно, — признался он смущенно. — Несмотря на воскресенье. Газеты, видно, с запозданием читают. Завтра утром замзав придет.

## 16

Замзав решительно принял нашу сторону. У них, в гороно, были главным образом мелкие испуги. Тем ли отдаем детей? Ведется ли учетность? И вообще не сплавляем ли ребят, чтобы самим жить полегче. Всякая бюрократическая пошлость. Но учетность была в полном ажуре, сведения о взрослых подробные, да еще, чтобы утешить начальство, Аполлон Аполлинарьевич обещал собрать характеристики с места работы на каждого из взрослых. Так что замзав ободрился, и, если оставалась в нем хоть тень сомнения, ее смысл шквал педагогических побед.

А наши победы возникали в вестибюле с радостными криками. Глаза горят, с порога слышится бессвязное, но восторженное бормотание, каждый хвастает подарками — коробками конфет, огромной куклой с закрывающимися глазами, кофточкой и книжкой. Коля Урванцев тащит маленькую пожарную машину, сверкающую никелем, Костя Морозов — пароход. К самому подъезду тихо подкатывает новенький зеленый «Москвич», и мы охаем: с переднего сиденья выбирается Алла Ощепкова в новой меховой шубке и пышной рыжей, под стать ей, шапке, ну вылитая кинозвезда. В машине улыбаются Запорожцы — «князь» и «княгиня», что ж, с такими подарками еще предстоит разобраться, чего тут больше — пользы или вреда, а пока же скорей, скорей в спальню, раздеться, подготовиться к уроку, остаются минуты.

Праздник в вестибюле, правда, омрачается для меня одним человеком. Он молод, худощав, в руках фотоаппарат, которым целится на моих малышей. Я знакома с ним. Он принимал мое письмо в редакцию, а теперь пришел писать о нас подробнее. И хотя есть директор, он не отходит от меня, пристает то с одним, то с другим вопросом, и я нервничаю.

Аполлоша разыгрывает отличную комбинацию. Отводит корреспондента к замзаву, знакомит их, молодой человек выражает бурные восторги, начальство вынуждено кивать, газетчик задает ему вопросы, и получается презабавно: гороно принимает нашу затею под свой патронаж.

Пользуясь ситуацией, я исчезла и спряталась на уроке у Нонны Самвеловны. Впрочем, первого урока не было. Вернее, это был урок для меня. Пока еще довольно спокойный.

Малыши никак не могли успокоиться, вертелись, переговаривались. Нонна Самвеловна впустую повышала голос. Что ж, то самое течение, плыть против которого бессмысленно. Я подошла к учительнице, мы пошептались и пришли к согласию: надо выпустить пар.

— Хорошо, — сказала Нонна Самвеловна. — Пусть каждый в двух словах расскажет о выходном и своих новых друзьях.

На первой парте у окна сидели Миша и Зоя Тузиковы, брат и сестра, у которых погибли родители. Миша вскочил, с грохотом откинув крышку парты. Глаза его сияли.

— У меня три брата есть! — сказал он.

— И у меня! — встала рядом с ним Зоя.

«Это Петровичи, Поварешкины», — подумала я с тревогой. В горле першило. Я припомнила характеристики Миши и Зои, ведь они помнят родителей, а вот — поди ж ты! — говорят о братьях, тянутся, значит, к семье, хоть и чужой. Что-то будет? Всерьез ли решили эти Поварешкины?

Впрочем, сейчас надо слушать, внимать уроку вне расписания. Тут каждая реплика вызывает к разбору, раздумью, работе. Я торопливо, сокращая слова, записываю высказывания ребят.

*Коля Урванцев.* Никанор Никанорович полюбил меня.

*Саша Суворов.* Я смотрел четыре кинофильма.

*Костя Морозов.* У нас есть пес. Его зовут Джек, а дядя Коля зовет его Джексон. Как какого-то американца.

*Леня Савич.* Мы были в зоопарке.

*Женечка Андропова.* А у нас книг, книг! Никогда столько не видала! Мне подарили сказки Андерсена.

*Леня Берестов.* К моему дню рождения испекут торт.

*Сева Агапов.* А у нас есть ружье. Степан Иванович обещал взять меня на охоту.

И вдруг взрыв!

*Аня Невзорова* (голосом Лисы Патрикеевны). А я-то знаете где была? Не зна-а-ете! — На лице у нее блаженная улыбка, а я медленно догораю. — У На-деж-ды Георг-и-ев-ны!

Весь класс оборачивается ко мне, слышится ропот, но тут же стихает. У каждого слишком сильны собственные впечатления, чтобы Анино признание вызвало открытую зависть. А тут еще одна бомба. Прямо атомная.

Алла Ощепкова победно оглядывала класс, неуловимо женственным движением поправляя на груди мохеровую кофточку — еще одну обнову, ждала тишины. Потом не сказала — продекламировала каким-то гортанным, не своим голосом:

— А у нас! Высокие! Потолки! Машина! И еще! Меня! Удочерят!

— Что это? — пискнул кто-то.

— Буду жить дома и ходить в нормальную школу.

— Я тоже, — вскочила Зина Пермякова.

Я чувствовала, как холодеют у меня руки. Будто сунула их в прорубь. Нонна Самвеловна подошла ко мне, забыв о классе. Добрые карие армянские глаза смотрят растерянно. «Как хорошо, что дети малы, — подумала я, — и мы можем позволить себе роскошь растеряться у них на виду».

Я поглядела на Нонну Самвеловну, она на меня, я медленно поднялась и пошла к директору. Аполлоша еще кокетничал с замзавом и журналистом. Увидев меня, они дружно заулыбались, принялись пожимать руку, а у меня от этих поздравлений чуть слезы не брызнули. Ах, как глупо чувствовать себя не той, за кого тебя принимают, и получать авансы, не подтвержденные делом! Но выдача авансов только начиналась!

Среди недели газета, печатавшая письмо, опубликовала громадную статью, и у меня подкашивались ноги от страха, когда я шла по школьному коридору. Учителя со мной здоровались и разговаривали обычно, но мне в каждом слове виделось ехидство и едва скрытый укор. Еще бы! Главной героиней сейчас была я — такая благодетельница новой формации, — а директор и даже дети служили фоном, и общее наше дело выгля-

дело моим личным почином. Слава богу, что я уклонялась от разговора с тем молодым парнем из газеты, и это не осталось незамеченным. Да и что я могла еще тогда сказать? Выходило, материал для статьи давал Аполлоша. И все-таки мое положение было дурацким. В порыве откровенности я сказала об этом Елене Евгеньевне.

Да, Елене Евгеньевне! Бывает, сначала сделаешь, потом думаешь. Я сказала и испугалась — неужели засмеется? Но завуч тяжело потупилась и сказала:

— Чепуха, забудьте. Теперь уж что? Назвался груздем, полезай в кузов. Тяжело, если не выйдет. Можно сломаться. А вы только начинаете. Опасно.

Она приветливо оглядела меня, покачала головой.

— Вы, я вижу, честный человек, вам можно доверять. Так вот, мы с мужем оба педагоги, всю жизнь в школе, вроде что-то получалось. А теперь я разуверилась в себе. У нас есть шестнадцатилетний сын. Отбил-ся от рук, ничего не помогает, никакая педагогика, никакой опыт, понимаете? Мы уже утешаем себя: мол, Ушинский тоже воспитал многих, а своего ребенка не смог. — Елена Евгеньевна вздохнула и улыбнулась. — Вот что страшно: понять, что ты все знаешь, но ничего не можешь.

Надо же, я нуждалась в утешении, а теперь утешать пришлось мне.

— Да я не к тому, девочка! — воскликнула Елена Евгеньевна. — Просто не спешите! Не делайте ошибок. А главное, не поддавайтесь отчаянию, если оно придет.

«Если оно придет». Я настороженно встречала детей в понедельник. Вглядывалась в их лица.

Каждый понедельник становился новой точкой отсчета в жизни малышей. По этим точкам можно выстраивать график.

Я принялась за него.

Это была толстая зеленая тетрадка. В понедельник я записывала высказывания ребят на разрозненных листочках, а потом переписывала в тетрадь по главам — каждая глава носила имя ребенка, а каждый пункт — минувшие выходные.

Вот как это выглядело:

Леня Савич.

1. Мы были в зоопарке.

2. Катались на коньках. Я знаю, как точить коньки.

3. Дядя Леня подарил мне электрический фонарик, и я теперь не боюсь темноты.

4. Дядя Леня получил премию, и мы ходили с ним в магазин выбирать подарок тете Ларисе. Купили духи.

Тут же пометки о тезке Савича — Леониде Ивановиче Маркелове, токаре с машиностроительного завода: год рождения 1930-й, член КПСС, зарплата — 200—230 рублей. Жена — Лариса Петровна, 1932-й, медсестра, оклад — 110 рублей. Адрес: Садовая, 4, квартира 12, телефона нет. Сын Витя, 12 лет.

Мои пометки. Против третьего гостевания: «А я и не знала, что он боится темноты».

Сева Агапов.

1. А у нас есть ружье. Степан Иванович обещал взять меня на охоту.

2. Мы заряжали патроны порохом и дробью. Скоро пойдем на охоту.

3. Ходили в тир, стреляли в мишень.

Мои пометки: «Ребята смеются. Спрашивают Севу, когда же на охоту?»

Точки в графиках то взлетают вверх, то падают. Так у Севы. После этого смеха он заплакал прямо в классе, развернулся и стукнул Колю Урванцева, который спросил: «Когда же на охоту?» А в очередную субботу спрятался в шкафчик для одежды, так что я его обыскала.

Пришлось объясниться со Степаном Ивановичем, инженером теплосетей, человеком добродушным, но, пожалуй, безвольным. Он сам признался:

— Ведь это моя идея — Севу взять. Жена не против, конечно, но и не очень за. Так что требует от меня в магазины бегать, то-се, а на охоту никак не вырвусь.

Зато в следующий же понедельник Сева сказал, а я с удовольствием записала:

4. Ходили на охоту. Степан Иванович убил ворону. На Севу закричал Коля Урванцев:

— Ворона — полезная птица! Ее нельзя!

— А никого другого не было! — ответил Сева.

Засмеялся весь класс. Но он не обиделся, не за-

плакал, как в прошлый раз, наоборот, делился впечатлениями:

— У меня уши будто шапкой закрыло. Ба-б-б-ах! И ничего не слышно. Степан Иванович глотать учил, чтоб прошло.

Конечно, подробности в мою кардиограмму не укладывались. А жаль. Впрочем, память не хуже любой тетради сохранила забавное и грустное, слезы, улыбки, слова да, кажется, и сам воздух тех дней.

Хорошо помню, например, про Анечку.

Ко второй внешкольной субботе я сумела подготовить ее. Аня охотно пошла с Евдоскией Петровной, а в понедельник помчалась ко мне через весь вестибюль с широко раскрытым ртом.

— М-м! — мычала она.

— Что такое?

— Посмотри!

Я посмотрела в рот, ничего не поняла.

— Евдокия Петровна три зуба запломбировала. Совсем не больно! Я у нее на работе была! Сама машинкой жужжала. Стану самотологом!

— Стоматологом! — Евдокия Петровна смущенно улыбалась позади Анечки, мотала головой, повторяла: — Ну огонь! Ну огонь!

Все перемены Анечка приставала к ребятам, открывала рот, показывала пломбы. Потом щелкала зубами, точно доказывала, какие они теперь у нее крепкие. Даже Аполлошу порадовала. Остановила в коридоре и показала рот.

Эти дети, замечала я, или замкнуты, или распахнуты настежь. В отличие от интернатовских, тех, что брали домой родители, мои малыши не имели середины. Или скован, или раскрыт. Причем и то и другое могло помещаться в одном человеке. Как в Ане.

Ведь любила она меня, любила, точно я это знаю, и будущее подтвердило это, могла бы проговориться, сказать, но молчала, пока не случилось...

Первой это заметила Нонна Самвеловна. Анечка Невзорова сидела у окна и несколько раз прямо во время урока вставала, смотрела в окно и не обращала внимания на замечания учительницы.

— Стояла так, — сказала Нонна Самвеловна, — точно ничего не слышит.

На перемене я зашла в класс. Анечка сидела за пар-



той, упершись взглядом в стену. Я присела к ней, погладила по голове. Она, даже не повернувшись, привалилась ко мне, по-прежнему задумчиво глядя перед собой.

— Что случилось? — спросила я шепотом.

Анечка молчала. Потом, стряхнув оцепенение, посмотрела мне в глаза. Взгляд был совершенно взрослый. Точно разглядывала меня усталая, грустная женщина.

— Что там, за окном? — спросила я, и Анечка сжалась у меня под рукой.

— Ничего, — ответила она.

Послышался звонок.

— Будь умницей, — попросила я, — не забывай, что урок. И что сегодня в гости.

— Может, я не пойду, — загадочно ответила Анечка.

— Почему?

— Может, чего-то случится.

— Ничего не случится.

Но случилось. Посреди последнего урока дверь в спальню грохнула, точно выстрел, и, задыхаясь от плача, ко мне подбежала Анечка.

— Скажи, — прокричала она в отчаянии, — скажи, чтоб она ушла!

Я разглядывала посиневшее, ставшее каким-то болезненным лицо девочки и ничего не могла сообразить.

— Кто ушла? Евдокия Петровна?

— Нет! Мамка! Она все время тут ходит! К Евдокии Петровне будет приставать! Материться!

Отрывочные эти выкрики меня оглушали. Я прижала девочку к себе, поглаживала спинку, чтобы успокоить, и она кричала мне прямо в ухо. Но оглушали меня не слова. Их суть.

Значит, где-то тут возле школы бродит ее мать? Не первый раз!

— Покажи! — выпрямилась я. Мы подошли к окну. На улице никого не было, кроме разве элегантной женщины в голубом берете с помпошкой, в красивых импортных сапогах на высоком каблуке, по голенищу — ремешок. Писк моды, я о таких могла только мечтать. Но эта мадам не походила на Анечкину мать. Особенно если учесть те два словечка, которыми Аня назвала тогда свою маму.

— Ну?! — спросила я.

— Вот! — кивнула Анечка и торопливо отскочила от окна.

— Не бойся, — сказала я. — Она тебя не увидит.

— Как не увидит?

— Ты веришь мне?

Аня прижалась всем телом, облегченно вздохнула, и столько было в этом вздохе тяжелого отчаяния, что у меня комок подступил к горлу.

В вестибюле я договорилась с «князем» Игорем и его «княгиней», что они сядут в машину, приоткроют дверцу, заведут двигатель, и в это время к ним быстренько придет Евдокия Петровна с Анечкой.

Все получилось как по маслу.

Зеленый «Москвич» проскочил прямо перед красоткой, но она и носом не повела.

Когда в школе стихло, я накинула пальто и вышла на улицу. Женщина в голубом берете и модных импортных сапогах со шпорами стояла на том же месте. Я приблизилась к ней.

Все в меру, с большим вкусом, — берет, помпошка, пальтецо, отороченное голубым песцовым мехом, сапожки аховые. Вот лицо, пожалуй, подкачалось. Широко-скулое, рябоватое. Слишком ярко подкрашены губы.

— Здравствуйте, Любовь Петровна, — сказала я и увидела, как она напряглась. Не ожидала, что по имени-отчеству? А как же? Знаем, знаем, и не только это: ЛРП — лишена родительских прав. Отец девочки неизвестен.

Мне стало стыдно. А, собственно, что еще знаю я про эту женщину? И кто мне дал право судить?

А мать Ани настороженно разглядывала меня.

— Дочку бы мне, — проговорила она наконец сильным голосом, и я попятилась от дикого амбре водки и парфюмерии. Насколько все же, мелькнуло во мне, пьяная баба отвратительнее пьяного мужчины.

— Любовь Петровна, — сказала я в меру вкрадчиво. — Зачем вы ходите? Да еще в таком виде? Девочка переживает.

— Что такого? — слегка смутилась Невзорова. — Я же не падаю. И вообще! Дайте Аню. Сто лет не видела. Не трогала, не говорила. Чем я хуже других?

— Успокойтесь и уйдите, — сказала я сдержанно.

— Успокойтесь? — заплакала она, и тушь сразу поползла с ресниц по щекам. — А кто вам дал право, от-

ветёте? Раздавать чужих детей! Чужим, значит, можно, а родной матери нельзя?

В словах ее, прерываемых монотонным воем, слышалась тоска и обида, но чем я могла помочь?

— Не надо так, — проговорила я смущенно. — Все зависит от вас. Родительские права возвращаются. Наверное, надо перемениться.

— Перемениться! — лицо Невзоровой враз ожесточилось. — Вот сама и меняйся! А ко мне не лезь. Живу как хочу. Или я сама не хозяйка? Ха! Вас послушаешь, все благородные. А на самом деле? Лишь бы тихо! Если тихо, давай. А громко, во весь голос — сразу под суд! Тихие гады!

Ее куда-то понесло, это она не мне говорила, кому-то другому кричала, доказывала что-то свое, мне совсем неизвестное. Так что разве я знаю хоть что-нибудь про нее?

Легкий снежок за спиной торопливо захрустел, я обернулась и увидела Аполлона Аполлинарьевича. Я остановила его движением руки, но он закричал из-за спины:

— Уходите! Немедленно уходите! А то вызову милицию!

— А вот уж такой статьи и вовсе нет! — хрипло просипела Невзорова — боже, какая литературная фамилия! — Что, нельзя навещать собственную дочь? Не пугай! — И добавила, презрительно скривив губы: — Тюфяк!

И двинулась, со скрипом вдавливая каблуками снег. Я обернулась. Еще одна кличка у бедного Аполлоши.

Он стоял, чуточку разведя руки в широких рукавах мешковатого пиджака, действительно похожий на тюфяк, и точно хотел что-то спросить. Снежинки таяли на его широком покато лбу, и весь он выражал такое горькое недоумение, что мне хотелось подойти и погладить его по круглой голове. Так бы и сделала. Но на нас смотрели с крыльца. Дворник дядя Ваня, повариха Яковлевна в белом, трубой, колпаке, испуганная Маша, строгая Елена Евгеньевна.

Вся школа обзревала сцену, как директор бросается спасать воспитателя от родительницы.

— Да, черт побери, — проговорил, вздохнув, Аполлон Аполлинарьевич, — что бы сказали мои предки?

С точностью до каждого мгновения помнит человек важные свои дни.

Мы с Аполлошей возвращаемся в вестибюль, и Елена Евгеньевна говорит, что меня зовут к телефону. Я иду в учительскую, с недоумением беру трубку.

— Надежда Георгиевна? — слышится мужской голос. — Вы меня узнаете?

Я еще под впечатлением ЛРП. Отвечаю довольно резко:

— Не умею разгадывать загадки.

— Ну, не сердитесь, — говорит мужчина. — Это Лобов из газеты. Виктор Сергеевич.

Теперь я узнаю его голос. Но говорить не хочется. Поскорей бы избавиться от осадка, который оставила газетная статья. Я придаю голосу предельную сухость:

— Я вас слушаю.

— Ну-у, Надежда Победоносная, — смеется Лобов, — что-то вы совсем не любезны!

Какая любезность! Я похожа на выкипающий чайник. Ух, этот Аполлоша! Разболтался! Едва сдерживаюсь, чтобы чего-нибудь не ляпнуть в трубку. Но все-таки этот Лобов принимал мое письмо. Да и статью свою писал, видно, от чистого сердца.

— Слушаю вас, — чуточку потеплее повторяю я.

— Мне надо встретиться с вами.

— Право, очень сложно, — бормочу я, сознавая, что веду себя не вполне прилично. Когда мне надо было, так время находилось. — Ну, хорошо. В какое время?

— Через час заеду прямо к вам.

Через час школа опустела, все разошлись домой. Я сижу в учительской одна над своей зеленой тетрадью. Но писать не могу. Мешает непонятное волнение. Пожалуй, даже досада. Чего ему еще от меня надо? Снова материал для статьи? Только этого не хватало!

В коридоре раздаются громкие шаги, дверь распахивается.

Лобов подходит к моему столу, счастливо улыбается. На нем ладная дубленка, в одной руке мохнатая шапка. Я разглядываю его внимательнее. Лицо потомственного интеллигента — худощавое, очки в тонкой золоченой оправе. Похож на учителя, врача, уче-

ного, журналиста. Так что полное совпадение внешности и профессии.

— Наденька! — говорит он, и я удивленно вскидываю брови: не люблю безосновательной фамильярности. Но он точно не замечает моей реакции, а повторяет: — Наденька! Во-первых, я получил премию за очерк про вашу школу.

— Поздравляю, — говорю я, и что-то сжимает сердце, какое-то непозволительное волнение.

— А во-вторых, пойдете в театр, а?

Глаза у меня, наверное, округляются. Да и лицо вытягивается.

— Это невозможно, — быстро произношу я, стараюсь принять отчужденный вид. Но Виктор Сергеевич смеется, точно ему известны все эти уловки.

— Да бросьте! — говорит он совершенно спокойно. — Пойдемте — и все!

Что «бросьте»? Откуда такая развязность? Я уже готова выпалить эти восклицания, но что-то сдерживает меня. Воспоминание о Кирюше, моей студенческой пассии? Кирюша, Кирюша! Мысли о нем ленивы, Кирюша остался за чертой реального, он где-то в аспирантуре, мой бывший чистый физик, а в закутке у Лепестиньи две его натужно лирические открытки. Мысль о Кирюше все сонливее.

— Что вы сказали? — спросила я.

— Айда в театр!

И так он сказал это беззаботно, ни на что не претендуя, что мне тут же стало обидно — вот женская логика! Стало обидно: почему же не претендуя?

Местный театр не блистал искусством, поэтому спектакли частенько подкреплялись танцами в антрактах и после зрелища. Все вместе это называлось «молодежный вечер». Зрителей в зале почти не было, зато окрест стоял негромкий, но оживленный гул: народ, беседуя, ходил по фойе в ожидании танцев и освежался пивом в буфете.

Мы тоже не пошли в зал. Виктор Сергеевич увлек меня на диванчик под скульптурой обнаженного бога Аполлона, и я время от времени, увидев эту композицию отраженной в зеркале — я и Лобов, а над нами Аполлоша, так непохожий на себя, — весело и невпопад речам кавалера прыскала.

Он удивленно оглядывал меня, видно, такое поведе-

ние не совпадало с его представлением о серьезном педагоге-новаторе, а когда я пояснила, повалился со смеху. И вообще он был смешлив, совершенно прост, очень остроумен, что меня особенно привлекало. Было, правда, одно обстоятельство, которое мне мешало. Полтора года назад Виктор кончил факультет журналистики Московского университета. И вообще коренной москвич.

Странное дело, это меня уязвляло. Москвичи всегда казались мне белой костью, и наш старинный педагогический институт в старинном миллионном городе как-то всегда был несравним с университетом и Москвой. Глупо, конечно, но я сама сделала это: узнав, что он москвич, как бы приспустилась на ступеньку по сравнению с Виктором.

Да, он был уже Виктором после первого же не увиденного нами акта, а я Надей, Надюшей и даже Надюшенькой и, черт побери, снова чувствовала себя девчонкой, просто девчонкой, которой хочется смеяться, танцевать, болтать что попало, а никакой не воспитательницей.

В антрактах мы танцевали, Виктор был просто молодец, вёл легко и свободно, и когда мы кружились в вальсе, между нами был целый круг, пространство, наполненное волнами тугого воздуха. Мы танцевали все — и всякий модерн, самую что ни на есть современность, — но я особенно запомнила вальсы, потому что по нынешним временам, пожалуй, только в вальсе партнер держит партнершу.

Сначала Виктор просто держал мою руку, но однажды, на каком-то повороте, легонько пожал ее, и я подумала, что он сделал произвольное движение, стараясь удержать меня. Потом он снова пожал мою руку, и я вопросительно взглянула на него. Он смотрел в сторону, точно был занят другими мыслями. Наконец я снова ощутила едва заметное рукопожатие и вновь взглянула на него. Теперь Виктор улыбался, смотрел в глаза, и я ответила на его движение.

Вечер кончался. Музыка еще играла, а великолепные люстры постепенно, по ярусу угасали. Вальс замедлялся, и неожиданно на последних витках Виктор, останавливаясь, словно ставя точку, прижал меня к себе.

Это было мгновение, одна секунда, но у меня перехватило дыхание. Я точно застыла. Виктор же болтал

без остановки до самого моего дома и, мне казалось, разговорами скрывал собственное смущение. Главной его темой было учительское благородство, оказывается, его отец часто рассказывал про свою учительницу-старушку, которая всю свою жизнь отдала школе, проработала там шестьдесят лет, даже замуж не вышла — всю жизнь школе, детям, а умерла почти в девяносто, и вот ее бывшие ученики собрали деньги и поставили на могилке великолепный памятник — прекрасная, не правда ли, судьба?

Я качала головой, соглашалась, рассказ Виктора тронул меня.

У ворот он беспричинно засмеялся, схватил меня за талию, мы снова закружились, как в театре, и я все чего-то ждала, да не чего-то, я ждала повторения, и все повторилось, только иначе. Он прижал меня к себе, его лицо приблизилось.

Мы поцеловались.

«В первый же вечер! — лениво осудила я себя. — Едва знакомы!» Но думать об этом было скучно, а целоваться приятно.

Назавтра в группу прибежал сам Аполлоша.

— К телефону! Лично вас инспекция по делам несовершеннолетних!

Я вслушивалась в чей-то скрипучий голос, который объяснял мне, что дети из моей группы не соблюдают — надо же! — правила уличного движения.

— Мои дети, — кричала я, — ходят со взрослыми!

— Вот вчера ваш Урванцев пошел на красный свет.

— Вчера мой Урванцев не выходил из школы! — срывалась я на крик.

И вдруг без всяких переходов голос Виктора произнес в трубку:

— Я целую тебя!

— Как это понимать? — крикнула я по инерции. Только тут до меня стало доходить. Но рядом стоял Аполлон Аполлинарьевич. Смеяться? Я едва сдержалась.

— Хорошо! — ответила я.

— Что хорошо? — не понял Виктор.

— Хорошо то, о чем вы говорите...

— А ты? — допытывался он.

— Тоже! — ответила я, бросила трубку, вылетела в коридор и чуть не задушила в объятиях первого попавшегося под руку малыша.

Виктор звонил мне по несколько раз на день, но трубку брал кто угодно, только не я, и он всякий раз выдумывал благовидные предлоги. Фантазия его была ключом. Бывало так, что я приходила в школу, а Елена Евгеньевна с удивлением сообщала мне, что звонили из санэпидстанции и благодарили меня за соблюдение идеальной чистоты в спальнях комнатах первого «Б».

— Спасибо, — кивала я.

— Я что-то не припомню, — поражалась Елена Евгеньевна, — чтобы в последнее время к нам приезжали из санэпидстанции.

Я пожимала плечами.

За довольно короткое время в мое отсутствие по телефону мне выразили благодарность за самоотверженную работу моряки ракетносца «Смелый» с Балтийского флота, игрушечная фабрика доложила о конструировании на общественных началах электронного Конька-горбунка специально для моей группы, управление пожарной охраны горисполкома сообщило об избрании меня почетным членом механизированного депо, а работники одной районной библиотеки предложили подарить мне книгу американского доктора Спока о воспитании маленьких детей.

Виктор шутил, а слухи о моей мнимой славе раздувались как воздушный шар. Даже Маша поглядывала на меня с каким-то недоумением.

## 19

Я, будто Карлсон, летала по школе. И все так славно выходило! Удача, наверное, как и несчастье, в одиночку не ходит.

С детьми расчет оправдывался, что и говорить. Они стали прилежнее, живее, точно в них что-то пробудилось. Старание и одухотворенность были следствием, а причиной — субботние встречи в вестибюле. Даже самый маленький и, казалось бы, несмышленный человек легко сознает ответственность перед любящими людьми. На радость всегда хочется ответить радостью, хочется похвастать своими удачами и победами. Неудачами ведь не хвастают. Словом, любой день и час недели окрашивался воспоминанием прошлого воскресенья и ожиданием следующего.

Когда Леня Савич повторил в очередной понедель-



ник, что ему на именины испекут торт, порядочно зазнавшаяся Алла Ощепкова воскликнула:

— А у меня каждое воскресенье именины!

Алла тревожила меня, но в этом признании я услышала ощущение праздника. Похоже, стараясь похвастаться, она выразилась довольно точно, и многие могли бы сказать так же.

Пожалуй, все.

Может быть, я не видела тогда чего-то важного?

Пропустила из-за любви, как пропускает по неуважительной причине уроки плохая ученица?

Может быть. Наверняка. Любовь даже подтолкнула меня к ужасному изобретению. Трудно сообразить, как я это додумалась.

Я много думала о Викторе в те дни. Когда можно и когда нельзя. Когда нельзя — это во время самоподготовки. Следовало помочь малышам. У кого не выходит задача. Некрасиво пишется буква. Я это делала, но как-то механически теперь. Без былого старания и увлечения. Виктор мешал мне.

Одна из трудностей самоподготовки — неравность, если можно так выразиться, скоростей. Один решил задачу раньше, и, хотя сосед еще пыхтит, трудится, первый начинает ему мешать: возится, шумит, а то вскочит из-за парты: все-таки не урок, а подготовка к уроку. Тот, у кого скорость ниже, нервничает, отвлекается, дела у него идут хуже.

Однажды я не успела поесть и пришла с печеньем. Тем, кто готовил уроки быстрее, давала, чтоб сидели тише, по печенушке. Они притихли! Не отвлекали остальных.

«Эврика!» — говорят, воскликнул Ньютон, когда ему на голову шмякнулось яблоко. Я же тихо ойкнула, совершив свое открытие. А на другой день принесла к самоподготовке целый куль белых сухарей: Лепестинья насушила из буханки хлеба.

Мышата из передовиков хрустели сухарями, не мешая товарищам, потом и те получали свою долю, а я вспоминала Виктора. Надо же! Вот что может сделать любовь!

Только зеленая тетрадь возвращала меня к жизни. Все-таки двадцать два малыша. И на целый день, даже полтора мы теряем их из поля зрения. Отдаем посторонним.

Я затеяла проверку. В конце концов у нас все права. Аполлон Аполлинарьевич одобрил. Даже вызвался пойти со мной. И я села в калошу.

Дело в том, что проверку придумала не я одна. С Виктором. Полдня в субботу и все воскресенье мы проводили вместе, ходили в кино, а чаще всего на лыжах в сосновом лесу.

Стояла уже зима, пухово-снежная, с легким морозцем, без ростепелей. Пройдешь кварталчик хотя бы по городу, мозги тотчас прочищает, словно свежее купание. Снег звонко хрустел, искрился на солнце мелким хрусталем. Присядешь пониже, и снежная пластина вспыхивает радугой. Голубым, оранжевым, зеленым.

Виктор рассказывал про себя, про свою работу, и слушать это мне было очень интересно. Еще бы! Сегодня здесь, завтра там. Мне нравилось, что Виктора многие знали, как-то льстило, когда солидный пожилой человек первый приподнимает шляпу — вот какой известный человек мой ухажер! Но ухажер не кичился знакомствами, был предельно вежлив и любезен. Концепция его мне нравилась, была реалистической, но без пошлостей: Виктор предполагал отработать два года по распределению, а потом вернуться домой, в Москву, к родителям и устроиться в центральную газету.

— А сейчас, — говорил он, — познание жизни, приближение к ней, накопление запаса прочности, который пригодится для будущего.

Эти рассуждения я выслушала раз или два, приняла их к сведению и сердцу, но возвращаться к ним не считала возможным из элементарной гордости.

Когда Виктор говорил про два года, я восклицала про себя: «Как! Два года!» Но молчала, хотя и замедляла шаг. Выходило, я не вписывалась в программу Виктора, он не упоминал обо мне в своих расчетах. На какое-то время холодела, но потом сиюминутность захлестывала меня, и я забывала про два года. А его второй год шел полным ходом!

В остальном же Виктор был на редкость тактичный человек. Его жизнь протекала в тысячу раз разнообразней моей, но он рассказывал самые крохи. Мои же дела знал в подробностях. Он и надоумил, пристыдив:

— Эх ты, Надежда! Была в гостях хоть у одного ребенка?

И вызвался идти вместе со мной. Так что моя тай-

на, когда в гости собрался и Аполлоша, оказалась под угрозой разоблачения. Но доверчивый Аполлон Аполлинарьевич ничего не заметил.

— А! Пресса! — зашумел он одобрительно. — Значит, как у вас говорится, продолжение следует?

— Следует, следует! — улыбался Виктор.

Больше всего нас интересовали Петровици Поварешкины. Не хотели мы им никого давать, а дали сразу двоих — Мишу и Зою Тузиковых. Все-таки значок победителя соревнования, который Семен Петрович из кармана тогда вытащил, произвел впечатление. Он приберег его как последний аргумент в свою пользу, и чем больше времени проходило, тем все симпатичней мне этот аргумент казался. Но все-таки трое своих. И еще двоих взяли. Как это?

Нагрянули мы, конечно, неприлично. Будто ревизия. Могли бы, конечно, заранее предупредить, чтобы людей не обижать. С другой стороны, мы представляем ребячьи интересы. Нам нужна объективная ситуация, а не подготовленная.

Застали семью за едой. Анна Петровна забежала вокруг стола, велела всем тарелки приподнять, накинула на клеенку скатерть. Пришлось сесть к столу.

Еда была скромная — оладьи со сметаной, зато оладий — целая гора, и я вспомнила маму.

Надо же — вспомнила! И слова другого не подберешь, раньше мама из головы не выходила: «Как скажешь, мамочка», «Конечно, мамочка», «Бегу, мамочка!», — а теперь я ее *вспомнила*. На короткую записку, тот грозный ультиматум, так и не ответила — сначала не знала, что написать, а потом времени не нашла, и теперь прямо под ложечкой засосало. Ну и что ж, если такая записка в ее жанре? А вот эта гора оладий? Вспомни-ка наш старинный стол на гнутых ножках, огромное блюдо посредине и банок шесть — со сметаной и вареньями, малиновым, вишневым, абрикосовым, еще и еще. Все почему-то добреют за оладьями. Ольга болтает с Татьяной, Сергей подкидывает незлобивые шпильки мне, одна мама взирает на нас с олимпа своего кресла, точно на шаловливых котят, ухмыляется чему-то своему. Чему? Ясное дело. Вон Анна Петровна тоже улыбается.

— Сколько же у вас едоков-то, — говорю я, — накормить и то целое дело!

Анна Петровна пугается, смотрит на Семена Петровича, а тот — на директора. В его взгляде вопрос. Неужели, мол, старая тема?

Но Аполлон Аполлинарьевич увлечен оладьями, подбородок его блестит маслом, вот-вот и он замурлычет, а Семен Петрович поворачивается ко мне.

— Разве это много? — говорит он. — Мой родитель одиннадцать имел, а вон Аня-то, спросите у нее, какая по счету?

Мы поворачиваемся к Анне Петровне, та смущенно прикрывает ладошкой рот и отвечает сквозь нее:

— Четырнадцатая!

— Аполлон Аполлинарьевич, — неприлично кричу я, — представляете?

— Бывало, за столом не помещались, — сказала Анна Петровна, — ели в две смены. Зато весело! — Она пригорюнилась. — Половина погибла да перемерли. — Опять оживилась: — Но зато другие живые! Народу надо побольше, чтоб семья сохранялась, — сказала она, о чем-то мгновение подумав. — А то нынче сколько? Один да один! Этак вымрем!

Оладьи запивали молоком, потом мужчины удалились на кухню покурить, а я перебралась к малышам. Заметных обновок на них не было, но носочки я знала, каждый понедельник новые, хотя и простенькие, хлопчатобумажные. Зоя носила очки в проволочной оправе и сейчас походила на старушку — читала книгу. Когда я подошла, отложила книжку и прошептала, чтоб не слышали Поварешкины:

— Надежда Георгиевна, можно мы каждый день ночевать здесь будем?

Миша строго взглянул на сестру.

— Не перебирай! Тут и так тесно!

Зоя не обиделась, послушно отвернулась к книжке, а я снова подумала о том, как отличаются мои ребята от остальных. Даже, пожалуй, от тройки Поварешкиных.

Хотя как знать.

К Мише и Зое подошел старший, девятиклассник Витя. В руках в него ребячьи пальтишки, валенки.

— Вставай, поднимайся, рабочий народ! — сказал грубовато Витя.

Миша и Зоя стали одеваться, а Витя помогал им, и никто ни разу не улыбнулся и не сказал ни слова, пока собирались на улицу.

Вышли они впятером с двумя санками.

Пожалуй, свою сознательность наш Миша черпал здесь.

## 20

Одним махом мелькнули Октябрьские. Единственное полезное, что я сделала за три выходных, — письмо маме.

Ее записочка сваялась в кармане, углы потерлись, моя обида состарилась вместе с бумажкой, и письмо маме вышло оптимистичным, даже восторженным. Я не написала про многое, что меня распирало, не написала, конечно, про Виктора и мой роман, зато на все лады расхваливала работу, свой класс и не постыдилась даже вложить в конверт газету с очерком Виктора. Конверт получился пухлый, мама, я знаю, десять раз перечитает мой отчет, а вот что последует дальше, никогда предсказать нельзя.

Я точно свалила с души тяжелую гору и снова кинулась в свою суету, в школьные хлопоты, в ночные прогулки с Виктором.

Тихо, будто тройка по мягкому снегу, подкатил Новый год.

Аполлон Аполлинарьевич устроил роскошную елку в спортивном зале — до самого потолка. Вся она сверкала от изобилия игрушек, даже хвои почти не видно из-за серебристых шаров, бус, серпантина. В радиодинамиках грохотала музыка, из городского театра приехал артист, разряженный Дедом Морозом, со Снегурочкой и целым грузовиком шефских подарков, затеяли хоровод, а я вглядывалась в лица своих малышей и снова делала маленькие открытия.

Зина Пермякова хохочет до изнеможения, так что даже лоб покрылся испариной — ее веселье чрезмерно, она отдается ему без всяких сдерживающих начал. Я пробираюсь к ней, отвожу в сторонку, вытираю лоб платком, прошу успокоиться: мне уже известно, что у моих малышей от веселья до истерики — один шаг.

А Саша Суворов прижимает к груди пластмассовую матрешку с конфетами и смотрит на елку, хоровод и разряженных артистов с недоумением. Его, напротив, надо встряхнуть, подтолкнуть к детям, заставить рассмеяться.

В самый разгар радости из толпы выбежала рыдающая Женечка Андропова. Я бросилась к ней, принялась целовать, расспрашивать, что случилось, но ничего не добилась. Женечка была одной из самых скрытных. Рослая — выше многих мальчишек — Женечка тянулась в хвосте класса по успеваемости. Причиной всему — развитие. В характеристике Мартыновой про Женечку написано, что она угрюма, внимание неустойчиво, легко отвлекается. Я бы могла добавить от себя: плохо выражает свои мысли, путается в названии дней недели, если перечисляет их вразбивку, сторонится даже девочек.

Я с тоской смотрю, как Андропова обедает. Без всякого аппетита, но много и может съесть бог знает сколько. Мартынова про это ничего не написала, думаю, умышленно. Каждому педагогу известно, что чувства сытости нет у умственно отсталых детей.

По всем правилам девочку следовало обследовать в медико-педагогической комиссии и отправить в специальную школу, но я пробовала бороться за нее. Звала не иначе как Женечка. Научила правильно называть дни недели в любом порядке: мы твердили их шепотом на ухо друг другу, у нас как бы получилась маленькая от всех тайна, и Женина угрюмость начала исчезать. Когда мы подбирали взрослых, я нашла для Женечки бывшую учительницу Екатерину Макаровну, и та уже помогла мне безумно много. Кто-кто, а Женечка первой среди всех нуждалась в матери! Не месяцы — годы требовались ей, чтобы ничем не отличаться от сверстников, а специальная школа, казалось мне, способна только утвердить девочку в своей неполноценности. Нет, я уж пока помолчу о комиссии!

Женечка проплакалась, я сказала ей какую-то пустяковую шутку, напомнила, что нос надо вытирать почаще, чтоб не оконфузиться перед мальчишками, повернула ее лицом к елке. Глаза у Женечки засияли, она кинулась в хоровод, совершенно не помня о слезах, а я вздохнула.

Как же это пробраться в каждого? В самую серединку? Как умело и быстро ставить диагноз любому срыву? Ох, как далеко мне еще до такого!

Вокруг елки, гораздо больше похожей на Деда Мороза, чем загримированный, с бородой, артист, расхаживал Аполлон Аполлинарьевич. Его лысая голова на-

поминала елочный шар. Дед Мороз снова повел хоровод, и директор подбежал ко мне, потянул за руку.

— Победоносная! Ваше место в центре!

Я громко, в полный голос подхватила всеми любимую песню, и малыши мои задвигались быстрее.

В лесу родилась елочка,  
В лесу она росла!

Когда дошла до места, как срубили елочку под самый корешок, пришлось выбраться из хоровода: заплакал Леня Савич. Да, слезы у моих были близко.

Есть примета: что произойдет с тобой под Новый год, весь год потом будет повторяться.

Женечка и Леня успокоились быстро.

Мои слезы — впереди.

## 21

На каникулы всех моих малышей забирал зимний лагерь шефов. Ехать с ребятами вызвалась Маша, тем более что, кроме малышей, из которых создали специальную группу, нам дали еще тридцать мест, и директор помог Маше отправиться со своими детьми.

Я в свободные дни собиралась съездить домой, Аллолоша не возражал, и мысленно я уже звонила у родной двери, она распахивалась, на пороге возникали Татьяна, Ольга, Сергей, все ахающие, потрясенные моим изменившимся, совсем взрослым видом, наконец появлялась мама и вместо какой-нибудь жесткой фразы начинала всхлипывать.

День, день, еще день, и к вечеру я дома.

А пока предпраздничное волнение, встреча Нового года в редакции у Виктора, и это для меня не рядовое событие.

Во-первых, я никогда не была в редакциях на праздничных вечерах. Наверное, у них что-то необыкновенное, семейный, узкий круг, особая обстановка, так что я появлялась там как бы на семейном основании, подруга сотрудника. А во-вторых, Виктор, похихатывая, без всякого зазрения совести сообщил мне, что я буду на вечере еще и как героиня газеты, так что, верней всего, мне дадут слово, надо подготовиться к тосту.

Я отшучивалась и отнекивалась совершенно в его духе, но сердцем понимала, что на вечере в чужой компании, да еще такой интеллектуальной, мне придется

плыть по воле волн. Выглядеть, однако, следовало достойно, и я попросила Лепестинью еще днем занять мне в парикмахерской очередь.

Последние в году проводы малышей получились особенно шумными и суматошными. Предновогодние часы вообще всегда суматошны—люди еще гоняются за елками, посылают телеграммы, толкуются в магазинах, при этом, конечно, что-то забыто, скорости нарастают, автобусы набиты народом, вокруг давка и суета, но все, как правило, доброжелательны, у всех хорошее в предчувствии особого праздника настроение. Так что малыши наши, сверхъестественно возбужденные, хоть и кричали нам с Машей и Нонной Самвеловной новогодние пожелания, исчезли быстро, видно, поддаваясь настроению взрослых, без обычных своих копаний. Еще бы: многим предстоял первый Новый год в семейном кругу, пожалуй, с полмесяца они лепили из пластилина и клеили из цветной бумаги свои новогодние подарки. Что ж, пусть Новый год принесет всем им новое счастье!

Когда ребята разошлись, я ощутила непривычную опустошенность. Но Маша и Нонна потащили в учительскую. В тарелках маленькие бутербродики на деревянных шпильках, в стаканах пенится шампанское, все принаряжены и суетливы.

— Друзья! — воскликнул Аполлон Аполлинарьевич. — Вот и Новый год! Пусть он принесет счастье всем нам! И всем нашим ученикам. Особенно воспитанникам Надежды Георгиевны, Марии Степановны, Нонны Самвеловны! Им счастье необходимо больше, чем всем нам! Эта осень прошла в школе под знаком первого «Б».

— Пусть же, — перебила его Елена Евгеньевна, — когда-нибудь мы окажемся под знаком счастливого десятого «Б»!

Зазвенели стаканы. К нам подходили чокаться пожилые учителя, поздравляли, желали удачи, обращаясь почему-то прежде всего ко мне. Я снова оказывалась в центре внимания, и это как-то коробило.

— Ну что, подружки дорогие! — прошептала Маша. — За наш десятый! Дай бог ему счастья!

Мы выпили, Нонна Самвеловна покачала головой.

— Десятый будет без меня, — сказала она. — Я же учительница начальных классов.

— А я, например, — сказала Маша, — помню, как зовут мою первую учительницу.



— Странно, — улыbnулась я. — Неужели и нас кто-то будет помнить?

Потом была парикмахерская и время для раздумий.

Наверное, я все время улыбалась чему-то своему, так что парикмахерша наклонилась ко мне и неожиданно спросила:

— Замужем?

— Не-а! — засмеялась я.

— В новом году выйдешь! Предсказываю!

Я усмехнулась, но на всякий случай взгляделась в зеркало. Неужели похоже?

Я вспомнила панику в интернате, звонок из инспекции, скрипучий голос и неожиданный поворот темы:

— Целую тебя!

Сумерки за окном сменил густой мрак. Когда я вышла из парикмахерской, на остановках клубились толпы, а переполненные автобусы, надрываясь, с трудом набирали скорость. Поразмыслив, я двинулась пешком.

Вначале шагалось легко, я вспоминала предсказание парикмахерши и глупо улыбалась. Замуж? Готова ли я к таким переменам? Правда, дома мне объясняли, что чем раньше, тем лучше.

Поживем — увидим. Пока никаких намеков нет, и Виктор молчит. Может, сегодня? Как в рассказе у Чехова... Мы поедем с какой-нибудь ледяной горки после вечера, под утро, и он шепнет мне: «Я люблю тебя». Только уж я не стану сомневаться, как та дурочка, то ли ветер ей принес эту фразу, то ли послышалось... Да, конечно!

Мороз подстегивал меня, я то шла, то, припрыгивая, бежала и смеялась сама себе: ну какая же я бестолковая! Конечно! Виктор скажет. Именно сегодня. Ведь этот вечер почти семейный, как он объяснил.

Я катилась по ледяным дорожкам на тротуарах, раза два шмякнулась как следует, но даже не почувствовала боли.

Мне было смешно и радостно. Бежать, катиться. Мне было смешно и радостно от дурацких мыслей.

Может, я бегу одна в последний раз?

Нет, я, конечно, могу бегать и кататься в одиночестве, разве он запретит? Но я буду бежать тогда, зная, что не одна. Что где-то есть он. Ждет меня. Или даже не ждет — в командировке. Впрочем, и там тоже ждет.

Он ждет меня, а я его, и я могу бегать, и кататься, и знать, что я не одна, если даже одна!

О! Я совсем и забыла!

Лепестинья и Зина Пермякова глядят на меня восторженно. Стол полон яств — холодец, заливное, пироги с капустой, с грибами, с луком — ой, чего тут только нет — и в двух рюмочках дрожит алая наливка домашней, с осени, изготовки.

— Заждали-и-ся! — стонет Лепестинья, а я бессмысленно трачу слова, что опаздываю, что не могу...

Стены моего закутка колышутся от примеряемых платьев, я выбираю макси вишневого цвета с крупными желтыми цветами по подолу. Выхожу к столу.

Зина ахает совершенно как Лепестинья, по-старушечьи, и я еще успеваю подумать, что маленькие дети великолепно приспособляются не только к характеру любимого человека, но даже к его возрасту.

— Надешда, — фамильярничаает, балуясь, Зина, — шадитешь скорее жа штол! Проголодалишь, краша-виша?

— От красавицы слышу! — отвечаю Зине.

Лепестинья и Зинаида заливаются смехом — один сдержанный, старческий, с хрипотцой, другой звонкий, стеклянно-чистый — уж не спутаешь по голосам старого да малого! Но Зина и впрямь красавица. Она ведь теперь владелица целого набора прицепных бантов. В интернате хранит их в коробке из-под обуви, а здесь банты разложены на высокой спинке старинного дивана — точно клумба с цветами. Светло-зеленый с белыми точечками, темно-зеленый, белый с голубыми горошинами, пурпурный, спокойно-коричневый, голубой, белый, с красными полосками. Зина оказалась кокеткой, каждый час велит Лепестинье сменить ей бант, а Лепестиньин замысел мне известен — купить девочке платьев побольше, но с деньгами пока туго, и вот наделала бантов, они с любым платьишком годятся.

Сейчас Зина с нежно-розовым бантиком, на самую макушку Лепестинья ухитрилась приспособить фонтанчик из серебряного серпантина, так что в розовом блесят струйки светящихся огней, и девочка посматривает на себя в зеркало.

— Ну! — говорит Лепестинья, наливая Зине морсу в рюмочку. — Давайте выпьем за нашу Надежду!

— Надежда-то, может, и ваша, — сержусь я, — но Зине из рюмки пить не надо.

Лепестинья меняет посуду, они тянутся ко мне чок-

нуться, но тут уж я упираюсь как могу. Еще этого не хватало. Прийти к Виктору под хмельком? Я из-за этого даже в школе шампанское едва пригубила.

— Ну! С Новым годом вас! — воскликнула я, чмокнула Лепестинью, посмотрела в глаза Зине. — А тебе желаю, — что ж, совсем неплохое пожелание! — походить на тетю Липу!

Зина серьезно разглядывала меня и кивала на каждое мое слово. О боже! Как можно думать, что они маленькие и ничего не понимают!

— Я ее дочка, — сказала Зина, кивнув на Липу. — Она меня долго не находила. А теперь нашла.

И в это время раздался стук.

«Может, Виктор? — подумала я. — Догадался бы раздобыть такси!»

Но в комнату ворвалась Евдокия Петровна, зубной врач. Она вбежала в комнату, схватилась за мое плечо. Будто выстрелила в меня:

— Анечка исчезла!

## 22

Я проклинала свое вишневое макси с желтыми цветами. Оно путалось в ногах, мешало идти, а мы бежали.

Я наклонилась и задрала подол. Видок, наверное, ничего себе!

Сначала мы двигались в сторону центра, время от времени останавливаясь и голосуя мчавшимся машинам. Черта с два! Никто даже не притормаживал. Я попробовала забраться в троллейбус, какие-то подвыпившие парни, пошучивая, втиснули меня на подножку — дверь у троллейбуса не закрывалась, но Евдокию Петровну никто не посадил, она не привлекла внимания парней, и мне пришлось спрыгнуть на ходу.

Я упала, больно ушибла колено, задрала подол и увидела лопнувший капрон и ссадину. Весело начинался новогодний вечер!

Время исчезало, безжалостно таяло, как ледышка, принесенная в тепло. Стыдно признаться, но я думала о времени, прежде всего о нем. А потом об Ане.

Это была нелепость, какое-то недоразумение. Заблудилась, город-то незнакомый, и сейчас в детской комнате милиции играет куклами. Первым делом, конечно, надо туда. И позвонить, позвонить!

Я подбежала к первому автомату, набрала две цифры. Аппарат молчал. До следующего пришлось бежать целый квартал, в который раз выслушивая подробности от Евдокии Петровны.

Анечка исчезла в сумерках. Попросилась на улицу. Ребята лепили там снежную бабу. Захватила морковку для носа бабе, ушла и пропала.

Евдокия Петровна обежала соседских детей. Все видели Анечку, она принесла морковку, и это запомнилось. Но потом исчезла.

— Я думала, она ушла в интернат, — пояснила Евдокия Петровна, — а там никого не оказалось, и дежурная дала ваш адрес.

Объяснение казалось мне глупым, просто-таки идиотским, позвони тотчас в милицию, и тебе немедленно вернут ребенка. Детей у нас, слава богу, не воруют. Любой взрослый, увидев девочку, которая заблудилась, передаст ее милиции.

Евдокия Петровна как-то быстро переменялась в моем представлении. Прежде казалась мягкой и приветливой, а теперь все это обернулось безволием и глупостью.

«Как можно отдавать детей таким людям», — мелькнуло во мне. Точно это не я отдавала.

Я даже замедлила шаг. Взяла под руку Евдокию Петровну. Стало совестно. Боюсь опоздать на вечер и спешу ради этого вынести преждевременный приговор хорошему человеку!

Впервые за этот вечер я вгляделась в Евдокию Петровну. Лицо заплакано, постарело. Одинокий добрый человек. Анечке, конечно же, нет никаких причин сбегать от нее, это отпадает. Какая-то случайность, вот и все.

Пробуя успокоить женщину, я сказала ей, как Анечка, побывав в поликлинике, целый день показывала свой рот ребятам, и это было очень забавно. Не постеснялась и директора, вот детская непосредственность!

Врачиха слабо улыбнулась, но тут же принялась плакать.

— Больше не дадите мне Анечку?

— Сначала давайте найдем! — как можно мягче ответила я.

Автомат, который мы разыскали, отозвался удиви-

тельно довольным голосом, Будто человек только что сытно пообедал:

— Дежурный по городу майор Галушка слушает!

Милиционер с вкусной фамилией записал все нужные данные — Анечки, мои, Евдокии Петровны, пояснил, что детская комната пуста, и обещал объявить немедленный розыск.

— Позвоните через час! — предложил он.

— Звоню с автомата, — ответила я. — И мы очень волнуемся.

— Ну что же делать? — ответил Галушка. — Тогда приезжайте сюда.

Он оказался кряжистым, полнотелым, похожим на опиленный дубок, приветливым человеком. Сразу узнал Евдокию Петровну.

— Не помните? Как мне зуб драли? И плохо стало! Еще нашатырем отхаживали.

Такому крепышу, и плохо? Но Евдокии Петровне не до воспоминаний.

— Теперь вот мне нехорошо.

— Да ничего страшного не должно быть! — успокоил майор. Снова принялся выпрашивать подробности. Пояснил: — Уже ищут. Дана команда по рации всем патрульным машинам. Найдут!

Надо бы сообщить директору, подумала я, припоминая школьный телефон. Позвонить дежурному, узнать номер директора и... преподнести подарок к Новому году. Ничего себе сюрпризик!

Я представила Аполлошу — его лопухое, добродушное лицо, и меня точно озарило: вот он стоит за моей спиной и говорит расфуфыренной матери Анечки Невзоровой про милицию.

— Послушайте, — волнуясь, сказала я Галушке, — у нее ведь есть мать, она лишена родительских прав и приходила однажды к школе. Любовь Петровна Невзорова.

— Попробуем, — кивнул майор.

Щелкнул селектор, раздались голоса, майор назвал имя Аниной матери. Повисла тишина.

Галушка включил радио. Оттуда слышались приглушенные, какие-то неясные звуки. Господи! Это же Красная площади! Сейчас начнут бить куранты. Новый год, а мы...

— Поздравляю, дорогие женщины! — сказал, улы-

баясь, майор, но я слышала его слова точно через стену.

Новый год я встречаю в милиции. Это, собственно, ничего. Только ведь у меня не простой Новый год.

Я припомнила, как бежала из парикмахерской, катилась по льду, думала, что нынче Виктор скажет мне что-то и моя жизнь изменится. Совсем! Может, и скажет, верней, сказал бы, но ведь меня же нет! Стало жарко. Выходит, я пропустила свой день? Пропустила собственное счастье?

Я спрятала лицо в руки, и слезы — точно плотину прорвало! — покатились из меня.

— Надеждочка! Георгиевна! — Евдокия Петровна поняла слезы по-своему. — Ну не плачьте, голубушка, она найдется, как же так, непременно найдется!

— Товарищ майор, — слышалось по селектору. — Таких в городе трое. Совпадают фамилия, имя и отчество. Одной сорок восемь лет. — Галушка выразительно посмотрел на меня. Я помотала головой. — Второй — тридцать. Третьей — четырнадцать.

— Скорей всего вторая, — проговорил Галушка. — Давай-ка адрес.

Перед тем как уйти, я попросила позволения позвонить. Набрала номер Виктора. Телефон молчал, но в тишине, среди длинных гудков, где-то играла музыка. Это барахлила связь, а мне показалось, будто Виктор веселится под эту музыку и забыл обо мне.

Мы сели в милицейскую «Волгу», майор, сославшись на необычность случая, поехал с нами.

В самом центре города, окруженная силикатными домами, стояла двухэтажная деревянная развалюха. Внизу свет потушен, зато наверху — аж стекла звенят! — гремит сумасшедшая электронная музыка — такого агрегата вполне хватило бы на пол-улицы.

Из-за грохота стук наш не слышали, Галушке пришлось толкнуть дверь рукой. В крохотной комнатке, половину которой занимал полированный шкаф, топтались две парочки. Увидев милицию, они разомкнулись, и в одной женщине я узнала ЛРП, Невзорову.

Она что-то говорила, но музыка рвала барабанные перепонки, и никто ничего не слышал. Галушка шагнул к системе — зарубежная стереофоническая! — нажал кнопку. От резкого перепада в ушах звенело, и голос Невзоровой доносился как бы издалека.

— Нет такой статьи, — кричала она, — чтобы матери не давали на праздники собственного ребенка, а спроваживали чужим!

Мужчины испуганно сдвинулись в тень. Да и какие они мужчины, мальчишки, намного моложе Невзоровой. Галушка проверяет их документы, руки парней подрагивают — от испуга и неожиданности.

Невзорова напарфюмерена так же, как и у школы, волосы в нарядной укладке, модное платье-миди. Будь она трезвой, в голову не придет подумать о ней плохо.

Я оглядываю комнату, но Анечки не вижу.

— Где ребенок? — строго спрашивает Галушка.

— Чем у нее прав больше? — снова кричит ЛРП, указывая на Евдокию Петровну, и поворачивается к майору. — Где такой закон, милиция?

Галушка спокойно обходит Невзорову и делает мне знак, чтобы я приблизилась к нему. За полированным шкафом, в полумраке лежит Анечка с закрытыми глазами. Я удивляюсь, как она спала в таком грохоте. Шепчу ей в ухо, чтобы проснулась. Но Анечка не просыпается. Она икает, и я слышу запах вина. Что же такое?

Громко говорю об этом Галушке.

— Ну а за это знаете что бывает? — спрашивает он Невзорову и добавляет презрительно: — Тоже мне мать!

Она явно пугается. Голос ее, до сих пор наглый, дрожит.

— Шампанского! Стаканчик! Клянусь! — повторяет Анечкина родительница, и я вдруг отчетливо сознаю разницу между этими словами — «мать» и «родительница».

Мы выносим Анечку.

Внизу Евдокия Петровна указывает дом, стоящий рядом. Вот оно что! По соседству с деревянной развальной!

Куда ехать? В интернат? Там пустынно и тоскливо, никого нет. Домой, к Лепестинье? Наверное, сладко спят. Я соглашаюсь пойти к Евдокии Петровне, и майор провожает нас к подъезду, помогает внести Анечку.

Девочка просыпается только на мгновение, когда мы поднимаем ей руки, чтобы снять платице, осознанно глядит на меня и, словно участвовала во всех разговорах, внятно и спокойно говорит:

— А мамку жалко.

Глаза ее тотчас закрываются.

Евдокия Петровна раскладывает ее белье и все время вздыхает. А я думаю про Анечкины слова. Где же истина? Тут, когда пожалела? Или там, в школе, когда стыдилась, не хотела видеть, боялась за Евдокию Петровну?

Маленькое сердце неразумно, поэтому поступки противоречат друг другу. Но сердце не бывает маленьким, и поэтому в нем умещаются сразу жалость и страх. А может, в соединении противоположного заключено высшее согласие? Ах, как бесконечны твои вопросы, крохотный человек!

Я сижу в чистой квартирке и постепенно примечаю ее уют. Расшитые занавески, накидочки на подушках, дорожки на столе и комод.

В тиши громко тикают часы. Я отыскиваю их глазами. Стоят на комод. Четвертый час.

Четвертый час нового года. Неужели же целых двенадцать месяцев мне суждено прожить, как эту ночь?

Внезапно я вижу телефон. Набираю номер. Это бессмысленно: кто же ночью, пусть и новогодней, станет ждать звонка! Но трубку берут.

— Да! — слышу знакомый голос.

— Виктор, — говорю я, — у меня украли ребенка!

Он молчит немного, словно собирается с мыслями. И, разделяя слова, делая между ними холодные, просто ледяные паузы, спрашивает:

— И... часто... будут... красть?

Мне нечего говорить. Я держу трубку обеими руками, боюсь уронить — она стала очень тяжелой. Телефон стоит на подоконнике, и я вижу, что темный двор высвечивают тусклые лампочки из подъездов. В ближайшем углу снежная баба. С морковным носом.

— Алло! — испуганно кричит Виктор. — Где ты? Я сейчас приеду!

Но я кладу тяжелую трубку.

Спозаранку мы поднимаем Анечку и все трое едем ко мне. Что ж, новый год начался, пора снимать нарядное платье и жить дальше. Дальше — это значит отвести Анечку и Зину к школе, посадить в автобус, отправить их вместе со всеми в лагерь, а вечером идти на вокзал.



Предчувствие дороги окатывало то жаром, то холодом. Еще бы — я увижу всех своих. Но зато не увижу Виктора. Словно гадала на ромашке: ехать — не ехать...

Мы шли по снежной тропе к дому Лепестиньи, я отыскивала взглядом знакомые окна и даже головой потрясла, чтобы сбросить наваждение. В одном окне мне улыбался Виктор, и это можно еще понять. В другом, подперев рукой щеку, на меня грустно смотрела мама! Я кинулась вперед, обгоняя по рыхлому снегу Анечку и Евдокию Петровну, промчалась лестницей, коридором, хлопнула нашей дверью и ткнулась маме в плечо.

Я плакала, никого не стесняясь, и мне становилось легче, свободней, проще, будто со слезами выходила из меня тревога, обида на испорченный вечер, ссора с Виктором, непонимание родного дома...

— Будет, будет! — говорила мама. — Какой пример подаешь своим ученицам!

Что-что, а одергивать она умела. Я торопливо утерла слезы, украдкой взглянула на Аню и Зину. Они разглядывали меня с какой-то особой сосредоточенностью. Ни радости, ни грусти — напряженная работа мысли. Событие, происшедшее у них на глазах, требовало осмысления. Слезы воспитательницы, ее мать... Тут могли быть и ревность, и жалость, и зависть.

Я одернула себя, наклонилась к девочкам, обняла их обеих, они ткнулись мне в шею, как несмышленные кутята, а я укоряла себя: слезы взрослых не проходят бесследно для маленьких.

Я ушла в закуток переодеться. Мама переговаривалась с Виктором — уже познакомилась, я все поняла, — обсуждали вполголоса какой-то новый роман из «Иностранной литературы». Люди читают романы, подумала я, а литераторша по образованию уже не помнит, когда брала в руки книгу. Ну да ладно, у них своя жизнь, у меня своя. Уж коли влезла в такое дело...

Отступить нельзя!

Да, именно тогда и именно там, первого января, в закутке, пришла ко мне с полной серьезностью эта мысль. Я держала в руках свое вишневое макси с желтыми цветами по подолу, неотразимое платье, которое так и не понадобилось мне, и думала о том, что отступить мне теперь нельзя, просто некуда, хотя хрупкий мой домик в новогоднюю ночь дал первую трещину. Словно предчувствия улавливали то, чего не могло еще

видеть сознание. Может, именно поэтому подсознание требовало главного решения теперь, а не когда-то, чтобы прийти к трудному с готовностью не отступать? И оно возникло, еще не очень мотивированное фактами, но давно мотивированное чувствами, которым предстояло выдержать многое...

Я вышла из закутка успокоенная, подошла к девочкам, расцеловала их, поздравила с Новым годом. Все зашевелились, заволновались, стали собираться. От дома шли по тропке гуськом, как когда-то Маша со своим выводком.

Автобус уже отфыркивался у подъезда, окруженный взрослыми, и я снова почувствовала себя счастливой. Вон сколько родителей у моих сирот! И ведь, что ни говори, это моя идея!

Лепестинья и Евдокия Петровна толкались в ближних рядах, Виктор и мама стояли в сторонке — оборачиваясь время от времени, я ловила в маминых глазах удивление, — а я ходила по автобусу, считала головы моих цыплят, сбивалась со счета, начинала снова и опять сбивалась.

Вот мама видит меня на работе, первый раз видит меня не девочкой несмышленной, а человеком, которому доверили детей, и каких детей! Наверное, она смотрит на меня, и ее разбирает страх. Еще бы, сама никогда не взялась бы за такое страшное дело — вдруг что случится? — а дочь взялась, уехала куда-то вопреки ее воле и вон работает хоть бы хны, работает с такими тяжелыми детьми и не робеет. Напротив, что-то такое у нее получается, даже газета написала.

Но никакая газета маме не заменит этой сцены. Автобус, дети в нем, я их пересчитываю, сбиваюсь без конца, потому что к каждому наклоняюсь, говорю что-то в напутствие, целую, поздравляю с Новым годом, желаю каждому свое, особенное, дорогое ему, а известное только нам вдвоем да еще, пожалуй, тете Маше.

На прощание целуемся с Машей. Автобус, точно облитый инеем, белый, волшебного новогодний, исчезает, я объясняю взрослым, когда дети вернутся из лагеря.

Эти взрослые окружили меня хороводом, кивают, улыбаются. Никанор Никанорович необычайно громко — вот не знала таких способностей! — говорит от имени остальных.

— Мы вас поздравляем, Надежда Георгиевна, бла-

годарим вас, низко вам за все кланяемся и желаем удач, счастья, — он чуточку косит в сторону Виктора, — и любви!

Взрослые дружно смеются, а Никанор Никанорович продолжает:

— Да, да, любви, вы еще молодая, у вас еще будет много собственных детей, несмотря на то что и сейчас их у вас хоть отбавляй!

Ко мне целая очередь, и я долго прощаюсь, пожимая каждому руку, желая успехов, выпрашивая подробности из жизни наших общих детей.

Наконец площадка у подъезда пустеет, остаются мама и Виктор.

Нам надо поговорить с Виктором, про многое поговорить, но он вежливо кланяется, просит меня позвонить, когда буду свободна, и удаляется.

— Что ж, — говорит мама, глядя вслед уходящему Виктору, — все вполне удовлетворительно. Даже хорошо.

«Отлично» мама боится поставить, слишком строга, но я ей прощаю это, прячу свое лицо в ее пушистый меховой воротник. Теперь можно. Теперь никто не видит; и мы одни. Наконец встретились.

Не хотелось свидетелей, чужих ушей, хотя бы и доброжелательных взглядов, и мы побрели по городу, еще сонному после встречи Нового года.

Небо было серовато-белесым, сквозь эту кисею проглядывал мутный солнечный круг, тротуары переметала поземка, и идти приходилось с трудом, проваливаясь в мягком снегу, но я не замечала этой трудности, а без умолку говорила...

Время от времени мама поглядывала на меня смеющимися, влажными глазами, я прижималась к ней плотнее, целовала в щеку, снова и снова возвращаясь к мысли, которая пришла мне в первый миг, у Лепестиньи: как ужасно, когда человек одинок — взрослый человек! — как ужасно, если ему некого обнять, некому поплакать, но как потрясающе ужасно, если человек испытывает одиночество с самых малых лет. Если он всегда одинок!

— Нет, ты понимаешь, про что я? — тормошила мамин локоть. — Ты можешь вообразить, как это невозможно больно? — Я снова прижималась к ней. — Что может вызвать одиночество с детства? Одну боль. И одну злость. А мы должны воспитать добрых людей!

— Ты очень впечатлительна, — повторила мама несколько раз. — Ты чересчур впечатлительна. Ты слишком близко принимаешь все к сердцу.

— Слишком? — удивилась я. — Разве это слово подходит к таким маленьким детям? К таким обездоленным? Их нужно любить только слишком!

Мама поглядывала на меня с тревогой. Спрашивала:

— А хватит твоего сердца? Моего бы не хватило. Я бы не смогла.

Хватит или не хватит? Думала ли я об этом? Нет. Молодость легко принимает трудные решения, не очень задумываясь о будущем, и я не думала никогда, хватит ли меня, надолго ли хватит и что я смогу выдержать.

— Надеюсь, — отвечала я маме и повторяла придуманное утром в закутке, когда стояла с вишневым модным платьем в руках, как та царевна-лягушка, — теперь отступить некуда!

Царевна сняла лягушачью кожу, чтобы повеселиться, а я макси-платье, в котором не успела потанцевать с Виктором, все выходило как бы наоборот, даже решение мое ни от кого не зависело, ни от какого волшебства, но отступить действительно некуда!

— Не надо красоваться, доча, — сказала мама, все так же ласково улыбаясь, — отступить тебе есть куда. Это дом. И запомни простую истину: если ты и потерпишь поражение, жизнь этим не кончается. Жизнь свою человек способен начать снова не раз.

— Ты о себе?

— Прежде всего о тебе.

Я благодарно заглянула ей в глаза. Нет, мама говорила о себе, первый раз говорила так. Может, вся ее властность и жестокость оттуда, по той причине? Ведь мама начала жизнь сначала после папиной смерти, у нее свой опыт, и он властвует ею.

Папа умер, едва я родилась, а Оля и Сережка были школьниками. Он обожал маму, царицу семьи, и все самое тяжелое брал на себя. Отец умер от тяжелой, мучительно изгрызшей его болезни, и мама начала жизнь заново, став единовластной хозяйкой дома и вершительницей наших судеб.

На все это намекала мне когда-то тетка, мамина сестра, но теперь, после маминой фразы, я как бы со стороны увидела ее жизнь. Будто ясней наводила фокус в фотоаппарате.

Жесткость требовалась маме, чтобы сладить с собой, чтобы из покровительствуемой стать покровительницей. Советоваться с нами в детстве она не могла, а потом уже и привыкла не спрашивать, а судить...

Но я? При чем здесь я?

Впрочем, если дочь говорит, что ей некуда отступать, мама всегда укажет выход... Надеюсь, такого не будет!

Целую неделю бродим по городу, возвращаясь домой только спать, обедаем в кафе и даже ресторане, ходим в кино, катаемся на тройке возле городской елки, отправляемся в театр, и на этот раз я смотрю жутко провинциальный спектакль, который мы пропустили с Виктором, проболтав в фойе, — словом, ведем себя легкомысленно, как девчонки, нисколько не думая о завтрашнем дне.

Время от времени мама порывается меня спроводить к Виктору, и сердце сладко замирает при этих разговорах. Но я не решаюсь оставить маму и только звоню в редакцию по автомату, краем глаза наблюдая, как мама отворачивается, стараясь не слышать моих междометий.

Однажды мы забрели в художественный музей, пристали к экскурсии, и мама, знаток и почитательница изобразительных искусств, пришла в восторг от прекрасной коллекции. Тут были подлинники Венецианова, Боровиковского, Федотова, подлинники, неизвестные маме, и она стыдила меня почему зря за то, что я, словесница — подумать только! — впервые, да и то случайно, из-за мамы, пришла в этот музей.

Экскурсоводом оказался мужчина неопределенного возраста, без пиджака, несмотря на зиму за окном, в голубой поношенной рубашке с нарукавными резинками, как у счетовода, в коричневом, с белыми горошинами галстуке-бабочке.

Мама внимательно слушала его, время от времени согласно кивала головой, а в конце поставила отметку: пять с плюсом. Пояснила:

— Приятно слушать! Увлекательно, серьезно, чувствуется настоящее знание.

Мы уже одевались, когда странный человек подошел ко мне.

— Как ваши дети? — проговорил он, опасливо поглядывая на маму.

— Спасибо. Все хорошо, — ответила я. Добавила, взглянув на маму: — Нам очень понравилось, как вы рассказывали.

— А зря! — Он словно не слышал меня. — Зря вы испугались отпустить со мной малыша. Как было бы хорошо вдвоем!

Он произнес это с такой тоской, что я потащила маму за руку.

— Спасибо, — бормотала я смущенно. — Очень интересно.

На улице рассказала, как этот астроном, работающий в музее, просил ребенка.

— Может, он и прав? — спросила мама. — Важен мотив, которым руководствуются. Искренность.

— Допускаю, — ответила я. — Но мы не имеем права рисковать.

— Вся твоя затея — риск, — усмехнулась мама.

— Ты так думаешь? — поразились я.

— А ты не догадывалась? — сказала мама и сочувственно вздохнула. — Дочь, просто ты не знаешь людей. Но ничего. Это поправимо.

## 24

Мне порой казалось, мама приехала, чтобы поставить меня на место. «Ты не знаешь людей», — сказала она мне, и это была правда.

Я не знала.

В первую субботу после каникул не пришли за Аллой Ощепковой. Я впустую набирала номер Запорожцев — отвечали долгие гудки.

Аллочка сидела на своей кровати, одетая в «княжеские» обновы, меховая шубка и пушистая шапка лежали рядом.

— Наверное, много работы, — сказала она мне строгим голосом, — может быть, конец месяца, горит план.

Я удивилась новому лексикону и, признаться, обрадовалась. Значит, такие слова произносили при ней. Значит, это может быть правдой. Одно смущало — до конца месяца еще далеко.

Снова сходила в учительскую, к телефону. Долгие гудки.

Мы прождали допоздна, и я то и дело бегала к те-

лефону. Уходить тоже не имело смысла: вдруг Запорожцев что-нибудь задержало, они придут на своем «Москвиче», будут искать Аллочку, а ее нет. Из-за этого мы даже не пошли ночевать к Лепестинье, остались в интернате.

Свет я погасила в девять часов, но уснуть, понятное дело, не могла, ворочалась, скрипела пружинами. Ворочалась и Алла. Обычно ребята, если не могут уснуть, принимаются разговаривать, но Алла молчала. Тяжело вздыхала. Думала о своем.

Я вспомнила мытье под душем, ту достопамятную субботу моего прозрения. Алле я велела рассказать, что она любит, и та изложила целую философию: любит кататься на трамвае, любит крупничное варенье, любит артиста Евгения Леонова и одеколон «Красная Москва». Тогда это показалось просто забавным, теперь же меня осенило:

- Аллочка, ты каталась на трамвае?
- У нас ходят одни автобусы.
- А душилась одеколоном «Красная Москва»?
- Им пахла Наталья Ванна.

Есть над чем поразмыслить. Может ли человек любить то, чего не знает, не пробовал? Еще как может! И чем меньше этот человек, тем больше в его любви самоотречения и настойчивости. Как же можно обмануть такую любовь?

Припомнила личное дело Аллы. Мать умерла, вместо имени отца — прочерк. Конечно, отец — неизвестное со многими вопросами, но мать была молодая, умерла от несчастного случая на производстве, а Игорь Павлович и Агнесса Даниловна говорили о серьезности своих намерений, и мы с Аполлошей перерыли все дела, пока нашли им эту девочку. Так сказать, с перспективой. Да и вообще! Крупные веснушки разбрызганы на носу, глаза голубые, озорные. Чертеночек в юбке! «Князь» с «княгиней», прямо в нее вцепились. Что же случилось-то?

Неожиданно Алла проговорила:

— Папа Игорь сказал, что после каникул я у них навсегда останусь, — и вздохнула. — Наверное, последний раз здесь ночую.

— Папа Игорь? — осторожно переспросила я.

— У меня же нет папы, — как бестолковой, объяснила серьезно Алла, — а я хочу!

— Ну да, — смутилась я, — конечно.

— А вы приходите к нам в гости, Надежда Георгиевна, — сказала Аллочка, и по скрипу пружин я поняла, что она села. — Вот вы придете, а я стану угощать вас чаем с вареньем. И потом у меня вырастут свои детки, — проговорила девочка без перехода, — и я их никогда никуда от себя не отпущу. Даже в зимний лагерь!

В ее голосе слышались укор кому-то и горечь, Алла снова вздохнула. Нет, честное слово, у этих девчонок старушечьи вздохи.

Некоторое время Алла молчала.

— Хорошо, — сказала я, — давай спать.

— А какой папа Игорь красивый, — проговорила она нежным голосом. — Особенно когда в майке и трусах. Такой большой, такой громадный. И Агнесса Даниловна тоже большая. И белая. Они по утрам в майках и трусах зарядку делают, так пол качается.

— Аллочка, — спросила я осторожно, — почему ты Игоря Павловича зовешь папой, а его жену по имени-отчеству?

Алла ответила, секунду подумав:

— Не знаю.

Вот как! Я свернула разговор, обещав завтра утром позвонить опять и, если дома у Запорожцев никого нет, сходить с Аллой в кино.

Она притихла, успокоившись. А я, точно анатом, копалась в ее сердечке. Значит, Игорь — папа, однако его жена — Агнесса Даниловна. У маленьких ничего не бывает просто так, значит, что-то случилось? Или чувствует?

И как она сказала о ребятишках, которые будут у нее когда-нибудь... Так и взрослый не каждый подумает, а вот она, соплуха... Ох, малыши!

А ведь и верно, такая измученная душа, страдавшее сердечко, став взрослой и вправду помня себя и свое детство, будет добрым человеком. Такой человек даже собственных детей станет любить предельно осознанно — собственной памятью, своим горьким прошлым. Надежное дело — такая горечь, она способна охранить, способна защитить, оберечь. Сколько ни говори людям об их обязанностях, об их долге, о добрых правилах жизни, не услышат они этих слов, коли собственного нет — силы, чести, понимания... А у этих понимание свое, выстраданное, к таким звать не надо.



Нет, правда, мои ребята необыкновенные. Разве я первоклассницей о чем таком думала? Знала? Сейчас вот только узнаю, да и то по работе, по профессии своей, а будь инженером, каким-нибудь чистым физиком, глядишь, и не поверила бы, что есть на земле взрослые малыши...

Утро вызолотило низким солнцем закуржавелые березы, и такая стояла тишь на ранних, безлюдных улицах, такая благодать, что не верилось, будто ты в городе. Народ в воскресенье отсыпался, только у детского кинотеатра шумно и даже очередь в кассу на первый сеанс. Аллочка просила, чтобы я взяла билеты поближе к выходу. Что ж, к выходу так к выходу — и я значения странной просьбе не придавала.

После журнала она шепнула мне на ухо: «Пи-пи», — скользнула в портьеру у двери. Я и тогда ничего не поняла. Решила, что, пожалуй, Аллочке надо помочь, как она тут, в общественном месте, управится. Вышла за ней в фойе и едва ухватила взглядом: приметная рыжая шапка Аллы уже мелькала на улице.

Еще что за новости! Я прибавила шагу, потом побежала.

Алла не оборачивалась. Неслась уверенно, и было понятно, что она знает этот кинотеатр, улицу, весь район.

Нет, определенно у Аллы была цель, продуманная заранее. И кинотеатр именно этот выбран не зря. Алла бежала вдоль дома, через двор, к соседнему зданию, и вначале я хотела окликнуть ее. Потом, поняв, что она не убежит, что все-таки я бегаю быстрее девочки, сдержалась.

Вот она исчезла в подъезде.

Я заскочила за ней и услышала смеющийся, радостный голос:

— А вы, оказывается, здесь! Телефон сломался?

Все предельно понятно. Аллочкин замысел был прост и точен.

Я поднялась на второй этаж и застала немую сцену: «князь» Игорь и «княгиня» в спортивных шестяных костюмах стоят друг за другом в открытых дверях и очень смущенно молчат, а спиной ко мне стоит Аллочка и смеется. Рада, что все в порядке и ее родня дома.

Потом она оборачивается, ни капельки не смущена, будто мы шли вместе с ней и она только на лестнице обогнала меня.

Я здороваюсь, и Игорь Павлович с женой, как по сигналу, начинают разговаривать, перебивая друг друга:

— Да! У нас сломался телефон! Заходите! Раздевайтесь!

— Аллочка! Какая ты умница! Хорошо, что привела учительницу.

Приходится пройти, раздеться. Потолки действительно высокие, а дом — полная чаша: горка набита хрусталем, красивая мебель, мягкие ковры.

И в это время звонит телефон.

Игорь Павлович словно спотыкается, этот звонок производит на него действие резкого окрика, и я снова с грустью все понимаю, несмотря на соломинку — да что там, целое бревно! — которую кидает «княгиня» своему мужу:

— О! Наконец-то исправили!

Игорь Павлович берет трубку, говорит по телефону, а я всматриваюсь в зеленоватые глаза белокожей красавицы. Что-то жесткое мелькает в этих изумрудиках, но Агнесса Даниловна продолжает бодро щебетать ничего не значащие словечки, а Аллочку усаживает на диван, приносит ей куклу.

Алла цветет, и вновь какое-то едва уловимое высокомерное выражение появляется на ее лице.

— Надежда Георгиевна, а у нас цветной телевизор! Агнесса Даниловна, можно включить?

— Конечно, деточка моя дорогая, — отвечает «княгиня» как-то растерянно.

Из коридора меня манит Игорь Павлович.

— М-можно, — мнется он, — с вами поговорить? — Если бы я была врачом, он прибавил бы слово «доктор», но учителей зовут по имени-отчеству испокон веков, а Игорь Павлович не хочет назвать мое имя, и в конце фразы повисает пустота. — Поговорить? — повторяет он неловко, и я пожимаю плечами: отчего нет?

Мы проходим в спальню, отделанную под старину. Шторы с золотыми цветами, взблескивает лак многостворчатого гардероба, мерцает зеркало в бронзовом овале.

Игорь Павлович предлагает мне кресло, а сам стоит. Вновь никак не называет меня.

— Видите ли, какое дело. — Он дергает коленом, точно хочет подпрыгнуть, и я оглядываю его снизу вверх. Аллочка права, он очень большой и, видимо,

очень сильный. Такими всегда видятся отцы любящим детям. Большой, сильный; а тут еще и красивый. Настоящий отец.

— Мы взрослые люди, — решается наконец настоящий отец, — вы учитель, и это значит почти врач. А перед врачами у больных нет тайн.

— Вы больны? — спрашиваю я с тревогой.

— Абсолютно здоров. И жена тоже, — отвечает он на мой взгляд. — Это в переносном смысле.

Итак, думаю я, большой человек, руководитель конструкторского бюро на крупном заводе, привыкший командовать другими, начинает бляеть, точно барашек. Пора ему помочь.

— Итак? — спрашиваю я довольно резко.

— У нас нет детей, понимаете? — говорит проникновенным голосом Игорь Павлович. — И мы хотели удочерить Аллочку. Но теперь... Подумали, посмотрели и решили отказаться.

— Никто не просил удочерять Аллу, — говорю я Игорю Павловичу, — и вы зря ей сказали об этом.

— В этом наша ошибка, спасибо, что поняли! — Он уже ободрился.

— Ошибки следует исправлять, — говорю я, стараясь быть спокойней.

— Алла привязалась к нам, — задумчиво произносит умный человек, похожий на князя Игоря. — А исправление невозможно. Надо сразу. Одним рывком.

Он нервно прохаживается передо мной.

— Конечно, — признается неожиданно, — это непротительный порыв. Думали, сможем. А не смогли. Не рассчитали свои силы. Если хотите, привычка к покою оказалась сильнее интереса, — с трудом добавил, — к чужому ребенку. А теперь судите, вы будете правы.

Он молчит, стоя ко мне спиной у окна. Я тоже молчу. Искренность всегда обезоруживает.

— Не зря есть поговорка, — негромко произносит Игорь Павлович. — Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Я даже вздрагиваю. Как?

Благими намерениями вымощена дорога в ад? Да! Да! Меня начинает знобить.

— А теперь, — говорю я, — помогите мне.

Я стремительно выхожу в гостиную. Можно бы и спокойнее, но сил нет.

— Алла! — говорю я. — Игорь Павлович и Агнесса — надо же какое слашавое имя! — Даниловна сейчас уезжают за город к своим друзьям.

— Я поеду с ними! — беззаботно отвечает Аллочка.

— Нет, — говорю я холодно-непреклонным голосом, — это невозможно, потому что там собирается исключительно взрослая компания, верно, Агнесса Даниловна? — Я гляжу в зеленоватые глаза, и они, точно камушки, начинают перекатываться.

— Верно, — послушно отвечает Агнесса Даниловна. Еще бы не послушно! В моем голосе столько подтекста, что лучше для нее во всем мне поддакивать. Потерпеть. Еще минуточку, и я исчезну.

— Аллочка! Поторопись! — команду я, но Аллочка начинает плакать. Час назад я бросилась бы ее целовать, как я всегда делала, когда было плохо моим птенцам. Но сейчас у меня не выходило. Не получалось. Аллочка была не права, хотя не сознавала этого. Она цеплялась за то, что ей не нужно. И я не могла жалеть ее.

— Аллочка! — одернула я строго. — Аллочка!

Всхлипывая, но веря, что это ненадолго, Алла надела шубку, рыжую пушистую шапку, уютную и теплую, и я даже прикрыла глаза: так противны были мне и эта шапка, и эта шубка, и все эти тряпки, которыми двое взрослых — так уж получалось! — откупались от Аллочки. Будьте вы прокляты с вашим благополучием, с вашими пятью сотнями на двоих, с вашим чистосердечным раскаянием!

Я хлопнула дверью, пожалуй, громче допустимого и суше, чем стоило, попрощалась в последний раз. Я даже Аллочку не ощущала, не слышала ее руки в моей ладони. Я ничего не ощущала, даже себя.

Я двигалась по онемевшему, обезголосевшему городу домой, к спасительнице Лепестинье, чтобы свести Аллу с Зиной, а самой выскочить в коридор, продуваемый сквозняком, к школе, замороженной инеем, и дальше, к дому, где квартира Аполлоши, к порогу, где я, обессилив от тяжелой ноши, завывала, точно волчица.

— Победоносная! Что случилось-то? Господи! Выпейте воды!

Аполлон Аполлинарьевич держит перед моим лицом

стакан, а я отталкиваю его руку, вода проливается, и я снова плачу, просто заливаюсь. Дурацкая кличка «Победоносная» звучит издевательски, неужели он не понимает?

Мне кажется, жизнь кончена, пять институтских лет пошли насмарку, но это еще не все, я вообще зашла не в тот вагон, и поезд мчит меня совершенно в другую сторону, а я только теперь спохватываюсь, что поехала не туда. Боже, сколько писано-переписано, девчонки идут в педагогический только потому, что не знают, чему учиться, нет никаких серьезных пристрастий, и вот им кажется, будто школа, педагогика — благое дело, и кто же школу не знает, коли ты только из нее!

Да, я зашла не в тот вагон, и поезд несет меня в другую сторону, да, я сломала собственную жизнь, потому что неверно, легкомысленно выбрала профессию, никакая я не учительница, не воспитательница, не педагог — это все враки, ерунда, я просто-напросто ноль без палочки, вот и все! Прекрасно доказала это!

Я хватаю стакан из рук Аполлоши, пью крупными глотками и чуть не захлебываюсь от неожиданности. Передо мной возникает завуч Елена Евгеньевна в домашнем халате. Я смущена, не знаю, что подумать, мне кажется, я вляпалась в какую-то ненужную мне историю, но женщина быстро понимает женщину, и Елена Евгеньевна объясняет, как неразумной:

— Мы не афишируем нашу семейственность. Правда, и не скрываем.

— Вы муж и жена? — поражаюсь я.

— Не знали?

Не знала! Не замечала. Не обращала внимания, есть ли какие-то отношения у директора и завуча, кроме служебных. Я вообще многого не замечала! Вон и «князь» с «княгиней» мне нравились, даже в голову не пришло, что такие люди могут предать маленького человека со сломанной, печальной, грустной судьбой — предать в тот самый миг, когда Аллочка полюбила их, уверовала в обещание.

— Когда жили в районе, — говорит Аполлоша, — об этом все знали, а здесь никому не интересно.

И я среди этих «никому». Что ж, заслужила. Я вспомнила, как завуч говорила мне про сына и про то, что они с мужем, оба педагоги, перестали себе верить. Стоило поинтересоваться ее мужем, кто он, где и так далее,

и я бы была в курсе, но мое верхоглядство беспредельно. Запив эту пилюлю остатками воды, я наконец снимаю пальто. Квартирка Аполлоши и завуча новая, но крохотная, с низкими потолками, хозяева сидят вместе со мной за круглым столом, покрытым клеенкой, а я подробно описываю побег Аллочки из кинотеатра, фальшивые зеленые глаза Агнессы Даниловны, повторяю фразу «князя» Игоря про благие намерения.

— Вы были правы, когда возражали, — говорю я Елене Евгеньевне.

Она пожимает плечами.

— Не сделать проще, чем сделать.

— Правы не правы! — неожиданно горячится Аполлон Аполлинарьевич. — Вы понимаете, Надежда Георгиевна, есть вещи, которые не зависят от нас. Есть вещи, которые надо делать независимо от нашей правоты и наших желаний. Не сделать их — преступно. И ты, Лена, это знаешь!

— Знаю, — ответила удивленно Елена Евгеньевна.

— Вот и не спорь!

— Кто же будет с тобой спорить, если не я?

Я поглядывала на директора и завуча, не вполне разбираясь, где они говорят, дома или на педсовете.

— Школой жизнь не кончается, — воскликнул Аполлоша, — а только начинается. Значит, мы должны найти детям друзей, к которым они могут прийти, окончив школу. Человек сам выбирает советчиков. Но если мы поможем малышам пробить первую тропку к людям, это надо сделать.

— А издержки? — спросила Елена Евгеньевна.

— Ты химик, это мешает, — сказал уверенно Аполлон Аполлинарьевич. — Тебе непременно нужна точность. Но педагогика — дисциплина неточная. У нее есть допуски. Право на ошибку.

— Прав нет, — повела широкими плечами Елена Евгеньевна. — Исключать ошибку нельзя. Но нельзя ее и планировать.

Аполлоша и завуч говорили дельные, важные вещи, а я без конца думала о девочке. Ей, в конце концов, не понять наших обоснований. Она ждет другого. Как ей объяснить? Как посмотреть в глаза? Что с ней станет, если сказать правду?

Директор будто услышал меня.

— Видите, сколько вопросов, Надежда Георгиев-

на, — что, как; отчего? Поглядишь со стороны, собрались три педагога и ничегошеньки не знают. Расписываются в бессилии.

— Разве не так?

— Не так. Не бессилие. Бесконечные вопросы. Бесконечны-е! Правда, это не всегда утешает. На людях мы хорохоримся. Вон педсоветы! Часто ли мы там признаемся, что с таким-то и таким-то учеником зашли в тупик? Чаше виним кого-нибудь. Родителей, среду, предыдущее воспитание, и не всегда мы не правы, ну а положив руку на сердце всегда ли правы? Знаете, что самое страшное в учительстве? Фанаберия, самоуверенность, нежелание признавать ошибки. Есть у нас и профессиональная болезнь. В школе ведь выкладываться надо. А на всех не хватает. Иной сначала старается, потом видит, тяжело, и махнет рукой. Можно, считает, жить попроще, работать без надрыва. А детям что недодал, то и не получил. Но ведь мы имеем дело с будущим государства, недополучать будут не школа, не учитель, а страна и наш воспитанник.

— Многих учителей люди помнят всю жизнь! — воскликнула Елена Евгеньевна. — А скольких не помнят? Кого больше, вот бы выяснить!

Аполлоша вздохнул.

— Все зависит от личности, — проговорил он и взял мою руку. — А вы, голубушка, личность. И все идет своим чередом. Издержки? Я их предполагал. Сказать — ничего страшного? Глупо и ошибочно. Страшно, плохо, печально. Но преодолимо. И преодолеее все это вы. А значит, наша профессия. Выходит, она не так уж бессильна. Только помните: уметь признавать ошибки, выкладываться и любить.

Елена Евгеньевна взяла другую мою руку.

— Доброта должна быть разумной, — проговорила она. — Излишнее добро вредит. Избыток любви человек начинает считать нормой, естественным состоянием. Тогда как излишняя доброта и чрезмерная жесткость — аномальны. Мы много лет спорим на эту тему с Аполлоном Аполлинарьевичем!

Я сидела между директором и завучем, они, как маленькую, держали меня за обе руки, боялись, как бы не упала, что ли, а я думала все о своем: как же с Аллочкой?

— Что ты думаешь, Лена? — спросил жену Аполлоша.

— Думаю, — сказала Елена Евгеньевна, — сейчас мир для вас рухнет, но временно. И вы в этом мире должны остаться нерушимой опорой. Вот единственное, что можно сделать. Все — в вас. — Она погладила меня по руке и улыбнулась. — А вообще... Вы ждете советов, а нам их самим ох как не хватает!

Я рассказала про Аллочку, но промолчала про Анечку.

Аллочка и Анечка, Анечка и Аллочка.

Похожие имена, но непохожие судьбы. И похожий исход.

## 26

Я прибежала к директору в слезах, уходила без слез, но только легче не стало. На прощание Аполлон Аполлинарьевич бросился к книжному шкафу, вытащил томик Гоголя, достал из него листочек.

— Для вас вот цитатку выписал, Надежда Победоносная, — прибавил нерешительно.

— Бедоносная! — поправила я.

— Ну! — воскликнул он довольно радостно. — Так быстро сдаваться? Прочтите-ка лучше!

Я прочла, взяла листочек с собой, раз уж он мне предназначался, и чуть что хваталась за него, будто за талисман, будто за универсальное объяснение моих бед, объяснение моих мыслей, оправдание моих поступков.

Вот что сказал когда-то Николай Васильевич:

«Несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении».

Уж что-что, а обыкновенное положение мне было теперь неизвестно.

В субботу опять пропала Анечка Невзорова. Слава богу, я нашла ее довольно быстро, под ее же кроватью.

Она выбралась оттуда без всякого смущения, деловито сняла кофточку, отдала ее мне.

— Что это значит?

— Отдай, пожалуйста. Я не пойду.

Анечка уселась на кровать, легкомысленно болтая ногами, напевая под нос какой-то мотивчик и загадочно улыбаясь.



— Объясни! — Я села рядом с ней. Слишком спокойно вела себя девочка, и это не радовало.

— Надюша! — воскликнула театрально Анечка, схватила меня за шею, чмокнула в щеку. — Какая же ты молодчина. Не кричишь! Я тебе объясню. Вот слушай.

Она перебралась на соседнюю кровать, чтобы видеть мое лицо, а я была в отчаянии. Что же это? Я — взрослый человек, воспитатель. А эта кроха разговаривает со мной точно с маленькой. Внизу мечется несчастная Евдокия Петровна, а ученица объясняет мне, воспитательнице, какие-то свои замыслы, не я ею, а она руководит мной.

Я вздохнула, как училась когда-то, набрала в грудь побольше воздуха, медленно выдохнула. Помогло. И Анечка тут сказала:

— Я свою мамку не брошу. Вот выучусь, вырасту и возьму ее к себе. Она тогда состарится, поумнеет, и я ее удочерю.

Меня пробрал озноб от этих слов. Прикрыла глаза. «Удочерю! Мать!» Маленькая, глупенькая, наивная девочка! Есть непоправимые вещи. К сожалению. К печали и горю. Твоим прежде всего.

Наверное, это непедагогично, но я попыталась спасти девочку.

— Анечка, — говорю я, — ведь твоя мама...

У меня еще нет слова, не успела выбрать, но и этого достаточно. Анечка мгновенно слетает с кровати, и я едва успеваю откинуться: ее острый кулачок летит мне в лицо. Я хватаю ее за руку.

— Что ты?

— Не трогай мамку! Поняла? Училка!

Не может быть! Таких перемен не бывает. Мгновенных. Жестоких. Яростных.

В ее глазах пылает ненависть. Ненависть ко мне.

Всю свою жизнь я буду помнить эти ненавидящие глаза. Отчаянный, ненавидящий взгляд ребенка, забывшего обо всем, кроме матери. Ничего знать не желающего, кроме матери. И какой матери!

Я схватила Аню за руку, не говоря ни слова, усадила на место. Она покорилась. И тут же заплакала. Снова вскочила с кровати и бросилась ко мне; схватила за шею.

— Надюшечка, — бормотала она. — Голубушка!

Она хорошая! Ты не знаешь! Она добрая! Она просто дура!

Я закусила губу, чтобы не заплакать, гладила, гладила, гладила Анечку по спине.

Постепенно она приходила в себя. Размазала по щекам слезы, улыбнулась, какая-то облегченная, посвежевшая. Протянула мне кофточку, проговорила с грустной улыбкой:

— А это верни. Тетенька хорошая. Только зря станет расстраиваться.

Осторожно, на цыпочках я вышла из спальни. Ступала по лестнице, а в ушах отдавались Анины слова. Будто на самом деле мы поменялись местами, и я первоклассница, а воспитательница Невзорова учит меня разуму.

Потом вечер в интернате, все та же спальня, и Анечка, не стесняясь Аллы Ощепковой, кроит передо мной будущую жизнь:

— Вот увидишь, я буду отличницей... Может, стану, как ты, учительницей.

Придумывает все новое:

— Нянечкой сюда возьму. Пусть попробует у меня тут выпить!.. Она ведь добрая, ты не поняла... А какая модница, заметила?..

Анечка переполнена матерью, а я Анечкой.

Что же это было с ней? Разумность, потом вспышка агрессивности и слезы. Классическая формула истерики. А я? Кто же для нее я, если она способна кинуться на меня с кулаками?

Кто бы ни была, но мать для нее дороже. Любая мать, даже такая, как Любовь Петровна — лишенная родительских прав. И я не должна противиться. Не имею права становиться между ними, вот ведь как, хотя обязана, обязана по своему служебному положению.

Но что я могу? Анечкины мысли минуют все запреты. Мать отказалась от дочери, но ведь дочь не отказалась от матери. Готова за нее бороться. Разве можно этому противиться?

Разве должно?

Приближался вечер, час отбоя. Меня позвали к телефону.

Виктор предлагал пойти в кино, уже взял билеты. Я отказалась.

— Хорошо, — сказал он, — я сдам билеты и подъеду к тебе.

Девочки спать не хотели, спорили со мной. Аня перевозбуждена и дергается, крутится, прыгает. Аллочка, напротив, заторможена, шевелится медленно, неохотно. Но уснуть не может. Свои мысли гложут ее.

Какие разные эти мысли и какие одинаковые! Две малышки, а намешано в них на десятерых благополучных взрослых.

Я едва уторкала их. Пришлось даже спеть колыбельные песенки.

Я нервничаю, Виктор уже наверняка ждет меня в учительской, как договорились, а девочки все не угомонятся. Наконец заснули. Первой, как ни странно, Аня. Нервничала, а спит ровно и глубоко. Алла была спокойной, заторможенной, а лежит нервно, веки дергаются, точно вот-вот откроет глаза.

Никакой логики. Никакой последовательности.

Спускаясь вниз, я вспоминаю Евдокию Петровну, наш короткий, но откровенный разговор. Она убита, во всем винит себя, казнит, что в новогоднюю ночь не уследила за Анечкой. Просит позвонить, если Аня захочет к ней. От кофточка, конечно, отказывается.

Я вижу, как, выбравшись на крыльцо, женщина достает из пальто платочек, прикладывает к глазам.

Что ж, много слез пристаёт к моим детям, и ничего, видно, не поделаешь тут. Простите, милая Евдокия Петровна!..

Виктор сидит на диване в учительской, и я сбивчиво, торопясь, принимаюсь объяснять ему подробности моей бурной жизни. Его глаза откровенно смеются, будто мой рассказ смешон, хотя в нем нет ни единой забавной крохи.

— И долго это будет? — спрашивает он. Что-то подобное я уже слышала. Да. В новогоднюю ночь. «И-час-то-будут-красть?» — спросил он ледяным голосом, кажется, так. Вариация на известную тему.

— Всегда, — отвечаю ему с улыбкой. Я, пожалуй, научилась у него откровенно прямой, с нахальцей, улыбке. — А что? Не подходит?

Смех исчезает из его глаз, одна сплошная трезвость.

— На-а-а! — начинает он убежденно. — Но время самоотверженности в педагогике кончилось!

— Ты думаешь? — улыбаюсь я.

— Эпоха старых дев, беспредельно преданных ученикам, осталась в прошлом!

— Ах вот как...

— Мы живем в эпоху совмещенных страстей. Школа, семья, общественные поручения. Редакция, дом, искусство. Человек троит себя, четверит, семерит. А как же! Время! Темп! Надо делиться на много частей, чтобы успеть во всем.

— Понемногу? — ехидно спрашиваю я.

— А что в этом плохого?

— Не мало ли — понемногу. Может, лучше много в одном?

— И что же увидишь, узнаешь, полюбишь? Единственное свое дело? Не мало ли?

— Мало! — вздыхаю я и поднимаюсь.

— Так в чем же дело?

— Твои совмещенные страсти напоминают мне, прости, совмещенный санузел. А у меня наверху две девочки. Пора идти.

Виктор бросает свои доказательства, как слабосильное оружие. Применяет другое, покрепче. Обнимает меня, и мы целуемся.

Голова кружится, спорить не хочется.

Но поцелуи кончаются, наступает трезвость. Мы расходимся, и, глядя Виктору в спину, я вспоминаю слова Гоголя о вседневном и обыкновенном положении.

## 27

Из суеверия, что ли, свои победы нормальный человек считает делом если и не обычным, то естественным и склонен их преуменьшать, а вот беды и несчастья — преувеличивать. Добивается чего-то, стремится к цели, мечтает о ней, а добился, будто так и надо и ничего чрезвычайного не произошло.

Вот и у меня. Вызвал Аполлон Аполлинарьевич. Рот до ушей. В кабинете Никанор Никанорович. Торжественный, как тогда, при всех регалиях.

— Ну как? — спросила я его.

Он меня понял.

— Все в порядке. А у вас?

— Примерно раз в неделю. Что вы! Громадный прогресс! — Мы говорим о Колином недостатке. Доброта, любовь, спокойствие лечат его в доме Никанора Никаноровича, все идет хорошо.

— Какие-то у вас свои секреты, — смеется Апол-

лон Аполлинарьевич. — Чур, чур! Не вмешиваюсь! — обращается ко мне. — Так каково ваше мнение?

Я не понимаю, о чем он, и Никанор Никанорович поясняет:

— Мы решили Колю усыновить, все документы подготовлены, слово за вами.

За мной? Но позвольте!..

Я смотрю то на директора, то на Никанора Никаноровича и не могу взять в толк, чего от меня хотят? Мнение? О Коле? Оно не имеет значения в данном случае. И мне нужно решать, как я отношусь к отставному полковнику. Прекрасно, вот как. Дважды была у них дома. Строгая обстановка. Чудесные люди.

Боже, о чем я? Какой примитив лезет в голову!

Это же исполнение моей мечты! Да, Аполлоша говорил, школой жизнь не кончается. Напротив, лишь начинается. И суть нашей идеи в том, чтобы у ребят появились друзья, к которым можно прийти после школы. Поговорить. Написать поздравительную открытку к празднику. Посоветоваться в трудный час. К этому мы пришли. Но мечтали-то о другом. Нас двоих, троих, пятерых не хватит на двадцать душ. Надо быть предельно честным и трезвым — не хватит, не хватит, хоть тресни. Дефицит любви. Любовь — вот наш идеал. А если ребят полюбят другие взрослые, мечта, можно считать, сбылась.

Думала ли я о родителях для наших ребят? Нет. Этот же самый Никанор Никанорович первым произнес слово «усыновить». Его повторяли другие. Из других выдерживают не все. Но Никанор Никанорович военный. Он спасал детей на фронте. У него есть свои резюны, милый, добрый, достойный человек.

— А как здоровье? — спросила я невпопад.

— Вопрос законный, — ответил Никанор Никанорович, чутьчку усмехнувшись. И ответил: — Колю надеюсь дотянуть.

Аполлон Аполлинарьевич вытащил из кармана авторучку, занес ее над листом бумаги.

— Надежда Победоносная! Ваш приговор!

— Спасибо!

— За что ж спасибо? — удивился Никанор Никанорович. — Нам вот совет ваш требуется! Как скажете? Оставить его у вас? Перевести в другую школу?

Я переглянулась с Аполлошей. Он потупил глаза.

Я не раз свою работу с врачебной сравнивала. Всегда жалко, но, исходя именно из жалости, надо резать по живому.

У Коли будет отец, Никанор Никанорович, а от Аллы Ощепковой отказались, в гости даже не станут брать. Как это соединить? Да и надо ли? Уж лучше по живому, хоть и пришли ребята из дошкольного детдома, вон с каких пор знают друг дружку!

— Перевести, — сказала я.

— Согласен, — подтвердил Аполлон Аполлинарьевич.

— И я так думаю, — кивнул Никанор Никанорович.

Вот и исполнилось одно желание, а радости, странное дело, нет. Напротив. Лишилась Коли, беднее стала.

Отправилась бодро по коридору, потом медленнее пошла, остановилась у окна. Вспомнила, как Коля ревел от боли, а потом уснул на моих коленях, как приехал врач, похожий на разбойника, как потом металась я по больничному коридору, проклиная свою неопытность, недопустимую нерешительность — зубрила свой первый урок, из элементарных.

Ко мне подошла Маша, чего-то спросила.

— Слышала? — сказала я и опять, дура, заплакала. Она не раздумывая кинулась утешать:

— Умер кто? Дома чего? Успокойся. Ну что поделаешь?

— Не-ет! — протянула я, как обиженная девчонка. — Колю-то! Урванцева! Усыновили!

Маша всплеснула руками.

— Так чего реवेशь? Это же хорошо!

— Хорошо-о! — обиженно, еще всхлипывая, промямлила я.

— Эхма-а! — обняла меня Маша. — Слезы твои значат, дорогая Наденька, что незаметно для себя стала ты знаешь кем?

Маша заглядывала мне в глаза, смеялась, качала головой.

— Не знаешь? Учительницей! Эх, макова голова!

Мы судили, как быть. Устроить Коле проводы, например, торжественный ужин с интернатовским пирогом: у Яковлевны это отлично получается — или уж тихо, без всяких разговоров отправить его к Никанору Никаноровичу, да и дело с концом?

Судили, рядили, и так плохо — каково другим, и

этак нехорошо — ушел и не проводили. Решили: как начали, пусть так и идет.

Только наши старания оказались пустыми. Когда Коля уходил, весь взрослый народ вывалил на крылечко. Я глянула назад, на интернатские окна, и ахнула. Все мои ребята к окнам прилипли. Носы сплющили о стекла. А Коля им рукой машет.

И снова беда нагрянула.

Может, я зря такими словами кидаюсь? Разве это беда? Но бывает, бывает так, радость одного для другого бедой оборачивается. В очередной понедельник с Севой Агаповым пришел Степан Иванович, тот самый охотник, который ворону убил, и, потупясь, сказал, что уезжает вместе с семьей за границу.

— Документы оформили давно, думали, уже не получится, — объяснил он, — а тут срочная команда: в Москву и на самолет.

Унылый Сева стоял рядом — с красивой синтетической сумкой в руке, из которой торчали яркие свертки, нарядные коробки, и сумка оттягивала ему руку. У Степана Ивановича вид не веселее, хотя эта новость существенна для него и, конечно, приятна. Он переступал с ноги на ногу, поглядывал то на меня, то на Севу, особенно часто на Севу, а тот отвернулся и не говорил ни слова.

— Севочка! — беспокойно сказал Степан Иванович. — Но мы же не навсегда уезжаем, через три года вернемся! — И эта его фраза прозвучала как продолжение уже чего-то сказанного. Сева не шелохнулся.

— Мы письма тебе станем писать, очень часто! И ты нам пиши! — воскликнул Степан Иванович.

Сева не реагировал. Его взгляд упирался в землю.

— Мы подарки тебе пришлем, хочешь сушеного крокодильчика, их в Африке много!

Только при упоминании крокодильчика Сева обнаружил признаки жизни — мельком, без интереса, взглянул на Степана Ивановича, снова потупился, а у меня сердце сжалось: такая в этом взгляде почудилась выгоревшая пустота!

Тягостной была эта сцена! Я отправила Севу раздеваться, а Степан Иванович не уходил еще долго, топ-

тался, крихтел, говорил что-то не имеющее отношения к делу, потом тяжело вздохнул:

— Такие-то дела, Надежда Георгиевна, хоть отка-  
зывайся от заграницы.

Он очень просил прийти с Севой на вокзал, прово-  
дить их, я согласилась, хотя лучше бы, оказалось поз-  
же, оборвать все тут, в школьном вестибюле.

Степан Иванович ушел, а я медленно двинулась по  
коридору.

Я останавливалась у каждого окна, смотрела на ули-  
цу и ничегошеньки не видела. Отупевшая голова без  
конца проворачивала одну и ту же идею: надо просить  
Аполлона Аполлинарьевича собрать педсовет, надо  
просить, надо.

Настала пора пробовать урожай. Он горький, очень  
горький, но именно мой, и ничей больше, и педсовет ну-  
жен мне, чтобы во всеуслышание заявить это. Я силь-  
но напутала, теперь это ясно. И я должна отделить  
Машу, Аполлона Аполлинарьевича. Похвалить Елену  
Евгеньевну. Она была, несомненно, права, когда говори-  
ла об осторожности. Вообще это глупо — делить мир на  
белое и черное. Можно запутаться.

Каким я «князя» Игоря считала? То-то и оно.  
И хулить его тоже нельзя. Его намерения были благи-  
ми. Но что вышло?

А Елена Евгеньевна? Как могла я ее считать черст-  
вой и неприятной? Она просто реалистка, поступала ес-  
тественнее, чем даже естественник Аполлоша, а если и  
не знала, то предчувствовала, чем это кончится, голо-  
совала против. И еще кто-то голосовал. Допустим, мень-  
шинство, но и меньшинство что-то значит.

А я этого не заметила. Не придала значения.

Нет, просто не хотела видеть. Это мешало мне.

Мешало моей идее.

А теперь ошибочная идея мстит за себя.

На полтора дня отдать детей! Казалось, какое бла-  
го! На полтора дня — это очень много. Там, за преде-  
лами моего взгляда, рождалась надежда. И рождалась  
любовь.

Вражда, ненависть — пустяки. Если бы появлялись  
они, мы бы, пожалуй, справились с ними, хоть и непро-  
сто и нелегко.

Но справиться с любовью? Полюбить и расстаться?  
Тем, кто всегда мечтал о доме!



Нет, это посерьезнее, чем просто возвращение, это утрата. Они не всё понимают, мои комарики, но всё чувствуют. И следуют своим чувствам.

И вообще! Что такое маленький человек? Малыш, кроха, ребенок? Нет, человек. Маленький человек, даже искренней взрослого чувствующий жизнь. У него нет опыта. Верней, мало. Опыт приходит постепенно. А в первом классе просто маловато его. Из-за малого опыта небольшой человек искренней. Он бросается в ворота, не думая, что их могут закрыть. У него мало опыта, вот и все, а во всем остальном он точно такой же, как и взрослые люди.

Страдает точно так же. И любит с той же силой. Ненавидит. Верит. Сражается.

Точно так же. А порой еще сильнее, ярче, горше!

Мир детства — это как бы заповедник, вот что. И мы его охрана. Нет, мы не между детьми и взрослыми, напротив. Мы за любовь и братство между взрослыми и детьми. Но за маленьких мы должны отвечать. Перед ними же. И каждый наш шаг надо строго выверить. Трудно, что и говорить, Аполлоша прав, педагогика — наука неточная. Попробуй-ка все вымерить да взвесить. Но надо, как ни трудно. Надо.

И одной любви здесь мало, верно сказала Елена Евгеньевна. Доброта может и ранить.

Вот, получай!

Ты ранила добротой детей, которых жалела и которым хотела добра...

Я снова заплакала, признавая вину. Придвинулась поближе к окну, чтоб никто не заметил моих слез, уперлась лбом в стекло. И тут увидела сбоку чье-то лицо. Елена Евгеньевна!

Она не старалась смутить меня, даже не смотрела в мою сторону, но я разглядела, что глаза ее блестят от слез.

— Наш сын, — проговорила она сдавленно. — Наш сын сегодня не ночевал дома!

— А у меня... у меня, — забормотала я, посмотрела на Елену Евгеньевну и умолкла. Неожиданно, со странным хладнокровием я вдруг отчетливо поняла, что все у меня еще только начинается и предстоит мне еще много всякого: и то, что уже есть, и то, что еще будет, когда моим будет не по семь, а по пятнадцать, и что сдержанные слезы Елены Евгеньевны куда горше и тяжелее

моих, потому что это слезы не только учителя и не только матери, а учителя и матери сразу...

Когда мы с Севой приехали на вокзал, поднялся ветер, началась пурга.

Было поздно, интернат давно погасил свет, а здесь бледные неоновые лампы безразлично освещали серо-зеленые вагоны и жутковатые живые кольца, которыми завивался снег на асфальтовых проталинах.

В вагонах светились разноцветные — от абажуров настольных ламп — огни, там шла какая-то своя оживленная и теплая жизнь, а на перроне было безлюдно, даже проводницы не высывали носа.

Ветер пробирал меня до озноба, и я прикрывала собой Севу, положив руки ему на плечи.

Перед нами топтался Степан Иванович.

Все уже сказано, семья Степана Ивановича — жена и сын — беспокойно поглядывают на нас в вагонное окно, а вороний охотник никак не уходит, видно, решил постоять с нами до последней минутки.

Я топталась вместе с Севой — мы как бы слились в одно целое, — похлопывала по плечам, пошатывала и покачивала, чтобы он не замерз, и так вроде бы скрашивала молчаливые, тягучие минутки.

Нет, не надо было приходить сюда, Степан Иванович зашел в школу, и достаточно, но вот пообещала, и теперь мы стоим на ветру; уже поздно, Севе пора спать, и неизвестно, тронется ли когда-нибудь этот дурацкий поезд.

Ветер подвывает где-то под вагоном, по-хулигански присвистывает.

А все-таки так нельзя, думаю я. Степан Иванович вовсе не виноват, что уезжает за границу в командировку, он немало сделал хорошего, вон сходил с Севой на охоту, подарков много оставил, и надо, чтобы уехал человек с хорошим настроением.

— Желаем вам, Степан Иванович, всего доброго, — бодренько произношу я, едва шевеля губами от холода. — Вы нам сообщите потом адрес, и мы с Севой станем писать, а с крокодильчиками осторожнее, они кусаются. Да, Сева?

Все мои попытки расшевелить Севу напрасны. С тех пор как Степан Иванович сообщил об отъезде, мальчик

замкнулся, и Нонна Самвеловна наметила в журнале против его фамилии множество красных точек, что означало непоставленные двойки.

Степан Иванович пожимает мне руку, целует еще раз Севу, забирается на подножку. Уже оттуда кричит:

— Севочка! Мальчик! Ты перейдешь в четвертый класс, и мы вернемся! Желаем тебе счастья! Будь послушным! Учись хорошо!

Поезд бесшумно трогается, нам бы надо пойти за вагоном, как полагается, потом побежать, я легионок подталкиваю Севу, но ощущаю сопротивление его спины. Мы остаемся на месте, я машу рукой Степану Ивановичу, потом его жене и сыну, мелькнувшим в окне. Мерно постукивая, поезд исчезает во тьме. Красный огонек светится на последней площадке.

Словно точка, поставленная учительницей в тетрадь красными чернилами.

Мы стоим в мертвенном свете неоновых огней, одни на всем перроне, я хочу взять Севу за руку, чтобы идти, и вдруг слышу сказанное громко, с отчаянием:

— А вам-то какое дело!

Какого цвета эта точка?

## 29

Оказалось, тоже красного.

Сева устроил пожар. С участием Аллы Ощепковой. Вернее, по ее предложению.

С того воскресенья, с того побега Аллочка из кино она как-то притихла.

То огонь-девка, веснушки так и сияют на носу, улыбка не сходит, а тут стала вялой, медлительной, заторможенной. Я приставала к ней, тормошила, отвлекала разными разговорами, но Аллочка только кисло улыбалась. Я даже показала ее интернатскому врачу, но он успокоил меня, сказав, что здоровье девочки отличное.

Мне казалось, я не свожу с Аллы глаз, и Маша, ясное дело, тоже. Так мы ничего и не смогли придумать, воспитатели называется, развели руками, решили — чему быть, того не миновать... Серьезно ли это?

Сейчас я думаю, серьезно. Реальная педагогика приемлет и такие парадоксы, когда учитель действительно не должен или не может ничего предпринимать. В таких случаях легко не бывает, страшит ожидание, но на-

до подождать, чтоб нарыв наизре. А лопнет, и легче станет.

Конечно, ненаучно. Даже, может, антинаучно. Но — правда!..

Итак, нам казалось, мы не спускаем с Аллочки глаз, и, вероятнее всего, именно наша избыточная ласка убедила ее в том, что ее обманули и «князь» с «княгиней» никогда больше не придут к ней.

Она решила расправиться с прошлым.

Еще с вечера Алла приготовила свою мохнатую рыжую шапку, шубу, платья и кофточки, подаренные ей Игорем Павловичем и Агнессой Даниловной.

После уроков, перед самостоятельными занятиями, Сева разложил на бетонном полу мальчишечьего туалета кучу газет, поджег их и кинул в огонь Аллочкино имущество.

Действовал Сева как заправский поджигатель, открыв предварительно все форточки в туалете и устроив таким образом сквозняк. Синтетическая шуба горела, испуская ярко-желтый смрадный и густой дым, он вырывался в форточки, пролезал в щели под дверью, и скоро чуть не все здание окутал сизый, щиплющий глаза туман.

Я была в библиотеке, когда услышала топот ног и Аллочкин крик:

— Надеж-Вна! Севка задохнется!

Я выбежала в коридор. Алла неслась ко мне всклокоченная, с круглыми — с блюдце — глазами. Она то смеялась, то плакала. И эти ее переходы до смерти напугали меня. Значит, дело худо.

Возле туалета дым густел, в полумраке я заметила фигуры директора и дворника дяди Вани.

— Где он? — крикнула я.

— Неизвестно! — ответил директор. Его слова и бес толковое объяснение Аллы я поняла по-своему. Сева Агапов там, в дыму!

Не раздумывая, я открыла дверь и рванулась в туалет.

Это был не вполне разумный поступок, но думать было некогда. Сева оказался в дыму, а значит, уже потерял сознание. Я попыталась окликнуть его, но издала только какой-то клокочущий звук. Дым ворвался в легкие, и я зашлась отчаянным кашлем. Чутьку вдохнув в себя воздуха, а вернее дыма, я побежала, касаясь одной рукой стены. Время от времени я наклонялась, ощу-

пывая сразу и рукой и ногами пол — вдруг он упал и лежит?

Наконец обнаружила что-то мягкое. Я схватила это что-то, навверное одежду, потянула на себя, кинулась к двери.

Задыхаясь, заходясь кашлем, я выскочила в коридор и взглянула на свою ношу. Это были остатки шубы. Они выпускали все тот же зловонный дым, меня покачивало. Потом стало рвать. Я стояла, отвернувшись в угол, и время от времени лихорадочно оглядывалась. За спиной собиралась толпа. Слышались окрики Аполлона Аполлинарьевича, толпа бурлила, менялась, только Алла не исчезала.

— Где Сева? — крикнула я ей.

— Уже в моем кабинете! — ответил директор.

Как в кабинете? Значит, его не было там! А я... Возле меня суетилась нянечка, дым рассеивался, я зашла умыться в туалет для девочек.

Голова гудела, на лице полоска сажи.

Я подставилась холодной струйке, чувствуя, как ледяная вода ломит виски.

Дверь за спиной хлопнула, послышалась молчаливая возня и удары. Кто-то хрипло крикнул:

— Надеж-Вна!

Я резко обернулась, еще ничего не понимая, и увидела дикое: молча, злобно, неумело Сева Агапов колотит Аллочку Ощепкову, и та сопротивляется точно кошка — так же молча, злобно и неумело.

Я подскочила к Севе, дернула его за руку.

— У-у, стер-рва! — яростно пробормотал он Алле. — Из-за тебя все!

Я чуточку встряхнула его за рукав, чтобы опомнился, пришел в себя, и без всякого перехода, с той же яростью Сева вдруг стукнул по моей руке свободным кулаком.

— Иди ты на...! — кричал он с каждым ударом. — Иди ты на...! Иди на...!

А я, ошеломленная, приговаривала на его удары:

— Сева! Севочка! Сева!

Сильным, каким-то мужицким, драчливым движением он обрушился всем телом на мою руку и вырвался.

Дверь хлопнула, а я заплакала. От неожиданности, страха, бессилия. Завыла в полный голос.

Что делать, я тогда часто плакала. Мне многое было

внове, а это — страшной всего — недетская детская брань, подобранная где-нибудь у пивнушки.

Теперь-то, десять лет спустя—как не похоже на Дюма! — пройдя многое и хлебнув разного, отвыкнув от слез и привыкнув к жесткости подлинной правды, я твердо знаю, что учитель должен уметь погрузиться в человека, и не всегда — далеко не всегда! — там, в глубине, найдет он благоухающие цветы, порой встретит слякоть, грязь, даже болото, но не надо пугаться! Надо браться за дело, закатав рукава, надо брать в руки мотыгу и, несмотря на тягость и грязь, оскальзываясь, спотыкаясь, заходя в тупики и снова возвращаясь, осушать болото, пока на его месте не зацветут сады, — вот достойное занятие!

Нет стыдных положений, есть стыдное — или стыдливое — отношение к делу, и я не раз ощущала особый прилив чистоты и ясности, становясь — не отворачивайте нос от этого слова, — да, да, ассенизатором ломких душ, с упоением вышвыривая из самых потайных закоулков дрянное, подлое, низменное, которого, кстати сказать, не так уж и мало едва ли не в каждом человеке.

Шараханье, испуг, публичная паника не самый лучший выход из положения для учителя, который слышал ругань или увидел гадость. Давай-ка за дело, да лучше втихомолку, но по-настоящему, без обмана — самого себя и тех, кто тебя окружает, — без липовых фраз, мнимых отчетов, суеты, восклицаний!

Честней и проще.

Ведь когда честней и проще, тогда и поражение простимее, объяснимее ошибки, неудачи.

Самое тяжкое в учителе, самое неизлечимое — коли он трясется за свой престиж, боится признать ошибку да еще в ошибке упрямится. Этот камень тяжек, немало колес побьется и покалечится о его упрямые бока, немало спиц лопнет, и самый для учителя тяжкий грех валить, пользуясь авторитетом профессии, с больной головы на здоровую, да еще ежели голова эта малая, ученическая...

Повторю снова, это — мое нынешнее, когда слезы мои пересохли, но не оттого, что иссяк родник, а оттого, что стала сдержаннее, а любовь моя разумней и сердце, выходит, обильней.

Тогда же Севин мат — точно залпы расстрела.

Но я отрevela свое, подсунула снова лицо под ледя-

ную струйку, приложила мокрый платок к Аллочкиным синякам, и вышли мы с ней в коридор обруганные, а гордые, готовые отвечать перед педсоветом — Алла за пожар, я за судьбу первого «Б».

30

Не тут-то было. Не до педсоветов. Сева пропал.

Когда исчезла Анечка Невзорова, у меня хоть была зацепка. Забытая вначале по оплошности, но была. А Сева исчез в никуда. Растворился в большом городе, как песчинка.

Милиция всю работала на нас. Аполлон Аполлинарьевич передал Севины приметы по телефону, а я отвезла его детдомовскую фотографию, которую должны были размножить и разослать сначала по всей области, а если надо, по всей стране.

Я себе места не находила. Кляла на чем свет стоит. Подумаешь, институтка! Испугалась его ругани, небось вытаращила глаза. «Сева! Севочка! Сева!» Вот Сева и обезумел — рванул со страху в неизвестном направлении, ищи-свищи.

Причины и следствия у маленького Севы были на виду, это уж потом стало трудно разбираться, а тогда — что следы по пороше маленького зайчишки видны птице, хоть и неопытной, но все же большой. Ведь и задумываться не надо. Из-за меня это все! Из-за меня Степан Иванович появился в его жизни, на охоту из-за меня ходили, и даже ту бедную ворону убили из-за меня. А потом он уехал, этот Степан Иванович. И одежду из-за меня Алла сжигать принялась...

Куда ни кинь, все я, неумеха! Ох, как правильно сказала Яковлевна — им матери нужны рожалые да бывалые. А тут пигалица с какими-то завиральными выдумками. Так казалось мне тогда.

Видно, что-то со мной случилось после Севиного ухода. Наверное, вела себя странно. Или еще что. Но Маша, бедняга, не отходила от меня в мои дежурства. Добряга Аполлоша охаживал как мог. То к себе вызовет и о погоде битый час говорит, то сам в группу прибежит, никак уйти не хочет. И Елена Евгеньевна, и Нонна Самвеловна, и даже Яковлевна, моя антагонистка, и та на ужине норовит чего-нибудь вкусненького подсу<sup>у</sup>нуть против всяких правил.

А я все про вину думала.

Зайду к Аполлоше узнать в сто первый раз, нет ли известий из милиции, и сразу про себя давай на весах взвешивать, чего я больше принесла детям — радости, беды?

Радость, конечно, была, вон Коля Урванцев! Нашел Никанора Никаноровича. Лепестинья моя бумаги подала Зину удочерить. Сашу Суворова, Сашеньку, который назван в честь полководца, усыновила хорошая детная семья.

Но радость разве надо считать? Она и есть радость. А вот беду не захочешь, сосчитаешь. У меня-то ее полный короб. Пора и разобраться, что к чему.

«Князь Игорь» и зеленоглазая «княгиня» повинились. Мало ли какая жизнь. Обеспеченные, но не такие уж молодые. Захотели Аллочку удочерить, порыв был, но оказалось, вдвоем спокойнее, дело, как говорится, хозяйское, никто принуждать не вправе.

Но Аллочке-то? Не все равно? Конечно, в тысячу раз хуже, если бы сгоряча удочерили, а потом ладу нет. Тут уж вообще трагедией может обернуться! Но маленькому человеку все не объяснишь. Потом поймет, сердце утешит, а теперь вражья сила, вот кто для Аллы Ощепковой Игорь Павлович и Агнесса Даниловна. Так и станет всю жизнь вспоминать двух больших сытых людей. Прыгают по утрам в белых трусах и маечках, свою жизнь продлевают. Для самих же себя.

Не знаю, как Аллочку, меня этот образ преследует — двое красивых, благополучных людей — руки в стороны, ноги врозь, ать-два! Бэкон-то мой прав! Я раньше только вторую половину фразы слышала, а теперь поняла и первую: «Процветание раскрывает наши пороки». Вот он, оказывается, о чем.

Я, конечно, могла хулить Запорожцев сколько мне вздумается — толку-то? Они где-то там заряжаются физкультурой, берегут большое здоровьишко, катаются в «Москвиче», а Алла здесь, со мной, и чем там мостили дорогу в ад, мне все равно.

Меня моя дорога интересоваться должна. Мои намерения.

Они, конечно, благие, сама знаю. Только вот благодать их тяжела.

Анечка Невзорова, к примеру, своим неразумным умишком ее отвергла, эту благодать. Малышня, а выбор сделала очень даже трезвый и взрослый. Мечты об исправившейся мамаше, конечно, наивны, но лучше уж



сердце свое между матерью и другой женщиной, к которой привязаться нетрудно, не разрывать, это так.

Анечке легче всех, она сама решила, потому и легче.

А вот Сева мой... И Степан Иванович ничем не виноват, и мальчишка. Может, не уехал бы его охотник, ничего с Севой и не случилось. Конечно, ничего. А случилось потому, что уехал. А в том, что уехал, никто не виноват.

И мне можно ручки умыть?

Эхма, благодетельница-воспитательница! Не вспоминай, не надо. Не трави душу ни себе, ни людям, не вали на них хотя бы и частицу, а своей ноши.

Благими намерениями... За несостоявшиеся намерения других людей единственная в ответе ты сама. Ведь ты их подтолкнула. И нет никаких обстоятельств, смягчающих твою вину...

Лихорадка мгновенных сборов: позвонили из милиции, как будто нашли удальца. Мы едем с Аполлошей в такси, и я испытываю полную атрофию чувств. Даже это известие не радует меня. Половинные эмоции, я довольна, что обошлось, не больше. Может, научилась тому, о чем говорила Елена Евгеньевна? Зато директор ликует. Без конца тарахтит, просто никакой выдержки. Хотя понять можно. Все-таки директор. В конечном счете он отвечает за все.

Мне становится совестно, на минуточку чувства возвращаются в полном объеме. Ведь Аполлон Аполлинарьевич, поддерживая мою идею, брал всю ответственность на себя. Такая простая и доступная мысль посещает меня впервые, и мне совестно за собственный беспардонный индивидуализм.

Господи! Да ведь все, кто меня окружает, поддерживали меня, согласились со мной. Именно потому я не могу ни на кого сваливать. Даже на тех, кто попробовал и не смог, Запорожцев этих.

Наш выезд оказался пустым. Парень, которого держали, был старше на год и к тому же при нас стал сознаваться, кто он и откуда.

Любопытно — отец и мать кандидаты наук, он — из института, она — медик. Впрочем, какая чушь! У сердца нет ученых степеней...

Кончался пятый день, как сбежал Сева. Мы вернулись в школу, и Аполлон Аполлинарьевич с женой понесли меня чаем в директорском кабинете.

Разговор не вязался главным образом из-за меня. Я отвечала кратко, неохотно.

Елена Евгеньевна достала из сумки колбасу, свежий батон, нарезала бутерброды. Теперь я понимаю — эти люди были куда мужественней меня. Дома по-прежнему не ладилось, и хотя сын ночевал, ключи к нему все еще не были найдены, а директор и завуч старались развеселить воспитательницу, которая к тому же сама кругом виновата.

Они напоили меня чаем, колбасу Елена Евгеньевна спрятала между рам, остатки батона завернула в вошеную бумагу.

— Может, вам плохо спится, так придите сюда, попейте чаю, чайник всегда тут.

Аполлон Аполлинарьевич молча катнул по столу ключ в мою сторону, и я почему-то явственно вспомнила наши первые разговоры, тот педсовет, где он пересказал Лескова, генерал-майора, не выходявшего за стены кадетского корпуса, эконома Боброва, который дарил молодым офицерам серебряные ложки.

Нет, определенно наш директор владел даром читать мысли.

— Неплохо бы нам, — задумчиво сказал он вдруг, — поговорить на педсовете о Рылееве.

Он хитровато разглядывал меня. Опять старался повысить мой тонус своими разговорами?

— Помните, кто первым высказал мысль: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»?

— Некрасов, — слабо улыбнулась я.

— Некрасов перефразировал, развил. А первым сказал Рылеев: «Я не поэт, а гражданин!»

— Полно, Аполлон Аполлинарьевич, — сказала я, — вы не естественник, а словесник.

Он не ответил на это.

— И знаете, предпочел поэзии восстание и смерть. — Аполлоша помолчал. — Жизни предпочел долг.

— При чем тут педсовет? — спросила Елена Евгеньевна.

— Жизни — долг, — удивился директор, что его не поняли. — Разве это не наша тема? Учителей? Или мы, товарищ завуч, должны говорить лишь о планах, уроках, учениках?

— Собирайся домой, товарищ директор, — печально улыбнулась Елена Евгеньевна, — воспитывать собственного сына.

Они ушли, а я осталась в кабинете. Посидеть в мягком старом кресле, провалившись просто по уши. Можно положить голову на спинку, подумать про себя, про свой поезд, про жизнь, пока малыши спят.

Жизни предпочел долг, сказал Аполлоша про Рылеву. Жизни — долг. Это Рылеев. Там требовался выбор. И он выбрал. А я? Сейчас совсем все другое. Не требуется никакого выбора.

Никакого или — или.

И — и.

И жизнь и долг. Но какая жизнь, если такой тяжкий долг?

Я задремала, а проснулась, точно дернулась. Снова прикрыла глаза. Осознанно открыла их.

Передо мной стоял Сева Агапов. В нашем интернатском сером пальто, замызганном чем-то черным, похулевший, с воспаленными глазами.

Он смотрел на меня, медленно опускал глаза, потом быстро скидывал их, снова смотрел какое-то время и вновь медленно опускал взгляд.

Я не кинулась ему навстречу, не стала раздевать, как сделала бы раньше, я не заплакала, как плакала прежде от подобных потрясений, а встала, приоткрыла окно, достала колбасу, нарезала ее, сделала бутерброды, налила остывающий чай, поставила перед директорским креслом, улыкнулась Севе:

— Ну! Мой руки!

Он снял пальто, шапку, сложил их на стол, вышел в коридор, а я даже и не подумала, вернется ли он. Мысли такой не было.

Я смотрела на чашку, бутерброды с колбасой, на директорское кресло, куда сейчас сядет Сева — и это будет довольно забавно, — я смотрела перед собой на простые предметы, виденные тысячу раз, и думала о Боброве и о фразе, сказанной Аполлошей на первом педсовете. Он сказал тогда: «Видите, какие славные учителя были до нас с вами!»

Хорошо сказал. Я еще аплодировала, экзальтированная дурочка!

Я смотрела на чай для Севы, а думала про эконома Боброва, старуху Мартынову, как она говорила про учителя — раствориться в них надо! — про Аполлошу с его женой и предками.

И про себя.

Может же человек подумать про себя?

Особенно если так: жить надо благими намерениями и делами.

31

Вот, собственно, и все. Верней, все о начале.

Меньше всего мне хочется выглядеть победительницей, хотя Аполлоша нет-нет да и назовет меня так по старой памяти. Сева, правда, больше не сбегал, видно, с первого класса понял, что у школы надежная крыша. Сушеный крокодильчик приехал к нему из Африки, и каждое воскресенье Сева гостит у Степана Ивановича и его жены, которая теперь к мальчику очень привыкла. Осенью, в сентябре, Сева ходит со Степаном Ивановичем на утиную охоту, приносит в интернат селезней, и уже не Яковлевна, а другая повариха, такая же добрая и участливая, готовит жареную дичь нашему «Б».

Первый класс мы закончили вот с каким результатом: Зину Пермякову, Сашу Суворова, Колю Урванцева и еще троих детей усыновили и удочерили хорошие люди. Шестеро — обстоятельства сложились так — в гости ходить перестали. Десять же мальчиков и девочек, как мы и предполагали, нашли хороших друзей. Миша и Зоя Тузиковы, например, обожают Петровичей Поварешкиных, дружат с их сыновьями и каждую субботу торопятся из интерната.

Можно считать, благополучный исход. Счет шесть — шестнадцать.

Но все дело в том, что педагогика не точная дисциплина. Можно выиграть со счетом один — девятнадцать. И проиграть девятнадцать — один. Единица перетянет девятнадцать, и сто, и тысячу. Вот почему судьба шестерых, вернувшихся в интернат навсегда, мучила меня долгие-долгие годы.

Тогда в директорском кабинете, глядя на жующего голодного Севу, я вновь дала себе слово не бросать моих малышей. Аполлоша произнес под Новый год тост за десятый «Б», и я поклялась быть учителем этого класса. Благие намерения предстояло поддерживать благими делами. Я думаю, и дорога-то в ад вымощена не намерениями, а намерениями неисполненными. Вот в чем дело.

Да, у меня получилось так. Шестеро моих детей так

или иначе, прикоснувшись к семейному очагу, лишились его тепла. Но к этому огню они прикоснулись с моей помощью. И я не вправе была покидать их, когда они снова остались одни. Иначе это стало бы обыкновенным предательством. Я должна была пожертвовать своим покоем, своими удобствами, всем, всем, всем своим, чтобы исправить ошибку. Максимализм? Что ж, уверена — воспитать человека можно, только отдав ему часть себя. Ну а если речь о сироте?..

К тому же в шестерых — должна признать честно — вся эта история оставила нелегкий след, и мне часто казалось, что со временем боль не утихала, а получала новое выражение. Ничем не объяснимым неповиновением, каскадом двоек, грубостью. Когда проходили «Горе от ума» — к тому времени я преподавала своим язык и литературу, — Алла Ощепкова, тогда уже совсем красивая, рослая девушка, просто вцепилась в две грибоевские строчки и с полгода на любой вопрос, мгновенно окаменев, отвечала:

В мои лета не должно сметь  
Свои суждения иметь.

Классе в восьмом Сева Агапов на моем уроке неожиданно сказал:

— Я человек государственный!

Ребята прыснули.

— А что? Государственный, казенный, а значит, ничей. Государство — это все и никто!

Повисла угрюмая тишина. Ребята тяжело смотрели на меня.

— А я?

— Вы — другое дело! — помолчав, пробормотал Сева.

— Но я же часть государства, тебе не приходило это в голову?

— Так вы с нами по служебной необходимости? По долгу? За зарплату?

— А на эти вопросы, — теперь пробормотала с трепетом я, — ты ответь сам.

Нет, нет, туда лучше не вдаваться, в другие классы и другие эпохи. Каждая из них непростой узелок. И целых девять следующих лет я пыталась выровнять нити, распутать узлы и связать гладкую ребячью судьбу. Получилось ли, судить не мне. Пожалуй, кое-где есть неровности, но я старалась. Я делала что могла.

Спрашивается: к чему же этот рассказ? Объяснить, что бывают несчастливые обстоятельства? Что избыток доброты вреден и добро может ранить? Что сводить маленьких сирот с чужими взрослыми, пытаясь отыскать теплоту, наивно?

И да и нет.

В конце концов, и неудачный опыт имеет свое значение: он предупреждает других.

Но Аполлон Аполлинарьевич не зря говорил: педагогика не точная дисциплина. И с точки зрения результативности счет шестнадцать — шесть не так уж плохо. Но я не про шестнадцать. Я про шесть.

Я про шестерых малышей, которых ударили мои благие намерения.

Вот к чему вся эта история, теперь уже давняя.

## 32

Ну а я?

Я переехала от Лепестины и Зины в другой закуток, а через пять лет получила однокомнатную квартиру.

Зачем я уехала от Липы? Что-то мучило меня. Есть такое выражение про женатого сына: «Отрезанный ломоть». Пожалуй, и у меня было подобное чувство.

Я встречаюсь и с Зиной и с Лепестиной, получаю открытки от Коли Урванцева и Никанора Никаноровича, Саши Суворова, усыновленных и удочеренных моих детей, но признаюсь — наверное, надо стыдиться? — их судьба не очень интересует меня. Они живут другой жизнью, у них есть близкие, они отрезанные ломти, а мой интерес стал ограниченно избирательным.

Меня интересуют только мои. Дети без родителей.

Умом я понимаю, что это, пожалуй, недостойно педагога. Но ничего поделать не могу. С годами выработался вот такой недостаток — узкий, направленный, а значит, ограниченный интерес.

С Виктором мы расстались. Он уехал в Москву тем же летом. Звал меня с собой, хотел показать родителям. Я поехать не могла: отправлялась со всем классом на все лето в лагерь.

Перед отъездом Виктор снова говорил мне, что эпоха старых дев в педагогике давно миновала и что глупо связывать себя дурацкими клятвами.

— Что же! — воскликнул он. — Всю жизнь быть

мужем-сиротой при живой жене? Питаться остатками любви, которую ты даришь детям?

Мы опять целовались, я плакала, давая себе еще одну клятву заняться собой — о боже! — после десятого.

Виктор прислал из Москвы три письма, я ответила нарочито сухо; ждать девять лет в наше время? Смешно требовать такого от молодого мужчины. Да еще москвича!

Имя Виктора я часто встречаю в одной центральной газете. Почему-то он избрал коньком моральную тему. Впрочем, такие темы всегда трогают сердце и пользуются успехом у читателей.

В моей семье без перемен. Ольга вышла за Эдика, как хотела мама, и живет, по-моему, несчастливо.

С мамой мы как-то отделились друг от друга. Она по-прежнему хочет моего возвращения, повторяя едва ли не в каждом письме: «Если тебе не жалко меня, не губи собственную жизнь». Я считаю маму неглупым человеком, с хорошим вкусом, и эти высказывания просто убивают меня.

### 33

Солнце плещется в соцветиях черемухи, слепит глаза розовой пастелью ранней зари.

Вот миновала ночь. Последняя ночь клятвы. Вечером — торжество, вручение аттестатов, танцы и следующая моя ночь станет ночью свободы.

Я буду думать, думать, думать, как жить дальше не учительнице Надежде Победоносной, последнее, конечно, в кавычках, а просто Надежде Георгиевне. Женщине тридцати двух лет не так просто устроить свою жизнь — тишина этой комнаты рухнет, появится новый человек, еще неизвестно какой, станет курить, ходить в подтяжках, говорить что-то свое, на чем-то настаивать.

Готова ли я к этому?

Готова, готова! В конце концов, я девять лет думала о том, что рано или поздно непременно займусь личной жизнью, влюблюсь, выйду замуж, нарожаю детей.

Я бодро вскакиваю с постели, делаю зарядку, обливаюсь водой, начинаю готовить кофе.

Какая благодать!

Окно распахнуто, черемуха заглядывает в комна-

ту — она расцветает здесь, на Севере, гораздо позже, — я пью душистый кофе, вдыхаю смесь этих чудных запахов, жмурюсь солнцу, румянящему цветы.

Раным-рано. На улице тишь, только шаркает метлой дворник. День лишь занимается.

Я вскакиваю, едва не уронив чашечку.

Хор голосов — мальчишеских и девчачьих — скандирует где-то рядом:

— Ма-ма На-дя!

Я бегом выскакиваю на балкон. Господи! Мои шестнадцать стоят в белых платицах и черных казенных костюмчиках, приготовленных школой по случаю выпуска, стоят под окном, у черемухи, улыбаются, глядят в мою сторону и кричат:

— Ма-ма На-дя!

Девять лет вдруг куда-то исчезли, куда-то исчезли моя воля, жестковатость, самую чуточку похожая на мамину, и здесь, на балконе, оказалась начинающая воспитательница, плакавшая по каждому поводу, — в глазах закипели слезы.

Толпа моих малышей — некоторые уже с усами — притихла. Но на мгновение.

— Ма-ма На-дя! Ма-ма На-дя! — кричали они, и это такое обыкновенное слово «мама» разрывало меня на части.

Я с трудом сдержалась.

— Почему вы такие нарядные?

— Мы гуляли всю ночь! — крикнула Анечка Невзорова.

Анечка! Невзорова! Стройная, на высоких каблучках, коротко стриженная красавица. Чей-то мальчишечий пиджак на ее плечах. Ах, Анечка!

— Но гулять полагается после вечера? — удивилась я.

— А мы и после вечера будем гулять всю ночь, — ответил Сева. Он держит в руках огромный букет черемухи. Наломал где-то усатик-полосатик, широкоплечий и высочуший.

— Ну и как гулялось? — спросила я. — Все в порядке?

Вот они, мои малыши, вглядывайся в каждого, не наглядись!

— Надеж-Вна! — крикнула Аллочка Ощепкина. Вот они когдагодились, ее веснушки. Милая, голу-



боглазая мордашка, в которую невозможно не влюбиться.

— Что, Аллочка? — улыбнулась я.

— Мы видели Аполлона Аполлинарьевича вечером.

— Та-ак.

— Он сказал, нам снова дают первоклашек из детского дома.

Я отшатнулась. Будто ожог, давнее прозрение: школьная лестница, мои малыши возле перил, горькие, непонимающие глаза.

Я взяла себя в руки. Ты-то при чем? Мало ли что? Кроме тебя, есть люди, а ты займешься собой, встретишь хорошего человека, нарожаешь детей.

— Что с вами? — крикнула встревоженно Анечка.

— Ничего! — улыбнулась я. — Ровным счетом!

— Держите! — крикнул Сева. Он размахнулся и кинул снизу букет черемухи.

Цветы ткнулись мне прямо в лицо, и я ощутила тонкий аромат.

Был июнь.

Пора цветения.

# Высшая мера

ПОВЕСТЬ

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я точно вынырнула из глубокого черного омута, в отчаянии, последним усилием ослабевших рук раздвинула загустевшую, тягучую воду, вынырнула и, с трудом приходя в себя, возвращаясь в жизнь из странного состояния, которое втайне называла «нечто», услышала забытые и приглушенные птичьи пересвисты.

Было тихо, за вагонным окном расплывалась неверная летняя ночь, поезд стоял, и я, с трудом поднявшись, словно все еще продолжая борьбу с густой водой черного омута, опустила раму.

Душную тесноту купе раздвинул сильный поток лесного воздуха, и в то же самое мгновение кусты у насыпи озарил соловьиный голос: сперва горловая замысловатая рулада, потом высокий цокот, нежный посвист и еще какие-то невероятные звуки — волшебный органчик, отворяющий любое сердце. Первому соловью отозвался другой, еще ближе ко мне, и тотчас включился третий — придорожный сумрак был весь соткан из звуков, которые способны сделать счастливым, и я почувствовала себя такой.

Но лишь мгновение.

Сперва — на секунду — острое ощущение радости, потом — тревога и торопливо сменившая их боль. Причина мгновенного счастья лишь в том, что я еще не вполне проснулась после двух таблеток димедрола: хоть и выплыла из искусственного «нечто», но еще не примкнула к реальности. Соловьи возвращали меня в жизнь. Близкими песнями, недоступным счастьем они загоняли меня обратно — во вчера, в позавчера, в день того убийственного звонка.

Я задыхалась, слезы снова скопились во мне, застилая неверную летнюю ночь в светлеющем провале вагонного окна, — только звуки оставались обостренно ясными. Мне бы оглохнуть от моей беды — чтоб не

слышать ничего окрест, не видеть, не знать, но я вопреки воле ясно слышала соловьиное сражение, такое ненужное мне и неуместное теперь. Эта резкость, этот контраст между благостным счастьем природы за окном и непоправимостью беды укрепляли боль, делали ее запредельно безжалостной.

Вагон тихо тронулся, но соловьиное счастье не утиhalo. Даже когда поезд разогналcя во всю мощь, в окно врывались обрывки птичьих песен.

Спасаясь, я приняла снотворное.

Снотворное мешает выплыть из сна; но вернуться в него оно помогает не всегда тотчас, сразу.

Путаются явь и небыль, я вздрагиваю, когда острие луча станционного фонаря рассекает сумрак купе.

Какое счастье, что в кромешной тьме нестерпимых дней я сообразила: ехать обратно надо поездом и взять оба билета в двухспальном купе. Тут я одна, в маленькой клетке, в камере предварительного следствия, кажется, так в судебных делах? Впрочем, почему предварительного? Следствие окончательное, я провожу его сама и сужу себя хотя бы уже потому, что это мой внук и мой сын. А еду я домой, к дочери, и, прежде чем приехать туда, я должна разобраться в себе.

Боже, почему такой жестокий расчет?

Я закрыла глаза, и димедрол сделал свое дело — опустил мою душу на несколько ступенек вниз. Ко мне придвинулся вчерашний день, отходящий поезд, Саша и Ирина поодаль друг от друга идут за вагоном, а я стою за проводницей, молоденькой, хрупкой девочкой, точнее, за ее рукой, которой она ухватилаcь за поручень, — я стою за этой рукой, прислонясь в изнеможении к стенке тамбура, и тоненькая рука проводницы не дает мне упасть туда, на перрон, к Саше и Ирине.

Они идут все быстрее рядом с вагоном, Сашино лицо перекошено страданием, но сам он молчит, и Ирина наконец-то сбросила все свои маски, лицо ее незащищено, мне впору ее пожалеть, но мы в равном положении: — и вначале надо справиться с собой. Справиться? Если это возможно...

— Мама! — хрипло говорит Саша, и вытянутое, иссохшее лицо его передергивается. — Мама!

Кроме этого, он не может ничего выговорить, и тогда Ирина словно продолжает его восклицание:

— Как теперь жить?

Как жить? Я молчу. Я сама не знаю, как жить, как дышать, как глядеть на белый свет.

Как жить вам, я тоже не знаю.

Я молча мотаю головой.

В конце концов вы пришли туда, куда стремились, мои дорогие. Но все сказано в опустевшей однокомнатной квартире, где жил Игорек, и мои слова остались там. Здесь мне нечего сказать.

Я прикрываю глаза, а когда открываю их вновь, перехватываю испуганный взгляд девочки-проводницы. Ей явно не по себе. Двое плачущих взрослых идут за вагоном, и еще одна рыдающая старуха стоит у нее за рукой, за хрупкой, такой ненадежной заслонкой. Наверное, она боится, как бы я не выпала из вагона. И то правда, ноги едва держат меня.

Сил махнуть рукой у меня нет. Я киваю. Прощайте. Опять вы вдвоем, хотя бы только на перроне.

Осталось ли что сказать вам друг другу?

Мне часто снился один светлый сон. В последние годы он повторялся с особенной настойчивостью, и вначале я не могла понять, что это означает, если сон обязательно должен что-то предсказывать и что-то означать.

Я — пятнадцатилетняя голоножка в белом платье бегу к почтовому ящику у калитки перед нашей дачей. Ящик деревянный, грубо струганный, объемистый, можно положить целую бандероль, и всякий раз, как я подбегаю, открываю боковую дверцу и заглядываю внутрь, ящик полон разноцветных открыток, писем, каких-то извещений.

Сердце мое заходится в радости, я перебираю все эти послания, среди них есть адресованные и мне, но я узнаю знакомый почерк подруги, или тетки, или еще какого-то известного мне человека, и всякий раз расстраиваюсь, потому что жду не этих многих писем, а какое-то одно, очень важное — я и сама не знаю, от кого оно должно прийти: может, это взрослый неизвестный человек, измученный тяжелой судьбой, седой и усталый, а может, неизвестный мне мальчишка из другого города, которого я никогда не видела, но зато вот он меня видел, собирается написать, и я, дурочка, хочу получить это письмо, надеюсь, терпеливо жду.

Когда мне выпадал этот сон, я точно на крыльях летала целый день, хотя все письма ко мне уже пришли и ничего ни от кого я не ждала. Но сон как будто омолаживал мое дряхлеющее тело, во всяком случае, протирал мое сознание, точно покрытое пылью зеркало, и я улыбалась неизвестно чему. Может, самому воспоминанию: высокое крыльцо нашего дома, на террасе отец и мама, спокойные, доброжелательно улыбчивые, над головой шумят мачтовые сосны, воздух напоен запахом расплавленной от жары смолы, а я вприпрыжку скачу по белым плитам, заменявшим тротуар, к калитке, к доброму большому ящику, чтобы распахнуть боковую дверцу и опять схватить кучу разноцветных открыток.

Было ли это? Можно ли назвать сон воспоминанием о действительно происшедшем со мной? Я не знала. Не знаю и сейчас. Но от того, что сон повторялся, а к старости все чаще, я верила: это было.

В последний раз я видела этот сон почти год назад, когда жила в Москве у Игорька. Детство являлось, как в волшебстве, троекратно, и я, наконец, поняла мой вещий сон. Судьба Игоря терзала меня, я тщетно отыскивала ему надежную опору, не находила, и вот подсознание помогало мне. Проснувшись, я поняла, что Игорьку нужна голоножка в белом платье, что его спасет преданное и верное сердце, ждущее любви и привязанности.

Спасет? Еще тогда я вздрогнула от этого слова. Выручит, поможет, — суеверно и, пожалуй, слишком быстро отыскала я синонимы, — разве могло вериться в плохое! — да, да, преданное и верное сердечко выручит Игорька, поможет ему. Только вот Игоря и девчонку из моего сна судьба развела пространством, временем и родством, а похожей на нее вокруг не было.

Это просто моя исстрадавшаяся душа подсовывала последнюю соломинку. Она подсовывала нереальное, а моему внуку Игорю требовалось реальное спасение. От чего?

Его отец и мать разошлись.

Впрочем, это предпоследняя глава. А начало было совсем иным.

Я работала в университетской библиотеке, заведовала читальным залом. До нашего города от Москвы двое суток езды, но я, коренная москвичка краснопрес-

ненского происхождения, превосходно чувствовала себя тут, освобожденная от столичной суеты и недобрых воспоминаний, жила себе, как живут многие, не тяготясь, а радуясь пришедшему облегчению. Университетская библиотека оказалась для меня оазисом душевной незамутненности и юношеской чистоты. Выяснилось — можно взрослеть годами, даже уходить в старость, сохраняя при этом привилегии юности — просоITUDE, наивность, и при этом не опасаться, что попадешь впро�ак и над тобой станут смеяться. Дело, во-первых, в том, что ты всегда имеешь дело с совершенно молодыми людьми, еще не владеющими опытом притворства, каверз и двоедушия. Во-вторых, контакт с ними, как правило, ограничен книгами, выдаваемыми на несколько часов — таков закон читального зала. Библиотечное начальство в ту пору не требовало от нас ничего иного, кроме бесперебойной, как часы, работы: от и до. Правда, эти от и до оказывались не такими краткими — с восьми утра до десяти вечера, мы работали в две смены, но то обстоятельство, что в зале занимались студенты разных курсов и разных специальностей, делало, в сущности, невозможными читательские конференции или еще что-то в этом роде. Причина одна — кто-то непременно остался бы ущемленным: не успевал подготовиться к семинару, к зачету, к занятиям по языку, не успевал сдать задолженность — да мало ли разнообразных забот и авралов у бедного, вечно не поспевающего студентства!

Так что сперва книги выдай, к ночи собери да беги еще ближние аудитории, коли они не закрыты, чтобы каждый, кто книгу забрал, ее непременно отдал, — у всякого ведомства свои законы, к тому же многих учебников тогда не хватало.

С помощницами своими — нас работало четверо — я жила душа в душу, на редкость милейшие собрались женщины: статная, с казацким разлетом черных бровей Лиза вышла потом замуж за венгерского студента, живет в Будапеште, раздобрела, стала матерью троих детей, шлет открыточки к Новому году и 8 Марта, Антонина Николаева, веснушчатая хохотушка Тоня, умерла от рака, скосившего ее в два месяца, а Агаша, самая молодая среди нас, до сих пор в университете, заведует всей библиотекой, говорит мне при встрече всякий раз, тонко посмеиваясь: «Видишь, совсем усохла от книжной пыли, скоро превращусь в сушеный стручок, но ко-

гда на улицу выхожу, задыхаюсь и отхожу только в библиотеке».

Чувство юмора в Агаше проснулось к старости, молодой-то она не очень им пользовалась, все больше пугалась — округлит и без того круглые вишневые глаза, брови вскинет домиком и бежит ко мне:

— Софь Сергеевна! Там опять целуются!

Что поделаешь! Студенты на то и студенты, чтобы целоваться, — закон жизни, может, самый справедливый на свете.

Я этому не противилась, наоборот. Идешь вечером по опустевшим аудиториям, и, честное слово, неловко нарушать идиллию. Книги в стороне, давно захлопнуты, сумки и чемоданчики образуют ненадежную баррикаду — от 'кого? — а за нею влюбленное токовище: или воркуют, как голубки, или обнялись в поцелуе.

Со временем я выработала даже прием: весь день ходишь в тапочках, чтобы ногам легче, а когда собираешься в дозор по аудиториям, нарочно надеваешь туфли на каблуке, чтоб слышно было. Да у дверей еще ногами погромче постучишь — мол, пора, люди добрые, и нам по домам, сдавайте книги.

Мы, бывало, хохотали! Во время лекций, когда студенты на занятиях, собирали свой библиотечарский коллоквиум по противолобным предупреждениям. Тоня рассказывала, что она в каждую дверь стучит линейкой — громко, раздельно, три раза, а уж потом, через паузу средней величины, смело распахивает дверь, — и действительно, книги по вечерам Тоня собирала с большой линейкой, за что и получила от студентов милое прозвище Антонина Прямолинейная.

Лиза в хорошем настроении применяла пение — шла по коридору и напевала что-нибудь Новомодное, но это не всегда помогало, влюбленные на песню не реагировали, не тот, видать, жанр; тогда Лиза принималась куковать перед дверью, но это, повторяю, в хорошем настроении. Когда на нее нападал стих — а он так нападал нередко, — Лиза врывалась в помещение, широко при этом распахнув дверь, возникала в проеме и восклицала:

— Совесть есть?

Или без слов — молча и презрительно взирала на влюбленных. Как-то она там, в Будапеште?..

Одна Агаша не могла выдумать своего приема, из

поздних ревизий возвращалась испуганная, брови до-миком, восклицала:

— Софь Сергеевна! Опять целуются!

Я вздыхала, мы терпеливо ждали, когда редкой цепочкой влюбленные, тихо и скромно, потупив очи, подойдут к нашему барьеру и примутся шептать нечто невразумительное:

— Доброй ночи...

— Извините за беспокойство.

Или уж совсем бестолково станут здороваться, энергично кивая головой. Это ночью-то!

Особенно расходились мы с Агашей в вопросе о третьей комнате, существовал такой спорный пункт.

Выдача книг у нас была рядом с читальным залом, в отдельном помещении. Тут же стояли полки с самыми ходовыми книгами — учебниками и справочными пособиями, а в двух соседних комнатах весь остальной фонд по алфавиту. В последней, самой дальней, у нас был столик, где мы ели, на подоконнике прятали электроплитку, укрывая ее от лишних глаз коробкой из-под торта, в тумбочке хранилась посуда. Засиживаясь допоздна, мы пили тут чай, даже жарили яичницу, да что греха таить, порой даже обедали, отварив в кастрюльке картошку или изготавив манную кашу. В остальное время столик пустовал, и мне было как-то скучновато оттого, что в трех наших просторных комнатах тихо шлепаем тапочками по чистым полам только мы с Агашей, или с Лизой, или с Тоней — смены наши работали парами. Вчетвером мы собирались лишь на пересменке, да и то посреди дня, в самый что ни на есть студенческий разбой, когда читатели наши того и гляди перевалются через барьер, трясут своими студбилетами, тянут руки, как первоклашки, и при этом басят, пере-крикивают друг дружку — шум и грай прямо-таки вороний.

Я любила эти громкоголосые часы, этих мальчишек с ломкими голосами, эти мимолетные флирты прямо в очереди за книжкой, бесконечное девичье кокетство, всю эту несносную ораву торопящихся к наукам, но чаще всего в безделье, и вот надо же, торопящихся изо всех сил и с самым серьезным видом. Суета часа «пик» требовала от нас предельной собранности, точного, почти на ощупь, знания того, где и что лежит, быстрого шага, скорого движения рук в поисках формуляров, напряжения памяти, чтобы с третьего, от силы четвертого раза



знать своих посетителей, не заглядывая в студенческий билет.

Но потом все это стихало, обмен книг шел в равномерном ритме, не очень торопливом, но и не очень замедленном, двое уходили домой, двое оставались на месте, и наши три комнаты становились слишком просторными, слишком пустыми и даже, пожалуй, слишком скучными, потому что каждая из нас с каждой другой переговорила обо всем до малейших подробностей.

Вот тогда-то и возникла проблема третьей комнаты. Возникла она эмпирически, без всяких на то умыслов, просто однажды читальный зал оказался переполненным до отказа, в аудиториях шли лекции, и к нам пришел симпатичный Олег Осипов — про себя мы дали ему чисто библиотечарскую кличку О. О., по первым буквам, — взял какой-то учебник, поулыбался, повздыхал, сказал с печалью в глубоком, грудном голосе, мол, тяга к знаниям так возросла, что приткнуться некуда, и я провела его в третью комнату. За наш столик.

Олег Осипов оказался парнем любопытствующим, любящим литературу, в конце дня я разрешила ему рыться на полках, с не переменным, конечно, условием соблюдения точного порядка, а когда назавтра вышла во вторую смену, он уже сидел за кулисами книговыдачи, будто не сходил с места, и Тоня сбивчиво, однако улыбаясь при этом, пояснила, что О. О. сослался на мое вчерашнее разрешение. Олег улыбался белозубо, был любезен, помог мне снять пальто, и я, конечно, не отправила его в общий зал.

Таким же образом там оказалась Оленька Ольгина — белокурая сероглазая красавица с физического факультета.

Женщины вообще-то редко восхищаются женской красотой и обаянием, это скорее привилегия мужчин, не хватает, пожалуй, широты, вот в чем дело. Но все-таки исключения возникают, особенно когда женщина окончательно сознает, что ее весна позади и она может разрешить себе наконец дотоле непозволительную роскошь — восхититься другой. Во множестве своих грехов одним все же я не владела — ханжеством, и раньше других могла порадоваться чужому совершенству. Оленька Ольгина была символом гармонии — ладная фигурка без всяких диспропорций, высокая девичья грудь, открытое, доверчивое лицо героини из кинофиль-

ма и при этом никаких слащавостей, чрезмерностей, излишеств. При виде Оленьки я непроизвольно улыбалась, мне хотелось с ней заговорить, но она стеснялась, а я не решалась. Приглашение пройти в третью комнату и позаниматься там было первой моей нестандартной в наших отношениях фразой. Оленька порозовела, прошла вслед за мной и споткнулась на пороге — за кулисами сидел Олег Осипов.

— Я надеюсь, вы не мешаете друг другу, — сказала я Оленьке, и она, успокаиваясь, тряхнула белокурой копной.

Меньше всего меня интересовала взаимосвязь: Оленька Ольгина и Олег Осипов — мало ли студентов соседствует со студентками, и ничего! Первой обратила на это внимание наша хохотушка Тоня. Едва я вернулась в первую комнату, проводив Олю, она закатила глаза и промычала:

— О-о-о-о!

— Подать водички? Тебе нехорошо?

— Мне хорошо, — явно дразнилась она. — О-о-о-о!

Я покачала головой.

— Вы не поняли? Очень странно! — Тоня перешла на шепот. — Ведь получается четыре О. Ольга Ольгина и Олег Осипов.

— Действительно! — рассмеялась я. И про себя решила присмотреться к этим «О».

Они сидели у разных краев стола, старательно въедаясь в книги, мне казалось, безумно стеснялись друг друга, и я не видела ни малейшей возможности, чтобы, даже пошутив, соединить четыре одинаковые буквы в единое целое. Олег уходил из третьей комнаты первым, потом, спустя час, а то и дольше, Оля, или наоборот, — да что там, они, кажется, даже не глядели друг на друга, так похожие О. О. и О. О.

Недели через полторы, когда я вошла в третью комнату, меня оглушил тихий голос моей ненаглядной красавицы. Не поднимая глаз, она проговорила как бы сама себе:

— Софья Сергеевна, мы подали заявление и просили бы вас быть свидетелем, потому что вы... свидетель.

Она приподняла свои очаровательные серые очи, но лишь на мгновение. Зато Олег глядел на меня так, будто я факир, который только что показал поразительный фокус. Даже рот у него приоткрылся.

Я поглядела на Олега, поглядела на Ольгу, хлопнула себя по лбу и проговорила, давясь от смеха:  
— О-о-о-о!

### Студенческие свадьбы!

Сколько выпало их на мою долю, бедных, винегрет — главная закуска, но зато его много, целые тазы, — а уж веселья, драгоценной искренней радости — без зависти, дурных шепотков и сплетен — через край.

Я тогда еще думала: неужели бедность и безоглядность счастья так накрепко повязаны между собой? Неужели же вещи, деньги, благополучие пятнают чистоту и урезают искренность? В ту пору люди жили трудновато, редко кто в отдельных квартирах, собственные машины имели только крупные военные да профессора, и долгие размышления о связи любви и благополучия были пока преждевременными.

Да, преждевременными, это теперь мысль о связи счастья и благополучия не дает мне покоя, а прежде мы мало думали о таком. Но не тогда ли, не в ту ли пору безоглядного желания сытой жизни порвалась цепочка между добротой, любовью, верностью, между цепностями духовными и ценностями вещественными, когда за счастье принимают квартиру, машину, мебель...

А наша третья комната стала кузницей счастья. Не то чтоб специально, нет! Студентов прибывало, факультеты росли, но мы, читалка, оставались все там же, и теперь аудитории, ближние к залу, по приказу ректора не закрывались даже в воскресенье. Ну и всегда, все годы, пока я работала, почему-то везло мне на милых и деликатных девочек и парней, которым я симпатизировала, знала их имена и фамилии, вкусы, интересы, пристрастия, поначалу, конечно, книжные. Из тех, кому я симпатизировала, — не скрываю своей субъективности, всех в третью комнату даже при желании я бы впустить не могла, — там, за кулисами книговыдачи, образовывалась компания, этакий кружок, где сперва тихо и робко читали, потом копались на книжных полках, а курсу к третьему круто спорили обо всем подряд — книгах, театре, политике и своих студенческих делах.

В дни сессии наша третья комната становилась боевым штабом. Судорожно сжимая кулаки, побледнев и враз притихнув, сидели, лихорадочно шурша страница-

ми, те, кому подходила очередь на экзамен или зачет, стараясь избегать наших взглядов, передавали друг другу шпаргалки, потом возвращались с поля брани — хохочущие, вспоминающие подробности. А иногда рыдающие. Но слезы и огорчения бывали редко, да и то лишь в девчачьем исполнении. Тревожные дни сессий растворялись, точно туман, безмятежная нега возвращалась в третью комнату, и Агаша снова подбегала ко мне с округленными глазами:

— Софь Сергеевна! Зачем вы пускаете, опять целуются!

Теперь целовались не только в аудиториях, но и у нас за кулисами. Что поделаешь! Я смеялась, продвигаясь в тылы собственного книгохранилища, мы громко перекликались между собой, но все же изредка заставляли студента и студентку, стоящих слишком уж близко друг к другу и слишком глубокомысленно изучающих корешки библиотечных книг!

Ах, молодость! Я чувствовала, что закулисный кружок порой вовсе не нуждается в нас, хозяйках, что мы ему даже мешаем тут со своими бесконечными приходами и уходами. Становилось даже как-то неловко — ты, словно тень в сером халате, нарочно мелькаешь за спиной у молодых, как какой-то соглядатай. Но все эти неудобства морального, скорей даже самоедского свойства, компенсировались свадьбами. Бывало, еще не знаешь, но уже по опыту чувствуешь: скоро, скоро дозреют. Перехватываешь тайные взгляды, натыкаешься на незаметные рукопожатия, а когда, наконец, приходят в третью комнату вдвоем, обновленные, сияющие, и зовут на минуточку для тайных переговоров, уже понимаешь: сейчас назовут день и номер комнаты в общежитии, где будет свадьба. Ищи цветы! Я даже возомнила о себе: самой счастья не досталось, так ты другим помоги! И какой нимб над читалкой, где не только книги, но и любовь! И вот однажды я отправилась доставать цветы собственному сыну.

Саша пошел в школу шести лет, меня надоумила и помогла в этом подруга, работавшая учительницей в первом классе. Она же и учила сына, облегчая мою участь; так что в университет, выбрав физический факультет, он поступил раньше сверстников, понятное дело, занимался, дожидаясь меня, в третьей комнате и

однажды привел туда Ирину. Грешным делом, позже я подумала как-то, что это не Саша привел Ирину в библиотечный арсенал, а она заставила привести ее. Спрашивала даже у Саши. Он поморщился, отверг мое предположение, но уж слишком поспешно, — так я и не знаю истины.

Словом, Ирина мне не нравилась. Я редко применяла такую категорию к студентам, предпочитала симпатизировать большинству, меньшинство одаряя симпатией особого рода, дающей право на вход в третью комнату. Ирина мне не нравилась внешней незаурядностью, даже красотой: ее красота была неприятной, неестественной, кукольной. Фальшивой какой-то.

Пепельные, чуть ли не голубые, как у Мальвины, волосы в мелких кудряшках, водянистые, прозрачные глаза, округлое, точно у пупсика, лицо, неестественно румяные щеки. Только вот губы подводили ее — тонкие, плоские, такие губы, должно быть, невкусно целовать. И еще одно мне не нравилось в ней — она была старше Саши, и выше, ненамного, сантиметра на три, но выше, а мне хотелось, чтобы у моего Саши жена была ростиком ниже его.

Впрочем, до того, как она с Сашей объявилась в третьей комнате, у Ирины была уже известная мне репутация. И Лиза, и хохотушка Тоня, а особенно непримиримая Агаша рассказывали мне про студентку, которая слишком уж яростна. Этакая рослая кукла целуется в аудиториях то с одним, то с другим. Говорили об этом, кроме Агаши, без особого подъема, как о деле заурядном, я ведь и сама видела Ирину со многими парнями, но мало ли чего не бывает со студентками: поиск, разочарование, наконец, выбор. Я даже пошучивала:

— А почему только мужчины должны быть инициативны в выборе? Где же эмансипация?

Как говорится, за что боролась, на то и напоролась. Когда я увидела Сашу в третьей комнате вместе с Ириной, мне стало тоскливо и противно. Во-первых, практически первый раз за кулисы пришел человек без моего приглашения. С ведома лишь сына. Во-вторых, Ирина тотчас покраснела, залилась алым жаром, и я поняла: женская интуиция ее не подводит, она знает, как я отношусь к ее избыточной игривости. То, что было неплохо вообще, так сказать, умозрительно, прилагаемо

к собственному сыну, моему ребенку, оказывалось ужасным, и я ничего не могла поделать с собой.

На Ирине меня заклинило: дома я устроила Александру истерику, забыв про пугливую Алю, навеки больную свою дочь, поясняя ему, не выбирая выражений, кем может оказаться эта девица, но чем громче я говорила, тем отчетливей понимала: сила на стороне Ирины, и все будет так, как захочет она. Я ощутила это враз, женским предчувствием, спасти меня могла лишь ее ветреность: вся надежда на то, что мой хрупкий Сашка ненадолго привлек ее внимание — вон сколько вокруг молодцов гусарского телосложения — и Мальвина с голубыми волосами отвяжется от сына.

Но меня заколодило на Ирине, а ее заклинило на мне. Я почувствовала: она приняла мой вызов. Сопротивление материала вызывает к этому материалу повышенный интерес. Ребенок хочет добиться того, что у него отнимают. Вся разница в том, что Ирина не была ребенком. В борьбе двух кошек за клубок ниток выигрывает молодая. Саша оказался клубком.

Любил ли он ее? Нет, сравнение с клубком неправомерно: конечно, любил. Только он с равной силой мог полюбить любую другую, я уверена в этом. Ах, какая я дура была, ведь мне следовало незаметно, деликатно, ни на йоту не нарушая правил порядочности и морали, подвести Сашку за руку, как ребенка, к хорошей девочке из моих закулисных любимиц — сколько их было, добрых, милых, умных, ставших потом любимыми и любящими, но я прозевала, прохлопала ушами — возникла Ирина, заметила мое неудовольствие, вступила в борьбу и выиграла ее, отняв у меня Сашу.

В конце второго курса он привел ее за кулисы, все лето я переубеждала сына, а на третьем, поздней осенью, они поженились.

Теперь-то я понимаю, как нерасчетливо она ошиблась, какую непростительную роскошь позволила себе, вступив в борьбу с какой-то неимущей библиотечаршей за бесхарактерного парня. Ирина чувствовала себя победительницей, я считала себя побежденной, но победа обернулась поражением, а ее крах не сделал меня победившей. Иринина амбиция обошлась ей вон каким крюком по жизненной дорожке — в полтора десятилетия!

Но оставим ее. Одержав надо мной победу, приняв

из моих рук свадебные гвоздики, кукла с пепельными волосами потеряла ко мне всякий интерес.

Мы жили все вместе в маленькой квартирке — одна комната молодоженов, другая наша с Алей, и через неделю после свадьбы куколка увидела, что такое припадок эпилепсии — во всей его жуткой красе. Моя Аля явилась на свет с родовой травмой, ничего не говорила, только мычала, да еще судьба добавила эту болезнь. На сундуке в нашей комнате часто ночевала Мария, Алина нянька, санитарка, медсестра — все сразу, и Ирина крепко задумалась, вляпавшись в удобства похуже общежитских. Во всей семейке настоящей тягловой лошадью была одна я, но какое из меня тягло — сто рублей! — картошечка, капуста, редко котлеты и интеллигентская опрятность бедной обстановки, граничившей с нищетой.

Ирина приехала из районного городка, отец ее попивал, заведую бытовым комбинатом, мать когда-то была хорошей портнихой, теперь сидела на пенсии, так что помогали они дочке скудно, вот только мать обшивала Ирину с головы до пят. При ограниченных средствах Ирина владела по меньшей мере дюжиной платьев, и их число неизменно прибавлялось. Позже я догадалась, что и это было продуманной подробностью.

Итак, Ирина задумалась — в ту пору она утратила интерес к гардеробу, была тиха, приветлива, терпима, даже жалела Алечку, и та благодарно мычала ей в ответ, сляпывая подбородок, — почти ровесница Ирине, ровесница, лишенная сознания.

Эта ласковость к Але была, пожалуй, единственным искренним чувством моей невестки. Аля ничего не могла ей дать, она не была выгодной ни с какой стороны, и все же Ирина дружила с ней, если мимолетные ласки — касание рукой головы, поцелуй в лоб, помощь, когда та одевается, — можно назвать дружбой.

Я уж потом, много лет спустя, подумала, что все зависит от окружающих обстоятельств, и даже самый корыстный и расчетливый человек становится нормальным — бескорыстным и нерасчетливым, — если он сталкивается с кем-то, из кого нельзя извлечь выгоду. Вот, например, с больным. Вся система корыстолюбца отказывает, когда он встретится с неразумным, кого не надо объезжать по кривой, стараться обхитрить, замаслить — все бессмысленно, и когда рухнут надстройки, навер-

ное, еще и возведенные-то с трудом и усилиями, остается просто человек. Его жалость, его сострадание — чувства, с которыми он рожден на белый свет.

Странная мысль: может, надо лечить этих здоровых хитроумцев обществом больных, лишенных здорового сознания?

Итак, Ирина притихла. Впрочем, я перебираю, даже наговариваю на нее. Что я знала о ней тогда? Целуется с мальчишками в аудиториях? Так сделаем существенную поправку: целовалась. До встречи с Сашей. Победила меня? Да и пусть, если у них есть чувство.

Если есть. Об эту мысль я всегда больно ударялась. Материнское сердце уступчиво и может поверить любой подделке, лишь бы ребенку было хорошо. Но дело в том, что мое сердце было не вполне материнским. Не значит холодней, нет, просто в нем жила еще и расщудочность.

Неужели она любит его, спрашивала я себя без конца. Дай-то бог, дай-то.

И все же сомневалась, сомневалась.

Она — куколка, Саша — ниже ее, сухощав, правда, красив, лицо обманчиво мужественное, внешне есть что-то общее с суперменами из американских фильмов, только вот в глазах мягкость и отсвет сердечного тепла. Но это лишь с виду он мужественный и сильный, на самом деле Саша добрый, бесхарактерный, слишком послушный.

Мне кажется порой, будто он что-то помнит или силится вспомнить, но если даже и не помнит, то чувствует бывшую, ушедшую в прошлое беду. Саша часто и глубоко задумывается, может просидеть, глядя в одну точку, час, а то и больше, и окликнешь его не раз, пока услышит, но, услышав, еще не сразу приходит в себя: моргает глазами, озирается, словно не понимает, где он и зачем тут оказался. Какой-то испуг постоянно присутствует на его лице.

Когда он был ребенком, ему часто доставалось от сверстников — у детей чувства более первобытные, животные, и задеть слабого, а не сильного — в природе первичных вещей. Сначала Саша плакал, боялся выходить на улицу, в средних классах как-то приспособился, и уже в десятом, с большим опозданием, я поняла, что



он научился принаравливаться к сильным, соглашаться с ними всегда и во всем.

Я это глубоко переживала, затем успокоилась. В университете были иные, братские, нравы, в третьей комнате он числился гуманистом и добряком, и вовсе не потому, что я его мать. Но вот приспособливаться не разучился.

Он прилип к Ирине, как настоящий теленок, начисто забыв обо мне. Привязчивость — доброе чувство, но только в том случае, если не ранит других. Привязчивость Саши ранила меня, но я молчала. Из комнаты молодых слышалось воркование, я перехватывала взгляды Ирины, уже не ликующие, а изнуренные, вполне естественно — ревновала и без конца думала о том, что привязанность к одному может обернуться предательством по отношению к другому, а после и к самому себе. Слишком привязчивые люди быстро надоедают.

Они были полной противоположностью друг другу. Саша учился на физическом, но по характеру оказался гуманитарием — уж я-то навидалась их! Неорганизованным, необязательным, ленивым, не выполняющим заданий к важным семинарам. Но ведь точные дисциплины не терпят провалов! К третьему курсу он захромал по всем предметам и едва, на троечку, да и то за счет материнского авторитета, наконец защитился, вызвав мой облегченный вздох.

Ирина училась на филологическом — испанский язык и литература, — но отличалась математическим складом ума и какой-то металлической логикой. Была отличницей, без конца читала книги на испанском, дважды за три года жизни под одной крышей со мной проштудировала в подлиннике «Дон Кихота», и мне казалось, великий роман помог ей до конца овладеть дон-кихотским характером Саши.

В ее учении был какой-то тракторный напор, мужская мощь и адово терпение. Теряя справедливость, я называла про себя ее упорство крестьянским, хотя к крестьянству Ирина не имела никакого отношения, и вместо того, чтобы радоваться успехам невестки, боялась их.

Великая вещь — бабья интуиция! Боялась я ее успехов, чувствовала, забудет она Сашку, забудет, как забывает крыльями сильная птица слабую, и тогда всему придет конец. Все му!

Кто бы знал мою молодость, кто бы знал, как достался мне Саша при больной-то Але!

После смерти Женечки, моей незабвенной, несчастливой, любимой сестрички, тут же свалился Саша. Я привела его из детского сада, вернувшись с похорон, он был весел, по крайней мере обычен, а к вечеру полыхал, как огонек, я меняла ему компрессы, хватала на руки маленькую Алю, слышала ее мычание и рыдала, рыдала, давясь своей бедой. Господи! За что такое! Я одна, с двумя детьми, Аля навеки больна, Женечка, как ты могла!..

Саше было три года, когда не стало Женечки, и он перенес странную, многодневную, без диагноза, лихорадку, будто, не в силах понять умом, пережил потерю всем своим существом. Я выходила его любовью и своим страданием и в бессонные ночи приняла главное решение: уехать из Москвы, обменять наши комнаты в коммуналке на любой угол в любом другом городе, всё равно каком, лишь бы подальше. Соседки по коридору советовали расстаться с детьми, хотя бы уж с Алей-то, это не грех, разве можно, мол, назвать грехом разумный, праведный поступок.

Но я не могла! Представляла, как сдам кому-то чужому Алечку, нашу беду, наше страдание, — и душа переворачивалась, — нет, нет! Пусть лучше этот крест на всю жизнь, до конца, может, и пожалею когда, но лишь на секунду, чтоб тут же себя и выручить, душу свою.

И чтобы ничто ни о чем не напоминало, я уехала из Москвы, оформив все положенные документы. Даже ни разу не написала московским соседкам. Обрезала все ниточки — для Саши, прежде всего для него.

В новом городе судьба послала мне Марию.

Она служила санитаркой в больнице, была смысленной, расторопной и вполне справилась бы с обязанностями медсестры, но подкатил возраст, Мария вышла на пенсию, тосковала одинешенька и тут встретилась со мной. Аля болела тогда, лежала в больнице, библиотечные подружки прогнали меня к ней, я сидела в палате, и тут вошла благодетельница моя — заскучала без работы, мы разговорились, и Мария пришла к нам. Я не могла платить ей много, плата была неправдоподобно символической — двадцатка! — да и ту Мария немедленно возвращала в виде гостинцев для Али или провизии

на общий стол. Мы жили одной семьей, и я до сих пор боготворю даже саму память о Марии, хранительнице моей.

Доброта старушечья, женское милосердие, жалостливость, подмога трясущихся старческих рук! Да есть ли слова такие, чтобы воспеть их достойно! Отлюбившие, отработавшие, переделавшие на земле все свои дела, заслужившие покой и тишину, сколько же эти старые женщины творят еще добра, пеленая правнуков своих, а то и вовсе чужих детей, стирая бельишко, вода утюгом, стоя возле кастрюль на кухне или в знобких и суетных магазинных очередях! И еще при этом стыдятся себя, переживают, как бы кого не утрудить, не помешать молодым, как бы добраться до могилы неслышнее да небеспокойнее для других.

Помню руки Марии — две плоские палочки, увитые голубой вязью вен. Я боялась за них, мне казалось, она упадет, поскользнется ненароком и переломает их, а это для старого человека конец. Но нет! Мария и' поскользывалась, и падала, и таскала авоськи — вены только гуще синели, а она улыбалась, всегда веселая, с вечной приговоркой: «Лико, девки!»

«Лико, девки, солнышко раскраснелось!», «Лико, девки, небушко-то баское!», «Лико, дождына пропустил, акиян!»

Мне бы, мне бы такого жизнелюбия, как у Марии! Тяжко без нее. Голо без моей спасительницы, доброго ангела, бескорыстной души. Приткнуться бы сейчас к ней, к иссохшей ее груди, завять во весь голос, вернуться до доньшка, отдать ей половину своей беды, глядишь, найдет она такое словечко, какого ты для себя не знаешь, погладит, как малую, по щеке, не успокоит, а вздохнет враз с тобой, и если не облегчение подступит — какое тут облегчение! — то, может, смирение найдет, покорность неведомой воле, решившей так, как решено, ведь без смирения и покорства тягостно быть.

Когда впереди тебя есть в жизни близкий человек постарше, ты чувствуешь себя защищенным, укрытым от беды, а не стало его, и сознаешь: следующий — ты, могильная сырость дохнула в лицо, нечем тебе укрыться и защититься, дальше по миру иди сам, шествуй под всеми ветрами, покуда хватит сил.

И нету впереди тебя Марии!..

Саша переболел, кажется, всем, что положено и не

положено детям: скарлатиной, корью, дифтерией, воспалением легких, еще и двусторонним, — детский сад щедро одаривал его болячками, а неутомимая Мария спасала теплом маленькой квартирке, снадобьями и собственной щедрой душой.

Я? Я страдала вместе с детьми, вдвойне страдала, что днем вдали от них, на работе, и Марии одной достается — как матери или бабушке.

Она единственная знала мою тайну — ей я могла доверить все, — и, думаю, именно за нее любила меня и жалела:

— Лико, девка, ить ты прямо пресвятая дева богородица!

Я смеялась, махала рукой.

— А чо! — смеялась Мария. — Та ведь бога-то родила, как и ты, от непорочного зачатия. Лико, девка, это большая редкость ныне, чтоб мать была нерожалая!

Нерожалая мать — вот ведь какое выдумала моя благодетельница!

Итак, Саша окончил на тройки и стал по распределению учителем в школе, зато наша отличница осталась вообще без работы — свободный диплом, в испанистах город не нуждался. Удар получился двойной, основательный, и хотя все мы готовились к подобному варианту, Ирина растерялась.

Еще прежде я вслух удивлялась ее выбору — зачем, почему непременно испанский? В школах нашего города его тогда не учили, три или четыре университетские испанистки смахивали на белых ворон, судорожно держались за свои места, боялись всего, даже ходили как-то особняком, всегда кучкой — жалкие на вид, никому не нужные, неизвестно для чего существующие. Несколько раз возникали слухи, что испанскую группу прихлопнут, но ее почему-то не прихлопывали. С Испанией в ту пору у нас отношений не было, а Латинская Америка казалась неправдоподобно далекой, и если уж потребуется малое число знатоков, то не из нашего же университета, а из Москвы и Ленинграда. Так что Иринин трактор увяз в непроходимом болоте.

Не подумайте, что это могло радовать меня. В конце концов, помимо всяких эмоций, я ожидала от молодых реальной поддержки — пусть небольших, но заработ-

ков и, таким образом, улучшения жизни. Я не нуждалась в их деньгах, нет, но если бы молодожены сумели обеспечить себя, всем остальным стало бы, конечно жэ, легче. Нет худа без добра, и Сашины плюзии о научной работе сменились реальной сотней в семейном бюджете, так что я немного вздохнула, тут же сделав Марии первый в жизни серьезный подарок — синее шерстяное платье. Хоть как-то должна я ее отблагодарить?

— Лико, девка, как молодуха! — посмеивалась Мария в обнове перед большим зеркалом, поворачивалась и так и этак, взглядывала при этом на мрачную Ирину и вдруг преподала мне крепкий урок. Скинула обнову, подступила в одной сорочке к моей невестке и протянула ей платье:

— Возьми-и! Куда мне, старухе-то! Мое приданое припасено в узелке, на квартире, а ты, Соня, не серчай, мать-то Ирины перешьет, и будет платьишко не старушечьим, а девичьим.

Ирина вспыхнула, наотрез отказалась, посмотрела на меня, на Марию, ушла в свою комнату, то ли растерявшись, то ли обидевшись, я тоже не знала, как себя вести, но дело кончилось тем, чего добивалась Мария, и невестка щеголяла потом в хорошо подогнанном, припаленном платье по последней моде, когда хотела выглядеть особенно строгой и скромной.

Мария, душа дорогая! Хотела склеить старуха нашу семейную чашку, когда та только трещинами разошлась, надеялась, верила в хорошее. Надеется человек всегда, что и говорить. Даже когда ни на что не надеется. А дунь в остывшую душу, и заалеет, засветится последний уголек, кинь хворосту — разгорится.

Я часто думала: может, сама во всем виновата? Не зря даже слово-то — свекровь — какое-то страшноватое, жестокое, без добра, выбрал же кто-то когда-то из всех русских слов именно это. Что ж, признавать ошибки легче всего в мудрой зрелости. Юность и старость их принимают трудней — сперва, пожалуй, из-за нехватки опыта, а потом из-за его избытка, и теперь я неуступчивей, чем в ту пору, когда Саша и Ирина начинали жить.

Но в том-то и дело — я поняла ее сразу. Потом старалась, изо всех сил старалась не верить себе, убедить себя, что ошибаюсь, что нужно терпеливо строить мостик к невестке, — ведь я же хочу счастья сыну! — что

человек не рождается негодяем, а если тронут какой-то ржой, ее можно отчистить любовью, лаской, пониманием, но время двигалось, возникали новые обстоятельства, и, обдумывая их, я всякий раз уверялась снова и снова: первое впечатление самое верное. Оно ключ ко всему.

После распределения я подняла на ноги всех знакомых, чтобы устроить Ирину по специальности, но это было выше возможностей целого города. Единственный вариант, сказал мне, улыбаясь, проректор по учебной части, выгнать одну из испанисток и взять Ирину, кстати, это возможно — она отличница, молода, красива, а молодость — бесспорное преимущество перед старостью. Не знаю, чего больше было в этом ответе — искренности или иронии, естественно, я поняла, что последнего, и, вернувшись домой, обняв Ирину, иронию эту постаралась ей передать. Меньше всего я хотела ее обидеть, мне и в голову прийти не могло, что она все примет всерьез и потом припомнит, накануне отъезда в Москву, — припомнит со слезами и злобой.

А я-то старалась утешить ее этой фразой, дескать, ты достойна преподавать в университете, едва успев его окончить, если подумать, то это в конце концов возможная перспектива, а сейчас там есть испанистки, дрожащие за свою судьбу, с опытом и стажем. Ты, конечно, красивее, но ведь нельзя же — они твои учителя! Вот есть место в городской библиотеке, там иностранный отдел, вначале, правда, придется поработать на абонементе, это хлопотно, но какое-то время спустя...

Мы стояли у окна в их комнате, я гладила Ирину по пепельным кудряшкам, жалела ее за слезы, которые застыли на ресницах, она не казалась мне больше куклой, а только ребенком, обиженным несбывшимися мечтами.

Платочком она аккуратно промокнула слезы и сообщила мне, что найдет работу сама.

Ровно месяц потребовался ее упорству, чтобы подать трактор своей судьбы назад из болота, на сухую и ровную местность, и свернуть в объезд.

Это был месяц интенсивного использования гардероба. Ирина даже похудела. Утром она надевала одно платье и, не говоря никому ни слова, исчезала до полудня. Потом возвращалась на час домой и пропадала опять — уже в другом наряде. Я работала и, ясное дело,

могла видеть не все — лишь часть. Но и этой части мне доставало, чтобы догадаться: Ирина не просто переодевается, она меняет маски, подбирает их к ситуации, месту, людям.

В голубом платье с рожками коротких, с трудом заплетенных косичек, она походила на наивную и невинную школьницу. В цветастом миди — на молодую даму полусвета, неопределенных намерений, — то ли замуж собралась, то ли на вечеринку, — которые падутся у ВТО или местного Дома кино. Сдержанный коричневый костюм, приглаженные кудряшки, едва тронутые помадой губы и летние, но не вполне темные очки придавали ей вид скромной интеллектуалки из достойной семьи.

Бедняжке, видно, нелегко приходилось. Заставая ее возвращения, я перехватывала во взгляде невестки растерянность, неловкость, неуверенность. А вечерами еще приставал Сашка — прямо за ужином, при всех, допытывался, где она была, куда так наряжалась. Ирина косилась в мою сторону, считая, что про наряды ябедничаю сыну я, но она ошибалась. Требовалось не так уж много наблюдательности, чтобы выяснить, какие именно платья она меняла за день — все они были на виду, на спинках стульев, на кровати. Я не могу сказать, что Ирина неряшлива, напротив, все висело очень аккуратно, но как бы наготове.

К концу месяца ее растерянность достигла предельной точки.

Она посматривала на меня как-то по-другому. Казалось, вот-вот и попросит о чем-то. Или что-то скажет — то, чего жду я.

Ирина часто задумывалась в те дни, совсем как мой Саша, и я уж прикидывала, чтобы вновь сказать ей про библиотеку. Но однажды утром она появилась в красном костюме. Никогда прежде не надевала его, и я даже ахнула от возмущения.

Мини-юбка открывала аппетитные колени, вырез пиджачка делал доступными взгляду иные прелести. Костюм едва граничил с приличием, и вид у Ирины, распушившей кудряшки, был вызывающим.

Я едва сдержалась, чтоб не взорваться, и она, кожей почувствовав это, мгновенно исчезла. Последний козырь, что ли, еще подумала я. И попала в точку.

Вечером, вернувшись со смены, я была оглушена сен-

сацией. Кокетливо улыбаясь, Ирина восторженно сообщила, что принята... секретаршей к директору огромного завода. Это был известный человек в городе, его знали все, от мала до велика, — Герой, депутат, доктор технических наук. Как сказала Ирина, он лично объяснил ей круг ее обязанностей, переименовал должность из «секретаря» в «референты», утвердил оклад в сто двадцать рублей, но там есть премиальные, да еще надбавка за язык. Меня так и подмывало ехидно спросить: а не предлагал ли почаще надевать красный костюм? Я сдержалась, но Ирина, кажется, услышала мою невысказанную реплику. Женщина, видно, способна понимать антагонистку за полверсты, из воздуха улавливать ее соображения. Впрочем, может, это вообще в женской природе — умение переноситься из одной оболочки в другую и видеть себя глазами иной, если даже такая — твой враг.

И я и Саша были потрясены. Пять лет осваивать испанский язык и литературу, чтобы стать секретаршей директора, да еще с неприкрытой радостью?! Восторгом?!

Самое мудрое для меня — удалиться к своим делам, пусть Александр, коли он муж, справится у собственной подруги, что к чему.

Они немедленно собрались и ушли в кино.

Мария в тот вечер не ночевала у нас, Аля, как всегда, бессознательно улыбалась, и я провздыхала в одиночестве до позднего часа.

Все, что происходит с людьми, случается с ними из-за них же самих. Из-за их характеров. Во всяком случае, мой Саша всегда пожинал плоды собственного характера. И, значит, моего воспитания?

Дня, кажется, через два, под вечер, когда Ирина еще была на работе, я вызвала сына на откровенный разговор и просто ахнула. Его, оказывается, уже совершенно не волновала должность жены — каждый выбирает то, что ему нравится. В конце концов она получает больше, чем он, дипломированный специалист. И, наконец, фаталистское: все образуется.

Он безмятежно улыбался, недавнее недовольство поросло быльем, а будущее — оно для Саши всегда было слишком далеким, чтобы задумываться о нем всерьез.



— Ты знаешь, ма, — проговорил он, потягиваясь, точно ленивый кот, — с кем она меня сравнила? — И в следующий миг я вздрогнула: так сходились мои мысли об Ирине с ее собственными представлениями.

— С тракторной тележкой.

— Что-о?

— Ты, говорит, ни о чем не думай. Ты тракторная тележка, а я трактор, раз уж судьбе угодно так распорядиться. Куда еду я, туда двигайся и ты, сильно не вдавайся, потом поймешь.

— Вот как?

— Доедем, говорит, до нужной точки, ты не волнуйся, может, и до Испании доберемся.

Я слушала потрясенная. Итак, она трактор. Только вот в какую сторону он прет?

Многое казалось мне вначале сумасшедшим, бредовым, необдуманном, но, как потом оказалось, я со своим житейским опытом в подметки не годилась моей неопытной красотке. Она почти ничего не умела, кроме испанского, но всегда точно знала, что ей требуется.

А мой беспечный Саша доконал меня в тот вечер, пересказывая Иринины программы:

— Ты, говорит, безвольный человек и слишком легко отказался от собственной мечты — работать в институте. Но ничего, не волнуйся, я этого добьюсь.

Нет, непросто понять мою невестку, ой как непросто.

А она оживилась, расцвела. Точно добила желанного. Щебетала, как малиновка, носила с завода дефицитные продукты, после нескольких опозданий возвращалась тютельница в тютельница, чтобы, верно, у подозрительной свекрови не могло возникнуть ни капельки неприличностей, а на ходу целовала Алю, и телега наша покатила дальше. Сердце мое хоть и не успокоилось, но отошло.

Сперва я не очень-то прислушивалась к Ирининым рассказам про работу. Она восторгалась директором, его высоким полетом, доброжелательностью к ней и строгостью к другим, поражалась его способностям, власти, могуществу, неограниченным возможностям не только на заводе, но и в городе.

Ее трескотня не оставляла во мне заметных следов,

но, видно, все-таки сознание можно сравнить с чайным ситечком: большие чайники застревают в нем. Такой была и я.

Во мне постепенно осели Иринины сообщения о ее служебных, по телефону, конечно, знакомствах. Она без конца соединяет директора с начальником главка в Москве и заместителем министра. Ее голос узнает заведующий отделом обкома партии. Секретаря горкома комсомола она называла просто Васей. Про завод же и говорить нечего, начальники цехов старались дружить с ней, заместители директора справлялись у Иры о настроении начальника. Так-то вот. Невестка становилась серьезной фигурой городского масштаба.

Чтобы проверить себя, я рассказала все эти новости подружкам на работе. Был тихий час, лекции, нам никто не мешал, и я рискнула попробовать. В конце концов моим наблюдениям требовалась сторонняя оценка.

Реакция получилась такая.

Лиза фыркнула и сказала:

— Стоило пять лет учиться! Никакой гордости!

Тоня не согласилась:

— Гордостью сыт не будешь. И если уж думать о куске, то она правильно поступает. Не то что мы — в две смены, без конца-краю, и так до бесконечности.

Агаша пожалела меня:

— Вы не печальтесь, все образуется, она девица с характером, своего не упустит.

Обсуждая тему по второму кругу, Лиза ее поддерживала:

— Не может быть, чтоб это конечная цель. Тут что-то другое.

Что?

Сама дитя обстоятельств, я и не думала в ту пору, что есть люди, способные выстроить свою судьбу по четкой схеме. Если от схемы не отступать, будет все, что требуется. Для этого нужно одно. Воля. Саша ею не владел. Ирина — в избытке.

Первая ее философическая установка касалась директора — Героя, депутата, доктора. Однажды за столом — свои мировоззренческие вехи она всегда забывала за столом, вероятно, чтоб не было кривотолков, а кое у кого исчез аппетит, — Ирина сказала, что если уж жить на этом свете, то только так, как директор.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Саша.

— Он дышит полной грудью, понимаешь? — ответила она. — Сгорает. Он, наверное, скоро умрет, но ему не жалко себя.

— Ха, кому это не жалко себя? — возразил Саша.

— Ну хотя бы мне! — воскликнула возмущенно Ирина. — Если жить, как он, не жалко. Коротко, но ярко. Быстро добиться всего любой ценой. Даже ценой жизни.

— Это уже было, — вкрадчиво вмешалась я. — Доктор Фаустус.

— Если уж обращаться к Гёте, — терпеливо повернулась ко мне Ирина, деликатно обливая меня холодной водой, — то есть и другие примеры. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

Парировала деликатно, учитывая мою профессию — на, мол, тебе, книжная крыса. Я умолкла. А Сашка даже не понял, как осаждали его мать.

— Только насчет любой цены, — пробормотал он, — не слишком?

— Нет! — воскликнула она, и светлые ее глаза сделались белыми.

«И мать родную?» — хотелось проворчать мне. Про мужа и думать нечего.

— Именно любой, — воскликнула она, бросая вилку, — начнешь уступать, ничего не добьешься.

Теперь она взидала на Сашку с осмысленной требовательностью. Но сынок мой ничего не чуял, уплетая котлеты с макаронами. Всякий взгляд любимой жены был для него влюбленным взглядом.

Минула моросная осень, очищающими метелями пронеслась зима, голубым, без единой морщинки, шелком распахнулось мартовское небо.

Ирина все чаще надевала красный костюм, а однажды, когда я подходила к нашему дому, у подъезда резко затормозил черный автомобиль. Хлопнула дверца, из машины, точно из клетки, выпорхнула наша птичка и едва не столкнулась со мной.

Машина фыркнула, мы молча вошли в дом. Лифт, на счастье, не работал, пришлось подниматься пешком. Молча мы тронулись в путь.

Меня колотило! Саша ждет ее дома, а она, она... Дрянь, дрянь, единственное это слово крутилось в голове, готовое сорваться. Еще немного, и я бы не сдер-

жалась, устроила скандал, слава богу, что сломался лифт и кто-то подарил мне несколько тягучих минут.

Неожиданно Ирина взяла меня за локоть и повернула к себе.

— Наберитесь терпения выслушать меня! — Ледяной голос и слова, произнесенные без просьбы, но с требованием, чуточку остудили меня. — Прошу! — проговорила она с той же интонацией. «Ну, пусть скажет!» — подумала я, не смягчившись и не простив ее, а только повернув голову.

Дальше она говорила проще и естественнее.

— Костюм? Если хотите, да! Знаменитому мужику, выходящему в тираж как мужику, приятно взглянуть на молодое тело! Цинизм? Пошлость? Ни чуточки! Победа молодости над старостью. Глядя на меня, он как бы смотрит на часы. Проверяет по ним, сколько ему осталось. Но — запомните! — только смотрит. Далее. Когда-то и я буду старухой. Мое время тоже пройдет. Когда стану старой, мне такой костюм уже не надеть. Нечем станет гордиться. Наконец, профессиональное. Секретарша должна нравиться, вызывать симпатию. Но у этой секретарши высшее образование. Испанский язык. Оставь надежду всяк, сюда входящий. Неужели вы еще не поняли, что я стараюсь не для них, а для себя, для вашего сына, а значит, для вас? Поздно? Сегодня приехала комиссия из министерства. Я задержалась впервые за полгода. Машина? Элементарная вежливость вполне милого и очень благородного человека.

Она умолкла, переводя дыхание, и вдруг выпалила мне в лицо, точно я экзаменую ее:

— Все?

Я молчала, не зная, что ответить. Неожиданно Ирина совсем спокойно усмехнулась, будто ее горячая речь не имела никакого отношения к ней.

— Голубушка, Софья Сергеевна, да я просто использую симпатии ко мне в мирных целях.

Она чмокнула меня в щеку, подхватила под руку и потащила к нашей двери. Мы вошли в квартиру, точно неразлучные подруги. Так казалось со стороны. По крайней мере, Саше. Он увидел нас, заулыбался, даже забыл спросить жену, где она задержалась, простая душа.

В тот вечер у Али опять случился припадок.

Она упала на пол, глаза закатились под лоб, на гу-

бах вскипала пена. Зловещая сила шибала мою бедную девочку об углы, сжимала в комок, растягивала дугой, припадок затягивался, требовалась больница, но никто не мог помочь ей — ни больница, ни мать, никто, никогда. Клеймо безнадежности отпечаталось на ее ничего не понимающем лице. Я старалась держаться. Мария только что, как назло, ушла домой. В какую-то минуту, на мгновение, Аля утихла. Я бессмысленным взглядом обвела комнату — Ирина стояла у стенки, прижавшись к ней, и, наверное, мой безумный, как у Али, взгляд напугал ее. Она вжалась в стенку и прошептала с отчаянной решимостью.

— Что-то надо делать!

Я думала, она про Алечку. Но это было не так.

Тот памятный Алин припадок пришелся на март. А первого апреля Ирина опять поразила меня.

— Нам дают квартиру, — сказала она за ужином довольно равнодушно.

— Такими вещами не шутят даже первого апреля, — улыбнулась я.

— Я не шучу. Если хотите, можем подъехать и взглянуть, нас ждут.

Саша подпрыгнул на стуле, подскочил к Ирине, по моему, пребольно обнял ее, воскликнул восторженно:

— Ну, пробойная баба!

Сын расплывался в улыбке, ликовал, и я не осуждала его радости: что ж, они взрослые люди, пора. Но Ирина-то, Ирина! С жильем, что ни говори, туго, а они только начинают, невестка служит всего полгода, и вот — на тебе. Выходит, телефонные знакомства, красный костюм, использование обаяния в мирных целях дали свой стремительный результат?

Она могла ликовать, имела полное право, но правом своим не пользовалась. Наоборот, в ее глазах отражалась какая-то борьба. Может, она совестится, подумала я, оттеснила кого-то из очередников, используя расположение начальства, а теперь мается.

Если бы!

После ужина мы взяли такси и вышли на городской окраине.

Весна выпала ранняя, земля сверкала жемчугами лужиц, на дороге веселился воробыный табор, и на-

строение у меня, пока мы добирались сюда, поднялось. Может, тайно, не признаваясь себе, я ждала освобождения от Ирины? Не знаю. Мне нравился многоглазый белый домина, возле которого мы высадились, я думала о том, что вдвоем — это все-таки вдвоем, и пусть-ка они живут своей семьей. Саша умеет приспосабливаться к сильным, и все у них пойдет как надо.

Ирина сбегала в подвал, вернулась с ключом, подняла его над головой — все такая же замороженная: и улыбается, а не рада. Мы поднялись пешком на какой-то там высокий этаж, открыли дверь, вошли в квартиру.

Просторная комната, оклеенная розовыми обоями, в лучах закатного солнца казалась райски торжественной, теплой и уютной. Тут будет хорошо вечерами, покойно и ласково с любимым человеком — ах, как хотела бы я покоя и ласки в такой вот тихой комнате, чтобы можно было молчать, смотреть за окно, в медный солнечный зрачок, уходящий за веко горизонта, и молчать, и долго еще, когда закат сменит мрак, в твоих глазах будет мерцать яркое солнечное пятно.

Я встрепенулась, молодых в комнате не было, и я побрела на кухню.

Они стояли, прижавшись друг к другу, и испуганно смотрели на меня.

— Мне очень нравится, — сказала я, не обратив внимания на их взгляды.

— Ма, — проговорил сын, выпуская Ирину из объятий, — мы решили отказаться.

— Вот как? — поразилась я. — Почему?

— Нам нужно больше, — проговорил он смущенно.

— Пока, пожалуй, хватит, — удивилась я, переводя взгляд на Ирину.

Теперь я смотрела на нее, спрашивала ее, только вот отвечала она Сашиним голосом.

— Нам не надо — пока. Нам надо сразу, — сказал сын.

— Как же это сделать? — усмехнулась я. И оглохла — просто оглохла.

— Мы решили завести ребенка.

Пожалуй, я была рыбой, выброшенной на песок. Разевала рот, глотала воздух и не могла вымолвить звука. Завести! Ребенка!

Сколько жестких фраз, обидных обвинений хотелось мне выкрикнуть ей в лицо. Детей не заводят, это не ко-

тята! Их дарит судьба, и не всегда счастливая, между прочим! Ребенок — это высшее, понимаете ли, высшее, а не лишнее лицо, на которое дают квадратные метры!

С трудом я осадила себя трезвой мыслью, пришедшей в последний миг. Может, все и не так? Может, они уже ждут, а я раскудаhtалась, хоть и молча? Но наивные надежды рассыпались в прах от двух фраз.

— Вы ждете? — спросила я Ирину, и на сей раз ответила она.

— Сегодня нет, — промурлыкала невестка успокоенным, сытым, каким-то кошачьим голосом, — а завтра да!

И столько в этой шуточке слышалось бесстыжей самоуверенности, что я отвернулась, торопясь скрыть боль и слезы.

Бедный Игорек! Он не знал этого, не знал, что появился на свет не как плод любви, а как бытовая необходимость.

Он ушел, многого не поняв юным, еще не склонным к анализу умом, но ощутив — я уверена! — ощутив до самых дальних сердечных глубин собственную ненужность матери и отцу.

Может, я жестока, но разве имею я право быть жалостливой и гуманной сейчас, теперь, после всего, что случилось?

Первоапрельский день оказался границей. Все, что происходило до, касалось лишь меня и сына, и это в худшем случае был обыкновенный стендалевский сюжет: молодой человек — тут девица! — пробивает себе дорогу в жизни. Но в первый день апреля девица замахнулась на святая святых! Сюжет вышел за банальные пределы.

Решалась участь нерожденного человека.

Бога действительно нет, иначе он поразил бы ее в самое сердце, прямо там, на маленькой кухне, в новом, незаселенном доме.

За самый стыдный грех.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Я очнулась от грохота дверных роликов. Наваждение! На пороге купе стояла голоножка в белом платье и протягивала мне поднос с чашкой.

— Поздно, поздно! — пробормотала я, с трудом приходя в себя. — Где ж ты была раньше?

— Попейте чаю, — сказала голоножка, — скоро большая станция, может, вызвать врача?

Боже, это проводница, а я в своем двухместном купе, еду домой, к Але, и, значит, все это правда.

Правда, правда!

— Вы поешьте, — говорит проводница, испуганно разглядывая меня. — Вот печенье, хотите, я принесу что-нибудь из ресторана?

Я мотаю головой, наверное, у меня ужасный вид, но мне все равно, все равно, пусть бы она скорее ушла отсюда и оставила меня, я приму еще одну таблетку, хватит одной, и чай кстати — будет чем запить.

— Голубушка, — говорю я и слышу свой голос приглушенным, откуда-то издали, — вы не волнуйтесь, я просто бесконечно устала, мне надо выспаться, спасибо за чай и, пожалуйста, оставьте меня.

Она отступает к двери, вновь с грохотом откатывает ее, но теперь в другую сторону, и опять все исчезает.

На мгновение проводница стоит в солнечном луче, он просвечивает платье, обрисовывает ладную фигурку, полные ноги, озаряет золотым ореолом светлые волосы.

— Где же ты была раньше, — бормочу я снова, уже громче, и вновь берусь за свою сумочку.

Вот он, мой ридикюльчик, — старинное словечко, вышедшее из употребления, — поношенный, в трещинках, такой же, пожалуй, старый, как я. Милая, милая сумка — мне известна в ней каждая щелочка, каждый уголок, каждая морщинка на коже. Когда-то, уже давно, я относилась к ней как к предмету неодушевленному, но теперь разговариваю с сумкой, спрашиваю ее разные глупости — где тут завалился валидол, коробочка со снотворным, маленькое зеркальце, платок? Но под руку лезет помада, безвкусно розовая, вовсе не старушечья, фи! Я отшвыриваю тюбик с помадой в угол, оттягиваю резину кармашка, где лежат три крохотные, для паспорта, фотокарточки: Женечки, Саши и Игорька.

Лучше бы этого не делать, слезы снова застилают взгляд, и без того мутный от димедрола, я с треском захлопываю ридикюль и бессмысленно разглядываю его.

Нет, не бессмысленно! Как раз в этом, может, и есть главный смысл. Сумочка и старуха. Даже этой малой малости, даже сумочки не потребуется старухе в том



дальнем пути, который соседствует с «нечто». Принимая снотворное, я как бы репетирую предстоящую дорогу, только там не будет воспоминаний. И не понадобится сумочка с димедролом.

Ничего не понадобится.

Тут все равны, никому ничего не понадобится в дорогу, о которой думаю я, только одно — чистая душа, ясная совесть.

Зачем же так бьются люди, изо всех сил стараясь истоптать свою душу? Зачем? Это же совсем нетрудно — сохранить себя, а они стараются сломать. Боже ты мой, зачем?

Я раскрываю сумочку, самое любимое существо после Али. Впрочем, вру. Саша тоже любимый, как бы там ни было. И Женечка, милая моя. И Игорек.

Ждите меня, мои дорогие, скоро, скоро.

Я достаю еще одну таблетку снотворного. Стены купе плывут, наклоняются в сторону, потом переворачиваются и вертятся вокруг незримой оси, и я верчусь в этой карусели под стук вагонных колес...

Проваливаюсь в «нечто».

Сейчас я думаю об Ирине злобно, не могу иначе, но в нашей общей жизни, да и позже я относилась к ней в общем терпимо. Правда, воспоминания о ее поступках равны моему тогдашнему восприятию, но ведь жизнь состоит не из одних поступков. Между ними есть ровная езда, а они как кочки.

В апреле, первого, мы разглядывали ту однокомнатную квартиру, пятого января, как по часам, Ирина родила сына, и через месяц они получили от завода двухкомнатную квартиру, понятное дело, в другом месте, ближе к центру и, значит, ко мне.

Немыслимо жить, каждый час памятуя о иеловких фразах и неприятных разговорах, и я охотно перечеркнула злополучные рассуждения на кухне. Заботы о малыше, покупки чудных детских мелочей — все эти погремушки и ползунки! — ежевечернее таинство купания, в котором я стремилась участвовать как можно чаще — Мария оставалась возле Али каждую ночь, — эти хлопоты над Игорем сблизили нас с Ириной.

Я часто любовалась, как она сидит в материнской простоте, с расстегнутой блузкой, кормит Игорька обиль-

ной, щедрой данью, такая вся естественная, домашняя, совершенно непохожая на себя, — и мне казалось, все позади, теперь начнется иная жизнь, такая, о какой я мечтала для Саши. В доме должно быть равенство, считала я, а если уж соревнование, то не за то, кто умнее, сильнее, настойчивее, а за то, чтобы побольше уступить другому, скорее простить, глубже понять. Конечно, сказывалась моя собственная неопытность. Когда человек сам не имел полноценной семьи, ему домашние отношения представляются по-книжному, идеально и отстают от правды жизни. Я всегда признавала это своим главным недостатком.

Итак, у меня появился Игорек. Не зря утверждают, будто дедовские чувства сильнее отцовских, а бабкины привязанности сильнее материнских. Свои дети возникают, когда ты молода, у тебя работа, и начинается круговорот, сумасшествие, суета, так что даже не замечаешь, как растут твои дети. А став бабкой, женщина уже возмужала и во внуке видит повторение своего материнства, только на другом уровне, более осмысленном, осознанном, а значит, счастливом.

Я любила Игорьку безумно, узнавая в его мордашке черты Саши. Вообще вышел любопытный коктейль, и позже, когда Игорь вытянулся в подростка, лицо его соединило красоту матери и четкие, мужские черты отца, этаким героем — я уверена, девчонки сохли по нему, но он оставался один, никого не подпускал к себе, никому не верил.

Моя любовь к Але, пожалуй, иссушила меня, ибо волей судьбы эта любовь была односторонней, не вызывавшей ответа. Я целовала мою девочку, а она не понимала, что это значит, и плакала, физически став уже вполне взрослой, или смеялась, когда было больно, не понимая, что такое боль.

Я помогала ей одеваться, помогала передвигаться по комнате, мыла вдвоем с Марией, сперва опуская, а потом вынимая ее из ванны и каждую секунду придерживая там. Любовь к Алечке превратилась в терпение и жалость, а маленький пушистый Игорек излучал ответную улыбку, радость при виде своей бабки, ворковал, точно птенец, и как сладки были его первые слюнявые поцелуи и как бессола его чистая слюнка!

Теплый огонек трепетал в моем сердце, невостребованное материнство сладко щемило душу, жертвенность

взрослого, готового раскинуть крыло над теплым комочком близкой жизни, вела меня.

За месяцы, пока Ирина была в отпуске, у нас не возникло ни единого разногласия. К ней приезжала мать, а летом она увезла Игорька к родителям. Я обнимала внука со слезами, жалела его — казалось, комары и мухи заедят его там, — и вышло так, что я плакала, провожая Ирину.

Слава богу, думала я.

Вернувшись, невестка в первый же вечер, прямо при мне стала примерять свои старые платья, показав несколько новых моделей, привезенных от матери. Начала она вкрадчиво, тихо вышла, повозилась, бесшумно появилась в темно-синем, которое я подарила Марии, а та отдала ей. Вид получился строгий, на высоких каблуках Ирина выглядела еще выше, но и как-то тоньше, скромней.

— Что скажете, Софья Сергеевна? — спросила она меня, покрутившись перед зеркалом, посмотрела прямо в глаза.

— Хорошо, — покладисто согласилась я, но сердце снова тревожно сжалось: куда моему Саше такую птицу. Но виду не подала, кивнула: — Сдержанно и элегантно.

Ирина не улыбнулась, будто моя поддержка ее совершенно не интересовала, и словно назло вышла в красном костюме. Ничего не скажешь, она похудела после родов, девическая припухлость исчезла, тело подобралось, стало взрослее и строже, колени остались такими же, зато грудь заметно пополнила и стала еще привлекательней. Передо мной стояла зрелая, полная сил и земных соков женщина, знающая себе цену.

Взор Ирины посветлел, прояснился — он всегда прояснялся, едва она сосредоточивалась на новой цели. И не успел Саша возникнуть после работы в комнате, целуя Игорька, как она сказала:

— Теперь займемся тобой.

Сашка мечтал о школьном отпуске как о манне небесной: два месяца, какое счастье! Планировал рыбалку, поездку в Москву, простое безделье. Бедный, бедный Саша, его так беспечно радовали эти малые малости, что я ночи не спала — ну почему он ни к чему не

стремится, ведь и в школе можно чем-то увлечься, что-то полезное сделать, этим жить... Но он был просто учителем, обыкновенным, рядовым. Наконец-то у него получалось легко, без напряжения, и он довольствовался немногим.

А главное, чего убиваюсь я, если сама всегда и во всем обходилась малым? Что посеешь, то и пожнешь. И кому какое дело, что ты жила в иных обстоятельствах, а сын — совсем в иных! — продолжает твой же характер.

Ирина вышла на работу, отдав Игорька мне, точнее, Марии. Позже пришлось устроить его в детсад, но пока была жива моя благодетельница, внук находился на нашем попечении, был здоров, весел, подружился с Алей. И та, кажется, тоже что-то понимала. Улыбалась, мычала, поднимала, трясла головой, руку в сторону Игорька. С работы Ирина залетала за Игорем, часто на директорской машине, озабоченная, деловая, в багажнике, я знала, авоська с продуктами, и однажды, как сейчас помню, в мае — потому что шли экзамены в школе и Саша был там, — приехала за Игорем вместе с мужем, оживленная, ликующая, разом посвежевшая еще больше.

Они вошли к нам, и с порога Ирина сообщила, что Сашу ждут на новой работе, в физической лаборатории одного профессора, друга ее директора, это он — душка, устроил все, как она просила, и теперь у Александра новые горизонты. Остается поклониться любимой школе, расшаркаться за приют, это — благородное заведение, но ученые там не возникают, физиков-кандидатов школа не создает, адью, арриведерчи и — вперед.

Саша мялся, глядел под ноги, оказывается, в лабораторию требовалось явиться срочно, без всяких промедлений, там кто-то умер, место покойника забронировано по просьбе Героя, депутата, доктора, и у сына срывался вымечтанный двухмесячный отпуск.

— Ты что! — смеялась Ирина. — Рехнулся? Да такое, может, раз в жизни бывает. А мы же с тобой договаривались — любой ценой.

— Это ты говорила, — бурчал Сашка, — я не соглашался.

— Соглашался! — кричала Ирина. — Еще как соглашался! Верно, Софья Сергеевна?

Впервые я подумала: меняется стиль. Раньше мол-

чаливая тракторная настойчивость, теперь атакующая открытость и уверенная прямота. Но что я могла сказать?..

В том-то и дело, что Ирина всегда оказывалась права! Как лучше: с отдельной квартирой или у меня, в маленькой комнатухе? Ответ однозначен. Где лучше Саше, в школе или лаборатории? Прямо скажу, я мечтала не о скромном учителе физики, но не все же сразу.

Бороться с невесткой решительно невозможно — в каждом конкретном случае она права, — и все же бороться было надо, надо. Как? Я не знала сама. Но, побеждая, всякий раз Ирина становилась откровенней, даже нахальней. После новой победы она набиралась новых сил и уверенности. Все это хитро сплавлялось в ее голове, и возникала убежденность, знание, мировоззрение.

Уже через неделю Саша работал в лаборатории на жалкой должности в девяносто рублей — меньше, чем в школе, — но это вдохновляло Ирину.

— Теперь, — уверяла она его, — тебе следует определить, чем именно ты станешь заниматься. Техниккой? Теорией?

Она прохаживалась по комнате, и от нее нелегко было оторвать глаза: гибкая, как лозинка, твердая, как металлическая струна, уверенная, как генерал в канун сражения.

— В теории ты не силен! Займись-ка техникой, может, твоя правда — в руках.

Как она чуяла моего Сашку! Будто это не сложная личность, а электрическая пробка, накрутил проволоку, ввернул в гнездо и — пожалуйста! — горит.

Александр занялся лабораторной техникой и через год получал двести рублей. Слава о его необыкновенных руках дошла даже до нашей читалки через венгерского студента, который потом стал мужем Лизы: у того в академическом институте были земляки, один практиковался в физической лаборатории, и Сашка как-то там ему крепко помог при опытах, спас диссертацию, по причине чего состоялся дружеский банкет в ресторане.

Профессор на Сашку не мог надышаться, благодарил Ирининогo директора, накидывал сыну какие-то бесконечные премии, и мои молодожены расправили перышки.

Теперь усилия сосредоточивались на сыне.

Он явился в новом костюме роскошного пошива, с полосатым галстуком, в иностранной рубашке, из кармана торчал белый платок.

Законченный образ молодого ученого.

Когда мы в нашей третьей комнате обсуждали эти неожиданные успехи, Агаша сказала:

— Все-таки, я вижу, целуются они тут не напрасно.

Старела Агаша. Юмор начал в ней пробиваться.

Что делать: малыши растут, молодые взрослеют, а мы стареем.

Сашинно стремительное вознесение в горние выси физической лаборатории окончательно утвердило Ирину не только в собственных, но и мужниных глазах и отдалило от меня сына. Еще бы! Выходило, что она, махнув рукой на себя, занялась судьбой дорогого супруга, выпрямила его жизнь, согнутую не без вины матери, окрылила его. И ничего не могла возразить я, снова ничего. Разговоров об этом, конечно, не было, по крайней мере при мне, но идея витала в воздухе, я ее ощущала по Ирининому прищур и сжатым в тонкую полоску губам!

Материнское сердце нечестолюбиво, как не понимала она! Если сыну хорошо, я счастлива, и глупо ревновать к тому, кто помог ему.

Возможно, я преувеличиваю, и прищур, с каким оглядывала меня невестка, означал совсем другое. Как я приму ее следующий ход? Не взбунтуюсь ли против самой мысли? Ведь она знала, что я москвичка, знала, что уехала из Москвы, не знала только одного — почему, и вновь своей кошачьей интуицией просчитывала возможные препятствия. Но она действовала наверняка. Конечную цель укрывало будущее, а более скрытного существа, чем Ирина, невозможно себе представить.

Полно, говорю я себе! Так ли уж она коварна? Такая ли злоумышленница, как кажется тебе сейчас? Человек всегда силен задним умом, любит махать кулаками после драки. Это когда все кончилось, он выстраивает причины и следствия в стройную систему поступков, и жизнь других кажется разыгранной, точно по нотам, на самом деле так не бывает. Но я упорствую: сколько ни сомневайся в себе, так оно и есть. Дело в том, что поступки Ирины тесно сплетены между собой, вытекают один из другого.

Она не бросала испанский ни на час, с упорством

маньяка таскала в сумке нужные книги. Это хорошо, уговаривала я себя, человек не желает плыть по воле обстоятельств, воюет с ними, как может, ты обязана ее поддержать. Кое-что мне удавалось доставать — изредка кубинские журналы, ну а переводы с испанского — от свежих номеров «Иностранки» до новых книг — поставляла невестке немедленно. Она милостиво благодарила, даже порой снисходила до поцелуя, но всякий раз как-то пристально рассматривала мое лицо, видно пытаюсь узнать, понимаю ли я ее стратегические замыслы.

А что могла я понять в таком чистом желании не отставать от испаноязычных новинок?

Итак, она не бросала испанский ни на час, даже в роддом, после появления Игорька, я доставила по ее требованию нужные книги, а пока утрясалась Сашина судьба, накинута на занятия языком с какой-то яростной страстью.

Потом ее глаза вновь посветлели — ею владела новая мысль. Забирая Игорька, однажды сообщила: едет с директором в Москву. Там большое совещание, приглашены иностранцы, может, понадобится ее язык.

Тут она лгала, я поняла это. Зачем-то лгала.

Саша немножко поревновал, скорей в шутку, для разнообразия, чем на самом деле, запретил Ирине брать в Москву красный костюм, она, посмеявшись, согласилась и убыла, а когда вернулась, у них с сыном возникла тайна от меня, и Саша проговорился об этом только два года спустя, в день отъезда.

Заметила ли я хоть какие-то признаки этой тайны? Нет. Ведь мы жили в разных домах и многое теперь ускользало от меня.

А она затеяла обмен. Поездка в Москву требовалась ей, чтобы дать в бюллетень нужное объявление. Двухкомнатную здесь на однокомнатную в Москве, три человека. Кроме Саши, с которого взяли страшную клятву, не знал никто ничего. К тому же на Сашку навалилась новая стихия — женская лесть: с твоими руками, да в столице ты взлетишь — ого-го! — на какую вершину. Дальше только наддай пару. Ирина выучилась отлично обходиться с мужем. Вызнав его характер, ни разу не поругавшись, не споря по пустякам, она управляла всеми его поступками с одной лишь помощью женской хитрости.

Сначала это скрывалось от меня. Но ближе к новой

победе Ирина приоткрылась — побеждала самоуверенность.

— Наш Санечка, дорогая Софья Сергеевна, — говорила она при нем, — просто Эдисон, помните, тот волосок из собственной бороды выдернул, вставил в лампочку, и она загорелась.

Признаться откровенно, я не слыхала таких подробностей, удивленно хмыкала, но сын был готов — расплывался в самой ротозейской улыбке, восхищался собой, действительно чувствовал себя Эдисоном.

Так что после нескольких открытых уроков лести я поняла: Ирочка и здесь достигла блистательных результатов. Саша мечтал о белом коне, на котором он вместе с подругой победителем въедет в златоглавую. Забор, выстроенный из лести и честолюбия, охранял семейную тайну от лишних глаз, цементировал молодых — скачок в Москву предстояло совершать вдвоем, а среди лишних глаз были теперь не только мои, но и геройские, депутатские, докторские. Лесенка использована, квартира получена, можно оттолкнуть ее в сторону, чтоб не мешалась. Так что цена Ирининых восторгов благородным директором оказалась вполне призрачной: вы мне нужны для определенной цели.

Опять я забегаю вперед!

Пока Ирина выплетала свои кружева, я наслаждалась внуком.

К той поре, когда Игоря отняли у меня, он стал обязательным лохматым карапузом, невероятно живым, любознательным, смешливым, шаловливым — настоящий Везувий! Я баловала его, бывшая комната молодых в моей квартире стала его полновластным владением и походила на игрушечный магазин: диван, пол, даже шифоньер были уставлены заводными машинами, медведями, мячами. Мне, грешным делом, казалось, что Игорек любит меня крепче, чем родителей, — там обязанности, взрослые заняты, а у меня, в те часы, когда мы бывали вместе, Игорек не уходил от бабки, а бабка от него. Мы обсуждали разные разности из жизни людей, зверей и машин, я, пользуясь книжными связями, составила настоящую библиотеку, и мы вслух штудировали малышей классик.

В уголке, между батареей отопления и стенкой, я приспособила детский стульчик и кусок медвежьей шкуры, чудом сохранившейся еще от моего детства.



Я усаживала Игорька на стул, сама устраивалась рядом, на шкуре, и мы принимались сочинять биографию бедного Мишки. Как он родился и сперва ничего не понимал, как потом научился ходить и даже плавать, как мама выучила есть ягоду малину прямо с куста, а папа слизывать муравьев. Потом в наших фантазиях Мишка становился взрослым, непослушным сыном, убегал от мамы с папой, и ему нравилась такая беспечная жизнь — можно поваляться среди зеленой поляны на жарком солнышке, сладко почесать сытое брюхо, но вот не было у него друзей, так что когда повалил снег и пришла пора залезать в берлогу, Мишка остался один-одинешенек, лег под дерево, пососал лапу и заплакал от одиночества. Он проснулся от того, что прямо над ухом лаяли собаки, Мишке не понравилось такое нахальство, он выбрался из берлоги, и тут охотник убил его...

Мой Игорек горько заплакал, услышав впервые такую сказку, ему хотелось, чтоб Мишка остался живой, но потом смирился и гладил остаток шкуры, жалея зверя. Я хотела, чтобы он понял, как нехорошо оставаться без родителей и товарищей, а он услышал совсем другое: одиночество. Игорек просил:

— Расскажи, как грустный Мишка сосет лапу.

Слушая, задумывался и прибавлял печальные подробности своими вопросами.

— Он когда спать лег, подушки не было?

— Нет.

Игорек надолго умолкал или принимался за другие дела, катал, скажем, машинку и вдруг опять спрашивал:

— Поговорить ему было не с кем?

— Ты о ком?

— О Мишке.

Мне казалось, Игорь улавливал тончайшие оттенки чувств. Он часто прислушивался, причем не к звукам, а к тишине, звуки меньше всего волновали его, зато тишина... Наверное, она казалась ему таинством, волшебным состоянием мира, понять которое важнее, чем определенные и ясные звуки.

Порой у меня было такое ощущение, что Игорь приблизился к какому-то тайному краю, стоит в метре от него, но дальше подступить не решается и приподнялся на цыпочки, чтоб заглянуть поглубже.

Что он там разглядывал внизу, какие видимые лишь ему глубины?

Еще он был фантазер. Однажды приходит и говорит почему-то:

— Добрый вечер!

— Ты хочешь сказать, вечер?

— Вечер будет позже. А пока вечер!

Ясное дело, детский мир — таинство, недоступное взрослому, и хотя каждый взрослый был ребенком — то ли оттого, что время быстро летит, то ли память человеческая непрочна и быстро забывает путанные закоулки маленькой души, — как далеко порой разбредаемся мы друг от друга, близкие дети и близкие взрослые!

Я вспоминала Сашу. И ужасалась! Ведь он был точно таким же тогда! И заболел неопределенной горячкой. Значит, чувствовал!

Как же можно глупо повторять: несмышлениш, несмышлениш, если несмышлениш, не зная ничего, совершенно осознанию чувствует всем своим маленьким существом пришедшую к нему беду.

Пробегая назад сквозь годы, я захлебывалась от подступавшей тоски, спрашивала, тысячу раз восклицая: ну а сделала ты все, что надо, сделала? Сделала? И стал тот маленький Саша, такой непохожий на своего трехлетнего сына, тем, кем должен стать? Исполнила свою же собственную клятву? Или лишь половину ее? А может, и той нет? Металась между домом и работой, сэкономила рублевки, рвалась между приличной нуждой и откровенной бедностью, купала Алю, а все ли делала для его души! Для того чтобы укрепить эту душу к трудной взрослой жизни!

Нет.

Все сделать выше моей власти, жизнь съедал быт, забота о насущном, — ясно, дальше можно не продолжать, одним словом, одним звуком сказано все, — нет.

Я мчалась назад сквозь время, хватала в охапку Игорька, прижимала к себе легкую частицу живой плоти, такой похожей и совершенно непохожей на Сашу; сжимала его в объятиях, затихала, готовая все, что было в душе, остатки любви своей влить Игорю, внуку. То, что не сумела отдать Саше.

Но тщетно! Я рыдала, забившись в свой медвежий угол, когда не было, конечно, Марии и только два существа — Алечка да Игорь — оставались со мною.

Я плакала от бессилия. От долга, исполненного, но не там, не до конца и вовсе иначе, чем следовало исполнить.

Потом приходила в себя, успокаивалась. Время возвращало меня к Алечке, ее бессознательным, невнятным звукам из соседней комнаты и к Игорьку, моему огоньку.

Он стоял передо мной на цыпочках и точно заглядывал за край моей души: какая там бездна?

Трехлетие Игоря семья сына отметила активными, но тайными перемещениями.

Сначала, снова в командировку, улетела Ирина. Маршрут тот же. Затем она взяла очередной отпуск и опять отбыла в Москву, пробыв там недели три. Потом столицу посетил Саша.

Из поездок они возвращались отчего-то напряженные, молчаливые, и требовалось еще какое-то время, чтобы жизнь вошла в привычное русло. Командировки командировками, тут долго объяснять не требовалось, но поездка Ирины в отпуск меня насторожила. Саша мне говорил: «Она устала, хочет рассеяться», — но я не верила этому. Ирина что-то затевала, ее глаза опять светлели, когда она задумывалась.

Сын пытался успокоить меня, но сам не был спокоен. Что-то мучило его, и, пожалуй, я могла бы добиться истины, особенно в последние дни Ириного отсутствия, когда он тосковал, тревожился, не знал, что думать, — ни единого звонка, ни трехсловной открытки.

Нет, это было выше меня — использовать слабость сына, которую я же и воспитала. Ведь привязчивость — обратная сторона приспособляемости, одного без другого, пожалуй, нет.

Я ни о чем его не спросила. Больше: когда он искал мои глаза, чтобы заговорить первым, я отворачивалась. Не хочу знать, это твое дело, и если ты не решишь сам, никто другой за тебя не решит. Действуй, ты мужчина.

Но тотчас наворачивались слезы, я думала про раскаяние, долг перед Сашей, исполненный не так, как следовало, и мне становилось худо, жалость душила меня, немного — я кинусь к взрослому человеку, прижимая его, как ребенка. Но нет, это и был бы долг, исполненный, как не надо.

Когда Саша съездил в Москву сам, он долго избегал моего взгляда. Или обнимал, пряча голову за моим

плечом, или, напротив, держался вдали — смотрел в сторону, говорил о вещах, которые, он знал, меня совершенно не интересуют.

Только однажды он смутил меня своим вопросом: — Ма, а где жили мы на Пресне?

Я уклонилась от правды:

— Наверное, этот дом снесли.

— Ты ошибаешься, — сказал Александр. — Такой старый-престарый, замызганный дом неподалеку от зоопарка? — спросил он грустно.

Я вся подобралась, от волнения заложило уши.

— Ты был там? С кем-нибудь говорил?

— Нет, — сказал он грустно, и я узнала прежнего Сашу. Тот подолгу задумывался и с трудом приходил в себя, когда его окликали. — Нет, — повторил он медленно. — Просто подошел и просто посмотрел. Издалека.

— Как же ты нашел?

— Я все помню.

Еще немного, и мне бы сделалось худо, но Саша принялся объяснять, как он шел, вспоминая детские прогулки, где и куда поворачивал, и я поняла, что он помнит не все, а только дорогу, все помнить он никак не может, потому что не знает.

Это был эпизод, который привел меня к выводу: Саше не надо ездить в Москву. Еще немного. Старики, помнившие меня, или умерли, или разъехались, еще немного, и там не останется никого, тогда, пожалуйста, пусть едет, а пока...

Пока-то пока, но я не управляла сыном. Им управляла жена.

После Сашиного возвращения у них произошли сильные дебаты. Я сужу по отрывкам фраз и окаменелому лицу Ирины. Происходил внутренний конфликт, подземное землетрясение, тщательно скрываемое от меня.

Саша, как всегда, упирался, а Ирина подталкивала. Однажды его прорвало, но за это он, кажется, удостоился мощнейшей взбучки. Преступен, наверное, был даже лишь слабый намек на тайный замысел.

— Ма, — воскликнул он однажды, едва я вошла, — а как ты считаешь, если Ирина поступит в аспирантуру по своей специальности?

Лица у них пылали, поединок еще не успел остыть, и Ирина топнула каблуком:

— Я не желаю в аспирантуру! Я желаю совсем другого!

Прорвало! И того и другую — на полслова. Я поспешила уйти, вернув им Игорька, и про себя, на всякий случай, стала думать, как быть, если она действительно уедет в аспирантуру. Дело принимало суровый оборот, особенно для Саши, и я совершенно терялась, почему он — за, а она — против. Занавес приоткрылся на долю секунды, и я не успела разглядеть, что происходит на сцене.

А там происходило!

Через пару недель Ирина вновь собралась в Москву. Герой, депутат и доктор снова явил милость в форме отпуска без сохранения содержания. Невестка слетала в родной райцентр, вернулась с охапкой новых туалетов — все менялось, и красный костюм отлетел в небытие, уступив место новым вариантам. Такси заметно осело под тяжестью двух пухлых чемоданов. Итак, вновь гастроли, подумала я, припоминая штурм нашего города, окончившийся полным триумфом. Но ведь это Москва, там таких пруд пруди, даже с языком.

А за четверть часа до такси в грозовой обстановке Иринино царства произошел атмосферный разряд.

Саша заметался среди стульев и чемоданов, воскликнул:

— Прошу тебя, ничего не надо!

Она не ответила.

— Я не хочу! — проговорил по складам Саша.

Ирина повернулась ко мне, обаятельно улыбаясь.

— Объясните наконец, в чем дело? — спросила я.

— Этот Дон Кихот готов зарыть себя в землю! — промурлыкала Ирина совершенно спокойно, не выходя из берегов.

Сомнений не было: штурмовалась серьезная вершина.

Позднее выяснилось: Ирина открыла два фронта.

Один — объявления в бюллетене, основательные связи в бюро обмена — от коробок конфет до дружеских застолий.

Другой, связанный с Сашей, научный. И тут пора вспомнить, что все столичные гости физической лаборатории — от ученых до снабженцев — непременно бывали в доме молодых. Я не придавала этому ровно ника-

кого значения и заблуждалась, потому что потом, приезжая в Москву, Ирина продолжала знакомства, начатые дома, и многого добилась. Молва о золотых Сашиных руках ходила по коридорам солидных НИИ, и кое-где всерьез задумывались, как бы перетащить способного человека в Москву.

Юю Ирина пережимала, хотела взять столицу на абордаж, и судьба свела ее с неким Рыжовым, заместителем директора академического института по административным вопросам.

Рыжов! Дьявол, мефистофель, демон, вынудивший кирпич из шаткой стены, — я никогда не видела его, лишь знала о его существовании и представляла себе тупым рыжим бугаем, отвратительно усеянным веснушками — от кончика носа и ушей до рук, увитых рыжим пухом, — отвратная, мерзкая, грязная личность. Но это потом.

Ничего у Ирины с Рыжовым не вышло. Ничего хорошего.

Зато бюро обмена и дружеские застолья не подвели, Ирина вернулась не одна, а со старичком Захаровым, Василием Матвеевичем, пенсионером.

Василий Матвеевич возвращался в родные места помирать с такой же, как он, старухой женой и пожилой дочерью. Про смерть он рассуждал приветливо и деловито, пояснил, что встречать ее, ясное дело, все едино где, но тут он родился, вырос, и жена тут родилась, только дочь москвичка, но она тоже поговаривала про могилу, да и что ей делать одной-то в этой самой Москве!

Странное дело, седоусый старичок всколыхнул во мне что-то, оборотил мой взгляд к вечным истинам, до которых и мне недалеко, а я вот все страдаю, мечусь, живу делами сына и его семьи, суетно переживаю что-то.

Василия Матвеевича Ирина встретила уважительно, квартира ему понравилась, и обратно в Москву убыли уже втроем — гость, Саша и Ирина. С собой везли кучу бумаг, но, чтобы въехать в Москву, требовалась одна паиважнейшая — приглашение на работу от какого-нибудь учреждения или завода. Саша ехал на поклон к великому Рыжову, еще ничего не зная.

Вернулись ликующие. И Саша переменился. Драгоценную бумагу Рыжов раздобыл, сына приглашали

в замечательный институт, и хотя зарплата была поменьше, чем здесь, все это лишь временно, пока и с перспективами самыми невероятными.

Устроили домашний утреник: шампанское, праздничный обед. Из гостей одна я: и то — пора объяснить. Меня задевал пустяк: зачем таиться? Чем я могла помешать осуществлению Ирининых планов? Неужели я заслужила, и так далее и в том же роде — обычный женский вздор. Но я дала себе слово: ни звука об этом.

Тогда о чем же?

Я хотела, всем сердцем хотела попросить: оставьте мне Игорька! Но это было чувство, любовь, а к царству Ирины лишь одна эта мерка неприлагаема. Требовался разум. А разумом я знала, Игорь должен уехать с ними. Что там ни говори, он общий их знаменатель. Я промолчала.

Говорили о пустяках. Как здорово, что Саша станет сотрудником столичного института, как сложно было бегать по бесконечным коридорам бесчисленных ведомств, как трудно разобраться в запутанной системе обмена и сколько желающих завладеть Москвой, оказывается.

— А как твой директор, Ирочка? — спросила я между прочим. — Наверное, помогал?

— Пока ничего не знает! — воскликнула она и фыркнула. — Вот расстроится, дурень!

Как! Она же боготворила его, искренне верила, что если жить, то только так, как он, — полной грудью. И вот — дурень.

— Но это странно, — пробормотала я. — Он так тебе помогал, сначала квартира, потом физическая лаборатория. Это же неудобно.

— Неудобно! — воскликнула Ирина, и лицо ее напряглось, стало некрасивым, злым. — А мне с моим испанским удобно было обслуживать его четыре года!

— Обслуживать? Что это значит? — насторожился Саша.

— Ровным счетом ничего, дурачок! Наш Герой, депутат и доктор лишь взирал на меня, обволакивал взглядами, он, видите ли, нравственник, так что успокойся. Еще неизвестно, кто кому делал одолжение. А квартира, лаборатория — все это нам полагалось!

За столом сделалось тихо, Саша сидел понутив голову, молчала и я, чтобы, упаси бог, нечаянно не обо-

стрить разговор. Но Ирина разгорячилась. Теперь-то я понимаю: уже тогда ей требовались публичные доказательства своей правоты. Самое главное она утаивала, понятное дело, но, дабы очистить совесть, утверждала все остальное. Цензурное. И этот утренник требовался ей, чтобы выговориться, расставить все ударения в ее молчаливых, но упорно-сосредоточенных поступках. Ей требовался не диалог со мной, а монолог. Но монолог передо мной... Может, еще перед мужем? Вероятно.

— Поменять квартиру мы имеем полное право. Соизволения директора не требуется, мы взрослые люди, решаем сами.

Ее фразы повисали в пустоте, и это бесило ее.

— Моральный долг? Я не подписывала никаких обязательств.

Тишина.

— Почему вы, Софья Сергеевна, все о других, о других? А когда обо мне? Ведь я работаю не по специальности. Целый город, как утверждали вы, не мог мне дать моей работы. Значит, я беру ее сама!

Молчание.

— Вы согласны восхищаться своим сыном, его способностями, а эти способности раскрыла я. Не скрою — для себя. Но Саше от этого не хуже, напротив.

Пауза.

— Я добилась квартиры, непременно двухкомнатной — для себя, конечно же! Но разве от этого хуже вам? Саше? Однокомнатную на Москву не поменяешь!

Вот откуда все идет!

— Для этого требовался ребенок, да! Игорьку хуже оттого, что он есть на белом свете, в конце-то концов? И потом, это я родила его, я, в муках и боли, его мать.

Меня встряхнуло: что это она? Просто такая фраза?

— Я всех поддерживала — не праздной болтовней и пустопорожними пожеланиями, а делом, поступком, понимаете, по-ступ-ком! Я вела себя как мужчина в отличие от дорогого муженька.

Саша дернулся, пытаясь обидеться, но Ирина ласково и властно погладила его по плечу.

— Я не болтала, а делала, вот моя беда, женщине полагается быть свистушкой, болтушкой, растратчицей мужнинных заработков, а у нас все было не так, дорогая Софья Сергеевна, и вы не можете этого отрицать. Квартира, Саша, Игорь, а теперь Москва — все я. Одна я. Я — не благодаря, а вопреки всем.



Она вздохнула, скидывая остатки долголетнего груза.

— И запомните, дорогая свекровь, я никому ничего не должна. Делать то, что я делала, меня заставила жизнь! И вы! Но я вам благодарна за это.

— Объясни, — попросила я, и тут она позволила себе слезы.

— Помните, — утирая щеки, но не теряя самообладания, сказала она, — проректор предлагал вам уволить одну из испанисток и взять меня? Вы пожалели. Но не меня, кого-то из них. Я могла бы четыре года заниматься любимым делом! Но вы не захотели! Подумаешь, они учили меня! Я же лучше их. Но вы представили мне четыре стороны света. И уж что выбрала я — мое дело! Понятно?

Она сорвалась на крик, на истерику, я видела ее такой в первый и последний раз.

Незадолго до отъезда молодых умерла Мария. Если смерть может быть счастливой, то Мария умерла именно так. Не болела, не страдала. Накануне сидела с Алей, когда я вернулась, мы снова поговорили про отъезд.

— Не дай бог, я помру, как останесся, девка? — сказала она, ушла ночевать к себе, а утром не явилась. Я побежала к Марии, дверь была на запоре, пришлось искать слесаря, доказывать, что я не чужая и Мария никуда не могла уйти по своим делам, все ее дела известны мне до вздоха.

Тревога, боль, ощущение беды подгоняли меня. Провозились долго, без домоуправления не обошлось, а у меня ведь Алечка одна осталась, без присмотра. И когда дверь взломали, я увидела благодетельницу свою прибранной, в чистой, с непроглаженными сгибами сорочке, аккуратно сцепившей руки поверх одеяла, будто заранее приготовилась и спокойно совершила последнее свое дело.

Я сбегала к автомату, позвонила Ирине и Саше, рассказала про Алю, попросила поехать к ней и вызвать к Марии машину, потом вернулась. Свидетели ушли за милицией — так полагалось, когда умирал одинокий человек; я осталась одна, и мне сделалось не по себе. Чаще всего Мария была у нас, но и я заходила к ней, и что-то вдруг почудилось мне не на месте в ее комнате.

Я обошла квартирку, осмотрела все углы — обычно. Вновь присела на стул, задумалась. Полжизни знала я Марию, полжизни, и как-то уж очень легко распрощалась она со мной — пошутила, ушла и исчезла. Столько лет вместе, и вот ее больше нету. Нету Марии, никогда не вернется.

Пошли за милицией, одинокий человек, так положено, а мои слова, что мы близкие, не в расчет, не полагается, но как же не полагается, если наше родство покрепче кровного?

Полжизни эти, как Марию я знаю, она жила для меня, для Алечки, для Саши, для Игорька. А до меня — для больных в палатах, медсестер, врачей. Чтобы хоть когда-то сказала: мне надо, я хочу, — не помню таких слов. С прибауточкой своей — лико, девка! — тащит авоськи, стирает бельишко, гладит, и все другим, другим, другим, о себе-то вроде как и не обязательно.

Я сидела, задумавшись, вороша недавнее и прошлое, и вдруг будто кто меня толкнул. Я глянула на стенку и увидела часы — настенные часы, главную Марину гордость. Темного дерева с начищенными медными гирьками, они тикали тут всегда, и едва ты входил в комнату, чувствовал: что-то живое стучит, шевелится, живет. Мария мне говаривала про часы:

— Лико, девка, я бы без них как в могиле. Радио го тьме-то молчит, а они завсегда дышут.

Теперь часы стояли. Стрелки указывали на три часа с четвертью, маленькая и минутная почти сомкнулись между собой, но — самое поразительное! — гирька не опустилась, завод не вышел! И три с четвертью означали ночь. Минувшую ночь.

Я встала на цыпочки, подтянула гирю, качнула маятник, он бодро задвигался и вдруг встал.

Часы не хотели идти без Марии.

Это походило на наваждение, и я, материалистка, заведующая читальным залом, не могла принять такое. Вновь открыла стекло, поправила гирьку, подергала цепью, качнула маятник.

Он охотно побежал и опять замер.

Мария хвасталась мне, что часы у нее без отказа, навеки. Меня охватил озноб. Я глупо разглядывала циферблат с римскими цифрами и дрожала — не от страха, от холода, от ледяного мороза, который вдруг сжал меня.

Кто-то положил руку мне на плечо, я вздрогнула, обернулась. Совершенно не слышала, как вошел Саша. Он взял мою ладонь горячими руками, спросил шепотом, вглядываясь в лицо покойницы:

— Отчего ты дрожишь?

— Не знаю.

Мы сидели возле Марии, я смотрела то на нее, то на Сашу и думала об одиночестве. Теперь я одна с Алей, а это финишная прямая. Сын вырос, окреп, у него своя жизнь и свои интересы, и я не имею права ему мешать — задерживать или, того хуже, ехать за ним. Так угодно судьбе.

— Часы встали, — проговорила я, по-прежнему трясясь от озноба.

— Починим, — ответил уверенно Саша, открыл дверцу и сделал то же, что делала я. Часы ответили точно тем же.

— Нельзя, — сказала я, и сын внимательно посмотрел на меня. Я уточнила, вздохнув: — Невозможно.

Ирина умела красиво выворачиваться из любой ситуации. Ее директор не обиделся, а, напротив того, приехал на вокзал.

Осень уже вздыхала холодом, трепетала березовой желтизной, умягчала палой листвой шаги по асфальту. Вечерело, солнце улеглось на горизонт, превратив рельсы в красные полосы. Эта красота отдавала чем-то тревожным.

Еще бы, я расставалась с внуком, расставалась с сыном. Наконец, с невесткой.

И потеряла Марию, навеки рассталась с ней.

Мы стояли у вагона, приехали на вокзал заранее, еще и поезд не подали, будто Ирина боялась опоздать, не верила в свою удачу, считала, что я остановлю Сашу. Утрата как будто объединяет обычных людей, а мы с сыном потеряли Марию, и сейчас он сам уезжал от меня: ничего странного, что Саша стоял, обняв меня за плечи. Я робко поглядывала на Ирину, ждала — она тоже подойдет ко мне, но невестка переминалась с ноги на ногу, каждую секунду одергивала Игорька, который носился напоследок по перрону, и лишь изредка и равнодушно взглядывала на нас.

Он целовал меня то и дело, мой большой, взрослый

сын, вздыхал, повторял банальные и легкие слова о том, чтобы я не огорчалась, он будет часто приезжать, а я стану прилетать к ним, но за этой легкостью мне слышалось раскаяние, не глубокое, правда, не истинное, но все же.

Судьба, похоже, разводила нас основательно — я оставалась вдвоем с Алечкой и ума не могла приложить, как получится дальше. Жизнь, правда, улучшалась, мне прибавили зарплату, да и благодетельница Мария — стыдно признаться — завешала мне вклад на сберкнижке, но разве в одних деньгах дело? Сегодня с Алей сидела Агаша, а уже назавтра выхода не было, и мне предстояло много серьезных решений.

Впрочем, не в этом дело. Как сложится у них там, в Москве? На работе и между собой? Здесь я хоть видела, что с ними происходит, вмешаться не могла, но видеть видела, что-то знала, а теперь это мне недоступно, и сердце ждало маеты, тревоги, бессонных ночей.

Веселой толпой к вагону кинулась молодежь — товарищи Саши и Ирины — кто по университету, кто по работе, и пришлось подтянуться, меня знали, и я не могла портить проводы своим унылым видом.

Схватив за руку Игорька, я ушла с ним на край перрона к желтым, суетливым осинкам, подняла ярко-красный листок, присела на корточки, ближе к внуку: — Держи на память.

Он принял подарок очень серьезно, понюхал лист, аккуратно вложил его в карман. И обнял меня за шею. Будто мы поменялись местами, он взрослый, даже седой человек, а я трехлетняя девочка, и внук обнял девочку за шею, чтобы поцеловать, чтобы проститься. Я заплакала, стискивая зубы, боясь напугать Игорька.

Он отстранился:

— Тебе жалко бабушку Марию? — спросил он.

— Мне жалко тебя, — ответила я, пытаясь улыбнуться.

— Но ведь я живой! — воскликнул он, не понимая. Я снова схватила его в охапку.

— Чего выдумал! — бормотала я, вдыхая, сладостно вдыхая в себя запах синего суконного пальтишка, мальчишечьего пота и еще чего-то бесконечно родного и чистого.

Взявшись за руки, мы вернулись к вагону, там слышался хохот, разливали коньяк в бумажные стаканчи-

ки, провозглашали здравицы в честь новых москвичей Ирины и Александра.

Неожиданно толпа расступилась, и я увидела, как к Ирине движется седой красивый человек в распахнутом плаще — на лацкане пиджака темно-малиновая капля депутатского флага. Впервые я видела директора не по телевизору, он был свежее, чем на экране, и только дрябловатая кожа шеи выдавала немолодые года.

В вытянутой руке, чуточку театрально, он держал роскошный букет поздних роз, протягивал их Ирине, приближался, ничуть не смущаясь, по коридору, который выстроила молодежь, а приблизившись, снял шляпу и поклонился:

— Ирина Андреевна, благодарю за краткий миг, в течение которого вы украсили собою мой, так сказать, предбанник.

Действо, начинавшее быть слишком уж церемонным, обернулось смехом, директору поднесли бумажный стаканчик, он лихо опорожнил его, пожал руку Саши, познакомился со мной и остался возле меня, видно решив, что его место — по возрасту — рядом.

Началась суета, я тискала Игорька, потом обняла Сашу, поцеловала Ирину.

— Постарайтесь понять меня, — шепнула она на прощание, — это не так трудно.

— Постараюсь! — ответила я ей, целуя в лоб. — Будьте дружны! Любите друг друга! Берегите Игорька!

Поезд тронулся тихо, без всякого предупреждения, — а когда-то три раза звонил колокол, — я сначала пошла рядом с вагоном, потом побежала.

— Игорька! — повторяла я им одними губами. — Друг друга!

Они кивали в ответ, соглашаясь, улыбаясь беспечно. Только Игорек плакал, глядя на меня.

Он — единственный.

Жалость унижает, сказал великий. Пусть обсмеют меня просвещенные, только я не согласна: жалость подает надежду.

Я взяла отпуск — очередной и без содержания, — Алю нельзя было оставлять одну, к тому же мне предстояло найти ей сиделку, устроила санитарный час на

книговыдаче, мы закрылись на ключ, усадились за столиком в нашей третьей комнате — и вышло вроде прощания. Роскошный — по заказу — торт, шампанское, сбивчивые речи, поцелуи и слезы...

Я старалась веселить своих девчонок, вспоминала наши привязанности, студенческую любовь, как стучала каблуками, собирая книги, а Лиза ругалась или куковала, Тоня ходила с линейкой, Агаша жаловалась, — и мы смеялись, но тут же наворачивались слезы. Нет, устоять невозможно, это выше сил.

— Да, девочки, — вздохнула я, когда первый вал грусти откатился от нас, — вот так крутишься, стареешь, а потом не можешь вспомнить, зачем жила. — Добрая Агаша всплеснула руками, но я остановила ее, повысив голос: — Деревя не посадила, книгу не написала, только выдавала...

— Зато детей вырастила, разве это мало! — Лиза смотрела негодуя, она уже готовилась замуж за своего венгерского студента, думала о детях.

Мало или много это, вырастить детей? Алечка больна, и я только помогала ей обходиться, существовать, а Саша уехал. Суетилась, билась, и вот, в сущности, одна.

— Кто-то строит дороги, открывает звезды, — сказала задумчиво добрая Агаша, — но кто-то должен и книжки студентам выдавать. Вы зря, Софья Сергеевна, мы вот умрем, а какой-то студент станет дедушкой, вспомнит себя молодым, как влюблялся, и нас заодно — кого с линейкой, кого как. Улыбнется.

— Другой в академики выбьется, — подхватила Тоня, — а ведь академику книжки-то мы подавали, а?

Мы рассмеялись. Утешали меня подружки мои дорогие, утешали, я согласилась, им подыгрывая:

— И то верно, сколько народу вокруг — обыкновенного, незнаменитого. Официантки, проводницы, мы, грешные, все живут себе каждый по-своему, а скажи, будто прожили незаметно, неинтересно, зря — глупо выйдет, не по правде. Правда — она в простоте, в обыкновенности, правда не только в успехе, а и в неудаче тоже, правда — это все, что нами было, лишь бы не стыдно в конце. А какой же стыд обыкновенная жизнь?

Все кивали головой, соглашались, и я заплакала — оттого, что так быстро соглашались, не спорили, не защищали жизнь яркую, заметную, интересную.

Ах, господи! Не от этого плакала я, нет, ведь я теперь одна с Алечкой, и нечего наговаривать на неяркую и неинтересную жизнь — мне было интересно здесь, в библиотеке, я знала, что требуюсь тут, нужна, и это счастье теперь уходило, уходило, вот ведь что. Я одна. И как устроюсь с Алей?..

Домой шла медленно-медленно, петляла по улицам, которые прежде пробегала, не успевая обернуться, разглядывала лепные карнизы старых домов и чувствовала себя школьницей, получившей вечные каникулы.

С Алей в тот день оставалась соседка; едва я вошла, началась падучая, вызвали «скорую», я отвезла дочку в больницу.

Все происходило замедленно, как во сне. Алин припадок я приняла словно посторонняя. Вечером, вернувшись домой, опять поняла, что теперь одна. Абсолютно. Даже без Али.

Я сидела за столом, абажур, висевший над ним, оставил яркий круг в центре стола, мишень. Я не хотела выбираться из круга в пространство комнаты, сидела, вся сжавшись, боясь полумрака, перебирала, как четки, свою жизнь.

Зачем я плыла по течению, не находила, да и не искала сил пойти против судьбы? Выбрать профессию высокого полета, устроить Алю в специнтернат, шагнуть уверенно, сильно, как тот же Иринин директор — не надо званий и почета, — просто исполнить какое-то дело, важное и значительное. А я предпочла жалость, долг, любовь.

Но так ли уж святы эти обязанности, особенно когда требуют жертв — не мелких и легких уступок, совершить которые ничего не стоит, а судеб, жизнью, счастьем!

Кто сказал, что любовь всегда взаимное благо? А может, страдание? Лишение, тяжесть, отказ?

Кто доказал, что долг — всегда радость? А может, слезы, истязание, мука?

И жалость? Кто думает, что пожалеть — ничего не стоит, ни к чему не обязывает?

Ну, ладно, я все о себе, о себе, а если вокруг поглядеть? Что стоит любовь одного, любящего истинно и верно, к другому, кто не знает любви и не знает чести — попирает ее, топчет, унижает неверностью своей, душевным бесстыдством, ничтожеством?

Все говорят — долг, долг. Верно, есть честные люди, ведь честность, в сущности, и есть долг, но ежели из десятиерых пятеро долг понимают лишь как удовольствия собственного пуза, своей мелочной души, чего стоит долг других, честных?

А жалость? Жалость несчастной жены к мужу-пропойце? Жалость без поступка — увидел заброшенного подростка, пожалел, проморгался и пошел дальше — в собственное спокойствие, благополучие, уют?

Может, меньше надо трястись нам, бабам, с этими святыми обязанностями, меньше ахать да причитать и трезвей, по-мужицки, поглядывать на жизнь, обращаться с жизнью. Слабый пол, слабый пол! Да давным-давно никакие мы не слабые. Покруче, пожестче надо бы со святостью, с обязанностями, глядишь, легче бы жилось.

Я встрепенулась: покруче, пожестче? Как Ирина?

Как Ирина...

Реляции из Москвы приходили бодрые. Писали в три руки — вначале сообщение невестки, деловое, наступательное, сделано то-то и так-то, затем уговоры сына: не унывай, мы без тебя скучаем и прочие эмоциональные экзерсисы и, наконец, самое дорогое. Ладошка внука, обведенная карандашом. Или рисунок на листочке, вырванном из тетради: солнышко над домом, а из трубы высовывается пружинка, это дым. Или зверь неизвестного происхождения с синей гривой и узкой мордочкой, похожей на лисью. Или сад в курчавых деревьях. Или прямо по глобусу — должно быть, земля — плывет паром. У меня хранится целая папка с детскими рисунками Игорька, я перебираю их, когда мне тоскливо, и постепенно становлюсь маленькой, испытывая чувство, осознанное однажды — тогда, на вокзале: я стою на корточках перед внуком, а он обнимает меня, как взрослый, с пониманием и грустью...

Ирина устроилась в библиотеку иностранной литературы, купалась в океане испанских первоисточников, читала журналы, следила за латиноамериканскими странами, через год поступила в заочную аспирантуру. Для диссертации выбрала прозу Сервантеса — когда я прочла об этом, невольно вздрогнула, — но не «Дон Кихота», а его рассказы и повести, мало кто знает, что у Мигеля де Сааведры есть что-то еще, кроме «Дон Кихота», но вот, оказывается, есть, и даже заслуживает целой диссертации.



Мне казалось, Ирина пишет о своих испанских делах особенно подробно, чтобы доказать свою правоту. Но разве это требовалось? Поезд, как говорится, ушел, к тому же что может думать мать, если и сын, и его жена добились хорошей работы? Только радоваться.

Правда, у Саши вышла неясная мне заминка. Проработав в знаменитом институте месяца два, он ни с того ни с сего перебрался на новое место. Объяснялось просто — больше денег, хотя и меньше науки, но все же заведение серьезное, «шкатулка», «почтовый ящик», я поняла: что-то связанное с обороной.

Словом, побывать в Москве мне хотелось, и однажды, когда Алю с тяжелым приступом отвезли в больницу, я поговорила с ее врачами, записала номер телефона заведующего отделением и рискнула — схватила чемоданчик, поехала в аэропорт и явилась в Москву без всякого предупреждения и без приглашения.

Впрочем, приглашения были, сыпались в каждом письме, щедрой рукой Саша советовал нанять кого-нибудь Але и немедленно вылететь, все расходы они оплачивают, главное, чтобы я повидала их житье-бытье. Мне и самой страшно хотелось увидеть их московский дом, обнять Игорька, разглядеть сына и Ирину — какие они стали, как живут, все ли по-прежнему или что-нибудь переменялось и в какую сторону — лучшую, худшую...

Хотелось надеяться, только в лучшую, ведь Ирина добилась всего, чего хотела, что же еще?

И вот явилась.

Стояло лето, самое начало, — прошло полтора года, как они уехали, — я рисковала никого не застать дома. Так и вышло. Я оставила чемодан у соседей, поколебавшись, назвалась знакомой, чтоб не сорвать сюрприз, обещала быть к вечеру и вышла на улицу. Район, в котором они жили, был совершенно незнаком мне — лабиринт белых многоэтажных монстров, городской лес, в котором растут одни дома. Я ведь старалась не помнить Москву, оборвать с ней все связи, и вот теперь ничего тут не знала, по крайней мере в новых районах, даже в новых линиях метро могла разобраться лишь после длительных пауз и сильной сосредоточенности — вот тебе и урожденная москвичка.

Долго думать, куда деть себя, я не стала — до первой станции метро, потом до Краснопресненской и там троллейбусом к Ваганьковскому. Цветы продавались всюду, я взяла громадный букет белой сирени.

Сердце раскачалось так, что несколько раз я должна была остановиться и даже сунуть под язык таблетку валидола, а в воротах кладбища меня охватил озноб.

Едва передвигая оледеневшие, негнувшиеся ноги, я прошла центральной аллеей, свернула налево. Где-то здесь, здесь, но все переменялось, стало неузнаваемо — деревья вымахали, кусты разрослись, упрятав памятники. Наконец, изрядно устав, совсем не там, где предполагала, я раздвинула заросли и прочитала знакомое имя.

Женечка!

Под стеклом, вмурованным в камень, желтела выцветшая фотография любимой сестры.

Ах, Женя, Женя! Понятие «любимая сестра» походило на высушенную бабочку — еще красиво, можно повторять без конца, но уже утратило свою изначальность. Каждый новый год относил воспоминания о прошлом все дальше, живые лица, дорогие слова усыхали, превращались сперва в замершие картинки, а потом и картинки выцветали.

Любимая сестра! Любимая сестра! Женечка! Мне приходилось все чаще повторять свои заклинания, чтобы вызвать из темнеющей памяти теплое чувство. Стыдно признаться, но и у Жениной могилы я подстегивала, подгоняла себя, чтобы всплакнуть, чтобы расцветить вновь выцветшие картинки и оживить когда-то дорогие уста. Мозг точно замерз в этот жаркий летний день, и только сердцебиение, частое, как пулеметная очередь, содрогало меня.

Что означало это сердцебиение и этот застывший мозг?

Может, тайное тайных — обиду?

Я помотала головой, положила сирень на могилу, принялась истошно рвать переросшую траву вокруг холмика, стараясь возвратить ему его очертания.

Через час могила обновилась, хотя бы ненадолго, я присела в ногах у сестры. И вспомнила Марию. Здесь, так вроде бы нестати.

Что общего между ними? Одна ушла молодой, устав жить, другая — отжив за многих и за многих исполнив человеческие обязанности. Женя распорядилась собой, думая о себе, и я жалела ее, считая, что она не сумела справиться. А Мария служила кому угодно, только не себе. Милосердие и страдание. В чьей жизни чего больше?

Помилуй, Женя, я не с укором, нет!

Я обтерла рукой ее портрет, поклонилась, прощаясь. Свидимся ли? И прости, коли что не так. Но я старалась. Не спорю, не все получилось, и Саша вышел слабее, чем надо.

Но я старалась. Прощай.

Дверь открыл Саша, он был слегка навеселе, заорал благим матом, подхватил меня так, что кости затрещали, втащил в комнату, закружил посередке и едва не уронил. Игорек хлопал в ладоши, подпрыгивал, повис на моей шее, едва Саша выпустил из объятий, кричал, подражая отцу, во весь голос:

— Бабуля! Бабуля!

Я отстраняла его от себя — разглядеть, какой стал, — прижимала снова и опять разглядывала — подрос, в новом костюмчике, клетчатом, модном, но все такой же пушистый, мягкий шарик, доверчивый и открытый. Разворачивая свертки с покупками — признаться, московскими, — я пугалась его диких восторгов, целовалась то с большим, то с маленьким, и они в конце концов устроили глупое соревнование — кто больше меня поцелует, я едва спаслась, убежала в ванную переодеться с дороги, принять душ.

Ирины не было, я не придавала этому значения, тем более что Саша сразу прояснил: она в библиотеке, трудится над диссертацией. Да, диссертация не шутка, умываясь, я пожалела про себя сына: ученая жена, не фунт изюма, надо ведь соответствовать ей, — и, выйдя из ванной, спросила Александра:

— А ты не думаешь о диссертации?

Он протянул мне руки, подвигал пальцами.

— Руки, ма, руки — мой инструмент. Для диссертации нужна голова.

— Что же, ее нет?

— Есть, но очень обыкновенная! — Он схватил меня за плечи, усадил на диван. — Ну как ты там одна?

— Ничего. Скажи лучше, как ты, сын?

— Я? — спросил он растерянно и стал рыскать взглядом по комнате. — Нормально. Я нормально. Получаю двести двадцать, да Ирина полторы, вот защитится, и заживем.

Он говорил как-то механически, без чувства, без жизни. Радостно сменил тему:

— Квартиру-то ты не видала! Ну-ка пойдем. Игорь, давай экскурсию.

Малыш схватил меня за руку и, видно, не впервые, повел вначале на кухню — «Здесь мы обедаем!» — потом в угол, заваленный игрушками — «Здесь я почую», — потом к дивану — «Здесь смотрю телевизор!». Квартирка была ухоженной, устроенной по образцам с ненашенских картинок, но бедноватой: желания расходились с возможностями.

Около одиннадцати пришла Ирина. Игорек все никак не мог уговориться, вертелся на кровати, услышав звонок, в одной рубашонке бросился в переднюю. Ирина было запричитала, но увидала меня, радостно всплеснула руками. Я разглядывала ее, не могла оторваться: точно сошла с картинки журнала мод — элегантная дама, наряды, которые она надевала когда-то, — прошлый век, совершенно другой, провинциальный класс, настоящее наступило сейчас. Может, торопишься, одернула я себя. Но не могла не любоваться.

Подтянутая, еще больше похудевшая, Ирина и в общении стала другой: спокойной, уверенной, сильной. В одно мгновение она расправилась со своей семьей, — Игорька в постель, и он тотчас, без сопротивления, уснул, Сашу — на кухню, заваривать чай. Все внимание обратила ко мне: кого я нашла Але? Как живу? Незаметно, мягко, не отвлекаясь от моего рассказа, она накрыла нарядной скатертью стол, поставила красивый чайный сервиз. Саша внес чайник, мы сидели тихо, переговаривались как-то вкрадчиво, боялись разбудить Игорьку, Ирина говорила, как и вела себя, со сдержанной силой и чувством уверенного достоинства.

Про Сашины дела рассказывалось очень мельком, все хорошо, на новом месте приняли превосходно, снова на взлете, руки золотые — и только, зато Иренина жизнь описывалась подробно и живописно.

Сегодня имела беседу с известным международником, доктором наук — популярная личность, часто появляется на экране телевизора, просил подготовить кое-какую литературу, разговорились, она представилась подробнее, сказала об аспирантуре, и международник поделился кое-какой неофициальной информацией о режиме Франко. В Испании созревают силы, недовольные каудильо, это в общем-то известно, но ученый рассказал кое-какие подробности. Что касается Сервантеса,

то и тут есть любопытные новости: один дипломат по своим дружеским каналам, через французских друзей, достал специально для Ирины новую испанскую монографию по ее теме, это очень важно — современной научной литературы из Испании пока очень мало, и эта книга — для диссертанта суший клад.

Наконец, специально для меня Ирина рассказала о последних парижских модах — библиотека имеет журналы — это потрясающе, какую там выдумывают чушь — вот тут голо, до сих пор, тут едва прикрыто, — она размахивала руками, показывая, где и чего нет на женщине в последних французских модах, и я снова подумала, насколько она стала свободней, раскрепощенней.

Может, и открытей?

Неожиданно для себя я вдруг поняла: при внешнем спокойствии и благородстве речь Ирины все же выходила нестройной — по содержанию. Казалось, ее распирает чувство своей значительности, захлестывает жажда рассказать об удивительных знакомых.

Целый час она говорила о латиноамериканских литературах с директрисой библиотеки, замечательной женщиной известной фамилии, ездила к академику такому-то, едва ли не единственному академику по ведомству западноевропейской литературы, он был любезен и благодарен, что ему доставили нужную книгу, ее пригласили на коктейль в посольство, срочно что-то надо придумать, посольства вечером посещают только в парадных платьях, а коктейль назначен на вторую половину дня, придется справиться у специалистов, считается ли этот час вечерним по-посольски...

Плавная речь Ирины начинала постепенно раздражать — я узнавала этот столичный примитив: рассказывая о других, выпячивать свою значительность, свои связи, безусловную целесообразность своего присутствия в этом городе. Такое я слыхала и раньше, в мои годы.

— Ну, а Игорек? — оборвала я ее как можно мягче.

— Игорек ходит в один садик с внуком знаменитого маршала, — ответила она, ничуть не смутившись, — дерется с этим внуком, а маршал передо мной извиняется. Представляете?

Я кивнула. Да у тебя, девочка, совершенно нет слуха!

Сколько передумала всякого я в ту ночь! Борясь с бессонницей, прислушиваясь к ночным шорохам и далеким звукам, представляла, как мой Саша ходит за Игорем в садик, потом сидит допоздна, переживая, дожидаясь жену, а она входит — элегантная, красивая, переполненная знакомствами, знаниями, жизнью, подавляет его своими спокойными, самоуверенными речами, и Саша теряется, сжимается, уходит в себя. Известно, что в супружеской жизни кто-то непременно должен уступать другому, один — коренник, другой — пристяжной, так вот мой Саша пристяжной к Ирине, а она прет по той дороге, которая нравится ей, и пристяжной ничего поделывать с этим не может.

Все сравнения хромают, это — тоже. Очевидно одно — Ирина процветает, у нее своя жизнь, а у Саши своя, и как бы не вышло худо.

В тот первый свой приезд я как-то спросила ее:

— Ирочка, тебе нравится нравиться?

— Мужчинам? — быстро и охотно уточнила она, словно привыкла к таким вопросам.

— Женщинам тоже.

— Дорогая Софья Сергеевна, а есть такой человек, который бы не хотел нравиться другим? Ведь это же вопрос культуры, эстетики. Когда люди начнут следить за собой, все без исключения, жизнь станет наряднее, а значит, лучше. Обозлиться на красивого труднее, чем на обычного. Хамства меньше станет!

Целая теория. В азарте красноречия проболталась:

— А вообще-то мне одна подружка сказала: «Ир, как бы тебя твое эмансипе до беды не довело». Глупо, вы не считаете? Эмансипация, сиречь равенство, равенство с кем — с женщиной, как же равенство может довести? Да еще до беды.

Прежде она была молчаливой, теперь стала болтливой, и мне не на один месяц хватало потом ее болтовни — разбираться в теориях, умозаключениях, настроениях, фразах.

Чем чаще я вспоминала их, тем точнее знала: и это один из этапов, вычисленный заранее, намеченный и осуществленный осознанно и точно. А болтливость, открытость — пока что внешняя, не по существу, это от близости цели, от предвкушения Удачи.

Жизнь оборачивалась так, что в Москву я могла прилетать лишь тогда, когда Аля с новым приступом

попадала в больницу. Сиделки, которых я нанимала Але, подолгу не задерживались, больная оказывалась слишком тяжелой для них, девочка нуждалась во мне, и жизнь моя, мои последние перед пенсией годы в читалке оказались на редкость тяжкими.

Лишь там, за желтыми стенами мрачного дома, я не могла помочь дочери и тогда улетала. Сердце мое разрывалось, чуть ли не каждый день я звонила заведующему отделением, хотя это бессмысленно, дергалась, московская жизнь меня раздражала уже через неделю, и я уезжала, все реже появляясь в Москве. Один раз ко мне приезжал Игорь, в пятом классе.

Он увлекался в ту пору техникой, занимался конструированием, был активистом Дворца пионеров, и вышло так, что приезд ко мне стал перерывом в его занятиях. Он приветливо ласкался, но скучал, и я не стала его держать. Да и печален тот дом, в котором навеки поселилась болезнь. Как ни смейся, ни шути, ни радуйся, все на минуточку, не по-настоящему, а настоящее — горечь, сердечная тоска, ожидание. Не то ожидание, которое приносит счастье, а угнетающее, иссушающее, ломающее душу.

Я берегла своего любимца, не хотела, чтобы он делил со мной, даже ненадолго, мои страдания. А делать вид, что мне легко, уже не доставало сил. Так вышло — он у меня был только раз, я в Москве — пять, шесть. Выйдя на пенсию, я отказалась от сиделок для Али.

Ирина успешно защитилась, из библиотеки перебралась в университет, преподавала, отхватила солидную зарплату, выпустила книжечку о Сервантесе, каудильо скончался, Латинская Америка разворачивала плечи, испанистов требовалось все больше, ехали делегации, переводилась литература, в ее энергии нуждались, она оказалась причастной к интересной жизни.

Саша? Он не жаловался, но стал попивать, и это больно ранило меня.

Письма из Москвы приходили все реже. Зато в каждом я читала жалобы на Игорька. Ему шел шестнадцатый год, он вырвался из подчинения, стал строптив, непокладист.

Я отвечала, чтобы сын и невестка набрались терпения, это такой особенный возраст, и я мучилась с Сашей в его шестнадцать лет, но все потом миновало, ушло. Следовало набраться терпения, быть ласковыми,

наконец, оторвать что-то от собственных удовольствий во благо сына.

Я обращалась во множественном числе к Саше и Ирине, но имела в виду, конечно, невестку. Как же так, преподает в университете, интеллигентная дама, а сын наверняка заброшен, плывет по течению, — но тут такие годы, такие рифы, — надо поостеречься, для самих же себя поостеречься в конце-то концов, отказаться от приемов в этих посольствах, от новых иностранных фильмов в Доме кино, от гостей, раз требует этого сын.

Следует чем-то пожертвовать, следует и Саше меньше попить, не думать о самолюбии, почаще бывать с сыном, иначе какой же пример для подражания! Если даже у Саши нелады с женой, надо задуматься — взрослые люди! — у них же еще есть сын! И они за него отвечают.

И вдруг молния. Нет, она не опередила гром, грозные звуки слышались мне всегда. Но молния слепит.

Я открыла конверт, надписанный Сашиной рукой, и ослепла. Одна короткая фраза:

«Мы с Ириной разошлись».

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я слышу грохот, грохот, чьи-то восклицания, незнакомые тени. Открываю глаза. С трудом прихожу в себя, но узнать никого не могу — одну голоножку. Она стоит позади всех, на пороге купе, солнце исчезло, над головой проводницы светится электрический плафон.

— Вам плохо? — спрашивает меня кто-то, и я вижу лицо женщины в белом халате, который высовывается из-под плаща. — Сердце? — спрашивает она, а сама уже берет мою руку, щупает пульс.

— С чего вы взяли? — медленно говорю я.

— Вы все лежите! — восклицает девочка. — Ничего не едите. Едем вторые сутки...

Здесь еще один, третий. Мужчина в форменной фуражке железнодорожника, наверное, бригадир поезда. Вагон стоит, значит, большая станция.

— Может, вы сойдете? — спрашивает он мягко. — Здесь хорошая больница.

— Ерунда, — отвечаю я, — просто мне надо выспаться, я приняла снотворное.



— Что? Сколько? — криминальным тоном спрашивает врач.

— Не волнуйтесь, — говорю я, — димедрол, две таблетки в течение суток, если они уже прошли.

Врачиха успокаивается, закатывает мне рукав, измеряет давление.

— Низковато, — говорит бригадир через минуту, — пульс ослаблен, но ничего страшного.

— Жить буду? — спрашиваю я с ехидцей. Они не замечают моей иронии.

— Сколько вам лет?

— Да все со мной, что вы в самом-то деле, — возмущаюсь я, и эти двое приходят, кажется, в себя. Сонливость моя исчезла, я способна реагировать и понимаю, что самое лучшее — выставить их за дверь. — И что за бесцеремонность? — спрашиваю. — Врывае-тесь без стука, а я никого не вызывала.

Они удаляются, извинившись, приглушенным голо-сом бригадир что-то ругательное бормочет проводнице:

— Ты, Таня, — бу, бу, бу, бу.

— Таня, — зову я голоножку, понимая, что надо ее выручать, и вижу смущенное, пылающее лицо. Она стоит на порожке и бормочет:

— Извините, я думала...

— Зайди сюда, — велю я, — закрой дверь. — Она слушается. — Думала, померла старуха? Спасибо за заботу.

— Вы извините...

— Да нет, я всерьез. Спасибо. Неужто целые сутки?

— И не едите ничего...

— Закажи мне бульон.

Мне кажется, она входит молниеносно, буквально через пять минут, с большой бульонной чашкой.

— Сейчас я выпью его, — поясняю проводнице — сразу надо было объяснить, не устраивать панику. — И снова усну. А ты не волнуйся. Так бывает...

Я молчу, гляжу в бульон, потом перевожу взгляд на Таню.

— Где ты была? — Она не отвечает. — Раньше?

— Здесь, езжу третий год. — Ее глаза испуганно круглы.

— Нет, — мотаю я головой, — ты не понимаешь. И не понимай. Не надо.

Я плачу, совершенно некстати, не могу совладать

с собой, и Таня подсаживается ко мне, гладит, точно маленькую, по плечу.

— Что же случилось? Что?

— Иди, — отвечаю я, не утирая слез. — Иди. Все. Мне лучше.

Ласковая душа, девочка, подросток почти, а сердечко доброе, дай тебе бог счастья.

Я пью бульон, пожалуй, он горячий, но я ощущаю это как-то неопределенно. Раскрываю свой ридикюль, свою волшебную сумочку. Киваю ей:

— Сезам, откройся!

И вынимаю коробочку со снотворным. Говорю громко сама себе:

— Какое счастье, что можно купить два билета, все купе, никого не смущаться. — И точно уговариваю кого-то, выпрашиваю разрешения: — Еще одну!

На этом стендалевский сюжет закончился. Сашино письмо поставило точку. Молодой человек — здесь девушка! — бьется за место под солнцем, применяет все приемы — законные и запрещенные, где надо, бьет в под дых, и все это в изящной упаковке: работа, новые цели, смысл жизни!

Первое, что я воскликнула, прочитав единственную Сашину строчку на большом белом листе:

— Как же Игорь?

Глупый вопрос: или с отцом, или с матерью, третьего не дано — так мне казалось в ту наивную пору, нет, плохо я знала еще свою невестку, плохо.

Через несколько дней прилетел Саша. Я плакала, целуя его, он уговаривал успокоиться. Вечером, когда Аля уснула, я вскипятила чайник, и мы начали тягостный разговор. Тягостным он был потому, что Саша поначалу отмалчивался и мне приходилось клещами вытаскивать из него слова. Казалось, он сам ошарашен, не готов, не ожидал. Я спросила его об этом.

— Что ты! — воскликнул он. — Через месяц после нашего переезда знал: кончится этим.

— Именно через месяц?

— Таинственный доброхот сунул мне в стол записку, отпечатанную на машинке.

Он умолк, я подтолкнула:

— Что в записке?

— Цена бумаге, которую дал Рыжов для обмена.

— Была цена? — удивилась я.

— Еще какая! — усмехнулся Саша и, помолчав, колебавшись, назвал ее: — Постель.

Я рухнула головой на стол, зарыдала в отчаянии: не может быть, не может быть! Представила себе рыжего Рыжова — всего, до кончиков пальцев, в отвратительных веснушках, орангутанга, грязное животное, — с трудом проговорила:

— Какой негодяй!

— Негодяем оказался я. Показал записку Рыжову, он перепугался, трясся весь, боялся, пойду в дирекцию, партком, умолял, валил все на Ирину. Тогда я показал записку ей. И знаешь, она сказала, что сделала это ради меня, а я неблагодарная скотина. Негодяй. Ушел из института, ты знаешь.

В моей судьбе хватало катастроф — они корежили душу, жгли и ломали, и всегда я, как и те, кого я знала и кому тоже досталось от жизни, старалась выбраться к добру, к спокойствию, к радости, — это было естественно, единственно возможно и справедливо. Даже в страшном бреду не могло пригрезиться такое: ради пользы — самой развязать катастрофу, очертя голову кинуться в омут. Нет, невозможно представить себе, невозможно!

И Саша! Жить с человеком, который изменил, чтобы только въехать в Москву: нечто чудовищное, не поддающееся нормальному рассудку.

— Как ты мог? — опять прошептала я, ни к кому не обращаясь.

— Простил, — проговорил сын. — Любил, вот и простил, но напрасно, любовь ничего не спасла. Сама выгорела.

— И ты ушел?

— Нет, — проговорил он слишком медленно и как-то искренне, — мы разошлись.

— Ушла она?

— Мы разошлись в разные стороны.

— Что это значит? — у меня не хватило ни ума, ни сил разобраться в словесных фокусах.

Мой сын мужественно спрятал свой взгляд под стол и произнес приговор:

— Она ушла к другому мужчине, я ушел к другой женщине одновременно, вот и все.

Вот и все!

Забиться бы, оглохнуть, умереть! Вот и все... Я думала, могла предположить, что невестка способна на такое, но вот, оказалось, и сын. Хотя?.. Он ведь не ушел сразу, не поступил, как водится, если мужчина оскорблен, а терпел, может, выжидал, почти совсем как Ирина.

— У нее будет ребенок, — добавил лишь Саша. — Вышла замуж за дипломата.

— А ты? — с трудом проговорил я.

— Я? — Он рассмеялся, будто от души отлегло. — Бери выше! Доктор наук, лауреат...

— Депутат? — прошептала я.

— Пока не депутат, — ничего не понял он. — Но чем черт не шутит!

— Вы рехнулись, сошли с ума. И ты, Саша...

Он опустил голову, кажется, обиделся.

— Тебе трудно, понимаю, такие новости. Но я, кажется, впервые счастлив. Меня любят. Я люблю тоже, но любят и меня, понимаешь?

Он смотрит на меня испуганно и вопросительно, мой взрослый сын.

— А Ирина?

— Родит ребенка и поедет в Испанию.

Я-то спрашивала про любовь.

— С кем же Игорь?

Саша потупился, сцепил замком пальцы, напрягся.

— Видишь ли, ма, — произнес он довольно жестко для такого безвольного характера, — сын отказался ехать с кем-либо из нас. И мы согласились.

— Как отказался? — удивилась я. — Он еще мальчик, у него и прав-то нет никаких, разве мыслимо оставлять его без родителей!

— Мыслимо, мама, мыслимо. Через год он окончит школу, поступит в институт, взрослый человек. Что касается меня, то у Эльги, это моя жена, двое детей, она вдова, а Иринин дипломат хочет за границу, ему не до Игоря.

— Отдайте внука мне! — крикнула я. Но сын покачал головой...

— Он и тебе не нужен, у тебя Аля. И вообще...

— Что вообще? — возмутилась я, теряя самообладание.

— Однокомнатная квартира остается за ним, мы не бросим его, в самом-то деле, окончит институт, женит-

ся. Он ни в чем не получит отказа, поверь мне, Эльга — добрая баба, за этим не станет, не волнуйся.

— А совесть, сынок? — спросила я. — За ней не станет?

— Он не нуждается в нас, взрослый парень, — вернулся сын.

— Напрасно так говоришь, — ответила я, — в родителях нуждаюсь даже я, старуха.

— Ну чего ты хочешь? — сказал Саша. — Игорь отказался ехать. И со мной и с Ириной.

— Скажи напоследок, — попросила я, измученная этим невероятным разговором. — Только, пожалуйста, честно: чья это идея — твоя, Ирины?

Он мотнул головой:

— Игоря!

Сильные валят на слабых. Взрослые — на детей.

Кто как, а я в серьезных разговорах теряюсь, выясняя не все и потом мучаюсь неразрешенными вопросами, страдаю бессонницей. Но объяснение с сыном, — разговор, даже самый серьезный, куда большее — суд, приговор, истязание, пытка. Я плохо соображала, не все могла понять, многие его слова пропускала, впадая в глухоту, онемение, транс, потом спохватывалась, но поздно, что-то было пропущено из сбивчивых рассуждений Саши.

Когда он выходил из дома, чтобы отправиться в аэропорт, я пожелала ему по привычке: «Будь счастливи!» — но тут же укорила себя в неискренности — теперь я не верила в его счастье. Хуже: он стал мне чужим.

Я стыдила себя, принуждала думать и чувствовать по-иному, как прежде, но не могла, нет, не могла: сын отдалился от меня, и чем больше я думала о нем, тем быстрее он удалялся.

Где ночевало твое достоинство столько долгих и лживых лет, запоздало спрашивала я его и сама себе отвечала: значит, не было достоинства, ведь любовь без достоинства унижительна, а значит, немыслима.

Что означало многолетнее твое терпение, спрашивала я про себя, ведь потом-то любви уже не было, выходит, оставалось выжидание, голый расчет, откуда это у тебя, мой сын? От безволия, от бесхарактерности? Не слишком ли утешительное объяснение?

А новая семья — может, ты снова плывешь по течению? И это плавание опять станет губительным? Не прядешь ли ты, как страус, голову в песок? Боишься жизни, не хочешь ее изменить.

Игорь, наконец, что с ним?

Неведомая мне Эльга, двое чужих детей, новый Саша, дом, его работа, все совершенно не задевало, не трогало меня.

Игорь!

Чувства, точно высвобожденные отсутствием сына, сфокусировались на Игоре — внуке и сыне сразу.

Поворочавшись неделю в бессонницах, я принялась за активные действия. Пошла в читалку, позвонила немногим друзьям, выход, хоть и неважнецкий, нашелся: я наняла к Але студентку из медицинского института с питанием, ночевкой, пристойной платой и помчалась в Москву.

Опуская подробности встречи, я давно не видела Игоря, года три, пожалуй, только фотографии, однако, их тоже давненько не было, и с трудом узнала внука — высокий, выше матери, сухощавый, с лицом, чуть вытянутым, как у отца, но ярким, материнским, и глаза, конечно, ее. Красивый мальчик — и мой и какой-то чужой.

Ласковое детство истаяло вдалеке, он не бросился мне на шею, как прежде, сдержанно поцеловал, взял из рук вещи, стал помогать стягивать пальто. Я смутилась, передо мной был другой человек, однако прикрывать волнение болтовней уже не хватало сил, только спросила:

— Не прогонишь? Приехала пожить к тебе!

— И ты? — он отступил в комнату, смотрел на меня улыбочиво, но неприязненно.

— Что значит «и ты»? Кто-то уже приехал?

— Да просто так, — усмехнулся он.

Просто так ничего не бывает, но и дом сразу не строится, мне требовалось немало терпения, чтобы все увидеть и все понять.

Говорят, для человека лет шестнадцати год равен эпохе. Игорю выпало несколько за один год.

Свой визит я начала с инспекционного осмотра квартиры.

Холодильник был набит едой по крайней мере на семью из трех человек — мясо, всевозможные колбасы, сыры, готовые котлеты по-киевски, пельмени, в

нижнем, для овощей, отсеке банки с соками и икрой — красной и черной. Комната как с иголки, сияет чистотой. Ванна, великолепно отремонтированная, блещет кафелем, громадным зеркалом, возле которого, будто здесь есть женщина, разноцветная вереница шампуней. на стене, рядом с большими, тоже цветными, полотнами, роскошный, иностранного происхождения, малиновый махровый халат.

Я решила не форсировать событий, а говорить с Игорем осторожно, как бы частями, — сегодня об одном, завтра о другом, — сперва осмотреться, и когда он утром отправился в школу, неспешно взялась за хозяйские заботы. Открыла шифоньер, вытащила носки, майки, рубашки.

Мне хотелось навести порядок, поштопать белье, постирать, ежели надо, но работы не нашла, и это меня поразило. Рубашки чистые, отглаженные, носки заштопаны, грязного ничего не обнаружилось. Гардероб полон вещей — два добротных костюма, замшевый, высокого качества, пиджак, новехонькие английские джинсы.

Да и квартира преобразилась. Когда-то мне казалось, что мои ближние пытаются приблизиться к мировым стандартам, но в ту пору — как давно! — желания расходились с возможностями. Потом дом менялся, я это знала, и в последнее время стал совершенно другим: сменилась мебель, возник стиль. Импортная стенка с баром, с желтым, под старину, стеклом в горке, роскошный голубой диван, мохнатый ковер. Светильники расставлены так, что вечером в комнате уютно приглушенное освещение с яркими точками у дивана да на столе. Ненашенские картинки овеществлены, и хоть ничего плохого в этом нет — одно удовольствие, напротив, — мне видится во всем какая-то выпренность: натянутость, отсутствие простоты, которая так нужна в доме.

Приехала я, как и в первый раз когда-то, без всяких звонков и телеграмм, так что наша встреча с бывшей невесткой произошла, минуя подготовку — и для нее и, главное, для меня.

Замок щелкнул, напугав меня, дверь отворилась, и передо мной явилась Ирина с большой модной сумкой для продуктов, оттягивавшей руку.

Вот и встретились!

Она молчит, взгляд неприятно напряжен, боится меня, моих слов, вопросов. Мое лицо тоже, пожалуй, не

конфетка, вряд ли мне удастся совладать с чувствами лучше, чем Ирине.

Немая сцена. Как у Гоголя.

У нее большой опыт неискренности, к тому же ей следует избрать тональность будущих со мной разговоров, Ирина восклицает с поддельной радостью:

— Ах, Софья Сергеевна! — Правда, «ах» чуть-чуть припоздало, но ничего, я отвечаю ей в тон:

— Здравствуй, Ириночка!

Мы целуемся как ни в чем не бывало, но я при этом едва стою на ногах: сердце готово выскочить из груди, будто я — мой сын и это мне когда-то изменила Ирина.

Она проходит на кухню, освобождает сумку, доставая отварную курицу в кастрюльке, батон финской колбасы, какие-то мудреные, мной невиданные консервы, апельсины.

Только тут — неправдоподобно для женщины, вот как застит глаза материнская ревность! — я замечаю ее беременность: свободного покроя зеленое платье, туфли на низком каблуке. Смирись, женщина, смирись, оставь свои надежды.

Странное дело, в пору смеяться — когда-то ведь откровенно не любила невестку, жалела Сашу, а теперь готова все простить, лишь бы сошлись, вернулись друг к другу. Ради Игорька.

Но нет, теперь невозможно — вижу собственными глазами.

Вижу размеренные, округлые движения, беременность вернула ей естественность, напряженная гибкость исчезла, взгляд сосредоточен на простом деле, но одухотворен предчувствием материнства. Что ж, надо жить дальше.

— Представляете, Софья Сергеевна, Игорек ничего не ест, — заводит Ирина новую мелодию, — полный холодильник продуктов, а у него нет аппетита, — что-то невероятное, в его возрасте ребята лопают как слоны, растут, но он не ест, худющий, словно спичка, вы его, конечно, видели?

Даже речь меняется у человека, отметила я. Припомнила первое столкновение тогда, на лестнице, — Ирина взяла меня за локоть, решительно повернула к себе и объяснила свою высокую нравственность. Ее фразы были четкими, рваными — короткие вопросы и такие же краткие, будто удары, ответы. Теперь речь лилась — журчливый ручеек! — многословие становилось



удобной формой, прикрывающей правду. Как ее раскле-  
шенное платье.

Наконец она прошла в комнату, уютно, словно кош-  
ка, устроилась в углу дивана.

— Ну, Софья Сергеевна, — сказала она, — мы од-  
ни, многое позади, и нам, наверное, следует объяс-  
ниться?

Вот оно что, объясниться? А стоит ли? Объяснять-  
ся со мной — пустое дело, я ничего не решаю, да и во-  
обще. Снова всколыхнуть тяжкий разговор с сыном, по-  
вторить его, перевернув простыню наизнанку? Просты-  
ня ваша, вы ее и вертите, меня не следует посвящать  
в подробности.

— Я слишком стара для объяснений.

— Слишком стара? — переспросила Ирина. Она  
как-то осеклась, не ждала такого поворота, опустила  
глаза. Мы молчали, и молчание становилось тягостным,  
тишина звенела в ушах.

— Почему ты оставила Игоря? — спросила нако-  
нец я. Единственное, что меня волновало в их общих  
делах. — Бывает всякое, но сын?

— Вы же знаете! Он сам отказался. В этом здра-  
вый смысл. — Ирина волновалась, я попала в точку,  
не сын, не сын, — уверена в этом, — а моральная сто-  
рона волновала ее. Пожалуй, не мне первой доказана  
целесообразность здравого смысла, лишь один он  
оправдывал поступок Ирины. И Саши тоже, впрочем.

— Здравый смысл состоит в том, — с трудом сдер-  
живая себя, проговорила я, — чтобы у ребенка была  
мать. Хотя бы мать.

Я пронзительно разглядывала Ирину, пыталась про-  
браться в ее взгляд, но там отражался лишь свет вклю-  
ченного ею торшера.

— Вы напрасно так воинственны, дорогая Софья  
Сергеевна, — сказала она вкрадчиво. — У нас с Иго-  
рем ничего не изменилось. Я прихожу каждый день.  
Приношу продукты. Дважды в неделю появляется на-  
ша домработница — мне трудно сейчас убирать. Мы  
следим за его гардеробом, я бываю в школе. Следует  
ли говорить, что мы оплачиваем квартиру и, кроме то-  
го, даем в месяц сто рублей. Пятьдесят добавляет Са-  
ша. Наконец, я прописана по-прежнему здесь, чтобы  
сохранить квартиру за Игорем, до его совершеннолетия.

Она ненадолго задумалась. Наверное, собственная  
речь казалась ей достойной — мягкой, уверенно-убе-

дительной. Здравой. Чего-то не хватало из сферы морали, и она нашла.

— Ему намного лучше, чем было. Не слышит ссор. Не видит нелюбви. А это не так мало.

Вот ведь как. Плохо, когда ребенок не видит любви. Хорошо, когда не видит нелюбви.

Нашла ли она хоть зерно истины в разговоре со мной? Сумела. По крайней мере, тогда я согласилась с этим, совершив ошибку. Кто бы знал заранее цену наших ошибок...

— Он ведь уже взрослый, — сказала Ирина, — ему будет трудно в новой семье. Моей или Саши, все равно. Новый отец — не отец, кто он? Новая мать — или мачеха?..

Это верно, подумала я. Трудно, слов нет. Согласилась, будь проклято такое согласие... Пусть живет один, раз так повернулась судьба. Думала тогда: выше головы не прыгнешь, обстоятельства!

Всю-то жизнь покорялась я обстоятельствам, подчинилась и этим.

Ирина таскала авоськи, щедро сыпала деньгами, Саша будто соревновался с ней.

В первый же день, едва успела уйти она, как явился сын. Запыхавшийся, ворвался в прихожую — в руке бечевка, на которую, словно сушки, нанизаны рулоны с туалетной бумагой. Увидев меня, обомлел, бросился целовать, радостный сверх всякой естественной меры. Я отстранила его, усмехнулась:

— Даже об этом заботитесь?

Он не услышал иронии, вернее, не захотел:

— Что ты, такой дефицит!

Освободившись от груза, замахал брелоком с ключами, стал спрашивать разные пустяки — как летела, как здоровье...

— Ты что, купил машину? — кивнула я на брелок.

— Да нет, это Эльги, — бойко, не задумываясь, ответил он и тотчас покраснел, устыдившись меня. Он не ошибся, я опустила голову, чтобы не видеть сына: персональный шофер собственной жены? Или ошастливленный дуралей? Кто еще он там, мой бедный Саша?

— И квартира хорошая? — спросила я тоскливым голосом.

— Трехкомнатная, — ответил он, не поняв меня.

— И дача есть?

— И дача!

Все-то у вас есть, дорогие мои, думала я ворчливо, ругая себя за то, что не могу сдержаться, превратилась, поди-ка, в старую хрычовку, ненавистную всем. Но душа моя ум перешибала, не зря толкуют, будто чувство верней головы.

Все-то у вас есть, думала я, только призадуматься, так ничего нет, всем этим ценностям — алтын в базарный день: дунул, и не стало. А в толк не возьмете, глупцы, если что и есть — дорогого, настоящего, незаменимого — так это сын, родная кровь, такое не скоро наживешь, не просто получишь, а потеряешь, так не найдешь. И вы, бедняки, от этого отказываетесь!

Что ж! Жизнь вам судья, она и рассудит. Рано ли, поздно ли, а назначит судный день.

Каким он станет, никто не знает. Может, отвернется собственный же сын, скажет: нет у меня родителей, может, когда вам сиро да одиноко на свете станет, поступит так же, как вы...

Я не каркаю, не вещаю, не желаю зла, только думаю, с судорожным отчаянием и непониманием думаю — неужто так трудно осознать и принять эту простую истину? Так невозможно?

Или знают люди, наперед все знают, а прячутся от самих себя, от долга, от любви, от жалости прячутся, делая вид, будто не для них эти чувства, на которых мир держится.

Когда-то и я подумала глупо — такие ли уж это истины?

Да, да — такие, без них никуда. Нет смысла без них жить. Хвататься за барахло, за имущество всякое, за диссертацию, связи, личное спокойствие, считать, что это и есть высшая мудрость, истина, а любовь, долг — тьфу, пустой звук?

А как же дети, к примеру, памятьливость людская, Мария, моя благодетельница, — как же она? Неужто ее жизнь — пустой звук?

А я?

Нет, не так-то просто стереть доброту — этак надо много чего вычеркнуть, забыть, слишком много.

Чего только не коптится в старушечьей голове, да все не скажешь, и некому особенно-то слушать тебя.

Вздохни да промолчи...

В начале июня Ирина объявила мне, что хочет от-

метить окончание Игорем девятого класса. Я кивнула, не зная, что грядет.

Век живи, век удивляйся. Не такая уж я темная, многое слыхала, многое знавала, друзья были — с разной судьбой, в университетской библиотеке сколько отслужила, но первый раз увидела, что и такое случается.

Я все думала: как же Игорьку это событие отметить? Ну то и то испеку, другое приготовлю — разговор не об этом. Главная дума о родителях, ведь если соберутся оба, старая семья, как-то ведь неудобно, неправдиво, что ли. Игорек расстроится в свой праздник, к чему?

Какая моя тут участь? Думай не думай, без тебя дело катится. И прикатилось. Ни часу я не назначала, ни гостей не звала, а вдруг звонок, на пороге Ирина, за нею здоровенной тушей расфранченный мужчина, ее дипломат. Что делать, думаю, надо быть поприветливей, а они входят этак основательно, снимают обувь, как заведено в московских квартирах, дипломат жмет мне руку, представляется — Борис Владимирович! — хлопает по плечу Игорька так, что тот вздрагивает и вопросительно взглядывает на меня.

Ирина начинает хлопотать, расставлять на столе посуду, Борис Владимирович сотрясает диванные пружины, басит оптимистично какую-то песенку.

Я, грешным делом, подумала, не пришел бы Саша, неудобно получится, еще выйдет какая неприятность, скандал, и, будто нарочно, загремел звонок.

Возник такой момент: звонок, Ирина ближе меня к двери, но глядит в мою сторону, надо сказать, без всякого выражения, а я смотрю на Игоря. У него настроение не поймешь какое — не смурное и не веселое — равнодушно озирается вокруг, и глаза отсутствующие, даже безразличные. Он чувствует мой взгляд, но не оборачивается, ничего не делает, чтоб открыть дверь. Я иду к входу.

За порогом пышнотелая немолодая блондинка с цветами, в строгом, но плоховато сидящем темном костюме. Шагает ко мне, бесцеремонно берет за плечо, притягивает к себе, целует в щеку, говорит приятно вибрирующим властным голосом:

Саша поднимает груз. А я — Эльга.

Новая жена моего сына уверенно проходит в квартиру, весело здоровается с Ириной и ее мужем, оказывается, она тоже Владимировна, тут же начинают сме-

яться, оживленно говорить о какой-то ерунде, а я не знаю, куда мне деться, как себя вести.

Бывшие мужья и жены, по всем законам литературы, — вечные враги, привели своих новых жен и мужей, и те чуть ли не лобызаются, — не поймешь, то ли невероятная широта и интеллигентность, то ли безграничное лицемерие. Интеллигентность устранивает их куда больше, и Борис и Эльга пытаются разговорить меня, задают всевозможные вопросы из разных областей жизни, по их мнению, понятных и доступных мне — от погоды до библиотечного дела.

Меня коробит их наступательная вежливость, но постепенно я начинаю разбирать, что они и сами основательно смущаются, прикрывают растерянность болтливостью, такая мода, да и деваться им некуда.

С шумом и грохотом в дверях возникает Саша, не один, с двумя помощниками, шаркая ботинками, они втаскивают громадный короб, это цветной телевизор, подарок Игорю. Я ахаю совершенно естественно — первичная реакция, — в комнате начинается переполох, черно-белый убирают, новый достают, подсоединяют, регулируют — возникает более или менее нормальная обстановка обычной суеты. Я вижу Игоря. Разглядывает зрелище с интересом, похоже, цветной телевизор ему не безразличен, но он не по летам сдержан, и толком не поймешь, что больше его забавляет — подарок или суета вокруг него.

Ирина ахает и охает тоже, будто подарок приволок не ее бывший муж, а добрый друг и старый знакомый, добродушно улыбается, весело напевает, выкрикивает с кухни всевозможные реплики. Наконец телевизор работает, помощники удалились, Саша, переполненный ликованием, разливает по рюмкам, Эльга, как с доброй приятельницей, символически чокается с Ириной — той пить нельзя, — взоры взрослых обращены к Игорю, отец произносит длинный и несвязный тост о благе сына и всех, так необходимых обществу возможных его достоинств: честности, порядочности, доброте, аккуратности.

Перехватываю взгляд Игоря, идущий по касательной — от отца, под стол, но взгляд закрыт на замок, в нем ничего не прочтешь. Будто говорят о нем — о человеке, которого тут нет. А Игорь приглашен в гости — просто приглашен.

— Спасибо, па, — пресекает он златокудрую речь

отца. В рюмке у него сухое вино по случаю торжества, но он отставляет ее, в фужер наливает лимонад. Пьет спокойно, как и следует пить воду, а я вижу, как из-под приспущенных мохнатых ресниц вдруг прорывается стремительный, похожий на удар, взгляд. Сперва на Эльгу. Потом на Бориса.

Уверен, что никто не замечает этого, и прав. Отец и мать жуют закуску, болтают, и если видят сына, то вообще, всего, целиком, в крайнем случае его спокойное лицо. Мгновенный взгляд они увидеть не способны.

Рюмки наполнены, теперь говорит мать. Ее речь куда более связна, чувствуются филологическое образование, диссертация, Сервантес. Но она будто сговорилась с Александром — се тост не выходит за рамки обязанностей сына — должен, должен, должен...

Игорь по-прежнему озирает окрестности. Точно он приубавил звук в динамике и слушает его скорее по привычке, чем по необходимости. Это ни к чему не обязывает, просто слушает, и все.

Ирина завершает монолог красочным пируэтом из любимого классика испанской литературы:

— Ничто не стоит так дешево и ничто не ценится так дорого, как вежливость, дорогой сынок.

Это не производит на Игоря никакого впечатления — он замер, даже как будто задремал.

— А сейчас! — Ирина лезет в карман своего материнского платья. — Прими этот подарок.

Игорь оживает, глядит с интересом, а она достает маленький блестящий ключик и протягивает сыну.

— Посмотри в окно.

Игорь послушно выполняет совет, и все бросаются следом за ним. В углу двора стоит красный мотоцикл с ветровым стеклом.

Все это явно рассчитано на эффект, Ирина ждет взрыва восторга, но Игорь хладнокровно и без эмоций утвердительно произносит:

— «Ява».

Он оборачивается, целует мать, и я вижу невольную реакцию Саша — улыбается, но как-то судорожно, будто спортсмен, проигравший соревнование.

Игорь целует мать, улыбается ей, потом тянется через стол к отцу, говорит, ни к кому не обращаясь:

— Я богат, как шейх.

Вечером мы остаемся одни.

Любезные родители так внимательны, что уходят,

только перебив всю посуду. Эльга и Борис Владимирович чувствуют себя крайне неловко, искусственность почеркнутой заботы о покинутом отроке становится слишком очевидной, разговоры примолкают, Ирина и Саша стучат на кухне тарелками — она моет, он вытирает, — и я думаю: до чего же дойдет это соревнование?

Наконец дверь закрывается, и я облегченно вздыхаю.

Как можно измотать, изнурить любовью!

Любовью? Игорь не выдержал ее, убежал в магазин за мотоциклетными шлемами, потом, не поднимаясь домой, покатил обновлять свой подарок. Оказалось, он учился на специальных курсах, сдал все экзамены, еще в феврале получил права, которые даются лишь после шестнадцати. Подарок потрясающий, а если прибавить цветной телевизор? Родители купали Игоря в благополучии, это ясно, купали с ярко выраженным смыслом, а он?

Что думал он?

Внук вернулся разгоряченный, румянощекий, швырнул на пол шлем. С порога сказал мне:

— Ба, ты видала? Предки-то как откупаются?

Годы и месяцы я тратила на свои взгляды, выдерживала их, как доброе вино, прежде чем принять за истину, а он одним махом отрезал: откупаются!

Я промолчала, принялась расспрашивать внука про школу. Он отвечал вяло, вдруг сказал:

— У нас в классе девочка есть, у нее тоже родители разошлись, так она все плачет, представляешь?

Я помолчала, прежде чем ответить.

— Представляю.

— А я считаю, это даже хорошо! — Я с испугом взглянула на Игоря. Он сидел под самым торшером на диване, лицо его было ярко освещено, и я все видела, все, самые легкие перемены. — Будь по-старому, когда бы еще мотоцикл занял? Или цветной телевизор?

Я хотела прикрикнуть на него, сказать: «Бог с тобой!», но поняла — он не может говорить это просто так. Он меня испытывает.

— Ты так думаешь? — промямлила я.

— А что? Не прав? — глаза настороженно разглядывают меня, в глубине едва заметная хитринка.

— Я всякую истину проверяю тем, — говорю негромко, — что примеряю ее к себе. Смогла бы я так?

Не смогла? Лучше мне стало бы? Хуже? Примерь, что выйдет?

Он рассмеялся. Сказал рассудительно:

— Ты, ба, закаленный кадр. Тебя на мякине не проведешь. Но кроме шуток! — Теперь он был серьезен. — Мне нравится мотоцикл, телик — смотри, какой цвет, квартира. Я не чувствую себя покинутым.

— А, напротив, самостоятельным, — перебила я.

— Да! Что тут такого, рано или поздно придется начинать, люди добиваются благ с трудом, — хотя бы родители! — а у меня все уже есть. Потом подарят машину.

Все еще проверяет?

— А когда будет машина? Когда все будет? Тогда как?

— К тому времени я женюсь и от них ничего не возьму.

Я рассмеялась.

— Но ведь после женитьбы, сынок, желаний не убавится, напротив.

— А я женюсь на миллионерше, — наконец-то проснулся в нем ребенок. Только я торопилась. Следующая реплика заставила содрогнуться. — Как отец!

Я молчала, теперь настала его очередь смеяться. Он засмеялся, подошел ко мне, обнял, проговорил ласково:

— Ну что ты переживаешь, ба! Все образуется. Только скажи, почему ты назвала меня сынком? Оговоришься?

Я обхватила его за спину — до плеч не дотянуться, высок, — прижалась к груди, уткнулась носом в холодную пуговицу, и горячая волна захлестнула меня с головой. Слезы катились, точно весенняя капель, я содрогнулась, как несправедливо обиженная девчонка, думая о том, что объятия сына уже давно не трогают меня, а вот прикоснулся Игорек — и готово, жалость затопила меня — жалость, нежность, тоска...

— Ба, — уговаривал меня внук, — ну что ты, ба, успокойся!

— Теперь ты для меня все вместе, — проговорила я, — и сын и внук.

Вот в какое беспомощное существо превратилась я!

Моя душа очутилась в оазисе.

Днем, а чаще всего под вечер на пороге возникали



Ирина и Саша, авоськами несли свои дары, я даже в магазин не могла сбегать — разве за хлебом, — и эти минуты не доставляли радости, но зато потом мы оставались с Игорьком вдвоем, и ничто не напоминало нам о катастрофе, ничто.

Телевизор чаще всего был включен, мелькали цветные картинки, но звук мы выворачивали, чтоб не мешал, и говорили, болтали без умолку.

Его душа походила на иссушенную почву, и мои речи становились дождем, влагой, я видела, как даже самые неприятные рассуждения делают его мягче, улыбчивей, как ждет он этих вечеров и долгих наших разговоров обо всем и ни о чем. Точно хотел разделить мою судьбу, раз своей еще нет, и наши души походили на сообщающиеся сосуды — знания, истории, суждения из моей точно переливались в Игореву.

Однажды я рассказала ему свой сон. Девочка-голоножка, я бегу по каменным плитам в летнем знойном воздухе, который так сладко пахнет расплавленной смолой, — бегу к калитке, возле которой добрый и большой почтовый ящик, распахиваю его, достаю охапку разноцветных открыток, писем, каких-то извещений, ищу посланный мне конверт, не нахожу, никак не нахожу, и тогда через полгода, или год, или даже долгих пять лет мне приходится снова бежать во сне за письмом, посланным — я уверена, — уже отправленным мне...

Игорь выслушал, приутих, сказал, точно взрослый, поставил диагноз:

— Тебя что-то мучает.

Я засмеялась:

— Мучает? Сейчас — да, но ведь было время, когда я была совершенно свободна, как птица, а сон этот снился.

— Значит, — покачал он головой, будто провидец, который знает все, — всегда мучило. Меня тоже мучает. У меня тоже есть сон.

И он рассказал, как идет, маленький, по бордюру, между тротуаром и дорогой, вокруг лужи, но виден и асфальт, ему весело, солнышко отражается в лужах, слепит глаза, и вдруг асфальт исчезает, вокруг, насколько хватает глаз, вода, берега нет, и хотя вода спокойна, а бордюр довольно широк, — две ступни — он знает, что тут глубоко, очень глубоко. Страшно, но кричать почему-то нельзя, надо только идти вперед, это спасет,

должно спасти, он начинает спешить и чуть не срывается в воду. Тогда он умеряет шаг, идет неторопливо, но упрямо, а дорожка, эта стенка в глубокой воде все не кончается, и он теряет надежду, теряет надежду...

Я гладила Игорька, трепала его волосы, сдерживая слезы, мне было смертельно жаль внука, но как можно помочь во сне?

— Ты просыпаешься, потеряв всякую надежду? — спросила я.

— Да, меня что-то мучает, я пока не знаю что, но мучает. Как и тебя. — Он повернулся ко мне. Спросил серьезно: — Что же нас мучает?

— Перестань! — проворчала я. — Мне простительно, я старуха, а ты еще слишком юн для суеверий.

Игорь улыбался, кивал головой, потом вдруг предложил:

— А давай я тебя прокачу на мотоцикле!

На мотоцикле? Я замахала руками, запричитала, но он оказался упорным человеком, и через полчаса мы с ним покатывались со смеху. На меня из зеркала глядела старуха в коричневых лыжных шароварах, на носу очки, а голова утонула в красном мотоциклетном шлеме.

Был теплый весенний вечер, всюду полно народу, и от меня требовалось немало мужества, чтобы на глазах у публики пересечь в своем чудовищном виде двор и взгромоздиться на мотоцикл. Но чего не сделаешь ради любимого!

— Я тебе покажу наш мотобродвей! — крикнул Игорь, набирая скорость. — Там пацаны катают своих девчонок, а я прокачу бабушку. — Внук вел мотоцикл уверенно и плавно, и я, сидевшая вначале как окаменевший будда, понемногу расслабилась, даже покачалась по-хулигански из стороны в сторону, ничего не произошло, — с сытым стрекотом машина мчалась вперед. Незаметно мы выскочили на широкий зеленый проспект.

— Смотри! — крикнул мне Игорь.

Смотреть действительно было на что. Нас тотчас обогнали три мотоцикла, и я перехватила удивленные взоры, обращенные на меня. Игорь явно был новичком, но его разглядывали мельком, не уделяя должного внимания, зато я поражала мотогонщиков. Особенно пассажиров. Сначала они просто глядели, то отставая, то обгоняя нас снова. Потом стали переговариваться. Я решила сломать стену отчуждения, и когда новая парочка поехала рядом с нами, разглядывая меня,

я выкинула вбок одну руку и громко крикнула им:  
— Не уверен, не обгоняй!

Игорь расхохотался, поддал газу, мы рванулись вперед, оторвались от любопытных.

Никогда не приглядывалась к весенней Москве, а оказалось, ее дальние бульвары запружены мотоциклами. Они пронесились мимо нас цветными, размазанной скоростью пятнами, устраивали разноголосые спевки перед светофорами, юркали среди машин, и мне становилось страшновато за лихих гонщиков.

Неожиданно Игорь свернул в сторону и понесся к центру. Мелькали знакомые дома Садового, я узнала забор зоопарка, крутой, с ходу, поворот, угол сквера, скамейка. И вот мы стоим возле нее...

Со скрипом — в прямом, не переносном смысле слова — перебираюсь с задней подушки «Явы» в удобное ложе садовой скамьи, озираюсь, и сердце мое, раскачиваясь, начинает бить в набат.

— Ба, — позвал Игорь, — ты узнаешь?

Узнаю ли я? Почти сорок лет прошло с тех пор, как я уехала из Москвы, увозя от тяжелой памяти Сашу и Алю. Сорок, а будто вчера.

Еще бы не помнить!

Но Игорь-то, откуда знает он? Я спросила. Отец, Саша. Однажды, когда Игорь был маленьким, они пошли в зоопарк, и Саша показал сыну дом, где мы жили раньше.

— И ты запомнил? — удивилась я.

— Не только, — ответил он.

Я повернулась к Игорю, он смотрел на меня удивленно и ласково.

— Прошлым летом нашел старика, который вас помнил. — Внук разглядывал меня, словно маленькую напроказившую девчонку, потом сказал негромко: — Ба! Зачем ты скрываешь?

Я складывала буквы ледяным, непослушным языком:

— Им сказал?

Он словно всхлипнул — коротко рассмеялся:

— Нет!

Я молчала, потихоньку приходила в себя. Отступать некуда. Но может ли хранить тайну мальчик?

Тайну? Я берегла ее множество лет. Страдала, бывало, отвергала, сомневалась в ней, ее нужности, и все же молчала, не могла рассказать. Единственно — Марии, сердобольной спасительнице моей, сказала в тяжкий

какой-то миг, разделила ношу на двоих. Но Мария жизнь прожила, а Игорь — мальчик.

— Я ведь все знаю, — подтолкнул он меня. — Ты только объясни.

Будто слышит мои сомнения.

Действительно, знает.

— Чур, уговор, — говорю я. — Им ни слова.

— Никому, — отвечает внук, смотрит на меня блестящими глазами, и я вздыхаю: верю ему, как Марии.

Нужна ли безмерная любовь? Уничтожающая все, даже счастье?

Итак, Женя и я, всегда Женя и я, хотя мне выпало появиться на свет четвертью часа раньше.

Мы не близнецы, а двойняшки. Родились вместе, а совершенно не похожи, она в маму, я в отца, — сколько чудес на свете! Может, поэтому, всегда и во всем, сначала — Женя, потом — я. Ну мне, старшей, на роду написано во всем уступать.

Женя, Женечка! Так получилось и во взрослой жизни — ее освещали лучи внимания, сперва родительского, потом окружающих. Бывает, сестры и братья, став взрослыми, не дружат, мы не просто дружили, любили друг друга. Слишком уж многое связывало нас, чтобы дуться друг на друга по каким-нибудь житейским пустякам.

Пятнадцатилетними, ощущая нежное приближение девичества, мы мечтали о необыкновенной любви. Как многое другое, она выпала на долю Жени.

Женечка выскочила в девятнадцать! И когда! В сорок втором. Январь, немцев только отбили от Москвы, лютая стужа, голодуха, а она является поздно ночью. И не одна — за нею чернобровый военный, майор, геройская звездочка. Родители погибли всего месяц назад, от одной бомбы, рыли противотанковые рвы, и мы еще не очухались от горя, плакали вечерами, спрашивали друг дружку, как жить, и вдруг на пороге розовая от мороза Женька — глаза сияют. По праву старшей я хлопотала, как мать, накрывая стол, робея перед Героем, мучительно соображая, каким образом вести себя, такая же девчонка, что и Женька, только старше на четверть часа. Мне следовало приструнить Женю, уберечь от необдуманного шага — знакомство длиною в день, и он — Герой, это не только хорошо, но и опасно — избалован славой, а значит, женщинами.

Летчика звали Андрей, он только что выписался из

госпиталя, еще прихрамывал, принес с собой спирт, мы праздновали победу под Москвой, и, честно признаться, у меня кружилась голова, когда Женя поманила пальцем от двери. Мы вышли в коридор.

— Сонечка, голубушка, — прошептала разгоряченная Женька, — я выхожу замуж!

— Когда?

— Сейчас, немедленно! И прошу тебя, милая, — ее лицо светилось ликованием, наивностью, чистотой. — Прошу тебя!

— Что ты просишь? — не поняла я.

— Ну пойти, — смущаясь, сказала Женя. — Погуляй, понимаешь!

— Одумайся! — зашептала возмущенно я. — Ты видишь его один день, мыслимо ли, может, у него и семья есть.

— Все равно, все равно, все равно! — смеялась Женя, качая головой. — Ты же веришь в необыкновенную любовь! С первого взгляда!

— Ты пьяна, одумайся! — Я пыталась взять Женю за руку, отвести хотя бы на кухню, уговорить там, в синей предутренней тишине, но она вырвалась, хихикнув, юркнула в дверь, выскочила оттуда с моей шубейкой, кинула ею в меня, воскликнула тихонько:

— Вот увидишь, все будет хорошо, и он любит меня!

Я вышла на мороз, прислонилась к водосточной трубе, разревелась белугой, размазала слезы по лицу и пошла по Москве. Несколько раз меня останавливали патрули — в городе действовал комендантский час, слава богу, что у меня был пропуск — мы с Женькой служили медсестрами в госпитале.

Какая же она, какая, возмущенно судила я. Еще вчера мы не знали, как нам жить без мамы и без отца, и вдруг в такое время — замуж, точно в воду с обрыва.

Я будто споткнулась: может, от отчаяния. Но разве любят от отчаяния? Нет. С Женькой что-то случилось серьезное. Это как стихийное бедствие.

Обиженная сестрой, ее глупой выходкой, эгоизмом и, главное, тем, что такое важное решение она приняла без меня, я вернулась лишь к вечеру, после работы, выяснив в госпитале, что сестра срочно получила отгул.

Меня встретили как царицу — поцелуями, лаской, вниманием.

— Вы нас извините, — взял слово Андрей, добро-

душно, открыто улыбаясь, — но я ведь завтра возвращаюсь в часть.

Ну вот! Меня просто перевернуло. И я пошла на абордаж.

— Вы женаты?

— Нет! — Андрей смеялся до слез, а я сгорала от стыда, уговаривая себя: между прочим, это еще ничего не значит.

Андрей подсел ко мне ближе, взял за руку, посерьезнел сразу и произнес:

— Соня, вы старшая сестра и должны решить нашу судьбу, я безумно люблю Женю!

Я повернулась к летчику, разглядывала его глаза, пыталась выискать хоть льдинку лжи, но он был строг и серьезен.

— Чем поклясться? — проговорил Андрей задумчиво. — Хорошо. Памятью погибшей матери. Верите?

Что я могла ответить? Кивнула.

Женя и Андрей зарегистрировались в тот же день, и он уехал.

Андрей воевал под Москвой, пользовался геройскими привилегиями, порой появлялся в нашей коммуналке. Есть выражение — носит жену на руках. Андрей носил Женю на руках в буквальном смысле слова до самых последних дней. Больше я не встречала такого в жизни, даже не слыхала — они не сказали друг другу резкого слова.

В октябре родился мальчик. Узнав, что жена в больнице, Андрей вырвался в Москву и забрался по водосточной трубе на второй этаж роддома, прошел по карнизу к палате, где лежала Женя, и кинул ей, сильно испугав, букет кленовых листьев. Я стояла внизу, ахала и охала, а когда в окне появилась Женька, которой еще ни в коем случае нельзя было вставать, заплакала. От страха за сестру, за Андрея, от радости за них.

Андрей повел меня из роддома домой, вытащил бутылку шампанского, сказал серьезно:

— Сонечка, а теперь — за твое счастье!

За твое! Знал бы он, чем обернется мое счастье, хороший, добрый, верный Андрей, человек, рожденный для необыкновенной любви.

Я не раз потом думала: он вышел из сказки, на миг точку выбежал в жизнь, разбился о нее и исчез, совсем неготовый быть здесь, среди обыкновенных людей, сказочный герой, живущий по идеальным меркам.

Он погиб не на войне, хотя война была в разгаре. Через год, когда Женя ждала второго ребенка, Андрей приехал проститься — его переводили на другой фронт, по дороге домой заступился за старуху, у которой шпана отнимала сумочку, его ударили ножом, и он умер в сквере у метро, недалеко от дома, и, на беду, первой об этом узнала Женя.

Когда я пришла с работы, сестра сидела на столе, в зимнем пальто, болтала ногами и напевала:

— Я ма-а-аленькая балерина...

Мне показалось, она тронулась: искусанные в кровь, запекшиеся губы, желтое лицо — горе мгновенно перевернуло ее, сделало непохожей. Но Женя заговорила со мной осмысленно, только чересчур оживленно.

Потом были похороны, почетный салют из винтовок, к нам подходили военные, говорили обязательные слова, но я понимала — все еще впереди.

Женя сжалась, ушла в себя, не говорила даже со мной, только трогала округлявшийся живот, качала головой, и я — уже я — кусала губы. Скоро после похорон Женя вернулась домой совершенно пьяная — ее нутжно выворачивало, и я всю ночь провозилась с ней, ставя компрессы, подставляя таз, страдая от одной мысли об ужасном пути, который она может выбрать.

Утром, уходя на работу, возле двери, Женя сказала, успокаивая меня:

— Нет, это не для меня.

Она так постарела, что, когда я привела ее в роддом, врач долго присматривался к седой Жене — я чувствовала, что у него на языке вертится укор — такая старая, и ребенок, — но терпения хватило, и когда стали заполнять графу «возраст» в больничных бумагах, он так и вскинулся на Женю, переспросив с неверием:

— Двадцать один?

Мы внесли домой кулек с новорожденной девочкой, как тяжкий приговор — непойманного бандита и безмерной любви. Было уже известно — родовая травма, Жене предлагали оставить девочку в роддоме, требовалось лишь подписать бумажку, но она отказалась.

Снова нас стало четверо.

Я думала, новое горе утишит старое, вдохнет в Женю жизнь, заставит заботиться о детях, но все оказалось напрасным. Сестра страдала от безмерной любви.

Дети интересовали ее лишь физически — сыт, одет,

и ладно, и мне пришлось стать матерью еще при Жене. Я купала девочку, водила мальчика в ясли...

А сестра изредка повторяла:

— Я больше не могу! Не могу!

В то утро она оставалась дома, еще была в декретном отпуске, и когда я с мальчиком отправилась к двери, она задержала меня.

Никогда не забуду этот миг.

Женя точно пришла в себя, прижалась ко мне, погладила по голове, заглянула в глаза и прошептала:

— Ничего не получается, понимаешь? — Но я не понимала, тягостные мысли о заботах дня терзали меня.

— Я пробовала, но не выходит, — просяще проговорила Женя. И поцеловала меня. — Прости!

Я принялась ее успокаивать, уложила в постель, взяла с нее слово немедленно успокоиться и ушла.

Когда вернулась, Женя лежала в той же позе. Я окликнула ее, она не отзывалась. В тревоге я кинулась к ней и отдернула руки: она уже окоченела. Рядом, в кулке, ворочалась и мычала девочка.

Женя достала много снотворного. И ушла от нас.

Думала ли она про Сашу и Алечку? Не могла не думать, но и себя побороть не могла. Волшебная, безмерная, невероятная любовь уничтожила, развеяла в прах Женину жизнь.

Мне предлагали отдать детей государству, я наотрез отказалась, а когда Саша немного подрос и стал чуточку смысленей, я уволилась из госпиталя, собрала нехитрые пожитки и навсегда исчезла из старого дома, чтобы детей не мучила тяжкая память. Алю она не могла мучить, а вот Саша...

Я уехала отсюда навеки, оборвала с домом всякую связь и вот снова возле него.

А привез меня внук.

Мы вернулись совсем другими. По крайней мере я.

Что-то сорвалось во мне, какая-то задвижка, державшая память.

Я многое рассказала Игорю, почти все. Рассказать все невозможно. Все — уйдет со мной, навсегда.

Это все — вот что: я ведь любила Андрея.

Мучительно, горячо и тайно. Сначала испугалась, потом полюбила, проклиная себя. Пыталась погубить свое чувство ревностью к Жене и не могла. Причина одна — мы родились вместе, и невозможно ревновать к половине своего тела. А Женя — моя половина.



Не спорю, мое чувство отличалось от того, какое судьба подарила сестре. Оно было слабее, это бесспорно. И силу ему, пожалуй, придавала лишь его невозможность.

Я любила тайно, мучительно, а когда становилось неумогу, уходила из дому, ночевала у подруг, не желая видеть даже Женю.

Чувствовали они — сестра или Андрей? Нет. Собственная любовь делала их слепыми. Они не видели, что творится поблизости. И слава богу.

Но когда их не стало, я оказалась перед трудным выбором. Ведь и я была половинкой сестры. А любовь, угасающая без любимого, ничего не стоит.

Нет, выбора не оставалось, это теперь, задним числом, прожив жизнь, я придумала слово «выбор».

Похоронив Женю, я оформила усыновление Саши, удочерение Али, уехала из Москвы. Бежала без оглядки, думая лишь о детях, и там, в милом моем городе, потихоньку обрела покой. Не зря Мария посмеивалась насчет непорочной девы...

Что-то худо мне становилось, худо, голова разламывалась от груза памяти. Я пожаловалась Игорьку.

Он встревожился, уложил меня на диван, взбил подушку, дал таблетку цитрамона.

Я лежала, внук сидел в ярком круге света, который бросал торшер, в центре мишени, и, как я когда-то, маялся неясными вопросами.

— Ба! — сказал он. — И ты их не бросила!

— Чего в этом особенного? — проворчала я. — Без них мне было бы в тысячу раз хуже.

Хуже? Вышла бы замуж, глядишь, нарожала своих детей, испытала бы полноценное материнство, а любовь — в конце концов, разве могу я теперь сказать, что люблю Андрея? Было, но исчезло, растворилось, забылось временем, беспощадным его лѐтом.

Что же осталось? Долг?

А чем, собственно, так уж постыдно исполнение простых человеческих обязанностей? Плюнула на себя, о себе не подумала?

Но разве мыслимо все рассчитать? Да и нужно ли?

Так вышло вначале, а потом опоздала, пропустила свое, и время такое: после войны женщин много, кому нужна с двумя-то?

Но хватит о себе, хватит. Игорек смотрит на меня

вопрошающе, точно не может в чем-то разобраться, я беру его за руку, прошу:

— Только, чур, внучек, никто не должен знать.

— Клянусь! — отвечает Игорь, как когда-то, давным-давно, сказал Андрей.

Он смотрит на меня внимательно, и мне по-прежнему кажется: Игорь о чем-то мучительно думает.

Но он молчит.

Перед сном я долго хожу, переставляю на кухне посуду, успокаиваюсь потихоньку, потом подхожу к Игорю поцеловать его.

Он лежит на раскладушке, укрытый одеялом только до пояса, и я люблю его молодым телом — сильными руками, грудью, обтянутой майкой, — она поднимается при вдохе мощно и как-то покойно. Мой юный бог — почти сложившийся человек, физически, во всяком случае, я глажу его по макушке, целую в висок.

И вдруг внук хватает меня за руку. Я вижу встревоженный взгляд, беспокойство, страх.

Страх маленького, беспомощного, одинокого человека.

Он держит меня за руку и говорит с силой:

— Не уезжай, ба!

И столько в этом тоски, отчаяния, что я присаживаюсь на край раскладушки, успокаиваю его, говорю какие-то необязательные слова.

Он замирает, улыбается мне, наконец закрывает глаза.

Я глажу, глажу его руку. Он дышит ровно и спокойно.

Спит.

Как я могла не уехать, ну как? Дома Алечка со студенткой из медицинского, я привязана к дочке навеки, она моя последняя бухта, я — корабль на тяжелом якорю.

И вот настает последнее свидание.

Взрослые в двух машинах, я еду с Сашей и Эльгой на «Жигулях», Ирина с Борисом — в «Волге». Игорь летит перед нами на красном мотоцикле в красном шлеме и красном спортивном костюме — настоящий матадор, оседлавший железного быка.

Когда выезжаем на шоссе, ведущее в аэропорт,

Игорь пристраивается рядом, едет колесо в колесо с отцом, машет мне рукой.

— Осторожно, Игорек, — кричу я ему в окно, но он не слушается. Когда приближается обгоняющая машина, он отъезжает вперед, потом пристраивается снова — выходит как-то лихо, неосторожно, я охаю, но Саша смеется, ему кажется — сын соревнуется с ним. Сын не понимает Игоря — мальчик что-то хочет сказать своей ездой: сопровождает кортеж? Хочет, но не может быть рядом?

В аэропорту нам остается мало времени: объявлена посадка. Прощаемся.

Сначала посторонние — Борис и Эльга, дай бог добра и силы, вам она потребуется, милые мои, будьте покойны. Я целуюсь с ними, усвоила столичные нравы, что поделаешь.

Дальше — Ирина. Она уже на сносях, давит меня животом, смеется, надеясь, что этот жест означает родственную фривольность, и мне не остается другого, как неискренне подхихикнуть.

У Ирины ощущение, что я уезжаю успокоенной, умиротворенной. Здравый смысл, кажется ей, убедил и меня, но я гляжу на нее и думаю про другую ее аксиому. Что ж, сейчас другое время, и вовсе не следует афишировать прямолинейные девизы юности — слишком вульгарно для новых времен. А ведь было когда-то: «Любой ценой!»

Любой ценой выходит и теперь, только вот лозунг устарел, требует обновления или камуфляжа, уж как выйдет!

— Не сердитесь, голубушка, Софья Сергеевна, — ласково шепчет мне на ухо Ирина, и в ее шепоте мне слышится снисходительная усмешка: так и быть, мол, старая кляча, видишь, я ублажаю тебя, твое старомодное ханжество, мораль, траченную молью. И даже готова склониться перед тобой — в конце концов ты кое-что сделала для меня, это вовсе не трудно, ведь через минуту ты уйдешь в самолет и мы расстанемся на долгие годы. Если б не Игорь — то навсегда.

— Ты выбрала не то слово, — шепчу ей в ответ довольно ехидно.

— Что делать? — парирует опытная фехтовальщица снова мне на ухо, чтобы никто не слышал. — Их так мало, этих слов.

— Слов много, — шепчу я ей, не желая сдаваться.

— О чем вы там так долго шепчетесь? — смеется Саша, и Ирина говорит громко, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не пропустил ее слов.

— Я говорю, что если родится девочка, мы назовем ее Соней!

Удар сразу по двоим — по Саше и по мне.

Меня обнимает сын. Бедный Саша! Но почему, наконец, бедный? Он — богатый, оказывается, не только воля, но и безволие может привести человека к успеху. Не все ведь знают, что этот успех — мнимый.

До свидания, сын! Ты не знаешь, как я хранила тебя от тяжелой памяти. Сохранила! Но для чего? Для того, чтобы ты оставил своего сына?

Я знала, в самолете, потом, когда мне придется не раз обдумать собственные поступки, знала — многое придется пересчеркнуть. Вот беда — заново ничего не напишешь.

Мой Игорек! Прижался ко мне, моя кровинка, мой самый родной человечек. Я боюсь, он повторит — «Не уезжай!» — боюсь, потому что не могу выполнить эту просьбу, но он молчит.

— Пока, ба!

Я ухожу по стеклянному коридору для пассажиров, оборачиваюсь, поднимаю руку, приветствуя всех, а вижу лишь Игоря.

Он размахивает обеими руками, и у него над головой образуется красный крест из пересекающихся рук.

Я вижу его, вглядываюсь в ясное лицо мальчишки и понимаю: никакой он не мальчишка, а мыслящий, страдающий человек.

Моя совесть.

Я звонила ему, спрашивала о новостях, говорила:

— Приехать?

— Как же Аля? — спрашивал он в ответ и говорил: — Нет! У меня — полный порядок.

Ирина родила сына, и ей не пришлось отступаться от красивой фразы — облегченно вздохнула, пожалуй. Саша наслаждался автомобилем, собирался будущим летом на юг. Игорь согласился отправиться с ними.

— Как ты живешь? — терзала я Игоря, заранее зная ответы.

— Полный порядок, — отвечал он. А я была уверена: одинешенек.

И вдруг жизнь моя кончилась.

Раздался телефонный звонок, и человек, назвавшийся Александром, — я не узнала сына — сказал, чтобы я вылетала в Москву.

— Что случилось? — крикнула я.

— Игорь...

— Что — Игорь?

— Погиб.

Я принялась стучать по рычажку, зарыдала.

— Кто это звонит? — кричала я. — Что за дурацкие издевательства?

— Звонит Саша, — сказали в трубке, — твой сын. Ты не узнаешь?

Он погиб, врезавшись в тяжелый, груженный песком грузовик. За рулем машины сидел пожилой человек. Увидев красный мотоцикл, он сумел остановиться. Там было круговое движение — вокруг клумбы на перекрестке, мотоциклу следовало уступить дорогу, но он не уступил, а самосвал, видя ошибку мальчика, смог остановиться. И тогда мотоциклист помчался ему навстречу — прямо в лоб.

Игорь хорошо водил мотоцикл, и хотя предполагалось, будто он растерялся по неопытности, я не верила в это.

Несправедливо, когда умирают люди моложе тебя.

Ужасно, когда прежде тебя уходят твои дети.

Немыслимо, если погиб внук, твой мальчик.

Зачем, зачем такая несправедливость?

Все смешалось во мне, и я забыла, кто я такая. Молодая? Старуха? И кто эти люди вокруг меня — безликая, размахивающая руками стенка.

А дети, много детей, откуда они и кто?

Кладбище, желтая глина. Тишине мешают слова — то тихие, то громкие, — подумать бы, сосредоточиться, вспомнить.

— Где Игорь? — спрашиваю я, и меня хватают за руку:

— Тише!

Это женщина, лицо неразлично.

— Ты — Ирина? — спрашиваю я.

— Эльга.

— А где Игорь?

— Тише!

Знакомая комната, я ненадолго узнаю лица.

Вот они, Саша и Ирина. Я пытаюсь разглядеть их, ничего не выходит. Маски.

Ах, маски! Я припомнила, что в молодости у Ирины было много масок. Одна из них.

Я напрягаю всю свою волю, возвращаюсь в действительность.

Нет, у Ирины жалкое, измученное, похудевшее лицо. Маски потеряны; она осталась голышом — глядит на меня с испугом:

— Как жить, Софья Сергеевна?

Как жить тебе, это не вопрос. Вот как жить мне? Как дожить?

Саша скукожился в углу, худощавое, слезливое лицо его вытянулось оттого, что провалились щеки.

Ну вот! Вы пришли, к чему стремились.

Как эхо, повторяю дрожащими губами:

— Вы пришли, к чему стремились!

Больше не стоит. Достаточно и этого. Остальное пусть вспомнят сами: любой ценой! здравый смысл!

Проклинаю себя, что поверила, будто Игорю трудно привыкнуть к мачехе или отчиму.

Еще одно вертится во мне, но я долго не могу правильно выразить собственную мысль. Наконец говорю:

— Когда человек не нужен близким, он умирает.

— Он так неаккуратно ездил! — плачет Саша. Не понял, о чем я говорю.

— Все равно, старик или мальчик, — продолжаю я свою мысль.

Повторяю оупело:

— Когда человек не нужен близким, он умирает.

Еще думаю про судный день, про высшую меру.

Не приведи господь никому такого! Даже самым великим грешникам!

Помню себя: сижу за столом, ем в мрачной тишине, а одной рукой сжимаю сумку, свой старый ридикюль.

И потом — прижимаю его к груди, на вокзале.

Саша и Ирина идут поодаль друг от друга, рядом с моим вагоном, и хрупкая рука девочки-проводницы отдаляет меня от них.

Я наглоталась успокаивающих, сейчас лягу спать — при мне ридикюль, при мне! — а им оставаться тут.

Никогда не видела у Ирины такого человеческого лица!

Никогда не видела сына таким сломленным!

Я уезжаю, прощайте.

Я просыпаюсь. Колеса гремят на стыках, мешают спать.

И тут я вспоминаю про Алю.

Ее бессмысленное, лишенное разума лицо выплывает из утреннего рассвета.

Я люблю разглядывать Алю, когда она спит. Редкие крапинки веснушек, губы, точно обведенные карандашом, черные стрелы бровей, мохнатые ресницы.

Задумывалась как совершенство, а беда уничтожила всякий смысл существования. Но разве Алечка виновата?

И разве думала, смела, могла я бросить ее?

Человек невиновен, когда его вызывают к жизни.

Человек умирает, если он не нужен близким.

Я приподнялась, откинула штору — за окном кружился белоствольный березняк.

— Алечка! Аля! — прошептала я. — Потерпи немного! Я тороплюсь к тебе!

# Каждый год, в сентябре....

РАССКАЗ

Каждый год, в сентябре, приходил день, который Анна Павловна ждала со странным смятением.

Она была стара, совершенно седа, и многие события жизни ее уже совсем не трогали; мимо проходили и праздники с кумачовыми флагами, с веселыми песнями, с оживлением в магазинах и во дворе. Анна Павловна отмечала и Май и Октябрь, пекла скромный пирог с повидлом или творогом, пила чай в одиночестве или с немногими своими друзьями, но все это было для нее чем-то бытовым, обыкновенным, простым.

День в сентябре она ждала целый год, задолго начинала к нему готовиться. Хлопоты доставляли ей истинную радость: несмотря на большую ногу — тромбофлебит, — она отправлялась на дальний рынок, чтобы купить продукты получше, посвежее, и не жалела для этого своих небольших сбережений. Входя домой после дальней поездки, усталая, с тяжеловатой авоськой, она по привычке бросала быстрый взгляд на автопортрет мужа, написанный им еще до их встречи — он там совсем молодой, — и едва заметно улыбалась. Эти встречи с портретом происходили по нескольку раз в день, но чем ближе подступал сентябрь, тем тревожней взглядывала Анна Павловна на мужа.

Тревога и смятение были непонятны ей. Может быть, от долгого ожидания? Наверное, от долгого ожидания. Конечно, от долгого ожидания, от чего же еще?

Накануне праздничного дня она заснула с трудом, а проснувшись, с минуту не открывала глаз, улыбаясь, загадывая, будто какая-нибудь восьмилетняя девчонка, свое бескорыстное желание, и знала наперед, что оно, конечно, сбудется.

Так уж выпадало в ряду многих-многих лет, что этот долгожданный день всегда выдавался солнечным. Бывало, накануне шел мелкий дождь, и небо было затянуто низкими, обложными тучами, не предвещая никакого просвета; Анна Павловна засыпала в тревоге, но,



открыв глаза, всегда видела возле своей кушетки, на желтом, чисто вымытом полу, пучок солнечных зайчиков, похожий на букет цветов.

Улыбнувшись, она опустила руку, чтобы потрогать этот букет, солнце просветило голубые жилки в ее прозрачной ладони, тронуло едва ощутимым теплом дряблую, морщинистую кожу, окаймив светом золотое колечко с камушком александрита: его подарок. Анна Павловна сжала пальцы, чуть повернула руку, заставив камешек заиграть гранями, и, откинувшись на подушку, она подумала, уже не в первый раз подумала с облегчением и готовностью, что хотела бы умереть именно в этот день, который она ждет целый год и который теперь, после многих лет жизни и испытаний, стал для нее настоящим праздником памяти и души... Ведь с легким сердцем уходить проще и благодарнее по отношению к жизни, вот и все объяснение ее странному — и не странному! — желанию.

Одевшись и заплетя волосы в жиденькие седые косички, Анна Павловна вышла из дому. Прохожие спешили на работу, не замечая ласковых солнечных лучей, летящей из ближней рощи паутинки, алеющих в глубинах затененных домами палисадников мальв, не ощущая едва уловимого запаха флоксов, смешанного с бензиновыми выхлопами автомобилей; но Анна Павловна ощущала, видела, чувствовала все это. Казалось, обоняние и осязание обострились до предела — вот так же, всеми клеточками своего тела, чувствовала Анна Павловна мир, когда была молодой, в дни своего счастья — окончания гимназии, поступления в театр, первого замужества... Все вокруг принадлежало ей, и сама себя она считала неотъемлемой частью этого мира. В такие мгновения она казалась себе совершенной, здоровой, красивой. И еще — умиротворенной. Счастливой. Жизнь ей нравилась, ни о какой смерти уже не думалось; прохожие, даже самые неприятные и грубые, казались милыми, благородными людьми...

Улыбаясь, Анна Павловна дошла до станции метро, выбрала у цветочницы несколько свежих, недавно срезанных астр с капельками еще сохранившейся утренней росы, сложила головки в ей одной ведомый букет и отправилась назад.

Она шагала, посмеиваясь над собой: рядом с ней, отражаясь в стеклянных витринах магазинов, двигалась старуха, прямая оттого, что в руке у нее были астры с

капельками росы, а старуха задалась важной целью донести до дому не только астры, но и росу...

Войдя в прихожую, она улыбнулась портрету мужа, пронесла цветы на кухню, осторожно опустила их в вазу, приготовленную с вечера, налила из-под крана холодной воды.

Хрустальная ваза запотела. Анна Павловна вернулась в прихожую и поставила цветы на полочку под портретом.

Она вглядывалась в автопортрет молодого мужа, написанный в очень плотных черно-синих тонах, вдыхала тонкий запах его любимых цветов, и на сердце у нее было светло и ясно.

Анна Павловна стояла так долго, чуть прикрыв глаза, словно вспоминая что-то, потом провела рукой по портрету, вздохнула и, шаркая тапочками, пошла на кухню...

День обещал быть удачным во всем. Анна Павловна напевала про себя какую-то новомодную песенку — совсем не в ее строгом вкусе и тем не менее привязчивую, — дела у нее спорились, блюда заполнялись закусками, в холодильнике застывал холодец, на подоконнике золотилась рябиновая настойка, приготовленная по особому, еще маминому, рецепту — для мужчин, если появятся.

Готовясь к празднику, Анна Павловна прислушивалась, не зазвонит ли телефон.

Часы в прихожей гулко ударили десять раз.

Телефон зазвонил, это было естественно, он должен был непременно зазвонить, и Анна Павловна ждала этого мгновения, и все-таки от резкого звонка ее пронизал какой-то озноб. Она торопливо вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, взяла, улыбаясь, трубку.

— Я поздравляю вас, Анна Павловна, — услышала она знакомый Сережин голос. Не давая ей ответить, Сережа продолжал скороговоркой, как бы перебивая сам себя: — Летом я написал много пейзажей, знаете, я делал их на маленьких картонах, величиной с ладонь, как открытки, понимаете, их можно увидеть все сразу, и будет впечатление целой местности, это возле нашей дачи, я захвачу вечером, и еще у нас вышел Тютчев, которого сделал я, так во сколько сегодня?

Он на мгновение утих, и Анна Павловна припомнила Сережу тогдашнего, но припомнила лишь на мгновение, словно выхватила пожелтевшую фотографию из старого

альбома и тут же сунула ее обратно. Надо было отвечать, Сережа ждал на том конце провода, ему, конечно, надо было куда-то там мчаться или возле него стояли люди, а он бесцеремонно взял трубку, набрал номер, выложил свои мысли, а теперь ждал...

— Спасибо, Сереженька, — сказала наконец она, — вы, как всегда, самый первый. Сегодня в семь, но приходите раньше, приходите сразу после работы, если у вас пейзажи с собой, а если нет, обязательно захватите...

— С собой, с собой, приеду сразу, — затараторил Сережа, но теперь он действительно торопился, значит, и в самом деле возле него стояли люди, — пока, до вечера!

Он не дождался ее ответа, в трубке раздались короткие гудки, Анна Павловна послушала их, покачала головой и направилась на кухню.

Что-то она вспомнила у телефона, но что? Ах да, Сережу тех времен. Он всегда швыркал носом, и она вечно давала ему платки, которые он непременно терял, а ноги всегда у него были мокрые, он был зеленущий от холода и от недоедания, и Анна Павловна пичкала его гематогеном, который покупала специально для него. Костя, когда уходил Сережа, говорил, что художника из мальчишки никогда не получится, слишком уж он неусидчив и слишком поспешны его мысли. И все-таки Сережа был любимым Костиным учеником.

Другие ученики были и ярче и даровитее, и они то приближались к Косте, вызывая ответную влюбленность, то постепенно или вдруг — смотря по характеру и обстоятельствам — отходили, а Сережа был постоянен.

Костя всегда и все переживал, близко принимал к сердцу, когда самые даровитые его ученики перебегали к другим учителям, более именитым: было в лучах славы, видимо, всегда теплее, от чужой славы перепадает и другим, менее талантливым, а главное, небольшое дарование рядом со звездой светит само как бы поярче, по крайней мере жизнь рядом со светилом всегда приятнее, легче, инерция славы распространяется и на учеников — шутка ли, ученик знаменитого К. или там Т.! Вот они и уходили, а Сережа оставался всегда. Может быть, понимая, что настоящий художник все равно из него не получится? Хотя вряд ли...

Анна Павловна задумалась. Сережа, кажется, никогда об этом и не думал — он всегда торопился, говорил по телефону скороговоркой; такие люди, наверное, надолго не задумываются, но это еще не значит, что они поверхностны, неумны. У Сережи оказалось привязчивое, доброе сердце, и, однажды полюбив Костю, он не мог ему изменить.

А ведь Костя был прав, неожиданно подумала Анна Павловна, художника из Сережи не вышло, он служит художественным редактором в издательстве, пишет пейзажи — для себя! — он всегда это подчеркивает, смеясь: «Я самый свободный художник, потому что никуда не стремлюсь, ни на какие выставки, а пишу для себя, понимаете, только для себя!» Но почему же он выбрал эту профессию? Он не умеет ничего, кроме этого, но и это умеет плохо, без таланта тут нельзя... Да, да, мысль была неожиданна, она не приходила раньше к Анне Павловне, за столько лет ни разу не приходила. Значит, он выбрал этот путь из-за Кости, из-за своей привязанности к нему, отказаться от которой значило бы предать, как другие. И он предпочел стать художником, пусть плохим. Впрочем, почему художником? Художественным редактором — это же совсем другое, попыталась успокоить себя Анна Павловна. Но тут уж получался самообман. Нет, самообман не для ее лет, подумала Анна Павловна и вздохнула, проведя рукой по повлажневшим глазам. Милый, милый Сережа!..

День тянулся медленно и ровно; задолго до семи Анна Павловна раздвинула стол, неспешно накрыла его хрустящей крахмальной скатертью, расставила приборы, вино, холодные закуски, потом переоделась. Платье это из темно-синего плотного материала с кружевным воротничком было особенным, оно надевалось только в этот сентябрьский день, один раз в году. Анна Павловна не считала себя суеверной, не верила приметам, но эту традицию установила сама и ни разу ее не нарушала. Синее платье с кружевным воротничком она сшила незадолго до Костиной смерти, к его дню рождения — он лежал тогда в больнице, был уже обречен, — и она справила обнову, чтобы порадовать его. Он это понял — они всегда понимали друг друга без слов, — развеселился, кажется, немного, а потом сказал те слова...

Боже, те слова... Он лежал один, в небольшой палате, его поместил туда главврач больницы, его приятель по Парижу — он практиковался в какой-то клинике, и Костя познакомился с ним в поезде, кажется, его фамилия Гальперин. Так вот, Гальперин опекал Костю и поместил его в ту отдельную палату. Это было старое здание с высоченными потолками, и Костя сказал тогда ей эти слова о стенах.

— Какие стены! — сказал он, не скрывая горечи. — Какие высокие стены! Сколько полотен можно было бы развесить...

У нее сразу навернулись слезы, она быстро отошла к окну, чтобы Константин ничего не заметил. Глядя за окном, она принялась рассказывать, что видит на улице: Костя любил, когда она говорила про улицу, он немного отвлёкся и больше не вспоминал о стенах. Но Анна Павловна навсегда запомнила тоску, с какой он сказал это. Запомнила. Разве в этом дело? Как могла она не запомнить его многолетнее страдание! Она жила им, может быть, даже больше, чем сам Костя.

Анна Павловна села в кресло у телефона. Кресло стояло в углу, отсюда было хорошо видно всю комнату, шифоньер, как бы делящий ее пополам, цветастую занавеску из того же материала, что и шторы, протянутую от шифоньера к стене, пианино, кушетку, но главное, стены... Стены в стандартном малогабаритном доме были меньше вдвое против тех, больничных, но они были увешаны от потолка до пола полотнами Кости. Подряд, одна к одной, в золотистых багетных рамах они были тут много лет, с тех пор как их старый деревянный дом снесли и Анне Павловне дали эту однокомнатную квартиру. Костина выставка была теперь всегда, все время, и Анна Павловна состояла при ней постоянной хранительницей и постоянной зрительницей. Приходили друзья, немногие знакомые, любовались Костиными работами, но они уходили, а Анна Павловна оставалась, живя среди картин, и ей было обидно за Костю. Он любил ее, конечно, и верил, что она не бросит этот, как он выражался, «хлам», но мечтал он, конечно, не об этом. Он никогда не повторял, сказал лишь один раз, и этого было для нее достаточно.

— Русский художник, — сказал он, — должен быть, если достоин этого, в Русском музее.

— Но чем хуже Третьяковка? — спросила она, ста-

раясь как бы утешить его. — И вообще любой музей? — Не хуже, — ответил он равно. — Но прежде всего — Русский музей.

Когда он умер и Анна Павловна осталась одна с десятками полотен, которые никому не были нужны, она впервые ощутила это странное чувство — чувство материнства. У нее не было детей ни в первом браке, ни с Костей, она мучилась от этого, завидуя другим женщинам, которые все подряд жаловались на своих детей — маленьких и взрослых. Быть совсем одной, особенно в старости, — это ужасно, тут не нужен никакой опыт, никакие примеры. Анна Павловна страшилась одиночества, как и всякая женщина, — одного она никак не могла понять: почему женщины жалуются на детей? Любят, переживают за них — и все-таки жалуются, словно дети — это тяжесть.

Она поняла эти жалобы, когда осталась одна с Костиными картинами. Полотна надо было куда-то устроить. Они напоминали детей. Детей нужно вырастить, выучить, выкормить, вывести в люди, а это тоже устройство. С той разницей, что дети растут, что они становятся взрослыми, что они живые люди, а живые люди могут и сами постоять за себя. Полотна же молчали, и постоять за них могла только она, единственная их мать.

Вначале Анна Павловна жила, наслаждаясь полотнами, испытывая тихое удовлетворение: картины были на месте, для них были созданы условия, у них был зритель и хранитель. Полотна делали комнату уютной. Анна Павловна усаживалась по вечерам в это кресло с чашкой чаю, согревалась его ароматом и со временем открывала для себя все новые и новые свойства Костиных картин. Некоторые из них, увиденные ею раз, так и оставались неизменными, другие же открывались снова и снова. То вдруг она замечала, что какая-то несущественная на первый взгляд деталь очень существенна на самом деле, то цвет полотна при определенном свете из окон начинал звучать особенно, по-новому и придавал картине новое движение и теплоту. Больше всего ее поражало маленькое полотно — три мальчика с трубами, — Костя писал картину в Испании. Мальчики были написаны гуашью как-то странно — нечетко, размыто. Маленькие трубачи то прятались в дымку, то словно выступали из этой размытости, и тогда глаза их сверкали, и, казалось, была слышна музыка.

Впрочем, иногда Анне Павловне казалось, что она все это выдумывает, что у нее какие-то галлюцинации. Однако в Костином архиве хранился каталог его парижской выставки с предисловием Луначарского, который командировал его в Париж, Рим, Мадрид. Несколько писем знаменитых художников, которые выражали восхищение работами Кости. А главное, был еще Сережа, который часто приходил к Анне Павловне и всегда громко, хоть и скороговоркой, повторял, что Константин Федорович — замечательный художник, заслуживающий всяческого почета...

Он прискакал, конечно, первым, этот Сережа, с порога начал сыпать мелкие свои новости, расставил маленькие картонки с пейзажами, написанными неглубоко, неровно, потом подарил книжечку Тютчева со своими перьевыми рисунками.

Анна Павловна похвалила рисунки, внимательно разглядела пейзажики и снова раскрыла Тютчева.

Неожиданно она засмеялась.

— Не думал, — сказал Сережа, — что Тютчев может рассмешить.

— Я тоже, — улыбнулась Анна Павловна, — но послушай: «Не рассуждай, не хлопочи!.. Безумство ищет, глупость судит; дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, то будет. Живя, умей все пережить: печаль, и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит — и слава богу!»

— Что же тут смешного? — проговорил Сережа непривычно медленно. — Очень даже серьезно. И подходит ко мне. Вполне!

Анна Павловна смутилась, о Сереже она не думала, а думала о себе; последний год у нее, старухи, к которой, кажется, очень подходили бы такие стихи, прошел совсем по-другому, и сегодня она хотела об этом сказать Сереже и другим, если придут эти другие. Но Сережа примерил к себе, оказалось — подходит, и вышло неловко, в самом деле неловко, словно Анна Павловна хотела укорить его...

Она хотела объясниться сразу и уже сказала какие-то слова, как раздался звонок.

Сердце Анны Павловны дрогнуло — ведь она никого не приглашала в этот день, никого, ни в один год, друзья приходили сами, помня эту дату и ее, Анны Павловны, традицию, но время сглаживало все, и некоторые уже

забывали сентябрьский день, другие не вспомнят никогда.

Анна Павловна кинулась в прихожую, распахнула дверь, радостно запричитала. На пороге стояла Леночка, все та же Леночка, несмотря на годы и материнство, розовощекая хохотунья, с фарфоровыми зубками, за ней горой возвышался ее Борис с флоксами в целлофановой обертке. Анна Павловна обняла их, провела в комнату, там начался настоящий гвалт — тараторил Сережа, кричала что-то Леночка, погромыхивал рокошующий глас Бориса, с ходу начавшего ругать Сережины пейзажи, и она вспомнила печальный день Костиных похорон: за гробом шли немногие старые друзья, те друзья, которые не были связаны с ним искусством — из художников не пришел никто, — и еще студенты политехнического, человек десять. В последние годы Константин руководил самостоятельной студией при институте, чтобы как-то жить, иметь заработок: картины брали для салонов очень редко, и он учил будущих инженеров, поощрял их увлечение. Из тех десяти не забывают его только Леночка и Борис. Какое дело инженерам до какого-то неудачливого художника? А Леночка и Борис вот помнят. Впрочем, им просто трудно забыть Костю — ведь их роман развернулся в Костиной студии, на глазах у него и у Анны Павловны, их визиты, конечно, память о собственном прошлом... Но если это даже и так, она благодарна им все равно. Борис и Леночка давным-давно закончили политехнический, занимаются своими делами. Борис, правда, временами переводит линолеум, как он выражается, хотя сам уже начальник какого-то крупного кабэ с многосложным названием.

Анна Павловна исполняла роль хозяйки, говорила какие-то слова, рассаживала гостей, но не переставала волноваться. Тогда, в день похорон, она страдала оттого, что на похороны мужа не пришел ни один художник. Она сама была актрисой и помнит, прекрасно помнит тот мир, неожиданно исчезнувший, истаявший, как дым, для нее, для Кости. Она могла бы поддерживать отношения и с тем миром, и вначале к ней прибегали подружки по старому театру драмы, но Константин был один, к нему-то никто не приходил, и Анна Павловна прервала нити, связывающие ее с прошлым. Она решила: если связала судьбу с одиноким художником, значит, и сама должна быть столь же одинокой — такая постановка вопроса, казалось ей, помогала преодолевать



им вдвоем Костино одиночество — он уже не был теперь одинок. Их маленький мир, состоявший из них двоих, был равноправным миром, со своей жизнью, пусть нетакой бурной, как обстановка премьер и вернисажей, но, может, оттого и более устойчивой. Да, так вот она волновалась, глядя на Сережу, на Леночку и Бориса, и поняла много-много лет спустя, что эта молодежь, шедшая за Костей, была как бы его наследством, которое он оставил вместе со своими полотнами. Да, да... Его сверстники, художники, уже ушли, их нет; если бы они дружили, Анна Павловна ощущала бы, наверное, скорбь, переживала утраты, но стариков в ее окружении не было, а была та самая зеленая молодежь, ставшая ныне вполне взрослой, и тут стояло, ей-богу, стояло волноваться, потому что старики, какие бы ни были они народные и знаменитые, они все-таки, как и сама Анна Павловна и Константин, тоже вчерашний день, а вечные ценности — мудрость, стихи, музыку, картины — нужно передавать молодым, то есть дню завтрашнему.

Анна Павловна остановила себя на мысли, что думает, пожалуй, слишком возвышенно, и улыбнулась: все-таки она бывшая актриса, проповедовала когда-то со сцены высокие истины, и это, значит, не исчезло бесследно.

— Друзья мои, — сказала она, успокаивая себя и отмечая, что вот так, от одних только мыслей, она волнуется каждый раз в этот день; уже старость, значит, можно бы и похладнокровнее, поспокойнее. — Друзья мои, — повторила она, и голос ее сорвался, — прошу, к столу, уже пора.

— Никто не придет больше? — спросил Ссреза и запнулся — так насмешливо взглянула на него Анна Павловна.

— Если даже, — торжественно и чуточку высокопарно произнесла она, — если даже не придете и вы, мои друзья, и я останусь в одиночестве, это еще не значит, что не пришел никто. Пришла я...

— Ох, Сережка, — засмеялась Леночка, — вечно ты бухаешь не подумав!

Сережа покраснел, но тут же бойко объяснил:

— Простите, Анна Павловна, дурака, это просто вывралось невзначай, я же знаю, что вы никогда никого не зовете.

— А это интересно наблюдать, Сережа, не правда ли? — улыбнулась ему Анна Павловна, пытаясь сгладить свою никчемную резкость. — Помнишь, сколько было народу прежде?

— Жизнь идет, люди уходят, исчезают слабые друзья, а картины Константина Федоровича остаются всегда. — Борис поднял рюмку. — Выпьем за него!

— Я вас поздравляю, Анна Павловна, — сказала Леночка, — и нас всех поздравляю тоже. — Она оглядела присутствующих. — Поздравляю с днем рождения Константина Федоровича.

Они чокнулись старинными хрустальными бокалами, тонкий звон прокатился по комнате, и, прежде чем прихлебнуть вина, Анна Павловна сказала печально, однако без тоски и без грусти, потому что думала о Константине всегда светло:

— Ему было бы теперь восемьдесят два...

И засмеялась тихонько. Она не могла представить его стариком. Даже в день смерти он не был стариком. А тогда... Тогда...

«Живя, умей все пережить: печаль, и радость, и тревогу. Чего желать? О чем тужить? День пережит — и слава богу!» — вспомнила Анна Павловна тютчевские стихи из Сережиной книжки. Она засмеялась сегодня над ними. Сегодня засмеялась, а тогда она так и жила. Первый муж умер во время войны, он был сердечником, умер не на фронте, а в командировке, она съездила к нему на могилку, убивалась, потом замкнулась, ушла в себя, с трудом работая в театре, потому что там требовалась полная раскованность, а ее словно судорогой свело. Она так тогда и жила, как у Тютчева: «День пережит — и слава богу!» Потом — Победа. После войны все оказалось еще сложнее — для нее по крайней мере. Надо было жить дальше. Пока воевали, никто по-настоящему не жил, все ждали победы, ждали вестей с фронта, жили только войной, а тут оказалось, что есть еще другое. Тогда многие растерялись — беда и горе отошли, остались послевоенные лишения, но их переносили легче, надеялись на лучшую жизнь, и она постепенно приближалась. Женщина еще не старая, Анна Павловна ждала чего-то, хотя чего?.. Любви? Нового чувства? Она не верила в это, считала: чувство бывает один раз, и для нее все позади.

Как-то она стояла в очереди, давали селедку, очередь

за ней занял высокий бледный человек в поношенной шляпе, от него пахло чем-то едким, скипидаром, что ли, Анна Павловна поморщилась, мужчина заметил это, извинился и представился, сняв шляпу. Это тронуло ее. Человек, снявший шляпу в разговоре с женщиной, тогда выглядел по крайней мере чудачком. Они разговорились, мужчина проводил ее до дому.

Оказалось, что он художник, и Анна Павловна отнеслась к нему как к коллеге, почему бы и не поговорить и не позволить себя проводить?.. Потом она переехала к нему, в деревянный дом на окраине города, оставив тесную комнатушку в центре и театр, потому что конфликты в театре переплелись в тесный клубок — требовались компромиссы, их она не желала и оборвала все в один день. Отсекла свою прежнюю жизнь, начав новую с Костей и только теперь поняв, что первое чувство еще не всегда самое глубокое. О первом муже она почти не вспоминала, а если вспоминала, то ее мысли походили на выцветшие любительские фотоснимки из чужого альбома. То, прежнее, было не с ней, жизнь ее началась с Кости... Кто-то из знакомых сказал ей однажды, что, если из двоих один наделен талантом, другой должен отдать свою жизнь в услужение этому дару. Она с первого часа поверила в его талант, она боготворила его полотна, чувствуя себя возле них мо- ложе.

Безоговорочно поверив Константину, она никогда не подвергала сомнениям эту веру и потом, после его смерти, посвятила ей жизнь.

— Однажды, — сказал Борис, — Константин Федорович рассказал нам о фиолетовых тонах в работах Врубеля. Он знал их, кажется, на память, да, да, я припоминаю, он говорил с полуприкрытыми глазами, — это, наверное, помогало ему восстановить полотна. Я много читал потом о Врубеле, но таких слов не находил ни у кого. Это было что-то вроде открытия, понимаете, вот ученые делают же открытия, так и Константин Федорович...

Анна Павловна разглядывала Бориса, его огромную, глыбистую фигуру; волосатые ручки и удивительно открытое, детское какое-то, наивное лицо с румянцем на щеках и светлыми глазами.

— Мне вообще здорово повезло, что я записался к Константину Федоровичу. — Он покосился на Леночку, озорно подмигнул ей, рассмеялся. — Нет, не в этом

смысле, в другом... Живописцев из нас, конечно, сотворить было невозможно, но он научил нас другому: человеческому. Понимаете, живешь, крутишься, суетишься и вдруг, в одно мгновение, понимаешь, что жизнь-то проходит мимо тебя. Закаты, рассветы, травы, цветы, люди, которые рядом с тобой, их лица. В суете ты их уже не видишь, некогда все, дела, дела, дела... Я думаю, Константин Федорович прожил счастливую жизнь, он замечал ее, видел ее приметы, понимаете?.. И нас, кажется, научил.

Анна Павловна никогда не видела Бориса таким взволнованным, никогда не говорил он так сбивчиво и отвлеченно, их прежние разговоры напоминали странное интервью: вопрос — ответ; как жизнь — так-то; какие новости — в кабэ закончили новый проект... Борис резал линолеум, печатал гравюрки, дарил ей, это было вдали от искусства, но, оказывается, не в этом суть. Борис — преуспевающий инженер, ему приходится что-то там рассчитывать, придумывать, конечно же, иметь дело с людьми, и слава богу, слава богу, что Костя оставил ему это внимание к окружающему, к жизни... Анна Павловна наклонилась к Борису, погладила его по рукаву, сказала:

— Спасибо, Боренька! То, что вы сказали, — это, понимаете, необычно слышать от вас и оттого еще дороже.

Щеки Бориса запылали румянцем, он взмахнул смущенно руками, стал говорить о полотнах Константина Федоровича, все с шумом поднялись, отодвинув стулья, и по традиции пошли по комнате, двигаясь от картины к картине. Так было всегда, каждый раз, и чем ближе подходил этот момент, тем всегда, каждый раз, неувереннее чувствовала себя Анна Павловна. Но на этот раз что-то сжалось в ней, она растерянно всматривалась в лицо Сережи, Леночки, Бориса, ничего еще не подозревающих, спокойных, и подумала: а они, что скажут они? Нет, они обрадуются, это бесспорно, и все-таки, все-таки... И потом — кем будет для них она после этого? Старая знакомая женщина? Вдова их бывшего учителя, и только?

Стол убрали, Леночка помогла ей унести на кухню грязные тарелки, все расселись в кресла.

— Ну что ж, Анна Павловна? — спросил Сережа. — Начнем? Вам помочь? Не ругайтесь, я знаю, — за-

смеялся он, — вы сами, всегда сами, но сегодня, может, помочь?

Анна Павловна пристально взглянула на Сережу — откуда он может знать? — но тут же улыбнулась: господа, она становится по-старчески подозрительной, он просто хочет помочь, полотна нелегки, это вечное Сережино соучастие, даже в мелочах, и только.

Она кивнула, соглашаясь.

— Хорошо, сегодня ты поможешь. — Она помолчала. Слово «сегодня» прозвучало подчеркнуто, это так и следовало делать. — Да, да, сегодня, — повторила она и опять оглядела лица гостей. — Сегодня особенный день, — сказала Анна Павловна медленно.

— А вы особенный человек, — не к месту вставила Леночка, — пятнадцать лет каждый год отмечать день рождения умершего мужа — это может лишь особенный человек.

Анна Павловна взглянула на Леночку. Нет, Лена — это не Борис, впрочем, может, тут чисто женское — видеть только внешние факты. Она хотела как бы похвалить ее. За что? Анна Павловна не в том возрасте, когда похвалы, комплименты и вообще слова что-то значат, если они касаются ее лично. Зря Лена ее прервала. Она только начала. Самое главное.

Будто не услышав Лениных слов, никак на них не ответив, Анна Павловна повторила так же неспешно:

— Сегодня особенный день, друзья мои. И я счастлива, что вы со мною, рядом, одной было бы очень тяжело.

В комнате стало тихо. Анна Павловна глядела на пол перед собой, но чувствовала встревоженные взгляды гостей.

— Все эти годы, — сказала она, — я пыталась устроить полотна Константина Федоровича. Некоторые из них брали на выставки, но с выставок они всегда возвращались сюда. Я получала предложения от частных коллекционеров, но Константин Федорович мечтал о другом. Словом, эти именины совпали со счастливым днем! — Она напрягла голос, улыбнулась, хотела, чтобы ее известие прозвучало радостно, но голос сорвался, она закашлялась, вытирая слезы, но не переставая улыбаться. — В общем, дорогие друзья, несколько полотен Константина Федоровича берет Русский музей, понимаете, Русский музей!

— Прекрасно! — воскликнула Леночка. — Наконец-то! Это же полное и безоговорочное признание.

— А весь архив с письмами забирает Архив литературы и искусства, — добавила Анна Павловна.

— Как порадовался бы Константин Федорович, — сказал Борис, — это же счастье, наша вера не пропала! Мы были правы, получается — у нас двойной праздник!

— Двойной, двойной, — кивала Анна Павловна. Леночка и Борис помогли ей преодолеть какую-то горечь, господи, столько лет хлопот увенчались успехом, и она должна, просто обязана радоваться, какие могут быть сомнения?

— Значит, мы прощаемся? — спросил тихо Сережа. — Прощаемся с полотнами.

— Да, — проговорила Анна Павловна, — их хотели увезти раньше, но я настояла, чтобы это было только завтра и мы могли все вместе проститься.

Она встала, подошла к шифоньеру, отдернула занавеску, соединявшую шкаф со стеной. За цветастую шторку был упрятан грубо оструганный двухэтажный стеллаж, на котором, как огромные книги с золочеными корешками, стояли картины в рамах.

Сережа вытащил первую из них, они приставили ее к шифоньеру. На полотне стояли трое: человек атлетического вида в сапогах и кожаных галифе, другой — в противогазе, третьим был мальчик в крагах, огромных черных крагах. За спинами людей виднелся красный мотоцикл. Костя увлекался тогда новыми техническими идеями — изучал их и опасался. Он рассказывал ей, что Париж пугал его своим будущим, — техника и город, на его взгляд, должны были оттеснить людей...

Они перебирали картину за картиной: среднеазиатские минареты, лица стахановцев, портрет последнего парижского коммунара... Маленькие трубачи удивленно смотрели со стены на свободное пространство комнаты, заполнявшееся картинами. Анна Павловна взглянула на трубачей и замерла. Электрическое освещение придавало картине фиолетовый оттенок, и казалось, трое мальчишек заглядывают в комнату сквозь вечернее, синее от дальнего заката окно, и трубы их напряжены в сжатых пальцах, и они притаились, чтобы вдруг, неожиданно, заставив всех вздрогнуть, заиграть неизвестную испанскую мелодию...

Анна Павловна оторвала взгляд от трубачей, передала Сереже очередную картину и вдруг заметила его пристальный, изучающий взгляд. Она улыбнулась ему, кивнула головой, Сережа улыбнулся тоже. Потом они снова сели, уже сжавшись в плотную кучку, приставив тесно друг к другу кресла и стулья, потому что картины окружали их со всех сторон.

Они молчали.

Анна Павловна не могла бы сказать точно, о чем она думала сейчас, да и думала ли вообще. Она вглядывалась в холсты, как в лица, запоминая их навсегда, навечно, и этим было занято все ее существо, отрешенное от прочих забот. Она забыла даже про своих гостей.

Кто-то кашлянул.

Анна Павловна обернулась, улыбнулась. Леночка поцеловала ее в щеку, стала говорить о детях, о том, что им с Борисом уже пора.

— Да, да, — ответила Анна Павловна, — конечно. Пусть только мужчины помогут мне поставить полотна вот сюда, к шифоньеру, так, так... Остальные назад, на стеллажи, и еще минуточку...

Анна Павловна выбрала два холста из тех, что остались.

— Это вам на память, — сказала она, подвигая картины к Борису и Сереже.

Борис заморгал глазами, схватил руку Анны Павловны, поцеловал ее. Сережа растерянно молчал.

— Представляете, Анна Павловна, — восторженно заговорил Борис, — мы берем билеты на «Стрелу», едем все четверо в Ленинград, приходим в Русский музей на открытие выставки Константина Федоровича, первой его выставки.

— Они обещали, — ответила Анна Павловна, — обещали непременно устроить выставку, выпустить проспект, и мы, конечно, поедem. — Она стала прощаться с Леной и Борисом, Сережа заторопился тоже.

Она осталась одна.

Анна Павловна вымыла посуду, расставила ее по местам, расправила постель на кушетке, погасила в комнате свет, легла, закрыла глаза. Она не уснула, а забылась, устав от хлопот, прошедшего дня, но вскоре пришла в себя. Раскрыв глаза, она бросила взгляд на часы: не прошло и часа...

В прихожей горел свет, значит, забыла выключить.

Этого с ней никогда не случалось, во всем и всегда она соблюдала порядок, а тут действительно — какое-то замыкание: упала как подкошенная... Она встала, в ночной рубашке прошла в прихожую, тоже увешанную картинами, посмотрела на утренние астры под портретом молодого Константина. Астры не потеряли своей свежести, в квартире было прохладно, и роса, утренняя роса, которую она несла в цветах, еще не высохла и сверкала под электрическим светом.

Анна Павловна взгляделась в молодого Костю. Сколько сегодня молодых — Сережа, Леночка, Борис, Костя... Одна она старуха, добившаяся своего. Кажется, можно радоваться, можно успокоиться, можно спокойно приготовиться к смерти, которая имеет право прийти каждый день, каждый час даже — без всяких предупреждений, без всяких звонков...

Она вздрогнула от резкого, а главное, неожиданного звонка телефона. «Кто бы это мог так поздно?» — подумала она, снимая трубку.

— Я знал, что вы не спите, — торопливо сказал Сережин голос, и Анна Павловна только теперь с удивлением отметила его сегодняшнее поведение — тихое и немногословное.

— А если я спала? — спросила она, улыбнувшись.

— Нет, нет, — заторопился Сережа, — я понимаю, вы не можете уснуть, я брожу вот уже целый час, и холст, который вы подарили, оттягивает мне руки... Может, не надо, а? Милая Анна Павловна, как же вы будете жить без них? Это можно еще остановить, Русский музей подождет...

— Что ты, Сережа! — удивилась Анна Павловна. — Я так хлопотала, наконец добилась, ты же прекрасно знаешь... И вдруг!

— Но как же вы, Анна Павловна! — воскликнул он.

— «Дневные раны сном лечи, а завтра быть чему, то будет», — продекламировала она. — Ты помнишь Тютчева?

— Вы же смеялись сегодня над ним, — в отчаянии произнес Сережа.

— Приходи, дружок, завтра, — сказала Анна Павловна, — если сможешь, конечно, — она слышала приглушенное дыхание Сережи в трубке, — и мы проводим их вместе.

Он молчал.



— Слышишь? — спросила она.

— Слышу, — отозвался Сережа. — Но как же вы, как же вы? Я бы не смог.

— Я слишком стара, Сережа, — ответила Анна Павловна. — Я страдала уже немало. Я обязана пережить еще это. Последнее. Ты понимаешь?

— Я с вами согласен, — сказал Сережа медленно, — сам желал этого, но все так неожиданно.

Они простились, Анна Павловна отошла от телефона и села на стул возле пианино. Как это сказала она? «Потери всегда неожиданны». Вот она и назвала это потерей... Уйдут картины. Уйдут письма. Потом, возможно, уйдут остальные полотна — в другие музеи. Наконец, придет день, когда она останется одна в квартире с голыми стенами. Она будет лежать на своей кушетке, разглядывать обои с невыцветшими квадратами, прикрытыми прежде холстами, и будет страдать, как страдал Костя. Стены, голые стены... Умом она понимает справедливость сделанного, может даже сказать спасибо сама себе, но душой...

Картины были продолжением Кости, продолжением их общей жизни, а теперь она останется одна, совсем одна...

Анна Павловна облокотилась о крышку пианино, потом откинула ее. Провела пальцами по клавишам и неожиданно запела — едва слышно, чуть ли не про себя:

Я встретил вас — и все былое в отжившем сердце оживло;  
Я вспомнил время золотое — и сердцу стало так тепло...

Она пела этот романс давно, в каком-то спектакле, и вдруг он вырвался из памяти — почему именно этот? Да, кстати! Она вострепнулась, взглянула на свое отражение в пианино, — ну, конечно, это тоже Тютчев. И стихи посвящены К. Б., баронессе Крюденер, в которую он был влюблен, а она вышла замуж за другого...

Тут не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь, —  
И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!..

Струна тихо звенела в ночной тишине. Анна Павловна вновь припомнила то, первое, стихотворение, особенно строчку, над которой смеялась: «Живя, умей все пережить...» Вот и Тютчев противоречил себе. Чего ж удивительного, если противоречит она? Да полно, противоречит ли?

Анна Павловна подошла к помутневшему, старому зеркалу в простенке и увидела за стеклом худую старуху с венчиком седых косичек на голове, в длиннополой ночной рубахе, в стоптанных шлепанцах. Она приблизила лицо к своему отражению и неожиданно подмигнула сама себе.

Это рассмешило ее, она отошла от зеркала, приблизилась к стопе стоявших у шифоньера картин, встала возле них на колени, дрожащей рукой, словно по лицу, провела по изображению. Это была сирень, крупные фиолетовые гроздья. Костя любил эту вещь, и искусствовед сразу отобрал ее для музея. Анна Павловна вновь отдернула руку, прикрыла глаза и заплакала.

Она хотела вновь протянуть руку к сирени, сорвать счастливый цветок с пятью или шестью лепестками, положить его в рот и ощутить горьковатый вкус — так полагается по примете, — но не могла...

# Смерть учителя

## РАССКАЗ

Утром Макаров проснулся с тяжелой головной болью, как это часто теперь бывало с ним.

Накануне он выпил крепче обычного, присел под забором, да так и уснул на земле, простыл, и теперь у него был насморк. Нос закладывало, по ночам дышал ртом и просыпался потому, что глотка была совершенно высохшая и было душно.

Босиком, в одних подштанниках, Макаров прошел к столу по скрипящим половицам, расплескивая воду, налил дрожащей рукой стакан, опорожнил его крупными жадными глотками, облизал пересохшие, потрескавшиеся губы, сел на приятно холодный венский стул с неудобной спинкой и попробовал вспомнить, что было вчера.

Впрочем, можно было и не вспоминать.

Вчера было то же, что и на прошлой неделе и что тянулось уже почти год.

Он напился.

Вся разница между этими пьянками состояла лишь в том — пил ли он с компанией, с шумом, с разными общими пьяными разговорами на отвлекающие темы или же совершенно один, мрачно хмурясь, постепенно соловая, уставясь в одну точку и думая только о своем, о том, из-за чего все так вышло. В одиночку — это было хуже, потому что всегда кончалось тем, что Макаров напивался до зеленых чертиков и на другой день из-за головной боли приходилось опохмеляться, а опохмеляясь, он не мог удержаться и напивался вновь, и так изо дня в день, пока не попадал в какую-нибудь компанию, отвлекался разговорами, пил меньше — и тогда наступала пауза.

Несколько дней он держался.

Эти несколько дней были сплошной ипохондрией. Макаров плохо работал, начальство косилось на него, вокруг ходили неприятные разговоры о его неполной самоотдаче делу, но впрямую с Макаровым говорить об

этом боялись, потому что на захудалой городской ТЭЦ, где он работал, молодых специалистов почти не было и за них держались.

После работы в такие дни Макаров медленно плелся через весь город. Он не замечал ни лета, ни желтых одуванчиков в сквере, ни грачиного крика в тополиных зарослях. Приходя домой, Макаров ложился в кровать и так лежал, то засыпая, то просыпаясь — будто в гамаке качался: вверх-вниз, вверх-вниз. Время текло медленно и нудно, капало по капле, как вода из ручейника: тук, тук, тук... В такие минуты Макарову казалось, что он заснул летаргическим сном и лежит вот так не один долгий вечер, а вечность, всю жизнь он лежит вот тут, в неприбранной кровати, обросший щетиной.

Утром, в мятых штанах и несвежей рубашке, он снова шел на ТЭЦ и так держался неизвестно чем несколько дней, пока не запивал снова.

Странно, но в дни, когда он пил, Макаров работал лучше, как-то собраннее. Может быть, это на несколько часов мобилизовывался организм, отвыкший от серьезной, долгой, изнурительной работы, а может быть, сам того не замечая, Макаров возбуждался в предчувствии выпивки, и возбужденность эта была тем двигателем, который заставлял работать.

Приятелей у Макарова было много, очень много, но приятели все больше так, по пьяной лавочке. Идя по улице, он кивал направо и налево, пожимал руки кому-то, останавливался, чтобы сказать несколько ничего не значащих слов, но, вернувшись домой, он всегда оказывался один. И никто не заходил к нему.

Никто.

Раньше, конечно, были друзья. По воскресеньям они, бывало, ходили все вместе на пляж, вечерами шлялись по улицам, толкуя о том и о сем, вдруг вспыхивали неожиданные споры на самые невероятные темы, и они все горячились, и он горячился тоже.

— Ты очень неуравновешенный, — говорила ему потом Маша. — Прямо как пацан.

— Хорошо быть пацаном, — отвечал Макаров и обнимал Машу, но она отталкивала его, злилась отчего-то.

Маше не нравилось в нем мальчишество, не нравился его неуравновешенный характер, не нравилось, что он, способный инженер, работает в какой-то дыре. А потом оказалось, что не осталось ничего, что Маше нравилось бы в Макарове.

— Держи хвост морковкой, старик, — сказала Маша тогда. — Ничего страшного. Мало ли людей встречается на танцплощадке в городском саду, гуляют, внушают себе, что влюблены, а потом расстаются.

Макаров думал об этой минуте. В душе даже готовился к ней. Ему казалось, он огорчится, растеряется, что сердце у него неровно застучит. Но он не огорчился и не растерялся. И сердце стучало исправно.

— Элементарно, — подтвердил он суконным таким голосом тогда. — Разошлись, как в море две селедки.

— Люблю оптимистов, — ответила Маша, приподнимаясь на цыпочках и целуя его. — Ну, я пошла.

Он кивнул, и она действительно пошла вдоль улицы, самостоятельная женщина с сумочкой, блестящей в свете фонарей.

Макаров не стал даже смотреть ей вслед. Ему было неинтересно больше смотреть на нее. Ни вслед, ни в лицо.

Он пошел домой и лег, не включая света.

Он хотел уснуть сразу, но был душный жаркий вечер, тяжело дышалось, и, ворочаясь, он искал всю простыню, но так и не уснул. Тогда он оделся и пошел к ресторану.

Дверь в ресторан была закрыта, в нее ломились забудыги, и Макаров присоединился к ним. В ресторан их так и не пустили, но один из ломившихся, тощий, голенастый мужик с провалившимися щеками, кивнул Макарову, велел дать деньги и крикнул швейцару:

— Эй ты, борода!

Бородатый швейцар, поломавшись, все устроил, и Макаров пошел с голенастым забудыгой в скверик напротив ресторана.

— Надстройка? — деловито спросил голенастый. Макаров не понял. — Ну, итээр?

— Да, — ответил Макаров, усмехаясь. — Итээр.

Они расстались тогда, и встреча эта ничего не значила для Макарова, кроме разве того, что наутро болела голова. Но разговор о небазисной принадлежности иногда всплывал из закоулков памяти, и Макаров усмехался, как тогда.

Конечно, кому нужна такая надстройка, как он...

Нет, эта мысль приходила без всякой связи с Машей, нет. И без всякой связи с бывшими друзьями, которые исчезли неизвестно куда. Просто было тоскливо,

что все так выходит. Ведь, говорят, он приличный инженер, толковый, а тут какая-то ТЭЦ. И кому он нужен, кроме этой теплоэлектроцентрали, — слово-то, подавишься, пока скажешь...

Ну а Маша...

Скажи ему кто-нибудь, обвини в том, что он запил из-за Маши, он бы рассмеялся от души. Из-за Маши? Какая глупость.

Все, что было у них с Машей, было тоскливо и неинтересно.

Познакомились на танцах. Некоторые считали, что они скоро поженятся, но это лишь разговоры. Настоящей близости так и не было. Расставались на неделю, а встречались так, будто вчера виделись. Доведись по разным городам разъехаться, так бы и не вспомнили, может. Маша в общем была эпизодом. Нет, Маша тут ни при чем. Вместо Маши будет Глаша. Надо только пойти на танцплощадку в городской сад. А потом выбросить месяц жизни.

Жалко, что ли?

Макаров ворочался, внутри было нехорошо, и венский стул скрипел под ним на все голоса. Есть, как всегда по утрам, не хотелось, и Макаров, прихватив кружку, вышел в сени, где стояло ведро с ледяной колодезной водой. Эта вода была не то что в графине — зубы онемели от холода и даже дышать стало как будто легче.

От выпитой воды захорошело вчерашнее, приятно закружилась голова, снова захотелось спать.

Макаров пошел обратно в комнату и наступил на газету. Почтальонша бросала ее в дверную щель — Макаров все не мог собраться купить ящик, и, увидев его, почтальонша не пропускала случая поругаться. «Если письмо придет и я его брошу, а оно потеряется, — говорила она, — кого винить будете?»

Макаров кивал головой, обещал купить ящик и улыбался. Откуда ему письма, от кого? Да и не нужны они вовсе.

Он подобрал газету, вошел в комнату и прилег на кровать.

Макаров развернул газету. На первой странице в пей была напечатана передовая — прямо по адресу. Она называлась очень персонально — «Твой долг, инженер!» — и Макаров принялся ее читать.

В статье опять говорилось о полной самоотдаче производству, и, засыпая на половине статьи, Макаров подумал про себя, что да, что действительно самоотдача производству — это важный долг.

\* \* \*

Его будто кто-то толкнул в плечо.

Макаров проснулся и не понял, где он. Вплотную со всех сторон его обнимали странные полосатые обои. Обои были светлые и яркие, так что даже слепило глаза.

Макаров пошевелился, и обои вдруг съехали вниз, открыв знакомый потолок с разводами темных трещин. Он усмехнулся — на нем была газета.

Макаров поднял ее с полу, посмотрел на передовую, но больше читать ее не хотелось, и он стал смотреть газету с конца, с кино.

В кино шло все старое, и машинально Макаров стал разглядывать другие объявления. Требовались слесари, кто-то предлагал обучить печатанию на машинке десятипальцевым способом.

И вдруг Макаров вздрогнул. В самом нижнем углу газеты в черной траурной рамке коллектив учителей и учащихся средней школы № 17 с прискорбием извещал о смерти старейшего учителя, орденоносца Ивана Алексеевича Метелина.

Макаров дернулся и облокотился о подушку. Школу № 17 он кончал когда-то, а Иван Алексеевич Метелин учил его математике в пятом, шестом и седьмом классах.

Дальше к ним пришла математичка, Вобла, как звали ее старшеклассники за сухость в теле и в обращении с учениками. Но Вобла забылась, встретить ее сейчас Макаров на улице, и не узнал бы ни за что, пожалуй, а вот Иван Алексеевич будто живой.

Будто живой, а его уже нет...

Смысл траурного извещения доходил до Макарова не сразу, а какими-то толчками.

Давным-давно забытые, выплывали лица, имена, события, и, вспоминая школу, шумный коридор на перемене, в конце которого возвышалась фигура старого учителя, Макаров с содроганием вдруг подумал о том, что все это уже необратимо; что все это никогда не повто-

рится, и необратимость эту подчеркивало жирными черными рамками траурное извещение.

Память походила на театральную сцену: кто-то дергал за веревку, соединенную с занавесом, и он рывками, будто нехотя, раздвигается, приближая к Макарову старика математика. Учитель как бы выходил из тьмы, становясь все ярче и живей. И это несоответствие — почти осязаемое существование учителя в нем, Макарове, и извещение в траурной рамке, этот порог между прошлым и реальностью, заставили наконец Макарова понять, что учителя нет. Что все, что он помнит, — уже не материально. Что стоит забыть ему Ивана Алексеевича, и этого человека для него больше не будет. Он уже не встретит Ивана Алексеевича на улице. Он уже не увидит его никогда. Ничто, кроме него самого, не напомнит ему об учителе Метелине...

Макаров встал с кровати и прошелся по прохладным желтым половицам. Голова болела по-прежнему — он знал, что требуется для лечения, — и стал собираться.

В карманах мятых брюк нашел остатки от зарплаты. В этом смысле все было в порядке. Макаров поискал расческу, чтобы навести порядок на голове, но расческа куда-то провалилась, тогда он пригладил волосы рукой и вышел на улицу.

В автоматизированной пивной стоял ровный гул, возле высоких столиков с мокрыми мраморными покрытиями толпились люди, слоями в воздухе плавал сизый дым. Макаров постоял недолго около буфетчицы, менявшей бумажные деньги на двугривенные, и с блюдечком соленых сушек в одной руке и пивной кружкой в другой пристроился на подоконнике у окна, подальше от шумных разговоров.

Он медленно тянул пиво, и Иван Алексеевич не выходил у него из головы.

Макаров вспомнил, как учитель математики воевал с курильщиками, хотя сам курил беспощадно. Каждую перемену Иван Алексеевич приходил к уборной и вставлял в мундштук сигарету. Мундштук был длинный, да его еще удлиняла сигарета. Длинный курительный прибор учителя смешил ребят, но Иван Алексеевич с мундштуком не расставался. Если не было сигарет, он носил с собой папиросы, обламывал гильзу, бросал ее, а табачную часть вставлял в свой мундштук.



Все эти табачные манипуляции Ивана Алексеевича Макаров запомнил с такой тщательностью потому, что в то время он как раз тоже начинал курить и, бывало, целую перемену толкался возле учителя, исполняя обязанности «шухарильщика». Дело в том, что, откурив, учитель заходил в уборную бросить окурки, где в это время некоторые отчаянные головы, среди которых был и Макаров, спрятав «бычок» в рукаве, пускали через нос дым. Обычно кто-нибудь стоял на «шухере» — непринужденно прогуливаясь возле Ивана Алексеевича, и когда тот заканчивал курение и вот-вот должен был войти в уборную, заскакивал из коридора раньше него и упреждал свистящим шепотом:

— Атанда!

Но случалось, «шухарильщик» отвлекался, и учитель неожиданно появлялся в дверном проеме, спокойно и презрительно разглядывая курильщиков.

Однажды так же попался и Макаров. Иван Алексеевич велел ему вывернуть карманы и бросить в унитаз две папироски. Он не шумел, не уводил в учительскую для накачки.

— Доживешь до десятого класса, тогда хоть закурись! — говорил он, и действительно на выпускном вечере они курили вместе. Внизу, в зале, играла музыка, а они стояли, как на перемене, и курили. Иван Алексеевич сосал свой мундштук, а Макаров жевал папиросу.

Было страшно неудобно. Макарову хотелось куда-нибудь скрыться и покурить с ребятами, в своей компании, но Иван Алексеевич сам угостил его, и отказываться было неловко.

Макаров тянул пиво, вглядываясь сквозь неровное стекло автоматизированной пивной в улицу, где полз, изгибаясь, как гусеница — то собираясь, то распрямляясь, — красно-желтый трамвай.

— Тем, кто нас согревает — физкультпривет! — крикнул кто-то ему прямо в ухо, и Макаров вздрогнул. Это был Колька Суворов, спортивная звезда школы № 17, в прошлом лыжник, ныне лыжный тренер. Они учились вместе, не в одном, правда, классе, но кончали школу в один год. Колька уселся, и Макаров сказал ему:

— Слышишь, отец, вот какое дело...

— Постой, постой, — закричал бывший спортсмен,

а ныне тренер, толстенький, кругленький и розовый, не-иссякаемый спортивный оптимист. — Давай сперва выпьем, жара, терпенья нет.

Он заглотал пиво широкими, гулкими глотками, на дне кружки осталась лишь пена.

— Все дела, дела, — закричал он, — некогда вот просто так посидеть, покалякать. Может, потом о деле, а?

— Нет, — сказал Макаров. — Ты помнишь Метелина?

— Метелина? — бодро переспросил Суворов, жмуря глаз, думая. — А-а, который... Не помню!

— Ну, Ивана Алексеевича, учителя математики. С мундштуком курил.

Колька рассмеялся:

— Бегемот!

Метелина за глаза звали Бегемотом. У него был мощный бас. Никто, конечно, в школе живого бегемота не видел. Зоопарка в городе не было, но всем казалось, что у учителя голос похож на бегемотий. Тогда Макаров к этому относился спокойно, у всех учителей были клички, без исключения. Но теперь, когда он прочел траурное извещение, Колькино напоминание прозвучало кощунственно, и Макаров поморщился.

— Да. Так он умер.

— Все там будем, — сказал Колька, беспечно улыбаясь. — Или как там у классиков? Все в землю ляжет, все прахом станет...

— Ты помнишь о нем что-нибудь? — спросил Макаров, вглядываясь в лицо Кольки, впервые за столько лет вглядываясь.

— Прости, старик, — ответил серьезно Колька. — Сколько лет назад мы кончили школу? Пять да пять... Десять. Десять лет. Что же можно запомнить? Был такой Бегемот, и все. С циркулем вечно ходил. С большим таким, деревянным.

Да, Метелин ходил с циркулем, которым чертят на доске. В один конец вставляется мелок...

Макаров снова посмотрел на Кольку. Колька уже забыл про все. Он опять улыбался и пил пиво, и кадык ходил у него на горле, и, когда он глотал, раздавался неприлично громкий звук. «Ах, черт, — подумал про себя Макаров, — глотает как, жадюга».

Они допили пиво и разошлись. Голова все не прохо-

дила, и Макаров решил прогуляться. Народу на улицах было немного, теперь по субботам все уезжали за город, не то что раньше. Пятидневная неделя. «На кой черт она нужна, — думал Макаров, — деваться некуда». Выбор небольшой — или в пивную, или в турпоход. Но турпоходы Макаров не выносил органически, весь этот организованный отдых, никуда не спрыдешься. Да и с кем идти — не одному же?.. Была бы рабочая суббота — пошел, поработал, отвлекся бы хоть. Черт, почему не придумают дежурств? Кому дома тоскливо, пусть пойдут, поработают, отведут душу...

Был жаркий день, парило, плавали легкие облака. «Может, дождь соберется, — подумал Макаров, — глядишь, все легче».

Он шел по улице, по теневой стороне, шел просто так, без всякого смысла, неизвестно куда. Надо было прожить этот день, эту субботу, и завтра прожить, промаяться.

Макаров попробовал подумать, чем бы заняться завтра, но ничего не придумал. Книги он уже давно не мог читать, что-то ничего не трогало его в них, фильмы он, правда, смотрел, но в последнее время стал засыпать и в кино. Ну а больше что?.. Когда-то раньше он самозабвенно рисовал, в школе все прочили ему путь художника, но Макаров пошел в политехнический. Рисовать он бросил еще студентом. Правда, когда они познакомились с Машей, он купил краски, загрунтовал холст, хотел написать Машин портрет, но потом все пошло-поехало, и портрет он не написал.

Краски сохли где-то в сених, и холст скукожился, поди, весь...

Так что вся жизнь Макарова была... в работе. Да, вначале действительно была. Он — смешно теперь вспомнить даже — торопился по утрам на ТЭЦ, каждый день ждал, что вот сегодня случится что-то и потребуются его умение, инженерные знания, расчет и сообразительность. Но все шло своим чередом, ничего на ТЭЦ не случалось, и хотя за специалистов там держались, особых их способностей не требовалось. Мастера знали ничуть не меньше Макарова, а рабочие умели гораздо больше его. Время шло, и чем дальше, тем чувствовал он себя все обыкновенней, все заурядней. А теперь он уже ни во что особенно и не вмешивался, зная, что мастера и рабочие все сделают без него.

Жизнь шла и шла, без потрясений, без событий, спокойно и ровно, как хорошая бетонка. Не зря же говорят, что хорошая дорога скучна и опасна: своим однообразием она утомляет шофера. Он засыпает, и машина летит в кювет.

Все было так и у Макарова. Он засыпал от этого однообразия, жизнь остановилась для него. Недели и месяцы он отсчитывал по двум дням — субботе и воскресенью, которые были еще тяготнее и нуднее, чем все остальное. Да, он уже заснул в жизни, машина его стала неуправляема и в общем-то уже катилась под откос...

Макаров спал, но с открытыми глазами. Он был неглупый человек и понимал, что творилось с ним. Понимал, но ничего не мог сделать. Словно руки, ноги, голова его налились тяжестью, и он не может шевельнуться. Головой, разумом он понимал, что нужно набраться сил и сделать что-нибудь. Пусть самый малый пустяк. А потом за этот пустяк держаться. Соединить пустяк с пустяком, чтобы вышло что-нибудь побольше. Чтобы на ровной дороге появилась рытвина, которая бы встряхнула его как следует.

Но дальше размышлений об этом дело не шло. «Пи-фа-го-ро-вы штаны во все стороны равны». Он вспомнил неожиданно эту математическую аксиому. Ее говорил им Иван Алексеевич. Он говорил ее, как стихи, громко, с выражением, своим могучим голосом, пряча улыбку за стекла очков.

— Пи-фа-го-ро-вы шта-ны во все сто-ро-ны рав-ны...

Макаров усмехнулся. Математизация всех сфер жизни не забыла и его. Есть, оказывается, и к нему теорема.

Странная мысль шевельнулась вдруг в Макарове. Он даже пошел тише от нелепости такого поворота. Он усмехнулся и было попытался откинуть эту глупость. Но она не отлетала. Впрочем... Вещь, которая могла показаться ему нелепой и кощунственной только потому, что она относилась к человеку, которого нет. Он подумал: а вдруг Иван Алексеевич жил так же, как и он, Макаров. Жил, маясь, бесполезно и ненужно. Ну, может, делал вид, что он доволен, что он на месте, при деле — ведь он учитель, а в самом деле вот так же таскался по улицам с пустой головой и не знал, куда убить два выходных дня... Ходил, может, по такой

же, как у Макарова, теореме: куда ни ткнешь, все одно.

Ходил, ходил и умер. И только осталось от него — что Колька Суворов помнит его с деревянным циркулем. Да кличку обидную помнит — Бегемот.

Сравнение себя с Иваном Алексеевичем ошеломило Макарова, сбilo с толку. Он тут же постарался опровергнуть его. В конце концов, все люди живут по-разному, думал он, и его, Макарова, жизненная неопределенность скорее не правило, а исключение. Все люди живут как люди. Пусть запросы многих легко удовлетворить пока, пусть многим жить просто. Но ведь многие все-таки находят себя, делают любимое дело, добиваются своих целей.

Нет, Иван Алексеевич был другим человеком. У него другая судьба. Мало ли что говорит Колька Суворов. Он просто забыл, и все. Он просто бессердечный человек. Он многое забыл, чего забывать нельзя.

Зато помнит он, Макаров. Хорошо помнит.

У Ивана Алексеевича, например, все время мелко тряслась голова. Крупная, большая, стриженная под нулевку, его голова всегда вздрагивала. И в пятом классе, когда пришел к ним Иван Алексеевич, он был в выцветшем военном кителе. Это фронт и контузия. А у людей, прошедших войну, жизнь не может быть пустой, по теореме о Пифагоровых штанах.

И потом у него были ученики. Он, например, Макаров.

И любимое дело у него было.

Макаров вспомнил, как Иван Алексеевич приходил к ним в класс. В седьмом он вел у них алгебру и геометрию, и, чтоб ясно было, какой урок, открывая журнал, он строго взглядывал на ребят и объявлял громогласно и торжественно, с явным удовольствием выговаривая это слово:

— Ал-л-лгебра!

И все это представилось Макарову с такой ошеломляющей ясностью, так отчетливо и ощутимо, будто происходило час назад. Учитель был живым, живым в его памяти, и мертвым, несуществующим его нельзя было представить.

Макаров остановился. Лихорадочно он стал вспоминать, где живет Иван Алексеевич, но вспоминать было без толку — он никогда не был дома у учителя. На-

до было пойти в школу и узнать. Очень просто — пойти и узнать.

Макаров решительно двинулся к школе, но вскоре пошел медленнее. Он не был там уже сто лет, а в школе может встретиться кто-нибудь из старых учителей. Или сердобольные нянечки, которые всегда всем интересуются. Будут спрашивать — где, что, как, — и, конечно, захотят услышать об успехах. Странное дело, старшие всегда хотят слышать от младших только об успехах, и ничего больше. А что он скажет? Врать? Тошно врать в его положении. Будь дела хоть немного лучше, будь просто обыкновенная жизнь, соврать было бы легче, но у него — полный швах, и что тут наврешь?

Макаров остановился в нерешительности. Нет, в школу идти было нельзя, просто нельзя.

Рядом был магазин. Голова все еще болела, и Макаров зашел за четвертинкой. Вначале он хотел выпить ее сразу, но мысли о школе отвлекли его снова, и он сунул бутылочку в карман. Лихорадочно соображая, где бы узнать адрес учителя, не заходя в школу, Макаров вспомнил про Сережу Архипова. Сережа жил над магазином, на третьем, кажется, этаже и был лучшим математиком школы, побеждал на олимпиадах, им в школе гордились, и он, кажется, оправдывал надежды. До Макарова доходили слухи, что Сережа Архипов ведущий конструктор в проектно институте и сидит на новой технике.

Да, это было немало — самому конструировать новую технику, не то что эксплуатировать городскую теплоэлектроцентраль. У Макарова опять заскребли на душе кошки, но соврать одному Сереже Архипову, пожалуй, было легче, чем нянечкам в школе. Можно отшутиться. А Сережа, наверное, знает, где живет Иван Алексеевич. Ведь Метелин проводил в школе все эти математические олимпиады.

Макарова на олимпиады не приглашали, нет, все считали его художником, гуманитарием, и он на это не злился, хотя решал задачи не хуже многих. Но однажды он пришел на такую олимпиаду и занял второе место после Сережи. Это было, кажется, в девятом классе, да, в девятом. Их учила Вобла, а Метелин только проводил олимпиады.

Макаров вспомнил весеннее воскресное утро и истинную причину его честолюбивого поступка, этого

незваного прихода на олимпиаду, — курносую, чуть веснушчатую и страшно занозистую Катьку Названову, в которую он тогда был безоглядно влюблен. Катка училась в соседней, женской школе, Макаров всячески пытался остановить на себе ее внимание — не пропускал ни одного вечера, беспрестанно приглашал на вальс: вальсы он танцевал превосходно, — рассказывал какие-то глупые истории. Катя охотно хохотала, сильно откидывалась в танце, но вот беда — вальсы в ту пору играли редко, входили в моду фокстрот и танго, а Макарову неизвестно отчего претили эти танцы — один, похожий на какую-то скачку, а второй сладко-томительный. В качестве танго крутили шульженковскую «Голубку» — «О, голубка моя», — а фокс все исполняли непременно по-гамбургски, этакая трясучка, — и он терпеливо ждал вальса, и отношения с Каткой никак не устанавливались, никакой определенности, всякий раз она уходила с вечера с новым партнером по фоксу или танго, главным образом из другой школы, и Макарова это заедало.

Он искал случая встретиться с Каткой, узнал, где она живет, ошивался возле ее дома, делал удивленные глаза при редких случайных столкновениях, — Катка в ответ доброжелательно улыбалась, и он надеялся. А надежды, как известно, порождают новую инициативу. И вот как-то, теперь уж и не вспомнить как, Макаров узнал, что в математических олимпиадах, оказывается, принимают участие не только свои гении, но и гости из соседней школы. И среди них звезда женской школы — математическая, конечно, звезда, то есть Катка Названова.

Тогда-то он и явился к Метелину.

Тот не удивился, предложил ему вытянуть билет — олимпиады напоминали ответственные экзамены, — и Макаров, чуть опоздавший к официальному началу, опоздавший умышленно, чтобы обратить на свое появление внимание курносой занозы, уселся за отдельный стол.

В зале была необыкновенная тишина, легкий аромат духов, — девочки, несмотря на пуританские нравы женской школы, сегодня чуть надушились, причин для этого было немало, и едва ли не самая главная, что олимпиада проходила не у них в школе, а у мальчишек; у себя бы они на такое не рискнули, — было немного торжественно и немного празднично. Макаров

в каком-то удивительном подъеме, легко, без усилий, расщелкал все задачи и сдал задание первым, вызвав удивленный взгляд Сережи.

По условиям, решивший задачи должен был выйти из класса, это оказалось самым обидным, потому что Катька оставалась в зале, а Макаров вынужден был слоняться по коридору. Правда, он неплотно прикрыл дверь и часто останавливался в глубине коридора, со странной тревогой разглядывал Катьку — ее косы, нежный золотистый пушок возле ушей и тонкую шею.

Катька мгновенно улавливала его взгляд, поворачивалась к нему, глядя бессмысленными, невидящими глазами, губы ее слегка шевелились, пересчитывая, наверно, цифры. Она тут же отворачивалась, так и не заметив Макарова, но стоило ему снова подойти к двери и снова посмотреть на нее, как Катька опять оглядывалась, чувствуя взгляд. Интуиция и разум боролись в ней, Макаров отходил, ухмыляясь и мысленно прикасаясь к Катькиной руке, намертво вымазанной чернилами на сгибе указательного пальца: Катьку подводило расхлябанное, но везучее, видно, перо.

Макаров занял второе место, Сережа все-таки победил его. Решения Макарова были слишком легки и своенравны, и это кого-то не убедило. Но второе место было почти что первым, и Макаров слегка холодел, видя, как пристально смотрела на него Катька, когда он получал грамоту за свою странную победу.

Тогда-то ему и сказал Метелин эти слова:

— Леонардо да Винчи был прекрасным математиком и великим художником. В наше время и то и другое сделать труднее, все возросло неизмеримо, так что выбирай.

Макаров кивал, думая совсем о другом, думая о том, что Катька пошла одеваться и он может ее не догнать.

Учитель стоял возле форточки, пуская в нее дым своей сигареты, оттуда, с улицы, в форточку неся отчаянный грачиный галдеж — возле школы росли тополя с целой грачиной колонией.

Макаров кивнул тогда, вежливо поблагодарил учителя, простился, прошел для приличия три шага спокойно, а потом рванул стремительной рысью. Исчезая за дверью, он заметил взгляд учителя: снисходительный и насмешливый.



Катьку он догнал на углу, поздоровался невпопад и тут же получил оплеуху. Моральную, конечно.

— Из-за вас я так позорно провалилась, — сказала Катька, не глядя на Макарова. — Вы мне мешали.

— Как? — искренне удивился Макаров.

— Вы все время смотрели на меня из-за двери.

Макаров что-то промышчал, думая о том, каким обманчивым может быть впечатление, ведь ему казалось, что математика побеждала в Катьке, когда она оборачивалась к нему.

Худа, однако, без добра не бывает, раз взгляды Макарова отвлекли звезду математики, новую Софью Ковалевскую, то это значило что-то, и как выяснилось позже, значило довольно немало. Роман, первый в его жизни, был чистым до прозрачности; Макаров безумно любил свою курносую занозу, любил так, что никого вокруг не видел, ничего не замечал, и в десятом, весной, когда решалось, куда кому ехать, дал ей слово, что поедет вслед за ней и вместе с ней будет учиться — они станут инженерами, а потом уедут, куда только предложат.

Бабушка уже умерла тогда, Макаров был один, он решал все сам, а с Метелиным он больше не встречался, и тот не повторил ему фразы о Леонардо да Винчи — и математике и художнике, впрочем, если бы и повторил, Макаров бы не услышал это. Он был полон Катькой.

Они уехали в Ленинград, поступили в политехнический, на разные лишь факультеты; Макаров как-то растерялся в этом муравейнике, где училось одиннадцать тысяч студентов, слегка заблудился, что ли, а Катька не заблудилась, у нее появился пятикурсник, спортсмен, как породистый пес, увешанный медалями за спортивные доблести, и Макаров Катьку зачеркнул, выбросил из своей жизни.

Тогда в первый раз Макаров вспомнил слова Метелина. Он решил уйти из политехнического, вернуться домой, год поработать где угодно, а потом поступать в Суриковское или в Репинский, но сил не хватило: он учился тогда на втором курсе, поступать же в институты становилось все труднее. Да и карандаш он не брал в руки с девятого класса, с того самого воскресенья, когда было много солнца и грачи орали за окном.

Он старался забыть слова Метелина, но они забывались. Напротив, год от года они становились все очевидней. Выбирай... Выбирай... Да что уж теперь-то... К чему сейчас вся эта очевидность. Такое бывает слишком часто, чтобы устраивать трагедии. Он выбрал политехнический, стал спецом средней руки. Но каким бы он стал художником — вопрос.

Лучше всего, когда выбора нет. Вот как у Сережи Архипова.

Напрягая память, Макаров определил подъезд, где жил Сережа, поднялся на нужный этаж, нажал кнопку звонка. Дверь открылась сразу, будто его ждали, и Макаров увидел нарядного Сережу Архипова, в новом сером костюме, в полосатой рубашке с серым галстуком.

Сережин костюм был продуман до мелочей, даже сероватые запонки соответствовали его светлым глазам. Все гармонировало в нем: и тоненькая полоска платка из кармана, и чуточку взъерошенные естественной взъерошенностью волосы. Сережина жена в голубом платье, сквозь которое просвечивала часть красивого гарнитура, прохаживалась платяной щеткой по Сережиным крутым плечам, словно скульптор, любовно завершающий свою работу.

— Макаров! — воскликнул Сережа, разводя руками. — Ну, знаешь. Только прости, я тебя не приглашаю, мы уходим. — Приятное лицо Сережи Архипова несколько опечалилось. — Ты знаешь, — сказал он, — какое горе! Умер Иван Алексеевич Метелин. Да ты, наверное, забыл! Ты же считался гуманитарием. А со мной он возился.

— Да, да, я знаю, — проговорил Макаров, спускаясь рядом с Сережей Архиповым по узкой лестнице. — Я зашел, чтобы узнать адрес, где он... жил, но, кажется, вы тоже туда?

— Нет, ты пойми меня правильно, ребята обидятся, хотя, по правде сказать, неплохо бы проводить старика. Но сегодня, как назло, я занят. Понимаешь, мы в отделе отмечаем новую конструкцию, я был ведущим. Проект премировали, и сегодня обмывон.

— Да, да, — сказал Макаров, — конечно...

Сережа взял его за плечо и заглянул в глаза.

— Нет, ты пойми меня правильно, ребята обидятся. Адрес я тебе скажу.

Они дошли до угла и расстались, Сережа был по-прежнему приветлив, улыбался, но когда пожимал Макарову руку, нахмурился.

— Вообще-то, конечно, свинство. Но ведь не разорвешься.

Он полез в карман, расстегнул изящный бумажник и вынул трешник.

— Ну хотя бы это, — сказал он, открыто глядя на Макарова, — не сочти за труд, купи ему хотя бы цветов от меня.

Макарова словно хлестнули плетью, он содрогнулся, но Сережа Архипов, математическая надежда семнадцатой школы, ничего не заметил.

— Ладно, — сказал Макаров, поворачиваясь и уходя. — У меня есть.

— Макаров! — обижаясь, крикнул Сережа Архипов. — Ну что же ты, Макаров!

Дом, где жил Иван Алексеевич, Макаров увидел издали: возле него стоял народ.

Подойдя ближе, Макаров сразу увидел знакомых. Точно он не сказал бы, кто это, но лица были знакомые, наверное, учились в соседних классах, в младших и в старших. Он увидел и учителей, Воблу, узнал все-таки ее, кивнул, и она ответила сдержанным, сухим кивком.

Вначале Макаров чувствовал себя скованно и напряженно, ему казалось, что кто-нибудь подойдет сейчас, начнет расспрашивать, что да как, и ему придется говорить правду, потому что здесь неправду сказать нельзя. Но никто к Макарову не подходил, тут было не место для разговоров, он облегченно вздохнул, расслабился, и тотчас ему стало стыдно.

Только что, простившись с Сережей Архиповым, он осуждал его за черствость и неблагодарность, но чем лучше был он сам, Макаров, если, придя на похороны Ивана Алексеевича, стремясь сюда, он только о себе и думает. Господи! Как, в сущности, ничтожно его беспокойство на этом дворе, рядом с человеком, которого больше нет.

Макаров вспомнил простейшее арифметическое правило, которое он зазубривал когда-то, кажется, в пятом, а потом читал как стихи, по примеру Ивана Алексеевича:

«От пере-ме-ны мест слага-емых сум-ма не ме-няет-ся!»

Закон, не поддающийся оспариванию. Действительно, черт возьми, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Но законы, безотказные в математике, нужно еще доказывать здесь, в жизни, в том, что называется формой существования белковых тел. Форма... Только что он толковал с двумя формами. С одной звездой и с одной посредственностью. Существуют вполне достойно! Кровь пульсирует по аортам. Имеются интересы. Но чего не имеется?.. Впрочем, а что он-то, сам!.. Те хоть пытаются блюсти форму, числиться приличными людьми, а он, презирающий такое приличие, докатился до ручки и абсолютно ничем не лучше ни Кольки Суворова, ни Сережи Архипова. Действительно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Толпа заволновалась. Из дома вынесли гроб с Иваном Алексеевичем. Макаров протиснулся поближе. Учитель математики лежал спокойный, такой, каким он был всегда, только чуть бледнее, да голова, большая его голова, стриженная под нулевку, не вздрагивала от контузии. И не было очков.

Макаров вгляделся внимательно, стараясь запомнить лицо учителя, потом отступил, прислонился спиной к холодящей кирпичной стене дома и увидел гроб как бы со стороны. Возле гроба плотным кружком толпились взрослые, а за спиной у них нестройной шеренгой стояли пионеры — мальчики и девочки в галстуках. Они были испуганы, со страхом поглядывали на покойника, норовили отодвинуться подальше — Иван Алексеевич им был неизвестен, их привели сюда, чтобы стало заметно, как школа чтит старого учителя, а получалось наоборот, получалось нехорошо, и Макаров жалел пионеров — они тут были ни при чем.

Откуда-то выступили музыканты, не к месту ярко и празднично заблестели на солнце трубы, заиграла траурная музыка. Макаров взглянул на окна домов, выходящих во двор: расплывшись о стекла носы, поглядывали дети, какой-то старик глядел из глубины комнаты, словно боялся подойти ближе к окну, ближе к смерти.

Тяжело, надсадно ухал барабан в похоронном оркестре, и Макаров вдруг всем сердцем ощутил, что барабан колотит в такт его пульсу, словно отсчитывает его, Макарова, время.

Гроб осторожно закрыли крышкой, обтянутой кумачом с креповыми воланами, и Макаров усмехнулся, физически чувствуя подкатившую пустоту, словно эти воланы, эти украшения на гробе имели какой-то смысл.

Гроб закрыли, понесли на плечах к похоронному автобусу, и, будто торопясь, будто боясь, что не успеет припомнить это, пока учитель еще здесь, во дворе, Макаров подумал про тот разговор. Собственно, даже и не разговор — всего лишь одну фразу, когда Иван Алексеевич говорил про Леонардо да Винчи и про то, что ему, девятикласснику Макарову, надо выбирать.

Мучительно и торопливо в сознании Макарова мелькнул загрунтованный холст, папка рисунков, промокшая уже, наверное, где-то в чулане, высохшие краски. «Но ведь все это не имеет смысла, — подумал он, словно спрашивая у Метелина еще одного совета, — какая разница, что делать на этом свете, какая разница, как делать, перед лицом автобуса с черной каймой по борту?»

Гроб с Иваном Алексеевичем внесли в автобус, машину обступило плотное кольцо провожающих. Автобус тихо заурчал, толпа заволновалась и расступилась, пропуская его, а потом хлынула за машиной на улицу.

Макаров шел вместе со всеми до угла, но похоронные шествия теперь не разрешались, на углу автобус приостановился, как бы давая возможность еще раз всем проститься с учителем, а потом прибавил газу.

Он медленно уменьшался, уезжая по прямой и длинной улице, пока не стал совсем игрушечным.

Макаров закрыл глаза, представляя еще раз лицо учителя, и ему захотелось заплакать. Нет, не от горя, этого чувства не было у Макарова сегодня, а от неоправимой вины. Пустота, которую он ощутил при виде креповых воланов, разрасталась в нем, и Макарова не покидало чувство, что он что-то потерял, потерял безвозвратно.

Он проверил себя: учитель? Нет, Иван Алексеевич ушел, исчез для него не теперь, а десять лет назад. Скорей всего он потерял другое. Вместе с учителем исчез тот Макаров, тот девятиклассник, который должен был выбирать. Правда, оставались другие ребята, каждый из которых мог вызвать в нем уснувшие воспоминания, но это было не то, они все были людьми од-

ного ряда, хотя бы возрастного, и хотя многие помнили увлечение Макарова искусством и его способности к рисованию, их его прошлое не волновало. Да, никого, пожалуй, не волновала судьба Макарова.

А Иван Алексеевич, Макаров попытался представить себе это, при встрече непременно бы спросил, как дела, имея в виду не пустой ответ, а ту фразу в школьном коридоре.

Макаров вздрогнул — вокруг хлопали крупные капли дождя. Сперва они ложились редко, как случайные пули, и не задевали его, но потом зачастили, и Макаров вмиг сделался мокрым.

Толпа, провожавшая автобус, рассеялась, и Макаров остался на дороге один.

Прятаться было бессмысленно, и Макаров медленно пошел, пробираясь сквозь светлые стебли отвесно падающего дождя. Старая мысль вернулась к нему: Ивана Алексеевича больше нет. Все. Он теперь только в памяти. Но память, эта бездонная кладезь информации, дырява. Она освобождает себя от ненужных знаний.

Смерть учителя вновь промелькнула у него перед глазами, начиная с тяжелого утра, с газеты, с пивной, с Кольки Суворова, с Сережи Архипова, одетого продуманно и тщательно. Неужели и он, Макаров, освободит свою память от Метелина, как эти двое, как произошло это и с ним однажды и непоправимо...

Макаров шел по булыжной мостовой, по скользким желтым камням и вдруг услышал тихое бульканье в кармане. Он сунул руку, вытащил четвертинку и обрадовался: вот хорошо, можно помянуть учителя, можно.

Но что-то щелкнуло в нем, сработало какое-то реле, и мысль, начавшая плести петли, оборвалась. Он представил себе, как все может быть: к четвертинке, не удержавшись, придется еще добавить, а завтра проснуться с тяжелой головой, а потом мучиться на работе, дожидаясь вечера. И уж учитель будет тут ни при чем.

Макаров почувствовал страх. Четвертинку он сжимал в руке, но мысли его были о другом. Смерть учителя представилась ему вдруг последним шансом, последней попыткой для него, Макарова. Последней соломинкой, за которую, может, даже независимо от него, ухватилась его память.

Что-то требовалось сделать. Немедленно. Срочно.

Макаров вспомнил, что шел дождь, что вся его

одежда промокла, и вдруг побежал, совсем не замечая, что дождь уже пролился, прошел.

Он убегал от прошедшего дождя, задыхаясь с непривычки, поскользываясь на мокрых желтых камнях.

Он торопился, он опаздывал. Неожиданно он почувствовал, что все его тело, его голова — весь он живет сейчас совсем в другом ритме, чем обычно, чем еще сегодня утром. Сердце билось чаще, кровь бежала быстрее, глаза были зорче, мозг работал четче, скорей.

Ему захотелось что-то делать. Что, он еще не знал, но ему требовалось действие.

Первое, что он узнал про себя определенно, — ему захотелось есть. Дома Макаров поставил бутылку на подоконник, отворил дверцу буфета и достал черствый черный хлеб. Он посолил его круто, взял огурец и вышел на крыльцо, так и не переодевшись, весь мокрый.

Он жадно ел хлеб, размалывая его крепкими зубами, и чем больше ел, тем больше ему хотелось есть.

Он жевал и жевал, глядя на прозрачные, неподвижные лужи, как-то враз высветившие мрачный и тусклый двор.

# Осенняя ярмарка

РАССКАЗ

1

Сразу пристегивать обнову Василий Лукич не рискнул, несерьезное это было бы дело: к ней ведь, к обнове-то, привыкнуть необходимо, и дома, не на людях, да и, кроме того, предстояли дела. Он завернул протез в приготовленную заранее холстину, забинтовал бечевой, привязал по краям кусок бельевой веревки на манер ружейной лямки и перекинул новую свою ногу за спину, проверив сразу, удобно ли она легла.

Затем он расписался в ведомости у вежливой гражданки, ведавшей выдачей всяких там не хватавших людям запчастей, отметил про себя, что немного, видно, уже осталось военных инвалидов, раз протезы начали выдавать бесплатно, поблагодарил ее, степенно кивнув, и вышел на крыльцо, лишь там натянув кепку.

«Все!» — вздохнул он облегченно и двинулся, постукивая своей деревяшкой по жесткому асфальту, в сторону городского парка, где была осенняя ярмарка. Слава богу, мучение кончилось, остальные хлопоты были приятными, хотя и не очень удобными. По сию пору Василий Лукич стеснялся как-то города, впрочем, не города, а городских жителей. Все ему казалось, что прохожие глядят на его убогую деревяшку, да еще, чего доброго, жалеют его, одетого бедновато и не по моде — в полосатый пиджак с накладными плечами, отчего они кажутся квадратными, и в такие же не новые брюки. От этого стеснения Василий Лукич шагал торопливо, не озираясь, не глядя на людей, хотя не видеть их было нельзя — девчат, одетых в короткие, намного выше колен нарядные платьишки, которые по нынешним городским понятиям и нарядными-то вовсе не считаются, ребят — в хороших рубашках и цветастых куртках, не то что прежде, когда все носили одежду на один цвет и манер. Что там говорить, даже в деревне молодежь одевается нынче пестро да ярко, про город ли говорить, и



от этой яркости Василий Лукич чувствовал себя еще неуютней и неуверенней в своем костюме, с перекинутым за спину протезом, хотя и замотанным в чистую холстину, но все-таки четко прорисовывавшимся под материей, а особенно со своей деревяшкой, которая постукивала громко по асфальту, отмеривая каждый его шаг, и привлекала внимание чужих людей.

Так бы Василий Лукич, наверное, и лег в гроб с этой своей деревяшкой, кабы не Ксеша да не районный доктор старик Морозов. Ксеша этот разговор вела лет двадцать, но безуспешно, пока ей на помощь не послал старик Морозов, страстный утятник и еще акварелист. В древней финской своей шапочке с козырьком и застегнутыми на пуговицу наушниками Морозов непременно заглядывал к Василию Лукичу, когда шел со своим легашом на Боровицкие озера, или с большой деревянной коробкой, где хранились краски и широкие листы бумаги, и чаще всего Василий Лукич сопровождал старика, посмеиваясь, когда тот ронял пенсне от выстрелов своей старинной тулки. Пенсне Морозов привязывал шпагатом к одному уху финской старинной шапочки, оно не терялось при падении, и хотя доктор стрелял недурно, двустволка ему не требовалась, так как все равно больше одного выстрела подряд он сделать не мог. При морозовской охоте Василий Лукич сидел где-нибудь в сторонке, на сухом месте, ждал, когда доктор утолит свою страсть, принеся в измазанных утиной кровью руках пару крякв. Если же доктор рисовал, Василий Лукич через плечо к нему не заглядывал, не мешал, ждал, когда Морозов покажет свою работу сам, и, разглядывая акварели, все больше грустные, пасмурные по цвету, чаще молчал. Они вообще говорили немного, чаще всего о пустяках, чувствуя, однако, большее. Чувствуя, что между ними — черным, как уголь, стариком доктором, забавным внешне благодаря своему непомерно курносому носу и вовсе не забавным в самом деле, по существу, — и лесником, человеком тоже немолодым и по складу своей жизни малоразговорчивым, — есть что-то такое, что трудно обозначить словами, но что устанавливает внутреннюю связь людей. Словно какие-то нити тянулись между ними.

Эти нити и позволили однажды Морозову, шедшему по тропе вслед за Лукичом, сказать ему вдруг неожиданно:

— Что-то не нравится мне ваша походка, милый.

— Да уж чему тут правиться, — ответил Василий Лукич, — какая уж тут походка!

Но доктор возразил:

— Вам надо бы протез, милый, а эту деревяшку в огонь — она вам мешает, позвоночник трансформируется, отсюда изменится кровообращение, сотрутся кости, в общем, вернемся, я вас погляжу, и не спорьте, милый, нам друг дружку стесняться нечего.

Так у Ксеши появился неожиданно союзник, он-то, собственно, и настоял на том, чтобы Василий Лукич поехал в город, на протезный завод, на консультацию и примерку, и Ксеша, угощая доктора крепким чаем из самовара, вскипяченного на душистых сосновых шишках, никак не могла нарадоваться, что Василий наконец уступил им обоим, что будет он теперь ходить не на деревяшке, а как все — на обеих ногах, хоть одна нога и ненастоящая.

Василий Лукич посмеивался, мешал в стакане ложечкой, разгоняя чайники, и не осуждал, конечно, Ксешу, потому что понимал ее заботу. Может, раньше, годов двадцать назад, она и хотела бы идти с мужем, у которого на месте обе ноги, хотя бы на праздники, что ли, идти без этой стучащей по тротуару деревяшки. Но теперь было иначе. Теперь Ксеше было не до его красоты, но она горячилась по-прежнему, говорила, как бы спрашивая у доктора Морозова поддержки, что Василию станет легче ходить по кварталам, удобней опираться на настоящий протез, а не на эту липовую ногу, которую лесник сам и вырубал из сушеного полена, сам и приспособливал, чтобы носить.

В общем, они все-таки настояли вдвоем. Василий Лукич съездил на консультацию и на примерку в город, а через месяц приехал еще раз, за обновой, и теперь вот тукал по асфальту своей деревяшкой, отсчитывая ее последние версты, — на ярмарку, а там к поезду, потом лошадьми по деревне, и оттуда пехом до соснового бора, до зеленого холма, на котором виднелся издалика его рубленный из кряжистой сосны, прочный дом. Вот и все.

Деревянную колотушку свою он не выбросит, Василий Лукич это решил давно, — мало ли что случится в лесном бездорожье с протезом на блестящих шарнирах, со скрилящими кожаными пристежками, так что авось еще пригодится и колотушка.

И место для нее в чуланчике он уже обозначил, приметил подходящий крюк.

Опустив голову, краем глаза поглядывая на деревяшку с надетым на нее поношенным резиновым наконечником, не смягчавшим стука, Василий Лукич торопился на ярмарку, чтобы, покончив наконец с делами, убраться поскорее из этого чужого ему города, где живут чужие люди, чтобы можно было, уже не стыдясь, не пряча глаза за свое уродство, сесть в пригородный вагон, среди своего деревенского народа, заглянуть за окно, забыться, разглядывая крутящуюся вокруг себя пеструю осеннюю землю...

## 2

Ярмарка была пенастоящая, городская — без длинных тесовых столов, на которых грудятся грибы, толпятся туеса с медом или топленным сибирским маслом. Одно название что ярмарка — фанерные, худо крашенные ларьки с цветастыми крышами, выстроенные как попало, и в каждом почти непременно разный бабий стыд, вывешенный на веревочки. Трусы и лифчики полощутся на ветру, лезут в глаза, застилая темное нутро ларьков. Василий Лукич проходит мимо них, крикая в неудовольствии, не переставая удивляться городскому бесстыдству. Что ж, он не красная девица, любой товар, самый что ни на есть нательный, торговать надо, но не так же. Вон и у них в сельпо поддевки разные есть, но по-людски, в отдалении, не полощут перед носом, на застят свет.

Впрочем, фанерные ларьки скоро кончились, пошли павильончики, вроде пивных, куда надо входить и где товар продается по целевому назначению. Ярмарка получалась вроде маленького города в большом городе с такими же правилами, и Василий Лукич ободрился, потому как в павильончиках, где торговали вещами целевого назначения — пальто так пальто, ботинки так ботинки, — и можно лишь было сыскать надобное быстро, без хлопот и дальних городских перегонов.

Особых покупок Василий Лукич делать не собирался, все, что необходимо поперед всего — соль там, или сахар, или всевозможные крупы, — Ксеша брала в сельпо, не голодные ныне годы, продукты его не интересовали. Хотелось взять шапку для себя — зимнюю, желательно меховую, так как брать пушнину, хотя бы и на такое малое удовольствие, как шапка, Василий Лукич никогда не решался. Да и как можно об этом думать,

раз белку в его кварталах, как и во многих других, из-за недорода шишки вот уже несколько сезонов брать запрещено! Другой бы лесовик смастерил, ничего, нашел бы обход, но Василий Лукич давно наметил затратить в городе лишнюю двадцатку. Старая шапка, прямо сказать, поистрепалась, да еще и подрал ее на утиных радостях докторов лягаш.

Однако шапка была малым делом, главное ж Василий Лукич затеял посерьезнее, с тайнкой. Хотел он приглядеть что-нибудь Ксеше к одному необыкновенному дню.

Ксеша, понятно, удивится подарку, потому что ведь этот день праздничный не для нее — для него: пятьдесят лет стукнет на ледостав — пятьдесят, подумать он мог ли! — и подарки полагаются по правилам имениннику. Но нет, Василий Лукич задумал в этот день подарить что-то памятное именно ей, Ксеше, и вынашивал это свое намерение с особым смыслом, непонятым, может, чужим людям, но Ксеша это, конечно, поймет.

Василий Лукич представлял себе, как взглянет на него жена, как затуманятся ее глаза, но она сдержится, не заплачет, посмотрит на него долго, молчаливо, охватит его как бы своим взглядом. В мгновение, разглядывая друг дружку, они опять проживут их долгие годы, и, вглядевшись в Ксешины глаза, Василий Лукич почувствует, как ему опять полегчает, как тогда, в госпитале, и опять можно будет жить дальше, закрыв заслон в прошлое, как в глубокую и всегда жаркую печку.

Да, пятьдесят лет брякнет на ледостав, полтинник, как, усмехаясь, сказал доктор Морозов, которого Василий Лукич на такую дату пригласил еще летом, и из этих пятидесяти, из этого полтинника, двадцать семь, перед тем как уснуть в просторной их кровати, гладит Василий Лукич Ксешу шершавой ладонью по темным, теперь-то уже с сединой, но все еще густым волосам.

Двадцать семь из пятидесяти. Бывает, живут люди и дольше, и счастливо живут, ничего не скажешь, бывает, и меньше, но так, как живут они, Василий и Ксеша, наверно, никто не живет, потому что жизнь у них наособицу, не в подобие, но и не в пример.

Попервости, признаться, Василий Лукич, Васька тогда, не верил в удачу, думал, что все это по Ксешиной жалости к нему, — была, конечно, и жалость, но не то

в первенстве. Жалость, она у Ксеши в душе, Василий Лукич знает, что и теперь Ксеша его жалеет, особенно после дальних обходов, когда на Муравом живого места от оводов да слепней нет и Василий Лукич ведет коня за повод, сбивая в кровь култышку, но то особый разговор. Просто, видно уж, то ли по божьей милости, если он есть, то ли по закону справедливости — такой закон обязательно есть! — выпала Василию тогда такая удача, такая звезда после всех тягостей, доставшихся ему. Встретил он Ксешу, вернее, она встретила его, потому что сам он, Васька, был тогда невменяем, отогрела его и сняла с него половину горькой тяжести.

Соседи по палате посмеивались, один старче даже вразумлял: мол, не надейся, мол, она сердешная только до выписки, чтоб ободрить тебя, это в их медицинские обязанности входит. Но нет, вышло — не до выписки.

Вместе они из госпиталя вышли: Василий полным инвалидом, Ксеша — по собственному желанию, и уехали, как сговорились, в район и даже за район, в деревню, сняв комнату на окраине и твердо решив по окончательном выздоровлении определиться Василию в лесничество, а потом съехать и из деревни.

Так оно и вышло.

В сорок шестом, призвав на помощь демобилизованных мужиков и попросив поддержки начальства, Василий Лукич срубил дом, выбрав место высокое, на холмине, прямо под сосновым бором.

Вид сверху открывался вольный, широкий. Ближняя деревня, где снимали они комнату, была в километре отсюда, воздух в вышине оказался прозрачный, особенно в осень, когда тихо и уже подбивает траву морозец. По утрам, вставая с солнцем, Василий Лукич и Ксеша, молча, не сговариваясь, подходили к ограде, оглядывали даль и пили, пили хрустальный до звонкости воздух, как будто хмельную бражку.

Румянец озарял Ксешину щеку, Василий Лукич искоса, осторожно поглядывал на этот румянец, вспоминал, как мечтали они про такие минуты в душном, пропитанном лекарствами темном госпитальном уголке под лестницей возле вешалки, глотал свежесть и радовался, что вышло по-ихнему.

И он и Ксеша немало хватили горя в той, уже почти забытой войне, и, полюбив друг друга в госпитале, —

не пылко, не по-мальчишечьи полюбив, а как-то очень в глубину, даже чуть по-стариковски, что ли, — так вот, полюбив друг друга, они решили жить лишь друг для друга. Их мысль, их цель состояла в том, чтобы воспротивиться самой своей жизнью войне. Война убивала, калечила, жгла, разъединяла людей, вымарывала даже из памяти близких их лица и имена, и они прошли эту войну.

Ксеша была в оккупации. В сорок третьем ее отправили в Германию, и она бежала из колонны, когда их вели на станцию, по Ксеше стреляли, пуля вспорола ватник у плеча, но не задела, и ей удалось уйти. Домой возвращаться было бесполезно, она пошла на восток и добралась до своих, лишь случайно не погибнув.

Там, в госпитале, когда еще шла война, но для Василия и Ксеша она уже кончилась, Василий Лукич, холодея, думал о простой такой истине — ведь они могли и не встретиться. Могли и не встретиться — чуть правее пройди пуля, когда стреляли по Ксеше, или наступил он на ту мину чуть иначе... Но они встретились все-таки, оба оглушенные войной, оба потерявшие всю родню — начисто, до единого человека...

Возвращаясь из плена, уже в потемках, Ксеша набрела на какой-то земляной холм и услышала глухие стоны. Руками, разбивая в кровь ногти, она стала раскапывать землю, не успела, стоны затихли, Ксеша откопала лишь руку, лишь скрюченную человеческую кисть.

Молча, обезумев от ужаса, Ксеша побежала прочь от теплой могилы, наконец упала без памяти, а когда очнулась, увидела красноармейцев.

Могилу откопали, Ксеша не теряла больше сознания, но словно окаменела, и как добралась до места назначения, до этого сибирского госпиталя, так и не помнила.

Про Василия же Лукича и говорить нечего. После того случая, который произошел с ним, он замер, как бы притаился, и из этого бесконечного сна, из этого существования сумела вывести его только Ксеша.

Это были не слова и не пустая прихоть. Мысль, которая лежала в основе их встречи и их любви, мысль, которая соединила их и придала их чувству не быстротечную страсть, но силу глубинного потока, была настолько выстрадана каждым из них, что не могло и подумать, будто можно как-то иначе.

Они сказали тогда друг другу, что, если уж так повезло и им суждено было выйти из этого огненного пекла живыми, остальную жизнь надо прожить хорошо. Они не были испорченными людьми и поэтому решили, что прожить хорошо означает не деньги, не имущество — что значило имущество перед войной? — а любовь, только любовь.

Многое из этого они вовсе и не говорили друг другу, да и не сумели бы сказать по своей простоте и неумению складывать словесные обозначения, но думали, нутром чувствовали и решили, что дольше проживут вдалеке от хлопот, от всяких сует, построили, как хотели, прочный смолистый дом на вершине холма, под макушками сосен.

По ночам сосны роняли на крышу шишки, они ударялись глухо, коротко скатывались к желобам, и Василий Лукич, глядя заскорузлой ладонью жену, не раз задумывал, что бы сделать такое для Ксеши, для единственного и дорогого человека, всю жизнь подчинившего ему, как бы ответить ей на ее любовь, доверчивость и понимание — не любовью, этим он отвечал взахлеб, благодарно, — а памятью, так, чтоб осталось на память после него. Все-таки как ни крути, а полтинник...

Глядя Ксешины волосы, Василий Лукич думал, что планы их удались, что жизнь они прожили очень славно, что после ран и болей в молодости тишина к зрелости исцелила их, что жизнь их правильная и что дочь Аннушка вышла по ним, по родителям, не суетная, ровная и тоже сумеет хорошо полюбить и узнать, что такое любовь, дай ей только бог повстречать суженого, как и они с Ксешей, чтобы души совпали и намерения да чтоб еще техникум закончила благополучно.

Удивительно, в такие годы, как у Василия Лукича, когда дело подбирается к полтиннику, дети и пожилые хлопоты занимают у людей всю жизнь, отодвигая личное в сторону, как хоть и дорогой, но ныне ненужный хлам. У Василия Лукича хлама никакого не было, он частенько задумывался над этим, часто проверял себя, не врет ли в душе, но всегда отпуская эту мысль со спокойствием.

Нет, не врал он ни себе, ни Ксеше и радовался безмерно, что такая удачная у него с женою жизнь — спокойная, тихая и в то же время полная движения и силы.

Ну а что уж прихоть эта взбрела ему в голову, Ва-

сий Лукич и сам бы не сказал, откуда она вдруг взялась.

Любя Ксешу, обнимая ее ногами, стоя на утренней прохладе у ограды, откуда такой раздольный вид на нижележащую землю, он вдруг порешил однажды что-нибудь привезти Ксеше в память о нем, Василии, в память и в благодарность, что из полтинника прожитых лет, прокатившихся круглой монетой, двадцать семь с ним была она, Ксеша, любимая жена и дорогой такой человек.

### 3

Василий Лукич пробирался сквозь толпу, то смущаясь своего «прицепа» за спиной, то забывая обо всем на свете и вспоминая Ксешу, для которой подарок должен быть удивительным.

Он безразлично проходил мимо ворохов цветастых платков, мимо галантерей и всяких парфюмерий, усмехаясь про себя убогости человеческой выдумки.

С шапкой ему повезло, шапку он ухватил, постояв малость в очереди, меховую, крашеного кролика, за двадцать рублей, но Ксеше ничего подходящего не попадалось.

Как-то походя, скорей по случайности, Василий Лукич вдруг оказался в тихом павильоне со стеклянными, прочного стекла витринами.

На черной плюшевой подкладке, живописно разложенные, каждая с аккуратной бирочкой, лежали блестящие вещи.

Никогда в жизни не был Василий Лукич в ювелирных магазинах, хотя и знал, что там за товар. Однако не зря говорят, что знание не заменяет понимания, и, увидев блестящие колечки и брошки, в которых искрились дорогие, незнакомые камни, Василий Лукич слегка ошалел и совсем притих.

Камушки серебрились, топорщили лучики, слепили глаз, и Василий Лукич где-то задним сознанием подумал, что вот бы удивить Ксешу, вот бы преподнести ей такую диковинку, впрочем, тут же про себя и рассмеялся. Нет, Ксеше даже эти золотинки не подарок, ей надо что-то от души, простое, людское, к тому же побрякушки были Василию Лукичу явно не по цене. Тут он только пригляделся к аккуратным бирочкам и тихо



присвистнул от удивления: эх, действительно, куда его занесло!

По ту сторону золотого прилавка сидела девушка, вроде Анки, читала книжку, закинув ногу на ногу, и, услышав тихий присвист Василия Лукича, поднялась, не поняв, в чем дело.

— Вам что, гражданин? — вежливо спросила девушка, оттягивая синий халатик. — Выбрать хотите?

Василий Лукич смутился, тряхнул головой и пошел было к выходу, как вдруг навстречу ему вошли трое.

Первым был приятный на вид белокурый плечистый парень. Второй парень шел чуть позади; этот был потемнее и поменьше ростом. Третьей шла худенькая модная женщина, пожилая уже, но молодящаяся.

Подойдя к прилавку, приятный блондин наклонился над блестящими украшениями и воскликнул:

— Ахтунг!

Василий Лукич вздрогнул всем телом и выпрямился. Его будто хлестнули кнутом по лицу. Оно онемело.

— Ахтунг! — повторил весело парень, и те двое тоже склонились над прилавком.

Василий Лукич чувствовал, как постепенно, словно раскачиваясь, начинает метаться в нем сердце, то расширяясь, то сжимаясь. Он стоял, прислонясь спиной к решетчатому окну, и бессмысленно глядел на двух белобрысых и худую женщину.

Первым его желанием было крикнуть. Крикнуть по давней, забытой, но вдруг, в одно мгновение ожившей солдатской привычке: «Немцы!» — и Василий Лукич едва удержался, едва опомнился, что он совсем в другом времени и совсем в другом месте — на городской ярмарке, а не на войне.

Продавщица показывала покупателям свой товар, вынимала по одной махонькие коробочки с дорогими товарами, но немцы почему-то не очень занимали ее. Девушка тревожно взглядывала на человека с одной ногой, вжавшегося спиной в решетчатую стенку у окна, и, видно, никак не могла взять в толк, зачем он сюда зашел и зачем притулился там, у окна, если не хочет ничего покупать, и, главное, отчего он так ошалел.

Онемевший Василий Лукич наконец перехватил ее взгляд, шевельнулся и осторожно вышел на улицу, стараясь не стучать своим чурбаком.

Следовало бы идти дальше, но он остановился у вхо-

да, вынул пачку «Беломора», надорвал ее, достал папироску и, прикуривая, заметил вдруг, как трясутся у него руки.

«Курощуп, ядрена-корень!» — усмехнулся про себя Василий Лукич и торопливо зашагал от ювелирной лавки, отвлекая себя размышлениями о том, что курощупами в деревне зовут тех, кто таскает тепленькие яйца из-под чужой курицы, примета, мол, такая есть — раз руки трясутся, значит, курощуп, но сзади вдруг раздался громкий смех, немецкая речь, и Василий Лукич прирос к земле, втянув в плечи голову. Будто он украл что-то, и его заметили, и крикнули ему, велев остановиться, а он от стыда, от позора не может набрать сил и обернуться.

Но голоса удалялись, и Василий Лукич посмотрел назад. На лбу, под козырьком картуза, прозрачной россыпью выступил пот. Василий Лукич глядел на немцев — двух парней и молодящуюся женщину, которые, смеясь и переговариваясь, шли по ярмарке от лавки к лавке, и вдруг, крепко прикусив остывшую папиросу, решительно двинулся за ними.

Немцы шли не спеша, подробно оглядывая киоски, в которых полоскались лифчики и женские трусы, заходили в павильончики, и Василий Лукич неотступно следовал за ними, стараясь быть незаметным в толпе, жадно вслушиваясь в обрывки непонятной ему чужой речи, ожидая, когда тот, высокий и белобрысый, снова повторит единственное знакомое Василию Лукичу немецкое слово «Ахтунг».

Ему бы следовало повернуть, уйти восвояси, закончить городские хлопоты да и сесть в дачный поезд, чтобы скорей вернуться домой, — спокойным и невредимым, но Василий Лукич шел вперед, напряженно вслушивался в немецкую речь, ждал повторения знакомого, резкого, как хлопок бича, слова «Ахтунг», чувствовал, что каждый новый шаг словно бы возвращает его назад — все дальше и дальше, к войне.

Будто обмотала его Ксеша прохладными бинтами, и утихла боль, и забылось старое, забылась война, и так бы забыть ее навсегда, а он, словно намагниченный, шагает за этими немцами и с каждым шагом словно срывает с себя бинты Ксешины, и все ближе, ближе раны, которые нет, не заживают никогда, и больно содрана короста, и снова, как тогда, душно и звенит голова...

Он служил тогда в артиллерии, заряжающим на сто-двадцатидвухмиллиметровой гаубице образца одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года и считал себя тылови́ком, так как артиллерия, как известно, идет позади пехоты и еще потому, что никак не мог увидеть Василий Лукич живого немца, не считая, конечно, пленных, потому что пленный фриц — это все равно как труп, а ему нужен был живой враг, тот самый, которого он искал.

В тот же день, как он получил письмо от соседей, Василий Лукич подал рапорт о переводе в пехоту, но комбат капитан Николай Иванович Рубцов его рапорт порвал, строго прибавив, что настоящий солдат везде солдат и что каждый залп гаубицы, которую Василий Лукич заряжает, заменяет десяток пехотинцев. Николай Иванович был до войны учителем математики в школе, батарея его стреляла классно, потому что в артиллерии от расчета командира зависит многое, и Василий Лукич мог бы думать, что в успешных выстрелах есть его работа, и это было бы справедливо, потому что, заряжая пушку, он уматывался, пожалуй, не меньше, чем в любой пехотной атаке. Но Василий Лукич все же считал себя тылови́ком. Артиллерия его не устраивала, потому что всякий раз, когда батарея, отпалив положенное, умолкала, Василий Лукич с горечью думал о том, что его служба похожа на работу грузчика, что он лишь заряжает гаубицу и что он неполноценный солдат до тех пор, пока сам, непременно сам, своими руками не убьет немца, того самого немца, которого ищет с тех пор, как получил письмо.

Соседи писали, что от недоедания туберкулез у отца обострился, а лечиться в больницу он не захотел, и с тех пор, когда начинались налеты, мать от отца не отходила. Они сидели оба в стареньком домишке на окраине городка, и сперва, слава богу, проносило, бомбили далеко. Но однажды, писали соседи, когда они вернулись после налета, на месте дома, где оставались старики, была воронка. Похоронить ничего не удалось, так как попадание было прямым.

Письмо пришло с опозданием на три месяца, и ночью, когда все уснули тяжким и потным солдатским сном, Василий Лукич, вскинув свой карабин, вышел из

дома, где ночевал расчет. Он и сам толком не знал, куда шел. Знал только, что надо найти немца. В затмении, которое нашло на него, он не очень разбирал дорогу, и дело чуть не кончилось плачевно — его едва не пристрелил свой же часовой, охранявший орудия, потому что Василий Лукич не услышал его окрика. Дело дошло до командира батареи, Николай Иванович Рубцов совсем не по-учительски обложил его матом, а когда Василий Лукич принес ему рапорт, порвал его в мелкие клочья, добавив ту самую фразу, что солдат везде солдат и что один выстрел гаубицы заменяет десять пехотинцев. Василий Лукич покорился приказу капитана, ожесточенно заряжал свое орудие во время артподготовки или там прицельного огня, потом валился, обессиленный, на лежаки, которые менялись часто, потому что артиллерия постоянно двигалась вслед за наступающей пехотой, помогая ей, но сам ни на час не переставал думать с том, чтобы увидеть немца живым. С оружием. Один на один...

## 5

Он увидел его. Но не разглядел. Не успел разглядеть, хотя очень хотел рассмотреть его как следует. Посмотреть на немца внимательно и, может быть, все понять. Ведь должно же о чем-нибудь говорить человеческое лицо.

Но засматриваться было некогда.

Василий Лукич нажал курок и увидел, как фрицу разmozжило голову. Он попал ему прямо в переносицу. Да и пуля была разрывная.

Он очнулся уже в санитарном поезде.

Василий Лукич помнил, до сих пор хорошо помнил, что очухался он с той же мыслью, с какой погрузился в темень. Выплыв из бессознания, он подумал не о себе, не о том, что вот оно как, оказывается, очутился, значит, совсем не там, где желал, не о ноющей ноге подумал (это уж потом выяснилось, что ноги нет, а она все-таки ноет), а с сожалением подумал о том, что так и не сумел разглядеть немца, ах, черт побери, не сумел...

С того рапорта Василий Лукич безропотно заряжал горластую гаубицу образца тридцать восьмого года и, может, так возле орудия и перенес бы свою беду, да

случилось с ним такое, что перевернуло всю душу Василия Лукича и он словно заостенел — до тех пор, пока в дальнем сибирском госпитале не встретился с Ксешей...

Дело было в сорок третьем, Василий Лукич все заряжал и заряжал гаубицу и уже, пожалуй, не один вагон снарядов сунул в ее пропахший порохом ствол, и все им везло, все как бы миновала их война — командир батареи оставался тот же, учитель математики, и наводчик, и все номера их гаубицы живы были и здоровы, хотя на других орудиях состав пополнялся, правда, за счет раненых. Убитых пока не было. Но какая же война без раненых, так что это в счет не шло, дела на батарее обстояли благополучно, и стреляли батареи прилично, немало чего порушили у немцев, немало поубивали живой силы, но всё это издалека, не вблизи.

Батарея меняла время от времени позиции, и однажды ночью, когда двигаться приходилось спешно, торопясь за отступавшими немцами, артиллеристы заняли новую огневую позицию и тогда же, ночью, отрывали для орудий площадки.

К земляным работам Василию Лукичу было не привыкать, возле орудия всему научишься, но все же, когда запоздавший осенний рассвет прояснил опушку, где они выбрали позицию, заряжающий с удовольствием воткнул лопату в землю и закурил.

Лес был прямо на загляденье — бурые, желтые, красные листья осинника да остатки зелени, перемешавшись, радовали глаз. Было тихо, и, может, впервые с того письма Василий Лукич вздохнул освобожденно и вольно, ощущая запах прелых листьев и размышляя о том, как, наверное, в такой день обидно помирать.

Листья едва колыхались под тихим ветром, срывались неторопливо с ветвей, кружились беззвучными цветными пропеллерами, устилая землю пестрорядинным половиком.

Василий Лукич подпоясался, на всякий случай перекинул за плечо карабин и, не застегивая ворот гимнастерки, глубоко вдыхая запах спелой осени, двинулся к лесу.

— Аккуратней! — крикнул ему вслед кто-то из ребят. — О тебе заботятся.

Он шел, неторопливо раздвигая ветки частого осинника, и еще издали заметил дом, обыкновенную избу.

Василий Лукич знал, что в этих местах были немцы, на опушке он пнул консервную банку с остатками тушенки. Мясо еще не почернело, значит, ее бросили недавно, и, увидев избу, Василий Лукич решил на всякий случай приготовиться.

Он снял с плеча карабин, щелкнул предохранителем и, зорко вглядываясь в окна, вышел из-за кустов. Ветер чуть шевелил тесовую дверь, и несмазанные петли резко скрипели в тишине.

Василий Лукич, все еще сторожась, подошел к избе, и в эту самую минуту за спиной сильно зашумело. Он обернулся, перехватывая карабин, и негромко рассмеялся. Это был ветер, порыв ветра. Он налетел на осинник, листья шумной стайей полетели к земле, кружась и мельтеша.

Василий Лукич перекинул карабин за плечо, вдохнул терпкий воздух и повернулся, чтобы войти в дом.

Все оборвалось в нем будто в следующую секунду.

Пока он оборачивался к лесу, ветер захлопнул дверь, и Василий Лукич увидел страшное...

Да, с той самой минуты и заостенел Василий Лукич, пока не встретил в госпитале Ксешу. С той самой минуты...

К двери немецким тесаком был пригвожден младенец... Ему было месяца три-четыре, не больше... Огромная рана зияла на грудке... Голова повисла вбок, и глаза закатились... На тесовой двери засох кровавый ручей, и мухи вились возле него...

Остановившимися глазами Василий Лукич глядел на посиневший трупик, потом протянул руку к двери, и ржавые петли заскрипели опять.

Василий Лукич шагнул за порог. В избе, на полу, с кляпом во рту лежала изнасилованная женщина. Видно, мать... Женщина была в старом полушубке, и на овчине виднелась аккуратная строчка вспоротых дыр — след автоматной очереди...

Василий Лукич повернулся и вышел из избы. Перед домом стоял учитель математики, капитан Николай Иванович Рубцов. Он глядел мимо солдата на дверь, потом медленно перевел взгляд на Василия Лукича.

Василий Лукич смотрел сквозь капитана, сквозь осинный цветастый лесок, куда-то вдаль, где ничего уже

не было, и очнулся только, когда командир батарен взял его за плечо и беззвучно сказал что-то.

— А? — приходя в себя, переспросил Василий Лукич.

— Сколько тебе лет? — повторил капитан.

— Двадцать четыре, — машинально ответил Василий Лукич и шагнул в лес.

Капитан окликнул его, но солдат ослушался командира, не подчинился ему, как в тот раз с рапортом.

Василий Лукич шел осенним леском, не понимая сам, куда идет.

Тогда, после письма соседей, он долго представлял себе, как погибли больной отец и мать, и представлял самые страшные картины: визг бомбы, грохот, воронка, которую медленно заливают талая вода, — но все, что он представлял, было лишь воображенным, придуманным, и он, в сущности, не мог поверить до сих пор, что ни отца, ни матери уже нет.

Иногда ему снилось: он мальчишка и идет между отцом и матерью, взяв их за руки, и, подходя к лужам, они приподнимают его, и он, словно в сапогах-скороходах, перелетает через эти лужи... Сны были так реальны, что Василий Лукич просыпался совершенно уверенный в их правдоподобии. И лишь потом письмо соседей, шуршащее в нагрудном кармане гимнастерки, напоминало, что все это сны и ничему, что было, уже нет возврата.

Он шел сквозь осинник, обламывая сучья, не таясь, не остерегаясь, и хотел лишь одного...

Увидеть... Увидеть его... Во что бы то ни стало увидеть... Увидеть лицо того, кто распял младенца и прострочил полнущок матери...

Это была случайность, но он увидел его.

Немец был рослый и при случае запросто свернул бы шею Василию Лукичу. Но Василий Лукич был пьян от того, что случилось, а немец трусил.

Он заметил русского солдата с карабином в руках и крикнул то слово: «Ахтунг!»

Значит, он был не один.

Василий Лукич хотел разглядеть его и увидел лишь растерянность в лице немца. Рассматривать больше было некогда. Он нажал на спусковой крючок и разнес фрицу череп.

Потом он шагнул еще, продолжая свой путь, и очнулся в санитарном поезде, досадуя, что не успел разглядеть того немца. Того гада...

6

Двое белобрых и молодая женщина раскатисто смеялись. Они покупали матрешку, внутри которой есть другая, поменьше, и это страшно веселило их.

Глядя, как куклы становятся в бесконечный ряд, Василий Лукич медленно, словно из небытия, возвращался на ярмарку оттуда, с войны.

Он усмехнулся, разглядывая матрешек.

Видать, и человек так устроен. Вот про себя он думал, что у него две половинки жизни. Одна там, за чертой, которую они вместе с Ксешей провели, другая здесь, в нынешнем времени. А оказалось не так. Оказалось, крики «Ахтунг!», этот белобрыхый улыбчивый немец и все, что будто бы отрезано, все, что за условной чертой, оживет снова, и слетят к чертовой бабушке все бинты, которыми обвязала его бережно Ксеша. Все, пожалуй, как у матрешек. Ежели одну открыть, в ней другая, хоть и похожая, а все же другая, так что лучше будет не открывать... А то открылся Василий Лукич, размотал бинты и вот как оглашенный бегаёт по ярмарке за немцами, и только одно втемяшилось: разглядеть их как следует.

Что делать, так вышло — никогда с того случая Василий Лукич живого немца не видел, и старое обросло коростой, забылось.

С Ксешей, под госпитальной лестницей, они поклялись про старое забыть, зачеркнуть его, коли вышло так и они, два перста посереде войны и горя, живыми остались, жить, жить, жить, наслаждаясь жизнью, любя друг друга и торопясь всем этим насладиться, потому что жизнь по сравнению со смертью недолговечна.

Они поклялись там, под лестницей, в укромном уголке, про прошлое позабыть, не ворошить никогда и жить только сегодняшним, а еще лучше завтрашним временем, так оно получилось: ни Ксеша, ни он, Василий Лукич, никогда — ни промеж себя, ни со стариком Морозовым, который гостевал у них чаще других, ни даже с дочкой Анкой не говорили про самое тяжкое в жизни — Ксеша про побег из плена и могилу с заживо закопанными людьми, Василий Лукич про то... В лесу...



Время бежало себе потихоньку, вот уже и к полтиннику подкатило, и Василий Лукич полагал, что старое ушло, забылось. Ну нет, конечно, само собой такое не забудется, но ведь он же человек, и поэтому, когда накатывали в самый негаданный час тяжкие видения, Василий Лукич их тотчас прогонял, старался думать о чем-либо другом, затевал разговор с Ксешей или настраивал старенький приемник на музыку, и видения отходили, прятались в тумане двадцати с лишком лет. И Василий Лукич радовался, что старое не давит его, как комут, что он человек и, коли надо, сумеет себя перебороть, и если уж не забыть, то не вспоминать...

Немцы купили сразу две матрешки, видно, поудивлять там, у себя дома, знакомых или родню, и двинулись дальше. Василий Лукич неотвязно шагал за ними, и случилось то, что и должно было случиться: тот, белобрысый, сказал что-то своим спутникам, и они все трое поглядели на Василия Лукича. Поглядели внимательно, без усмешки. «Заметили, значит, — подумал Василий Лукич и выпрямился. — Ну-ну, замечайте!» И увидел себя вдруг посреди толпы с протезной ногой за спиной, обмотанной в холстину, невидный, зряшный на первый взгляд мужичонка, но голову держит прямо и глаза от немцев не отворачивает, не смущается.

«Это вам надо отворачиваться! — подумал он с неожиданной злобой про двух парней и молодящуюся женщину. — А мне что ж, у себя дома». И посмотрел на приезжих с вызовом.

Они будто перехватили его взгляд и пошли быстрее, хотя и останавливались возле всякого ларька, но не подолгу, не как прежде, и Василий Лукич нет-нет да и ловил на себе настороженный взгляд то женщины, то белобрысого, то его дружка.

Василию Лукичу тоже пришлось прибавить ходу, и деревянная нога опять застучала по асфальту, не заглушаемая потертым костыльным наконечником из черной резины.

Василий Лукич глядел на немцев и издали и вблизи, рассматривал их лица, их одежду и чем дальше шел за ними, тем все больше чувствовал какую-то свою расколотость.

Он искал в них того немца, того, которого искал на войне, но что-то ничего у него не получалось. Женщина, конечно, в расчет не шла, хотя, пожалуй, она одна из

троих могла помнить и знать войну, ей, пожалуй, тоже было под пятьдесят, как и Василию Лукичу, но уж больно умело она маскировалась — высокие каблуки, тонкие чулочки, только вот лицо, как его ни крась и ни бели, все равно выдает, и морщины мелкой сеткой, видать, не за так... А парни... парням, наверное, столько же, сколько ему тогда было... Он не понял тогда, возле избы, почему Николай Иванович Рубцов спросил, сколько ему лет, даже, можно сказать, не дошел до него этот пустой вопрос. Но он оказался не пустым, и Ксеша в госпитале, когда он еще ходить не мог, тоже спросила его об этом. Василий Лукич повторил: «Двадцать четыре» — и заметил, как легкая тень пробежала по Ксешину лицу. Она помолчала, пристально вглядываясь в него, а потом вынула из кармашка маленькое зеркальце, с ладошку величиной, и протянула его Василию Лукичу. Он взглянул и не узнал себя. В первый раз за все это время гляделся он в зеркало, потому что брили его, как тяжелораненого, медсестры, а иной нужды ему глядеться в зеркало не было. Он взглянул на свое отражение и увидел седого дядьку с впалыми щеками.

Этим немцам было тоже что-то возле этого — двадцать четыре — двадцать шесть, не больше, но они были совсем другими, впрочем, ничего в этом особенного и нет. Они, пожалуй, и родились-то после войны, вроде его Анки.

В этом ничего особенного нет, но другая мысль вдруг больно резанула Василия Лукича. Ведь мог бы вон тот, белобрысый, или его товарищ, могли бы они быть там, тогда... И мог бы вот этот, белобрысый, а не тот, с растерянным лицом, крикнуть, увидев его «Ахтунг!»... Василий Лукич снова припомнил лицо немца, которому он разможил голову. По дороге в госпиталь, в тесном санитарном поезде, да и потом, в госпитале, он все думал, тот ли это немец, и выходило, верней всего, что не тот, не могло быть такого совпадения, чтобы ему попался именно тот, который наследил в избе... Но тогда для него это был тот немец. Василий Лукич отметил растерянность на его лице, разглядывать его больше не было времени, и сейчас он вдруг подумал, что ведь, в сущности, тот немец с растерянным лицом ничем не отличался от этих двух парней. Ведь и они могли быть там?

Василий Лукич жевал погасшую папироску, шумно затягиваясь, и неуклонно шел за немцами.

Ярмарочные ларьки кончились, дальше начинался

парк, рассеченный асфальтированными пустынными дорожками.

Немцы шли по одной из них, и Василий Лукич на минуту остановился, переведя дыхание и раздумывая, как быть дальше. Теперь уже ни за кого не спрячешься — впереди безлюдная дорожка, и он один против трех немцев.

Но немцы удалялись, и Василий Лукич, словно за гипнотизированный, двинулся дальше.

Парк походил на тот осенний лес. Тихо шурша, падали на землю пестрые листья, пахло прелой травой и желудями.

Немцы неожиданно сели на лавочку и теперь уже все втроем пристально, не таясь, разглядывали Василия Лукича.

Сердце заметалось в нем, раскачиваясь, словно маятник, но отступать было поздно, да и не в его обычае, и Василий Лукич, замедляя шаг и все еще жуя погасшую папироску, двигался к ним.

Все было, как тогда, — и лес, спокойный и прозрачный, и боль из-под содранной коросты, свежая, нестерпимая боль, и немцы, которых он наконец-то, столько времени погода, рассмотрел.

Василий Лукич медленно подошел к скамейке и в упор взглянул в их лица.

Да, все было, как тогда, — и лес, и немцы, только ни у них, ни у него не было оружия. Да еще резала спину протезная нога, память войны. Но это ничего не меняло для него. Василий Лукич в упор глядел на немцев и желал увидеть в их глазах, как тогда, растерянность...

Он смотрел то на женщину, то на белобрысого, то на его дружка, вглядываясь в их лица твердо и требовательно и вдруг... вдруг вздрогнул...

Немцы — все трое! — смотрели на него не растерянно, нет... Они смотрели на него с жалостью. Василий Лукич знал такие взгляды. Так, жалеючи, глядели на него женщины, особенно тогда, после госпиталя, когда он, седой, одноногий, совсем мальчишка, шел по деревне, где они жили с Ксешей. Война еще не кончилась, она кончилась только для него, и, глядя на колченогого парня, женщины, конечно, думали о своих ребятах, о своих мужиках и, жалея его, Василия, заранее оплакивали тех, кто вернется, как он, инвалидом, да и вернется ли вообще...

Но тогда были свои. Деревенские. Бабы...

Все было так, как тогда, — и лес, и немцы... Но это были не те немцы... Те немцы не могли глядеть на него так...

Ах, черт, как глупо, как нехорошо получилось. Он смотрел на чужих людей со злостью и ненавистью, думал о своем, а они отвечали ему жалостью. Жалостью...

Все было так, как тогда, — и лес, и немцы, но это были не те немцы... Не те! Не те!

Василий Лукич потоптался в растерянности и повернулся, чтобы идти дальше.

Неожиданно белобрысый парень, тот, который кричал «Ахтунг!» в ювелирной лавке, вскочил и полез в карман. «Что за черт?» — едва успел подумать Василий Лукич, а белобрысый вытащил что-то блестящее.

— Битте! — сказал он и протянул руку к Василию Лукичу.

В руке у него щелкнуло, и столбиком поднялся язычок пламени. «К чему это он?» — подумал Василий Лукич и тут только сообразил, что держит во рту изжеванную папироску.

Он вздохнул, прислонил папироску к огню, пыхнул сизым дымком и молча кивнул, благодаря.

Он не смог сказать «спасибо» все-таки.

Белобрысый отступил в сторону, а Василий Лукич зашагал, постукивая, по аллее.

Возвращаться назад было неловко, и он ушел довольно далеко, пока не выбрался из парка.

Листья шуршали под деревяшкой и заглушали ее стук.

Было тихо и тепло.

Василий Лукич расстегнул дрожащей рукой ворот рубашки и вдруг вспомнил, что ничего ведь так и не купил Ксеше...

Однако возвращаться было некогда, иначе опоздаешь на дачный поезд, который ходит раз в сутки. Он задосадовал на себя — в кои-то годы что-то придумал и сам же сорвал, не выполнил данное самому слово, но делать было нечего, и Василий Лукич отправился на вокзал.

Усевшись у окна в знакомом вагоне, с радостью и успокоением прислушиваясь к гомону деревенского люда, возвращающегося из города, Василий Лукич решил с грустной улыбкой, что подарок его Ксеше будет прос-

той, очень простой. Просто он ей ничего не расскажет про ярмарку, про этих немцев и про все, что пришло ему в голову за этот час, пока он там бродил. Вот и весь подарок.

Немцы оказались не те, вот и весь сказ. И нечего ворошить старое, правильно придумала Ксеша. Тот немец давно сгнил в лесу.

А лес этот, наверное, сейчас такой же, как тогда. Желтые, бурые, красные листья и остатки зелени. И могилы того немца нет в этом лесу, не может быть. От него ничего не осталось, даже могилы, потому что того немца убил он, Василий Лукич, заряжающий stodвадцатидвухмиллиметровой гаубицы образца одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года.

«Того немца нет», — снова подумал Василий Лукич и стал глядеть в окно, за которым кружилась зеленая озимь, лес и жнивье.

— Того немца нет, — повторил он шепотом, но спокойнее ему от этого не стало.

## КОММЕНТАРИИ

В этом томе собраны произведения, которые А. Лиханов адресовал преимущественно читателю взрослому. Они написаны в 70-е годы и в начале 80-х. Время действия их различно: война, трудное послевоенное восстановление, наши дни. Но все они рождены и пронизаны чувствами, мыслями и стремлениями, которые характерны для творчества писателя в целом. «Что касается меня, — говорил А. Лиханов, — то и детская моя проза, и юношеская, и взрослая, и публицистика всегда на первое место выводили вопросы чести и совести. И «Чистые камушки», и «Лабиринт», и «Обман», и «Благие намерения», и «Голгофа», и «Высшая мера» — все они об этом» («Низкий поклон тебе, вятская земля». — «Кировская правда», 1985, 13 сентября).

К формам «взрослой» литературы А. Лиханов обращался всегда. Появление менее чем за четыре года одна за другой трех разносюжетных, но внутренне тесно связанных между собой повестей «Голгофа», «Благие намерения» и «Высшая мера» дало повод некоторым критикам говорить об «отходе» автора от детской и юношеской литературы. Однако в контексте всего написанного А. Лихановым его очередное «возвращение» к взрослой аудитории естественно и закономерно.

Ряд лет писатель встречался с педагогами и воспитанниками детских домов, вникал в их жизнь, в их печали и радости, мучился их заботами, с болью размышлял о кризисных ситуациях современной семьи. По публицистическим выступлениям А. Лиханова второй половины 70-х — начала 80-х годов видно, что особенно тревожит писателя проблема сиротства — не столько даже физического, сколько все чаще встречающегося в наши дни сиротства духовного: при живых родителях, порой при полном и даже избыточном материальном благополучии. Нет, считает писатель, страшнее беды для юной души, чем лишиться тепла домашнего очага. Но не менее страшно жить под семейной крышей и не ощущать внутренней близости самых родных, незаменимых, единственных во всем свете людей: матери, отца.

Писатель много размышляет о причинах сиротства в наши мирные дни, о действенных путях борьбы за полноценное человеческое счастье. Эти раздумья объединяют повести «Голгофа», «Благие намерения» и «Высшая мера» в своего рода трилогию о том, как человек взрослый преодолевает сиротство детства и отрочества, и о том, сколь трагично не только для отдельного человека — для всего общества — сиротство непреодоленное, вызванное не гибелью близких, а их душевным оскудением и отчуждением.

Сам А. Лиханов говорит об этом следующее:

«...и «Голгофа», и «Благие намерения», и «Высшая мера» — повести, где в центре внимания — обязательно дети, маленькие или уже подростки, неважно. Хочу подчеркнуть — в центре внимания, а не повествования. В центре повествования как раз там взрослые, так или иначе причастные к судьбам детей.

...Я написал три повести именно об этом — об ответственности взрослого человека за ребенка, и не только данного ему. Я написал три повести о том, что как бы ни жил человек, что бы он ни делал — благого или дурного, на него во все глаза глядит ребенок, человек, продолжающий нас.

Совость или отсутствие оной я избрал мерилom нравственно-

сти. Речь идет и о душе, и о бездушии, важна, как говорил Пушкин, нравственная цель. Я к ней стремился.

Вообще же все три... вещи — в защиту ребенка, отрока, юноши, в защиту тех, кто младше нас, в защиту наших собственных детей, а значит, нашего будущего» («Единый хлеб общих истин». Беседа писателя А. Лиханова с корреспондентом «Литературной России» Л. Лехтиной. — «Литературная Россия», 1982, 20 августа).

«В прежних произведениях (А. Лиханова. — И. М.) дети судили о поступках взрослых, — отмечал критик А. Адрианов, — теперь главным стал взгляд взрослого человека на детей, нуждающихся во внимании взрослого человека, чувствующего свой долг перед ними» («Учит жить». — «Октябрь», 1980, № 11). Однако это изменение угла зрения отнюдь не мешает заинтересованному восприятию «взрослых» вещей писателя подростками. Библиотечная практика и обширная читательская почта писателя подтверждают, что «взрослая» проза А. Лиханова прочно вошла в круг отроческого и юношеского чтения.

Паводок. — Впервые в журнале «Юность», 1972, № 7 и 8. Под заглавием «Дни в конце мая» повесть опубликована также в книге: Осенняя ярмарка. Повести и рассказы. Новосибирск, Запдно-Сибирское книжное издательство, 1972.

Сюжетная острота, напряженность коллизий, максимализм нравственных установок привлекли внимание подростков к повести. В монографии «Воспитание творческого читателя» (М., «Промсвещение», 1981) приводится оценка восьмиклассницы: «Самая захватывающая, острая, психологически интересная повесть — «Паводок». Она и по форме необычная. Здесь как бы следствие, разбирательство дела проводится на глазах читателя с включением его в действие следователя и в переживания каждого из героев... Главное — узнаешь о людях так много, что начинаешь судить о них иначе: не по внешней форме, не по одежке, не по уменью говорить, не по внешней широте взглядов, не по демонстративному размаху, рассчитанному на показ, а по поступкам. Нет, и не по поступкам только, а по ситуации и действиям личности в данной ситуации».

Анализируя написанные по «Паводку» сочинения учащихся 69-й московской школы, критик Л. Белая («Приговор в школьных тетрадках». — «Литературное обозрение», 1973, № 2) обратила внимание на то, что старшеклассников прежде всего увлек предметный разговор о нравственности: «В остроконфликтной ситуации каждый из героев стоит перед проблемой выбора: какое принять решение, как поступить?»

Особенно активную эмоциональную реакцию вызвала у юных читателей фигура Кирьянова. «Можно сказать, — писала Елена Т., — что эта повесть о печальных поступках человека, не имеющего, не чувствующего доброты к людям. Чем выше стоит человек на служебной лестнице, тем большую ответственность, и моральную и юридическую, он должен нести, так как тем шире круг не только его прав, но и его обязанностей». «Безнаказанность породила в Кирьянове, сильном и упрямом человеке, подлеца», — резюмирует свои выводы Ирина Б. Вопросами: «Почему Кирьянов не поинтересовался, как оснащена партия? Почему не придавал значения радиogramмам? Почему он передоверил все другим? Разве он не знал, что Храбриков — жулик, а Цветкова — слабая и без-

дарная?» — задается Александр Б. И отвечает: «Потому что он презирал людей! Он был равнодушен, а это, может быть, самое тяжкое, хотя и неподсудное преступление».

Повесть переведена на узбекский, чешский и французский языки.

**Голгофа.** — Впервые в журнале «Знамя», 1979, кн. 8. Отдельное издание: Голгофа. Повесть. М., «Советский писатель», 1981. Вышла также в «Роман-газете», 1981, № 9.

Сюжет повести восходит к эпизоду, рассказанному в «Чистых камушках» (1967): по соседству с Михаськой и его родителями бедствует семья — старушка Ивановна и двое ее маленьких внуков, Катя и Лизка, отец которых погиб в начале войны на границе, а мать, работница хлебозавода, стала жертвой несчастного случая, попав под колеса потерявшего управление грузовика.

Ивановна, ее внушки Катя, Лиза и старшая (отсутствующая в «Чистых камушках») Маша становятся персонажами «Голгофы». Но на переднем плане оказываются не они, а чуждый виновник трагедии — шофер Алексей Пряхин, его большая совесть, его природная чистота и чуткость, его деятельная самоотверженность.

«Повесть многолинейна, многолюдна. Большинство героев выписаны памятно, но, конечно, особо волнующий след в сердце читателя оставляет Алексей Пряхин, — пишет М. Прилежаева. — Оптимизм драматической и даже трагической повести о человеческих судьбах в том, что веришь: беды не сломят Алексея Пряхина, а доброта, справедливость с ним всегда» (Дороги, дороги... М., «Молодая гвардия», 1980).

Критика обратила внимание на пафос повести, целительный и для растущей, формирующейся души: «Дети «Голгофы» мучительно прозревают: видят, чувствуют — сами израненные и измученные — боль израненного и измученного Пряхина. И мощно звучит светлая мелодия, знакомая и по предыдущим произведениям писателя: прошедшие военное лихолетье, познавшие зло и горе должны — во имя будущего — вынести из всего этого светлый опыт, светлый урок человечности» (А. Комаров, Познай свою доброту. — «Октябрь», 1982, № 2).

В 1986 году на студии «Мосфильм» режиссером Н. Стамбулой по «Голгофе» (сценарий А. Лиханова) снят фильм «Карусель на базарной площади».

Повесть переведена на болгарский, венгерский, чешский и словацкий языки.

**Благие намерения.** — Впервые в журнале «Знамя», 1980, кн. 7. Вошла в книгу: Благие намерения. Повести. М., «Молодая гвардия», 1981. Тогда же вышла в «Роман-газете» (1981, № 9).

В интервью «Литературной России» (1981, 7 января) А. Лиханов говорил: «...новая повесть «Благие намерения» — о молодой учительнице, о маленьких сиротах, которых ей довелось растить. Впрочем, это скорее повесть о важных категориях, из которых складывается наша нравственность, — о добре и зле, ответственности и безответственности, о мире детей и взрослых и о том, что нет, не благими намерениями вымощена дорога в ад, а лишь намерениями неисполненными». Объясняя свое обращение к названным проблемам, писатель отмечал: «...главным в этой повести стал взгляд взрослого человека на детей, лишенных родительской лас-



ки и нуждающихся поэтому в особом внимании и заботе» («Единый хлеб общих истин». — «Литературная Россия», 1982, 20 августа).

Характерны суждения педагога А. Захарова из города Дмитрова Московской области, считающего, что повесть «была «первой ласточкой» в советской художественной прозе, обращенной к теме современного детского дома, причинам, порождающим появление детей-сирот. «Именно поэтому так и взволновала нас тогда эта книга, — вспоминает А. Захаров, — гражданственно искренности, смелая, а главное, точная, правдиво отобразившая наш нелегкий воспитательный труд» («Высшее человеческое». — «Советская культура», 1985, 26 марта).

Особенные симпатии читателей — юных и взрослых — вызвал образ главной героини, молодой учительницы Надежды Георгиевны. «Разговор об одержимости делом, верности призванию — как он своевремен и важен сейчас, — писала С. Николаева. — Но область педагогики — особый случай, тонкая материя, и Лиханов утверждает своей повестью благородный максимализм учительского призвания, рисует жизненный образ идеального учителя» («Высший дар доброты». — «Литературная газета», 1980, 24 декабря).

В 1983 году повесть «Благие намерения» удостоена Международной премии социалистических стран имени М. Горького.

Она переведена на латышский, немецкий и китайский языки.

В 1985 году режиссер А. Бенкендорф снял по сценарию А. Лиханова на студии имени А. Довженко фильм «Благие намерения», отмеченный призами Министерства просвещения СССР на Международном кинофестивале в Москве, Всесоюзного кинофестиваля в Минске, украинского кинофестиваля в Киеве и Международной организации кино и аудиовизуальных средств на кинофестивале в Испании.

Высшая мера. — Впервые в журнале «Знамя», 1982, кн. 4. Вошла в сборники: Повести. М., «Художественная литература», 1983; и Радости и печали. — «Роман-газета», 1984, № 6.

Сам автор определил жанр повести как «современную трагедию» («Литературная Россия», 1982, 20 августа).

«Отойти от этой повести нелегко — слишком много ассоциаций она пробуждает, — писал прозаик Леонид Жуховицкий. — Что творится в наших душах, в наших семьях? Мы регистрируем число разводов, но всегда ли мы обеспокоены распадом человеческих отношений? А ведь внутреннее отчуждение и эгоизм порой горше и опасней формального разрыва» («Смерть мотоциклиста», — «Литературное обозрение», 1983, № 4).

«Мыслимо ли добиться счастья, думая лишь о себе?

Нет, немислимо! — отвечает всем своим строем, тоном и словом повесть Альберта Лиханова...

Тревожная повесть. Серьезная литература», — считает Виктор Астафьев («Суд совести». — «Комсомольская правда», 1982, 8 июня).

«Трудную задачу, трудные вопросы задает автор читателю. Решать их непросто. Но решать надо» (Е. Путилова. «Высшая мера». — «Детская литература», 1983, № 4).

Повесть заставила еще раз задуматься о ценностях действительных, нетленных и — ложных, иллюзорных. «Союз эгоистов, казалось бы, прочнее союза добрых людей, — писал В. Ганичев. — Первые изымают хрупкие чувства, душевность, самопожертвование

из своего основания и тем самым вроде бы не поддаются ударам житейских шипов. Но твердость равнодушия, цинизма и презрения ведет к саморазрушению и краху» («Протяни руку...» — «Литературная Россия», 1982, 6 августа).

«О «Высшей мере» спорят, — подытоживал свой анализ повести Л. Жуховицкий. — Одни хвалят за остроту и силу воздействия, другие ругают за мелодраматичность (это качество, которого не чуждались и классики, сегодня имеет дурную репутацию). Но пока критики спорят, повесть читается нарасхват. На мой взгляд, это закономерно. Потому что тема «Высшей меры» волнует не каждого пятого или третьего, а просто — каждого. Потому что на любой ее странице — тревога и боль» («Литературное обозрение», 1983, № 4).

Повесть переведена на словацкий язык.

Каждый год в сентябре... — Впервые в журнале «Молодая гвардия», 1975, № 10. Включен в книгу: Каждый год, в сентябре... Рассказы. Б-ка «Огонек», 1976, № 42. М., «Правда».

Смерть учителя. — Впервые в журнале «Сельская молодежь», 1971, № 7 под названием «Шаг в сторону». Включен в книгу: Паводок. Повести и рассказы. М., «Современник», 1977.

Осенняя ярмарка. — Впервые в журнале «Смена», 1971, № 21. Рассказ вошел в книгу: Осенняя ярмарка. Повести и рассказы. Б-ка «Молодая проза Сибири». Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1972.

*Игорь МОТЯШОВ*

## СОДЕРЖАНИЕ

ПАВОДОК. Повесть . . . . .	5
ГОЛГОФА. Повесть . . . . .	135
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. Повесть . . . . .	257
ВЫСШАЯ МЕРА. Повесть . . . . .	398
КАЖДЫЙ ГОД, В СЕНТЯБРЕ... Рассказ . . . . .	492
СМЕРТЬ УЧИТЕЛЯ. Рассказ . . . . .	511
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА. Рассказ . . . . .	532
Комментарии . . . . .	554

**Лиханов А. А.**

Л 65 Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 3. / Комментар.  
И. Мотяшова. — М. : Мол. гвардия, 1987. — 559 с.

В пер.: 2 р. 30 к. 150 000 экз.

В третий том вошли повести «Паводок», «Голгофа», «Благие намерения», «Высшая мера», рассказы «Каждый год, в сентябре...», «Смерть учителя», «Осенняя ярмарка».

Л 4702010200—065 Свод. пл. подписных изд. 1987 ББК 84Р7  
078(02)—87

ИБ № 4976

**Альберт Анатольевич Лиханов**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 4-х т. Т. 3**

Редактор **М. Катаева**

Художник **Ю. Боярский**

Художественный редактор **Н. Фадин**

Технический редактор **Т. Шельдова**

Корректоры **Т. Песнова, М. Пензянова**

Сдано в набор 03.09.86. Подписано в печать 03.02.87.  
Формат 84×108<sup>1/8</sup>. Вумага типографская № 1. Гарнитура  
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-  
отт. 29,4. Учетно-изд. л. 30,9. Тираж 150 000 экз. (75 001—  
150 000 экз.). Цена 2 р. 30 к. Заказ 1874.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства  
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типогра-  
фии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.